

Альберт
ЛИХАНОВ

2

Альберт
ЛИХАНОВ

Собрание
сочинений
в четырех
томах

Альберт ЛИХАНОВ

Собрание
сочинений

Том
второй

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1986

ББК 84Р7
Л 65

Л 65

Лиханов А. А.

Собрание сочинений: в 4-х т. Т. 2/Коммент.
И. Мотяшова. — М.: Мол. гвардия, 1986. — 592 с.

В пер.: 2 р. 40 к. 150 000 экз.

Во второй том вошли повести «Чистые камушки», «Обман», «Солнечное затмение», роман «Лабиринт». Все они объединены темой становления личности подростка.

Л 4702010200—151
078(02)—86 Свод. пл. подписных изд. 1986

ББК 84Р7

Чистые камушки

ПОВЕСТЬ

*Добро должно быть с кулаками,
Добро суровым быть должно,
Чтобы летела шерсть клоками
Со всех, кто лезет на добро.*

Ст. Куняев

Часть первая

ТАКОЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ

1

Михаська перемахнул через борт грузовика, и каблук звонко цокнули об асфальт. Все! Лето позади, и скоро в школу.

— Ну ладно, — сказал ему Сашка, — до завтра!

Михаська тряхнул головой и хлопнул Сашку по плечу. Да, скоро в школу, немного осталось, каждый денек на вес золота. Вот завтра они и собрались порыбалить. Михаська представил, как стоят они, закатав штанины, по колено в воде и поплавки мельтешат, пляшут, сливаются с колеблющейся водой.

— Не опаздывай! — сказал Сашка. — Мух я наловлю...

Сашка побежал через дорогу. Михаська посмотрел ему вслед и улыбнулся: «Все-таки трудяга этот Сашка!» Даже в День Победы всем дела нашел. Михаська вспомнил, как это было. В тот день, когда все уже наоралось, наговорилось, натолкалось на радостях, в класс пришла Юлия Николаевна, в шелковом платье с белым воротничком, с двумя орденами Ленина, и спросила, как они собираются отметить такой день.

Ребята запереглядывались, все даже растерялись немного — никто об этом не думал, все с ума прямо посходили от счастья. И вдруг Сашка Свиридов сказал,

что надо посадить деревья возле дороги, которая идет на Москву. Когда они ехали сюда в эвакуацию, дорога была совсем голая, ни одного деревца.

Еще Сашка сказал, что деревья надо посадить до самой Москвы, но это он, конечно, загнул. Один их класс до Москвы деревья посадить не мог; для этого им надо было бы, наверное, сто лет сажать деревья.

Обидно, конечно: они посадили целую тысячу деревьев, но Михаська сам, собственными руками так ни одного и не посадил. Он копал ямы, а ставили туда саженцы и засыпали корни землей девчонки или те, кто послабее. Михаська пошевелил лопатками: будто по спине кто ногами ходил. Накопался досыта. Ну да ладно... Зато завтра!.. Он снова представил поплавок, пляшущий на волнах.

Мимо ехала лошадь с сеном. Она шла понутив голову, а на огромном возу, свесив босые ноги, сидела девчонка. Она смотрела по сторонам и совсем забыла про свою лошадь. Михаська подумал, что сегодня какой-то длинный день. Тащится, словно эта лошадь с сеном. Исколько в жизни вот таких дней! Будто серые, пасмурные облака. Но все-таки бывают в жизни у человека дни, которые по пальцам можно пересчитать. Потому что они будто только что увиденное кино: помнятся от самого начала до самого конца и со всеми подробностями. Сколько бы человек ни жил потом — десять... двадцать, а может быть, и сто лет, — все равно такие дни он помнит так, как будто это было вчера.

Лично у Михаськи был пока что один такой день.

Конечно, каждому человеку хочется, чтобы такие дни, которые в памяти, как зарубки на дереве, помнились бы потому, что они с утра и до самого вечера состояли из одного только счастья.

Например, такой день мог бы начаться с того, что по дороге в школу Михаська нашел бы сотенную. Лежит себе этакий кусок бумаги, сложенный вчетверо, лежит, на людей смотрит. Ждет, кто его подберет. И вот идет Михаська и находит эту деньжищу — именно он, а не кто-нибудь. А потом бы вдруг отменили уроки; и, конечно, он кинулся бы на улицу Ленина, к магазину с высокими ступеньками. Мама рассказывала, что раньше, при царе Николае Втором, когда она была совсем маленькой, в этом магазине торговал какой-то купец по фамилии Кардаков. Купца уже давно не было, да и ма-

газина тут не было — его закрыли, когда началась война, и сделали в нем фабрику, где усталые женщины шили солдатское белье. Фабрика считалась оборонным объектом, но Михаська-то знал точно, что там шьют кальсоны. У Сашки Свиридова там мать работает. Но хотя жили в бывшем магазине купца Кардакова теперь кальсоны для солдат, здание это с крутыми каменными ступеньками и с перилами в виде железных лир все в городе называли по-старому, как при Николае Втором, — «кардаковским».

А нынешней весной «кардаковский» стал самым известным местом среди мальчишек и девчонок. Городской молокозавод освоил производство мороженого, и продавалось оно не где-нибудь, а у «кардаковского», под крутыми ступеньками с железными лирами в качестве перил.

Так вот, в свой самый счастливый день Михаська кинулся бы, конечно, с Сашкой к «кардаковскому» и купил бы сразу четыре порции мороженого, потому что на сто рублей как раз выходило ровно четыре порции. Он прошелся бы по улице от нечего делать, ну а потом можно было бы совершить какой-нибудь подвиг.

Скажем, вдруг солдаты бегут с автоматами за дезертиром, а тот мчится с красным, злым лицом, без ремня, с пистолетом в руке, и все боятся к нему подступить. А Михаська кинулся бы ему под ноги — не жалко и пальто, хотя оно еще почти новое, во втором классе по ордеру купили, — и дезертир бы хряпнулся на землю, и пистолет бы у него выпал, стукнулся о камень и выстрелил бы. И пуля бы пролетела над самым ухом Михаськи. И пусть бы даже ранило. Только чуть-чуть. Ну, за ухо бы зацепило. За самую мочку. Это совсем не больно. Михаська пробовал однажды сквозь мочку иголку пропускать. Свирид где-то этот фокус разузнал.

Михаська вздохнул и оглянулся. Улица была пустая и пыльная. На плече он нес, как ружье, лопату черенком вниз. Михаська подтянул и без того тощий живот и стал печатать шаг, оттягивая носочки и взмахивая до пояса свободной рукой. Как отец на Параде Победы.

Конечно, отец не был на Параде Победы, он бы уж обязательно написал, если бы был, но все равно.

Эх, отец!.. Когда только он приедет?

Много солдат уже вернулось домой. Каждый вечер к московскому поезду шли женщины. Они ходили потому,

что солдаты не любили давать телеграммы. Они почему-то приезжали вдруг, неожиданно, как снег на голову. И женщины ходили к поезду посмотреть, не вернулся ли муж. Или отец. Или брат.

Михаська тоже ходил несколько раз. Но отец не приезжал. Только присылал треугольнички. Однажды он написал, что осенью, видимо, его отпустят и тогда они с Михаськой пойдут на охоту.

Вот здорово! На охоту!.. Михаська сразу решил, что обязательно попросит отца взять и Сашку, ему же не с кем ходить на охоту. И пойдут они с Сашкой по лесу — ружья наперевес.

Но до осени было еще далеко... А осень тоже длинная — когда он придет?

Михаська вздохнул, подумав, что ему надо идти мимо «кардаковского», а значит, и мимо мороженого.

Что там мечтать о каком-то счастливом дне! Про отца ничего не известно, а сотенные разве валяются на дороге? Чушь, это можно только придумывать.

А у Михаськи, если уж говорить о дне, который запомнился навсегда, он был совсем другой.

2

Но все равно. Надо смотреть правде в глаза. Даже если от такой правды плакать хочется.

Михаська вспомнил тот день. Утром его разбудила мать. Михаська взглянул на заиндевшее окно и увидел, что мороз очень занятно разрисовал стекло. Не какими-нибудь цветочками, елочками-палочками. Узор был очень похож на орден Александра Невского — Михаська видел его у одного раненого в госпитале, когда они выступали там с шефским концертом. По стеклу разбегались лучи, а между ними еще лучи, и рисунок был такой четкий и ясный, что Михаська его забыть, конечно, не мог.

Потом он встал, сунул в портфель жестяной подсвечник, сбегал на кухню и отрезал столовым ножом от большой свечи новый кусок. Света в школе не было, и по утрам, когда еще темно, они зажигали свои свечи, а на столе у Юлии Николаевны стояла медицинская спиртовка, только вместо спирта в ней был керосин. Это очень забавно — сидишь в полумраке и на каждой парте по два свечных огарка, будто на елке. Спичек тоже не

хватало, их выменивали на рынке на хлеб, и Юлия Николаевна, входя в класс со своей горячей спиртовкой, обходила парты и зажигала все свечи, «давала прикурить», как говорил Сашка.

Михаська сунул свечку в сумку, пора было уже идти. Он положил туда еще кусок хлеба, намазанный тонким слоем маргарина и завернутый в довоенную газету.

Он подумал, все ли взял, не забыл ли чего, и подошел к этажерке, где лежало самое заветное — красный альбомчик. До войны отец собирал марки. Эх, какая тут была красота! Синие, красные, голубые, оранжевые, зеленые листочки, наверное, всех цветов на свете — разместились стройными рядами. А что тут только не нарисовано! Какие-то цари и короли. Фонтаны и верблюды, цветы и города, гербы и замки! Михаська смотрел марки каждый день и удивлялся, как это отец мог собрать столько марок. Михаська пытался продолжать эту коллекцию, искал марки, но ничего не находил — разве что синюю марочку с красноармейцем да зеленую с колхозницей, только такие марки и ходили с письмами.

Он уже хвастался альбомом Сашке Свириду и Катке с Лизой, соседским девочкам, внучкам Ивановны. Теперь ему хотелось показать марки в школе.

Он подождет, когда рассветет, когда ребята потушат свечные огарки, когда взойдет солнце и растопит кружева на окне, и где-нибудь на четвертом уроке он вытащит заветный альбомчик и пустит его по рядам. Не страшно, даже если Юлия Николаевна отберет. Она отберет, а потом сама же их покажет всем, только еще и объяснит, что там нарисовано.

Михаська сунул альбом в сумку.

На улице было совсем темно, огни не горели — света не хватало заводам, не то что улицам. В утреннем сумраке еле угадывалась черная дорога.

До угла они шли с матерью вместе, потом мама помахала ему рукой и свернула к госпиталю, а Михаська пошел дальше.

Он шел быстро, слушая, как хрустает под валенками снег, будто лошадь ест сено. Михаська все думал, как это получится здорово, когда он вытащит альбом и все ахнут. Ребята скажут, какой молодец у Михаськи отец, — ведь не каждый может похвастать таким богатством, не каждый может сесть вечером у лампы и по-

смотреть марки: побродить по страшным джунглям, или по северным льдам, или в пустыне Сахаре.

Михаська беззаботно размахивал портфелем, а за углом его ждала беда.

Когда он повернул к школе и проступил в темноте ее черный силуэт, ему навстречу шагнула тень.

Михаська сразу узнал ее.

Это был Колька Савватеев. Его прозвали Шакалом, а еще Николаем Третьим, потому что последний царь был Николай Второй, а Савватеев считался как царь.

Он учился в соседней школе, в седьмом классе. Когда Сашка Свирид приехал из Ленинграда, Савватей поймал его на улице и накормил хлебом, который отнял у других. Сашка не устоял, наелся хлеба, и Савватей заставил его «шестерить» — ходить всегда рядом с ним, будто адъютант. Сашкина мать тогда отбила его у Савватей. Поймала Николая Третьего среди бела дня на улице и набросилась на него. «За кусок хлеба ребенку голову морочишь!» — кричала она.

Удивительно, Савватей от Сашки отвязался.

По утрам, особенно зимой, Николай Третий вставал рано, как настоящий шакал, и дежурил у начальной школы, где учился Михаська. Он специально дежурил именно у этой школы, потому что в начальной учатся до четвертого класса и ребята все маленькие. Савватей стоял в темноте и обшаривал ребят. Он отбирал куски хлеба, намазанные маргарином, и серые пеклеванные булочки, базарные конфетки — подушечки и овсяные ватрушки. Иногда он выхватывал из сумки вместо булочки учебник или тетрадку и швырял ее в сугроб или забирал себе, чтобы, отойдя потом на несколько шагов, бросить под ноги и вытереть о них валенки. Когда он отнимал книжки или тетрадки, ребята не уходили. Они стояли в отдалении и ждали, когда Николай Третий бросит тетрадки, а потом бежали подбирать их.

Савватей делал все это молча, нагло, становясь поперек узкой дорожки между двух сугробов. Он отбирал не у всех: куда ему было столько хлеба — лопнешь, не съешь! Он отбирал на выбор, кто ему не понравится, а может, наоборот, понравится. Тем, у кого он отнимал что-нибудь, Савватей шептал:

— Молчи, стер-рва!

Это «стер-рва», это протяжное «р-р» действовало на

всех без исключения. Все молчали. Все боялись кары ужасного Савватая, Николая Третьего.

Когда Михаська увидел Савватая, шагнувшего навстречу, сердце у него вдруг громко застучало, предчувствуя беду. Они встречались и раньше, но чаще всего Савватей пропускал почему-то Михаську, и он, загребая валенками снег в глубоком сугробе, обходил его. Таков был шакалий закон — обойти его по сугробу. Один раз Николай Третий отобрал у Михаськи кусок хлеба, и Михаська не очень-то расстроился, потому что так случилось со всеми.

Но сейчас, когда Савватей шагнул к нему, Михаська сразу вспомнил альбом и понял, что произойдет ужасное.

— Открой, — хриплым голосом сказал ему Шакал и кивнул на портфель.

Одеревенелыми руками Михаська снял варежки, сунул их в карман и щелкнул портфельным замком. Михаська с тайной надеждой подумал, что, может быть, в темноте Шакал не заметит альбома, но Савватей заметил, открыл его и сказал:

— Ого!..

Михаська услышал за спиной скрип валенок и быстро обернулся, надеясь на помощь. Но сзади стояла маленькая Лиза, внучка Ивановны. Нет, Лиза ничем не могла помочь. Она уже раскрыла свою сумку, чтобы Савватей ее осмотрел, но Савватей мог и не смотреть, потому что ничего у нее в сумке не было — это Михаська знал точно.

Шакал небрежно листал альбомчик, и Михаська вдруг с отчаянием понял, что Савватей, эта грязная скотина, не отдаст ему марки.

— Отдай, — сказал Михаська. — Это отца. Н^а вот хлеб...

— «Отца»! — хохотнул Савватей, как-то деловито размахнулся и ударил Михаську в нос.

На улице стало совсем светло, как после четвертого урока, потом стемнело снова. Михаська почувствовал, как что-то теплое ползет у него по губе.

— Н^а вот тебе отца! — сказал Николай Третий.

Михаська упал на одно колено, видно оступившись, тут же вскочил и по сугробу рванулся в сторону. Снег был глубокий, по пояс Михаське, но он ничего не видел.

С портфелем под мышкой выскочил из сугроба и пробежал несколько шагов.

В голове шумело, перед глазами шаталось все, словно при землетрясении. Михаська взял в ладошку снег и приложил к губе. Снег стал красным. Михаська прошел еще несколько шагов и вдруг сел прямо в сугроб и заплакал.

Его губы тряслись, и капельки пота катились из-под шапки. Мир остановился вокруг, и ничего не было — ни силуэта школы, ни темноты, ни вчера, ни сегодня, только альбом с дорогами отцовскими марками и ненавистный Шакал, Николай Третий, Савватей.

«Все, все, все!.. — думал Михаська. — Нет марок. Нет альбома... Все! Все! Все!»

Шапка упала в снег, но он не чувствовал ничего, кроме смертельной тоски и обиды.

Кто-то потянул его за рукав. Михаська вздрогнул и обернулся.

Перед ним стояла маленькая Лиза, внучка уборщицы Ивановны.

— Не надо, — сказала Лиза, взглядываясь в Михаськино лицо. — Не надо.

— Уйди, — прошептал Михаська и ткнулся лицом в снег.

Это было бессмысленно, совсем не к месту — перед глазами маячил ледяной узор, похожий на орден Александра Невского, который он видел у раненого в госпитале.

3

Вот такой день был у Михаськи. Тяжелый день.

Михаська верил, даже наверняка знал, что будет, должен быть во что бы то ни стало еще один день, который тоже запомнится ему, и даже больше, чем этот, первый. Это будет страшный день для Николая Третьего, Савватея.

Михаська придумывал, как он отомстит Шакалу. Много разных гибелей придумал он проклятому Савватею.

Это могло быть и так, что вся школа под Михаськиным предводительством вышла бы рано утром на улицу, совсем рано, пока еще спит Шакал. На плече у каждого были бы белые веревки. И в том месте, куда приходит обычно Николай Третий, за домами, за сараями, за де-

ревьями, спряталась бы вся школа, протянув по белым сугробам белые веревки.

А потом бы пришел Шакал и встал на своем месте. А навстречу ему пошла бы маленькая Лиза, внучка Ивановны. А когда Шакал открыл бы у нее сумку, он увидел бы там гору хлебных кусков, намазанных маргарином, и ватрушки, и много еще чего. Это бы собрала в Лизину сумку свои куски вся школа.

А когда Шакал обрадуется и полезет в Лизину сумку, все поднимут белые веревки из снега, и Шакал окажется как бы в сетях. И справа, и слева, и снизу, и сверху — веревки. И он бы заметался и побежал, конечно, запутался и упал бы в снег, а тогда вся школа замотала бы Саватея веревками и после четвертого урока, когда станет светло, повела бы его по городу. А потом отвела бы в милицию.

Этот конец Михаське не нравился. Было бы лучше отвести Шакала на реку и окунуть его в прорубь. Но за самоуправство даже на фронте наказывают — это Михаська слышал в госпитале.

Конечно, этот день мог быть и другим. Михаська вдруг бы стал боксером и избил бы Шакала. Не ночью, в темноте, а прямо на улице Ленина среди бела дня.

Эх, скорей бы настал этот день, второй день, который запомнится!

Михаська медленно брел домой. Глаза у него блестели, а фуражка задралась на макушку, потому что он представил опять этот второй день, и даже кулаки у него сжались сами собой.

4

Михаська подошел к «кардаковскому» и поднялся на самый верх крутой лестницы. Можно было чуть постоять, посмотреть — отсюда все видно очень здорово.

Продавщица Фролова стояла прямо под Михаськой, возле бочки с колотым льдом, а посреди льда, блестя боками, стояла большая банка. Если бы ее поставить на землю, она достала бы Михаське до пояса. Вот такая банка была полна мороженым.

Сколько раз видел все это Михаська! И бочку и банку. Видел и сверху, как сейчас, и сбоку, и снизу, присев на корточки. Видел издали, вон с того угла, и совсем

рядом. Он трогал бочку руками и задел даже раз банку; бочка была как бочка и банка как банка, но внутри у нее удивительная еда, настоящее чудо. Белое, сладкое, холодное!

Михаська посмотрел, как к мороженщице подошел какой-то военный — видно, из госпиталя, с рукой на серой повязке. Фролова взяла свой прибор — большую жестяную рюмку с двойным дном, положила туда тоненький листочек сладкого печенья в клеточку (мама говорит, вафлю — вафля, вафля, слово-то какое вкусное!), откинула крышку банки и ложкой наскребла оттуда горку мороженого, пихнула его в рюмку, утрамбовала и сверху положила вафлю. Потом она опрокинула рюмку, нажала на какую-то ручку внутри и подала военному круглое мороженое.

Военный был совсем молодой. Он взял колесико мороженого, посмотрел на него удивленно и лизнул. Потом он увидел Михаську, улыбнулся ему и показал белые, как мороженое, зубы. Военный лизнул мороженое еще раз, еще, еще и пошел, задумавшись, часто спотыкаясь, прямо по мостовой.

«Интересно, о чем он задумался?» — пытался отгадать Михаська.

И вспомнил, как мама рассказывала о старшине, который лежал у них в госпитале. Его не ранило, даже царапинки на нем не было. Недалеко от него взорвалась бомба, и его перевернуло несколько раз, а потом засыпало землей. Когда его откопали, он был какой-то задумчивый, встал и пошел как ни в чем не бывало. Потом обернулся и спросил: «Где Рая?» Рая — это была его жена. Ему сказали: «Она дома», но он снова спросил: «Где Рая?»

И потом все спрашивал: «Где Рая?» И думал. Его привезли в госпиталь, и к нему приехала жена, та самая Рая. Он посмотрел на нее, подумал о чем-то, а потом спросил: «Где же Рая?»

Михаська видел этого старшину. Он сидел на кровати и глядел в одну точку — серый, небритый.

Михаська вздохнул, посмотрел вслед раненому, который спотыкался, лизал мороженое и тоже о чем-то думал, как тот старшина. «О чем он думает?» — удивился Михаська. О чем можно думать, если ешь мороженое? Можно только улыбаться. Смеяться. Хохотать.

Он посмотрел еще раз на бочку, на таявший лед, на

банку, сияющую белой крышкой, и, грохоча каблуками, скатился с крутых ступенек.

— Тыфу, черт, напугал! — ругнулась Фролова.

Мороженщицу Фролову Михаська знал хорошо. Фролова была городской знаменитостью. И не только из-за мороженого, а скорее из-за овчарок.

На мороженое Фролова перешла совсем недавно, уже после победы, как только завод стал его делать.

А почти всю войну она «жила собаками». Мама так говорила. Все работали, все старались, чтобы скорее победа, а Фролиха...

Началось все с того, что какие-то бандиты ограбили универмаг. И ничего там особенного не было, никакого золота, а только довоенные женские платья, детские пальто, галоши, валенки. Их распределяли заводам, учреждениям и выдавали по ордерам.

Но для бандитов, видно, и валенки были не хуже золота. Мама в тот день ходила днем с работы в город и рассказала Михаське, что возле универмага полно милиции, но в милицию Михаська не верил, потому что там работали теперь женщины. Наганы тоже, говорят, все отдали на войну, и у теток-милиционерш их не было. Михаська сам видел, как у одной из кобуры торчала какая-то тряпка.

Словом, бандитов не нашли, но тут объявилась Фролова. Каждое утро и каждый вечер на улице появлялась толстая рябая тетка. В обеих руках она держала по крепкому кожаному ремню, а на ремнях были две овчарки. Тетка шла, откинувшись назад, по мостовой, и все, кто шел по дороге, жались к заборам, потому что овчарки были тощие, злые, тянули тетку в разные стороны и, казалось, были готовы кинуться на любого и тут же разорвать. Тетка время от времени кричала псам непонятные слова: «Фу!», «Брэк!» — и псы покорно шли вперед понуриив головы.

Михаська не любил овчарок. Овчарок фашисты напускали на наших раненых бойцов, когда их пытали. Псы хватали раненых за горло и душили их. Михаська сам читал об этом в газете, и любая дворняга, самая задрипанная, была в сто раз милее и лучше этих поджарых псов.

А Фролиха, говорили, жила за счет своих собак. Она приводила их в универмаг вечером и пускала с поводка. Овчарки свободно разгуливали между прилавками —

караулили универмаг, а Фролиха получала за них два пайка. Псов она кормила плохо, а все съедала сама, хотя получала еще и рабочую карточку как проводник сторожевых собак.

Все работали, делали снаряды, дежурили в госпитале или вот, как мать Свирида, шили кальсоны для бойцов, а Фролиха водила собак.

Потом вернулся с войны ее муж. Один рукав гимнастерки у него был засунут за толстый офицерский ремень. Но он и одной рукой управлялся с псами. А Фролиха стала торговать мороженым.

Странное дело, теперь Михаська не испытывал к Фролихе прежней нелюбви. Может, потому, что она стала честно торговать мороженым? Или потому, что и у Фролихи, как и у многих, муж вернулся инвалидом?

Михаська даже вздрогнул от собственной мысли: вот было бы здорово, когда муж Фроловой поведет из магазина собак, пойти овчаркам навстречу и пройти между ними, не побоявшись! Как партизан или как боец.

Да, это была бы штука! Небось Николай Третий не осмелился бы.

Уже виднелись ворота его дома. Он вздохнул. Нет, все-таки это невозможно — пройти между двумя овчарками...

5

Потом, уже вечером, Михаська снова перебирал все подробности этого дня. И как он шел, и как стоял около мороженщицы Фроловой и думал про Савватаея, и про овчарок, и про раненого, который спрашивал: «А где же Рая?» — и про того, который ел колесико мороженого.

Нет, все это было не зря. Ведь знал Михаська, что в тот день, который останется на всю жизнь, запомнятся все подробности и все мелочи, как в только что виденном кино. Зря он думал, что вторым днем будет тот, когда он рассчитается с Савватеем. Нет, оказалось, этот день ждал Михаську раньше, ждал, ждал и свалился на голову нежданно-негаданно.

Михаська помнил, как он шаркал по мостовой, потом пылил по тропинке, как заскрипела калитка и он прыгал на одной ноге со ступеньки на ступеньку вниз по лестнице, ведущей с улицы во двор.

Потом он увидел маленькую Лизу. Она смотрела на него радостно, будто видела в первый раз, и Михаська

подмигнул ей. У Лизы был нос пуговкой, вся она казалась какой-то тихой и прозрачной, как мотылек, и Михаська жалел ее.

Потом он увидел Ивановну, Лизину бабушку. Ивановна тоже улыбалась Михаське, и лицо ее, белое и морщинистое, будто мятая скатерть, вздрагивало, словно от испуга.

Потом Михаська увидел поленницу дров, а возле нее незнакомого человека в голубой майке. Человек стоял к нему спиной, и на голубой майке, прямо под лопаткой, белела маленькая дырка. Потом человек повернулся, увидел Михаську и улыбнулся ему.

Михаська улыбнулся ему тоже и подумал, что где-то видел этого человека, но вот где? Он так и не вспомнил, а человек в голубой майке медленно пошел Михаське навстречу, все так же улыбаясь ему. Потом он остановился, сунул руки в карманы и тихонько сказал:

— Михаська! Ну, Михаська!..

Он сказал это как будто с удивлением, а Михаська все никак не мог вспомнить, где же видел он этого человека.

Вдруг солнце, которое палило в спину, брызнуло прямо в глаза, и небо стало светлым-светлым, прямо серебряным, а может быть, красным, и Михаська уронил лопату.

Он пробежал несколько метров, которые их разделяли, стремительно и молча, до боли зачем-то сжав губы, и кинулся на шею человеку в голубой майке, ну прямо задушил его!

Он почувствовал колющую щеку человека и запах табака — наверное, самосада, потому что самосад курили раненые в госпитале и все солдаты курят самосад — и ощутил тепло кожи.

Михаська сжимал шею человека изо всех сил и свои губы сжимал, но солнце все равно светило в самые глаза, удивительно сильно светило, как не светит, если даже посмотреть прямо на него. Оно почему-то все палило и палило и мешало смотреть, и говорить, и дышать.

Сквозь какую-то духоту и туман Михаська увидел маленькую Лизу, прозрачную, как листок папиросной бумаги, и Ивановну. Лиза улыбалась, глядя на Михаську, а у Ивановны катились белые горошинки по лицу и голова вздрагивала крупнее и чаще.

Михаське вдруг стало стыдно чего-то, он отпустил

шею человека в голубой майке, встал с ним рядом и ткнулся ему лицом в живот. Они постояли так немного. Человек гладил и ерошил серые Михаськины волосы, а Михаська стоял и все не мог разжать свои губы, не мог открыть рта.

Потом он тяжело вздохнул.

Солнца не было перед глазами. Оно, как полагалось, жарило спину — правда, на ресницах что-то такое дрожало, мешало глядеть. Но тут и это исчезло, и Михаська увидел серые глаза, смотрящие на него сверху, и серые, совсем, как у него, волосы.

— Все? — выдохнул наконец Михаська. — Больше не уедешь?

И отец кивнул ему и вдруг схватил его под мышки, и Михаська с хохотом полетел в небо, вверх, и так взлетал в сильных отцовских руках, и хохотал, и видел стрижей, падающих к земле, и желтую поленицу дров, и Лизу, задравшую кверху лицо, и Ивановну. Он увидел сверху и мать, стоявшую у калитки, белую как полотно, и, взлетая, видел, как она сделала шаг вперед и медленно села на ступеньку дворовой лестницы.

Небо то поднималось, то летело ему навстречу, а отец в голубой майке с маленькой дырочкой под самой лопаткой тоже хохотал, глядя на Михаську, и ловил, и ловил, и ловил его...

6

Они ели потом завариху — муку, заваренную горячей водой. И Михаська уплетал ее за обе щеки, а маме это объединение сегодня не нравилось, что ли... Она брала ложку, глотала завариху и тут же клала ложку обратно, глядя на отца. Она как только увидела его, не отрывала от него глаз, будто боялась, что он исчезнет, растает, спрячется. Но отец не прятался никуда, а с аппетитом ел завариху, все шутил, смеялся и говорил маме, чтоб она ела.

Время от времени он тоже становился задумчивым, смотрел на маму, потом брал ее за плечи, поворачивал к себе и минуту глядел ей в глаза, ничего не говоря.

Так смотрели они друг на друга, забыв, наверное, и о нем, и глаза их становились необыкновенными. Михаська глядел на них и видел, как в глазах матери отражается маленький отец, а в глазах отца — маленькая

мать; и ему казалось, что они уходят от него в какой-то волшебный мир, ему непонятный, смутный взрослый мир, и там, в глазах друг у друга, уменьшившись совсем, они и в самом деле одни, без него, Михаськи. И Михаське становилось тоскливо. А отец и мать, будто почувствовав, что ему тоскливо одному, вдруг поворачивались к Михаське и улыбались ему.

Но проходило немного времени, и они снова смотрели друг на друга, и отец гладил мать, как маленькую, по голове. А мать снова смотрела на него, смотрела и видела только его.

Она стала совсем молодой, мама. Пока отец плескался под рукомойником, она открыла сундук и стала рыться в нем, а Михаську послала во двор махать чугунным утюгом, раздувать угли. Михаська раскалил утюг, и мама что-то гладила; но он не обращал внимания на эту возню матери, пока они не стали садиться за стол и мать не вышла из-за занавески в нарядном голубом платье с белыми горошками.

Михаська ахнул, а отец подхватил маму на руки и закружил ее. Но разве можно крутиться в их комнатухе! Отец тут же смахнул со стола фарфоровую чашку, на которой были нарисованы китайцы, гуляющие с зонтами. Чашку подарила маме ее мама, Михаськина бабушка, и мама очень берегла ее. Но тут она только рассмеялась и сказала, что посуда бьется к счастью, но все-таки отец отпустил ее и стал разглядывать и расхваливать вместе с Михаськой ее платье.

А когда наконец сели за стол и Михаська взглянул на мать, оказалось, что она очень похожа на девчонок из десятого класса женской школы, мимо которой ходил Михаська в свою начальную.

Мамины глаза сияли и были как небо и как платье, а волосы стали пушистыми, будто кудель, из которой Ивановна вечерами, когда Лиза читает ей по слогам вслух, вьет нить.

За столом отец похвалил маму за то, что она не продала свое довоенное платье, но мама ответила, что нет, это он ошибается — то платье она продала еще в сорок втором, а это купила на барахолке совсем недавно, к его приезду. И отец похвалил ее еще раз, уже за то, что какая она хозяйственная и сумела скопить денег на платье. Мама задумчиво качнула головой и сказала:

— Картошка все это, Витенька, все картошка. Кабы не она, что и было бы, не знаю я.

И тут Михаська стал рассказывать отцу про их участок за рекой: как ходили они туда, лишь только просохнет земля после разлива, потому что ведь поля заливные; как сажали картошку; как окучивали ее, а потом убирали. Отец смотрел на Михаську, слушал его внимательно, с интересом, как взрослого, и кивал головой.

— Да, — сказала мама, когда Михаська умолк. — Картошка — она наша спасительница, милая. Всю войну на ней; и вот Михасика вытянула — не дистрофик, не больной. Была бы верующая, свечку в церкви ей поставила, картошке нашей!

Отец затаился самосадам, хмурия лоб.

Они помолчали, думая каждый об одном — о войне, и каждый по-своему. Михаська почему-то снова вспомнил маленькую Лизу, которая еще в прошлом году только пошла в школу, а всю войну ходила по двору тихой тенью, и о бабушке Ивановне. О том, как стала трястись голова у Ивановны, когда умерла мама Лизы и Катьки.

— На днях сходим, — помолчав, сказал отец, — к вашей кормилице.

— К нашей кормилице. Теперь — к нашей...

Потом они перебрались на сундук все втроем и долго сидели обнявшись; и отец рассказывал, как его ранило осколком, и ведь это здорово, что прошел всю войну, а ранило хоть тяжело, но один раз — не всем так везет. Мама потребовала, чтобы он снял майку, и отец послушно ее снял. Михаська увидел сине-фиолетовый рубец на отцовской спине и потрогал его пальцем. Кожа была там гладкой и блестя.

Мама чуть-чуть дотронулась до рубца и вдруг, всхлипнув, заплакала. Отец ничего ей не сказал, только опять обнял и снова погладил по голове. Мама успокоилась и стала говорить, каких раненых видела за войну в своем госпитале, как умирали люди; и наверное, им было страшнее умирать здесь, за столько километров от фронта, потому что они почти все умирали тяжело... Но она принимала все это как необходимое — война ведь, а сейчас вдруг, когда отец показал свою рану, испугалась, что его могли убить, пройди осколок чуть дальше, и отца бы теперь не было...

— Смерть будто холодом дохнула, — сказала она. —

Вот, говорят, судьба — не судьба. А кому судьба умирать? Нет такой судьбы, всем судьба жить, а вот умирают. Бабы толкуют: а как же, мол, кто-то должен погибнуть... И как тут быть — кто должен, кто не должен...

Уже смеркалось, и мама вдруг спохватилась, стала искать авоську и складывать белье.

— Мужики, в баню! В баню, мужики! — кричала она. И почему-то было ей приятно повторять это слово — «мужики».

Отец хотел было идти в простой рубашке, но Михаська заставил его надеть гимнастерку с двумя медалями «За отвагу», и с орденом Красной Звезды, и с другими медалями — за освобождение разных городов.

Эх, как жалел Михаська, что в сумерках плохо видны отцовские награды! Да еще, как назло, никто не попадает из знакомых ребят.

В бане было полно народу, очередь в мужскую мойку извивалась как змея. Они пристроились в хвосте, за каким-то стариком.

Михаська вспомнил, как он первый раз пришел сюда, в мужскую баню. Совсем один. Это было в первом классе.

Вначале он, конечно, ходил с мамой, как все маленькие мальчишки. Но однажды они пришли мыться, и в бане Михаська увидел Юлию Николаевну.

Мама еле уговорила Михаську раздеться и вымыться. Он согласился, если только их не увидит Юлия Николаевна. В мойке стоял пар, но она их все-таки заметила. Михаська прямо сгорал от стыда из-за того, что учительница увидела его в таком виде и он ее тоже. Хорошо, что Юлия Николаевна не подошла тогда к ним. А то что бы он стал делать? Наверное, убежал бы из бани.

Но Юлия Николаевна не подошла, кивнула им с мамой издали и очень быстро ушла. Михаське показалось, что она даже не домылась.

После этого случая Михаська в женскую баню ходить наотрез отказался. Мама спорить не стала, поняла и мыла теперь его дома, в той самой ванночке, где Михаську купали, когда он был еще грудным.

В ванночке он не помещался, приходилось мыться стоя, вода текла ручьями по комнате, и мама ругалась. Однажды зимой стало туго с дровами, мама никак не

могла получить машину дров, хотя ордер на них был, и Михаське пришлось одному идти в баню.

Мама долго учила его, как надо мыться, как вытираться, как следить, чтобы не украли белье, а то он останется голый.

Это-то было уж ни к чему. Михаська и сам слышал, как у одного дядьки в бане унесли белье и он остался совсем голый, пока кто-то не сходил к нему домой и не сказал, чтоб ему принесли во что одеться.

Для дядьки сходили — ясное дело, а вот кто пойдет, если утащат белье у мальчишки?

И Михаська пошел в баню, боясь, что с ним обязательно что-то случится.

Он припомнил, как еле открыл тогда тяжелую, разбухшую от воды и пара деревянную дверь в мойку, как налил в шайку кипятку и тихонько окатил край каменной скамьи. Потом он долго плескался в своей шайке, тер с мылом руки, вымыл и грудь, и ноги, и голову, попробовал дотянуться мочалкой до спины, но не дотянулся. Мама говорила ему, собирая в авоську белье: «А спину попроси потереть какого-нибудь дядю».

Михаська оглянулся, выбрал парня, который сидел к нему спиной на соседней скамейке и усердно тер свою шею.

— Ну держись... — сказал ему парень и начал драть Михаськину спину так, будто хотел снять с него кожу.

У Михаськи навернулись слезы.

Парень оказался веселым, все спрашивал, на каком фронте у Михаськи отец, и Михаська не знал, что ответить. Один же фронт — там, где сражаются. Михаське парень понравился; он все думал, что бы такое сделать для него, наконец сообразил предложить теперь ему потереть спину. Но парень улыбнулся, показав зубы, ответил, что уже натерся, спасибо, и дальше они словно познакомились. Парень нет-нет да и поглядывал на Михаську, подмигивал ему, и, когда пошел одеваться, Михаська увязался за ним, наскоро окатившись.

Парень оделся быстро. Михаська едва успевал за ним. Выходя, парень сказал пожилому банщику:

— Спасибо за баньку, папаша!

И Михаська тоже повторил за ним:

— Спасибо за баньку, папаша!

Банщик засмеялся и шлепнул его легонько сухим березовым веником.

За воротами их с парнем дороги расходились, они приветливо подмигнули друг другу на прощание, и Михаська подумал: как здорово, если бы все люди были такие.

С тех пор Михаська стал своим человеком в этих длинных банных очередях. Он всегда брал с собой географию или еще какой-нибудь учебник и, пока стоял в очереди, выучивал урок наизусть. После бани он получал пятерки, и поэтому ходить туда Михаське нравилось.

Всяких людей видывал он в этих длинных банных очередях. Особенно Михаська завидовал мальчишкам, у которых есть дедушки, а значит, есть с кем ходить в баню. А раз он видел старика, который пришел в баню с маленькой девчонкой. Сначала Михаська засмеялся — такое он видел впервые: в женской бане мальчишек много — это да, а чтоб девчонка мылась с мужчинами?

Но потом он призадумался: чего ж тут смешного? Мальчишки ходят с мамами в баню, потому что у них нет отцов, они на войне, а вот если девчонка идет с дедом — значит у нее нет мамы? Или, может, она тоже на фронте? Он испугался: а вдруг маму у этой девочки убьют? Потом он решил, что, наверное, просто маме этой девочки некогда: может, она на суточном дежурстве или уехала куда-нибудь? Сразу стало веселее, потому что Михаська не мог представить, что было бы с ним без мамы.

Видел Михаська в очередях и раненых, приехавших домой на поправку после госпиталя, обязательно с мальчишками, сыновьями, и очень завидовал этим мальчишкам. А когда пришло письмо от отца, где чьей-то рукой от его имени было написано, что он ранен, Михаська подумал, что, наверное, его отец тоже заедет домой из госпиталя и тогда они пойдут мыться вдвоем.

И вот теперь Михаська вспомнил, как хотел пойти с отцом в баню. Они стояли в своем темном уголке, очередь почти не двигалась, а Михаське так хотелось, чтоб они поскорее вышли на свет и все — и парни, и старики, и мальчишки — увидели бы его отца в гимнастерке

и с медалями, которые негромко позвякивали друг о друга.

Старик впереди все крутился, топтался, дымил, о чем-то говорил с соседями, и Михаська подумал, что, если бы это он, Михаська, так крутился все время и рядом была мама, он уже давно схлопотал бы по макушке. Михаська рассмеялся, представив, как получил бы по макушке от мамы этот вертлявый старичок.

Старик обернулся, как будто понял, что Михаська смеется над ним, пристально посмотрел куда-то чуть повыше Михаськи и вдруг громко сказал:

— Что же такое творится, граждане?

Он сказал это и протянул руку в сторону Михаськи. Все стали оборачиваться и смотреть на Михаську, и он покраснел и уже сто раз обругал себя за то, что засмеялся над стариком.

— Что же это такое творится, православные?

«Вот еще, — подумал Михаська, — на попа наврался».

— Прошел человек войну, — продолжал старик, — домой, наверное, вернулся, в баньку попариться, известное дело, пришел.

Михаська вздохнул, и краска стала сходить с него. Он обернулся. Сзади стоял отец. Так вот на кого смотрели все! На отца!

— А мы его тут в очереди держим! — кричал старик.

Очередь вдруг зашумела. Михаську обняла какая-то теплая волна, заполнила его до самых краев — еще бы, вся очередь, целых, наверное, сто человек смотрели на отца, и улыбались ему, и говорили про него! И конечно, уже все видели его гимнастерку, и медали, и орден Красной Звезды, который отец называет просто звездочкой.

— А ну-ка, товарищ старшина, — закричал снова старик, — давай проходи вперед!

— Да что вы, — сказал отец, — постоим, отдохнем, теперь торопиться некуда.

— Нет, нет, — закричал шустрый старик, — торопись! Торопись отдыхать, а то скоро снова за работу! Давай, говорю, проходи!

Отца стали подталкивать, очередь перед ним расступилась, и он пошел вперед, а Михаська за ним, чув-

ствуя на себе завистливые взгляды мальчишек... Кто-то даже легонько толкнул его в бок.

...Уже засыпая, разморенный от жаркой бани и горячего чая, Михаська подумал, радостно удивляясь: вот он, оказывается, какой был второй длинный день...

Часть вторая

«ТОШКА-ТОШКА-ТОШКА-ТОШКА...»

1

Михаська любил смотреть на облака.

По дребезжащей железной лестнице он забирался на плоскую крышу. За дальней трубой, возле слухового окна, у него было любимое местечко. Если лечь на спину, Михаську здесь даже с крыши не видно, а с земли тем более. Это местечко он нашел еще в войну, когда учился во втором классе. Тогда по вечерам назначали дежурных по крыше на случай бомбежки. Впрочем, вскоре эти дежурства отменили, потому что фашистские самолеты до их города долететь не могли. Воздушную тревогу тоже объявили всего два, наверное, просто так, на всякий случай. Михаська помнил тот вечер. Незадолго до этого они с мамой, как и все жильцы, обклеивали свои окна белыми полосками бумаги крест-накрест. На верхнем стекле крест, на боковых тоже по кресту. Все говорили, что это очень помогает. Если бомба упадет, то стекла с такими полосками не разобьются. Михаська, признаться, мало этому верил, потому что даже простой небольшой камешек для стекла — гибель, а тут бомба!

А через несколько дней вечером завывала сирена, и мама закричала на Михаську, потому что он копался — у него не застегивались пуговицы на пальто.

Когда они вышли из дому, по черному небу шарили лучи прожектора и время от времени освещали самолет.

Но самолет был наш, четырехкрылый «кукурузник»; таких у немцев не бывает.

Мама все торопила Михаську, а он говорил ей, чтоб она не спешила, потому что самолет наш. Бомбоубежище было далеко, и они не успели до него дойти, как тре-

вогу отменили, и они пошли домой. Михаська говорил маме: «Ну, видишь, видишь, ведь я говорил...» Мама ничего не отвечала и только вздыхала.

А на крыше все тогда оборудовали по-настоящему. В разных концах поставили ящики с песком, возле слухового окна — бочку с водой и прямо к бочке прибили два гвоздя, загнули их и на крючки повесили ведра.

Это Михаське нравилось. Было похоже на корабль. Там тоже висят ведра, только белые с красной полосой.

Но бочка так и не пригодилась. Песок потом растаскали по крыше ребята, а ведра унесли обратно в домоуправление.

Осталось от всей тревоги одно Михаськино тихое местечко за трубой.

Он иногда приходил сюда, ложился на спину, ощущая жар нагретого железа, и смотрел в небо, на облака.

Облака мчались перед ним, как белые паруса и как дикие звери, каких даже в сказках не бывает. Иногда они походили на фашистов — ощеренные морды в рогатых касках, и тогда Михаська сражался с ними, расстреливая их — «ты-ты-ты-ты!» — из автомата.

Теперь воевать не надо, фашистов разгромили, и Михаська блаженствовал на крыше просто так.

А фашисты, вон они. Михаське видно отсюда, как за тесовым забором с колючей проволокой копошатся зеленые фрицы — строят новый дом. «Правильно, стройте, стройте, — подумал Михаська. — Рушили всё, теперь стройте».

Вот ведь ерунда какая: будто назло все про войну да про фашистов думается и из головы не выходит!

Он уставился на облака, стараясь представить какие-нибудь цветы, но там, на небе, все получались только взрывы.

Михаська зажмурил глаза и решил, что нарочно больше не будет думать про войну и разглядывать в облаках эти взрывы.

Он подумал про отца и открыл глаза.

Над головой плыли цветы из облаков.

2

В прошлое воскресенье они все-таки сходили за реку, на свой участок.

Солнце словно играло в прятки — то выглянет и

припечет, будто в середине лета, то скроется за тучу, и тогда сразу дохнет близкой осенью.

Они шли от тени к свету и снова попадали в тень, будто переходили с острова на остров, и было здорово идти по островам, взявшись за руки, — мама, отец и Михаська.

Иногда Михаська оставлял их вдвоем и бежал далеко вперед, а потом останавливался и смотрел, как они идут к нему.

Сначала их лица казались маленькими пятнами, потом они приближались, и Михаська смеялся, потому что ему было приятно смотреть на них, видеть, как лохматит ветер волосы отца и он жмурится на солнце, смотреть, как мама то и дело подпрыгивает, подбирая шаг, а потом идет широко, в ногу с отцом, но у нее ничего не выходит, она снова подпрыгивает, и это очень смешно, потому что мама походит на курицу, которая хочет взлететь, а не может.

Они подходят ближе, ближе, а Михаська пятится, но они наступают на него, и он смеется и отбегает снова...

Картофельное поле тянется сразу за сосновым леском. Лесок небольшой и насквозь просвечен солнцем.

Их участок у самого ручья, так что можно напиться, зачерпнуть фуражкой, как ковшом, прозрачной, будто воздух, воды и глотать ее, пока зубы от холода не заноят.

— Ну вот, — говорит мама, — пришли. Поклонимся нашей кормилице. — И первая кланяется.

Михаська хотел улыбнуться, но отец поклонился картошке тоже серьезно и даже задумчиво.

Михаська вспомнил, как копали они картошку и мама тащила на спине тяжеленные мешки к дороге, где ждала подвода, а потом картошку раскладывали дома, прямо на полу в комнате, чтоб она просохла на зиму, и в комнате долго держался сладковатый запах земли и картошки. Всю зиму жарили ее, и варили, и толкли, делая из картошки кашу.

Михаська подумал-подумал и поклонился тоже. Наверное, было смешно смотреть со стороны. Стоят трое людей и кланяются: чему — неизвестно, ровному полю.

Они присели возле ручья, и Михаська услышал, как журчит вода. Он сунул в нее руку и схватил со дна гальку, подбросил ее на ладошках, стал разглядывать.

В кучке серых камешков один был прозрачный. Михаська повернул его к небу, и камешек стал голубым, положил на траву, он стал зеленым, а повернул к солнцу, и камешек засверкал яркими брызгами, будто сам был кусочком солнца.

Отец потрепал ботву. Кое-где на ней болтались гроздь зеленых яблочек с семенами.

— Знаете, — сказал отец, — а ведь есть песня про картошку.

Он скинул рубашку и майку и теперь лежал на спине, подставив грудь солнцу.

— Знаем, — сказала мама, ласково погладила отца по щеке и положила свою голову ему на грудь, к самому сердцу.

— Нет! — закричал Михаська. — Я не знаю!

— А мы знаем, — сказала мама.

— Ну вот, — ответил Михаська, — и спойте!

— А что, и споем, — сказал отец. — Споем, а? Нашу пионерскую?

— Вот уж да! — улыбнулся Михаська. — Пионерскую про картошку?

А отец и мама весело запели:

Рас-скажите-ка, ребята-бята-бята-бята,
Жили в лагере мы как-как-как.
И на солнце как котята-тятя-тятя-тятя,
Грелись этак, грелись так-так-так!

Михаська засмеялся. Уж очень забавные были слова у песни — «тятя-тятя-тятя» или «бята-бята-бята». Мама и отец допели песню, и Михаська попросил, чтобы они спели еще, и теперь уже подпевал им:

Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка-тошка,
Низко бьем тебе челом-лом-лом...

Потом они посидели еще немного, погрелись на солнышке, побрызгались водой из ручья, и мама визжала на все поле, а потом спели еще про картошку, и этот веселый мотив никак не выходил у Михаськи из головы.

Даже дальняя дорожка-рожка-рожка-рожка
Нам с тобою нипочем-чем-чем...

— Эх, — сказал вдруг отец, — долго ждать!
Мама кивнула головой, а Михаська спросил:

— Что долго ждать?

— Да вот решили мы с мамой, сынок, — ответил отец, — построить свой домик. Уж очень тесно живем.

— Избушку на курьих ножках? — спросил Михаська, думая, что отец смеется.

— Эх ты, сказочник! — Отец обнял Михаську за плечи. — Нет, настоящую избушку. Пусть небольшую, да свою.

— А зачем? — удивился Михаська.

Ему нравилась их маленькая уютная комнатка с желтым полом, таким желтым, что казалось, кто-то опрокинул яичницу. Ему стало жалко Ивановну, маленькую Лизу, Катьку, уютное местечко на крыше и весь их большой старый дом, без которого он не мог представить себя.

— А затем, — весело крикнул отец, — что хватит! Навоевался я? Ох как навоевался!.. И хочу теперь жить по-людски! Хорошо! Вольно! И чтоб всего было вдосталь! И еды, и воздуха, и света! Потеснились, хватит! Будет и у нас дом!

А мама сказала задумчиво:

— Надо, чтобы была кухонька с печкой. И хорошо бы две комнатки: светелка и горница.

— Будет, будет и светелка и горница! — сказал отец. — А когда станет холодно, мы с Михаськой залезем на печку и будем рассказывать друг другу сказки. А, Михаська?

Это Михаське понравилось. Он представил домик под старым тополем, ветер, снег, а они с отцом лежат на горячей печке и рассказывают сказки, а мама печет пирожки с грибами и луком. Он улыбнулся, а отец хлопнул его по плечу, как равного, и сказал:

— Ну вот, видишь!

И они еще раз спели песенку о пионерской картошке. А ветер шумел в траве, журчала вода в ручье, перекатываясь через белый камень, и солнце разбрасывало по земле свет и тени, будто сказочные острова.

Михаська смотрел на облака, лежа на траве, и громко пел:

Пи-онерская картошка-тошка-тошка-тошка,
Объеденье для ребят-бят-бят..

Ему нравилась эта песенка. Только Михаська никак не мог представить отца и маму пионерами, хотя песню эту они пели, когда были такими, как он теперь.

— Тошка-тошка-тошка-тошка! — весело орал Михаська. — Бят-бят-бят!

А облака плыли над ним, похожие на кудрявые белые цветы.

Когда они возвращались, отец вдруг стал серьезным и сказал, как тогда, на поле:

— Вот только долго ждать. Тут за год на дом не заработаешь.

А мама грустно вздохнула.

Они шли по дороге, и Михаська перебегал с острова на остров...

3

Михаська ходил за отцом хвостом. Куда отец, туда и он. Пошлет мама отца на рынок, и Михаська с ним. Пойдет отец просто по улице прогуляться, и Михаська тут как тут.

Когда мама брала его за руку, Михаська сейчас же вырывался: что он, маленький? А отца сам за руку брал, чтобы все видели — это его батя.

И вот что интересно: куда бы они ни шли, отец, как мальчишка, по сторонам глазееет, улыбается. Михаське с ним интересно. Раз шли и увидели льва на воротах. Каменного, конечно. Сколько раз Михаська его видел, льва этого. И никогда не думал, почему это на воротах лев, не собака там или еще кто. А отец остановился, кивнул льву, как старому знакомому, и рассказал Михаське, что львов на воротах ставили купцы. До революции это было. Если на воротах лев, значит, тут купец живет.

Отец ходил по улицам так, будто все в первый раз видел. И все наверх смотрел, на крыши, на деревья. Ворот у гимнастерки расстегивал, чтоб дышать легче.

Так они и ходили вдвоем: куда отец, туда и Михаська.

Однажды отец решил зайти в пивную, выпить кружечку. Михаське сказал, чтобы подождал на улице, но он увязался за отцом.

Пивная была в маленьком подвальчике. Пахло дрожжами и чем-то мокрым. Отец взял кружку пива и сел.

за столик. Народу было невпроворот: все вокруг гудело, шумело; пластами плавал седой дым.

Отец выпил кружку и хотел уже уйти, как его кто-то окликнул. К столику медленно, боясь расплескать пиво, двигался человек. В каждой руке он нес по три пивные кружки.

— А-а, Седов! — сказал отец. — Пропиваешь состояние?

Седов не обиделся.

— Не угадал, — ответил он, — как раз обмываю состояние. Вот корову купил.

Он показал на какого-то старика — видно, колхозника.

— По поводу ценной покупки, — сказал он, — прими кружечку. — Седов подул на кружку; хлопья пены полетели на пол.

Они выпили, и отец уже не посмеивался над Седовым, а все расспрашивал его о корове.

— Молочко буду теперь пить, — говорил Седов. — Ты знаешь, молоко с пивом, — во, говорят, выходит!

— Где же ты денег столько взял? — спросил отец. — Корова-то, поди-ка, и правда целое состояние стоит?

Седов захохотал. Лицо у него было и так круглое, будто блин с ушами, а когда он смеялся, становилось еще круглее и глаза совсем закрывались — одни щечки только.

— Хочешь узнать? — спросил Седов, наклонил свой блин к отцу и зашептал ему на ухо, хрипло похихтывая.

— Ну и скотина же ты, Седов! — сказал отец и поморщился, будто зубы у него заболели.

Михаська подумал, что сейчас Седов вскочит, грохнет кулаком, начнет орать, но он не грохнул и не заорал.

— Захочешь жить по-человечески, — сказал он ласково, — поймешь, что к чему.

— Я же воевал, — сказал отец, — в разведке служил! За кого ты меня принимаешь?

— Вольному — воля, — сказал Седов серьезно, и Михаська увидел, что глаза у этого блина колючие. — Никто за рукав не тянет. Война — это одно, а мирная жизнь — другое. Тут разведчики не требуются, все уже разведано. Только выбирай...

Отец не ответил ему, кивнул, прощаясь, взял за руку Михаську, и они пошли домой. Отец застегнул воротник, глядел под ноги, хмурился и молчал. Перед самым домом спросил:

— Хочешь, Михаська, молока с пивом?

Михаська мотнул головой: молока, конечно, можно, но зачем же с пивом?!

— А вот я, представляешь ли, хочу, — сказал отец задумчиво. — Только как?

— Нет, лучше молоко отдельно. А пиво сам пей, — сказал Михаська.

Отец усмехнулся и положил на Михаськино плечо свою руку.

— Только как? — повторил он, будто и не слышал Михаську.

Про что это он?

4

Мама затеяла стирку, а их прогнала. И они пошли в кино.

Фильм назывался «Маугли» — про то, как мальчишка жил в джунглях. Кино Михаське понравилось, но все время, пока он его смотрел, будто что-то давило на Михаську.

Вдруг его словно ударило — марки! Отцовский альбомчик с марками, которые отнял Савватей. Там были такие же джунгли, как в фильме.

После кино они опять медленно пошли по улице. Отец снова глазел по сторонам и расстегнул воротник, а Михаська все мучился и не знал, как рассказать о марках.

Если всю правду — стыдно, что отдал альбом Савватей, даже не ударил его. Если соврать что-нибудь... А отец вдруг рассмеялся и сказал Михаське, что, когда был маленький и прочитал книжку про Маугли, он хотел убежать в Африку. Да раздумал, потому что не знал, где Африка — за рекой или, наоборот, в другой стороне.

Они засмеялись. Михаська крепче сжал руку отца, и марки сразу ушли куда-то в сторону. Эх, как здорово идти вдвоем! И хорошо, что мама не пошла, осталась стирать. Вдвоем с отцом лучше. Идут двое мужчин и смеются — вот и все.

Вдруг отец словно врос в землю.

На асфальте, под забором, на деревянной тележке с шарикоподшипниками вместо колес сидел безногий инвалид.

Одет он был во все военное: офицерское галифе, подрезанное и ушитое на обрубках ног, и гимнастерка без погон. На гимнастерке висели медаль «За отвагу» и гвардейский знак.

Перед тележкой лежала перевернутая пилотка со звездочкой, а в ней всегда были монеты и даже бумажные рубли — Михаська не раз видел тут этого инвалида.

Однажды инвалид ехал на своей тележке пьяный. Когда пьяны обычные люди, они шатаются на ногах, а этот мчался на своей тележке по улице, подшипники жужжали, как самолеты, а он орал:

— Эх, раз-зойдись! Гвар-р-дия едет!..

Улица шла под уклон, инвалид разогнался, отталкиваясь деревяшками с ручками, его тележка неслась быстрее машин, а он все разгонялся и разгонялся, орал и орал. Вдруг крик стих, и Михаська увидел, как тележка зацепилась за что-то и инвалид рухнул на землю. Его протащило по инерции еще несколько метров, какие-то люди бросились к нему, чтобы помочь, но он заматерился и поднялся сам. Рукав гимнастерки был разодран. И вдруг инвалид заплакал пьяным голосом, прямо заревел на всю улицу; и прохожие притихли, остановились, молча смотрели на него. Даже грузовушка с дровами — мимо ехала — затормозила и тетка-шофер высунулась из кабины. А инвалид медленно поехал сквозь людской коридор к своему месту у забора...

Весь город, наверное, знал его. Один отец не знал. Но чего же стоять как вкопанному? Михаська посмотрел на отца. Тот не отрываясь глядел на инвалида. Потом переступил с ноги на ногу, сказал негромко:

— Вон оно как, значит... Не пожалела война Серегу...

Инвалид был выпивши. Он дремал, не обращая внимания на людей, иногда вздрагивал всем телом, просыпался и кричал:

— Подайте гвардейцу на сто грамм!

Он обводил улицу мутным, тяжелым взглядом, будто дразнил всех: ну-ка, мол, не подайте, хоть я и на водку

прошу! Монеты глухо падали в пилотку, а он снова вешал на грудь нечесаную голову и всхрипывал.

Звездочка на перевернутой пилотке была вниз головой, и Михаське захотелось подбежать к инвалиду, отцепить побыстрее от пилотки звездочку, чтобы не пылилась она здесь, не лежала у ног прохожих, не просила подаяния. Он подумал нехорошо про инвалида; он подумал, что, наверное, безногий нарочно не снимает звездочку, и медали не снимает, и гвардейский знак, и нахально кричит так тоже не зря — хочет просто побольше получить... Но тут же он представил себя без обеих ног, и ему стало стыдно своих мыслей. Без ног — это ужасно, это страшно, без ног же невозможно.

Михаська посмотрел на отца.

Тот все стоял, внимательно глядя на инвалида, и черная морщина разрезала лоб, и брови почти сходились на переносье.

— Здорово пьет, горемыка, — сказал он.

— А ты его знаешь? — спросил Михаська.

— Знаю, знаю... — быстро сказал отец. — Как же не знать, воевали вместе. Да пойдем-ка!

Он крепко схватил Михаську за руку и потащил на другую сторону улицы. Отец шел быстро, и спокойствие и веселье, которые были в нем только что, враз куда-то исчезли. Он торопился, будто за ним кто-то гнался, кто-то глядел на него, а отец не хотел, чтоб его узнали и догнали.

— А то увидит, не отвяжешься, — сказал он, снова взглянув на инвалида.

Михаська даже не сразу понял, что сказал отец. Только что, минуту назад, он смотрел на инвалида нахмурившись, стиснув зубы, и Михаська подумал, что отцу, наверное, нелегко смотреть вот так на человека, у которого война отняла ноги. Может, он подумал о себе — ведь и он мог прийти с фронта таким же!

Михаська думал, отец жалеет инвалида, а он вон как...

Они перешли на другую сторону, и отец сразу успокоился, снова стал веселым.

Будто и не было инвалида.

Михаська представил себя на месте отца. А вместо инвалида — Сашку. Неужели, неужели он смог бы, как отец?.. Рядом воевали... Конечно, это правда, что гово-

рит отец. Будет Серега клянчить деньги на водку. Но что же тут поделаешь?

Михаська подумал, что хотел рассказать отцу про марки, про Савватя, но сейчас это было таким мелким и никчемным...

Он только снова посмотрел на отца.

Долго-долго...

5

А потом пришло первое сентября.

Весной, когда Михаська кончал четвертый класс, он думал, что теперь придется переходить в другую школу. Он даже потихонечку гордился, что уже кончил одну школу, как говорила Юлия Николаевна, получил начальное образование и теперь ему надо переходить в среднюю.

Это все-таки не так просто, не раз чихнуть — кончить начальную школу. Михаська первый раз в жизни сдавал экзамены и, конечно, страшно боялся. Но изложение написал на пятерку и остальные экзамены, которые Юлия Николаевна почему-то называла испытаниями, сдал хорошо и получил свидетельство об окончании начальной школы — большой белый лист, где были поставлены отметки по всем предметам.

Когда Юлия Николаевна торжественно, как и всем ребятам, вручила Михаське лист, ему стало совсем грустно и не захотелось никуда переходить, ни в какую другую школу. Все ребята тоже говорили, что им никуда не хочется уходить, что лучше бы всегда здесь учиться, с Юлией Николаевной. Она улыбалась, говорила, что все равно она учит только до четвертого класса, но тут их начальную школу переделали в семилетнюю смешанную, и весь Михаськин класс остался в старой школе.

Так что первого сентября Михаська не пошел, а поскакал в свою школу, будто кенгуру. Перед первым уроком он поиграл в чехарду во дворе, поспорил со Свиридом, что орден Красной Звезды ничуть не хуже боевого Красного Знамени, потому что красная звезда и красное знамя ведь одно и то же: они всегда вместе и друг без друга не обходятся.

Потом загремел звонок — Ивановна вышла во двор со своим медным колокольчиком на деревянной ручке, у которого даже язычок оторвался — столько он зво-

нил, — и вместо него телефонным проводом была примотана железная шайба, и потому колокольчик не звенел, а гремел.

Когда они расселись, в класс вошла Юлия Николаевна с каким-то человеком в очках, высоким и бритоголовым. Она ему еле до плеча доставала.

— Ну вот, — сказала, — вы совсем взрослые. Уже пятиклассники. Теперь у вас будет не один учитель, а много. Учитесь дальше...

Она была в том же самом платье, что и в День Победы, — с белым воротничком из кружев, а на платье два ордена Ленина.

Все ребята гордились Юлией Николаевной — еще бы, у нее было сразу два ордена! И каких! Ни у одного учителя во всем городе нет таких наград. Мама говорила Михаське, что Юлия Николаевна была учительницей еще при царе — вот сколько она уже работала!

Девчонки стали пищать, что Юлия Николаевна от них уходит, но она погрозила им пальцем и ушла.

Был бы Михаська девчонкой, он тоже бы запищал, ничего в этом удивительного нет. Он вспомнил, как Юлия Николаевна, когда они были первыши, вторыши, да еще и в прошлом году по утрам, перед первым уроком, доставала из своего портфеля серую коробочку и маленькую ложку. Потом она ходила между партами и всем давала маленькие сладкие шарики из своей коробки. Витаминки.

Витаминки-то все ели, причмокивая, а вот когда в большую перемену Ивановна принесла ведро с зеленой водой — хвойным отваром, Юлии Николаевне приходилось смотреть, чтобы кто-нибудь не выплеснул отвар в цветочные горшки — зеленая водичка была горькая и невкусная. Юлия Николаевна не уходила в учительскую, заставляла всех пить и приговаривала, что это пить сейчас надо обязательно.

По субботам после уроков она оставляла самых хилых ребят и вела к себе домой. Дома она поила их горячим чаем, и не с сахарином, а с настоящим сахаром.

Михаська тоже пил у нее этот чай. Юлия Николаевна что-нибудь рассказывала при этом интересное и говорила, чтобы все пили, не стесняясь, потому что от сладкого чая получается у человека много крови. Иногда к чаю был хлеб с маслом.

Юлия Николаевна поила чаем не только ребят из Михаськиного класса, но и из других, а маленькая Лиза, внучка Ивановны, ходила сюда, когда еще даже и не училась совсем.

Ивановна сказала однажды Михаськиной маме, что за два ордена Ленина Юлии Николаевне положено получать деньги. Она сначала отказывалась от них, а потом стала получать и на эти деньги покупала на рынке настоящий сахар и витамины. А хлеб с маслом она покупает на свою зарплату и говорит, что живет она одна, поэтому, мол, ей хватит, а ребят накормить надо.

Такая была Юлия Николаевна. А теперь она уходила. Снова к малышам. Будет учить их, как писать и считать. И снова будет кормить их витаминками.

Михаське стало горько. Он подумал, что Юлия Николаевна была ему как бабушка.

Он не знал, какие бывают бабушки, но, наверное, такие, как Юлия Николаевна.

6

Теперь на каждом уроке — русском, математике, истории — были разные учителя. Это оказалось интересно, потому что все они были очень разные люди.

Бритоголовый математик Иван Алексеевич, которого за круглую голову с круглыми, торчавшими в сторону ушами сразу прозвали Шариком, Михаське понравился, не то что Русалка — Нина Петровна.

Когда кто-нибудь из ребят выходил к доске и не мог решить задачу, он не сердился, а удивлялся: в чем дело — ведь задача вон какая легкая, — а потом, когда наконец задача получалась, все решали еще одну, похожую, и тот, кому не повезло, уже быстро с ней разделялся и, хотя получал жалкую тройку с минусом, уходил на свою парту красный от удовольствия. Иван Алексеевич вообще очень любил плюсы и минусы. Он ставил двойки, тройки, четверки с минусами и плюсами, а самыми крайними оценками у него были единица с минусом и пятерка с плюсом. Правда, такие отметки он ставил очень редко: например, если уж кто-нибудь обманет его на контрольной или так решит задачку, что даже учитель удивится. Однажды Свирид такой номер выкинул.

После контрольной, когда раздавали тетради с отметками, Шарик вдруг вызвал Сашку и сказал ему:

— А ты знаешь, Свиридов, у тебя ответ не сошелся. Сашка опустил голову.

— Но ты все-таки молодец! — сказал Шарик. — Ты решил задачку по-своему. Я тебе пятерку поставил. Даже с плюсом. Садись.

Сашка покраснел до макушки, а Иван Алексеевич встал и заходил по классу.

— Да! — говорил математик. — Трижды да! Пусть всегда вас гложет червь сомнения!

Михаська усмехнулся тогда: за что это его должны грызть какие-то черви, но заметил — почему-то ребята реже стали звать учителя Шариком.

Кроме математики, Иван Алексеевич преподавал у них физкультуру. Это, конечно, забавно: и на серьезной математике, и на несерьезной физкультуре — один учитель! Михаська заметил, что Иван Алексеевич и сам как будто этому удивляется. Но учителей не хватало. А на физкультуре он даже иногда играл с ребятами в футбол, если в одной команде не хватало игроков.

Ходил Иван Алексеевич и на математику и на физкультуру в офицерском кителе без орденов, только на груди желтела, краснела и снова желтела трехцветная полоска. Это означало, что у него два тяжелых ранения и одно среднее. И, хотя у Ивана Алексеевича были целы и руки и ноги, Михаська, выдавший в госпитале у мамы тяжелораненых, жалел его.

7

Ну а Русалка, Нина Петровна, была совсем другой. Русалкой ребята прозвали ее не за длинные волосы, а за то, что она преподавала русский язык. Нина Петровна всегда будто куда-то торопилась; и если кто плохо отвечал или забыл немного, она тут же сажала на место и ставила двойку. Нужно было потом за ней ходить и кланяться, чтобы вызвала снова.

Ребята ее боялись и не любили, и Михаська тоже не любил. У Юлии Николаевны он за изложение на экзаменах получил пятерку и считался в прошлом году лучшим «русаком», а теперь выше тройки подняться никак не мог.

Однажды Нина Петровна вывела в его дневнике

жирную двойку. Это была первая двойка в новом году, и Михаська страшно расстроился, тем более что урок был проще простого — суффиксы — и он его знал, только почему-то растерялся и не смог назвать примеры.

Он еле досидел до конца уроков и побрел куда глаза глядят. Домой идти не хотелось, он проводил Сашку Свирида, погулял еще и неожиданно для себя оказался на рынке.

Рынок кишел народом. Какой-то солдат держал в обеих руках по буханке хлеба и торговался со старухой. Тетка, обмотанная в цветастую шаль, топталась возле деревянного забора, к которому кнопками были прикреплены странные картины — лебедь с женской головой, плывущий по гладкому озеру, а на берегу человек с кривой саблей на боку. Картины были все одинаковые, только на одной из них у дядьки с саблей были черные усы и походил он чем-то на Чапаева. Перед лебедями и Чапаевым на земле, устланной газетами, длинной шеренгой выстроились серые кошки. Кошки были гипсовые, с дыркой на голове, чтобы бросать туда монетки. Кошки-сберкассы.

Михаська побродил еще, прошелся по барахолке, где торговали ржавыми гвоздями, засохшей краской и довоенными книгами, посмотрел на клетку с живыми петухами, которых доставал по одному дядька с носом, похожим на картошку, и пошел к выходу.

Он совсем было уже вышел, как вдруг словно споткнулся. Возле урны, полной окурков, бумаг и еще какой-то дряни, стояла Катька, и ее окружала толпа.

Михаська пробрался вперед и увидел рядом с Катькой корзину, из которой торчали две большие бутылки. Из третьей она наливала в стакан квас, потом быстро ополаскивала стакан в миске и наливала снова. На улице было по-летнему жарко, хотелось пить, и торговля у Катьки шла бойко.

Михаська хотел было выбраться, но очередь подтолкнула его прямо к Катьке.

Катька вздрогнула, увидев Михаську, моргнула глазами от неожиданности, но тут же спохватилась и протянула ему стакан с квасом.

— Пей, — сказала она.

Михаська взял стакан и выпил. Квас был невкусный, горьковатый.

— Выпил? — спросила Катька, и глаза ее потемнели. — Вкусно? — спросила она снова, и Михаське показалось, будто она чувствует себя виноватой.

Толпа тотчас оттерла Михаську, и он остановился, сбитый с толку.

Катька, семиклассница Катька, торговала на рынке квасом! Как та тетка с картинками или мужик с петухами. Вот приведишь ему торговать на базаре, да он бы сгорел со стыда!

Когда мама вернулась с дежурства, Михаська усердно сидел над русским.

Ему казалось — это лучшая маскировка. Но если он старательно глядел в учебник, мама его всегда спрашивала:

— По какому?

И приходилось говорить.

— Ну, — сказала мама, бренча кастрюлями, — повторй вслух. Как на уроке. А я буду за учительницу. Так что не надейся...

Ссориться с мамой не хотелось: скоро должен вернуться отец — вдруг она ему расскажет?

Михаська встал из-за стола, как на настоящем уроке.

— Суффикс, — начал он, — это часть слова...

Правило он знал, теперь надо было примеры.

— Например, коза — козочка, — сказал он. — Книга — книжечка. — Опять их не хватало, этих примеров! Михаська решил фантазировать. — Двойка — двоечка, — сказал он. (Мама чуть улыбнулась у плиты.) — Двойка — двоечка, — повторил Михаська. — Мама — мамочка...

Мама засмеялась.

— Ладно, ладно, — сказала она, — не подлизывайся, не скажу...

В дверь стукнули, и Катька вызвала Михаську в коридор. Она отвела его в уголок и протянула красного сладкого петушка на палочке. Он видел сегодня таких на базаре. Какая-то толстая тетка держала в руках поллитровую банку, набитую петушками. Петушки высовывались из банки, их было много, и банка походила на удивительный сладкий цветок.

— На, Михасик, — сказала Катька. — Только очень тебя прошу, не говори никому.

Каткины глаза и вся ее фигура, тонкая, худая, просили Михаську не говорить никому, что он видел ее на рынке торгующей квасом.

— Вот еще!.. — сказал Михаська. — Что я, доносчик? А петуха отдай Лизе.

Катька хотела было силой сунуть Михаське петуха, но он так посмотрел на нее, что она сразу же пошла к себе.

— Спасибо, Михасик, — сказала она.

— Вот еще!.. — ответил Михаська, и ему стало жалко Катю.

8

На другой день Нина Петровна так и не спросила Михаську, хотя он встретил ее в коридоре и очень-очень просил вызвать его. Только в конце урока она, глядя в журнал, буркнула:

— Михайлов, если хочешь исправить двойку, останься после уроков.

Михаська остался. Он сидел в пустом классе, еще раз листая учебник. Ох и вредная эта Русалка! Сейчас будет гонять по всей книге, глядеть в сторону и вздыхать. А потом поставит тройку: мол, и это хорошо, скажи спасибо, что я добрая — видишь, сжалилась над тобой.

Дверь открылась, и он встал, не глядя на Нину Петровну, когда повернулся — рассмеялся. Это была не учительница, а бабушка Ивановна с ведрами. Рядом с ней стояла маленькая Лиза.

— После уроков оставили? — спросила бабушка.

— Ага, — ответил Михаська. — Вот двойку получил.

— Поди-ка у Нины Петровны? — сказала Ивановна. Михаська кивнул. — Да-а... — вздохнула Ивановна. — Сердце у нее тяжелое. Известное дело, не мать.

Лиза закатала рукава, смочила тряпку в ведре и стала вытирать парты. Она покраснелась, волосы падали ей на глаза, и Лиза смешно дула на них, оттопыривая нижнюю губу. Ивановна шваброй терла пол, и голова ее вздрагивала, будто от испуга.

Обе работали молча, сосредоточенно. Только бабуш-

ка Ивановна иногда останавливалась, вытирала тыльной стороной ладони пот со лба и тут же снова бралась за швабру.

Михаську вдруг будто подхлестнул кто-то. Он даже покраснел. Вот маленькая Лиза и бабушка работают, а он сидит рядом с ними и листает свою книжку. Михаська закатал рукава, силком отобрал у Ивановны швабру и стал тереть ею пол. Но что-то у него плохо выходило с этой шваброй, и тогда он взял тряпку и стал мыть пол руками.

— Михасик, перестань, перестань! Михасик... — говорила бабушка, но он не переставал, и у него это здорово быстро выходило.

Потом они перешли в другой класс, и Михаська снова мыл там пол и ругался, что ребята так много сорят и оставляют после себя столько грязи. Он находил на полу ржавые перышки, стружку от карандаша, а в одном месте чуть не напоролся на иголку.

Они кончили, когда стало уже темнеть, и Михаська спохватился, что его ждет Нина Петровна. Он скатился по лестнице и заглянул в учительскую. Нина Петровна уже ушла, и Михаська пошел наверх за сумкой.

— Только не говори бабушке, — сказала ему Лиза. — Она расстроится.

С нижнего этажа пришла Ивановна.

— Золотой ты мальчик, Михасик, — сказала она, собираясь. — Смотри-ка, вдвое быстрее управились.

Лиза принесла большой кулек. В нем были корочки от черного хлеба, огрызки, даже попадались целые куски. Ивановна стала складывать их в сумку, тихо приговаривая, будто сама себе:

— Ну вот и хорошо... Хорошие корочки.

— Зачем это? — спросил Михасик.

— Для кваса, Михасик, для кваса, — сказала Ивановна. — Мы из этих корочек квасок варим и продаем. Выручает нас маленько квасок, да не больно-то...

Михаська вспомнил Катьку с бутылкой, с корзиной, торгующую квасом на рынке, вспомнил петушка, которого она принесла, и ему стало смертельно стыдно за то, что Катька увидела его тогда. Ведь мог бы он пройти мимо, не лезть к ней да еще и пить квас, будто говорить: «А я тебя видел!»

Теперь, выучив уроки, Михаська часто приходил к бабушке Ивановне, к Лизе и Катьке, и вся жизнь маленькой семьи была у него как на ладони.

Он помнил Катину и Лизину мать, ее высокий рост, белое лицо, удивительное белое, будто в муке, да еще зеленое пальто, перешитое из шинели.

Все несчастья свалились на Ивановну и девоченок сразу, без всякой пощады.

Перед войной Катька и Лиза жили с матерью у отца, на границе. Он был военный. Когда началась война, он сразу же отправил семью к Ивановне. Поезд с беженцами шел долго; и, когда Катька с Лизой и матерью приехали наконец, Ивановна показала им похоронную.

Немного оправившись от горя, мать устроилась на работу. Эвакуированных в то время приезжало много — каждый день не по одному эшелону; найти работу оказалось трудно, и она нанялась на хлебозавод развозить по магазинам деревянную тележку с хлебом. Было на заводе одно преимущество — иногда можно выпросить у работниц пекарного цеха кусок хлеба, а то и целых полбуханки. Это строго каралось. Если кто-нибудь из рабочих хлебозавода охранники задерживали с хлебом, его немедленно отдавали под суд, но есть было нечего, Катька и Лиза голодали, а их мама рисковала.

Тележка, которую она возила, налегая грудью на деревянную перекладину, была не очень уж и большая, и здоровому да сытому человеку катать ее вовсе не трудно. Но мать их после смерти отца постоянно болела, недоедала да еще и вставала посреди ночи, часа в три, потому что к этому времени хлебозавод давал выпечку и приходилось стоять в очереди вместе с такими же худыми и бледными женщинами в белых халатах, с такими же, как у нее, деревянными тележками, чтобы нагрузить хлеб и везти по магазинам.

Бывали у мамы несчастья, потому что иногда она не успевала сосчитать буханки, которые ей выдавали, и случалось, что хлеба не хватало. Это было, правда, редко, но если не хватает одной буханки, это значит, плати рублей триста за нее на рынке. А откуда у них такие деньги?

Случалось и другое, когда усталые раздатчики то-

же обсчитывались на буханку-другую, им было легче, с них не спрашивали так строго, да и одна-две буханки за смену не так уж страшно для завода, и тогда мать их утаивала, приносила домой. Девчонки прыгали, отламывали горбушки, а мать глядела на них и беззвучно плакала. Она, наверное, стыдилась, что кого-то обманывала, но голод сильнее стыда, да еще если голодают дети.

Тележка у мамы Лизы и Катьки была старая; случилось, у нее обламывалось колесо.

Михаська шел однажды куда-то, была слякотная осень, и вдруг он увидел у обочины дороги мать Лизы и Катьки, стоявшую на коленях возле тележки со сломанным колесом. Она пыталась починить ее, надеть колесо на ось, но тележка была с хлебом, а хлеб был сырой, — на полкило выходил совсем маленький кусочек, говорили тогда, что в хлеб нарочно добавляют воды, — и она не могла поднять покосившуюся набок тележку. Михаська подошел к тележке, попробовал помочь ее поднять, но что он мог тогда, в сорок первом? Такой-то замухрышка.

Тогда мама Лизы и Катьки попросила его сходить на хлебозавод, сказать, чтоб послали кого на помощь, и Михаська сбегал, дождался, когда выйдут из проходной три женщины, тоже развозчицы, и привел их к тележке.

В другой раз Михаська увидел, как рядом с матерью, напирая на деревянную перекладину руками, шла Катька.

Начинало подмерзать, грязь сделалась гладкой, и тележку заносило в сторону. Михаська подбежал тогда к ним, запрягся третьим в упряжку и подумал, что, наверное, со стороны они походят на людей с картинки, которую он видел в довоенном журнале. Оборванные люди тянут по реке баржу. Только и разницы, что они не такие уж оборванные.

Бедя случилась тогда же, осенью сорок первого, буквально через несколько дней после того, как Михаська помогал Катьке и ее маме.

Рано утром, было совсем еще темно, в коридоре вдруг раздался дикий крик. Михаська вскочил. Мама в одной рубашке выбежала в коридор и быстро вернулась, такая бледная, что даже в темноте было видно.

Она зажгла керосиновую лампу и долго сидела молча, сжав губы. Михаська тормозил ее, спрашивал, что случилось, хотел сам выйти в коридор, но она его не пустила, а потом сказала, что маму Лизы и Катьки задушила машина.

Михаська не поверил, снова пошел к двери, но мама схватила его, закрыла дверь на ключ и легла. Ее знобило. Может, подумала: а что, если вот так же случилось бы с ней? Куда бы делся тогда Михаська? Ведь ни бабушки, никого у них нет. Значит, в детдом.

Михаська ходил на похороны вместе с мамой. Развозчицы хлеба сняли с двух тележек, которые они всегда возили, хлебные фургончики, тележки соединили между собой. Кто-то принес еловые ветки. Ветки были удивительные — серебристые, почти белые и очень красивые. Они были от серебристой ели, нарубили в ботаническом саду. Еловыми лапами убрали сдвоенную тележку, на нее поставили тесовый гроб. Потом развозчицы вытащили из сумок белые халаты и надели их поверх пальто. Затем они взялись за тележку со всех четырех сторон, человек двадцать в белых халатах поверх пальто, и покатали гроб в сторону кладбища.

Они шли тихо; наверное, никогда так тихо не возили они хлебные тележки. Гроб был заколочен — Михаська так и не увидел больше маму Лизы и Кати. Девочки шли, взяв под руки бабушку, у Ивановны почему-то тряслась голова. Она совсем поседела за эту ночь.

Потом Михаська узнал, что хлебную тележку, которую везла мама Катьки и Лизы, занесло на гололеде, а вслед за ней шел грузовик, шофер стал тормозить, и машину тоже понесло по скользкому льду прямо на тележку...

10

Катька сказала Михаське через несколько дней, что шофером тоже была женщина; она шла на похоронах рядом с ними, но Михаська ее не заметил тогда.

Он увидел ее позже. Это была пожилая тетка. Удивительно, что она водила машину, но кем только тогда не работали женщины! Тетка приносила Ивановне

муку — она ездила в какую-то деревню и выменяла там на что-то, потом приносила деньги — и это было уже при Михаське, он готовил тогда уроки с Катькой — и еще много раз приходила, и так ходила всю войну, пока вдруг не исчезла. Ивановна узнала потом: тетка эта, такая неприметная и маленькая, что Михаська никак не мог ее запомнить, умерла от сыпного тифа.

Бабушка Ивановна плакала, и Михаська удивлялся тогда, что это она плачет — ведь эта тетка задавила ее дочь и оставила девчонок круглыми сиротами.

Но Ивановна плакала так, будто потеряла родного человека; она ведь даже в суд ходила, просила, чтоб эту тетку не судили, когда она задавила Катькину и Лизину маму.

«Она ведь тут ни при чем», — говорила Ивановна, хоть у нее и стала трястись голова после этого «ни при чем».

С того времени, как погибла главная кормилица, жить Ивановне и ее девочкам стало совсем плохо. Школа, где учился Михаська, была прикреплена к столовой № 8, и ребятам давали талоны на разовое питание. Но за эти талоны все равно надо было платить. У Ивановны на талоны для Катьки и Лизы денег не хватало, и она брала только для Лизы.

К Михаське, когда он ел, не раз подходили какой-нибудь пацан или девочка и говорили: «Оставь немного». Или просто садились напротив и глядели в тарелку, не оставит ли там Михаська картошину или супчику на дне. Таких ребят было много, их прозвали шакалами из восьмой столовой. Михаська всегда выглядывал в их разноликой толпе Катьку — она тоже считалась шакалкой. Катька стыдилась своего прозвища, стыдилась просить; она просто иногда проходила мимо столов, и если оставался кусочек хлеба или еще что-нибудь, она брала, но никогда не подходила, если человек сидел за столом, и не глядела ему в рот.

Михаська высматривал Катьку, махал ей рукой. Она краснела, хотя чего ж ей краснеть перед Михаськой, но к столу шла, и Михаська всегда делился с ней и первым и вторым и оставлял полстакана киселя.

Правда, потом у него жужжало что-то в животе и до вечера, пока не придет мама, не раз побегут голодные слюнки, но не позвать Катьку, похожую на скелет — только глаза блестят, — он не мог. Он вспоми-

нал войну, как там сражаются бойцы — ведь делятся, наверное, последним куском друг с другом и махорочку делят, — и ему становилось стыдно от одной мысли, что он все хотел съесть сам и не позвать Катьку.

Был еще и такой случай, это как раз при Михаське все произошло. Как-то Михаська пришел к Катьке, а ее не было, дома сидела Лиза и плакала горькими слезами, глядя на булочки-посыпушки, которые лежали на фанерке. Лиза смотрела на булочки, шмыгала розовым носом и рукавами утирала слезы. Оказывается, утром бабушка подняла Лизу и Катьку ни свет ни заря, они пошли в хлебный магазин и отоварились белыми булочками, посыпанными какими-то сладкими крошками. Это считалось великим счастьем, потому что булочки можно было отнести на базар, там продать дороже и купить вместо них много черного хлеба.

Прежде чем пойти на рынок, бабушка Ивановна ушла в школу, а Лиза осталась одна с булочками. Она долго смотрела на них, смотрела, потом стала слизывать с одной булочки сладкие крошки. Когда она слизала, ей показалось, что с булочкой ничего особенного не произошло — булочка как булочка, она ведь не откусила ее, а просто слизала крошки. Так слизала Лиза крошки со всех булочек и вдруг увидела, что они стали голые, без крошек-то, несладкие и их не купят, и вот сидела, пускала пузыри.

Михаське стало жалко Лизу; он ее утешал как мог, а сам про себя подумал, какой он стал жалостливый, как какая-то старуха, прямо по всякому поводу всех жалеет; надо бы дать этой Лизке по заливку как следует: соображать же надо — лишила всех куска хлеба, но дать по заливку ей не мог. Очень уж Лизка была прозрачная какая-то.

Тут пришла бабушка. Увидела булочки без сладких крошек, остановилась на пороге, увидела зареванную Лизку, постояла, помолчала, потрясла сильнее головой да так ничего и не сказала. Ушла за буфет.

Это все было в войну, а теперь война кончилась. Только ничего не изменилось в семье у бабушки Ивановны. Так же, как раньше, делала Ивановна котлеты из картофельных очисток, ходила по воскресеньям с девочками в лес по грибы, по ягоды, по желуди; желуди она жарила на противне, а потом молола, получался желудевый кофе. Летом они ели щи из крапивы, соби-

рали щавель — летом можно было жить, а вот к осени, к зиме становилось совсем худо. Картофельный участок, который давали Ивановне, был мал, и она снова горевала, как станут они зимовать.

Теперь осенью у них часто висел замок на двери. Катька после уроков забирала Лизу, и они шли на картофельное поле выбирать маленькие, с ноготок, клубеньки из земли, потому что такие только и оставались, все покрупнее убрали подчистую. Или торчали у овощехранилища с сумками и ждали, когда упадет случайно турнепсинка, репа или морковка. Сумки Ивановна сшила им из разных лоскутков, какие нашла, и девчонки походили на побирušек.

Михаська знал, что, когда погибла мать, к Ивановне приходили развозчицы хлеба, предлагали отдать Катьку и Лизу в детский дом или предлагали найти каких-нибудь богатых бездетных людей, которые бы взяли девочек. Что до богатых — такие, наверное, были, а может, и нет, а вот бездетные наверняка были. У некоторых эвакуированных по дороге в тыл погибли дети. Они очень горевали и готовы были, не глядя ни на что, взять ребенка.

Но Ивановна кричала на развозчиц, плакала, прижимала к себе девочку, и женщины отступились. Только иногда приносили хлеба с завода.

Катя хотела уйти из школы, даже уже нашла место судомойки в гарнизонной столовой, но бабушка Ивановна сказала, что, пока жива, работать ей не даст, пусть учится, кончает десятилетку и поступает в институт, а там будет легче, потому что в институте платят стипендию...

11

Михаське очень нравился завод, где работал отец.

Правда, он там не бывал ни разу, но труба завода, самая большая в городе, коптила ночью и днем, а у ворот стояли часовые, как на границе.

Отец ходил теперь не в гимнастерке, а в простой рубашке. Но это не беда: зато отец — мастер! Михаська всем говорил, что отец у него мастер. Значит, из всех рабочих — рабочий, Мастер на все руки — не зря же так говорят.

А что отец мастер на все руки, Михаська ни на вот столечко не сомневался.

Вон он как железо гнет, ведра паяет, плитки чинит!

Михаська теперь не слонялся по городу после школы, а скорее мчался домой, хватал кусок хлеба и торопился побыстрее выучить уроки.

К приходу отца все должно быть готово, и как следует готово, конечно, чтоб отец не смог отправить его учить уроки, чтоб он мог только весело поглядывать на Михаську и говорить с ним о серьезных делах.

А дела были серьезные!

Отец принес откуда-то паяльник, приладил на край стола маленькие тиски, и комната их стала походить на мастерскую. Полкомнаты занимали старые ведра, тазы, примусы, керогазы, плитки, замки. Отец осторожно брал каждую вещь, осматривал ее внимательно, прикидывал, как ее скорее починить, — и начиналось!..

Руки у него летали будто птицы, да так легко, умело летали, словно он и не воевал вовсе, не стрелял по фашистам, а только тем и занимался, что чинил ведра и прочее нмущество.

Хозяйки со всего квартала, узнав, что отец никому не отказывает и все умеет чинить, несли ему свое барахло. Отец улыбался, кивал в угол, чтоб туда поставили ведро или примус, говорил, когда можно за ними прийти, и снова латал, чинил, ремонтировал всякую всячину.

Однажды к ним пришел с патефоном в руках тот дядька, с лицом, похожим на блин, — Седов.

Отец подвинул Седову табуретку, стал внимательно рассматривать его патефон.

— Ну как, пьешь пиво с молоком? — спросил отец.

— Пью, милый, пью, — заулыбался Седов, — и еще закусываю. А ты, поди, завариху ешь?

Отец посмотрел на Седова внимательно, и Михаське показалось, что он кинет сейчас патефон в этот белый круглый блин. Но отец патефон не кинул, ничего не сказал Седову.

— Тяжело, наверное? — серьезно, не улыбаясь, спросил Седов. — После работы снова работа. Я ведь сам...

— Ладно, — прервал его отец, — сам с усам! Приготовь денежки, не бесплатно делаю.

Седов засмеялся, встал, подошел к двери.

— Само собой, — сказал он, — само собой, а как же? Только мелко плаваешь, Михайлов, мелко.

Отец взглянул на Седова, хотел встать, но тот уже прикрыл дверь.

Отец долго молчал. Работал яростно, будто кто его разозлил. Потом он вдруг задумался, положил паяльник на стол, да неосторожно — задымилась клеенка.

— Черт возьми! — зло выругался отец.

Прибежала из коридора мама, увидела, что случилось, и засмеялась:

— А я думала, тут пожар!

Отца будто кто хлестнул.

— «Пожар»! — заорал он.

И Михаська даже рот раскрыл. Что это он? Что с ним случилось? На маму закричал.

Отец швырнул таз, который паял, и заходил по комнате как маятник — взад-вперед, взад-вперед. Мама подошла к нему, взяла его за плечи.

— Ну что ты? — сказала она. — Успокойся...

Она смотрела на отца, как тогда, в тот длинный первый день, и глаза ее походили на два кусочка неба.

— Устал ты, — сказала она. — Ну отдохни. Чего ты волнуешься? Грех обижаться. Живем как люди, не хуже.

Отец вырвался, снова заходил по комнате.

— «Как люди»! — крикнул он. — Вот именно как люди. — Он остановился перед мамой и сказал ей хрипло, будто мороженого наелся: — А я не хочу, как люди! Не хочу, слышишь! Я хочу лучше, чем люди! Или я не заслужил?

Михаська смотрел во все глаза. Таким отца он никогда не видел. Только что смеялись они, говорили о чем-то — и вдруг такое. Что с ним?

Отец прошелся по комнате еще и еще, потом вдруг остановился, обнял маму.

— Зло берет, понимаешь? — сказал он обычным голосом. — Целый вечер сижу — семь тазов запаял.

Как гроза. Налетела, просыпала на землю молнии и умчалась дальше. Отец снова взялся за работу.

Михаська подсел к нему, Отец научил его зачищать

металл и паять. Правда, паять Михаська умел еще плохо, но зачищал, как заправский мастер.

Он привел однажды Сашку Свирида к себе домой, так тот до темноты не уходил, пока отец не дал ему ведро чуть-чуть попаять. Теперь Свирид каждый день в гости к Михаське просится.

Одна мама всем недовольна. Нагремится своими кастрюлями, сядет напротив Михаськи с отцом и вздыхает.

Раз вздохнет, два. Отец оторвется от какого-нибудь примуса, подойдет к матери, поцелует ее.

— Да я понимаю, — скажет мама, и глаза ее станут печальными, словно плакать ей хочется.

— Что зарплата? — говорит отец. — На зарплату только прожить...

За ремонт отец берет деньги. Когда хозяйки спрашивают — мол, сколько, он смотрит в угол, где лежит всякое барахло для ремонта, и тихо говорит сколько. А потом не глядя сует деньги в карман.

Вечером, когда мама и Михаська уже лежат, отец долго еще паяет, стучит. Наконец открывает форточку и моет руки.

Потом он достает из кармана смятые рубли, трешки, пятерки и разглаживает их ладонью, складывает стопкой и идет спать. Теперь руки он уже не моет, ложится рядом с мамой. А мама ведь говорит, что после денег руки надо мыть, потому что деньги переносят инфекцию.

Отец ложится, а мать ничего не говорит.

Она и тогда ничего не сказала.

Бабушка Ивановна принесла отцу тазик запаять. Она в нем белье стирает. Отец тазик запаял, и тоже посмотрел в угол, и тоже, как всем, сказал Ивановне тихо:

— Два рубля.

И Михаська видел, как растерялась Ивановна, как оставила она тазик, пошла в коридор, а потом принесла два рубля. Михаська смотрел на маму — она брнчала кастрюлями совсем рядом и видела, видела же все. Но мама ничего не сказала.

— Это же Ивановна! — сказал Михаська отцу, глядя на него так, будто видел в первый раз. — Ивановна, понимаешь? Они плохо живут. У них мать задавили.

Отец удивленно посмотрел на Михаську и ответил:

— Ну и что?

Словно ничего не случилось. Не было. Не произошло. И мать громыкала кастрюлями.

Михаська смотрел на отца со страхом, с ужасом, с обидой, и в глазах у него стояли слезы. Отец снова взглянул на него и снова ничего не заметил.

Не захотел.

И тогда Михаська вспомнил инвалида.

12

Ох и хитрый человек эта мама!

Только потом понял Михаська, почему она тогда молчала. Почему не сказала ничего.

Просто она хоть и вздыхала и говорила иногда, скоро ли кончится эта мастерская, чтоб можно белую скатерть на стол постелить, а сама-то была рада-радешенька, что все так получается. Что наконец-то все дома: сын без слова уроки учит, даже троек почти нет, а муж не бегает по пивнушкам, как некоторые, сидит дома, говорит с сыном, паяет себе ведра.

Мама и сама бы, наверное, с удовольствием попаяла, постучала, поскоблила эти тазы и ведра, да ведь хозяйство: надо и накормить мужиков-то, и постирать.

Краем уха и она, конечно, слышала, как рассказывает отец ему, Михаське, про войну, про то, как дрался с фашистами врукопашную, и как за танками в атаку шел, и как в госпитале лежал... Ну и, конечно, про орден Красной Звезды. За что его получил.

Ходил он однажды в разведку и подорвал легковую машину с офицерами. Офицеров убило: только один, с портфелем, жив остался. Приволокли его в штаб как «языка» и оказалось, что гитлеровец очень важный, а еще важнее его портфель.

Михаська подумал, что вроде про это он даже в газете читал. Неужели про отца писали? В общем, все это мама слушала, и все это видела, и очень радовалась, глядя, как Михаська с отцом сидят разговаривают и даже ее не замечают.

Это уж Михаська потом понял.

Но после того случая мама пришла вдруг к Ивановне и принесла ей ведерко картошки. Еще прошлогодней. Остатки. А потом положила на стол два рубля и сказала:

— Ивановна, ты извини, тут Виктор ошибся.

Ивановна стала уговаривать маму, чтоб она взяла эти два рубля: все-таки, мол, отец работал, а за работу пока что надо платить, все правильно, не при коммунизме живем, — но мама наотрез отказалась, и Михаська видел, что маме неудобно за отца. Стыдно.

И тогда он понял, это не отец вернул. Это она сама. Значит, она не согласна с отцом, раз ей стыдно. И может быть, тогда, когда она промолчала, ей было в сто раз труднее, чем Михаське, и в тысячу раз обиднее, что отец так сделал.

А она промолчала. Не сказала ни слова.

«Почему?» — думал Михаська и не мог понять. И только потом понял, что мама промолчала, потому что любит и Михаську и отца, любит всю их семью и не хочет, чтоб хоть самая маленькая беда случилась в ней.

Она просто смолчала и исправила все за отца. А он так ничего и не узнал.

«Но почему он не сам, — думал Михаська, — почему не сам? Почему он так сделал, отец? Почему он такой?»

13

Однажды Михаська опоздал на первый урок. Ну, на какую-нибудь минутку. Хорошо, что математика была: Иван Алексеевич пустил. Русалка бы — ни за что!

Михаська сел на свое место, достал тетрадку. Смотрит — Сашка ему семафорит. Михаська не понял. Так Сашка до конца урока все ерзал и на него оглядывался. В перемену кивнул Михаське, подозвал к себе.

— Смотри, — сказал Сашка.

На дне его кирзовой сумки лежал настоящий кинжал. Со свастикой на ручке. Вдоль лезвия тянулись два едва заметных желобка.

— Это чтоб кровь стекала... — Сашка повел лопатками, выпиравшими из-под рубашки, будто холодно ему стало. — Я эту свастику — напильником.

Михаська представил себе фашиста, который таким кинжалом замахивается на партизана — связанного, избитого, — и мурашки пошли у него по спине. Таким огромным — почти в две ладони — и в человека...

Сашка рассказал, что вчера был на военной свалке. И если Михаська хочет, можно еще сегодня сходить,

только тихо, без разговоров, а то мальчишки увяжутся, и тогда не проберешься — свалку охраняют.

Но охранял свалку один старик с берданкой и в военной фуражке. Наверное, так натянул, для форса. Или для страха — чтоб боялись его. С трех сторон свалку окружала колючая проволока, с четвертой было свободно. Но там, рядом с железнодорожным тупиком, стояла будка охранника.

Мальчишки лежали под кустом и ждали, когда деду в фуражке надоест ходить и он уйдет в сторожку, да дед оказался неутомимым — все топал и топал вокруг колючки, которой была загорожена свалка.

А за колючей проволокой чего только не было! Исковерканные танки с белыми крестами, пушки с расщепленными и загнутыми стволами, разбитые лафеты и даже хвост самолета. Горы железа, разломанного фрицевского оружия валялись тут — нестрашные, разбитые навсегда.

Наконец ребята дождались своего: ушел старик с берданкой в сторожку.

Они поползли к проволочному ограждению. Михаська сразу представил, что он разведчик и ему надо взорвать склад оружия. Извиваясь как змея, работая локтями и коленками, он пополз по траве, оставляя чуть приметный след. Вот и проволока. Натянута туго — не отогнешь.

В одном месте под проволокой была какая-то ложбинка. Михаська перевернулся на спину, прижался к земле и прополз под колючкой.

Лазать по железу приходилось осторожно: и не только потому, что можно было наступить на что-нибудь и загрохотать на всю свалку, но и потому, что железо во многих местах было рваное, безжалостно разодранное, видно, снарядами, с острыми зазубринами, и очень легко можно было порезаться.

Михаська с Сашкой поцелились из разбитой пушки, поискали, нет ли где-нибудь пистолета, и залезли в люк разбитого танка без гусениц.

Ржавые танковые колеса врезались глубоко в землю и уже обросли травой. Сашка сел за какие-то рычаги — наверное, там место водителя, а Михаська стал командовать, как на корабле: «Право руля! Лево руля!» Он просто не знал, как командуют на танке.

Потом Сашка показал Михаське темные пятна на железной стенке.

— Это кровь! — сказал он.

Михаська присмотрелся. Не скажи Сашка, он никогда бы не подумал, что это высохшая кровь. Просто какие-то пятна.

«Человека уже нет, — подумал он, — а кровь осталась».

Он тут же одернул себя: не человека, а фашиста, — но все равно стало как-то тоскливо и неприятно.

Они уже решили выходить, и вдруг Сашка показал Михаське гранату. Настоящую немецкую гранату. Длинную, с вытянутой деревянной ручкой.

— Здорово! — прошептал Михаська. — Сейчас рванем!

Они уже совсем решили выходить, и вдруг за танком что-то загудело, загрохотало.

— Поезд!.. — шепнул Сашка. — Бежим!

Они выскользнули из танка. На железнодорожный тупичок возле свалки подогнали товарный поезд. Паровозик был маленький, пыхтел, ухал, шумел, а сам еле двигал тяжелую махину.

Мальчишки быстро проползли под проволокой, а дальше побежали, уже не таясь. Но их никто не заметил. Старик с берданкой стоял у паровоза, курил с машинистом. Огромный кран на платформе скрипнул, развернулся и склонил свой клюв к танку, в котором они только что сидели.

Было слышно, как натужно застонали тросы, танк нехотя вздрогнул и пополз вверх.

— Все, — сказал Сашка, — капут!

Михаська представил, как этот танк кинут в огромную кипящую печь, и он тотчас исчезнет, расплавится, сделается жидким, и те пятна крови внутри башни исчезнут тоже, исчезнут навсегда.

И он сжал зубы. Ему ни капельки не было жалко этого фрица, этого фашиста. Ведь из своего танка он стрелял по нашим! Может, даже по Ленинграду стрелял, по нашим бойцам, по таким ребятам, как Сашка.

Пушки с загнутыми и расщепленными стволами, лафеты, хвост самолета, горы фашистского железа медленно перебирались на платформу.

Война кончилась, и теперь увозили в печь остатки ее. Как хорошо, что увозили все это!

Михаська вспомнил День Победы. Все обнимались и целовались. Он думал, будет что-то необыкновенное, удивительное. Может, земля всколыхнется?

Но ничего такого не было. Даже день самый обыкновенный — серый, не весенний.

Михаська орал, обнимался, радовался, как все, но он пока только чувствовал ее и знал, что она пришла.

А теперь он увидел ее.

Вот она какая, победа! Торжественная. Тихая. И какая могучая!

В тишине поскрипывали тросы крана, гудел мотор, а железины, которые убивали, покорно поднимались на свою последнюю смерть. Они никому не страшны, эти военные обломки, когда-то убивавшие людей. А теперь они должны перестать существовать вообще.

Михаська лежал, пораженный всем этим.

Сашка толкнул его в бок и вдруг крикнул:

— Смерть фашистским захватчикам!

Он вскочил, и что-то мелькнуло в его руках. Сашка тут же упал, и теплая волна прокатилась по Михаськиному затылку. В ушах зазвенело от грохота.

Они побежали.

Они отдали свой салют победе.

Из ста двадцати двух артиллерийских орудий.

14

В городе строили большой завод.

Иван Алексеевич объявил им, что на новом заводе будут делать не пушки, не снаряды, а тракторы. Чтобы они пахали землю. Чтобы росло побольше хлеба и поскорее отменили карточки.

Вот это будет заводище так заводище! На огромном пустыре за городом день и ночь тарахтели экскаваторы, черпали своими ковшами землю. Завод строил весь город. Рабочие с других заводов, все учреждения. После смены люди шли на стройку и работали там до самой ночи.

Однажды Иван Алексеевич сказал им, что теперь их школа должна пойти на стройку, настала их очередь, и, конечно, пойдет самый старший класс — пятый.

Работа у них оказалась хоть и легкая, но очень важная. Они пилили бревна, но не на большие чурки, как для печки, а на маленькие кругляшки. Потом эти

кругляшки кололи на чурбашечки. Это было топливо для газогенераторов, которые возили от экскаваторов землю.

Михаська с Сашкой пилили до зеленых кружочков в глазах и только тогда отдыхали.

С площадки, где скрипели пилы, был хорошо виден котлован. Все там двигалось. Ворочались экскаваторы, одна за другой подходили машины, а поближе к ним люди копали землю прямо лопатами. Все это торопилось, торопилось и в то же время двигалось спокойно и четко.

К площадке, где работали ребята, то и дело подъезжали машины, водители заправляли чурбашечками круглые печки возле кабины и уезжали дальше. Так что остановись ребята, устань — вся бы стройка остановилась. Умолкли бы экскаваторы, встали машины. И хотя нарубленных чурбашечек была на площадке целая гора, приготовленная еще раньше какой-то другой школой, они работали изо всех сил.

Еще бы — такой заводнице! А когда его построят, можно будет сказать младшеклассникам, что строили его и они.

Иван Алексеевич был вместе с ребятами: он колот кругляши на чурбашечки, махал топором будто заведенный и останавливался только затем, чтобы протереть отпотевшие очки.

Потом он все-таки остановился, объявил большой перекур, и Михаська еле разогнул спину.

Можно было посидеть, полежать. Но Михаська с Сашкой пошли по стройке.

На них гудели газогенераторки, словно ругались, что путаются тут под ногами, раза два какие-то люди крикнули им, чтоб не ходили здесь. Вот еще, не ходили! Они такие же сейчас рабочие, как все, — кто им может запретить ходить по стройке?!

В котловане работали землекопы. Михаська посмотрел на них и даже подпрыгнул от неожиданности. Там был отец. Спина его напрягалась, когда он откидывал лопатой землю, сквозь мокрую майку проступали мускулы. Они так и катались, будто кто гонял шары у отца под кожей.

— Смотри, — сказал Михаська Сашке, — узнаешь?

Кепка у отца была назад козырьком; иногда он останавливался и вытирал рукой пот со лба.

— Папа! — крикнул Михаська.

Отец обернулся и помахал ему рукой.

— Мы тоже тут работаем! — снова крикнул Михаська.

— Я за тобой зайду! Жди! — ответил отец.

Михаське показалось, что отец работает лучше всех, быстрее всех. Он любовался, как играют у отца крепкие мышцы.

Когда они пошли домой, Михаська подумал, что ведь это здорово: он и отец — они вместе строили завод!

Может быть, когда Михаська вырастет, он будет работать на этом заводе, строить тракторы. Хорошо бы и отец тоже туда перешел!

Они стали бы ходить с работы вместе, неторопливо, устало шагая по мостовой, а мама ждала бы их дома. Хлопотала бы у печки, чтобы накормить их, рабочих людей.

Михаська взял отца за руку.

— Здорово! Правда, папка? — сказал он.

— Что — здорово? — спросил равнодушно отец.

— Завод строили! — улыбаясь, ответил Михаська. — И мы с тобой!

Отец был какой-то недовольный, хмурый.

— А ну их! — махнул он рукой. — Время только потерял.

Михаська будто споткнулся, будто его окатили холодной водой. Весь день он пилил эти кругляши, до зеленых кругов в глазах, старался, чтоб не остановились машины, газогенераторки... Что же, значит, все это зря?

Ведь и Сашка старался, пилил, и все ребята, и Иван Алексеевич вон как махал топором. А шоферы на газогенераторках! А люди, которые копали котлован! Да и сам отец!

Что же он, притворялся? Старался, работал, а сам ругает тех, кто его сюда послал! Что же, ему ведра дороже?..

Михаська выпустил отцовскую руку.

15

Михаська и сам не понимал, что с ним сделалось. Спроси его, ни в жизнь бы не объяснил. Просто раньше для него паянье было удовольствием почище кино. Окунешь паяльник в мелкодробленую канифоль, прикос-

нешься к оловянному слитку, а от него белые горошины катятся — жидкое олово.

А сейчас одна гарь, вонь. И все эти примусы, керогазы, ведра, тазы опротивели. Лежат в углу, сколько места занимают — прямо как на свалке. Зацепить бы их краном — да в переплавку...

Так оно и случилось.

Однажды сидели они с отцом, скребли, стучали, дымили паяльником, и вдруг пришел человек. Толстый, рыхлый, и лицо такое, будто он больной. Да так, наверное, и было. Не больных таких толстых не бывает.

Толстяк поздоровался вежливо, потрогал зачем-то толстый нос и сказал отцу:

— Я фининспектор. Говорят, вы тут частную практику открыли. Похвально, похвально! Только почему налог с дохода не платите?

Отец побледнел, встал и ушел за шкаф. Вышел в гимнастерке, с медалями, с гвардейским знаком. Поправил ремень.

— Видите? — спросил он толстяка. — Я войну прошел. Ранен. Что же, я теперь жить не могу, как хочу?

Мама пришла из коридора, прижалась к косяку. Испуганно смотрела то на отца, то на инспектора.

— А вы мне тут налоги! — крикнул отец.

— Да не кричите, — сказал толстяк, снова трогая свой нос. Он говорил спокойно, будто отец и не кричал на него, будто ничего и не случилось. — Я же вижу, что вы не жулик. Состояния на этом, — он кивнул на ведра и тазы, — не зарабатываешь.

Отец сел. Фининспектор говорил с ним вежливо, не злился, даже как будто сочувствовал отцу.

— Но закон есть закон. Если вы получаете доход, надо платить налог. Понимаете? — спросил он и добавил, слегка раздосадованный: — И гимнастерка тут ваша ни при чем, поверьте! Я сам воевал, однако наградами потрясать в таком случае не решусь. Так что я вас предупредил. В следующий раз составлю акт.

Толстяк ушел, тяжело дыша.

Отец ходил по комнате из угла в угол. Михаська ни разу не поднял на него глаза.

Давно ли отец рассказывал, как ходил он в разведку, и Михаська глядел ему прямо в рот, и было здорово, что у него такой удивительный отец. Разведчик — ведь это значит самый, самый смелый, а тут...

Когда отец вышел вдруг из-за занавески к фининспектору в форме, Михаська даже не понял сразу, к чему это он надел гимнастерку с медалями. А вон как вышло... Просто отец испугался этого человека. Гимнастерку надел, будто брошю какую. Будто можно гимнастеркой от налогов этих защититься...

Мать все так же стояла у косяка и молчала. Почему она молчит? Ведь она понимает! Все понимает. Или боится за эту мастерскую? За эти ведра, тазы? Боится, что Михаська снова будет бегать и хуже учиться, а не сидеть с отцом и паять ведра? Ну почему она молчит?

Отец будто нехотя подошел к куче хлама в углу и изо всей силы пиул ее сапогом.

Михаська вздрогнул. Весело забренчали, раскатывались, ведра, загромыхали тазы.

— К черту! — сказал отец. — Действительно, состояния на этом не сколотишь.

16

А Михаська все думал об этом, думал и решил, что во всем виноват фининспектор. Что плохого сделал отец? Ремонтировал тазы да кастрюли? Так от этого одна польза! Людям нужна посуда, ее надо ремонтировать. Не виноват же отец, что во всем городе нет ни одной мастерской, чтобы чинили посуду! Хотел людям добро сделать. Разве за добро налоги берут? Нет, ни в чем не виноват отец. Теперь Михаська знал это точно. Только одно непонятно все-таки: отчего это распетушился тогда перед фининспектором, чего испугался?

А может, и не испугался — чего бояться-то? Может, наоборот, испугать хотел. Только уж просто так некрасиво вышло, а страшного ничего в этом и нет.

И Михаська пожалел, что так нехорошо подумал про отца. А Ивановну он просто не знает. Вот узнает как следует и тоже будет любить.

Отец раздал хозяйкам их имущество и больше не брал, приговаривая:

— Банк лопнул, лавочка закрылась.

Пришел за своим патефоном и Седов.

Еще от двери заулыбался, залоснился жирным блином, глаза в щелочки зажмурил.

— Ну, обанкротился наконец? — сказал он. — Я же тебе говорил: мелко плаваешь.

Мама дома не было, и отец сказал Михаське, чтоб он сходил погулять. Михаська обрадовался. Противно слушать, как снова этот Седов начнет про свое пиво с молоком рассказывать.

Он ушел, а когда вернулся, в комнате стоял дым ко-ромыслом. Тарелка утыкана окурками, на столе пустая бутылка, и Седов все еще сидит. Лицо только круглее стало. И порозовело. Поджарился блин.

Сидит Седов на табурете, икает, прикрывает рот рукой. А отец волосы разлохматил, угрюмо смотрит в пол и дымит.

Михаська вошел, и они сразу замолчали, будто про воснную тайну рассказывали. Потом Седов снова икнул, встал, взял под мышку свой патефон.

— Учти, — говорит отцу, — учти мой опыт. Зла я тебе не желаю, и потому не стесняйся.

Он оперся спиной о печку, вывозил пиджак, но Михаська ему ничего не сказал. И отец тоже.

— Раз живой остался, — сказал Седов, — значит, жить надо... Шутка ли, — восхитился он, — войну прошел — и одно ранение! И не где-нибудь — в пехоте-матушке. И-ех... — Он зевнул. — А жить, брат, нелегко, ох нелегко! На фронте не боялся и тут не боись. Свое возьмешь. Свое!.. Зря, что ли, кровь проливал?

— Ладно! — сказал отец. — Иди с богом.

— И место ге-енеральское! — протянул Седов. — К тебе еще на поклон пойду. А бабу угомони! Своди ее к Зальцеру.

Седов повернулся, задел патефоном о стену, порвал обои и, слегка пошатываясь, вышел в темный коридор.

А отец снова уткнулся взглядом в стол, докуривая папиросу. Так и курил, даже Михаську не замечал.

Стукнула дверь. Пришла мама. Отец оторвался от стола, резко придавил окурочек.

Вздохнул. Будто на что-то решился.

С того дня все переменялось дома. Отец отвинтил тиски, закинул куда-то паяльник, соскоблил ножом все пятна со стола. Комната снова стала похожа на комнату, а не на мастерскую, стол белел крахмальной скатертью.

И отец с матерью совсем другими стали.

Когда хмурился отец, мама улыбалась. А когда улыбался отец, мама хмурилась и ходила заплаканная. Прямо как на весах — то один вниз тянет, то другой...

Если бы хоть Михаська знал, что у них там происходит, о чем они спорят!.. Но он входит — дома тишина. Молчат или говорят о пустяках. Словно ничего и не было.

Что за народ эти взрослые? Нет чтобы все прямо, открыто. А то боятся своим же детям правду сказать. Будто они враги какие, шпионы, сразу на улицу побегут во все горло орать.

Если неприятность — почему шушукаться надо? Скажите! Мальчишка или там девчонка, понятно, не взрослые, но они же люди, поймут, может, даже лучше взрослых все поймут. Посоветовать не посоветуют, конечно, зато все в доме нормально будет. Не придется прятаться, шептаться, словно заговорщикам.

Да, отец с матерью таили что-то от Михаськи.

И он видел, что отец перетягивает весы. Мама ходит совсем расстроенная, с Михаськой почти не говорит, отворачивается, будто виновата перед ним. А отец песню поет: «По долинам и по взгорьям...»

Видя, как отец улыбается, а мама молчит и хмурится, Михаська чувствовал, что между ними идет борьба. Может, отец заставляет маму что-то сделать? Что? Он ничего не мог придумать. Да и смешно — с чего бы это он стал ее заставлять? Ничего не понятно...

И все-таки он подумал, что эти годы, пока они жили без отца, мама была как будто смелей. Ей было очень трудно. Михаська знал: мама сдает кровь для фронта, чтобы получить донорские карточки — масло, молоко, лишний хлеб. Она кормила этим Михаську; и он не раз уже думал: ведь мама как бы отдает ему свою кровь. И платье она свое голубое в горошинку продала, чтоб купить хлеба, а отцовский костюм не тронула, сохранила, хотя могла бы продать.

Она сильная, мама. Михаська знает это. И он хотел, чтоб она не молчала, чтоб она перетянула отца на их весах.

Он иногда спрашивал себя: а почему они вообще появились, эти весы? Почему мать и отец, скрывая от него, будто все время борются? Что же, и до войны они тоже такими были? Или только сейчас? Значит, кто-то из них стал другим? Мама? Но Михаська был все время с ней.

Значит, отец?

Видно, чтобы было равновесие на весах, чтобы они оба улыбались или вместе огорчались, нужно какое-то неравновесие внутри их...

Все прояснилось разом и случайно, как это часто бывает.

Как-то отец пришел с работы и сказал маме, что он познакомился с одним мастером, который шьет дамские туфли. Мама вяло кивнула головой, но отец потребовал, чтобы они сразу пошли к мастеру, потому что у него всегда очередь, а сегодня он приглашал сам. Михаська читал книгу, уроки он уже приготовил по старой привычке, и они отправились к мастеру все вместе.

Фамилия обувщика была Зальцер, и Михаська подумал, что где-то слышал эту фамилию. Во дворе двухэтажного деревянного дома им сразу указали на дверь, где он жил; но когда отец постучал, ему долго не открывали. За дверью что-то шуршало. Михаське показалось, что кто-то смотрит на них в узкую щель. Отец постучал снова, и вдруг голос из-за двери неожиданно спросил:

— Кто там?

— К Семену Абрамовичу от Седова, — сказал отец, сказал твердо, тщательно выговаривая слова, будто пароль.

И Михаська вспомнил, что фамилию Зальцер называл Седов. Дверь распахнулась. На пороге стоял горбоносый маленький человек в клетчатой куртке, висевшей на плечах. Из открытого ворота куртки в изобилии торчали густые кудрявые волосы. Глаза у обувщика были навывкате и слезились.

— Проходите быстрее! — приказал он сердито.

И отец, и мать, и Михаська быстро вошли в полутемный коридорчик, а затем в комнату с высоким лепным потолком.

У стены стояло пианино. Михаська уселся напротив него.

Вся комната отражалась в его полированных боках.

— Детей мы обычно не впускаем, — сказал волосатый обувщик. — У них есть такая привычка — обращаться к детям за сведениями.

— У кого это у них? — удивленно спросила мама.

— Да есть тут... — недовольно отмахнулся Зальцер, — интересующиеся. Мальчик не проболтается? — спросил он у отца.

— Он у нас потомственный разведчик, — сказал отец. — Нем как рыба.

Он хотел польстить Михаське, загладить глупый вопрос этого Зальцера, но Михаська все равно обиделся. Что он, девчонка-болтушка?.. А потом, какие тут тайны? На фронте, что ли?

Семен Абрамович облегченно вздохнул и как-то разом переменялся. То он был злой, а то вдруг расплылся в улыбке и показал золотые зубы.

— Очень приятно познакомиться! — сказал он, подошел к маме и поздоровался с ней за руку. — Ну, с вами мы знакомы. Общие, так сказать, знакомые... — весело кивнул он отцу и протянул руку Михаське: — Здравствуй, здравствуй, мальчик! Очень, очень приятно! — повторял Зальцер, похаживая по комнате. — Такие, знаете ли, контакты, как говорится, обоюдополезны и в наше время просто необходимы. Может, чайку?..

Мама помотала головой, и Михаська заметил, как взглянул на нее отец, когда Зальцер отвернулся.

— Значит, туфельки? — сказал Зальцер. — Какие желаете? Обыденные, выходные, бальные? Впрочем, что ж нам скрывать — люди все свои!

Он подошел к пианино, оглянулся на дверь, спохватился, накинул крючок, хотя была еще одна дверь там, в коридорчике, а она уже на запоре, и открыл крышку пианино.

— Ну вот, выбирайте любые, ваш размер, — сказал он и начал доставать из лакированного пианино дамские туфли.

Он ставил их на стол, и скоро на столе вырос целый магазин. Каких только туфель тут не было! Серые с пуговкой на носке, белые, тоже с пуговкой. Были попроще и покрасивее. Михаська в свободное время заглядывал в магазины, полки там пустовали, а если и выбрасывали обувь, то по ордерам, а тут у одного человека столько сразу!

— Выбирайте, выбирайте! — повторил Зальцер, почему-то поглядывая на окно. — А это самые изысканные, бальные лодочки. — Он поставил в центре стола туфли, сверкающие, как пианино. У них был высокий

каблук, а спереди по носку проходила золотая строчка.

Мама охнула. Глаза у нее давно уже загорелись, сразу, как только Зальцер стал доставать туфли из пианино. А тут она прямо охнула.

— Как из сказки, правда? — оживленно спрашивал Зальцер, — Как из сказки! Помните Золушкины башмачки?

Михаська помнил Золушкины башмачки, но ведь те были хрустальные, прозрачные, а эти черные, хоть и блестят.

— Нравятся? — спросил Зальцер у мамы.

Впрочем, зря он спрашивал, это и так видно было.

— Ну берите, — сказал он. — Они ваши. Я вам дарю.

Мама охнула еще раз, замотала головой; и отец тоже запротестовал, вытащил из кармана деньги и начал отсчитывать.

— Ну что вы! — воскликнул вдруг Зальцер, сердясь. — Право, как маленькие. Что вы в этом нашли? Я дарю так, и вы потом когда-нибудь отблагодарите. Мы — вам, вы — нам. Ясное дело, не с бухты-барухты. Думаю, мы с вами подружился напроечно?

— Конечно, конечно, — говорил отец, а мама не могла отвести глаз от туфель.

— Ну так вот! — сказал Зальцер. — Берите — и все!

Мама отвела наконец глаза от туфель и посмотрела на Зальцера.

— Нет, бесплатно я не возьму, — сказала она твердо. — Виктор, заплати.

Отец снова стал отсчитывать деньги; и Михаська подумал, что вот все-таки какая она молодец, мама, как твердо сказала сейчас, что бесплатно не возьмет.

Зальцер успокоился, взял деньги, приговаривая:

— Вот ведь вы какие, вот какие...

Потом наступила тишина. Пока Зальцер заворачивал мамины туфли в газету, Михаська смотрел в полированный бок пианино. В нем отражался буфет, который стоял за спиной у Михаськи, а рядом, на тумбочке, — радиоприемник. Михаське стало смешно. Он подумал, что, наверное, и в буфете вместо посуды, и в радиоприемнике вместо проводков и ламп, как в пианино, хранятся у Зальцера разные туфли.

— Ну вот ваши бальные лодочки. Не хватает только бала. Ну, теперь у вас и бал скоро будет, — сказал Зальцер и засмеялся. Но смех у него получился неискренний, будто он рассердился про себя на что-то.

— Какой там бал... — сказала мама.

— Ну как же, как же! — воскликнул Зальцер. — Не каждому, знаете ли, выпадает такое счастье, как вам.

— Какое же счастье? — удивилась мама.

— Ох, скромный вы человек, скрытный! Но что ж вам своих людей пугаться? Устроиться продавцом в первый коммерческий магазин после войны — это вроде как сразу генералом стать. Поверьте мне, старому воробью, — счастье. Да-да...

18

До Михаськи не сразу дошло все это. Он увидел, как залилась краской мама и повернулась к нему. Он еще улыбался ей. Слова Зальцера остались в памяти, но Михаська относил их к кому-то другому, не к маме. Мама всю войну работала в госпитале, спасала людей, дежурила ночи напролет возле умирающих солдат, а сейчас... Как же так — в магазин? Продавцом? Это было так неправдоподобно, нелепо...

Михаська все никак не мог разобраться в том, что произошло. Мысли путались, сталкивались, падали, как осенние мухи, которые заснули, а их вдруг разбудили, и они мечутся, не знают, куда лететь.

Отец упорно не смотрел на Михаську и о чем-то говорил с Зальцером.

— Мы пойдем, — сказала мама отцу. — Ты нас догонишь.

Она взяла Михаську за руку, как маленького; они снова прошли по тусклому коридорчику, и Зальцер, закрывая за ними дверь, сказал маме:

— Скажите мальчику, чтоб не распространялся.

— Да нет, нет, не волнуйтесь, — ответила раздраженно мама.

За спиной загремела цепочка. Они пошли молча по сухой осенней улице. Эта улица нравилась Михаське. Здесь росли дубы, и он с Сашкой Свиридом приходил сюда собирать желуди, чтобы делать из них потом смешных человечков. Желуди и сейчас лежали под де-

ревьями, но Михаська равнодушно наступал на них, и они выскакивали из-под ботинок, будто лягушки.

— Я не хотела, Михасик, — сказала мама бодрым голосом, — но папа настоял. Да и в самом деле, прав этот Зальцер, жить будет полегче. Глядишь, чего-нибудь сладенького принесу.

— Сладенького? — остановился Михаська. — Я что, маленький?

Мама смотрела на него, ей было плохо, Михаська видел это. Но зачем она делает вид, что ничего не случилось, зачем представляется?

— Ты же в госпитале! — сказал он. — Зачем тебе магазин?

Михаська старался говорить спокойно, рассудительно, чтобы мама поняла, что происходит: время еще есть, можно и передумать.

Он вспомнил, как ходил в госпиталь к маме на работу. Она усаживала его в приемном покое у подоконника, там было тихо, и Михаська учил уроки. Иногда мама говорила, чтобы сегодня после школы Михаська шел домой, — это значило, что приходил эшелон с ранеными и в приемном покое лежат бойцы. Михаська заглянул однажды туда, когда прибыл эшелон. Там было шумно,людно. На кушетках сидели и лежали раненые в одних кальсонах. Все они были перевязаны, и у многих через перевязки проступали темные пятна.

А раз мама вернулась из госпиталя совсем белая и сразу повалилась на кровать. Михаська бросился к ней, думал, что она заболела. Но мама отдышалась, попросила согреть чаю, а потом рассказала Михаське, что сегодня привезли эшелон прямо с фронта, многим раненым требовались срочные операции, переливание крови, а вот крови не хватило. Мама дежурила в операционной — помогала хирургу. Она закатала рукав, ее положили рядом с раненым и сделали переливание крови от мамы к этому раненому. Михаська удивлялся, как это из мамы кровь сразу перелили в жилы другому человеку. Мама смеялась над ним, говорила, что, во-первых, не в жилы, а в вену, и показывала у себя на руке синюю ниточку этой вены. И в одном месте на руке, над веной, у нее был огромный фиолетовый синяк. Мама сказала, что это от иглы, но все пройдет, ей не привыкать. Во-вторых, говорила она, так бы сделал любой человек, и был бы там Михаська, он тоже бы так

сделал, потому что у него группа крови такая же, как у нее, а значит, подходит всем раненым.

Вот что значил госпиталь для мамы! Да и для Михаськи он был вторым домом всю войну.

Он отвечал в школе за сбор подарков раненым. Однажды всем классом они шили прямо на уроке кисеты для бойцов, а девочки вышивали красные надписи: «Поправляйся скорее, боец». Еще они собирали папиросную бумагу, теплые носки и варежки, и все это Михаська вместе с другими ребятами и Юлией Николаевной передавал выздоравливающим раненым из мамино госпиталя. Бойцы, лежа на кроватях, хлопали им, и мама тоже хлопала, она была тут же.

А теперь все это надо было забыть, выбросить из памяти, вычеркнуть из жизни. Михаська вспомнил почему-то продавщицу мороженого Фролову, которая всю войну кормилась за счет собак, и ему до слез стало стыдно за маму.

— Эх ты!.. — сказал он, зло глядя ей в глаза.

Будь мама мальчишкой, он, может быть, стукнул бы ее даже за такую измену. Мама хотела удержать его за рукав, но Михаська вырвался и побежал к Сашке Свириду.

На повороте он оглянулся.

Одинокая фигурка мамы маячила на дороге.

Михаське стало жалко ее, и он закусил губу, чтобы, чего доброго, не зареветь посреди улицы.

Михаська вспомнил, что, когда Седов приходил к ним и отец пил водку с этим блином, Седов говорил про какое-то генеральское место.

Вот оно, значит, какое генеральское место!

Значит, Седов перетянул отца, а отец — маму.

Мама говорила: инфекция — это когда болезнь передается от одного человека к другому.

Полпросту говоря, зараза...

Дул северный ветер. Он срывал с деревьев тучи листьев, и они, как стаи голодных воробьев, летели по городу.

Отец заставил Михаську надеть зимнее пальто, но и оно не спасало. Ветер пробирался внутрь и колот спину острыми иголками.

На ладони у Михаськи стоял фиолетовый номер 286, у отца — 287. Впереди них и далеко за ними петляла очередь. Люди стояли, взявши друг друга за локти, чтоб очередь не разрывалась, притопывали ногами, переминались, вжимали в воротники озябшие уши.

Быстро смеркалось. Коммерческий магазин открывали в шесть, чтоб не волновать народ, чтоб люди не уходили с работы. Но уже к пяти очередь обматывала магазин своими завитками, а народ все подходил, подходил... И пожилая женщина, то ли выдвинутая народом, то ли так, по своей воле, все надписывала и надписывала ладони химическим карандашом.

Говорили, что сегодня, в первый день работы коммерческого — без карточек — магазина, пропустят тысячу человек. На пробу. Потому что никто не знал, сколько людей может пропустить за вечер один магазин без карточек. Все уже забыли, как это было раньше, до войны.

У двери стояла милиция, осаждая натиск очереди.

Мужчины, чья очередь была поближе, помогали милиционершам.

Михаська топтался впереди отца, хлопал ботинком о ботинок, держался за спину какой-то бабки и все думал: зачем это нужно стоять в такой очереди, если мать теперь работает продавцом и может купить сама, без всякой очереди, все, что надо? Но отец еще с вечера предупредил, чтоб Михаська ждал его: они пойдут в магазин.

Слухи об открытии коммерческого ходили уже давно. Утром в школе выяснилось, что почти весь класс собирается сегодня идти с родителями в очередь, потому что в коммерческом, как и в обычном, карточном, магазине отпускать все будут по норме, в одни руки. Значит, чем больше рук, тем больше получают продуктов.

В очередь пришли целыми семьями, брали даже самых маленьких. Вдоль очереди шмыгал Савватей. Где-то ближе к концу стоял Сашка Свиридов с матерью. Михаська видел их мельком, но никто из очереди выходить не решался, все топтались, держась за локти стоящего впереди. Михаське хотелось сбегать к Свириду, поговорить, но отец крепко держал его за локти и не выпускал.

Никак не мог забыть Михаська, что это он, отец, за-

ставил маму уйти из госпиталя. Она, правда, делала вид, что все в порядке, говорила, госпиталь ей надоел — все кровь да стоны, а тут стой себе, соси сладкие конфеты. Но это все ерунда. Зря она на себя наговаривала. Наверное, чтоб Михаську успокоить, чтоб не смотрел он на нее, как фроловская овчарка.

А отец улыбаться Михаське перестал. Вся доброта его куда-то исчезла. Хоть и не злой, но и не добрый.

Только однажды вдруг раздобрился. Пришел подвыпивший, с каким-то свертком и поставил его перед Михаськой.

Тот развернул газету — думал, игрушка — и чуть не плюнул. Это была серая гипсовая кошка с дыркой в голове. Копилка. Домашняя сберкасса.

Михаська вспомнил, как эти кошки стояли целой вереницей на базаре, перед картинами с лебедями.

Отец придвинул ему кошку, сказал:

— Давай соревноваться: кто быстрее накопит! Я на дом, ты на бочку мороженого...

Михаська представил бочку мороженого, целую бочку — вот пир горой можно устроить! — и не удержался, улыбнулся.

Отец обрадовался, шлепнул его по плечу и пообещал:

— За каждую пятерку буду давать тебе рубль, за четверку — полтинник. Знай учись! Да ешь мороженое.

Михаська даже плечами передернул: будто покупают его. Ничего не сказал отцу. Но тот по субботам брал дневник, тетрадки, считал хорошие отметки и сам совал деньги за них в голову кошке.

Иной раз за неделю выходило рублей шесть. Михаську вдруг холодным потом прошибло: сам для себя, незаметно, оказывается, считал, сколько денег положит ему отец. Ему хотелось грохнуть эту кошку, пойти к Фролихе и проесть все, что там накопилось, но чтоб только кошки больше не было. А то глаза выпучит — ждет, когда он пятерку получит.

Но он не ломал ее. Сам не знал почему, не ломал — и все.

Может, отца боялся?

А кошка сидела на этажерке и следила за Михаськой.

...Михаська почувствовал, как кто-то тянет его за ворот.

— Иди погрейся, — сказал отец.

Михаська обрадовался, побежал к Сашке.

— Ты-то чего торчишь тут? — спросил его Свирид. — У тебя мать продавцом, а ты мерзнешь.

— Продавец не продавец — все одно, — сказала Сашкина мать. — Сегодня даже, говорят, продавцов обыскивать будут, не больно-то...

Михаська отошел от них. И ни в чем не виновата Сашкина мать, а будто ведро помоев на голову вылила. Тошно-то как! Он представил, как какие-то люди обыскивают мать, будто воровку, — не унесла ли чего...

— Смотри-ка, — говорит отец, — твои подружки.

На маленьком «пяточке» среди завитков очереди толкались Катька и маленькая Лиза. Лизка даже посинела от холода.

— Все говорят, денег нет, а в магазин пришли, — сказал отец.

— Ты что говоришь! — крикнул Михаська, обернувшись. — Они руки продают. За рубль, понял?

Ветер сразу выдул слезинку из глаз.

— Как — руки продают? — удивился отец.

Михаська ничего ему не ответил. Даже если бы он и сказал отцу, тот не понял бы.

Просто у Катьки и Лизы на каждой ладони по химическому номеру. Две очереди. Одна ближе, другая дальше. И они эти очереди продают. За рубль. Потому что всё дают в одни руки.

20

В магазин пускали партиями по сто человек. И хотя без очереди никто не лез, когда открывали дверь, начиналась давка. Люди, держась за локти, не входили, а вбегали в магазин. Иногда кто-нибудь отпускал локти стоящего впереди, очередь рвалась, как старая веревка, и начиналась паника. Те, что стояли сзади, нажимали и кричали. Милиционерши пытались закрыть дверь, чтобы навести порядок, но партия прошла еще не вся, и дверь закрыть не давали.

В самой толкучке неожиданно возникал Савватей с дружками, и немного погодя действительно оказывалось, что у кого-то вытащили карточки, а кто-то потерял деньги.

Тут очередь свирепела, сжималась как пружина, и

если тебя вытолкнули из нее, кричи, божись — не пустят, пока не схлынет волнение и пружина не ослабнет.

Она была как живое существо, эта очередь. Она двигалась, шевелилась. Но если б грянул вдруг гром, пошел ливень, град, никто бы не разбежался. И Михаська стоял вместе со всеми и ничему не удивлялся, потому что эти люди, эта очередь, слишком хорошо знали, что такое еда, что такое конфеты малышне, что такое коммерческий магазин, где можно купить хоть немного сахара, муки или масла без карточек.

Первой, кого увидел Михаська, когда очередь, словно волна, занесла их в магазин, была мама.

Она стояла за гнутым стеклянным прилавком, и кривое стекло согнуло ее пополам. Будто мама просит что-то. Михаська хотел подойти к ней, но отец уже дергал его за руку. Надо было занимать сперва очередь в кассу, а потом уж бежать вдоль прилавков — выбирать, что купить.

Люди брали сыр, масло, колбасу, а отец почему-то выбил конфеты, и они еще три раза обернулись в очереди у кассы и снова и снова отбили щеки на конфеты.

Теперь они опять стояли в очереди. Уже к маме. Михаська не отрываясь смотрел на нее. Мама была какая-то незнакомая, строгая. Михаська видел ее на работе и раньше, в госпитале. И тогда мама была строгая, если делала что-то важное, но лицо ее оставалось теплым, ясным, светлым. А сейчас будто какая-то тень набежала на него. Она нахмурила брови и не отрывая глаз от своих весов, не взглянет даже на них с отцом.

Михаська подошел к весам. Он протянул маме чек, хотел сказать: «Свешайте конфет», но не смог. Язык просто не повернулся сказать маме это, как какой-то продавщице. Но мама и правда была теперь продавщицей, и все ей говорили: «Свешайте, свешайте» — и никому ничего больше не требовалось.

Всем было все равно, что за человек там за прилавком; главное, чтоб он взвесил и не ошибся, не надавил пальцем на весы, не обжулил.

Мама смотрела на Михаську, ей в глаз попала какая-то ерундовина, и мама моргала-моргала, хотела выморгнуть эту ерундовину.

Она замескалась немного с Михаськой, а очередь сразу зашумела на нее: все тут торопились, всем было

некогда — и мама сунула Михаське кулек с конфетами, словно чужому, просто покупателю, и продолжала вешать свои конфеты, не отрываясь от весов.

А слезинка ползла у нее по щеке, и мама дула на нее краешком губ, хотела сдуть и все не могла...

Дома было неуютно и холодно. Истопить печку мама не успела, и отец начал строгать лучину. Михаська развернул кулек. Конфеты оказались шоколадные, с фруктовой начинкой.

Последний раз ел Михаська такую конфету у Юлии Николаевны. На прошлый Новый год она позвала к себе Катю с Лизой, Сашку и еще нескольких ребят. Всем досталось по такой конфете. Когда конфеты съели, а фантики спрятали по карманам, Юлия Николаевна вдруг рассказала, почему сейчас мало конфет. Оказалось, машины, которые раньше выпускали конфеты, теперь делают патроны.

— Хорошо! — сказал тогда Сашка. — Фашистам к чаю.

Они рассмеялись. Но еще от одной конфетки никто бы не отказался. А больше у Юлии Николаевны не было.

Михаська часто думал, что, когда наступит мир, он объестся конфетами. И вот они лежали перед ним. А есть их совсем не хотелось.

Михаська лег в кровать.

В печке гудел огонь, он освещал лицо отца, и оно казалось ярко-красным и недобрый.

Михаська решил, что обязательно подождет маму, но незаметно уснул.

Он проснулся вдруг, сразу, от какого-то странного звука. Как будто кто-то плакал. Михаська сел на кровати.

— Перестань! — тихо сказал отец. — Вон и Михасика разбудили.

— Что? Что случилось? — испуганно спросил Михаська.

— Ничего, ничего, сынок, ты спи, — ответила мама.

Отец курил, и в темноте ярко светилась красная точка.

Михаська вспомнил, как до войны, еще совсем маленьким, он просил отца нарисовать ему что-нибудь в темноте папироской. Если быстро крутить огоньком,

получается картинка. Забавно. Отец словно услышал это.

— Хочешь, нарисую? — спросил он.

И Михаська лег, успокаиваясь.

— Нарисуй, — ответил он хриплым спросонья голосом.

Отец раскурил папироску, чтоб она горела поярче, и стал выписывать в темноте круги, крендели, шары, а потом сказал:

— Теперь смотри.

Он провел красный квадрат, над ним нарисовал треугольник, а на треугольнике маленький квадрат. Из квадрата пошли завитушки. «Дом, — понял Михаська. — И тут этот дом!»

Михаська повернулся к стене и притих, стараясь уснуть.

Ночью ему приснился бревенчатый дом. Бревна были красные, как головешки. И дым из трубы был не дымом, а кудрявым огнем. Михаська думал: как жить в таком доме?

21

А через два дня случилось ужасное.

Сашка, лучший друг, оказался предателем.

Все было так, как бывает в те дни, которые на всю жизнь запоминаются.

Утром он пил чай, и отец подкладывал ему конфеты. Михаська опять съел только одну конфету, больше не стал. Подумал, что надо еще привыкнуть съедать сразу много сладостей. Если человек долго голодал, ему сразу объедаться нельзя — умрет. Так же и с конфетами. Надо сначала по одной, потом по две.

Он вспомнил маленькую Лизу. Всю войну, когда ей перепали какие-нибудь сладости — конфету кто подарит, или кусочек шоколада, или пряник, — она эти сладости не ела сразу, а складывала в коробку из-под папирос «Казбек». А потом, в праздники, доставала три конфеты и давала всем по одной — бабушке, Кате, себе. Михаська видел, как пили они чай вприкуску с Лизиными конфетами, какая серьезная была Лиза и какой праздник это был для Ивановны. Михаську они тоже пробовали посадить за стол, но он наотрез отказывался. Разве можно было съесть Лизину конфетку!..

Потом Михаська шел в школу и удивлялся теплой погоде, которая наступила сейчас, в разгар осени, поздним сентябрем. Была удивительная тишина, шуршали под ногами кленовые листья, и Михаська подумал, что можно этими листьями вымостить тротуар — будет очень красиво! — и люди, наверное, не станут тогда ходить по тротуару, пожалеют такую красоту. Откуда-то сверху летели прямо в лицо белые паутинки, Михаська отмахивался от них, но паутинки все летели, летели, будто десант высадился.

В школе Михаська сразу заметил, что Сашка Свиридов как-то странно посмотрел на него. Что-то чужое было в Сашкином взгляде, будто он знал о Михаське больше, чем знает даже сам Михаська.

Но Сашка ничего не сказал, улыбнулся, подошел к Михаське; они начали, как всегда, спорить и в азарте до спорились до того, что начали обсуждать, кто смелее — Сашка или Михаська. Началось, между прочим, с того, что Сашка стал говорить, будто лунатики не боятся ходить по краю крыши. Михаська считал, что в вопросах медицины он-то разбирается лучше, и сказал: мол, бояться или не бояться — не в этом дело, просто лунатизм — болезнь такая, и по крыше может ходить самый распоследний трус, потому что он, когда идет, ничего не соображает.

Слово за слово — в общем, сошлись на том, что нет ничего отчаяннее, как потрепать по шее собак, и не каких-нибудь дворняжек, мопсиков, хоть и кусачих, но трусливых, а тех самых знаменитых на весь город овчарок Фролихи, что сторожат универмаг.

Сашка в запале немедленно решил сделать это сегодня же, а Михаська, понятно, стал над ним потешаться.

Михаська помнил, каким тихим был Сашка в лагере, когда они познакомились. Но сейчас он стал задиристым и всегда лез напролом. И уж не отступал от слова, хотя Михаська подсмеивался над ним просто так, без всякой злобы. Да каждый же скажет, что пойти навстречу псам и потрогать их может только сумасшедший.

Но Сашка все перемены шумел, хвастался, подталкивал Михаську, и Михаська сказал: ладно, так и быть, он спорит с Сашкой на три «американки», что тот струсит. Три «американки», а каждая — исполнение трех любых желаний выигравшего — цена для тако-

го дела очень даже немалая, и Сашка тут же согласился.

После уроков они пошли поесть, а к вечеру, когда собаки должны были идти в магазин, встретились в условленном месте на улице, по которой однурукий муж Фроловой водил своих псов.

Уже смеркалось, когда овчарки появились на дороге. Сашка, увидев их, побледнел. Михаська сказал ему, чтобы бросил дурить, — он отменяет все свои «американки», но это почему-то только сильнее разозлило Сашку.

Собаки приближались. Они шли, чуть косолапя, оставляя на земле когтистые пятиконечные знаки, и прохожие покорно сворачивали в сторону, уступая дорогу знаменитым псам.

Сашку стало трясти, он даже позеленел, а Михаська, растерявшись, молчал. Эх, надо бы схватить Сашку за рукав, дернуть его — пусть во всем был бы виноват тогда Михаська! — но не дать Сашке сделать этот шаг. Последний шаг. А может, первый? Ведь с него все началось.

Собаки поравнялись с ними. Сашка шагнул вперед, и один пес зарычал, ошетинил шерсть и потащил мужа Фроловой к Сашке. Второй пес шел спокойно, ничего не замечая, понуриив голову.

Фролов прикрикнул на пса, и тот послушно умолк. Сашка стоял на обочине мостовой, глядя вслед собакам, ни жив ни мертв. Если честно говорить, и у Михаськи пошли по спине мурашки, когда Свирид сделал свой первый и единственный шаг к собаке. Михаська вздохнул и хотел было утешить Сашку, но тот повернулся к нему. Михаська удивился: в глазах у Сашки стояли слезы — наверное, он просто обозлился на себя за этот дурацкий спор и, конечно, на Михаську.

— Уйди! — прошептал он.

— Брось ты, Сашка! — сказал Михаська. — Мне бы ни в жизнь... Вон он как ощерился!

— Уйди! — снова сказал Сашка, зло сжимая кулаки.

Он, наверное, решил, что Михаська просто смеется над ним, издевается, как тогда, в лагере, издевались над Сашкой почти все. Михаська вдруг подумал, что, пожалуй, Сашка и стал-то таким задиристым после лагеря, чтобы доказать всем, что не хуже других.

И псов захотел погладить, чтоб доказать. И не кому-нибудь, а Михаське, своему лучшему другу.

— Брось ты, Сашка! — сказал он снова.

— Уйди! — закричал вдруг Сашка. — Уйди, говорю, спекулянт!

«Вот ведь как обиделся! — подумал Михаська. — Будто он, Михаська, лучший друг, мог о нем что-нибудь плохое подумать. А про лагерь он давным-давно забыл».

— Что ты, — засмеялся Михаська, — белены объелся?

Этого слова, «спекулянт», он даже не заметил.

— Уйди! — повторил Сашка. — Все вы такие. Спекулянтская морда!

«Что он, обалдел совсем? — подумал Михаська. — Я к нему как к человеку, а он...»

— Ну-ка повтори, — сказал Михаська.

— И повторю! — окрылся Сашка. — Спекулянтская морда! Твоя мать конфетами теперь на базаре торгует.

Михаська вложил всю силу в этот удар. Сашка упал в пожухлую траву, упал молча, как мешок, набитый чем-то тяжелым. И то, что он не заревел, ничего не сказал больше, острой болью резануло Михаську. Значит, он сказал правду?! «Тьфу, ерунда какая!» — подумал он тут же.

Но Сашкины слова уже не давали ему спокойно идти, спокойно дышать, о чем-то думать. Он пошел домой быстрее, потом побежал. Тут он вспомнил, что уже вечер и мама в магазине. Тогда он кинулся в магазин, но передумал.

Дома никого не было. Михаська включил свет и пошел в буфет. Конфеты, которые они купили в коммерческом два дня назад, лежали на месте.

«Гад! — подумал он. — Какой гад этот Сашка!»

Для верности Михаська развернул бумажку и откусил полконфеты.

Однако спокойнее не стало. Михаська побежал в магазин. Вокруг него опять вилась очередь, еще длиннее, чем в тот раз. Мама говорила: теперь пропускали по полторы тысячи человек. Михаська обошел магазин и стал стучаться в какую-то дверь. Ему долго не открывали, потом выглянула милиционерша. Михаська сказал, что он пришел к матери — надо отдать ей ключ, и милиционерша впустила его. Старуха в мятом халате пошла

заменять мать, и через минуту в коридор, где пахло пряниками и колбасой, выбежала бледная мама. Она кинулась к Михаське, обняла его.

— Что ты? — спросила она.

— Ничего, — ответил Михаська.

В коридоре никого не было. Только маленькая лампочка освещала большие ящики.

— Mam, — глядя ей в глаза, спросил Михаська, — ты продавала конфеты? На рынке!.. Да?

Мама вдруг переменялась, лицо ее посерело, она нахмурилась, но Михаська не спускал с нее глаз.

— Это правда? — повторил он.

Она посмотрела на Михаську такими тоскливыми глазами, что он чуть не заревел от собственной несправедливости.

— И ты поверил? — спросила она.

Михаська шагнул к ней и прижался головой. Мама гладила его по вихрам, тормошила, как маленького.

Будто камень свалился у Михаськи с сердца.

— Ну иди! — сказала мама.

Михаська пошел по коридору, дошел до конца и обернулся. Ему показалось, что мама оперлась о стенку. Он хотел подбежать к ней, но мама помахала ему рукой.

Лицо ее было совсем серое.

А может, это просто такая тусклая лампочка была в коридоре.

22

В десятых числах октября желтое, будто остывающее, солнце закрылось ватными облаками. Два дня моросил дождь, потом снова небо прояснилось, и те, кто еще не убрал картошку, заторопились на свои участки с лопатами на плечах, обмотанными, словно боевое оружие, холщовыми тряпицами. Погода предупредила: дальше ждать было нечего, того и гляди, пойдут обложные дожди, и тогда придется копать в мокрой земле, очищать картофель от грязи, таскать мешки, спотыкаясь о кочки, так что каждый пуд обойдется на вес золота.

Лесок возле их поля стал просто удивительным. «Осень, — думал Михаська, — пожалуй, лучше весны». Весной только зеленое и зеленое вокруг, а сейчас и красное, и желтое, и коричневое, будто лес нарядился куда.

Они работали споро, участок был все-таки не маленький. Отец сначала гнал несколько рядов, подкапывал кусты. Мама с Михаськой и Катькой, которая им помогала, за ним не успевали. Тогда отец отдавал лопату Михаське, а сам помогал выбирать из земли картошины. Михаська разгибал уставшую спину, поднимал глаза от земли, поплевывал на руки и начинал копать.

Иногда он втыкал лопату в землю и шел к ручью, который перебегал через белый камень. Вода приятно холодила горло, леденила зубы. Михаська ложился на траву у воды и пил прямо из ручья. На дне золотели песчинки, освещенные солнцем, вода переливалась, торопясь к речке или к большому ручью, омывая рассыпанные в песке разноцветные камушки. Михаська смотрел на эти камушки, ему не хотелось трогать их, брать со дна, мутить воду. Среди серых обыкновенных камушков, простой гальки, поблескивая в воде, лежали прозрачные и чистые. «Может, это хрусталь?» — думал Михаська. На географии им говорили, что в ручьях попадаются кусочки горного хрусталя, чистого, прозрачного как вода.

Михаська вспомнил, как они приходили сюда с отцом и мамой вскоре после того, как приехал отец, и Михаська вытаскивал со дна эти прозрачные камушки, и смотрел сквозь них на поле, на небо, на солнце, и не знал еще тогда, что это хрусталики. Они пели пионерскую песню отца и мамы, песню про картошку, и все было хорошо и ясно тогда.

Михаська снова подумал про Сашку Свирида, про неожиданную и какую-то нелепую эту драку. Он никак не мог понять, с чего бы вдруг Сашка, лучший его школьный товарищ, сказал такое. Ведь ничего между ними не было плохого.

Ну обозлился. Даже ясно, почему обозлился, хотя и совсем зря, но такое говорить!..

Никак не поймет Михаська, в чем тут дело.

Книжку читает — про Сашку думает, по улице идет — снова про Сашку, на уроке сидит — Сашка ему покоя не дает. А уж картошку копает — тем более. Никогда просто так, ни за что Сашка никого не обижал. Даже девчонок за косы без дела не дергал. А тут — такая несусразица.

Михаська копает картошку, собирает клубни, пьет время от времени воду, и ему все Сашка покоя не дает.

Отец говорит:

— В час — большой перекур.

В час должна прийти Ивановна, принести обед. Мама с ней договорилась. Сегодня воскресенье, они с утра ушли на участок, а Ивановна приготовит обед для всех и принесет. Мама ей денег дала.

В животе начинает урчать. Катька говорит, от голоду кишки в животе ссыхаются, могут прямо присохнуть друг к другу. Поэтому, если есть нечего, надо пить воду. Это, конечно, ерунда, разговоры одни, но Катька говорит, что у нее такое было. Они прошлой зимой голодали, есть совсем нечего было, все отдавали маленькой Лизе. Тогда бабушка Ивановна пошла в военкомат. Ее уже там знали — все-таки отец у Катьки с Лизой был кадровый офицер, — и бабушке выдали денег. Она купила на рынке мерзлой брюквы, чтоб подешевле и побольше, сварила чан похлебки, и стали есть. Катька не выдержала, наелась: вдруг стало больно в животе, и она прямо каталась на кровати.

Когда приехала врачиха, она на бабушку накинулась, что дает после голодания столько еды девочкам.

— Так заворот кишок может быть, — сказала она.

Михаська сходил еще раз к ручейку, напился, вытер рукавом губы. Вдали по меже кто-то шел.

— Наверное, бабушка Ивановна, — сказал он матери.

В эмалированном, еще довоенном ведре, укрытом маленькой подушкой, Ивановна принесла кашу. Над кашей стояла широкая миска со щами.

Все уселись в кружок, долго звали Ивановну, но она наотрез отказалась — сказала, что уже отобедала.

Лицо у бабушки Ивановны будто вырезанное из белого дерева. И по нему глубокие темные трещины — морщины. Морщины такие тяжелые, такие глубокие, просто даже не верится, что когда-то, как у всех молодых, было у бабушки Ивановны гладкое лицо.

— Что ты, Ивановна? — спросила мама. — Или расстроена чем?

Ивановна подняла трясущуюся голову.

— Ох, не говори, Вера! — сказала она. — Вот и война кончилась, а горе все идет...

Все повернулись к ней.

— Встретила сейчас Юлию Николаевну нашу. Идет к Свиридовым. С горем идет.

И Ивановна рассказала про Юлию Николаевну такую историю, что Михаська просто ахнул.

Еще в позапрошлом году шла она из школы домой и встретила почтальоншу, бывшую свою ученицу. Остановилась, поговорили. Почтальонша и говорит: «Не учится ли у вас Свиридов, у него еще мать сердечница?» Юлия Николаевна сказала, что да, учится такой Саша Свиридов, особенно успевает по математике, и правда, мать у него часто болеет.

— Боюсь, — говорит почтальонша, — к ней идти. Им похоронная на старшего сына. Вдруг мать не выдержит.

Юлия Николаевна взяла у почтальонши похоронную и сказала ей, что передаст сама, когда настанет время.

Михаська знал, что мать у Сашки сердечница. Даже при нем, когда он бывал у них дома, с Сашкиной матерью не раз делалось плохо, и они вместе бежали в проходную лесозавода, которая была поблизости, вызывать по телефону «скорую помощь». «Точно, — подумал Михаська, — Сашкина мать, конечно, не выдержала бы, и остался бы Сашка совсем один. Отец у него как раз перед войной умер».

Ивановна говорила, а Михаська представлял себе, как Юлия Николаевна строго-настрого велела почтальонше никому ничего не говорить, а сама спрятала похоронную подальше, потому что надо было Сашкину мать подготовить к такому известию.

То-то Михаська так часто встречал Юлию Николаевну у Свиридовых. Она говорила с Сашкиной матерью о всяких пустяках, а Сашкина мать кивала головой, говорила, что все бы ничего, вот и Саша уже большой, но беспокоится она за Колю, старшего сына.

От него нет известий и похоронной тоже нет; вот, может быть, к партизанам заброшен...

А Юлия Николаевна все не решалась отдать похоронную, сил у нее, наверное, не хватало отдать эту бумажку.

Она думала о Коле, подолгу смотрела на переменах на Сашку и не останавливала его, когда он дурел, и все думала о Сашке, о его матери, о похоронной.

Никто ее не просил об этом, но Юлия Николаевна сама взяла на себя эту тяжесть и несла ее одна, хотя это, наверное, было трудно. Она несла чужую тяжесть и жда-

ла, когда Сашкиной матери будет легче, когда она привыкнет к мысли, что Коли уже нет, чтобы потом разделить с ней это горе и спасти ее, потому что у нее есть еще один сын — Сашка.

Приближалась победа. Юлия Николаевна думала, что Сашкина мать не выдержала бы такого горя в эти дни.

Теперь война кончилась, прошли месяцы, как она кончилась. Сейчас надо было сказать.

Михаська представил, как Юлия Николаевна пришла к Сашкиному дому, как подошла к крыльцу, но остановилась, потопталась в нерешительности, посмотрела рассеянно по сторонам.

А потом вздохнула и тяжело поднялась по скрипящим ступенькам.

23

Бабушка Ивановна провела рукой по лицу, будто сняла паутинку. Мама вздохнула.

Михаська попробовал представить, как Юлия Николаевна говорит сейчас Сашкиной матери о Коле, но не мог. Он просто вспомнил Колю. Сашка показывал его фотокарточку: молодой такой парень. На погонах по одной звездочке.

Мама задумчиво смотрела куда-то в сторону. Отец отложил ложку. Ветер лохматил его волосы, как тогда, когда они приходили на участок первый раз. Он хмурился, и морщины пересекали его лоб.

Михаська подумал, что ни разу еще не видел отца таким серьезным и задумчивым.

Отец вытащил папироску, закурил, окутался своим дымом.

— Долго еще про погибших узнавать будем, — сказал он. — Это вроде как эхо... Война кончилась, а эхо еще долго катиться будет. Бывало, лежишь в окопе, кругом — ад, все рвется, того и гляди, уokoшат. Лежишь и думаешь: «Какой дурак был, жить не умел. Дни бежали, за днями — месяцы, а ты их не замечал... Эх, победим, мол, тогда буду знать, почем жизнь! Как ее уважать надо!»

Отец встал. Михаська подумал, что говорит он сегодня как-то необыкновенно, удивительно. Никогда так не говорил.

— Вот рассказала ты, Ивановна, — сказал он, — и снова будто жаром пахнуло. Ну ее к чергу, войну! Давайте-ка жить!

Он схватил лопату, сжал ее в руках. Глаза у отца заблестели.

— Хочу забыть... Понимаете, все забыты! Смерть забыть, кровь, раны... Сыт по горло, понимаете? Живым жить надо! Жить хочу!

Отец воткнул лопату в землю, с силой нажал на нее, вывернул огромный ком земли с картошкой. Вдруг обернулся. Все уже встали, чтобы снова выбирать клубни.

— Чтобы каждый день, понимаете, каждый день радоваться, что ты живой! — крикнул он.

Она стал выворачивать комья земли с картошкой. Все помогали ему. Только Ивановна стояла там, где сидела, и смотрела на отца. Голова у нее вздрагивала.

— Забудешь?.. — словно удивляясь, сказала она. — Как же тут забыть-то все это? Кому это под силу?

Отец как будто не расслышал, что она сказала. А может, и слушать не хотел.

Он работал со злостью, с силой переворачивая землю. Будто хотел на всем поле выкопать всю картошку.

«Тошку-тошку-тошку-тошку...»

24

На другой день Сашка Свиридов в школу не пришел. После уроков Михаська отправился к нему домой и на крыльце столкнулся с Юлией Николаевной.

— Пока не ходи туда, — сказала она. — Завтра он придет в школу. Им теперь надо одним побыть.

А когда Сашка пришел назавтра, весь класс уже знал, что у него убит брат, и никто к нему не лез, потому что Михаська предупредил.

В первую же перемену Михаська подсел к Сашке. Так они просидели до звонка, не сказав друг другу ни слова, потому что Сашка просто не замечал Михаську.

Не заметил он Михаську и на другой день; и Михаська подумал, что Сашке, наверное, неприятно, что к нему лезут. Когда у человека горе, ему лучше одному побыть, отойти, остыть...

Теперь по вечерам, приготовив уроки, он пропадал у Лизы и Катки.

Правда, иногда ему казалось, что девчонки и Ивановна относятся к нему как-то по-другому. Они улыбаются ему, болтают с ним как ни в чем не бывало. Но когда садятся есть свой суп из брюквы, Михаську за стол уже не зовут. А раньше звали.

Михаське было горько от этого, стыдно за самого себя. Ведь он знает: его не зовут, потому что думают, он откажется — его же теперь дома вкусно кормят. Колбаса у них не переводится, масло, и все по твердой цене, потому что мать в магазин устроилась. А у них колбасы нет и неизвестно, когда будет.

Михаське кажется, что теперь Ивановна с матерью даже как-то по-особому и здоровается-то. Как с генералом.

Не зря же этот Зальцер тогда говорил. И Седов тоже.

Он не винит Ивановну — она тут ни при чем, это мать виновата. И отец. Из-за них теперь Ивановна не зовет его есть с ними. Вроде барином он стал.

Михаська старается загладить свою вину. Он приносит девчонкам куски колбасы, и ему стыдно: может быть, они подумают, что вот теперь он разбогател и хвастается своей колбасой, их кормит. Правда, ничего такого ни Катька, ни Лиза не говорили, но, наверное, думали.

Когда Михаська размышлял обо всем этом, какая-то тяжесть словно навалилась на него. Он думал о том, что очень все-таки несправедливая жизнь на земле. Вот для одних — для них, например, — война уже кончилась. Приехал отец: они теперь и завариху-то редко едят, все больше кашу — гречневую или там пшеничную. В общем, нет войны, прошла она для них. Недаром отец тогда кричал: «Живым жить надо!» Вот и стараются, живут.

А для Ивановны когда она еще кончится!.. Скоро ли?

Когда? Да никогда, может. Как вспомнят Лиза и Катька своего отца, маму свою, так снова для них война. Вырастут уже, может, постареют, своих детей народят, а вот вспомнят отца и мать — и снова война загрохочет. Снова вспомнят брюкву, и куски хлеба с хлебозавода, и булочки-посыпушки, облизанные Лизкой, и гроб на хлебных тележках...

А вот жизнь простая, обыкновенная: чтоб еды было вдосталь, колбасы, масла... Когда это будет?

Михаська иногда мечтает: просыпается он утром, а Левитан торжественно объявляет, что с сегодняшнего дня все, кто еще недоседает, недопивает, все, кто плохо живет, потому что война была, получают особые карточки и по этим карточкам в коммерческом магазине — чего хочешь, и бесплатно, по норме, конечно, в одни руки.

Он вспомнил, как тогда, когда магазин открыли, все люди пришли еду покупать, а Катька с Лизой руки продавали. Четыре очереди — четыре рубля.

Михаське — конфеты с фруктовой начинкой, а им...

А тут бы, по таким новым карточкам, им в первую очередь.

Михаська понимает, что это, конечно, ерунда. Карточек таких не будет. Может, будут, но не сейчас.

Сейчас государство еще слабое после войны. Как человек, которого ранили, а он много крови потерял.

Но как же тогда быть? Почему для одних война кончилась, а для других нет, хотя ведь салют в День Победы для всех был и победа для всех?

Правда, для некоторых никакой войны вообще не было. Для Зальцера, например. Торговал всю войну туфлями, а за деньги даже в войну на рынке что угодно купить можно.

Вот взять бы и всех этих спекулянтов раскулачить. Отнять все добро — раздать бедным.

Нет, ничего тут не придумаешь. Один только выход. Скорей бы построили разрушенные города, хлеб бы поскорей вырос на Украине. Им Юлия Николаевна с первого класса говорила, что Украина — наша житница, ну вроде амбара с зерном, значит.

А будет амбар, сразу полегчает, станет лучше жить и Ивановна с девочками.

Не оставляют Михаську в покое эти мысли. Ему кажется, что тут что-то не так...

Ведь фашисты разрушили много. Когда все построят? Опять несколько лет. И что же, эти несколько лет Ивановна должна просто сидеть и ждать?

Нет, что-то не сходилось в этих размышлениях. Как в задачке. И ответ в конце книжки есть, а задачу никак не решишь. И все вроде правильно, а не получается...

Иногда он думал, что надо просто ждать, просто

жить, просто зарабатывать на хлеб. Но ведь просто жить и просто зарабатывать — так ведь и Зальцер поступает, и его мать с отцом, и бабушка Ивановна, когда посылает Катьку квас продавать.

Так как же? Все о себе думают, о том, как прожить. А как правильно?

Зальцер, это ясно, подлец: пианино туфлями набито. А тут вон Лизка вся насквозь просвечивает. А бабушке Ивановне без этого никуда не деться. Или квас продавать из корок, или булочки, или ложись и помирай.

Одно неясно — мать с отцом... Отец на заводе, мать в госпитале была; на еду хватало. Жили бы обыкновенно, как все люди.

Нет, как все, оказывается, это плохо. Надо лучше, чем все. Надо дом. Но дом — это же хорошо. Кто бы отказался, если бы ему дали дом? Бабушка Ивановна бы не отказалась. Про Зальцера и говорить нечего. Но кто даст? Никто на тарелочке не поднесет, не скажет: «Возьмите, пожалуйста, живите на здоровьице, рассказывайте на теплой печке друг другу сказки». Значит, надо взять. Построить. Сделать.

А чтоб построить — уйти из госпиталя в магазин. Про завод говорить: «Только оторвали...» Тазы паять. Инвалида бояться.

Если все так жить станут — только для себя, для себя, — когда же будет как до войны? Или никогда? Война, как шрам, зарастает, но навсегда остается!

Михаська вспомнил, как помогал Кате нести корзину с квасом на рынок. Только подходят, а с базара вдруг как побегут люди! Катька кричит: «Облава!» — и юрк в подворотню, вся просто дрожит, а мимо подворотни бегут кто с чем. Тетка пробежала с красными сладкими петушками. Какой-то дядька с двумя буханками хлеба под мышкой. Другая тетка без ничего, только карманы оттопыриваются.

И вдруг на улице появились грузовики. На них — какие-то веселые люди. Песни поют. А на бортах — красная материя, и по ней написано: «Восстановим Сталинград!», «Восстановим Сталинград!»

— Эх, — сказала Катька, — поехать бы с ними!.. Михаська и сам поехал бы.

Они смотрели вслед машинам, а мимо все еще бежали люди с рынка.

Пронеслась метелями зима, повьюжила, понасыпала сугробы, потрещала бревнами в деревянных избах, и снова запели ручьи, загорланили нетерпеливые грачи; земля, подставляя себя солищу, скинула белые одеяла.

А с Сашкой Свиридом так ничего и не выходило у Михаськи.

Михаська ругал себя за ту драку. Не надо было заводить Сашку, говорить, что предел храбрости — погладить этих овчарок. Можно же было сказать что-нибудь совсем невероятное — например, прыгнуть с парашютом. В их городе с парашютом никто не прыгает, хотя самолеты есть, летают иногда «кукурузники», и все, спор бы кончился. Попробуй докажи Сашка свою храбрость, если с парашютом никак не прыгнешь. А то — псы... Псы, конечно, вон они, каждый день по улице ходят. С работы и на работу. Овчарки рядом, храбрость можно и проверить.

Допроверялись...

Юлия Николаевна еще в четвертом классе говорила — нет на свете ничего неожиданного. Все можно предусмотреть и предсказать. Это она о науке тогда говорила. Дескать, землетрясения, наводнения, ливни и снегопады — все наука может заранее предсказать.

Это она к тому говорила, что бога нет.

Бога-то, может, и нет, а вот предсказать все нельзя.

Разве мог знать Михаська, что с Сашкой Свиридом все так получится?

Это было на уроке физкультуры. До пятого класса никакой физкультуры не было, а теперь вот стала. Раз в неделю, в пятницу, два часа подряд они делали во дворе всякие упражнения, бегали, прыгали, играли в футбол, и всем было очень весело.

В ту пятницу они бегали и прыгали, как всегда, а потом Иван Алексеевич сказал, что пойдет за мячом, чтобы они поиграли напоследок в футбол. Он ушел. А ребята загалдели, начали гоняться в «пятнашки», куваться на траве и делать стойки на руках.

Только Сашка с Михаськой сидели на пригорке. Сашка грелся на солнышке, а Михаська глядел на него и думал, как бы ему снова заговорить с Сашкой и положить всей этой дурацкой ссоре конец. Одной ногой он упирался в булыжник. Камень поблескивал на соли-

це слюдяными блестками. «Значит, гранит», — подумал Михаська.

Вдруг ребята, которые кувыркались, все враз остановились и притихли. Так даже не притихали, когда директор входил, а уж про Ивана Алексеевича и говорить нечего.

Михаська обернулся и вздрогнул. По площадке шел Савватей с компанией своих дружков. Они шагали медленно, будто нехотя, на каждом были кепочки — маленькие, с малюсенькими козырьками и малюсенькими пуговками на макушке. Кепочки висели у них на самом лбу. Впереди, конечно, шел Савватей, небрежно перекидывая из одного уголка рта в другой папироску.

Когда-то Юлия Николаевна рассказывала им про удавов. Удавы прячутся в лианах, а когда хотят есть, выползают на тропинку. Бежит какой-нибудь кролик, удав поднимет голову и уставится на него. Тот так и присядет со страху. А удав смотрит, смотрит на него, и кролик не может никуда убежать. Тут удав его глотает целиком, даже не жует.

Вот и Савватей как удав. Идет, смотрит на всех, и все затихли, глядят ему в рот. Никто не шелохнется. Каждый ждет, что сейчас Савватей его выберет, хотя если бы все вместе навалились, туго ему пришлось бы.

Но Николай Третий идет спокойно, уверенно, подолгу смотрит в глаза мальчишкам и девчонкам, и они не смеют уйти или даже отвернуться.

Савватей оглядел всех, никто ему не понравился, посмотрел на Сашку. Сашка под его взглядом встал, но Савватей не задержался на нем долго, только подмигнул, будто старому знакомому, и взглянул на Михаську. Михаська вспомнил, что Сашка ведь был у Савватей «на работе» — как говорил Свирид, «шестерил» ему. Ходил, значит, все время рядом, как адъютант, подносил, что Савватей прикажет. Но потом мать Сашкина отбила его у Савватей.

А тут он подмигнул Сашке и направился к Михаське.

Михаська видел, как медленно идет Савватей, и сердце у него в груди стучало тоже медленно, в такт его шагам, но громче и гульче. Какая-то волна захлестывала Михаську, подкатывала к горлу, как тогда, зимой, в ту памятную встречу с Шакалом, и мурашки ползли по спине откуда-то из-за пояса прямо к шее.

Савватей подходил все ближе и ближе. И Михаська медленно, сам этого не чувствуя, поднимался ему навстречу. Савватей подошел совсем вплотную и протянул к Михаське руку. Свою грязную, потную лапу.

Михаська внутренне содрогнулся от мысли, что, может быть, Савватей проведет сейчас по его лицу этими грязными лапами — была у него такая любимая привычка, — и, не зная, что делать, приготовился к самому ужасному. Но Савватей протянул руку к его курточке и пощупал ее. Курточка у Михаськи была новая, теплая; мать купила ее на рынке, и она очень нравилась ему. Курточка была сделана из какого-то пушистого материала. Мать говорила — с начесом. Что это такое — с начесом, Михаська не знал.

— Охо! — сказал Савватей. Он так и сказал: «охо», а не «ого».

Михаська не успел опомниться, как Савватей быстро вынул из кармана коробок спичек, чиркнул одной и поднес ее к курточке. Михаська увидел пламя, которое рванулось прямо по нему огромным желтым языком; лицо опахнуло жаром, и все кончилось.

Это произошло в какую-то секунду. Михаська глянул на курточку и охнул. По коричневой материи расходились черные свалявшиеся клочья. Вся пушистость сгорела.

Савватей и его дружки хохотали, хлопали Михаську по плечу.

И вот тут Николай Третий снова протянул к нему руку и мазнул его по лицу.

То, что сгорела курточка, как-то совсем не огорчило Михаську — вернее, не успело огорчить; он просто не ожидал этого и еще не успел понять. А вот этого — по лицу, — этого он ждал.

Михаська наклонился и схватил камень. Он упирался одной ногой в этот камень, когда сидел на пригорке и думал, как бы заговорить с Сашкой. Камень был теплый — он нагрелся на солнце — и поблескивал в руке у Михаськи своими слюдинками.

Савватей отступил на шаг от Михаськи. Может быть, он посмотрел ему в глаза и увидел там что-то такое, отчего стоило отступить?

Он отступил еще на один шаг и еще на один, и вся его шайка тоже пятилась.

Голова у Михаськи работала очень четко, и сердце

больше не стучало. Он вышел из-под гипноза Савватаея; наоборот, он теперь сам гипнотизировал всю эту шайку в кепочках, каждый из которых выше его на две головы. «Ага, — ухмыльнулся Михаська, — вот они чего боятся — оружия, силы!»

Он ухмылялся, и это действовало на Савватаея: тот пытался все быстрее и быстрее. Михаська рассчитал, что он ударит Шакала по виску. Он уже выбрал на его лошадином лице местечко — там, где дрожит синяя жилка. Вот туда. Чтобы раз — и навсегда!

Может, Савватей понимал, о чем думал Михаська? Он торопливо полез рукой в карман и, все так же пытаясь, вытащил бритвочку, обыкновенную бритвочку. Рука у него дрожала.

— Брось! — сказал он. — Попишú!

А сам все пытался, и вместе с ним вся его компания.

Михаська решил, что он не будет кидать камень: ки-нешь его раз, а дальше что? Один выстрел? Мало. Нет, он будет бить этим камнем. Даже взрослые боятся Савватаея. Он, может, сто лет тут проживет, этот шакал и карманник. Надо его убить.

Он сделал два шага побыстрее, и совсем приблизился к Савватею, и замахнулся уже своим камнем, своей палицей со слюдинками, как вдруг кто-то схватил его за руку, в которой был камень.

Михаська обернулся и увидел Ивана Алексеевича, математика и физрука.

— Так убить можно! — сказал он. — Ты что, с ума сошел? Хочешь, чтоб родителей за тебя посадили?

Михаська выпустил камень и посмотрел на Савватаея. Тот со своей компанией стоял у забора и грозил кулаком.

— А вы вон отсюда! — крикнул Иван Алексеевич савватеевской компании и сам замахнулся на них камнем.

Савватей с дружками словно испарился.

— С ними по-другому не поговоришь, — сказал Иван Алексеевич, и Михаська удивленно посмотрел на него. Учитель был первым взрослым, кто, видно, не боялся связаться с Савватеем.

Над забором появилась лошадиная морда Савватаея, и он крикнул:

— Эй ты, обгорелый, попишú!

Савватей не бросался словами — это все знали, но Михаське было все равно в ту минуту.

— Посмотрим, кто кого! — крикнул он Савватею.

Савватей заржал, как мерин, и снова крикнул:

— Свирид! — и свистнул.

Михаська даже не понял сначала, что это так повелительно, будто своему брату, Савватей кричит Сашке. Он обернулся к Свириду и увидел, как, потоптавшись, Сашка побрел к забору.

— А н-ну, кор-роче! — протяжно крикнул Николай Третий, и Сашка затрусил к забору рысцой.

Словно что-то хлестнуло Михаську. Это было обидней, чем сожженная курточка и грязные лапы Савватея.

Шакал хозяйственно покрикивал из-за забора, будто тянул за шнурок, к которому был привязан Сашка, и тот бежал, послушно бежал к заклятому Михаськиному врагу, перебегал на вражью сторону.

— Предатели! — крикнул Михаська.

Сашку будто подсекли. Он остановился на мгновение, махнул Михаське рукой куда-то в сторону, махнул еще раз, словно хотел сказать «уходи», но Михаська не понял и крикнул снова, стараясь выбирать слова пообиднее:

— Шестерка! Предатели!

Но Сашка уже не останавливался.

— Свиридов, вернись! — крикнул Иван Алексеевич, и Михаська увидел, как он побагровел. — Вернись, урок еще не кончен!

Михаська усмехнулся: что значит теперь для Сашки урок, если его зовет Савватей!

А Сашка все бежал, бежал. И вдруг Михаська понял, что он проиграл, лежит на обеих лопатках, что Савватей, который только что пятился от него — а себя при этом Михаська представлял добрым молодцем с булавой, — что Савватей этот плюет на него, плюет тысячу раз, потому что, отойдя к забору, он уводит его лучшего друга.

Пусть они поссорились, даже подрались, но ведь Сашка друг, друг!.. И если Савватей склонил его к предательству, к тому, что Сашка теперь на Шакальей стороне, значит, Михаська проиграл. И это было в тысячу раз обиднее, чем тогда, зимой.

Михаська даже вздрогнул от этой мысли. Он сделал шаг вперед, к забору, и побежал.

— Ты что, с ума сошел? — сказал ему вслед Иван Алексеевич. — Они же на что угодно способны.

И Михаська обернулся.

Он обернулся и улыбнулся учителю в офицерском кителе, у которого было два тяжелых ранения и одно среднее. Зря он подумал, что Иван Алексеевич первый взрослый, который не боится связаться с Савватеем. Зря!..

Михаська побежал к забору еще быстрее, мимо застывших фигур мальчишек и девчонок, которые так и стояли все это время, ни разу не шелохнувшись. Михаська улыбнулся: как фигуры на шахматной доске. Стоят и ждут, когда их передвинут.

— Сумасшедший! — крикнула ему какая-то девчонка.

— Вернись, Михайлов! — заорал за спиной Иван Алексеевич. — Урок не окончен, я тебе запрещаю!

«Запрещаю! — усмехнулся Михаська. — Сашке, своему отличнику, запретить не смог, а мне запрещаешь?» Ему стало смешно. Просто удивительно: в такой момент — и смех разбирает.

Свирид уже давно перелез через забор. Савватей ему подал руку, и они исчезли. Михаська бежал широким шагом, прижав руки к бокам, не размахивая ими, согнув в локтях, как учил Иван Алексеевич на физкультуре. По всем правилам. Забор показался ему совсем маленьким, он перелетел через него как птица, легко прыгнул в гору жухлых листьев, и они зашумели под ногами, как миллион мышей.

Савватей с компанией стоял к забору спиной. Он вздрогнул и обернулся. Испуганно повернулись и остальные. Из-за них выглядывал Сашка.

— Ну!.. — выдохнул Михаська, смело шагнул к Савватее и тут почувствовал, что снова боится.

Смех пропал неизвестно куда, и вся храбрость мгновенно исчезла. Страх, липкий, как рука Савватей, ползал где-то в животе и мешал думать.

Михаське показалось, что Савватей сразу набросится на него и начнет резать своей бритвочкой, но Савватей молча смотрел, опешивший от такой неожиданности,

и не шевелился. Все остальные были его тенью. В лунную ночь идет человек, шагает — и его синяя тень шагает, руку протянет — и тень руку протянет; ничего лишнего не делает тень, послушная, как бобик на цепочке. Вот и все савватеевские синие тени стояли, тоже не шевелясь.

— А ты храбрый, — сказал вдруг Савватей, и все его тени посмотрели на Михаську с каким-то удивлением.

Только Сашка — с жалостью.

— Ну а если мы тебя зарежем? — спросил Савватей.

— Что вам, собственная жизнь надоела? — спросил Михаська и остался доволен собой. Голос звучал нормально, без трусости. — Зарежете — вас поймают и расстреляют.

Савватей переступил с ноги на ногу и сунул руки в карманы. Михаська подумал: опять за бритвой, но Савватей просто спрятал руки в карманы.

— Значит, храбрый? — спросил Николай Третий, и его лошадиное лицо снова стало уверенным и довольным.

— Отпусти Сашку! — сказал Михаська.

Савватей удивленно вскинул тоненькие — ниточкой — брови. Такие брови Михаська видел в кино у каких-то красавиц.

— Ишь ты! — удивленно сказал он и снова посмотрел на Михаську с интересом. — Крупный купец пришел! Человеков покупает...

Он посмотрел на Сашку, погладил его против волос, и Свирид не отвернулся, не отвел голову, а только моргнул и по-прежнему жалостливо глядел на Михаську.

— Ну-ну, купец первой гильдии! А за что покупаешь?

— За что хотите, — сказал Михаська.

— Ну как, парни? — обратился Савватей к своей шайке. — Продадим Свирида?

Тени заморгали, закивали головами, захихикали, не понимая, чем кончатся шутки атамана.

— Ладно, продаем! — сказал Савватей. — Не за деньги продаем. За храбрость. Ты — храбрец, вот и покажи свою силу. На том же, на чем Свирида испытывал. Пошли!

Савватей махнул рукой, и вся толпа двинулась за

ним. Михаська сделал два шага вслед за ними и остановился в нерешительности.

Николай Третий обернулся и сказал:

— А если струсишь, покупаем самого тебя, понял? Значит, сам себя продашь. Тогда уж берегись!.. — Он захохотал.

Понятное дело, захохотали и тени, и Михаська пошел вперед и шагал рядом с Савватеем, снова вдруг осмелев. Смелость накатывала на него, как речные волны. То отхлынет, то прихлынет. И почему эти волны — неизвестно. На реке — от ветра. А тут отчего?..

Они шли по городу, и все уступали им дорогу. Никто не хотел связываться с этой шпаной.

А Михаська шел рядом с Савватеем, и его, наверное, тоже принимали за шпану, да еще за важную шпану, потому что впереди шли всего двое — Савватей и Михаська.

27

Они шли на улицу, по которой водили овчарок. Пекло солнышко. Какая-то удивительная стояла весна: апрель, а настоящее лето! Некоторые даже щеголяли в рубашках, хотя, если солнце уходило за тучу, сразу становилось прохладно. На речке уже купались. Правда, только мальчишки.

Они шли по улице; теплый ветерок крутил на перекрестках пыль с обрывками газет, нес по небу смешные тучки из белой ваты. Одна походила на лисий хвост — вытянутая и пушистая.

Когда подходили к «кардаковскому», где до сих пор шли солдатские калсоны — война кончилась, а армия осталась, — они специально перешли на ту сторону, где торговала мороженым Фролова.

Фроловой на месте не было. Стояла только бочка, и в ней таял блестящий лед. От бочки к мостовой тянулась тонкая черная струйка, будто за ней бобик спрятался.

Они заглянули в бочку. Савватей выхватил оттуда кусочек льда и кинул за шиворот одной из своих теней. Парень заорал, закрутился на месте, потом стал нагибаться, тобы ледышка выпала из-за шиворота, выкатилась бы, а Савватей захохотал и пнул парня под зад. Тень задержалась, замахала руками, но не обиделась —

обижаться она не могла, не имела права — и снова захохотала сиплым басом.

Наконец они пришли на улицу, по которой водили собак. Ждать до вечера, когда псов поведут на работу, не было никакого смысла. Савватей провел их по улице дальше, потом они повернули за угол и остановились у глухого забора.

За забором ничего не было — ни сада, ни огорода, — это Михаська рассмотрел в щель. Просто двор и две конуры.

— Ну, — спросил Савватей, — может, лучше пойдешь ко мне на работу?

Михаська вспомнил, как Савватей ударил под зад того парня с ледышкой за шиворотом и как этот парень хохотал не своим голосом, вспомнил, как Савватей отобрал у него альбом, сжег куртку, провел по лицу своей гадкой, липкой лапой и теперь погонял, словно скотину, Сашку, и почему-то сразу успокоился.

«Подойти и погладить собаку, — подумал Михаська. — Подойти и погладить собаку».

— Пройдешь между овчарками через двор, — сказал Савватей, — и вылезешь с той стороны забора.

Михаська усмехнулся. Ему было все равно.

— Брось, Колька! — сказала тень с ледышкой. — Давай напинаем ему — и все. Загрызут ведь...

Савватей зло посмотрел на парня, взял его за нос и сильно дернул вниз. Нос у парня покраснел, как помидор.

Михаське стало противно и несколько не жалко парня, хотя тот заступился за него.

— Подсадите, — сказал Михаська.

Последнее, что он видел на улице, было белое лицо Сашки. Николай Третий стоял рядом с Сашкой, облокотясь о его голову.

Михаська перекинул ноги с забора во двор и совсем успокоился. К нему уже рвались две овчарки. Но отступать было поздно. Конечно, ждать от Савватей благородства не приходилось — он мог Сашку и не продать, да Сашка и не буханка хлеба, чтобы его купить или не купить, а человек.

Михаська подумал, что нет, ничего не докажешь этому Савватей, не тот это человек, чтоб ему что-нибудь доказать можно было, но какая-то отчаянная си-

ла все-таки бросила его через забор, как солдата на бруствер окопа.

А когда он оказался во дворе и фроловские псы, давась собственной злостью, кинулись на него, когда он оказался на бруствере, все стало на места.

Не для Савватаея пошел он сюда, не для этого бандюги. Для Сашки. Чтоб понял, что такое настоящий друг. Для того, с ледышкой за шиворотом. Чтоб понял, что можно жить и не унижаться. Для всех людей прыгнул сюда Михаська, чтоб знали они: Савватей — это трусливая крыса и нечего его бояться.

Михаська шагнул вперед. Немного не рассчитал Николай Третий.

Собаčky будки стояли в противоположных углах двора, а псы бегали на цепях по двум параллельным металлическим проводам. Цепи закреплялись за блоки, а блоки катились по проводам. Собаки могли бросаться друг на друга, но не достали бы — провода не пускали их. Видно, чтоб не перегрызлись между собой. Одна собака бегала вдоль забора, и идти там было бы смертью. Другая бегала вдоль дома, чтоб там никто не прошел без хозяев. А вот между собаками, параллельно их проводам, пройти было можно. К тому же у забора, куда должен идти Михаська, — гора бревен. По ним взбежать наверх — и на улицу! Какие-то секунды!

Михаська шагнул. Псы, ощерив пасти, изнемогая от ярости, бросались к нему, натягивая провода. Чем ближе подступал к ним Михаська, тем яснее он понимал, что псы не достанут, не достанут его!

Осталось сделать последний шаг, чтобы вступить в этот зубастый коридор. Коридор без стен. Справа зубы и слева зубы, а Михаська в мертвой полосе.

Он читал, есть такое выражение — мертвая полоса. Ничейная земля. Не наша, не фашистов. Пули туда не достают. Только разведчики по ней ползти не боятся. Она для них своя.

Михаська шагнул в коридор. Всего полметра он. Ну, сантиметров семьдесят. Главное — не торопиться. Сделаешь шаг вправо — попадешь к правой овчарке. Влево — к левой... Надо не спеша. Маленькими шажками.

Вперед, вперед! Так...

Не смотреть еще на псов! Не смотреть! Посмотришь — испугаешься; отпрянешь назад — и к другому.

Идешь, как по мостику над пропастью. Там, если хочешь жить, не смотри по сторонам. Не обращай внимания, что справа пропасть и слева пропасть. Гляди вперед!

Михаська даже пошатнулся, представив, как он идет над пропастью, на мгновение взмахнул рукой. И тут же его словно ожгло. Он краем глаза взглянул на руку. На тыльной стороне ладони будто красной тушью кто прочертил дорожку. Зацепил! Зубом, наверное.

На фронте так же — зацепят осколком. Но там это даже раной не считается. Не смотреть на руку, на кровь. Прижать руки к бокам.

Кто-то охнул на той стороне забора.

Михаська пошел побыстрее. Мелкие-мелкие шажки. Так малыши учатся ходить.

Михаська видит, как псы скалят зубы, остервенели совсем, брызжут слюной, брызги летят на Михаську. Провода натянулись, но держат. Прочные.

Осталось меньше половины...

Уже треть осталась. Каких-нибудь двадцать шажков. Если бы обыкновенно идти — пять шагов, а так — двадцать.

Михаська пробирается вперед. Он посмотрел на забор. Савватей смотрит остановившимися глазами. А Сашка совсем белый. Забор облепили какие-то люди.

— Жулик, что ли? — спрашивает кто-то.

— Нет, — отвечает Савватей, — фокусник. Деньги сейчас собирать станет.

— А-а-а-а!.. — заорал кто-то протяжно.

Михаська взглянул на дом, на одно мгновение посмотрел. Там орала Фролиха. Сердце у Михаськи упало, и он посмотрел на нее снова, подольше. Фролиха бежала к собакам, а за ней скатывался со ступенек ее однорукий муж.

Михаська ругал себя потом. Выходит, собак не испугался, а Фролихи с мужем испугался. Укусили бы они, что ли?

Но разве все заранее знаешь? И до бревен осталось метра два, а там и улица, но увидел Михаська бегущую Фролиху с мужем и пошатнулся, повернулся к ним лицом.

Какая-то страшная сила резанула Михаську сзади,

он рванулся вперед и чуть не угодил к другой собаке. Это была бы верная смерть. За горло — и все... Каким-то усилием воли он оттолкнулся назад, и снова его резануло что-то сзади.

Перед лицом плясала красная ревушая пасть. Было видно даже глотку.

«Фашисты наших тоже овчарками травили», — вспомнил он.

Михаська кинулся к бревнам, вторая собака рванула его за обгорелую курточку, сбоку громко треснуло, и он рухнул на верхние бревна, ткнувшись головой в забор.

Он поднял голову и увидел красные глаза Сашки. Почему-то красные...

28

Все это случилось без отца, и может, еще потому Михаська так легко отделался дома. Мама только плакала целый вечер.

А отец взял отпуск на неделю. «Без содержания», — сказал он. Михаська подумал, что, может быть, они посидят вместе дома, снова будет уютно и хорошо, как тогда, когда их комната была похожа на мастерскую. Или наконец сходят на охоту. Как раз весенний сезон. Ведь говорил же отец, что у его приятеля есть ружье и он даст в любое время, если понадобится. А про то письмо, с фронта, он, конечно, уже забыл...

Но и на охоту они не пошли. Михаська даже не просил. Потому что отец взял отпуск не для отдыха. Он насыпал десять кулей картошки, подогнал нанятый где-то грузовик, снес ее в кузов и уехал на вокзал. Мама сказала, он поехал на Север. Продавать картошку. Будто ее и здесь нельзя продать, если уж так надо.

Михаська представил, как отец будет торговать на базаре картошкой, и ему стало противно. Пусть это где-то там, на Севере, и его не знает никто, но какая разница — . . . Отец говорил матери: «Поеду, пока картошка там в цене».

Михаська лежал дома на животе. Возле дежурил Сашка. Он даже в школу сегодня не пошел.

Странно, Михаська почти не чувствовал боли.

Немного ныла спина и чуть пониже — всего-то.

Сашка вздохнул. Михаська внимательно присмотрелся к Сашке. Губа у него опухшая.

— А что с губой?

Сашка понурил голову.

— Ничего, — сказал он. — И на Савватеев управз найдется. Вон в милицию сколько мужчин пришло. Демобилизованных. Вырасту, в милицию пойду.

Эти последние слова Сашка сказал зло, уверенно. будто и правда мечтает всю жизнь милиционером стать.

— Пойду! — повторил Сашка. — Вот увидишь! Всех савватеев — в клетку! Хорошо бы зверинец такой устроить. — Глаза у него заблестели. — Все клетки, клетки... В одной — тигр, а в другой — Савватей. И на клетке написано: «Шпана. Хищник. Питается гематогеном. Три раза в день по столовой ложке».

Михаська засмеялся. Он знал, что Сашка не любит гематоген, потому что это кровь. Хоть и коровья, хоть и сладкая, а кровь. Его от гематогена мутило, когда Юлия Николаевна с ложечки их поила. Он говорил ей: «Я крови нагляделся, не могу».

— Да я ведь и сам не бобик, — сказал вдруг серьезно Сашка. — Человек может только сам продаваться, а купить его никто не сумеет. — И покраснел. — А я тебе махал, махал, махал тогда... Хотел Савватеев уговорить, чтоб тебя не трогал.

Михаська вспомнил про их с Сашкой драку, вспомнил про то, с чего все началось, и сказал:

— Дернуло меня тогда этими собаками тебя травить!

— Нет, это я виноват. Правильно, за оскорбления надо по морде давать. Вот хочешь — дай еще! Ну! Дай!

Сашка встал на коленки перед Михаськой, подставлял лицо и приговаривал:

— Ну дай, дай! Дай, говорю.

А Михаська смеялся и отворачивался.

— Ты скажи лучше, как тебя Савватеев снова прибрал, — сказал он сквозь смех.

Сашка сразу стал серьезным, снова уселся на табуретку и рассказал все по порядку. Михаська слушал и снова винил себя во всем. Да, это он виноват, что послушал тогда Юлию Николаевну, не зашел к Сашке, хотя должен был, не имел права не зайти.

После той драки из-за псов Сашка, конечно, разо-

зился и тоже, как Михаська, думал целые дни напролет. Но если Михаська его простил — Сашка не простил и все дулся, дулся...

И вот пришла Юлия Николаевна. Сашка думал, что сойдет с ума. Убили Колю! Давно убили, а он все думал, что Коля жив, может, в партизанах, а оттуда ведь не напишешь. И тут — Юлия Николаевна... Сашка хотел пойти утопиться, но Юлия Николаевна послала его за врачом для мамы. Ее отвезли в больницу. Она там пробыла недолго, несколько дней. Но ему показалось — месяц.

Сашка немного успокоился, к нему на другой день снова Юлия Николаевна приходила, у Сашки разболелась голова, и она уложила его в постель и позвала соседку. Потом ушла и не велела никого пускать.

Но Сашка все думал: неужели он не придет, Михаська? Все-таки друг... Ну поругались, ну подрались, но ведь знает же, что такое горе, — придет.

А время будто остановилось. Соседка ушла. Сашка оделся и стал бродить по комнате из угла в угол. И реветь во весь голос.

Вдруг — стук. Сашка обрадовался — думал, Михаська, а входит Савватей. Достает бутылку вина и говорит:

— Эх, Свирид, Свирид, зря ты ушел от меня! Шестерить бы я тебя долго не заставил тогда, но зато теперь был бы ты у меня первым заместителем и верным другом.

Сашка говорит ему, что братана убили, а Савватей отвечает:

— Знаю, потому и пришел. Иначе бы — не жди, не банный лист, не прилипаю, сами все ко мне липнут.

Тут налил он Сашке стакан этого вина — желтое такое, клопами отдает — и предложил выпить за Сашкиного брата. Сашка снова реветь, но выпил; чуть отдышался, выпил потом еще полстакана и весь день на-завтра крутился на парте, потому что мутило и хотелось пить.

Утром Сашка припомнил, что Савватей лупил себя в грудь, кричал, что тошно ему, трудно, корешей настоящих нет, те, что есть, — дерьмо, дешевка, и звал в друзья Сашку.

В школе все противно было, дома было пусто и тоск-

ливо — мать лежала в больнице, и после уроков он поехал на вокзал и нашел там Савватая.

Николай Третий, как он выразился, «поставил Сашку на баланс» — выдал ему пятьдесят рублей, и они тут же украли у какой-то Матрены мешок с луком. Их искали, конечно, — не нашли. Лук по дешевке продали, а деньги Савватей забрал себе.

— Все, — сказал он Сашке, — мышеловка захлопулась. Поздравляю: теперь ты вор-мешочник.

Сашке стало холодно, но он кивнул головой.

— Теперь я ушел, ушел, — сказал он, будто Михаська не верил. — Пусть только подойдет, я его пырну.

И вытащил из кармана кинжал. Тот самый, с какой-то надписью и желобками для крови. Только уже без свастики.

— Все время теперь ношу, — сказал Сашка.

Тут пришел врач, вернее, врачиха. Она улыбнулась Михаське, как старому знакомому, и велела оголить живот.

Михаська заволновался, а врачиха ткнула Михаську шприцем. Он взвизгнул — было больно, и врачиха сказала, что просто удивительно, какие нынче растут дети: овчарок не боятся, а от укола в обморок падают. Прямо героические дети!

Она ушла, а Михаська стал представлять, как бы он взбесился, если бы собаки были больные, начал задирать ноги на стену, потому что бешеные, говорят, бросаются на стены и кусают прохожих, как собаки.

Они хохотали до упаду, но скоро Михаське стало очень жарко, лоб покрылся испариной, и он улегся снова. Вот теперь было больно. Все-таки это не шутка, когда тебя овчарки рвут.

Потом Михаська сказал, что Савватей действует, как поп.

Попы ведь как заставляют богу молиться? Узнают, что у человека горе, беда какая-нибудь, и идут к нему. Утешат, приголубят, денег дадут, если нет, после, мол, вернешь.

Сашка стал собираться, ему надо было уже домой.

— Ты на меня не злился, — сказал он. — Я ведь знаю, жить-то надо...

Михаська удивился.

— Что ты? — спросил он.

— Жить-то надо, — повторил Сашка и наморщил лоб.

— Что — жить-то? — снова спросил Михаська.

— Ну... ну это... — замялся Сашка. — Ну, что мать твоя конфеты продавала.

Михаська медленно поднялся с кровати.

— Ты что, что? — испугался Сашка. — Ну ладно, что ты?

— Когда торговала? — спросил Михаська.

— Ну тогда... Моя мать пошла на рынок, вернулась и говорит: «Ну, так я и знала, Михайлова конфетами спекулирует...»

Сердце у Михаськи застучало гулко, словно кто молотком по большой железной трубе громыхает.

«Значит, обманула. Значит, тогда, в коридоре с тусклой лампочкой, мать покачнулась не зря. Врала. Все врала!..»

Он вскочил и стал натягивать штаны. Надо пойти в магазин. К матери. Надо посмотреть на нее, послушать, что она скажет.

Но ведь он видел, видел те конфеты. Значит, другие?

Сашка испугался, стал стягивать с Михаськи штаны, но тот оттолкнул его: «Значит, все-таки спекулировала. Значит, Сашка тогда правду сказал».

Он натянул рубашку.

За дверью загромыhalo. «Может, мать... — подумал Михаська. — Вот хорошо! Сейчас все выяснится».

Дверь скрипнула, и вошел отец. Приехал! На нем была серая плащ-палатка.

— Здорово, мужики! — весело крикнул отец и сбросил плащ-палатку.

Она с шумом упала на пол. Словно летучая мышь, затрепыхалась.

— Здорово, мужички! — крикнул он снова, захохотал и кинул на пол шапку.

Михаська подумал, что, может быть, отец выпил — давно он не видел его таким. Наверное, и Сашка тоже так подумал. Он бочком прошел мимо отца к двери,

помахал Михаське рукой — а лицо при этом было у него виноватое — и исчез.

Отец поднял плащ-палатку, заходил по комнате, выискивая гвоздь и не замечая, как морщился Михаська, одеваясь.

— Все бегаешь? — крикнул отец. — Штанами улицы метешь, непоседа! — и захохотал без всякой причины. Видно, все-таки выпил.

Снова Михаська представил себе мать: и как она пошатнулась тогда в коридоре, и лицо у нее было серое, а ему показалось, это от света — слабая лампочка.

Михаська подтянул штаны. Сзади все болело, больно было ступить, но он пошел к двери. Скорей, скорей в магазин, посмотреть на мать, заглянуть ей в глаза!

— Бежишь? — снова крикнул отец. — Да ты стой! погоди! Покажу я тебе чего...

Отец шагнул на середину комнаты, и половица скрипнула у него под сапогом. Он разомкнул ремень со звездочкой на пряжке. И снизу, из гимнастерки, как из мешка, посыпались деньги.

Красные, зеленые, синие, желтые...

Деньги.

Гора денег.

«Ерунда! — подумал Михаська. — Ерунда! Все вокруг какая-то ерунда».

Ему вдруг захотелось спать. Он вернулся к кровати и стал снимать штаны.

Никуда не надо было бегать.

30

После уроков Михаська ходил в поликлинику. Он задира л рубашку, и сестра делала ему укол. Уколы с каждым разом становились все больнее.

Только эти минуты — когда его кололи и острая боль прошибала все тело — выводили Михаську из какого-то оцепенения.

По утрам он шел в школу, сидел на уроках, ничего не слушая, дома глядел в открытые учебники, читал и перечитывал строчки, но в голове оставалась какая-то ерунда, какие-то незначущие подробности. Кое-как он решал задачки и даже не смотрел на ответы в конце задачника — было все равно.

Раза два он встречал Савватей. Шакал подходил к нему, говорил: «Молоток! Молоток!» — но Михаська лишь мельком взглядывал на него и проходил мимо.

Савватей за ним не шел, не вязался, только смотрел вслед и криво улыбался. Когда он так улыбался, его тени отходили от него подальше.

Самому себе Михаська казался каким-то сморщенным старичком, похожим на высохший гороховый стручок. Все в нем сжалось, ссохлось; то, от чего бы он раньше весело хохотал, сейчас совсем не казалось смешным; ребята на переменах бегали, кричали, а он стоял в стороне и, как ни звал его Сашка Свирид, к ребятам не шел; все, что происходило вокруг, казалось далеким, чужим, невзаправдашним, ничто не удивляло...

Весы, про которые так часто думал раньше Михаська, — весы домашней жизни дрогнули, стрелка покачалась вправо-влево и остановилась посередине.

Теперь смеялась мама и смеялся отец. Хмурость, похожая на осеннюю непогоду, пропала, будто ее и не было.

Мама ходила всегда нарядная, будто у нее каждый день праздник. Вернувшись с работы, она переодевалась в свое голубое с горошинками платье и опять становилась совсем девчонкой.

Она словно сбросила с себя какую-то тяжесть, распрямилась и сразу стала гладкой, розовой.

Михаська остался совсем один.

Мать он видел редко: магазин теперь работал днем, а вечером ей было не до него — приходил отец, и Михаська не влезал в их разговоры.

Отец приходил с работы не так рано, как прежде, задерживался на заводе, а потом рассказывал маме, как их цех, где он работает мастером, хочет стать полностью стахановским. Это предложил не кто-нибудь, а он, отец, на цеховом собрании. Ему тут же выдали премию. Он принес деньги, положил их на стол, и они так лежали на столе до самого вечера. К ним приходила в тот вечер Ивановна, и отец сказал ей, что вот получил премию на заводе. Потом заходили еще соседи, и всем отец показывал на деньги и говорил как-то между прочим, что получил на заводе премию.

Зачем это он все говорил и не убирал так долго в комод свои деньги, Михаська понять не мог. Ведь вот

ту гору, за картошку, он сразу спрятал и никому не показывал, а там была целая гора, не то что сейчас.

Отец не дулся на мать, не ругался. Они друг друга с полуслова понимали. Мать что-нибудь скажет, а отец уже головой кивает: мол, согласен. Отец заговорит, а мать его по голове гладит, целует в щеку; все, мол, правильно. А Михаська... Михаська сам по себе.

Сколько он мечтал, чтобы наступило у отца с матерью это равновесие, чтобы чашечки на весах встали вровень и больше не качались! Вот случилось это. А ему все равно. Ему безразлично. Что у вас там творится — как хотите. Вы сами по себе, я сам по себе.

Однажды Михаська пришел из школы, а мама дома. Выходной был у нее, что ли! Быстро сделала Михаське яичницу. Глазунью. Это про нее маленькая Лиза спрашивала, все никак не понимала: раз глазунья, значит с глазами. Удивительно ей было: что за еда с глазами?

Михаська потыкал вилкой яичницу, сел уроки учить, а мама все ходит, ходит... Потом присела рядом, погладила его по руке — будто по голове погладить боится — и говорит:

— Ну вот, Михасик, скоро уж и конец.

— Что за конец?

— Скоро, — говорит, — на дом заработаем, и уйду я обратно в госпиталь.

А сама смотрит на Михаську, и в глазах у нее тоска. В другой раз Михаська, может, обрадовался бы. Нет, не в другой раз, а раньше. Раньше бы обрадовался, теперь — нет. Теперь он только разозлился. Помолчал, а потом сказал равнодушным голосом:

— Ну и что? Мне-то все равно...

Мама от него отодвинулась. Глаза сразу стали сухими. «Да-да, — подумал Михаська, — мне все равно. Так и знай!» И снова уткнулся в учебник.

Мама посидела рядом, помолчала. Ушла кастрюлю чистить.

И такая злость охватила Михаську. Прямо ненависть. Захотелось сделать что-нибудь такое!.. Навредить как-нибудь отцу с матерью, чтоб не улыбались друг другу, чтоб не думали, что все у них так уж хорошо.

Он кинул учебники в сумку, решил, что не станет учить уроки. Пошел на улицу.

Вечером отец с мамой ушли в театр. Михаська не

знал, куда они ушли. Он пробегал на улице совсем один — к Сашке Свириду идти не хотелось, — а когда вернулся, дома никого не было.

Михаська сидел в набегающей темноте, глядел в окошко, за которым серела вечерняя улица, и сердце заливала обида.

Ему казалось, что он один, один-одинешенек на всем свете. Он вспомнил, как в войну, во втором классе, он получил двойку по чистописанию. Юлия Николаевна поставила ее в тетрадку, и рука у нее не дрогнула. Вечером пришла с работы мама и отругала Михаську: он обиделся и решил, что уйдет, непременно уйдет из дому.

Тогда было так же тоскливо и одиноко, как сейчас, он хотел убежать из дому, но не мог решить куда. Хорошо было бы на фронт, к отцу, но все равно по дороге поймут. Сашка Свирид говорил, что всех маленьких ловят на вокзалах. Тогда Михаська взял кусок хлеба в карман, вышел на улицу и забрался на высокий тополь. Он думал, что просидит здесь всю ночь до утра и пусть-ка мама поищет его. Но стало холодно — варежки он взял тонкие, а дело было зимой, — да и все равно на голом тополе его отовсюду видно, как черного грача, и он слез, сдался, пошел домой...

Сейчас ему снова захотелось уйти из дому, но теперь это могло быть только всерьез, на тополь не полезешь — самому смешно. Ну а серьезно — как?.. Куда?..

Отец... Он будто посторонний. Теперь они не ходят с ним за руку, быстро все это кончилось...

Сколько горьких минут приносили ему эти размышления! Михаська каждый день видел Ивановну, и Катю, и маленькую Лизу, которые никого не ждали с войны и горе которых было навсегда, навечно; он радовался, что его отец вернулся живым и здоровым — не всем ведь выпадало такое счастье, — и тут же снова горевал. Горевал, что хоть и вернулся отец с войны, а дома стало мрачнее и хуже.

В войну они с мамой ждали писем от отца, и, когда приходили серые треугольники, они закатывали пир горой, потому что это был праздник. Они ели завариху; включив радио на полную мощность, слушали сообщения Совинформбюро, потом пели «Широка страна моя родная...», потому что было легко на сердце: наши побеждали и отец был жив.

Теперь же, когда отец вернулся и прошли первые счастливые дни, жизнь будто сузилась, стала маленькой и серой... Все, что происходило у них, все, что делали отец и мать, было для дома со светелкой, и спальней, и с печкой, на которой можно рассказывать сказки...

Но дом теперь был похож на танк. Он полз, полз, полз, становился ближе, и казалось, он раздавит всех их...

31

А утром в школе он опять подумал, как была не права Юлия Николаевна, когда сказала, что все можно предвидеть, все предугадать. Уже в который раз он убеждался в обратном, что все сваливается человеку на голову неожиданно, внезапно, вдруг и, видимо, сваливается затем, чтобы испытать человека на прочность, выяснить, выстоит ли он, не дрогнет ли, выяснить, чего человек этот стоит.

Все началось с того, что Иван Алексеевич поставил Михаське двойку. Следующим уроком был русский, и Русалка спросила Михаську. Уроков было пять в этот день, и такими темпами можно было схватить пять двоек. Михаська попытался уйти от судьбы. В перемену он взял сумку и пошел из школы, но в коридоре нос к носу встретился с Юлией Николаевной.

— Уходишь? — спросила она укоризненно и покачала головой. — Бойшься третьей двойки?

«Уже знает, — подумал Михаська. — Русалка сказала».

Он вздохнул и вернулся в класс.

Третьей двойки он не получил, хотя географичка пристально посматривала на него. «Наверное, Юлия Николаевна ей сказала», — подумал Михаська.

Но и двух двоек было достаточно. Хоть мать и улыбалась не так, как хотелось Михаське, но лучше бы уж она как угодно улыбалась, только не устраивала скандалов из-за двоек. Это было почти невыносимо.

Мать видеть не могла этих двоек.

Тогда Михаська решился. Дома, пока никого не было, он взял бритву, резинку и аккуратно стер обе двойки. Пусть стоят в журнале, нечего им еще и в дневнике. «Им-то что?.. — подумал Михаська про отца с матерью. — Про двойки я и сам знаю, а им до меня дела нет. Я сам по себе, они сами по себе».

Тут было очень кстати это: я сам, они сами...

Уроки, как и вчера, совсем не учились, не хоталось ни о чем думать.

Даже читать было лень.

Михаська вышел на улицу, залез на крышу и лег в своем укромном уголке на теплую кровлю.

Он поднял глаза к небу. По синему морю плыли корабли. Громыхали якорные цепи, на носу флагмана стоял адмирал. Нос у адмирала был шишкой — значит, он добряк, этот носатый капитан.

Михаська посмотрел вниз. Немцы за колючей проволокой уже достраивали дом. Это был первый новый дом после войны. На вышках по углам забора стояли охранники. «Интересно, — подумал Михаська, — будут они стрелять, если какой-нибудь немец побежит? Только куда он убежит? Ведь все сразу узнают, что это немец...»

А корабли плыли по синему морю, плыли себе и плыли... Внизу немцы строили дом; Михаська получил две двойки, стер их, а теперь лежит на крыше. Где-то мать торгует конфетами, отец ходит по цеху. Наверное, Савватей лезет к кому-то в карман, а инвалид без ног просит подавание. А облака плывут. Плывут, и нет им дела ни до немцев, ни до Михаськи с его двойками, ни до отца с матерью, ни до Савватея и инвалида.

Плывут, кружат над землей плавные, белые, беззвучные, спокойные. Смотрят на землю и ничему не удивляются. Им-то не все равно? Они сами по себе...

Михаська слышит снизу чей-то звонкий голос. Он вскакивает и идет к краю крыши. Внизу, под лестницей, стоит мать.

— Слезай сейчас же! — кричит она.

И Михаська понимает: опять что-то неладное.

— Негодяй! — говорит мать.

И Михаська видит в ее руке дневник.

— Пойдем! — приказывает она и с силой тащит Михаську за рукав.

— Я сам пойду. Ты что — милиция? — спрашивает он и вырывает руку.

— Я покажу тебе милицию! — шепчет мать.

Михаська не узнает ее. Голос у нее скрипучий, и помада размазалась на губах. Ему противно, что его тащат за рукав, будто он вор.

— Лгун! — кричит мать дома и наотмашь бьет Михаську по щеке. — Я встретила Юлию Николаевну.

Михаська трогает щеку. Она будто курточка с начесом тогда, горит-горит, ее обдаёт жарким пламенем. Зато другая щека — ледышка. А рука — сосулька. А сам — будто фролихинская бочка со льдом.

Михаська трогает руку, и ему снова смешно. «Чего ей надо? — думает он о матери и чувствует, что думает так, будто она совсем чужая. — Чего им надо от меня? Я же сам по себе, они сами по себе».

Щека пылает, и Михаська думает, что его ударили второй раз, всего второй раз. Первый раз — Савватей, когда отбирал марки. Второй раз — мать. «Смешно, — подумал он, — в войну не била, а после войны...»

— Еще смеешься! — кричит мать и бьет Михаську по второй щеке.

Он даже не моргает. Он смотрит на мать пристально, будто видит первый раз. Он смотрит на нее и не узнает.

Вдруг за матерью он видит лицо Ивановны. Ивановна протягивает матери кружку с водой, и Михаська слышит, как мать глотает воду большими глотками и лязгает зубами о кружку.

— Отца-мать обмануть вздумал, — говорит мать, успокаиваясь. — Обмануть... Честным быть надо, честным! — говорит мать. — Чему я тебя всю войну учила? Честности! Честно надо жить!

Она плачет.

— Честно? — переспрашивает удивленно Михаська, будто не расслышал. — Значит, честно?

Фильм крутится в его голове. Плохой фильм. Там не Чапаев с пулеметом. Там отец с картошкой. Мать с конфетами. Там гора денег из-за ремня со звездочкой на пряжке. Там туфли обувщика Зальцера.

«Опять врет! — думает он о матери. — В глаза смотрит и врет!»

— А вы — честно? — кричит он. — А ты — честно?

Он думает про стертые двойки. Двойки... Какие-то две двойки. И гора денег.

Он видит на этажерке серую гипсовую кошку — подарок отца. Там деньги. Отец смеялся: «Уже на бочку». На бочку не на бочку, а мороженных на десять есть. Он подбегает к этажерке, хватается кошку и трахает ее изо всей силы об пол. Кошка рассыпается вдребезги.

Она полна бумажек. Михаська дрожащими руками подбирает бумажки и сует их в карман.

На пороге он оборачивается и снова смотрит на мать. Она глядит на него какими-то больными, пришибленными глазами, совсем не похожими на те, что были пять минут назад.

Михаське хочется крикнуть ей что-нибудь злое за эти пощечины, за этот крик, за то, что она тащила его, как милиционерша. Ему хочется крикнуть ей, но в горле что-то першит, и он говорит ей шепотом:

— А ты — честно?..

Часть третья

ВЕТЕР НАД СИНИМИ КРЫШАМИ

1

Ноги несли его сами собой. Михаське казалось, что он раздвоился. Голова совсем не управляла ногами. А ноги шли, шли, будто чужие, будто ими шевелит совсем другой кто-то. Рук, живота, спины, сердца Михаська не ощущал вовсе. Будто их не было. Будто исчезли. Только голова и чьи-то чужие ноги.

Он не знал, куда несли его ноги. Он думал о какой-то ерунде, и все нелепые и странные мысли крутились, будто стеклышки в калейдоскопе, переворачиваясь с боку на бок.

Он вспомнил неизвестно почему Ивана Алексеевича с его черным портфелем, с треугольником, испачканным мелом, забавного человека с круглой большой головой и то, как он сказал однажды: «Пусть гложет вас червь сомнения». Михаська тогда хихикнул даже, а про себя удивился: «Какой такой еще червь должен нас грызть, за что?»

Потом он почему-то вспомнил картофельный участок, песню, которую они пели там:

Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка-тошка,
Низко бьем тебе челом-лом-лом,
Даже дальняя дорожка-рожка-рожка
Нам с тобою нипочем-чем-чем...

Михаська выкопал тогда картошку — огромную, с большое блюдо. Картошина была желтая и походила

на сжатый кулак. Даже побелевшие пальцы было видно. Михаська думал тогда: «Что в этом кулаке, интересно!» Но так и не придумал.

Сейчас кулак выплыл откуда-то из задворков памяти и встал перед глазами. «Наверное, у циклопов такие кулачищи были», — подумал Михаська. Про циклопов им говорили на истории. Одноглазые такие чудовища. Не то человек, не то зверь. Раньше люди в них верили. Но это сказки. Никаких циклопов не было и нет.

Михаська попробовал думать про мать, про оплеухи, но об этом не думалось. Было просто противно, и все. Он даже не винил сейчас ее. Просто как-то вяло удивлялся, повторял про себя: «Ну и ну!.. Ну и ну!..»

У него даже как-то это в такт получалось. На каждый шаг слово: «Ну... и... ну!..» Будто кто командует.

Михаська вышел на главную улицу, увидел впереди «кардаковский», остатки перил в форме музыкальных лир, а внизу под ними бочку с мороженым и мороженщицу Фролову.

Он мгновенно вспомнил овчарок, узкий коридорчик между ними, и по спине помчались мурашки. Михаська хотел повернуть в сторону, не подходить к Фроловой, но тут же пристыдил себя: Фролова ведь не овчарка, один раз он уже испугался ее, хватит, а деньги на мороженое у него свои, законные. Он подумал про отвратительную гипсовую кошку, которая занимала пол-этажерки. Сколько она следила за ним! Будто шпик. Никогда не спускала глаз. В какой бы угол комнаты он ни отошел, она всегда смотрела на него вытаращенными глазами. Теперь на полу валялись ее осколки. Пожалуй, мать уже выбросила их. «Пропади они пропадом, эти пятерки и четверки! — решил он. — Буду теперь одни тройки получать. Зато бесплатные».

У Фроловой никого не было. Михаська подумал, что вначале он возьмет, пожалуй, две порции, погуляет, съест их, а потом купит еще. Он протянул продавщице деньги на два мороженных и стал смотреть в сторону, пока Фролова отштампует прохладные кругляшки. Очень хотелось пить, было жарко, а Фролова вон подняла воротник. «Может, ей от мороженого холодно?» — подумал Михаська.

Фролиха протянула ему одно мороженое, мельком взглянула на Михаську и стала наскребать ложкой вто-

рую порцию. Потом словно вспомнила что-то и пристально посмотрела на Михаську.

— А-а... — сказала она ласково. — Это тот мальчик, которого покусали наши собаки?

Михаська дрыгнул ногой — хотел было убежать, но Фролова держала второе мороженое в руках и не отдавала его.

— Хра-а-абрый мальчик, — сказала она, качая головой. — Я таких храбрых первый раз вижу. Да и родители у тебя ничего. Вон как твой папаша расшумелся, когда пришел. Пятьсот рублей за тебя затребовал.

— Как? — не понял Михаська.

— А вот так. «Гоните, — говорит, — пятьсот рублей за сына, а не то в суд дело передам».

Ногами опять зашевелил кто-то другой. Михаська попятился, потом повернулся и побежал.

— Мальчик! Мальчик! — кричала ему Фролова. — Мороженое!..

2

Но Михаське наплевать было на это мороженое. Правда, первую порцию он лизал на ходу. Но делал это машинально, не замечая сам. Все горело в нем; хотелось остудить это горение, но и мороженое не помогало. Тогда Михаська положил все мороженое в рот и проглотил. Холодный комок упал в живот, и снова стало жарко.

Ноги несли его домой. В комнате никого не было. Мать куда-то ушла. Михаська подбежал к комоду и рванул за железную ручку. Комод был закрыт. Тогда он пошел в угол, вытащил ящик, где лежали отцовские инструменты, и взял топор.

И голова, и руки, и ноги, и живот, и сердце — все было сейчас на месте, все было своим. Сколько раз уже замечал Михаська, что всякое волнение проходит у него в решающие минуты.

Он всунул синее лезвие топора в щель между ящиком и крышкой комода и изо всей силы навалился на топорище. Что-то хрустнуло в комод, и ящик нехотя выполз из своего гнезда.

Здесь лежали деньги. Мать говорила отцу, что деньги надо положить на сберкнижку, но отец смеялся только в ответ, качал головой и отвечал, что здесь надеж-

нее. В окно, мол, воры не залезут — четвертый этаж все-таки, — а в дверь он вделал английский замок, к которому ни один ключ не подходит.

Михаська рванул ящик и увидел деньги. Они лежали в почтовых конвертах. Несколько синих конвертов с марками. Он достал конверт и отсчитал пятьсот рублей. Топор так и остался лежать у взломанного комода.

Михаська выскочил в коридор, захлопнул дверь и пошел к Ивановне.

Бабушки дома не было, а Лизка с Катей сидели на табуретках и смотрели в окно

— Пойдемте! — сказал им Михаська.

Они послушно поднялись и пошли за ним.

По дороге они сделали петлю и взяли Сашку Свиридова.

Сашка и девчонки пробовали заговорить с Михаськой, но он странно улыбался и ничего не отвечал. Только у самой Фроловой он сказал:

— У меня сегодня день рождения. Угощаю мороженым.

Сашка протянул Михаське руку, и он машинально пожал ее.

— Чего молчал? — сказал Сашка. — Темнила!

Когда Фролиха снова увидела Михаську, она вроде даже обрадовалась.

— Ну вот, — сказала она, — все-таки пришел!

И стала черпать мороженое.

Михаська неожиданно вспомнил, что, когда он прыгнул к овчаркам, и они залились лаем, что-то хрюкало еще. Он подумал, что ослышался, но теперь понял — нет. Сашка давно когда-то говорил, что Фролиха пошла торговать мороженым, потому что на молокозаводе можно достать обрат. Фролиха держала поросят, так что обрат ей очень был нужен. И хрюкали тогда поросята.

Фролова начерпала мороженое, отпечатала своей жестяной рюмкой порцию и протянула Михаське.

— Больше не бегай, — сказала она, — останешься без мороженого.

— Не останусь, — ответил весело Михаська и протянул ей пятьсот рублей. — Дайте мороженого. На все.

Фролиха выкатила глаза, замахала руками в белых нарукавниках.

— Что ты! — заговорила она быстро. — Отец узнает, что я тебе рассказала, скандал устроит.

— А какое вы имеете право? — сказал зло Михаська. — Я у вас мороженое покупаю. Продавайте!

Катька дернула Михаську за руку, он повернулся и увидел ее выпученные глаза.

— Михасик, Михасик, что ты делаешь? — говорила Катька.

Сашка стоял с открытым ртом. Лиза смотрела на него, как на полоумного.

— Да не бойтесь! — сказал Михаська. — Всего-то двадцать пять порций! Нет... тридцать пять.

Он протянул Фролихе еще деньги. Те, из кошки.

— Это мне отец дал! — сказал он и удивился, как легко вдруг стало врать. — Ему вот она, — он кивнул на Фролову, — за меня заплатила. За то, что собаки ихние меня грызли.

Усмехаясь, Фролова кивнула ребятам.

— Не бойтесь, — сказал ей Михаська. — Вы-то тут при чем?

Фролиха сосчитала деньги и стала черпать мороженое.

Они взяли сначала по две порции, рук уже не хватало; тогда Сашка снял с головы фуражку, и Фролова наложила полную шапку мороженого.

Потом они отправились в скверик и сели на скамейку. После пятой порции Лиза высунула белый язык и сказала, что больше не хочет. Как ни уговаривал ее Михаська, Лиза отказывалась. Даже пересела на другую скамейку, чтоб не видеть, как они едят.

Катька сдалась на восьмой порции, но девятую все-таки через силу съела. Теперь остались они вдвоем — Сашка и Михаська.

Мороженое начало таять, приходилось торопиться. Михаська глотал его большими кусками. Все-таки жаль бросать такую вкуснятину! Сашка не отставал от него.

Лиза на соседней скамейке начала потихоньку кидать, а Катька смеялась над ней и закрывала ей рот ладошкой.

— Все, — сказал Сашка хриплым голосом и прокашлялся. — Все, — повторил он, но голос у него снова был какой-то глухой.

Они пошли домой.

Им навстречу дул жаркий ветер; он тащил пыль, махал ветвями деревьев, гладил щеки...

Щеки у Михаськи теперь уже не горели, как прежде. Он шел и улыбался ветру, облакам, плывущим наверху, белым домам с синими крышами. Конечно, крыши были совсем не синие, а красные, зеленые, коричневые и просто никакие — серые, некрашенные. Но если смотреть на них против солнца, они кажутся синими. Как вода в реке.

Михаська смотрел на белые дома с синими крышами, которые бросали поперек дороги фиолетовые тени. А в животе было холодно.

3

Топор лежал на своем месте. Топорище поблескивало отшлифованными боками. Комод был закрыт, и ничто не напоминало о происшедшем.

— А-а, явился! — сказал отец ласковым голосом и внимательно посмотрел на Михаську.

Мать стояла у печки, комкала в руках носовой платок.

Отец хоть и сидел спокойно, но серые глаза его посветлели. Они всегда светлели у него, когда он злился.

— Ну и ну! — медленно проговорил он. — Ну и ну! Стер двойки, сломал кошку, взломал комод, украл деньги...

Отец медленно поднялся.

Украл... Значит, украл. Вот оно что получается! Михаська представил, как отец пришел к Фролихе просить деньги за его искусанный зад. «Он, наверное, и продать меня сможет, если хорошенько заплатят», — подумал Михаська.

— Съел я ваши пятьсот рублей! — сказал он зло. — Съел, а не украл.

— Я уж милицию хотел вызывать, — продолжал отец, не слушая Михаську, — думал, воры. А оказывается, собственный сын. Мы для него, а он от нас.

Что-то подозрительно ласково говорил отец. Только голос его иногда вздрагивал. Он спокойно подошел к Михаське и протянул руку. Как Савватей — вот-вот по лицу мазнет. Михаська зажмурился. Отец чуть-чуть отвел руку.

— Виктор! — громко сказала мать, и рука у отца

дрогнула — он погладил Михаську по голове. Так уж это вышло у него, некстати, ни к чему.

Михаська вздохнул.

Отец отошел к комоду, запустил руку в свои лохматые волосы, постоял, облокотясь, молча.

— Хватит, Михась! — сказал он вдруг, резко обращившись. — Давай говорить по-серьезному. Ты уже взрослый. Я гляжу, лучше меня все понимаешь.

Он прошелся по комнате.

— Может, я тебе не нравлюсь? Может, зря с войны вернулся живой и невредимый?

Михаська скривился. Неужели отец хочет говорить с ним серьезно? Как взрослый со взрослым? Ну что ж, тогда он скажет ему, что нет, совсем не то говорит отец. И какой же мальчишка не радуется, если с фронта вернулся отец? Только вот почему невесело в доме? Почему отец взял деньги за то, что его искушали собаки? Пусть бы выпорол лучше, а не срамился перед этой Фроловой. Почему мама ушла в магазин? Зачем отец ездил торговать куда-то, как барыга? Зачем все это, зачем?..

Он хотел сказать все это, вылить все в одно слово. И вдруг неожиданно для самого себя сказал:

— Да.

Он и сам не понял, как это у него вышло. Вырвалось просто — и все. Вырвалось. Слово не воробей...

— Вон оно что, — задумчиво проговорил отец.

— Нет! Нет! — сказал Михаська и покраснел. Наверное, до пяток покраснел.

Эх, если бы он умел все объяснить, все сказать как надо! Вот случилось бы вдруг волшебство. В один миг он вырос бы и стал большим, широкоплечим, взрослым. И тогда они сели бы за стол трое — отец, мать, он, Михаська. И он бы сказал им все как надо: «Что же вы не понимаете тут, что вам не ясно?»

И отец бы понял его. Сказал бы: «Эх, что ж я тебя раньше не понимал, когда ты маленьким был!» И Михаська кивнул бы ему головой: «Да, зря не понимал, зря думал, что я меньше тебя соображаю».

Или пусть бы по-другому стало. Не Михаська бы вырос, а отец стал бы маленьким, как он. Как Сашка Свирид. Тоже понял бы все.

А так — что сделаешь? Кому объяснишь? Как расскажешь?

Случись все это в школе, сразу бы все и всем стало известно. И конечно, Юлия Николаевна пришла бы и сказала: «Да что вы, одумайтесь!» И все бы стало на место. Все бы все поняли. А тут не школа. Дом — это когда живут люди за четырьмя стенами. Это дверь, которая запирается на английский замок.

— Значит, зря я пришел с войны? — переспросил отец и вдруг стал одеваться.

— Куда ты? — тихонько спросила мать.

— Как куда? — засмеялся отец. — Ухожу. Не видишь? Я же тут лишний.

— Постой, — сказала мать. — Хватит, Виктор! Не шути. И так тяжело.

Она взяла отца за руку, но он вырвал руку и хлопнул дверь.

Мать прошлась по комнате, и Михаська увидел, что она молча плачет. Он хотел что-нибудь сказать ей, но вспомнил две оплеухи, две пощечины, которые получил сегодня, и промолчал.

Она бродила по комнате, шуршала тапочками. Михаська видел, как тяжело ей, и вдруг опять подумал, что это ему надо уйти из дому. Уйти надолго, может быть, навсегда. Нет, навсегда, конечно, нельзя, а вот надолго... Пусть построят они этот дом, и все кончится тогда. И жизнь будет снова нормальная. Вот тогда он придет, и они начнут жить как ни в чем не бывало. Просто он перепрыгнет эту яму. Перепрыгнет — и они пойдут дальше.

Это было глупостью, страшной глупостью, и Михаська понимал, что выдумывает какую-то несусветную чушь. Нельзя ничего перепрыгнуть в жизни, нельзя отвернуться или не заметить того, что случается. Можно это принять или не принять, можно полюбить или возненавидеть, но перепрыгнуть, отвернуться, не увидеть нельзя.

Мать ходила по комнате, куталась в платок. «Почему она не кричит на меня? — подумал Михаська. — Почему не бьет? Ведь ударила же днем! Почему не идет за отцом?»

Мать вдруг остановилась.

— Ты мороженое ел? — спросила мать.

Михаська кивнул.

— Все деньги проел?

Михаська кивнул снова.

— Сумасшедший, — сказала мама. — Ведь заболел.

И Михаська подумал, что вот это да, это идея! Заболеть! Надо заболеть! Тяжело, чтоб без памяти, тифом. И на тифе все-таки перескочить эту пропасть.

Дверь хлопнула, и вошел бледный отец. За ним белел блин Седова.

— Зальцера арестовали, — сказал отец.

И тяжело сел на стул. Посидел, покурил и ушел с Седовым. Вернулся отец поздно вечером, пьяный. На Михаську даже не взглянул.

Ночью Михаське приснился сон. Фашисты в касках с рогульками стреляют в звездочку. Только она не золотая, а красная. Будто из крови.

Фашисты хотят сбить ее, целятся и стреляют: кх! кх! кх!

А звездочка не сшибается.

4

— Кого там леший носит? — сказал осипшим спросонья голосом отец, и Михаська открыл глаза. — И в воскресенье поспать не дадут!..

В дверь стучали: бум! бум! бум!

Отец прошлепал босиком к двери и щелкнул английским замком. Кто-то переступил порог и тяжело задышал. Потом заплакал. Михаська натянул штаны и подошел к двери.

Прислонившись к косяку, у входа стояла Ивановна. Руки ее, похожие на жгуты, связанные из вен и жилок, висели вдоль платья, голова сильно тряслась, прямо моталась. Она хотела сдержаться, сказать что-то, но не могла, а только продолжала трясти головой и плакать.

Михаське стало жаль ее, он придвинул к бабушке табуретку, а она ничего не замечала, лишь глядела прямо на отца, прямо ему в глаза.

— Что? — тревожно спросил отец. — Да говори же!

Ивановна кивнула головой, будто хотела подтвердить что-то не сказанное еще, и отец спросил нетерпеливо:

— Попалась!

Ивановна кивнула снова, и отец выругался сквозь зубы. Такого с ним еще не бывало.

— Слышишь? — повернулся он к матери.

Мама тоже встала и глядела на Ивановну испуганными глазами.

— Спаси ее, Виктор Петрович! — сказала Ивановна. — Христом-богом прошу, пойдем в милицию!

— Что я там скажу, в милиции? — спросил зло отец и подтянул трусы. Он так и стоял — в одних трусах и голубой майке. Майка была другая, новая, тоже голубая почему-то.

Ивановна снова заплакала.

— Как же?! Как же, Виктор Петрович?! — воскликнула она. — Ведь Катя-то ваши конфеты продавала! Ведь из-за них и в облаву попала!

Ивановна сказала это удивленно: неужели, дескать, отец мог забыть такое?

Михаську даже дернуло. В первом классе он забивал зачем-то гвоздик в стенку, рядом с электрическим проводом, и задел за него. Провод был старый и, видно, пропускал ток. Михаську тряхануло так, что он слетел с табуретки. Его прошиб холодный пот, и он долго тогда не мог опомниться.

Сейчас он будто опять задел оголенный провод.

Вчера они еще лопали с Каткой мороженое. А сегодня она в милиции. Когда ее сумели поймать? Ну да, все правильно, рынок с шести.

— Как же?! — говорила Ивановна. — Как же?!

И смотрела то на отца, то на мать так, точно ее предали.

— Верочка! — сказала она матери. — Что ты молчишь? Ведь ради Михасика все это вышло. Помнишь, как было тебе неудобно тогда? Помнишь, как вы Катю уговаривали? Я ведь была не против... Не против... И платили вы хорошо, не обижаюсь. Но сейчас-то, сейчас?..

Михаська подумал, что он как будто и не спал. Просто продолжается вчерашний день. И позавчерашний. И позапозавчерашний. Тянется какой-то длинный-длинный день. Он почувствовал, как страшно, просто до изнеможения устал он за этот длинный день. Скоро ли он кончится? Скоро ли наступит конец, чтоб можно было лечь и спокойно выспаться? И чтоб никого вокруг. Один на всем свете...

Михаська вздохнул и посмотрел на отца. Он, наверное, первый раз так внимательно на него посмотрел с того дня, как увидел во дворе в голубой майке. Серые

глаза не сияли звездочками, как в тот раз. Они даже серыми не были. Просто какие-то выцветшие глаза. И одно веко подрагивает. Трясется, и все.

Ноги у отца волосатые. И в пупырышках, Гусиная кожа. А еще разведчик!

Вот он, оказывается, какой!..

— Тридцать три несчастья, — сказал отец. — Напасть какая-то.

Он потоптался, переступая с ноги на ногу. Ивановна замолчала, ничего больше не говорила, только слезы катились по глубоким морщинам.

Отец хотел что-то сказать Ивановне, но заметил Михаськин взгляд на себе и осекся.

— Хорошо, хорошо, бабушка! — сказал он, подрагивая веком. — Сейчас что-нибудь придумаем. — И улыбнулся: — Дай я вот только штаны надену.

Ивановна вздохнула и вышла.

Они остались втроем — отец, мать и сын.

Михаська вспомнил, как мать кричала ему вчера: «Честным надо быть!» — и даже скривился, до того ему стало противно.

Эх, люди, люди!.. Сколько времени врал! Врал, врал, врал... И сколько будут еще врать? А еще отец с матерью...

Все правильно, Сашка Свирид тогда правду сказал. Все правильно на белом свете, и сколько из этого правильного по-настоящему правильно?

Михаська заметил: странное дело, но когда Сашка сказал ему, что он спекулянтская морда, а мать торгует на рынке конфетами, в тот, первый, раз, ему эта сплетня показалась ужасной. Он не мог даже стерпеть — ударил Сашку. И когда узнал, что отец за его искусанный зад взял пятьсот рублей, тоже страшно обозлился, реветь хотелось.

А сегодня — нет. Только что, сию минуту он узнал всю правду, узнал, что отец с матерью врал ему, и ведь это было ужасно, но странно — сегодня он не удивлялся. Ему было как-то все равно.

Может, он все-таки предполагал, что это произойдет? Как говорила Юлия Николаевна, предвидел? Михаська засмеялся, и отец с матерью удивленно посмотрели на него. Конечно, предвидел! Как землетрясение. Или снегопад. Снегопад. Снег падает. Снег падает на

голову. А это что, тоже падает на голову? Просто так — берет да и падает?

Берет да и падает... И никто в этом не виноват. Ни отец. Ни мать. Ни он, Михаська... Не было бы войны, построили бы за это время много домов. Белых, розовых, голубых. Целые улицы огромных домов. И не надо было бы тогда отцу копить деньги на свой собственный дом. Жили бы себе припеваючи в светлой квартире, просторной, с желтым, как масло, паркетом.

Война во всем виновата!

Гитлер!

Михаська чувствовал, как мать посматривает на него, будто ждет чего-то. Они уже все оделись, на плитке чай вскипел, отец побалтывает ложечкой в пустом стакане. Сейчас завтракать будут.

Отец смотрит пристально в стакан. Руки у него вздрагивают. Михаська слышал, что есть такая примета: если когда-нибудь кур воровал или там петухов, то руки дрожат.

Только все это Сашкины байки, брехня. Что же, отец кур воровал, что ли?

А во всем, конечно, Гитлер виноват. Он. Война виновата. Отец один раз сказал: «Война все спишет».

Спишет.

Как спишет? Куда спишет?

На пионерском сборе Юлия Николаевна говорила: — Разве можно простить войну? Забыть ее? Разве можно вычеркнуть гибель ваших братьев, отцов? А Зою Космодемьянскую разве вы забудете? А Олега Кошевого? А Александра Матросова?

Конечно, нет! Что за вопрос? Смешно прямо! Люди погибли, а их — забыть... Да никогда!

Но это проще. Когда люди сражаются, погибают — там все ясно. Ну а вот это — мама в магазин ушла, чтоб Катька для них конфетами спекулировала; отец картошкой торговал, деньги взял за искусанный зад — будто продал Михаську; вранье всякое, без запинки вранье — это что, тоже война?

Михаська дует на горячий чай, смотрит сквозь парок, идущий от чашки, на стену, и ему кажется, что стенка качается.

Отец будто слышит его.

— Что же делать? — говорит задумчиво он, а веко у него все подрагивает.

— Идти в милицию, — тихо отвечает мать.

— С ума сошла! — срывается вдруг отец.

Михаська смотрит в чашку. Ах, как качается стена! Того и гляди — хрясь! — и чистое небо перед тобой. Крыши. Ветер прохладный.

— Это значит — тебя посадить! — кричит отец. — Статья Уголовного кодекса!

Краешком глаза Михаська видит, как мама теребит платок. Молчит. Нечего ей сказать отцу. Вот они, дрогнули снова весы. Дрожит стрелка. Кто перетянет?..

Мама молчит.

Отец встает и идет к комоду. Звенит ключик в замке. Шелестят деньги.

— Ни черта! — говорит отец. — Выпустят. Дам старухе полтыщи. А Катьку выпустят, если на себя возьмет. Несовершеннолетняя ведь.

Михаська смотрит на мать. Она сгорбилась, сжалась, высохла возле своего чая. Он смотрит на отца. У отца дрожат руки, будто кур воровал.

— Трусые! — говорит Михаська спокойно, слишком спокойно. — Предатели! — говорит он и видит, как отец с матерью становятся маленькими, уменьшаются на глазах. Он говорит, но горло пересохло. Он говорит, а в горле только клокочет что-то... Он задыхается и наконец выжимает: — А еще разведчик!..

5

Выйдя во двор, шагая, словно окостенелый, и думая все о своем, Михаська уткнулся лицом во что-то влажное. Он вздрогнул. На веревках сушилось белье. Михаська стоял минуту, соображая, потом схватил с веревки свои мокрые штаны и рубаху. Теперь он лежал у реки, дожидаясь, когда стемнеет. Солнце палило, будто жаркая печка. Река походила на длинную серебряную рыбу, сверкающую чешуей. Когда ветер стихал, чешуя исчезала.

Сосны вонзались в небо, словно остроносые пики.

Михаська лежал на спине и смотрел, как качаются эти зеленые пики над головой. Желтый песок хребтами падал к воде и поднимался вверх, к крутому обрывистому берегу, где росли сосны.

В половодье песок заливало, вода поднималась к са-

мому подножию сосен, а потом медленно отступала, оставляя за собой песчаные ступени.

В блестящей воде проступала песчаная коса. Она тянулась далеко, словно старалась пересечь реку, но это ей так и не удалось. Коса ползла метров тридцать, прогибаясь под быстрым течением, похожая на древний лук, а потом обрывалась. Справа и слева от нее была глубина.

Река пахла смолой и рыбой. Посреди реки плыла лодка. Людей в лодке было много. Они что-то пели, но что — Михаська не слышал: ветер относил слова в сторону.

Странное, необъяснимое облегчение испытывал Михаська. Он понимал, что ведь вообще-то должен бы мучиться, может, даже плакать, во всяком случае — горевать. Он же ушел из дому. Ушел навсегда. Ушел не со злости, а обдуманно, зная, что делает.

Это не походило на побег во втором классе. Он уходил расчетливо, навсегда.

Он не мог не уйти.

6

Когда Михаська посмотрел на небо, солнце уже катилось по кромке леса, как огромный мяч по синему футбольному полю. Мяч был оранжевый и походил на огромный апельсин. Михаська видел апельсин только в книжке, там он был очень яркий и красивый.

Михаська сел, подождал, пока апельсин не разрезала надвое заводская труба на том берегу, и спохватился: когда это он заснул? В руке он держал целую горсть камушков, чистых, прозрачных, как те, что в ручье. Ага, значит, перед тем как уснуть, он собирал их...

Надо было поторапливаться.

Он выбрал на песке место повиднее, аккуратно сложил там брюки и рубашку, в которых ушел из дому, а из кустов достал запасную пару.

Одевшись, Михаська поднялся на крутой обрыв. Сосна, тонкая и длинная, словно свечка, качала зеленой макушкой, как головой. Будто осуждала его. Вылитая Юлия Николаевна.

Он оглянулся, посмотрел на пустой берег, на синие крыши домов за рекой, на желтую от заката воду, по-

хожую на крепкий чай, и подумал, что теперь уж все, пути назад нет и не может быть.

Михаська вспомнил, как неожиданно на уроке арифметики еще в четвертом классе Юлия Николаевна рассказала им про Юлия Цезаря и про то, как он переходил со своим войском речку под названием Рубикон. Никто не удивился, что Юлия Николаевна на арифметике рассказала совсем не про арифметику, — это с ней часто бывало, — и даже оказалось, что так легче решать задачки по арифметике, но с тех пор все в классе стали говорить: «Свиридов запросто перешел Рубикон» — значит, очень легко решил задачку. Если кто-нибудь шел исправлять двойку, все кричали ему шепотом: «Давай жми через Рубикон!» Контрольную тоже звали Рубиконом, и через этот Рубикон перебирались всем войском, всем классом, кто как мог.

Михаська подумал, что всякие там контрольные — огромная, ну, просто преогромная чепуха по сравнению с тем Рубиконом, который он переходил сейчас.

Он представил себя в латах, в шлеме с пушистым пером. И с мечом, конечно. Он сломал ветку, ободрал листья. Вот он, меч. Он еще раз взглянул на штаны и рубашку, лежавшие у воды, и пошел по тропинке, извивавшейся вокруг сосен. Тропка выходила на дорогу.

Чем дальше он уходил от реки, от города, тем легче было идти, хотя где-то там, внутри, не проходила смутная тревога. Как только Михаська вспоминал мать, отца, сердце сжималось, во рту становилось горько, будто черемуховую ветку грыз, и он старался думать о другом...

Дорога, по которой он шел, была неширокая — встречные машины едва могли разминуться на ней между двумя сосновыми стенами. Пушистая, мягкая пыль фонтанчиками брызгала между пальцами босых ног. Ботинки пришлось оставить на берегу, под рубашкой и штанами, чтоб все было — не подкопаешься.

Михаська мог не торопиться — эти места он знал. Еще в прошлом году они ходили в поход всей дружиной и были здесь. Дорога вела на сортировочную станцию — каких-нибудь пятнадцать километров.

Там Михаська рассчитывал сесть на товарняк и уехать в Сталинград. Улица, по которой в одну сторону бегут от облавы спекулянты, а в другую едут гру-

зовики со строителями Сталинграда, не давала ему покоя.

Там, в Сталинграде, на работу его, конечно, не возьмут, но вот в ремесленное... Эх, надо было захватить свидетельство о рождении!

Но это было впереди. О том, что еще только будет, как и о том, что было, думать не хотелось.

Михаська шел, глазел по сторонам, иногда заходил в лес. В зеленом, словно невзправдашнем мхе, в остролистной траве попадались сыроежки. Михаська обдираал красные шкурки со шляпок грибов и ел их. На вкус они оказались какие-то мучнистые, и есть их было не очень-то вкусно. Тогда он срывал редкие ягодки черники, встречавшиеся порой, и заедал грибы ими. В одном месте он вышел на нетронутый куст дикой смородины. Ягоды висели черными кисточками, и Михаська уселся прямо на траву возле куста. Он не ушел, пока не объел все ягоды, думая при этом, что смородина, пожалуй, походит на виноград, потому что, как рассказывала им Юлия Николаевна, виноград тоже растет кисточками. Михаська еще ни разу не ел винограда. Он закрыл глаза, представляя, что ест виноград, и от этого только больше захотелось хлеба.

Он вспомнил, как они ели вчера мороженое в скверике, и подумал, что было бы здорово, если бы мороженое не таяло. Тогда он, конечно, взял его бы в дорогу и сейчас лизал бы потихоньку.

Стало смеркаться, и Михаська больше не уходил с дороги в лес. Машины не обгоняли его и не шли навстречу. Он остался совсем один.

Вокруг качались сосны, будто хоровод плясунов взялся за руки и ходит вокруг Михаськи, в такт покачивая головами. А он один в центре этого круга, и все смотрят на него, не спускают глаз. Михаське показалось, что и правда кто-то смотрит на него из-за придорожных кустов; он даже увидел, что тот, кто смотрит, приподнял голову. Михаська остановился, совсем не дыша, потом нерешительно шагнул вперед. «Тот» оказался просто веткой, вздрогнувшей от ветра.

Михаська поежился и пошел дальше, но страх не проходил. Тогда он решил, что будет думать о чем-нибудь другом. Это всегда помогало.

Пока было светло, он, чтобы отвлечься от неприят-

ных мыслей о доме, думал про лес. Теперь лес пугал его. Ему хотелось к людям, домой.

Дома, наверное, уже ищут его. Мать побежала к Ивановне, к Сашке Свириду спрашивать, не знают ли они, где Михаська.

Михаська обругал себя снова и запретил себе думать о доме. Он перебирал в голове, про кого бы подумать, чтоб забыть этот страшный лес: про Лизу и Катю, про школу, про Савватая или про Сашку, — и вдруг вспомнил лагерь.

В этот лагерь он ездил каждый год и там в первый раз увидел Сашку Свирида, своего лучшего друга.

Было это в каникулы после второго класса. Наши фашистов тогда здорово начали лупить, и они в лагере все спорили, кончится ли к осени война.

Не спорил только один Сашка Свиридов. Был он новенький — откуда-то, говорили, приехал.

Был тогда Сашка до того тощим, что лопатки так и торчали из спины, будто пропеллеры, а на ребрах, если водить по ним железной ложкой, можно было, наверное, что-нибудь сыграть. Расшитая тюбетейка болталась у него на голове, как большая тарелка, и сползала ему на уши, по очереди то на одно, то на другое.

Михаське было жалко этого мальчишку; про себя он звал его шкелетиком, но вслух не называл, потому что прозвище это могло сразу к Сашке приклеиться, а у него их и так хватало.

На другой день после того, как они приехали в лагерь, оказалось, что у Сашки страшное и удивительное для мальчишки несчастье... Тут же это стало известно девочкам, и все стали над ним потешаться. Даже Михаська с этим пороком примириться не мог. И ведь действительно стыдно это было для второклассника.

Каждое утро под Сашкиной кроватью оказывалась лужа. Он вставал, пряча от всех глаза. Вожатая, ругаясь, взваливала на плечо мокрый матрац и вытаскивала его на самое видное место — на лагерный забор напротив линейки.

Сашка ходил бледный, испуганно оглядывался и вздрагивал, если его звали, будто украл что-то, и всегда был один. А когда к нему подходил кто-нибудь, он убегал. Ну, это-то было понятно: подходили к нему всегда только затем, чтобы поговорить об одном — о Сашкиной беде.

Мальчишки гоняли мяч, а Сашка сидел на траве где-нибудь вдали и смотрел на них. Однажды, сжалившись над ним, Михаська подбежал к нему, нарочно хромая, и сказал:

— Поиграй за меня. Нога что-то...

Но Сашка, наверное, понял, что Михаська жалеет его, и отказался. Ушел рвать ромашки.

Так они и жили, не замечая Сашки, а если замечали, то только для того, чтобы похихотать.

Однажды вожатая сказала им, что завтра будет солнечное затмение и кто хочет его увидеть, пусть коптит на свечке стекла. Про стекла Сашка не слышал, он ходил, как всегда, где-то один. Когда он вернулся, Михаська сказал ему, что завтра с утра будет затмение.

Михаська вспомнил, как в тот вечер Сашка не ложился спать дольше всех. Он сидел на кровати не раздеваясь, тревожно глядя на вечернее небо. Пришла вожатая, сказала ему, что он нарушает дисциплину и что вообще она уже с ним намучилась. Сашка, не раздеваясь, торопливо лег под одеяло. Вожатая сделала круглые глаза и закричала на него. Она вообще была психованная, та вожатая. Но и Сашка тогда всех удивил. Он вскочил с кровати и спросил удивленно:

— А что, можно раздеться?

Вожатая пожала плечами и ушла, хлопнув дверью.

Утром, когда Михаська проснулся, Сашка Свиридов лежал с открытыми глазами. Он словно чего-то ждал.

— Ты чего? — спросил Михаська и посмотрел под Сашкину кровать.

Сегодня там было сухо.

— Да так...

Мальчишки стали просыпаться, босиком выбегать в коридор, потягиваться, зевать...

Сашка вдруг приподнялся на локте и спросил громко, на всю палату, ни к кому не обращаясь:

— А почему окна не занавешены?

Мальчишки засмеялись.

— Нет, правда. Ведь сегодня затемнение. Вы разве не знаете? Надо занавешивать окна.

Михаська подумал, что мальчишки станут смеяться, но в комнате была тишина. Просто все поняли, про какое затемнение он говорит.

— Сашка, — сказал Михаська, — так ведь это не

война. Не затемнение, а затмение. Солнечное. Луна закрывает Солнце, понимаешь? Ты разве не знал?

Сашка понял. Он опустил голову, ожидая расплаты. Но все молчали. Тогда Сашка поднял голову и посмотрел на ребят. Михаське показалось, что это он и не на них смотрит, а куда-то дальше, мимо них, и что-то видит такое, чего они никогда не увидят и не узнают, а вот он это видел и знает.

Потом Сашка сказал:

— Мы когда жили в Ленинграде и была блокада, мы там занавешивали окна. Половиками. Когда было затемнение.

Оказалось, и правда Сашка почти совсем не умел играть в футбол. Но на матче с соседним лагерем его сделали капитаном. И выиграли. Ничего, что Сашка тогда и по мячу-то ударил раз пять.

А осенью Сашка пришел в их класс.

7

Михаське казалось, что он думает о Сашке, вспоминает, как он узнал его, но нет, оказалось, все это снова про дом.

«Вот над Сашкой, — думал он, — все тогда смеялись вначале. Смеялись зло, потому что всем было удивительно, как это такой большой парень, и вдруг... А потом сразу смеяться перестали. Все вдруг поняли, что над этим смеяться нельзя. Что Сашка тут ни при чем. Ни в чем он не виноват. Смеяться, выяснилось, не над чем, потому что за этим стыдным было очень важное, очень серьезное. Блокада. Война».

Удивительно хитроумная эта жизнь! Раньше Михаське казалось, что самое на свете сложное — это часы. В войну, когда мамы не было, он залез в комод, достал отцовские часы, похожие на репу, и открыл заднюю крышку. Сначала там все было тихо. Тогда Михаська покрутил за головку, за маленькую такую луковичку, и все внутри вдруг двинулось, зашагало, затопило. Михаська все хотел уследить, что за что там цепляется, внутри этих часов, отчего они идут, но так и не понял ничего, решив, что часы — самая-самая сложная штукавина на белом свете.

Тогда он был маленький. Тогда все было другим. А теперь... Как тут разберешься?

Ведь может, может же быть и дома так, как у Сашки!

Может быть, у всего этого стыдного есть другая половина? И она главней стыдного?

Может, то, что делает отец, то, ради чего мама ушла в магазин, Катька попала в облаву, а он, Михаська, ушел из дому, — может быть, все это совсем не то, что кажется? Может, все и получается так, что виноват в этом кто-то другой, третий?

И то, что делает отец, пусть делает, — не он виноват, а что-то другое, что стоит за его спиной, туманное, большое, стоит и оправдывает, освобождает его от всякой тяжести? От того, чтобы он понимал, что делает, и отвечал за то, что делает?

Выходит, никто ни в чем не виноват?

Выходит, никто ни за что не отвечает?

Живи как живется, хватай сколько можешь, лишь бы тебе хорошо!..

Но кто же тогда за все отвечает?

«Неужели бог?» — подумал Михаська и расхохотался. Сзади что-то треснуло, и он замер. Сердце колотилось как бешеное. Но сзади, впереди, сбоку было тихо. Только шумели сосны, взволнованные чем-то.

Михаська пошел вперед.

Дорога вдруг раздвоилась. «Куда? — подумал он. — Направо или налево?»

Он вспомнил слова, которые в войну часто слушал по радио: «Наше дело правое!» И хотя эти слова были про победу, про то, что мы обязательно расколотим фашистов, а не про Михаську совсем, не про его мысли и заботы, он повторил про себя: «Наше дело правое!» Повторил так, что ему самому показалось — не по лесу идет он сейчас, не на станцию, а в бой, в настоящее сражение.

— Наше дело правое! — повторил он упрямо и пошел по правой дороге.

Впереди, за лесом, где-то уже совсем рядом, пронзительно гукали паровозы. Будто вскрикивали, испуганные кем-то. И чем громче вскрикивали они, тем медленнее шел Михаська.

Стало светать. Туман медленно всплывал над зем-

лей. Михаська шел навстречу ему, и туман не стоял на месте, тоже спешил к Михаське.

Сначала он лизнул белым языком Михаськины ноги, потом поднялся выше — до пояса. Михаська будто входил в воду, только вода была странная, непрозрачная и не чувствовалась совсем. Прямо под ногами дорога еще виднелась, а что было впереди — бугорок или выбоина — все скрывал туман.

Михаська медленно погружался в него. И чем дальше он шел, тем больше росло, расширялось, захватывало его то смутное, неясное чувство, которое сидело где-то там, в глубине его, с самого начала и которое он так упорно отгонял от себя.

Он думал и думал про Сашку, но не Сашка занимал его сейчас, а то, как он вспомнил про него. Сашка лишь заставил его подумать про дом по-другому, с каким-то новым значением, без отчаяния, без злости, а как бы со стороны, заставил посмотреть на все, что случилось, иными глазами.

Ругая себя, Михаська подумал, что теперь смотрит на все происшедшее не только по-другому, не так, как прежде, но даже как совсем иной человек.

Не Михаська, нет — он, Михаська, так думать не мог. Скорее это был какой-то старичок. Бородатый, уса-тый, седой. Бывают такие старички — все понимают и все объясняют.

Михаське стало противно и стыдно, что он — это уже не он, будто лучина, раскололся надвое, расщепился, разделился. «Человек не лучина, — думал он. — Человек не может расщепляться».

Он должен быть один, должен быть самим собой.

Даже смешно, что он хотел уйти, убежать. Пусть на стройку Сталинграда. Все равно это было бы бегство, и больше ничего. Никакое не правое дело. Уйти — значит успокоиться.

А если ты успокоился, значит, сдался.

Михаська увидел, что утро уже настало. Солнце проламывалось сквозь лес, сверкало красными лучами прямо в глаза. Неожиданно для себя Михаська вдруг остановился и побежал обратно.

Край неба, к которому он бежал, стал прозрачным, как чистые камушки, которые цокали друг о друга в кармане. Михаська сунул руку в карман и сжал камушки в руке.

Он выбегал из тумана, и ему казалось, что он убегает от какого-то страшного, ласкового и липкого зверя, который хотел проглотить его, проглотить, не оставив даже его следов на дороге.

Мама... Он впервые за всю ночь, длинную эту ночь, подумал о ней. Мама всегда все понимала раньше. Неужели она совсем разучилась понимать?

Не может быть!

Он то бежал, то быстро шел. Солнце взбиралось на небо медленно, будто мальчишка, который первый раз лезет на дерево. Лес начинал редеть. За поворотом с дороги сбегала тропка, ведущая к реке.

Конечно, мама!

Он возвращается к ней. Он придет и скажет ей все, как должен сказать, все, как думает и что думает.

Он скажет ей, что им не нужен этот дом.

Что он никогда не будет жить в таком доме.

Что пусть подождет она, когда он подрастет немного. Он пойдет работать. И будет честно всегда работать. Будет мастером на все руки. Мастером не для себя, а для всех.

А жить они будут тут, где прожили всю войну и до войны еще сколько.

Тесно, что ли?

Вовсе нет, не такая уж плохая у них комната.

А потом построят новые дома. Построят же их. И над ними будет ходить ветер и гонять ребячьи змеи из старых газет.

Тропка сбегала сквозь сосны к реке...

И вдруг он подумал об отце. Он подумал о нем со странным чувством. Ему было жаль его сейчас. Просто жаль. Он жалел его за то, что отец — такой сильный, ведь руки у него как свинец, — оказался неожиданно слабым, слабее даже мамы.

Мама все понимала, хотя и делала вид, что не понимает, а отец действительно ничего не понимал.

Или ничего не хотел понять.

Он снова вспомнил старичка, который был его второй половиной, и улыбнулся. Старичок внутри его исчез. Исчез внутри его и он сам, Михаська.

Простое математическое понятие. Среднеарифметическое число. Два человека не могли жить в одном. Старичок и мальчишка соединились в нем и разделились надвое.

И не осталось ни того, ни другого.

Появился другой человек. Просто взрослый! Еще и не старый, а уже не молодой.

Михаська вышел на крутой берег. Перед ним плыла река — огромная серебряная рыба.

9

Рубашки и штанов на песке не было...

Михаська оглядел с обрыва берег.

Берег был пуст, зато на мосту толпились какие-то люди. Они смотрели на лодку. В лодке, которая тихо плыла по течению, стояли какие-то мужчины и опускали в воду багры.

Михаське стало спокойно, как всегда в такие минуты. Он спрыгнул на песок и пошел к мосту, оставляя следы на песке.

Сначала на него не обращали внимания, потом люди на мосту увидели его, и две маленькие фигурки побежали навстречу Михаське.

Он сразу узнал их. Это были Сашка и маленькая Лиза. Они мчались навстречу Михаське, и лица у них были не радостные, а испуганные.

Они остановились перед ним, и он пошел рядом, слыша, как они тяжело дышат.

Люди на мосту смотрели на Михаську, и от них отделился еще один. Отец. Он был в гимнастерке без ремня, как арестованный. Михаська видел когда-то: так же в гимнастерке без ремня вели арестованного солдата.

Отец шел медленно, с трудом вытаскивая ноги из песка, опустив плечи, будто шел с долгой и тяжелой работы.

И вдруг из-за его спины появилась легкая фигурка и бросилась навстречу Михаське.

Мама бежала, протянув к Михаське руки; бежать ей было трудно по песку, очень трудно; она чуть не падала, но не падала и бежала, бежала, бежала к Михаське, ничего не видя перед собой.

Она схватила, смяла Михаську, сжала его так, что ему стало даже больно, крепко прижала к себе, и Михаська услышал, как стучит мамино сердце. Громко, гулко, будто хочет вырваться из груди...

Она не плакала, нет, только на лице, темном от пы-

ли, светлели бледные дорожки — следы от выплаканных слез.

Мама все тискала и тискала Михаську, а он стоял, опустив руки, стоял и наконец обнял маму, обнял, как не обнимал давно — крепко, уткнувшись головой в мягкие мамины волосы.

Когда Михаська оторвался от мамы, он увидел отца, стоявшего невдалеке от них.

Михаська посмотрел на его лицо, и увидел две глубокие линии возле рта. Он подумал, что отец у него не такой уж молодой, и сам удивился, почему он об этом подумал.

Отец взглянул на Михаську как-то по-взрослому — без злости, без удивления, просто смотрел и думал о чем-то серьезном.

Михаська шагнул навстречу отцу и остановился. Они стояли друг против друга — сын и отец, родная кровь, и Михаська смотрел на отца и чуточку улыбался. Не было в этой улыбке ни обиды, ни ненависти, ни отчаяния.

Только жалость, печальная жалость к этому большому человеку в гимнастерке без ремня. Потом он шагнул вбок и обошел отца, как обходят столб или еще что-нибудь неодушевленное.

Михаська шел рядом с мамой к мосту, а позади раздавались шорох шагов и сопение Сашки и маленькой Лизы.

Михаська вдруг словно взлетел, как птица, и посмотрел на все с высоты. На ветер, дующий над синими крышами. На мост с людьми, которые толпились там. На угрюмого отца, которому предстоит многое понять. На Сашку и Лизу. На самого себя.

Нет, самому по себе нельзя, все-таки никак нельзя!

Нельзя видеть только землю и лишь самого себя на ней. И никого больше. И ничего больше. Все есть и никуда не денется, не исчезнет, не переменится, если махнешь волшебной палочкой.

Все есть так, как есть. А волшебной палочки нет и не будет. Да и не нужна она.

Волшебная палочка — это для Михаськи. Но его теперь в Михаське нет. Есть взрослый человек.

Есть человек, который может, как птица, взлететь и увидеть мост, людей на нем, отца, Сашку, Лизу, себя.

Увидеть все как есть и все понять.

Они шли по деревянному мосту, и Михаська слышал, как гулко стучат за спиной шаги Сашки и Лизы.

Он вдруг почувствовал, что правая рука онемела. Он разжал кулак и увидел чистые камушки. Те, что он собрал на реке еще вчера.

Камушки блестили на ладони, и сквозь них видно было ладонь.

Он опустил правую руку и подумал, что ведь чистые камушки теперь не нужны ему.

Михаська приоткрыл ладонь, и камушки, легонько постукивая, стали падать на мост.

Он шел и сеял камушки, будто зерна.

Он шел рядом с мамой по скрипучему старому мосту и не оборачивался назад.

А если бы обернулся, увидел, что маленькая Лиза и Сашка подбирают чистые камушки, которые он бросает.

И смотрят сквозь них на солнце.

И улыбаются.

Потому что если посмотреть сквозь камушек на воду, он станет голубым, на траву — зеленым, а на облака — белым.

А если посмотреть на солнце, камушек станет кусочком солнца и даже обожжет руки.

Такой камушек...

1967 год

Лабиринт

МАЛЬЧИШЕЧИЙ РОМАН

*Не плакать,
Не смеяться,
а понимать.
Б. Спиноза*

Часть первая

СЕРАЯ ВОРОНА

1

Толику приснился сон.

Будто он залез ночью в школу и на цыпочках пробирается по коридору. В школе тихо и темно, только уличные фонари роняют сквозь окна на пол светлые пятна. Толик шагает по этим пятнам, ступает сторожко, но ботинки все равно тукают так, будто кто забивает кувалдой огромные гвозди. Он крадется в конце коридора, туда, где химический кабинет; он знает, что там, в химическом кабинете, есть что-то страшное, ужасное прямо-таки, но все равно крадется, словно тянет его туда магнит.

Толик открывает дверь, входит в комнату и чувствует, что тут кто-то есть. Мурашки ползут у него по спине, ему хочется повернуть и кинуться отсюда что есть духу, но он не уходит. Со стен, из-за мерцающих стекол его разглядывают бородатые ученые. Толик прямо ощущает их взгляды, но не ученые пугают его. В кабинете есть кто-то. Толик озирается. На длинном столе стоят стеклянные банки — круглые, как шары, вытянутые, словно длинные стаканы, толстые и приземистые, будто пузыри. Вдруг Толик видит, что все эти банки не пустые. В них журчит, шлепает, пенится разноцветная муть. Муть хлюпает, переливается через край, ползет по столу, растет, как на дрожжах, и не-

ожиданно Толик понимает, что вся эта муть и есть кто-то. Что все эти оранжевые, зеленые, лиловые, черные щупальца, ползущие из банок, живые.

Разноцветная гадость ползет, разрастается, заполняет собой всю комнату от пола до потолка, и вот Толик уже чувствует ее липкие объятия. Он стоит по горло в хлопьях густой разноцветной пены и с ужасом ощущает, как она обволакивает его со всех сторон, обвивает, душит, давит, лезет в нос, в уши, в глаза... Толик уже не может дышать, вот уже сердце стучит в нем все реже, все тише... Собрал силы, Толик хочет крикнуть, но крик захлебывается в густой пене...

Толик открыл глаза сразу, а просыпался долго, будто и в самом деле стряхивал с себя цветные липкие хлопья, будто высвобождался из душащих объятий этой жуткой твари. «Приснится же такое», — подумал он.

Когда пили чай, Толик рассказал про свой жуткий сон. Обычно сны рассказывала баба Шура, но сегодня она молчала — то ли не увидела ничего ночью, или, может, просто не с той ноги встала. И Толик рассказал все по порядку — про ночной коридор, про химический кабинет, про ученых, которые разглядывали его из-под мерцающих стекол, и про разноцветную бесформенную тварь, которая душила его.

Мама взглянула на Толика тревожно и сказала, что, пожалуй, надо купить ему матрасик помягче, а то на раскладушке неудобно спать, оттого и такие тяжелые сны. Отец с мамой не согласился, стал доказывать, что это ерунда, что раскладушка тут ни при чем и что такие сны Толик видит потому, что слишком много смотрит телевизор.

Толик ничего не сказал на замечание отца, но в душе с ним не согласился, потому что вряд ли сны зависят от телевизора, к тому же сон был цветной, а цветного телевизора у них не было.

Они в молчании допивали чай, и Толик удивленно поглядывал на бабу Шуру. Странное дело, она молчала, хотя ясно, что главный специалист по снам в их доме не мама, не тем более, отец, а бабка, которая знала про сны все. Вот, скажем, если приснится кровь — это хорошо. Скоро, значит, встретишь родственников. Если увидишь во сне снег — будут важные новости. Если приснится покойник и особенно кто-нибудь из умершей родни — погода переменится. А увидишь мя-

со — вот ведь глупость какая! — значит, заболеешь и, может, даже помрешь. В общем, бабка знала все про сны и сновидения, и Толик удивлялся, как это она до сих пор молчит, не обронила ни словечка.

Он допил чай, поставил по бабкиному обычаю стакан кверху дном — мол, напился, благодарю, и подумал, что, видно, бабкины приметы связаны только со всякими там покойниками, а вот до химических веществ, которые лезут из склянок и колб, да еще и оживают к тому же, — до этого бабкина наука еще не добралась.

Толик встал из-за стола, натянул валенки, проверил, все ли, что нужно, в портфеле, и вдруг услышал, как бабка проговорила своим скрипучим голосом:

— Никак к беде.

Он не понял сначала, про что это она, и глянул вопросительно на маму. Мама вздохнула тяжело, соглашаясь с бабкиным предсказанием, — она верила всяким бабкиным словам. Толик посмотрел на отца. Отец подмигнул ему и мотнул головой — плюнь, дескать, на бабкино карканье.

Толик улыбнулся отцу, но отчего-то ему стало тревожно.

«Пару получу?» — подумал он, взвесил свои возможности и успокоился, решив, что да, шансы на пару есть — никак не выходят примеры по алгебре, хоть тресни, не выходят! Он вздохнул и смирился с бабкиным пророчеством: пара так пара.

2

Но двойку Толик не получил.

Правда, сначала все шло как по писаному, и, когда Толика вызвали к доске, он подумал, что бабка все-таки настоящая пророчица и что теперь, пожалуй, он будет каждое утро рассказывать ей свои сны, чтобы знать наперед все беды и все удачи. Но дальше пошло наперекосяк.

Задачку — хотя ему и попалась трудная — он решил, попытал, конечно, что за вопрос, но все-таки решил и получил четвертак — надо же, по алгебре!

Когда Толик вернулся на свою парту, про сон и про бабушку он уже почти забыл. Все затмила четверка.

Да и еще когда домой возвращался, встретил на крыльце тетю Полю, соседку, еще ее спросил про сны —

мол, как так, что они сбываются. Тетя Поля, высокая и худая, но добрая и Толика любившая, засмеялась:

— А ты им не верь, вот они и не сбудутся.

И Толик окончательно выбросил бабкино предсказание из головы.

Дома, под хорошее настроение, он быстренько выучил уроки, со старанием, высунув язык, красиво вывел все буквы и цифры — словно первыш на уроке чистописания. Потом рисовать уселся.

У Толика все картинки одна на другую похожи. Еще в первом классе, когда ему отец подарил краски, понравилось Толику море рисовать. И чтоб всегда над морем солнце было. И всегда корабль Толик рисует — парусный фрегат с тугими от ветра парусами.

Вон там, на тумбочке, целая горка листов с этим кораблем. Несется он, вспенивая волны, наkreиился едва от быстрого хода и быстрого ветра. И хотя давно рисует Толик этот корабль, всякий раз он у него по-новому выходит — то форштевень сделает искусный, с узором, то старательно якорь нарисует. И солнце тоже по-всякому можно. В зените над самыми корабельными мачтами и на закате, у горизонта. Если у горизонта — море надо делать черней и только гребешки волн прозрачными от косого света.

Рисовать Толик садится не часто. Рисовать ему хочется не всегда, а когда какое-то особое чувство в нем появляется. Нет, не просто хорошее настроение, а что-то такое, что не объяснишь словами. Вот будто струна в тебе есть. Струна эта чаще всего молчит, но настает время, когда она звучать начинает: тихонько поет. Вот тогда садись скорей рисовать. Непременно море выйдет таким, каким надо, — темным, грозным или, наоборот, лазоревым, ярким. И корабль тогда получится отличный: скользящий, быстроходный — настоящий фрегат.

Толик рисовал свою картинку, слушал, как звенит в нем самом тонкая струна, и не заметил, как за спиной остановилась бабка. Очнулся, лишь когда она по голове его гладить стала, как маленького. Дернулся, мазнул красную полосу по белому небу, все дело испортил. А бабка будто не заметила.

— Молодец, внучок, — похвалила. — Говорят, они получают бесцетно!

— Кто — они? Чего — получают?

— Да енти, как их, ну, рисуют-те!

— Художники?

— Во-во! — закивала бабка.

И Толик задумчиво провел красной кисточкой по листу. Продолжил черту, которую из-за бабы Шуры мазнул. Потом накрест — еще одну.

Опять она за свое, баба Шура, опять сейчас говорить начнет, чтобы Толик художником стал. Он вздохнул, стал промывать кисточку, болтать ею в стакане с серой водой. Удивительный все-таки человек баба Шура. Ей ведь наплевать, кем Толик станет. Художником или еще кем. Получал бы шофер больше художника, она бы Толику говорила, чтоб шофером стал. Но бабка узнала от кого-то, что художники много зарабатывают, и всякий раз его хвалит за рисунки, какие бы они ни были — хорошие или совсем плохие. И еще приговаривает:

— На отца-то, на недоучку, не примеряйся! Изю всех грамот саму денежку выбирай.

«Ну, начинается!.. — подумал Толик, на бабу косясь. — Опять отца пилить начнет!»

Ох, бабка! Всегда она права, даже если сама себе противоречит. Вот Толику говорит, чтоб учился, чтобы не брал пример с отца. А отец хотел бы учиться, но попробуй-ка заикнись он об этом дома! Мама-то, может быть, и ничего, возражать бы не стала, даже, пожалуй, наоборот, но бабка — ни в жизни!

Отец у Толика техником работает. В конструкторском бюро. Хочет он инженером стать, но для этого ведь учиться надо. «Пропустил я свое! — говорит иногда отец и печально смотрит на Толика. — Вот уж Толик у нас всех перегонит, обязательно перегонит, инженером станет, машины новые будет конструировать». Но хоть отец говорит, что отстал, от своего он не отступает. Когда про работу свою с мамой рассуждает, глаза у него блестят. Толик его слушает и улыбается. Не все он понимает, что отец говорит, но что понимает — очень ему нравится. Завод, где отец работает, какую-то новую машину построить хочет. Ясное дело, чтоб построить, надо сперва чертежи начертить. Отец раньше пустяки чертил, не главные чертежи, а вот теперь ему важную работу дали. Он говорит: «Спроектировать один узел». Ну, в общем, начертить одну деталь, так Толик понимает. Отец смеется. «Нет, — го-

ворит, — не совсем так, но в общем-то да, правильно». Словом, хоть и не кончал отец институт, работает техником в конструкторском бюро, но совсем как инженер.

— Аньжанер! — Бабка злится. — Аньжанер, а вся цена-то сто рублей. Без вычетов. — И отца уговаривает, чтоб ушел из конструкторского, чтоб перешел в цех.

По-всякому бабка отца уговаривает. Сперва добром, как она выражается.

— Переходи-ка ты, Петя, — говорит, — в цех! В цех, Петя, переходи! Не все одно тебе, где работать! В цеху работяги по двести заколачивают — слышь, в два раза больше!

А когда отца такие уговоры не пробирают, таранит его бабка с разгону. Личико у нее розовеет от ярости и кукожится, словно задница у мартышки. Ладошки бабка в кулачки сжимает и орет скрипучим голосом:

— Тилигенция голоштанная! Дармоеды! Мужик здоровой, мешки грузить может, а сто без вычетов получает! А с вычетами-то?

«Ну все», — думает Толик. Сейчас закричит отец, не выдержит или оденется молча, дверью хлопнет. А мама, как только отец выйдет, возле бабки бегать станет, по плечам ее гладить, водичку носить, валерьянку капать, утешать, видите ли.

Вернется потом отец — и в доме как в глухом лесу. Тихо, пусто. В одном углу баба Шура сидит. Мама возле ее локотка, ни на шаг в сторону — слуга несчастная. Отец — в другом углу. Дымит, туманит комнату.

Ходит между ними Толик неприкаянный, за что взяться — не знает. Все из рук валится. Подойдет к отцу, скажет ему что-нибудь, он ответит. Не как всегда — подробно, с толком, а так: буркнет, скажет слово — и все. Подойдет к маме — уж лучше и не подходить к ней, — посмотрит она больными глазами, скажет, будто простонет. Ну а бабка — как сыч на суку. К ней не подходит Толик.

Мается он, бродит, рисовать свое море сядет, в синюю краску кисточку макнет, по листу проведет — бросит. Море веселое, море яркое и светлое должно быть, а тут оно мертвым, серым выходит.

От такого моря еще тоскливей становится Толику.

Толик промыл кисточку, закрыл коробку с красками, порвал испорченный рисунок. Ах, баба Шура! Вот было у него настроение замечательное — еще бы, шутка ли, четверка по алгебре, а теперь опять как всегда. Будто была солнечная погода, да подул ветер, и снова хмарь, снова низкие лучи. И четверка по алгебре уже совсем исчезла. Умом знаешь, что она есть, а радость и удовольствие пропали.

Всегда она так, баба Шура, всегда все испортит, расстроит, такое у нее странное уменье — все и всем портить.

Бабка что-то притихла. Толик поискал ее глазами и увидел на диване. Баба Шура сидела, согнув спину, а на коленях у нее лежал бумажник. Знаменитый бабкин бумажник с потертыми, побелевшими краями.

«Вот значит что! — ухмыльнулся Толик. — Пенсия!» Ну конечно, не зря же бабка о богатых художниках разговор завела. Она зря и слова не скажет.

Что она за жадина все-таки! Ни характер хороший, ни другие какие достоинства в людях бабку не интересуют. Если о ком разговор зайдет, бабка всегда один вопрос задает: а сколько он получает? Если много, она согласно головой кивает — заранее, хоть и человека ни разу не видела и не знает, кто он такой, а уже уважает. Если мало зарабатывает, ей отвечают, она про такого уже ничего и не спрашивает. Неинтересно ей.

Ну а дома — дома бабка всем деньгам хозяйка. Как получка — и мама и отец все деньги бабке сдают. И она им выдает потом. Пойдет мама в магазин, баба Шура ей денег дает, а вернется мама, всю сдачу до копейки бабка у нее забирает. Только оставит восемь копеек — на троллейбус туда и обратно. Обед мама с собой в бумажке носит. Два бутерброда с колбасой или, того хуже, с баклажанной икрой. Вот и ходит мама белая как бумажный лист.

Отец у бабки тоже под отчетом. Вечером она ему полтинник в карман кладет. Ничего не говорит, сунет полтинник, и все — на обед. Толик вначале все удивлялся, откуда у бабки столько полтинников. Потом в магазин с ней пошел и увидел, как баба Шура там тройку на полтинники разменивала. Чтоб, значит, удобнее отцу выдавать.

Ну а про Толика и говорить нечего. В школьном буфете булочки на переменках продают — желтенькие, пушистые, пятак цена-то, да нету у Толика пятака. Баба Шура ему кусок хлеба с маслом дает. Все хлеб да хлеб...

Конечно, и хлеба Толик поест, с ним, понятно, какой разговор. Вот маму жалко, когда поглядишь, как она бабе Шуре все копейки из кармана сдает.

А баба Шура сидит в это время выпрямившись, будто на уроке. Потом вытащит из серой кофты блестящий ключик, откроет комод, достанет оттуда бумажник, в бумажник деньги сложит, комод закроет, ключик обратно в карман.

Будто в доме воры есть и боится баба Шура, как бы кто деньги не взял. Все прячет, прячет деньги в свой бездонный бумажник.

А когда пенсию бабке приносят, она по пять раз на день бумажник свой из комода достает. Деньги все пересчитывает.

От этой пенсии, которую бабке ровно двадцатого числа почтальонша приносит, никому житья нет.

Если почтальонша хоть на день опоздает, бабке прямо невмоготу. Все топчется, топчется по комнате. Будто потеряла чего. Молчит и топчется. Потом не выдержит — оденется и на почту идет. Все бросит — и пойдет. Если на кухне суп у нее варится, так и не доварит, выключит газ и айда на почту. Если там очередь, не поворотит назад баба Шура. Хоть час выстоит, но заставит все перерыть, все бумажки перетрясти, найти ее пенсию. Уж тетки на почте бабу Шуру в лицо знают. И почтальонша старается первой на своем участке ей деньги принести, чтоб не бегала, не мешала работать.

Зато когда принесут бабке ее «зарплату», когда пересчитает она, мусоля пальцы, грязноватые бумажки да сложит их в комод, под тонкий серебристый ключик, посмотрит бабка вокруг себя, будто Наполеон какой. Будто она победу великую одержала.

И по ней видно — по сухонькому ее лицу, по грациному носику, какое ей от этой пенсии удовольствие. Даже вроде добрей баба Шура становится.

Вот и сейчас.

Сосчитала бабка деньги и в потолок уставилась, улыбается потолку.

Смотрит Толик на бабушку и не узнает. Морщинки

на щеках разгладились, и в глазах какое-то свечение.

Баба Шура очнулась, увидела, что Толик ее разглядывает, разом построжала, спустилась со своих денежных облаков.

Насупилась, захлопнула бумажник, спрятала в комод, подальше от Толикиных глаз.

— Иди-ка, Толик, — строго сказала, — погуляй.

«В одиночестве, наверное, о своих деньгах помечтать хочет, — подумал Толик, — чтоб никто не мешал», — и натянул на голову танкистский шлем — свою гордость. Застегивая его, Толик вспомнил отца и снова поразился бабке. Как это ухитряется она мерять отца только на деньги! Да отец такой замечательный!

Толик вышел во двор. В сгустившей темноте горела яркая лампочка, освещающая хоккейную площадку. Под ней носились мальчишки, гоняли шайбу, орали, и Толик поправил шлем.

Сейчас он придет на площадку, и мальчишки без слова уступят ему место центрального нападающего, потому что на Толике отцовский шлем, а всю эту площадку сделал не кто-нибудь, а отец Толика.

Толик вспомнил, как это было. Отец вышел во двор с совковой лопатой и стал раскидывать снег. Он разогрелся, от него пошел пар, и тогда отец скинул пальто, повесил его на столбик, к которому цепляют бельевые веревки, и снова замахал лопатой. Толик ему помогал, тоже раскидывал снег, но лопата у него была взрослая, тяжелая, и он устал, остановился передохнуть, обернулся к отцу.

А отец наклонился чуть и так швырял снег, что аж пыль холодная летела по двору. Он метал и метал снег, не разгибаясь, не глядя по сторонам, и побрякивал от удовольствия. Потом остановился, увидел, что Толик на него глядит, подмигнул ему и шапку над головой приподнял, будто снял крышку с кипящей кастрюли: пар от головы клубами валил.

Толик засмеялся, любясь распаренным отцом, — такой мороз, а ему жарко, — любясь, как снова, словно рычаг, размеренно и сильно заходила в руках у него лопата, и ему захотелось работать с таким же азартом, как отец. Он замахал своей лопатой, конечно, реже и труднее, чем отец, но тоже побрякивая, — правда, не столько от удовольствия, сколько от тяжести, — но все равно работа шла, над двором летела тонкая снеж-

ная пыль, и из этой пыли вдруг вылезли дворовые пацаны с лопатами, и теперь уже не только отец с Толиком кричали, как утки, а будто налетела целая стая.

Площадку расчистили, потом долго таскали в ведрах горячую воду, которая растекалась на площадке стекленеющими лужами, и над ними в тихом морозном воздухе стлался густой туман. Отец таскал по два ведра сразу, потом заложил по краям поля доски, и неплохая наутро вымерзла площадка, настоящая получилась хоккейная коробка, и лед был довольно гладкий. Но играть все-таки ребята любили без коньков, в валенках, чтобы посильней бить шайбу, а то на коньках такого сильного удара не получалось, больше падали и в кровь разбивали колени. Так что в шайбу во дворе играли без коньков, и центром нападения всегда был Толик, хоть и жили в доме ребята постарше его, пятиклассника. Да, играл Толик в нападении, именно центром, потому что только центром, никак не меньше, можно было играть, имея такой великолепный, такой изумительный танкистский шлем, через который не слышны никакие удары. Можно даже клюшкой по голове стукнуть — ничего, выдержит. Не изо всей, конечно, силы.

Словом, то, что Толика выбрали центром нападения, относилось не к его личным заслугам, а к танкистскому шлему и к тому, что это его отец придумал сделать площадку для ребят.

И Толик был благодарен отцу.

4

Когда Толик вернулся с улицы, отец был уже дома, сидел за столом напротив мамы, а баба Шура разливала в тарелки перловый суп.

Мама увидела распаренного Толика в шлеме, сразу нахмурилась.

— Опять гонял, — сказала, — лучше бы дома посидел. Книжку почитал. Или полепил из пластилина, у тебя хорошо получается.

И правда, у Толика из пластилина хорошо получается. Еще во втором классе он бабу-ягу из пластилина слепил. И Наполеона с одним глазом: на втором — черная ленточка, выбили Наполеону глаз на войне. Но это же во втором классе было. А сейчас пятый. Пятый — это-то понять можно?

И потом — совсем разные вещи, когда тебя за Наполеона одна мама хвалит и когда тебя хвалят за отличную шайбу все ребята, вся команда. Совсем другое дело! Тут ты сам для себя. Ну, для мамы еще. А там для целой команды.

Но мама всегда ворчит, когда Толик во дворе шайбу гоняет. Она хочет, чтоб он дома, перед глазами сидел. Отец шевельнулся недовольно — это у них старый спор, нерешенный.

— Надо, чтоб он коллективистом был, — сказал отец.

Что такое коллективист, Толик точно не знал, но отцу кивнул согласно.

— Еще успеет, Петя, — ответила ему мама тихо, но настойчиво.

Толик увидел, как из угла сверлит глазами баба Шура, понял, что это опять мама не свое говорит. Это она бабкины идеи осуществляет, это бабка ей наговорила, чтоб Толик больше дома сидел. Поэтому и настойчивость у мамы в голосе.

«Ну баба Шура!» — злится Толик и смотрит на отца с любовью и с тоской. Смотрит, как отец спорит, горячится.

— Хватит, — сказал отец, распалясь, — что мы с тобой к подолу пришиты. Пусть хоть он среди людей будет.

К чьему это подолу они пришиты, отец не сказал, но Толик понимает, догадывается — к бабкину. Он глядит на бабу Шуру, но та своим делом занята, зашивает что-то, будто это ее и не касается. Будто она и не слышит ничего.

Потом говорит, невзначай как бы:

— Пенсью принесли...

Всякий раз, как она говорит это, отец голову в плечи прячет, а мама быстрее есть начинает. Знают уж, как все дальше будет. Наизусть выучили.

— Н-ндя... — размышляет бабка, лобик морща. — Вот опять за доставку два рубля отдала... Охо-хо-о, жисть та-а...

Это бабка почтальонше за то, что она ей пенсию приносит, двадцать копеек дает. Но никогда баба Шура не скажет — двугривенный, нет. Два рубля, говорит. Это она все по старым деньгам считает. По-старому,

когда деньги меняли на нынешние, двадцать копеек два рубля значили.

Толик был совсем маленьким, когда деньги меняли, это ему бабка все подробно рассказывала. Давно уже тех денег нет в помине, а она все по ним счет ведет.

По тем старым деньгам ей почтальонша шестьсот рублей приносит. А отец получает всего сто. По новым.

Вот и ходит баба Шура, оживленно сандалиями своими шебаршит, половицами скрипит. Большой день сегодня у нее. Шутка ли, пенсия!

Отец и мать ели суп молча, опустив головы, словно ребятишки провинившиеся, а бабка все причитала, все кидала камушки в отцовский огород.

— Н-ддя... Ндя-ндя-ндя... — ныла баба Шура, облокотясь, подбородок в ладошку сложив. В глазах задумчивость и размышление были, будто никого она и не изводила вовсе, а просто так размышляла себе вслух, думу думала.

— Н-дя!.. — гундосила. — Все ж таки нескладно выходит у нас. Я одна шестьсот имею, а вы вдвоем — сто да восемьдесят, сто восемьдесят без вычетов. Н-ндя!..

Отец положил ложку, не доел суп и так папироской задымил, что комната враз синей стала, а табак под красным огоньком от горенья затрещал.

— Петь, а Петя, — баба Шура вдруг удивилась, — а пошто это за партию-то деньги берут, а? Вот вычеты-то?

Голос у нее ласковый, бестолковый, не понимает она будто, хоть ей отец все сто раз объяснял.

— Да не вычеты это, — взорвался отец. Лицо у него покраснело, словно он тяжелое бревно поднимает, а не с бабкой разговаривает. — Не вычеты это, — крикнул он, — а взносы! Я сам плачу, понятно!

— Нью-ю-ю, — запела бабка, нутряным смехом заливаясь, — ишь, добровольно! Скажи кому, глядишь — поверют!

Отец папироску в тарелку ткнул, забежал по комнате, будто заяц загнанный. А мама голову опустила, даже лица не видно. Знают, что все это цветочки, сейчас ягодки будут.

— Не горячись, зятек, не горячись, — бабка отца

успокаивает, и лицо у нее уж без ехидцы, серьезное лицо, потому что ведь и разговор дальше серьезный.

— Вишь ли, Петя, зятек дорогой, — бабка говорит. Глаза на клеенку опустила, пальцем по ней водит, стесняется будто и говорить-то про это, такое деликатное дело. — Вишь ли, зятек дорогой, я пенсьонерка, а доходу имею чуть поменее тебя.

Баба Шура глаза от клеенки отрывает, смотрит спокойно, как отец по комнате бегают, как мать в пол глядит.

— Ну ясное дело, мои деньги — на похороны, да вам в наследство, как представляюсь... Живем мы на ваши средства, уже после меня пошikuете, ясное дело, но покамест денег мало.

Отец все молчал, крепился. Трещал табак под огоньком, комната, как поле боя, в синих клубах. Отец ходил по комнате, а за ним, как живые, двигались табачные облака.

— Переходи-ка ты, Петя, в цех! В цех, Петя, переходи. — Бабка вдруг заталдычила. Пальчиком сухоньким отцу в пояс затыкала, глазки ее востренькие заблестели.

И сколько еще будет бабка отца вот так мучить?

5

Однажды летом Толик видел водоворот. Прошел жуткий ливень — казалось, тяжелая туча, которая нависла над городом, вся, без остатка, пролилась, и по улицам во всю ширину мчались мутные, стремительные речки. Воды было столько, что решетчатые колодцы не успевали ее проглатывать. Над колодцами плескались целые озера, и в том месте, где вода стекала, крутились водовороты.

Они глухо гудели, урчали, будто какие-то прожорливые твари, и вокруг мутных воронок, как в карусели, носились щепки, обрывки газет и всякий мусор. Все это крутилось, словно замороженное урчащей пастью воронок, медленно приближалось к ее краям, потом попадало в середину и исчезало в страшном нутре колодца.

Толик долго стоял тогда возле водоворота, глядел в этот манящий, все проглатывающий круг, и колодец казался ему живым жадным зверем.

С тех пор прошло много времени, но крутящаяся воронка не исчезала из памяти Толика, наоборот, он чаще и чаще вспоминал ее, потому что все, что было дома, напоминало ему ту воронку. Жизнь в их доме крутилась возле денег, всегда возле денег, возле бабкиного бумажника с потертыми углами; и чем дальше, тем глубже засасывал этот денежный круговорот всех их. Мама уже смирилась и крутится в бабкиной воронке, и только отец сопротивляется, не поддается бабкиным разговорам, не переходит в цех, потому что — это даже Толику ясно — не все меряется деньгами, не все меряется по бабкиному правилу, и интересная, любимая работа важнее и дороже всяких денег.

Деньги, деньги, все только о них и толкует баба Шура. Но Толику иногда кажется, что вовсе не деньги бабке нужны, а что-то другое. Непонятно что, но другое, потому что все эти скандалы из-за отцовской работы, из-за его зарплаты лишь половина всех скандалов. Баба Шура у них дома будто острый гвоздь на гладкой доске. Куда ни пойдешь, что ни сделаешь, обязательно за этот гвоздь зацепишься, обдерешься.

Такой уж у бабы Шуры характер.

С виду посмотришь — безобидная старушечка, божий одуванчик. Сухонькая, легонькая — как стручок.

А дойдет до дела — нет человека страшнее бабки.

Если обозлится, к примеру, или если что не по ней, не по нутру, баба характер свой — из кожи вон лезет! — выказывает. А характер у бабы Шуры как булыжный камень. Хоть молотком по нему стучи — ничего не добьешься, кроме как молоток железный обобьешь.

Если что там не так, если что ей не подходит, устается вдруг баба Шура на что-нибудь и глаз не отрывая. С ней говорят, она не отвечает.

Начнет мама пол мыть, баба Шура с места не стронется. Сидит, глядит в одну точку, свернет губы в птичью гузку и ровно оглохла. Мать ее в такой час боится. Тихо пол возле бабкиных ног аккуратно вымоет, тряпкой ее не коснется. Отойдет потом бабка, встанет, а на мокром полу от нее два сухих следа останутся. И следы эти никогда прямо, как у людей, не стоят. Всегда один в другой уткнется. Будто шел, шел человек и сам о себя споткнулся. И нету ему дальше никакого ходу.

Толик давно заметил, что глаза у бабки, когда она

вот так уставится, будто меньше становятся. Не зрачки, а две иголки. Так и колют. Смотрит она, например, в телевизор и ничего не видит, а телевизор глазами прокалывает и стенку за ним тоже. Не моргнет, не шелохнется баба Шура, что там ей по телевизору ни показывают.

Толик пока не понимал, встанет, бывало, перед бабкиными глазами, заговорить с ней хочет, а она и его прокалывает своими иголками. Стал тогда Толик ее обходить. Неприятно как-то, когда сквозь тебя смотрят такими глазами.

Сперва все это Толика не касалось.

Ну не нравится тебе, как баба Шура в фикус глазами уткнулась, час, будто загипнотизированная, сидит, плюнул, натянул валенки и айда во двор. Шайбу гонять с пацанами. Или в войну — тыр-р-р! — длинными очередями по врагу строчить из автомата.

Вот тебе и вся баба Шура.

Да ясное дело, не для Толика она и старалась. Отцу с матерью свою власть, свою силу доказывала.

Вот в прошлый праздник, например, собрались отец с мамой в гости, заранее бабку предупредили. Она все молчала, вроде бы и не возражала, а стали собираться — отец костюм свой любимый надел, не новый, но аккуратный и красивый, в полосочку, мама туфли вытащила блестящие, тряпочкой их от пыли обтерла, чулки натянула красивые, тонкие, сели на один стул обуваться, задурили, как маленькие, тесня друг дружку, засмеялись, а баба Шура вдруг в комод уставилась и замолчала. Смейтесь, стучите, кричите — ей хоть бы хны! Нет ни комода перед бабой Шурой, ни стенки за ним, ни улицы за домом — уставилась баба Шура, глядит куда-то в никуда — и все тут!

Мама заметила первой бабкину перемену, приутихла, опустила голову, будто виновата, что с отцом шутили, засмеялись. А бабке этого мало. Молчит, сидит недвижно, как сыч на суку, и глазами не моргнет.

Отец вздохнул, стянул галстук с шен, из угла в угол заходил.

Ходил, ходил, а мама как всегда. Будто пол возле бабких ног моет. Тряпочкой тихонько туфли ее обводит, чтоб встала потом баба Шура, а от нее как ни в чем не бывало сухие следы друг в друга уперлись.

Боятся мама бабу Шуру, тихонько туфли уже сняла, в шифоньер поставила, чулки отцепляет.

Отец остановился перед ней, опять вздохнул, размял папироску, просыпал табак.

— Ну что ж, — сказал бабе Шуре, а сам иа маму поглядел, будто все это не бабке, а ей говорит. — Ну что ж, Александра Васильевна, так нам тут возле вас и сидеть? Мы ведь вроде еще не старики, хочется же в гости сходить к товарищам. Да и обещали, что придем, неудобно...

Мама совсем голову опустила, будто это ее отец ругает. Отец тогда шагнул к маме, по волосам ее, как маленькую, погладил.

— Что же вы, в самом деле, Александра Васильевна, — сказал отец, маму глядя, — вроде бы взрослые мы люди, да вот и Маше тоже развеяться не мешает, а то все дома и дома... Кухня, да полы, да плита...

А баба Шура все сидела не шелохнувшись, словно и не касалось это ее. Словно не с ней отец говорил.

Но отец все ходил, все ходил, курил, пуская яростно дым, и говорил ровно, спокойно. И Толику показалось, что отец все это вовсе и не бабе Шуре говорит. И не маме. Неизвестно кому говорит отец, наверное, даже никому. Просто так он все это говорит, лишь бы не молчать, лишь бы сказать хоть что-нибудь. Будто себя уговаривает. Будто успокаивает себя.

Ровно говорил отец, как некоторые учителя на уроке, и все одно и то же повторял. Потом глаза у него потухли, как папироска, и он уже не говорил, а под нос себе бормотал. А баба Шура молчала. Молчала — и все тут, хоть лопни!

Только уж ночью, когда все легли спать и успокоились окончательно, баба Шура принялась на диване ворочаться, пружинами ржавыми скрипеть. Это значит, не все еще. Еще не сказано, значит, сегодня последнее слово, и хоть говорил отец целый вечер — сперва распаляясь, потом тихо, под нос бурча, — не за ним все-таки последнее слово, нет. За бабкой Шурой.

Поскрипит пружинами бабка, поворочается с боку на бок, будто председатель на собрании колокольчиком позвонит, и скажет свое последнее слово:

— Промежду прочим, я вам мама, а не Александра Васильевна!..

Это она отцу говорит. И лучше уж отцу промолчать,

потому что иначе баба Шура и завтра говорить не станет. Просидит целый день, уставившись в одну точку, и обед не приготовит, и весь вечер снова испортит.

Промолчит отец, неизвестно о чем думая, а уж мама и вовсе ничего не скажет.

Словно ничего они не слышали.

Только бы с бабушкой не спорить.

6

Толик сначала думал, бабушка с отцом из-за бога поладить не могут. Думал, баба Шура отцу ту историю все простить не может — с иконой, которая в углу у нее висит. Не может забыть, как отец ту икону скинуть хотел.

Баба Шура в бога верит. Сколько раз в день у иконы своей остановится, губами пошевелит, покрестится. И помогала икона бабушке, Толик своими глазами сто раз видел, как помогала.

Очень это просто, оказывается. Сидят они, например, вечером, когда по телевизору кино показывают, которое детям до шестнадцати лет смотреть нельзя. Сидят, сидят, и Толик сидит, чего же делать? Комната у них одна, и мама говорит, что не закрывать же ему глаза. Конечно, не закрывать! Да если и закрыть, завязать глаза даже шарфом, не поможет же! Ушами-то все Толик слышит. А раз слышит, можно и не глядеть — все равно все понятно. И между прочим, ничего еще такого страшного в этих кино не показывали, бояться нечего. Так вот сидят они, сидят, смотрят кино, и как дойдет, что там какая-нибудь красивая тетенька платье снимать начнет, раздеваться, — вот тут икона и начинает действовать!

Отвернется баба Шура от телевизора, поищет глазами в темноте угол, где икона висит, перекрестится быстренько, и все! Дальше телевизор смотрит. Пока крестилась, уже другое показывают.

Так что икона ей помогала, и Толик, понятное дело, думал, что баба Шура на самом деле в бога верит.

Это, конечно, интересно было — как в бога верят.

Хорошо ведь — попалось тебе что-нибудь неприятное, ты перемолился одной рукой, и все в порядке! Всякие неприятности: с глаз долой — из сердца вон, как

баба Шура говорит. Только вот надо научиться, как рукой водить.

Толик совсем пацан был, в первый класс ходил, когда этот скандал случился. Сейчас-то он понимает, какой глупый тогда оказался, но что поделаешь, ведь раньше Толик к бабе Шуре хорошо относился. Даже любил ее, хотя и неизвестно за что. Верил ей.

Так вот, начала баба Шура однажды перед иконой молиться, а Толик за спину ей встал, приподнялся на цыпочки, принялся вслед за ней креститься. Бабка обернулась, увидела, что Толик тоже крестится, вдруг носом всхлипнула. Пристучала мелко-мелко к Толику, с костяных коленок не поднимаясь, и обняла его.

— Внучо-ок! — сказала протяжно. — Золотко!

И стала Толику показывать, как правильно надо в бога верить. Не в живот сначала, а в лоб пальцами тыкать, и плечи не путать — сперва в правое, потом в левое. И пальцы щепоткой сложить, будто соль взять собрался. А раньше всего на коленки стать для уважения к богу. Но вообще-то можно и так, на ногах, если некогда.

Они стояли на коленках перед иконой — баба Шура и возле нее Толик, и тут неожиданно открылась дверь. Никогда в жизни не видел Толик отца испуганным — и вдруг увидел: отец стоял на пороге, приоткрыв рот, хлопая глазами, подняв брови домиком. Из-за его плеча выглядывала мама, бледная, будто три раза подряд напудренная.

Отец постоял, помолчал, потом шагнул в комнату, и лицо у него сразу стало маковым. И опять он другим стал. Раньше бабка упрется взглядом в угол, так отец ходит по комнате нерешительно, только говорит, сам себя уговаривает. А тут вдруг как гаркнет:

— Ну-ка, мамаша, снимай свою иконку! Да моли бога, что я твой родственник!

Баба Шура поднялась с коленок, промокнула пуховым платком острый носик. Толик отцовского крика испугался, думал, и баба Шура испугается, снимет из угла икону, а она, будто ничего не случилось, мимо отца прошаркала, словно и не заметила его, словно и не кричал он только что, и удивленно сказала маме голосом скрипучим, таким, будто кто-то сухую доску раздирает — разодрать не может:

— Маш, а Маш? А пошто же это мы Толика-то не окрестили?

Мама все стояла в дверях, только еще бледней стала. А бабка, ничего не замечая, талдычила свое.

— Не-ет, — мотала она головой, — окрестить надо, а то вон нехристи-то какие ноне... Орут! Голос подают! А коммунисты еще! Ну да ладно, окрестить не поздно...

Толик думал, отец все-таки скинет бабкину икону — он прямо ринулся в угол. Но бабка, которая вроде бы и не видела отца и речи свои говорила маме, вдруг мгновенно повернулась, кинулась наперерез отцу и в тот миг, когда он протянул руку, чтобы достать до иконы, вцепилась в него.

Отец остановился, опешил, не зная, что делать, как быть с бабкой, которая вцепилась в него, рванулся было опять к иконе, и в эту минуту ожила мама. Она кинулась к отцу — Толик думал на подмогу, — но нет, мама тоже, как бабка, схватила его за руку.

— Не надо, Петя, не надо, — заговорила она сквозь слезы. — Милый Петя, не надо!

Отец обернулся.

Бабка отступила на шаг и глядела теперь на него.

Хоть и прошло уже много лет с тех пор, а как наяву видит Толик ту минуту: отец и бабка стоят друг против друга, будто на дуэли.

Отец — высокий, ладный, плечи широченные, никак Толик за плечи обхватить его не может. А бабка — щупленькая, сухонькая, будто стручок. Ну какая тут дуэль?

Но нет, не так-то просто.

Не всегда тот, кто сильнее, побеждает.

Не страшная баба Шура, не ловкая, не хитрая. Самая что ни на есть обыкновенная старушка. Кофта на ней вязаная, серая, серая юбка и платок пуховый тоже серого цвета. Носик острый торчит из платка, как птичий клюв. Вот глаза только.

Как посмотрит баба Шура на человека — не просто так посмотрит, а со злостью, — не то что проколет иглами — пробуровит, просверлит, будто в самое нутро тебе заглянет. И оттого, что заглянет в самое нутро баба Шура, нехорошо в тебя заглянет, с тайным каким-то смыслом, сердце у человека зайдет, и он отступит на шаг.

А отступив, увидит, как вырастает вдруг баба Шура.

Маленькая, сухая, а вот уже всю комнату заняла. Никого больше тут нет — одна она все заполонила, и нет человеку здесь места. Вон, вон от нее! Вон из комнаты, где дышать нечем!

Посмотрела тогда вот так баба Шура на Толикиного отца, в самое нутро, наверное, ему заглянула и сказала негромко, будто нехотя:

— Слышь-ка, сродственник бесштанной! Ты тутока на меня не гавкай, не ори. В своем доме хозяйствуй, а здесь ты сам по билету. Почитай, как на постоялом дворе.

Только что отец красный был, а тут позеленел. Шарик на лице закатался, будто он под щекой конфеты круглые держал. Отец отступил на шаг от бабки, а потом в коридор вышел. Дверью хлопнул так, что под обоями словно мыши зашуршали — штукатурка посыпалась.

Мама на сундук, где всякое старье лежит, опустилась, заплакала.

Толику страшно сделалось, ведь он тогда еще совсем пацан был, в первый класс ходил. Он к маме пришел, прижался к ней. Мама Толика обняла.

А тут баба Шура тенью над ними нависла. Серая вся, как ворона. Каркнула:

— Ты-кося скажи своему соколику, опамятуй его и сама не забудь. Я — слышь! — я тутошная хозяйка!

Сказать бы тогда маме свое слово бабе Шуре. Сказать бы, что любит она отца и отец ее любит и что есть у них Толик, сын, сказать бы маме, чтоб перестала баба Шура тут всем править, но она промолчала. Заплакала только. А когда проплакалась, включили они телевизор, и Толик смотрел кино, которое не разрешается глядеть детям до шестнадцати лет.

Кино было скучное, только изредка тетеньки там раздевались, и бабка опять крестилась, глядя в темный угол. Свет от телевизора делал синим ее лицо, и Толику было страшно, когда она закатывала глаза с синими белками.

Мама сидела тихая, как прибитая, и смотрела в телевизор слепыми глазами.

Поздно вечером пришел отец.

Он был тихий-тихий.

Снял ботинки у входа и на цыпочках к кровати про-

шел. Когда он мимо Толика проходил, вином почему-то запахло.

Мама погасила свет, и баба Шура заворочалась на своем диване, запищала пружинами. Потом не пружинами, голосом закрипела, сказала неизвестно кому:

— И между тем дите само заинтересованность проявляет.

Точку поставила.

7

Мама насухо протерла посуду, отец закурил уже десятую, наверное, папиросу и включил телевизор.

Удобная, оказывается, штука — телевизор! Не потому, что, не сходя с места, и кино поглядеть можно, и как в хоккей наши с иностранной командой играют, и все новости тут же узнать — не только поэтому удобная вещь телевизор. Он еще молчать помогает.

Забились все по своим углам, молчат, словечка не обронят. Посмотришь со стороны — люди внимательно передачу смотрят, а в самом-то деле скандал дома. Баба стену глазами сверлит, на своем стоит: чтоб шел отец работать в цех. Мама возле ее локотка устроилась — боится с отцом говорить, чтоб эту домашнюю владычицу не сердить. Отец тяжело молчит. Все курит. Все мучается.

На лбу у отца морщина залегла, будто кто топором сделал на березовом стволе отметину. Не улыбнется отец, не засмеется. Не скажет слова.

Раньше, бывало, нет-нет да и объединятся мама с отцом, хоть шепотом да восстанут против бабки.

Сядут у телевизора, позади бабы Шуры, чтоб не видела она их, обнимутся и шепотом говорят. Говорят, говорят!.. Потом тихонько засмеются. Толик улыбается, смотрит тайно на маму и отца, как они в трюмо отражаются. Потом надоест ему в зеркало на них смотреть, перетащит Толик свой стул, сядет между мамой и отцом, и они втроем шепчутся, смеются втроем. И кажется Толику, что не шепотом они говорят, а громко, что смеются они весело, хохочут во все горло.

Обернется на них баба Шура, увидит, что отец с матерью и с Толиком обнявшись сидят, носик свой востренький так и отдернет, будто им обо что-нибудь горячее обожглась.

Но давно уже не сидели они втроем обнявшись, давно не восставали мама с отцом против бабки. И тут баба Шура победу над отцом одержала.

С иконой своей победила — не тронул отец икону, с деньгами победила — выдает отцу по полтиннику, а теперь еще раз верх одержала: бонится мама к отцу подойти, чтобы, не дай бог, не обидеть бабу Шуру.

Одну оставалось победу одержать бабке. Одну. Последнюю. Чтобы отец в цех из-за денег перешел. Все тогда будет под бабкиной пятой, под бабкиным игом!

Толик глядел в телевизор, слушал краем уха, как последние известия передают, а сам про маму думал.

Вот бабка на отца насаждает, отец от нее отбивается: то закричит, то уйдет из дому, а вернется выпившим. Вроде идет между отцом и бабкой тихая драка — без кулаков, без крови из носу, но пострашней. Крепкий, сильный отец перед тщедушной бабкой отступает. И во всей этой драке Толику лишь одно непонятно — а мама? Как же мама? Почему она молчит? Почему она всегда бабкину сторону держит? Почему слушает ее во всем, словно рабыня? Понятно: мама бабе Шуре родная дочь и должна, конечно, ее слушаться, но ведь не так же! Не так, чтоб дома как в больнице было. Тишина, муха пролетит — слышно. Молчат все как сычи, а заговорят — сразу дым коромыслом, сразу спор и крик.

Эх, да что за жизнь такая!

Тоскливо Толику дома, тяжело, душно. Вот сбегал во двор, покидал шайбу в танкистском шлеме — и будто сил набрался, а вернулся домой, посидел час, послушал бабкины разговоры, видел снова, как отец мушкетером, — и опять тоскливо ему.

Толик в зверинец летом ходил. Весело там было, смешно. Особенно на мартышек разных смотреть забавно, как они дурят и забавляются. У клетки с мартышками всегда ребята толкуются, но Толику эти глупости быстро надоедают, и он к медведям идет. Медведи теперь в любом зверинце, в любой зоопарке есть, народ все больше у тигров толпится, у леопардов, у львов или вот у мартышек, а возле медведей всегда пусто. Ходят медведи по клетке из угла в угол или топчутся на месте, тоскливо в стороны поглядывая, ничего хорошего больше не ожидая, с тоской вспоминая тайгу. Толкуются, толкуются, бродят по клетке, куда себя деть, не знают.

Вот и дома у Толика теперь так же. Толчется он по комнате, не знает, куда деть себя. Как медведь в клетке. Ни поговорить не с кем, ни посмеяться.

Будто не с людьми он в комнате сидит, а с чучелами. С пустыми местами. Есть такое выражение. Очень хочется тогда ему к маме подойти или к отцу, а еще пуще к бабе Шуре, дернуть ее, во всем виновную, за рукав и крикнуть. Зло крикнуть, до слез:

— Эй, ты, пустое место!

Но они сидят как пни, и Толик моргает синими мамиными глазами, морщит редкие конопушки на носу и молчит, как взрослый.

Понимает он, что криком тут никак не поможешь.

И хоть знает Толик, что думать так нехорошо, неправильно, что нельзя так думать детям о взрослых, да еще о родных, — думает он о том, что хорошо бы баба Шура куда-нибудь сгинула. Уехала бы, например, в командировку, хотя, ясное дело, какая ей командировка может быть? Ну, не в командировку — уехала бы вообще, ну куда-нибудь, хоть к черту на кулички. И стали бы жить они втроем — Толик, мама и папа.

И стали бы телевизор смотреть обнявшись. И не шептались бы больше, боясь бабке не угодить, а говорили вслух, громко, как хозяевам говорить полагается. И не считала бы мама каждую копейку. И отца бы деньгами никто не корил.

Но Толик отлично знает — никуда не денется бабка. Засела она тут прочно, как заноза, и никак ее не вытащишь, никуда она не уедет, потому что, по бабы Шуриному мнению, не она здесь лишняя, а все они — и Толик, и отец, и мама: ведь это бабка их всех троих тут приютила.

«Подумаешь, приютила! — думает Толик. — Нужен этот приют! Можно уехать, в конце концов. Снять комнату где-нибудь, пока отцу на работе не дадут. Или в другой город уехать».

Толик задумался. Не раз и не два говорил про это отец, но мама — ни в какую! Как вот тут поймешь маму — сама ведь она мучается от такой жизни, а что-нибудь переменить боится. Всего боится — в другой город уехать, на другую квартиру, бабки боится, и Толик уж думает: может, она от рожденья такая, мама? Что только при бабке и может жить как приложение?

Кончились передачи по телевизору, отец щелкнул

выключателем, и все молча стали ложиться спать. Толик разделся, лег на свою раскладушку и подумал, что так и не запомнил, какие передачи сегодня показывали.

Он вздохнул, покрутил головой, делая ямку в подушке, чтобы удобней спать, и вдруг вспомнил вчерашний сон.

«Никак к беде», — сказала бабка, домашняя пророчица, и, хоть беды никакой не случилось, а даже наоборот, получил Толик четверку по алгебре, там, внутри, где сердце, было пусто и тяжело.

Как если бы пришла беда...

8

У Изольды Павловны, классной руководительницы, было такое правило: раз в две недели водить всех в кино. Какой фильм — все равно, лишь бы организованно. Гривенники на билеты собирали заранее, и Толику в кино ходить не всегда удавалось, потому что бабка на кино деньги выдавала со скрипом, приговаривая, что есть телевизор и нечего еще в кино шляться. Но тут уж вмешивалась мама, тут она почему-то говорила отцовские слова, что Толик должен быть коллективистом, и бабка, хоть и не всегда, сдавалась.

На другой день после бабы Шуриных предсказаний Толик пошел в обязательном порядке в кино. Фильм был ничего себе, про войну, и там много стреляли, но, странное дело, когда Толик вышел из зала, все, что показывали, сразу забылось.

Ребята хвалили картину, другим она понравилась, особенно Цыпе, который вообще любил все военное, а Толик молчал, чтоб зря не спорить. Кому-то там нравится, а ему нет — что поделаешь, у каждого свои вкусы. На углу он вышел из пары — Изольда Павловна всегда их водила парами — и отпросился домой, потому что ему пора было сворачивать. Изольда Павловна кивнула, она любила порядок, и Толик пошел домой.

На улице уже стемнело, все-таки зима, и теперь темнеет раньше, а может быть, это только казалось из-за низких-низких туч.

Толик загляделся на тучи, они были какие-то странные сегодня. Одна — серая, грязная, как половая тряпка, — ползла вперед, а другая уже не ползла, а неслась ей навстречу, как будто машина разогналась. Вот-вот

столкнутся. Но тучи не столкнулись. Они летели стаями друг над другом, будто волшебные птицы, серые и злые.

Толик шел, задрав голову вверх, и вдруг совсем неожиданно услышал знакомые голоса. Он огляделся и увидел прямо перед собой, в каких-нибудь пяти шагах, маму и отца. Они шли впереди него.

Толик обрадовался, решил подкрасться к ним незаметно, а потом броситься сзади, зарычать.

Так и сделал. Подкрался. След в след за ними пошел и совсем уже приготовился прыгнуть, как вдруг услышал, что отец маме встревоженно сказал:

— Ну хорошо, сегодня я уступлю, а завтра что будет? Да разве не видишь ты, что так жить нельзя?

Толик ничего не понял, налетел, зарычал, как тигр, думал, отец и мама обрадуются, но они только вздрогнули и посмотрели на Толика чужими глазами.

— Откуда ты взялся? — спросила мама, хотя отлично знала, что весь класс идет сегодня в кино, и добавила, не дождавшись ответа: — Иди, мы скоро придем.

Они повернулись, пошли дальше по улице, и у Толика даже запершило в горле — так стало ему обидно. Отец и мать будто и не заметили, что Толик к ним подходил. Глаза у обоих словно пустые, о чем-то там своем думают.

Толик двинулся к дому и вдруг вспомнил, как несколько дней назад забежал он домой со двора — воды напиться. Мама и отец молчат теперь всегда, а тут сидели рядышком. Толик вошел, мама замолчала на полуслове, отвернулась, стала сморкаться и глаза вытирать, а отец папироску в руке крутил — табак из нее сыпался. Пока Толик с графином возился, воду наливал, мама ни к селу ни к городу сказала, что пахнет чем-то, что, наверное, опять соседка тетя Поля сплавила молоко на кухне, и вышла в коридор.

Толик пил воду, косился сквозь стакан на отца. Тот смотрел, уставившись, как бабка, в одну точку, о чем-то думал напряженно и не слышал, когда Толик спросил, где баба Шура. Пришлось повторить громко. Отец встрепенулся, ответил, что ушла в магазин. Толик вышел в коридор, принюхался. Горелым молоком не пахло.

Значит, выдумала мама. Просто так сказала, чтоб из комнаты выйти.

Тогда Толик это просто заметил, а сейчас, когда отец с матерью его от себя прогнали, вдруг все понял.

Вон оно, значит, что...

Обида Толикина разом пропала. Да и какая может быть обида, если тут такое творится!

Ах, мама, мама! Кончилось, значит, твое молчание. И ты вместе с бабушкой против отца!

Все-все понял Толик. И тогда, когда вечером сидели они вдвоем у стола и мама плакала даже, и вот теперь, там, на темной улице, над которой летают злые облака, мама отца уговаривает не победить, а сдаться. Сдаться уговаривает на бабушину милость. Еще раз, в последний, может, бабушке уступить — уйти из конструкторов в цех, деньги заколачивать...

Толик пришел домой словно побитый, даже бабушка Шура заметила — не ворчала, как всегда.

Толик забрался с ногами на диван, стал разглядывать сто раз виденный старый журнал, размышляя об этих деньгах. Что, в самом деле, нельзя прожить на эти? Ну трудно, может быть, наверное очень трудно, сто отцовских да восемьдесят маминых не так уж, говорят, много. Но ведь отец и премии каждый месяц приносит. И бабушка пенсию получает. Если все сложить, разве мало? Толик знает, что премии и пенсию бабушка тратить не дает, прячет, копит неизвестно куда.

Стукнула дверь, пришла мама. Толик поглядел на нее вопросительно, но мама не видела ничего перед собой. Глаза ее на стекляшки походили, на пустые стекляшки.

— Ну? — строго спросила бабушка, но даже ей мама ничего не ответила, разделась, медленно, словно загипнотизированная, села на стул.

Бабушка Шура шебаршила тапками по полу, постукивала кастрюлями, все молчали, и Толику показалось неожиданно, что мама и бабушка чего-то ждут. Каких-то известий.

За окном вечерело. Какой-то человек выступал по телевизору, но бабушка прикрутила звук, и человек смешно размахивал руками и молча открывал рот. Бабушка уселась, и они все трое бессмысленно глядели на немого человека, и каждый думал о своем, и никому в голову не приходило подняться и включить звук.

Вдруг громко хлопнула дверь, и в комнату, держа бутылку, быстро вошел отец.

Толик посмотрел на него и сразу понял, что случилось неладное. Глаза у отца поблескивали, а руки вздрагивали. Он подошел к столу, подержал на весу бутылку с водкой и вдруг изо всей силы трахнул ею об стол. Будто выстрелил. Пробка вылетела из горлышка, бабка вздрогнула, а мама побледнела.

— Ну, — сказал отец, глядя на бабу Шуру. — Радуйся, ваше благородие! Перешел по вашей милости в цех на оклад — сто тридцать плюс премиальные.

И, как был, в пальто и в шапке сел к столу, придвинул к себе стакан.

Толик посмотрел на маму, перевел взгляд на бабу и чуть не заплакал. Вот они чего, значит, ждали! Ну, добились?

Баба Шура вздернула сухонький носик, от страха отошла, набрала степенности и довольная такая стала. Мама тоже порозовела, улыбнулась.

— Нню-ню, зятек, — запела бабка, — удовольил ты меня... Давай чокнемся.

Зашуршала тапками к буфету, принесла себе и маме рюмки. Отец, так и не раздеваясь, всем плеснул. Выпил свое махом, снова налил, посмотрел на Толика.

Поймал Толик отцовский взгляд — и страшно ему стало. Никогда он таким отца не видел. Большой человек, из расстегнутого ворота ключицы видны — как весла, сожмет отец руку, под кожей мышцы словно бильярдные шары ходят, а взглянул вот сейчас — глаза большие и будто зовут. На помощь зовут, будто страшно человеку, будто раненный он смертельно.

Толик к отцу подошел, прижался к нему. Увидел, как жилка на виске у отца бьется, синей гармошкой выпирает. И сердце в отце ухает — как молот по наковальне: ух, ух, ух!

Эх, люди, люди, а еще взрослые! Эх ты, мама!.. Сидишь улыбаешься, порозовела вся, радуешься, что снова в доме лад и удовольствие, и отец — вот он, перед тобой, а сама его не видишь!

А ведь как просто все! Вот пришел к отцу Толик, прислонился — и сразу все услышал. Сразу понял, как волнуется отец. Как гулко сердце в нем грохочет. Как трудно ему, как тяжело...

Плеснул еще отец водки в стакан, влил в себя, не морщась, ничем не заедая, и вспомнил вдруг Толик, как пьяных на улице видел. Идешь, а в снегу человек

лежит. Да какой человек — скотина. Мычит, глазами бессмысленно водит, встать хочет — не может. Таких Толик стороной обходил брезгливо. Глядя на них, об отце никогда не думал, потому что отец таким оказаться не мог. Не мог!..

Бывало, выпивал он раньше, сейчас, от бабкиной жизни, выпивал чаще и крепче, но чтобы так, как эти, такого никогда не было. Толик подумал: а вдруг будет? Вот теперь? Сейчас?

Он прижался к отцу, услышал снова биение его сердца, попросил:

— Не надо, пап, не надо!

Отец повернулся к нему. Глаза у него по-прежнему были трезвые и больные.

— Не надо? — спросил он и кивнул. — Не надо!

— Пойдем погуляем, — сказал Толик, — пойдем подышим.

— Подышим! — сказал отец, поднимаясь и пьяно пошатываясь. — Пойдем подышим, а то тут дышать нечем! Духота! Африка!

Мама поднялась, так ничего не понимая, шагнула к отцу, на цыпочки приподнялась, поцеловала. Похвалила будто: мол, молодец, послушница!

Пьяненькая бабка за столом, как в президиуме, встала, с полной рюмкой, довольная, глазками блестя.

— Зятек! — крикнула. — Зятек! Ты пойми: жить-та трудна. Вот помру, погуляете, все ж наследство, а теперь живот подопрем!

Отец шатнулся.

— Провалитесь вы, Александра Васильевна, со своим наследством! — рявкнул.

Но бабка не осерчала, засмеялась дребезжащим смехом. Пришла к отцу целоваться. Он не отстранился, нет, ее поцеловал, тут же, правда, отвернувшись, не пол плюнул. И плюнул, и заругался отец зло, отчаянно даже как-то, будто хоть сейчас, хоть вот этим, хоть после времени и впустую, хотел бабке отомстить.

— Мама, мамаша я тебе, Петя, я не Ляксандра Васильевна, — смеялась бабка, хохотала, прямо покатывалась.

Толик глядел на бабу Шуру и все никак не мог взять в толк, чего она веселится. Хотя ведь у нее не как у всех. Она веселится, когда плакать надо.

Вон отец какой. И прямо стоит, а согнутый. Большой, а под бабкой.

Толика вдруг осенило: да нет, выходит, правильно бабка веселится. Это она победу свою над отцом празднует. Мать всегда у нее под властью была, всегда в рабынях у нее ходила, а теперь и отец.

Они вывалились в коридор шумной оравой, и Толик поддерживал отца, а за спиной смеялась бабкиным смехом подвыпившая мама, и баба Шура тоже что-то кудахтали им вслед. Толик торопился пройти коридор поскорее, чтоб никого не встретить, и радовался теперь, что у них такой темный от мутных редких лампочек коридор. Лампочки в коридоре вкручены маленькие, посмотришь на нее — волосок желтым червячком извивается. Раньше этих червячков Толик не любил, а теперь радовался. У самой двери им встретилась тетя Поля, соседка, и Толик снова обрадовался мраку: он покраснел перед тетей Полей. Пьяного отца Толик не стыдился, ему почему-то было стыдно, что за спиной смеются мама и бабка. Толик тихо поздоровался с тетей Полей, и она ответила больным голосом:

— Здравствуй, Толик.

На пороге он обернулся. Мама и бабка махали им от своих дверей, а тетя Поля, худая, как доска, стояла посреди коридора и жалостливо покачивала головой.

Дверь хлопнула, будто отпустила Толикин стыд, и они пошли по вечернему двору, холодному и тихому, вышли за ворота и сели на лавочку, смахнув снег.

Отец откинул голову, прикрыл глаза — сел человек и на минуту о чем-то призадумался.

Потом открыл глаза и посмотрел на Толика.

— Нет, — сказал вдруг отец тихо. — Нет, Толик, это не жизнь.

Он встал, протрезвев разом, будто и не пил совсем водку, легко подхватил Толика, поставил его на лавочку, так что стали они вровень, одного как бы росту.

— А я знаешь, какой жизни хочу? — сказал отец, вглядываясь в Толика. — Я хочу, понимаешь, чтоб дышалось всегда вольно, и чтоб ходилось легко, и работалось весело.

Он задумался, нахмурил лоб, будто что-то вспомнил. Потом улыбнулся.

— Вот, знаешь, летом — идешь по проселку босой, и ноги в мягкой пыли утопают. Приятно! А вокруг свет-

ло, солнечно и лес рядом — словно живой, птицы поют. И воздух такой чистый, свежий такой — так и кажется, не воздух, а ключевая вода в тебя льется. И душа у тебя свободная, вольная. Понимаешь, как я жизнь себе представляю?

Толик подумал о проселке с пыльными сугробами, представил птичий лес и чистый воздух ощутил. Как ясно сказал отец! Как хорошо! Как было бы здорово жить вот так, словно по лесной дороге идти — просторной и чистой.

Толик обнял отца за шею. Прижался к нему.

Потом отстранился и головой ему решительно кивнул.

9

Часто-часто вспоминает Толик все это.

И утихший двор, и хруст снега под ногами — будто кто яблоко громко раскусывает, и лавочку у ворот.

Напротив, в палисаднике у соседей, светились закуржавелые деревья, облепленные снежным пухом. Одинокая лампочка на столбе выхватывала из темноты ветви, похожие на белые руки, и они тянулись, тянулись к отцу, будто сто бабок зарплату от него требовали.

Но лучше всего помнит Толик, как отец, будто пушинку, подхватил его и вровень с собой на скамейку поставил. Как глаза их сравнялись. И как сказал отец Толику, словно взрослому.

— Нет, — сказал он. — Толик, это не жизнь. Не так человек жить должен...

И прежде любил Толик отца, хоть куда за ним пойти был готов, а с того вечера, когда тряхнул решительно головой, с отцом соглашаясь, как надо жить, вдруг пронзительно понял, что ведь один, совсем один отец в доме, — с того вечера стал Толик самым преданным другом отцу.

Как подползает стрелка к сроку, Толик одевается и, бабкиных разговоров не слушая, идет к заводу, навстречу отцу. Они друг друга издали узнают. Толик к отцу бежит, а отец шаги ускоряет, улыбается. Потом рядом идут, говорят о всяких пустяках или даже просто молчат, а у Толика внутри разливается какое-то тепло.

Иногда он отстает чуток и смотрит на отца сзади, на его широкую, чуть сутулую спину в грязной рабочей телогрейке, а потом, забежав вперед, украдкой взглядывает на его лицо — простое, доброе лицо, на две морщины, идущие от носа к уголкам губ, на усталые глаза, задумчивые и невеселые.

И так Толику жаль отца в эти мгновения, так щемит его сердце, так болезненно любит он этого высокого человека, удивительно близкого и родного, что щиплет у Толика в носу и хочется ему плакать.

Но Толик, конечно, не плачет, они говорят о каких-нибудь пустяках или молчат, и Толику очень хорошо живется в эти минуты. Будто идут они с отцом по жаркому летнему проселку, и воздух вокруг чист, как родниковая вода, и легко на душе, и нет никаких на свете баб Шур, никаких зарплат и никаких печалей.

Но, улыбаясь Толику, отец хмурится про себя, брови его смыкаются в прямую линию. Ни разу не сказал он Толику, отчего так хмурится, а Толик и так знает: конечно, из-за работы. Мучается отец, что ушел из конструкторского, что променял любимую работу на деньги — не устоял перед бабкой и мамой. Ведь, наверное, узел, который ему спроектировать нужно было, теперь чертит другой человек, а кто знает, может, отец сделал бы лучше и от этого заводу пользы было бы больше. А про самого отца и говорить нечего. Ему ведь такой узел впервые доверили, он сначала согласился, обрадовался, а потом будто струсил — в цех перешел.

Они идут рядом, и отец вздыхает. Толик понимает, прекрасно понимает, почему вздыхает отец. Да и дома еще такое. Один Толик у отца, мама теперь не в счет — она за бабку.

Наверное, и любит мама отца, но что толку от такой любви! Ведь вовсе не любовь это, если поразмыслить-то, а молчанье, да нет, хуже — предательство.

..Ведь как дружат люди? Если ты друг — защищай своего друга, это ясно каждому, даже вон у мальчишек такой закон. А какой же мама теперь друг отцу, если против бабки слова сказать не может, если отец никогда не защищает — только слезы из нее катятся! Наверное, и не любит она его, раз так?..

Вот и выходит — один отец. Толик, конечно, за него, но ведь ему мало одного Толика. Ему взрослый товарищ нужен. Мама ему нужна.

«Да, — думает Толик, — тяжело отцу. И что же дальше-то будет? Неужели так все и останется? Неужели победила баба Шура отца?»

А дома все по-прежнему. Бабка только день и радовалась, что отец взял да и уступил ей — в цех перешел. словно совсем не этого ждала она.

Не этого, а чего?

Они входят домой вместе — сначала отец, за ним Толик. Увидев их, бабка отворачивается, недовольная, что Толик ее не послушал, отца встречал, а мама хлопотать начинает. Отец приходит с работы голодный и грязный, и она подает тазик с теплой водой, чистое полотенце, улыбается, радуясь, что вот, слава богу, вроде налаживается все в доме. Но баба Шура молчит. Только взглянет искоса, как вода в тазике грязной становится, и скажет вдруг:

— Ну грязннши-то нанес!

Отец молчит, криво усмехается. Потом все-таки ответит, ей подражая:

— А как же, уважаемая императрица Ляксандра Васильевна, денежки даром не даются.

Бабка будто не слышит, будто это ее не касается, мимо ушей пронесло. Нечего ей ответить. Получилась ведь чего хотела. Но все равно недовольна бабка. Все носиком вострым поводит, будто приноравливается, куда еще отца клюнуть.

Но все вышло по-другому.

Совсем.

10

В тот вечер, едва Толик увидел отца, встречая его у завода, он сразу понял, что произошла какая-то важная перемена. Что-то случилось.

Отец шел размашисто, широко, и голову прямо держал, и не сутулился совсем, как обычно, а увидев Толика, ему не улыбнулся, кивнул только, как взрослому, обнял его за плечи, и они быстро пошли к дому.

У порога их встретила мама, уже с тазиком в руках. Отец быстро разделся, окунул руки в воду и стал медленно намыливать их, медленно-медленно, будто собираясь с мыслями. Толик приглядывался к нему, отчего-то волнуясь, и то, что отец, неожиданно стремительный и резкий сегодня, вдруг снова стал вялым и ти-

хим, бросилось в глаза. Толик внимательно смотрел, как отец, тщательно прополоскав руки, вытер их, потом, оставив полотенце, не спеша шагнул к столу и вдруг позвал громко и требовательно:

— Маша!

Сердце у Толика колыхнулось.

Отец стоял спиной к Толику, его лица не было видно, но по спине, сутулившейся больше, чем обычно, по тому, как решительно и тревожно позвал отец маму, Толик понял, что сейчас опять будет что-то тяжелое, и напрягся, как струна, сжался в комочек, глядя на бабу и маму.

Баба и мама смотрели на отца, и Толик хорошо видел их лица. Они походили на зеркала, в которых отражался отец. Почувствовав, как и Толик, тревогу и волнение в его голосе, баба Шура напряглась тоже, но напряжение ее было другое, не как у Толика. Она стала словно каменной, лицо ее теперь походило на маску — есть такие маски, их в Новый год напяливают, только там все маски смеются — у всех на лицах застывший смех, — а тут маска была мрачная, и еще на ней изображались независимость. Мол, чего там ни говори, а я все лучше тебя знаю. Все одно, последнее слово за мной! Мама же нет — она теперь волновалась, ее лицо вздрагивало, ждало.

— Маша, — сказал отец. — Я получил зарплату.

Он сунул руку в карман и вытащил деньги.

У Толика отлегло немного; он подумал, что отец волновался из-за этого, ведь он первый раз на новом месте зарплату получил. Дрогнула бабкина маска, расплываясь не в улыбке, а в какой-то неясной гримасе, вздохнула мама.

— Здесь, конечно, побольше, — сказал отец, — чем было раньше. Но я...

Он не договорил, будто поперхнулся. Толик видел, как сжимался и разжимался его кулак с силой и хрустом. Отец прокашлялся и начал снова.

— Но я прошу тебя, — сказал он, — распоряжаться деньгами самой.

Толик увидел, как, не успев снова стать независимой, приоткрыла рот баба Шура, как медленно побледнела мама. Да, наверное, если глядеть со стороны, и у самого Толика вытянулось от удивления лицо. Еще

бы, отец сказал такое... ну такое, прямо — революция в их семейных делах!

— Да, да, — сказал отец, переступая с ноги на ногу. — И не надо так смотреть на меня, Александра Васильевна. В конце концов, мы работаем оба... И имеем право...

Отец волновался и не договаривал слова.

Бабка, спохватившись, захлопнула рот, поджала губки и уставилась было в одну точку, но тут же раздумала и снова поглядела на отца, словно все никак поверить не могла, как это он такое сказал.

— Да и вообще, — сказал отец, неожиданно перестав волноваться. — Да и вообще, для чего же деньги зарабатывать, если их не тратить? Куда копить?

Отец, когда говорил, любил по комнате ходить, курить, гоняя за собой облака дыма, а сейчас стоял спокойно и говорил уверенно.

— Вот купим Толику какую-нибудь обнову, — говорил отец рассудительно, — тебе пора пальто справлять, у меня костюм уже пообносился. Никого не забудем! И Александру Васильевну тоже!

Отец взглянул на бабку, и Толик даже подскочил. Бабка заверещала, будто ее режут.

— Тоже? — закричала она. — Тоже? Это как же так — тоже? Да ты кто такой тут командовать? Ты у меня живешь или я у тебя, иждивенец проклятый!

Крича, бабка поднялась со стула и бегала вокруг отца, размахивая кулачками. Толик подумал, отец опять сейчас оденется, хлопнет дверью, и, когда вернется ночью, от него будет пахнуть вином. Но он не сдвинулся с места и на бабку, возле него бегающую, не взглянул, будто ее и не было.

— Ну так что, Маша? — тихо спросил он. — Долго еще это терпеть будешь? — Он кивнул на бабку, будто на самовар какой-нибудь, на неодушевленный, в общем, предмет. — Долго?

Мама, побелев как полотенце, медленно поднялась и заморгала.

— Нет, нет, Петя! — зашептала она, задыхаясь. — Я не могу...

Отец опустил голову, и Толику показалось — он опять не выдержит этого, сдастся снова, и бабка, как прежде, будет править домом — всегда и во всем. Толик напрягся весь, как бы помогая отцу не уступить,

радуясь, что он сегодня такой решительный и резкий, и отец будто слышал его.

— Нельзя, — сказал он, не обращая внимания на мамины слезы. — Нет, Маша, так больше нельзя.

Мама стояла у стола, глядя то на отца, то на бабу Шуру, растерянно мигая и потирая виски, словно у нее страшно разболелась голова. Бабка, притихшая было, блеснула глазками, повела носом, точно быстро-быстро высчитала что-то, и завизжала опять:

— Ну раз так, раз я такая-разэтакая, а вы самостоятельные, съезжайте от меня к чертям собачьим! Катитесь к лешим! Живите где хотите!

И вдруг заплакала.

Толик даже вздрогнул — никогда он не видел, чтоб бабка плакала. Он уставился на нее. Баба Шура стояла к нему лицом, вполоборота к матери и ревела в голос как белуга, и даже слезы у нее катились. Но не поверил ей Толик, не пожалел бабушку, потому что ясно видел, как, на него внимания не обращая, не таясь от Толика, бабка бросала на маму быстрые взгляды и подвывала все громче и громче, будто бы настаивая на своем.

А мама смотрела на нее, теперь уже только на нее, на свою мать, а на отца не смотрела совсем, и бабка все прибавляла и прибавляла голосу, выла уже взахлеб, и мама не вытерпела, бросилась к ней, взяла опять бабку за локоток, но бабка локоток вырвала, словно обиделась на мать, и та должна еще попросить у нее прощения и искупить свои колебания.

Отец повернулся к маме, и Толик снова увидел его глаза. Они были спокойные и решительные, как и тогда, по дороге домой; и сразу было видно, что отец все понял, хоть и не видел бабкиной симуляции. Понял, что это не правда, а спектакль.

— Ну что ж, — сказал отец маме. — Пойдем. Перебьемся как-нибудь. Глядишь, нет худа без добра, — скорей квартиру дадут. Собирайся!

— Нет! — крикнула мама. — Нет! Нет! Нет! — И слезы белыми горошинами покатались у нее по щекам.

Глаза у отца погрузнели, он опустил голову, как раньше, понурил плечи. Но только на секунду.

— Эх, Маша, Маша! — сказал он. — Видно, и не было у нас с тобой ничего хорошего, раз ты так... Пой-

дем же, перебьемся, не пропадем... Но ведь нельзя так жить! Разве это можно жизнью назвать?

Толик вспомнил, как стоял он вровень с отцом на лавочке тогда, у ворот. Вспомнил, как отца сразу понял, и взглянул на маму: поймет ли она?

Но мама будто и не слышала ничего. Она все гладила бабу Шуру, успокаивала ее. Толик посмотрел на отца. Глаза у отца блестели, и ладони он сжал в кулаки, словно хотел драться.

— Пойми, нельзя так! — крикнул он.

А бабка все выла и выла, и мама обнимала ее, гладила по плечам, будто маленькую.

— Так ты идешь? — спросил отец снова, трогая маму за плечо.

От этого прикосновения мама вздрогнула вся, и бабка, почувствовав это, вдруг вырвалась из маминых рук, подбежала к двери, распахнула ее. В коридоре были люди, шла тетя Поля со сковородкой, и баба Шура, чтоб побольше народу слышало, заверещала истошным голосом:

— А ну съезжай, аньжанер, с моей квартиры!

Глаза у нее сверкали, острый кулачок с вытянутым пальцем указывал за порог.

Отец подошел к вешалке и натянул пальто.

Толик, сидевший все это время молча, встрепнулся.

Он видел все. Все. И не только сейчас, он видел всегда и все, что было здесь, в этой комнате. Он видел все от начала и до конца. Он видел эту войну отца и бабки при маминых молчаливых слезах.

Мама всегда была бабкиной рабыней. Слепой, молчаливой.

Он думал, теперь рабом станет и отец. Он был почти уверен в этом.

И вот — нет!

Отец не стал рабом этой проклятой старухи!

Он восстал!

Он сказал то, что они оба — мама и отец — давно должны были сказать этой бабке.

Он сказал это теперь.

Он правильно сделал. И Толик, ставший его верным другом, был абсолютно согласен с отцом.

Толик встрепнулся и подошел к своей шубе.

Он не сомневался ни мгновения,

Он должен уйти с отцом.

Дверь в коридоре была распахнута, бабка стояла у порога, а отец, уже натянув пальто, доставал из комода свои рубашки и бросал их в рыжую авоську. Рубашки мялись, падали в сумку комками, но отец не замечал этого. Руки у него тряслись, он швырял рубашки со злостью, будто это они были во всем виноваты.

Мама стояла в углу, и руки у нее висели по бокам. Она походила на старуху — оглохшую и слепую. Вокруг нее что-то происходит, а она ничего не слышит, не видит, она устала уже от всего, и все ей безразлично.

Толик натянул шубу и нахлобучил шапку, поджидая, когда отец заберет рубашки.

И тут маму будто кто-то ударил. Она пошатнулась, бросилась к Толику и закричала дико, захлебываясь слезами.

— Не-ет! Не-ет!

Толик вздрогнул от этого крика, еще не понимая, что это из-за него так кричит мама.

— Я уйду с папой, — сказал он ей спокойно. — Ты оставайся, а я пойду.

В самом деле, ведь кто-то должен был идти с отцом? Но мама этого не понимала, ничего она не могла понять.

Она вцепилась в Толикину шубу и прижала его к себе. От порога, так и не закрыв дверь, к маме подбежала бабка. Теперь они вдвоем держали Толика. Он рванулся изо всех сил, но это было бесполезно, и тут только Толик по-настоящему понял, что наступил конец.

Конец всему.

Всему, всему, всему!

Толик представил себе пропасть, на краю которой он стоит. Внизу — тьма и страх, а мама и бабка толкают его туда.

В глазах у Толика поплыли круги, он рванулся и закричал что было сил, закричал, плача и вздрагивая всем телом:

— Я не хочу, не хочу с вами!

Вдруг он увидел отца. Отец стоял в дверях и смотрел на Толика. Отец шевелил губами, он что-то говорил, но Толик ничего не слышал. Он старался услышать, но уши заложило, и Толик ничего не слышал. Отец сказал что-то и кивнул Толику.

Потом прикрыл дверь, и его не стало.

Толик рванулся снова — отчаянно и сильно. Опере-

жая его, баба Шура подбежала к двери и повернула ключ, пряча его в карман.

— Гадина! — крикнул Толик. — Гадина! Гадина! Гадина!..

И бросился на бабу с кулаками, но мама так сжала его, что у Толика перехватило дыхание.

11

Будто сумерки в Толикиной жизни настали. Где-то там, над головой, солнце ярко светит, синее небо плещется, словно река, а Толик ничего не видит — все вокруг кажется ему серым, плоским, каким-то туманным.

Весь вечер он тогда дома бился, хотел побежать вслед за отцом, хотел догнать его и, крепко взяв за руку, уйти вместе с ним, но мама и бабка не выпустили его. Заперли дверь на ключ и сами с ним взаперти сидели. Но смешно — разве удержишь человека, если он решил уйти?

Утром Толик отправился не в школу, а к заводу, искать отца.

На улице было тихо-тихо. Солнце медленно выкатывалось из-за домов, розовел снег от его лучей, скрипел под ногами, и Толику казалось, что он идет по сыпкому киселю, в магазинах такой продают — лизни, и будет сладко. Чем ближе подходил Толик к заводу, тем больше становилось людей на улице. Взрослые шли, весело между собой переговариваясь, и Толик торопился, попевая за ними. Перед проходной он попал в густой водоворот, пошел назад, против течения, на него натыкались, его обходили, поругиваясь беззлобно. Наконец Толик выбрался, перешел на противоположную сторону улицы и забрался на невысокую тумбу с чашей, где летом росли цветы, чтоб лучше было видно отца в этом водовороте.

Он стоял в чаше, постукивая валенками, стараясь согреться, и все никак не мог надивиться, сколько, оказывается, людей по утрам идет на завод. И ведь все заняты, никто не болтается без дела, стоят у станков или чертят в конструкторском бюро, как отец раньше. «Если бы дать людям флаги, — подумал Толик, — получилась бы целая демонстрация». А демонстрация все шла и шла, и у Толика вдруг поползли по коже мурашки — он отчетливо услышал, как люди шагают в ногу,

и хотя земля была покрыта снегом и она никак не могла гудеть у них под ногами — ему показалось, что земля под ногами у этой толпы, у этой демонстрации гулко ухает и гудит.

Люди шли перед Толиком чужие, незнакомые, но он не чувствовал себя среди них посторонним. И то, что он стоял тут, над толпой, в этой странной чаше, никого не удивляло, будто все считали, что здесь есть отчего торчать мальчишкам, есть на что глядеть и чему удивляться.

Неожиданно — Толик даже и не заметил, как это произошло, — толпа исчезла. Только что казалось, ей нет конца, и вот вдруг она исчезла, скрылась в беззубой пасти проходной. Пробежали еще несколько человек — верно, опаздывавших, — и на улице стало тихо, пустынно. Толик почувствовал себя неуютно на вазе, где летом росли цветы, и спрыгнул вниз.

Отца не было. Может быть, Толик не увидел его в толпе? Но ведь он был на высоком месте, и отец должен был заметить его и подойти.

Опустив плечи и разом став похожим на отца, Толик побрел от завода. Теперь надо было провести где-то день, чтобы вечером снова прийти сюда. Прийти и все-таки встретить отца.

Толик припомнил вчерашнее. Уходя, отец пошевелил губами, он что-то сказал. Толик был уверен, что он сказал это ему, Толику, но вот что, что он сказал?.. Может быть, отец говорил, что ждет его, как и обычно, вечером, у завода? А может быть, он сказал, что сам найдет его?

Толик подумал, что походит на человека, который заблудился в лесу. Нет, не заблудился — он знает, как вернуться назад, но возвращаться нельзя, никак нельзя, ни за что нельзя, и он бредет вперед, зная лишь одно: где-то его ждут.

Но где?

Толик брел, опустив голову, задумавшись, и не сразу услышал, как его окликнули. Он обернулся и увидел отца.

Вначале Толик не поверил себе. Он стоял мгновение, не понимая ничего, не веря, что нашел, нашел все-таки отца, а потом ринулся, бросив портфель, навстречу высокому человеку с родными глазами, с родным лицом и ткнулся носом в отцовское пальто. От отца пахло ка-

ким-то маслом, железом и еще чем-то заводским, и Толику до нестерпения захотелось бросить все сейчас и пойти с отцом на завод, туда, где работает огромная людская толпа, целая демонстрация.

Толик поднял голову и взгляделся в отцовское лицо — посеревшее, с тяжелыми синими кругами ниже глаз.

— Папа! — сказал Толик. — Я не хочу там! Я хочу с тобой!

В горле у него застыл комок, защекотало в носу. Отец положил ему руку на плечо. Рука была тяжелая, словно камень.

— Ну, ну! — сказал он. — Держи хвост морковкой! — Но больше бодриться не стал, сказал правду. — Понимаешь, — сказал он задумчиво, — куда же я тебя возьму? Нет, ты только не сердись, я хочу, чтобы мы с тобой были вместе, но я, понимаешь, нынче ночевал на вокзале... Сегодня устроюсь у товарищей и поскорей попрошусь в командировку. Потом надо будет подумать с общежитием... Как же я возьму тебя?..

Толику больше не хотелось плакать. Он смотрел на отца и понимал его, вполне понимал, потому что отец говорил с ним, как тогда, на скамейке, — лицом к лицу, как с равным.

— Ты не сердись, — сказал отец. — Такая уж жизнь, что делать? Попрошу, чтоб мне скорей дали комнату, и заберу тебя. Будем жить по-холостячки. Согласен?

— Да, — ответил Толик и добавил, подумав: — Может быть, хоть тогда мама поймет...

Отец повернул Толика к себе и пристально взгляделся в него, будто видел первый раз.

— Ого, — сказал он, удивляясь, — да ты у меня совсем взрослый человек.

Толик улыбнулся ему, они пошли к проходной.

— Ты опоздал? — спросил Толик.

— Да и ты тоже, — ответил ему отец, хмурясь. — А опаздывать нельзя. Никому. Ни мне, ни тебе. Иди в школу. Если не уеду, в это воскресенье, в десять часов, жди меня... ну, например, у кино. Если не приду — жди через неделю.

Он наклонился к Толику и обнял его.

— Хвост морковкой! — шепнул он.

Толик остался, а отец пошел в проходную, и тут То-

лик увидел, что в одной руке у него авоська с рубашками, которую он взял вчера.

Возвращаясь к школе, Толик представил себе воскресенье и маленький кинотеатр возле их дома, куда они ходили раньше все вместе — мама, отец и он. Кинотеатр назывался «Огонек», и в нем показывали смешные детские фильмы. Толик представил, как они вдвоем с отцом смотрят картину с пляшущими человечками, и улыбнулся.

12

Как мало — один день! Всего один! И как много! Целый день!.. Сколько может случиться всякого за один день — и веселого, доброго, и злого, да еще такого, что всю жизнь тебе перевернет.

Но как может узнать человек о том, что с ним за день случится? Да еще пятиклассник какой-то, у которого и еда его, и уроки, и одежда, и вся его жизнь зависят от других, от взрослых людей. Что он может знать наперед и что ему ждать от этих взрослых?

Целый день Толик был в смятении, не умел разобраться сам в себе, то радуясь, что увидел отца и поговорил с ним, то давясь от слез, которые туманили глаза и мешали смотреть. Снова и снова вспомнил он вчерашний ужасный вечер, зная, что случилось непоправимое, и никак не веря, что всему настал конец и что отец не вернется.

После школы он не пошел домой, а побрел по городу, сторонясь шумных улиц.

Старые деревянные дома в тихих переулках вглядывались подслеповатыми окнами в мальчишку, идущего мимо них, а Толик вглядывался в дома, в морщинистые и мудрые лица, так непохожие на бездушные и плоские физиономии их каменных родственников. Толик подумал, что деревянные дома похожи на добрых стариков, которые потому и добры, что старики. За свою жизнь они немало всего насмотрелись, наверное, и доброго и плохого, научились не обижаться и разучились радоваться, но остались добрыми и поэтому все-все понимают. Ах, если бы все старики были такими!

Улочка, по которой шел Толик, то горбатилась, спускаясь вниз ступеньками, вырубленными в снегу, то поворачивала вбок, блестя на солнце голубыми глазами

домов, то проваливалась в ложок, и тогда тени от крутых берегов синили снег краской, похожей на вечернее небо.

Толик добрел до конца улочки, уткнулся в пустырь и пошел обратно, переходя незнакомыми переулками, будто бред по лабиринту, напечатанному в «Мурзилке», — только там все просто, сразу весь лабиринт видно, а тут не видно ничего — лишь дорога перед тобой. Он упирался в заборы, возникающие неожиданно, шел, пока воздух не стал густым и темным. Вспыхнули лампочки на улицах, будто загорелись гирлянды на елке, снег заискрился желтым светом, и Толик вышел на свою улицу, словно кубиками, уставленную многоглазыми коробками из серого кирпича.

Дома было тихо, и мама сидела возле бабки, как вчера. Будто время назад повернулось и сегодня — это не сегодня вовсе, а день уже прожитый, прошлый.

У дверей на табуретке стоял тазик, в котором мыл руки. Сейчас тазик был пуст, но рядом лежало полотенце, и на плитке отфыркивался чайник. «Ждут, — подумал Толик, — ждут, что вернется». Он криво усмехнулся, радуясь за отца. «Теперь его никто уже не пилит», — подумал он, но легче от этого не стало. Толик представил отца спящим на твердой вокзальной лавке, а вместо подушки под головой у него авоська с рубашками, и слезы снова подкатили к глазам. — Все, все, конец! Пропади она пропадом, эта бабка, эта баба Шура проклятая!»

Толик медленно разделся, думая об отце, а бабка и мама внимательно глядели на него, будто знали что-то такое о нем нехорошее. Как-то пристально они глядели, словно вглядывались в него, внутрь заглянуть хотели, словно рентгены какие...

Толик разделся, сел за стол, вытащил тетрадки, а баба Шура нехотя встала, все так же зорко на Толика глядя, потом в угол пошла. Как на Толика — тоже пристально, — на бога своего посмотрела, встала на колени, ими пристукнув, голову опустила, зашевелила губами — покорная вся такая, послушная своим иконам. Потом закрестилась часто-часто, завсхлипывала, закланялась.

Толик старался не смотреть на бабку, глядел в задачник, пробуя сосредоточиться, а мама обернулась к бабке, и лицо у нее было жалкое, униженное.

— Мама, — сказала она вдруг, — мама, лучше помолитесь, чтоб вернулся... Может, поможет?..

Теперь же Толик смотрел, смотрел на просящее, белое лицо мамы, слушал, как повторяет она: «Может, поможет?..», соображая, про что это она бабушку помолиться просит, и вдруг увидел, как бабушка повернула к маме вздернутый свой нос и как с коленок резво вскочила.

— Кому молиться-то? — крикнула бабушка и повтори-
ла, чтоб получше ее слышали: — Кому молиться-то? Ему?

Рукой в бога ткнула, который на иконе нарисован, будто никак понять не могла, удивляясь будто — уж и вправду, не богу ли мама ей советует помолиться.

— Ему?! — крикнула. — Ему?! — И со смеху за-
тряслась. — Да он деревянной. Не слышит он, нарисо-
ванной!

Толик подумал, бабушка рехнулась, кто его знает, может, вот так и сходят с ума. Только что покорно головой перед иконой кивала, шевелила губами, шептала молитву, крестилась тремя пальцами — и вдруг такое про своего же бога выкрикивает.

А бабушка по комнате пробежалась, будто разгон на-
бирая, и снова крикнула.

— Нет, — крикнула, — ему я молиться не стану! Я другому богу помолюсь! Который слышит! Который по земле ходит! Партийному я богу помолюсь, чтоб навел порядок среди своего большевика! А то ходят тут безоштаные, женятся, детей рожают, а потом семьи бросают. И коммунисты еще!..

«Вот тебе и с ума сошла! — подумал Толик, снова ему тяжело стало, душно. — Вот она как, значит, в бога-то своего верила, крестилась усердно. Враки, значит, все это были, враки. Представление одно. Везде представление...»

Толик вспомнил — игрушка у него была, перевертыш. В желобке таком куколка катается с шариком внутри. Желобок наклонишь, шарик в куколке покатится, и она только упадет — сразу поднимается и снова улыбается, потому что у куколки две головы, два лица. Перевернется куколка — и снова стоит, перевернется — и стоит. Перевертыш.

Вспомнил Толик эту игру и куколку с бабушкой Шурой

сравнил. Перевертыш бабка. Перевернется — и как ни в чем не бывало.

Только что богу молилась, вид делала, будто верит в него, а теперь перевернулась и вон как говорит! И хоть бы что ей! Ни стыда, ни смущенья в ней ни вот столечко, будто ничего не случилось, будто не обругала она только что своего бога.

Вдруг Толик возле себя бабку увидел. Снова пристальные ее глазки, просверливающие насквозь, в него уперлись. Тетрадку в клеточку бабка ему протягивает. Улыбается каменной улыбкой. Губами от удовольствия чмокает.

Толик не понял, чего это бабка от него хочет, взглянул на маму. Мама, все бледная, ему головой кивнула: мол, да, мол, так и надо.

— Возьми-ка ручку-то, обмакни в чернила, — поет бабка и гладит Толика по голове липкой ладонью.

Опять, значит, гадость будет, так и жди. Но обмакнул Толик ручку, писать приготовился.

Подперла бабка кулачком щеку, проговорила не торопясь, диктуя:

— Товарищи партийной комитет! К вам обращается сын коммуниста Боброва, который бросил свою семью и меня...

Толик ручку выронил, встал.

— Пиши, пиши, — сказала ему бабка и кивнула.

И мама тоже кивнула, соглашаясь с бабкой.

Толик шагнул от стола к вешалке, стал шубу с крючка стягивать и услышал, как замок в двери щелкнул. Поднял голову, увидел бабку с ремнем в руках.

Потом бабка расплылась, будто в тумане, и сквозь слезы, изо всех сил сдерживаясь, чтоб не зареветь, Толик сказал:

— Не буду!.. Ни за что не буду!..

Бабка шагнула к Толику и хлестнула его ремнем по спине. Толик онемел и стоял минуту, открыв рот, все соображая, что же случилось. Потом, собравшись пружиной, кинулся к столу. Он схватил, как гранату, бутылочку чернил и, ожесточась, швырнул ее. Швырнул ее в бабкин угол, в бабкины иконы. Бутылочка грохнула, разрываясь, и чернила синим киселем поплыли по стене. Не попал Толик в икону.

И тогда бабка хлестнула его ремнем по лицу. Щека у Толика сразу будто отнялась. Больно не было, нет, просто Толик не чувствовал теперь своего лица — оно стало твердым, деревянным будто и жарким, — и он засмеялся. Толик смеялся, а бабка била и била его, ожесточась, сжав губы в тонкую синюю полоску.

Толик все смеялся, и вдруг он увидел мамино лицо.

Она стояла перед ним, и у нее не было ремня.

— Пиши! — сказала она ему, и лицо у мамы походило на бабкино. — Пиши, сынок, пиши!

— Предательница! — прошептал Толик, и бабка снова ударила его.

Молнии сверкали в комнате — они слепили Толика, они шатали его, и уже звенело в ушах, будто лопались какие-то струны.

Толик снова увидел мамино лицо. Он обрадовался было — ну не может, не может же мама вот так стоять и глядеть, как бьет его бабка!

И, шатаясь от слепящих ударов, Толик спросил — не крикнул, нет, а спросил негромко и вопросительно: — Мама? Мама?..

— Пиши! — сказала мама. — Так надо!

Все оборвалось в Толике. Пустота. Одна пустота и звон, нарастающий, гудящий звон...

Словно в тумане, медленно шевеля ватными ногами, он приблизился к качающемуся столу и, не помня ничего, взял ручку.

— Ну, — сказала бабка, — пиши! — И голос у нее был ласковый, будто ничего и не было, будто просто уговаривала она Толика.

Он подвинул тетрадку и вывел слова, которые прокрипела бабка: «Товарищи партийный комитет... к вам обращается сын коммуниста Боброва, который бросил свою семью и меня... Верните мне, товарищи партийный комитет, моего папу...»

Он пишет с ошибками и уронил уже в тетрадь не одну тяжелую кляксу... Но ни мама, ни бабка не ругают его, а гладят по голове, но Толику все равно, что они там делают.

Они дают ему рюмочку с желтоватой водичкой, и Толик пьет ее, с трудом разбирая терпкий запах валерьянки.

Он пьет ее, потом ест какую-то еду, и ему все равно теперь что делать. Все равно...

Ему все равно, что бабка, заклеив в конверт письмо, одевается и идет на улицу, к почтовому ящику...

Он остается один с мамой, и она смотрит на Толика большими глазами. Но он не видит этого.

Ему все равно...

13

Всю ночь под воскресенье шел снег, и Толик, проснувшись рано, когда за окном еще густо синел ранний рассвет, подошел к окну и долго смотрел на медленно падающие хлопья.

Он сидел на подоконнике совсем продрогший, пока дальние дома не очертили треугольники своих крыш, и тогда оделся, словно в полусне. Поднялись мама с бабушкой, задвигали молча кастрюлями.

Толик слушал эти звуки, глядя на новые сугробы за окном, и снег гипнотизировал его.

С тех пор как случилось все это, с тех пор, как избитый, с гудящей головой, он написал дрожащими буквами несколько строк, все в нем замерло. Будто умер тот, бывший Толик, тот Толик, который страдал за отца, ненавидел бабушку и воевал с ней. Тот Толик, который гонял шайбу в танкистском шлеме.

Тот Толик умер — и родился другой. С пустой, будто ватной, душой. С пустотой вместо сердца. И ему теперь все равно, что вокруг. Потому что он сам — ничто. Нуль. Пустое место, как думал он когда-то про бабушку.

Да, тот Толик умер, а этот смотрит мертвыми глазами на снег, который идет за окном.

Потом натягивает валенки и старую шубу. Надо пить чай, и мама говорит ему об этом, но он не слушает ее и идет на улицу. Мама не кричит, не плачет; она смотрит на Толика большими глазами, молчит, а он идет куда-то со двора, сам не зная. Он любит теперь ходить просто так.

Иди себе и иди. И ни о чем не думай. Слушай, как хрустит снег под ногами. А не хочешь, не слушай. Только шевели ногами. Ногами шевелить можно и не думая.

Он идет и идет с улицы на улицу. Он идет и идет, просто так идет, будто бы не зная куда, но приходит к кинотеатру.

Он не прячется, нет, — он становится на другой сто-

роне, навалившись на летний киоск, где торгуют водой, и стоят.

Толик видит отца. Видит, как прохаживается отец у кинотеатра и поглядывает на часы, и смотрит по сторонам, но не смотрит на заколоченный киоск, который стоит напротив кинотеатра.

Толик глядит на отца, и сердце у него не сжимается и не бьется больно. Потому что сердца у него теперь нет. И комок не подползает к горлу. Потому что там, внутри, — вата.

Толик смотрит на отца пустыми глазами, смотрит долго, не моргая, а потом поворачивает назад.

Он идет неизвестно куда, а снег все валит и валит, будто зима торопится все свои лари, все сундуки от снега к весне освободить.

А Толик бредет по улице, плетется по переулкам, выбирается из лабиринтов, как может.

Вернется Толик поздно, когда снова засинеет улица, когда опять зажгутся огни.

Мама выставит тарелку вкусной картошки, но он лишь поковыряет вилкой и ляжет спать.

Он теперь не засыпает.

Он будто проваливается в тартарары и, проваливаясь, вспоминает, как видел он недавно сон про разноцветную тварь, которая душила его в химическом кабинете.

Вспоминает, как бабка сон этот объяснила.

Хвалит бабку, сжав губы: «Молодец, пророчица, все правильно предсказала!»

Часть вторая

ТИХИЙ ОМУТ

1

Позорная жизнь теперь у Толика. Заячья жизнь. Целый день он сидит дома. Уроки выучит и глядит во двор, боится на улицу выйти. Уж не помнит, когда клюшку брал в руки, забыл, куда сунул танкистский шлем.

А если вышел из дому, теперь одна у него дорога, всего одна — в школу да из школы, напрямиком. Всего

три квартала ходу-то, и раньше Толик этот путь просто не замечал. Только хлопнула школьная дверь за спиной, а он уже у своих ворот. И в школу так же.

Теперь по-другому. Теперь с крыльца он сходит озираясь, будто какой-нибудь жулик. Прежде чем за угол завернуть, выглянет осторожно, внимательно посмотрит на людей: кто идет. И если что покажется не так, соберется весь в пружину — и бегом. Или еще научился: зайдет за спину к взрослому и идет вслед за ним, будто тень, и его из-за взрослого не видно.

Придет Толик домой, вот так, таясь, бросит сумку возле порога и долго сидит на диване, понурясь, шапку не сняв. Ждет, когда сердце колотиться перестанет и пальцы не будут дрожать.

Вот такая жизнь...

Давно ли бегал Толик отца встречать после работы, ждал его, искал в людской толпе по знакомой походке, по плечам, опущенным устало, ждал и беззаветно любил, а сейчас, сейчас?..

Сейчас между ними пропасть. Никак через нее не перепрыгнешь.

Толик сидит у окна, и страшные картины представляются ему. Вот почтальон приносит письмо в партийный комитет. Вот читает его какой-то строгий человек, похожий на директора школы, и велит позвать отца. Вот приходит отец и стоит перед строгим человеком, опустив голову, чтобы не было видно, как он покраснел. Вот строгий человек стучит кулаком на отца и, может быть, даже грозит исключить его с завода...

Остальное Толик представлял смутно. Это ведь из школы могут исключить, а на заводе, наверное, не так, и этот строгий человек вряд ли будет стучать кулаком — разве можно стучать на отца? В общем, все это ерунда, как там будет, самое страшное — отцу не поверят.

Если бы письмо прислала бабка или мама, на худой конец. Взрослый пишет про взрослого, а тут сын жалуется на отца. Такого, наверно, еще не бывало. Такого вообще не может быть.

Сам не раз сводил Толик счеты с разными своими врагами и знал, что в этом деле можно честно стукнуть в нос. Или обозвать обидным словом. Но честно, прямо в глаза, один на один. И никогда он не думал, что есть

на белом свете сила пострашней кулаков и обид. Что есть такая гнусная сила — клевета.

От тяжких мыслей к горлу подкатывал комок и в глазах все туманилось от набегавших слез. Толик моргал часто-часто, и слезы постепенно пропадали. Голова кружилась, его подташнивало, хотелось выйти на улицу, вздохнуть глубоко, чтоб набрать в себя побольше свежего, чистого воздуха, чтоб убрался из горла тяжелый комок и стало легче дышать, но он сидел по-прежнему у окна, уставясь в забор.

Иногда что-то находило на Толика, и он ругал себя последними словами. Ему казалось, что все это ерунда, все эти мучившие его мысли, что ему просто надо немедленно увидеть отца. Побежать на улицу, к заводской проходной, дожидаться его, а потом, схватив за рукав, рассказать все, как было, все, как есть...

Толик вскакивал, одевался второпях, выбегал в полуместный коридор, освещенный мутной лампочкой, и словно спотыкался.

Сказать все, как есть?.. А что сказать? Сказать, что это все бабка и мама? Что это они во всем виноваты, а он тут при чем?..

Ни при чем? А кто писал письмо? Разве не он?

«Как же, — спросит отец, — так случилось? Ты писал — и ты не виноват?»

Действительно, что тут ответишь? Мол, струсил? Дескать, не выдержал, когда били, и предал? Но ведь предал! Все предал, что ни говори!

Он вспоминал, как писал под бабкину диктовку. Вспоминал этот мятый листок из тетради в клеточку, и ему снова было душно. Толику вдруг чудилось, что его руки пахнут, нестерпимо пахнут гадостью, и тогда он шел к умывальнику и долго мылил их.

Потом он снова слонялся по комнате, натываясь на стулья, садился к окну, глядел во двор до синих сумерек, а утром перебегал от угла к углу и озирался, как вор, боясь встретить отца.

2

Несчастья по одному не случаются.

Есть даже поговорка про это: пришла беда — отворяй ворота, Толик слышал где-то.

Но одно дело слышать, другое — самому узнать...

Всегда ведь, когда говорят что-нибудь, думаешь: это не про меня, это про другого кого-то... А потом все случается, приходят эти напасти-несчастья одно за другим, одно другого хуже, и ты думаешь, что тут что-то не так... Что эти несчастья одно на другое так просто не сваливаются. Что кто-нибудь это тебе нарочно подстраивает. Кто?.. Ну... неизвестно. Кто-то такой, кому вообще все видно.

Может, бог?

Толик настороженно поглядывал в бабкин угол, долго думал, потом чертыхался. Нет, не может быть.

Как это, бог и Женька с Цыпой? Бог и Коля Суворов? Или Машка Иванова? Бог и Изольда Павловна, например? При чем тут бог? Просто не повезло пятому «А», и бог тут ни при чем.

Четыре года проучила ребят старая их учительница Анна Ивановна — добрая, приветливая. Когда в пионеры принимали, Анна Ивановна сама ребятам поручительство дала — вот как во всех до единого уверена была! Ну а на пятый год будто с обрыва в реку ребят бросили. На самую глубину. Плывите дальше! Вместо одной учительницы, которая и арифметике, и русскому, и родной речи учила, много теперь учителей. И главная среди всех — «русалка», Изольда Павловна.

Изольда Павловна, как и имя ее, такая же гладкая. Волосы у нее с рыжиной, а на носу пенсне — такие очки без дужек.

Папа говорил Толику, что пенсне больше в старое время носили, до революции например. Сейчас редко. А почему? Потому, наверное, что в автобусе с этими пенсне не потолкаешься и в магазине тоже. Слетят и — хруп! — в толкучке, вот тебе и все!

А раньше народу, что ли, меньше было? В общем, вот как-то так. Точно, одним словом не доказано, почему раньше больше пенсне носили, а теперь удобней очки. Но Изольда Павловна носит пенсне. Как Чехов. Толик Чехова хорошо знает, его портрет в школьном коридоре висит. И «Каштанку» он читал. Но у Чехова глаза добрые и внимательные, а Изольда Павловна, когда в класс входит, ни на кого даже не смотрит. Идет себе к учительскому столу, глядит в окно, потом портфельчик свой бросит и не на класс посмотрит, не на ребят, а куда-то над ними. Еще Изольда Павловна любит стоять у окна, чтобы ее лица против света не вид-

но было. А еще умеет как-то так сидеть, что стеклышки у пенсне от света отражаются и глаз у Изольды Павловны не видно. Два блестящих стеклянных кругляша только.

За это Толик Изольду Павловну боится. И ничего такого Изольда Павловна ему не сделала, но Толику кажется, что все еще впереди. Все еще может случиться, потому что прячет глаза Изольда Павловна, потому что не глядит на класс.

Боится Толик Изольду Павловну и знает, что все ребята тоже боятся. Мальчишки ее сторонятся, а девочки перед ней лебезят: «Изольда Павловна!», «Изольда Павловна!» Заискивают, в рот ей глядят, улыбаются. Такая уж натура девчоночья.

И еще одно. Про Изольду Павловну в классе не говорят ни хорошо, ни плохо. Если кто «пару» получил и злится, недоволен, лучше помолчи. Потому что Толикиному классу дважды не повезло: у них Женька учится.

А Женька — дочка Изольды Павловны. А Изольда Павловна — их классная руководительница.

Правда, ни в чем таком Женька пока не замечена. Училась она хорошо. В классе были круглые пятерочки — Коля Суворов, например. А Женька, как бы хорошо своей матери ни отвечала, та всегда ей только четверки ставила. Лучше других отвечала Женька, а Изольда Павловна все равно четверки ей ставила — ну не обидно ли!

Женька со своими четверками шла к парте спокойно, только чуть губы поджав, а в перемену объясняла Цыпе, что мать ей четверки принципиально ставит. Что другая бы учительница ей только пятерки ставила.

Цыпа кивал головой, предпочитая с Женькой не ссориться, а Толик хмыкал про себя. Ему казалось, Женька про эту принципиальность нарочно говорит, чтоб в классе больше ее мать уважали.

Тут же он останавливал, упрекал себя. Ведь это хорошо, что учительница свою дочку строже, чем других, спрашивает! Так и надо!

Но уж что-то слишком старалась Изольда Павловна, спрашивая свою Женьку, и слишком громко говорила Женька о принципиальности. Нет, не нравилось это Толику, хоть убей! Вообще ему Женькины разговоры не нравились.

Она всегда себя так вела, будто ей известно про

каждого в классе такое, что никто не знает. Будто все у нее на ладонке. И если на перемене заходил какой-нибудь спор, Женька всегда последней высказывалась. И все — а особенно девчонки — ждали, что она скажет. Будто не Женька это говорила, а Изольда Павловна. И говорила-то Женька, как мать. Так говорила, будто к этому и прибавить нечего. Будто Женькино мнение окончательное и спорить тут больше не о чем.

Хуже того, эти Женькины высказывания всегда означали неприятности для того, о ком она говорила.

Первым был Цыпа. В каждом классе, наверное, есть разгильдяй и лодырь, так вот Цыпа был разгильдяем пятого «А». Лучшим и крупнейшим сачком и лентом.

— Ах этот Цыпленков! — сказала однажды на перемене учительница Женька, пренебрежительно морща нос. — Да он законченный негодяй!

Цыпа в эту минуту мирно целился в доску мокрой тряпкой. Услышав Женькино высказывание, он сразу свял, кончики губ у него опустились вниз, а глаза, только что походившие на автомобильные фары, разом потухли.

И действительно, прогуляв однажды, сбегав, иначе сказать, в кино во время уроков, Цыпа впал в немилость у Изольды Павловны, и все наглядно убедились, какова их новая учительница.

Ее воспитание походило на старинную мельницу в Древнем Риме, где зерна растирают два плотно пригнанных друг к другу каменных жернова, — есть в учебнике истории такая картинка. Изольда Павловна кинула Цыпу в мельницу и растерла его в порошок.

Это было не так сложно. Учительница велела развернуть первую парту лицом к классу, пересадила за нее Цыпу и спрашивала его на каждом уроке целый месяц кряду. Цыпа изменился на глазах, но что с ним, беднягой, стало! Стоило на переменке, когда Цыпа бегал в поте лица или боролся с кем-нибудь, крикнуть громко: «Цыпленков!» — как Цыпа крупно вздрагивал, вытягивался в струнку и бледнел.

Он, наверное, был готов теперь сделать для Изольды Павловны что угодно. Броситься в ледяную воду, прыгнуть с небоскреба, потушить пожар. И этот зигзаг в Цыпиной судьбе предсказала Женька.

Раньше, при старой учительнице, Толик и Цыпа

вроде даже дружили, играли в шайбу на отцовской площадке, и Толик давал Цыпе свой шлем.

Потом Толик ходил к Цыпе на именины и здорово краснел тогда. Все принесли Цыпе подарки — у него два деда были и две бабки, да еще другие гости, и мать, и отец полковник, — а Толик явился с пустыми руками.

Толику было стыдно, он повертелся для приличия, а потом тихо исчез. Толик ждал, Цыпа спросит на другой день, почему он ушел, но тот ничего не спросил, словно и не заметил Толикиного исчезновения.

А разругались они очень просто. Играли в шайбу, и Толик Цыпе забросил гол. Тот заорал, что неправильно, хогя все ребята говорили, что все было законно.

— Ну и что, — крикнул тогда Цыпа, — что не было? Я гол не считаю.

— Как это? — удивился Толик.

— А так это! — злился Цыпа.

— Ну почему?

— Потому! — Он помолчал и спросил вдруг самоуверенно: — У тебя отец кто?

Толик не понял.

— Ну, военное звание у него есть?

— Сержант, — ответил Толик, ничего не подозревая.

— Твой отец сержант, а мой полковник. Вот потому.

Толик ни звука тогда не сказал. Снял с Цыпы свой шлем и ушел домой.

Кончилась их дружба.

Толик об этом не жалел, но не раз сочувствовал Цыпе, когда его перевоспитывала Изольда Павловна, когда он вздрагивал и бледнел, если окликали, когда потел и мучился, отвечая на каждом уроке.

А Женька не переставала предсказывать.

— Иванова? — удивлялась она на переменке. — Маша? Да ей никогда не стать отличницей.

И как ни старалась Маша, она еле плелась среди ударниц.

— Что-то подозрительно тихий ты, Бобров, — обращалась к Толику Женька, и Толик старался на переменках кричать погромче, чтоб не накликать беду.

Толик слушал Женькины заключения, вспоминая бабуку, — как говорит она и как говорит потом мама, повторяя ее слова, только чуть по-другому, и ему каза-

лось, что Женька придумывает все это не сама. Что не ее это слова...

Изольды Павловны?.. Нет, Толик не знал этого. Да и как узнаешь? Никак. Не было еще ни разу, чтоб Женька подтвердила это. Толик мог лишь думать, лишь предполагать. И все остальные в классе могли лишь думать.

А пока все слушали внимательно Изольду Павловну, все четко хлопали крышками, когда она входила в класс, глядя над головами учеников, все трепетали перед Изольдой Павловной, все хотели хорошо знать русский язык и литературу и не вызывать гнева классной руководительницы.

Все ждали чего-то, хотя никто не знал — чего.

Ждал и Толик, внимательно прислушиваясь к заключениям Женьки.

Ждал и боялся Изольды Павловны.

И вот однажды, вскоре после того, как отец ушел из дому, Изольда Павловна, гладкая, в зеленом платье с кружевным воротником, вошла в класс и, не глядя ни на кого, сказала, что скоро к ним придут практиканты из педагогического института и что она строго-настрого предупреждает об этом всех своих учеников.

3

Толик словно метнул гранату.

Кинул ее и упал на землю, вжался в нее, закрыл глаза, ожидая, когда раздастся грохот. Но взрыва не было, и он приподнял голову, может, граната холостой оказалась, слава богу? Может, проклятое письмо потерялось где-нибудь на почте, бывает же, в конце концов? Или прочитали его в партийном комитете и порвали — что за ерунда, подумали, мы коммуниста Боброва знаем, он не такой.

Правда, могло быть и по-другому. Ведь отец говорил, что собирается в командировку. Не зря же его не видно. Ведь если бы он был в городе, а на заводе получили письмо, отец давно бы уже разыскал Толика, как от него ни прячясь.

А может, совсем и не так? Отец прочитал письмо и знать теперь не хочет своего сына за такое предательство?

«Конечно! Так оно и есть!» — страдал Толик, но в глубине души верил и надеялся, что письмо все-таки

пропало. Тысячи, наверное, даже миллионы, писем раскладывают каждый день на почте, — ну может же, может хоть одно потеряться!

Толик все думал и думал о письме, тяготясь своей виной. Черные полукружья прорисовались под глазами. Он мало ел, и от этого ввалились щеки. Мама велела сходить ему в парикмахерскую, но он не мог: он боялся туда пойти, чтобы не встретить отца, — и здорово оброс, так оброс, что, если сунуть пальцы за загривок, можно найти там косицу, которая заезжает за воротник. Жизнь будто остановилась, и Толик словно замерз живьем, как замерзали в доисторические времена древние мамонты. Он сидел, задумавшись, возле окна или брал книгу и часами, не видя строчек, глядел на одну страницу.

Баба Шура сперва ходила по комнате, словно сонная муха, не обращая внимания на Толика и на маму. Мама же вела себя странно — она то плакала, то вдруг уходила из дому. Из окна Толик видел, как мама, вернувшись откуда-то, топталась возле крыльца, словно не решаясь войти, потом поворачивалась, и уходила, и снова возвращалась, будто спорила сама с собой: и надо домой вернуться, и не хочется.

Но время шло, отец не появлялся — не помогло, значит, письмо, — и бабка очнулась. Теперь у них с мамой завелась какая-то тайна, и, входя в комнату из коридора, Толик не раз видел, что они умолкали на полуслове — точь-в-точь как отец с мамой тогда. Только бабка злилась, это сразу было заметно. Она сидела покрасневшая, глазки у нее сужались и прокалывали насквозь стол. Мама же плакала опять, сморкалась, вскакивала, ходила торопливо по комнате. Странно — значит, они не могли договориться. Удивительно просто — бабка не могла уговорить маму. Что-то неладное, непохожее на них обеих.

Однажды вечером, когда Толик сидел у окна, баба Шура засобиралась в магазин. Толик смотрел, как отражается бабка в потемневшем стекле, как копошится, застегивает свою шубу на все крючки. Он смотрел на нее просто так, без всякого интереса — и вдруг настояжился: выходя в коридор, бабка сердито ткнула маму кулачком в бок.

Дверь хлопнула. Толик удивленно обернулся к маме и увидел, как у нее трясутся губы. Толик подумал, ма-

ма плачет оттого, что ее ткнула своим острым кулачком бабка, — он по себе знал, как это больно, но мама вдруг подбежала к Толику и упала перед ним на колени.

— Толик, — торопливо проговорила она, — сынок! — И слезы градом покатились из ее глаз.

— Ты что, мама, ты что? — крикнул Толик и попробовал было вскочить на ноги, но мама удержала его. Она прижалась к Толиному плечу и плакала навзрыд — горько и безутешно.

Толик растерянно гладил маму по голове, словно маленькую, говорил какие-то несвязные слова, сам готовый заплакать в любую минуту.

— Толик! — шептала мама сквозь слезы. — Толик, сынок, что же нам делать, что делать? Ушел наш папка, ушел, бросил нас с тобой. Как его вернуть, как вернуть?

Как вернуть? Если бы Толик знал, как вернуть, он бы уже сто раз вернул отца, но разве в этом дело? И вообще — разве виноват отец, что его выгнала бабка с молчаливого согласия мамы?

Мама все плакала, и Толик уже скрипел зубами, чтобы сдержаться, чтобы не завывать по-волчьи — от тоски, от обиды и от бессилия.

— Ну что ты, что? — сказал он дрожащим голосом. — Слезами не поможешь, — повторил чужие слова.

— Да, — ответила мама, поднимая голову. Глаза у нее покраснели от слез, щеки были будто смятые, и вся мама была некрасивая и какая-то жалкая.

— Толик, — сказала мама, — сынок, ты один можешь его вернуть! Ты один... — Она перевела дыхание. — Ты должен написать... Снова...

Толик вскочил со стула и отбежал в сторону. Кровь отхлынула у него от лица.

— Что! — прошептал он с ужасом. — Что?..

— Одного письма мало. Надо написать. Тогда он вернется. Он обязательно вернется, — лепетала мама, поднимаясь с колен, и Толику вдруг показалось, что это не мама, а бабка, помолившись своим иконам, подходит к нему.

— Что ты говоришь? — крикнул Толик. — Как тебе не стыдно?

Его колотило, будто в ознобе, он дрожал весь непо-

нятно от чего — дома было жарко. «Писать? — думал он. — Снова писать? Но это уже настоящее преступление! Неужели она не понимает?»

— Неужели ты не понимаешь? — крикнул Толик, но мама перебила его.

— Я понимаю! — воскликнула она. — Я понимаю, что виновата, но, Толик, главное — его вернуть! Как угодно, только вернуть! Слышишь! — Мама тяжело дышала, будто гналась за отцом, и руки у нее тряслись. — Если он вернется, все будет по-другому... По-другому! Я обещаю!

Толик представил, как он выводит жалобу про отца, и весь содрогнулся. «Нет, нет, — решил он, — ни за что!» — и вдруг вспомнил, как бабка ткнула маму в бок возле двери. Тогда он не понял, чего это топчется бабка, но сейчас — неужели?! Страшная догадка осенила его. Они сговорились! «Вот дурак, — засмеялся он сам над собой. — Еще удивлялся, что это на них не похоже — не могут договориться. Похоже! Договорились, все в порядке».

— Как не стыдно! — крикнул Толик, ожесточаясь. — Еще обещаешь! Да это бабка тебя уговорила!

Он думал, мама станет отпираться, опять плакать, но она вытерла слезы и сказала горько:

— Бабушка велела мне тебя заставить... Но как заставить? Бить? Бить тебя я больше не дам. Поэтому я прошу. — Она подняла голову. — Хочешь, опять на колени встану?

Толик молча рванулся к вешалке и схватил шубу.

— Сынок, — закричала она и схватила его за плечи. — Сынок, неужели ты не хочешь, чтобы папа вернулся?

Мама плакала навзрыд, плечи ее тряслись, а Толик вырывался. Вдруг она оттолкнула его и закричала пронзительно, будто тонула:

— Уходишь! Уходишь! Уходи, эгоист! Вы оба с отцом такие! Только о себе думаете!

Он пришел в себя на улице. Шуба торчала под мышкой, и, странное дело, было совсем не холодно. Только что его колотила дрожь, а теперь стало жарко. Толик оделся. «Ни за что! — подумал, успокаиваясь. — Ни за что в жизни, пусть хоть пытаются!» Он решил это давно, окончательно, и тут никаких сомнений быть не могло — он без того проклинал самого себя, презирал, как

только можно презирать самого подленького и зрящего человека. «С меня хватит!» — сказал он сам себе твердо. Но легче от этой твердости не стало.

Перед глазами была мама — некрасивая, опухшая, жалкая. Она унижалась перед ним, Толиком, она умоляла, она действительно верила, что письмо поможет. Не помогло одно, поможет другое — лишь бы отец вернулся, всеми правдами и неправдами.

«Ах, мама, — мучился Толик. — Но разве можно неправдами? Разве можно надеяться на чужих людей? Как могут они заставить отца прийти домой? Как могут заставить они, если ты сама не сумела его задержать? Не захотела, вот что... А теперь...»

Толик остановился. «Но она обещала. Обещала, что, если отец вернется, все будет по-другому...» Он ухмыльнулся. Если бы было все так просто — написал жалобу, отца заставили идти домой, он возвращается, а дома все по-другому. Баба Шура его с хлебом-солью встречает. Низко в пояс кланяется. Как бы не так! Жди!

Все это было правдой, но мама — мама не выходила из головы. Она умоляла. Она так просила Толика. И ее лицо, враз ставшее таким ужасным, стояло перед глазами.

На углу Толик остановился. Поблескивая серебряным гербом, под светом фонаря отливал оранжевым почтовый ящик. Сюда бросила жалобу на отца баба Шура.

Толик подошел к ящику, потрогал его осторожно. Сколько писем сюда входит? Тысяча, наверное, вон какой он здоровый. И неужели из целой тысячи одно не может потеряться?

Сзади скрипнули тормоза. Толик обернулся. Из красного «Москвича» вылезал забавный бородатый парень в шляпе с пером. Парень был молодой, а борода у него выросла уже густая, пушистая, как у колдуна, и колдун пел смешным голосом неколдовскую песню:

Го-о-ри, огонь, ка-ак Про-метей!
Го-о-ри, огонь, ка-ак Про-метей!

Под мышкой у парня торчал свернутый мешок с железными краями. Распевая, бородатый подошел к ящику, развернул мешок, как-то хитро всунул его в дно и вдруг сказал вежливо Толику:

— Здравствуйте!

Толик улыбнулся и стал смотреть, как распухает мешок, вставленный в ящик. Он рос на глазах, словно удав, глотающий кроликов. Письма шуршали, падая в мешок, а бородатый парень прислушивался, как музыкант, к этому звуку и улыбался сам себе.

Очень ловко парень в шляпе оторвал мешок от ящика, задиристо подмигнул Толику и сказал тем же тоном: — До свидания!

Парень уходил, напевая свою песенку, и Толик вдруг почувствовал, что должен остановить его.

— Скажите! — крикнул Толик. — А бывает, что письма теряются?

Сердце часто-часто стучало в Толике; он ждал, что ответит забавный парень, потому что от этого зависело очень многое; он смотрел на бородача действительно как на колдуна, и человек в шляпе с пером его не подвел.

— Чего не бывает, — сказал он, садясь за руль «Москвича», — на белом свете!

Машина фыркнула, взвизгнула колесами и исчезла, словно привидение. Толик подошел к ящику и посмотрел на его дно. Дно было железное. Толик пошевелил его, дно не поддавалось. Толик постучал по нему.

Ящик отозвался глухим, старческим голосом.

4

У ворот Толика окликнула тетя Поля. Она сидела на лавочке, кого-то, наверное, поджидала, и нос у нее посинел от холода.

Толик остановился, тетя Поля подошла к нему вплотную, потерла варежкой нос в нерешительности.

— Вот что, — сказала она, откашливаясь. — Вот что я тебе скажу, Толик. Маму-то вам с отцом одну оставлять нельзя. Заест ее бабка.

От кого другого Толик бы повернул и говорить дальше не стал — не суйте нос не в свое дело, — но тетя Поля была другой человек, хоть и соседка всего-навсего, а будто близкая.

Тетя Поля Толика знала с самых пеленок, как она говорит. Да он и сам помнит, как лет пяти объявлял дома: «Пошел на шай», — и ходил к тете Поле в гости. У нее всегда находилось для Толика что-нибудь вкусненькое — маринованный огурчик или мармелад в ва-

зочке. Может, тогда, маленьким, Толик приходил к тете Поле из-за этого, из-за огурчиков и мармелада, а сейчас — нет. Просто у нее было очень хорошо, тихо, светло, и после мрачного коммунального коридора с тусклыми лампочками, после их комнаты, хоть и вылизанной всегда, но неуютной и неприветливой, тети Полин уголок казался Толику райским местом.

Жила тетя Поля одна. Муж у нее погиб на войне совсем молодым, когда Толика и на свете-то не было, да что Толика, когда мама с отцом еще в школу ходили, — вот как давно это было. Фотография молодого тети Полиного мужа висела у нее в углу, у окна, вроде как икона. Только тетя Поля не молилась, глядя на карточку, а просто смотрела — подолгу, грустно. Когда-то тетя Поля плакала, разглядывая карточку мужа, но время шло, она старела, а муж ее все оставался таким же молодым, каким был, когда погиб, и тетя Поля теперь уже не плакала.

Только глядела сухими, воспаленными глазами.

Глядела подолгу, ее взгляд туманился, будто она переносилась куда-то. Может, в далекое, неизвестное Толику время, когда была молодой, как ее муж, веселой, красивой, а не такой, как сейчас, — высохшей, словно старое, корявое дерево.

Толик часто думал: что видит там тетя Поля, в своем прошлом, что вспоминает? Чему улыбается тихо и отчего лицо ее, скорбное, исполосованное морщинами, в эти минуты вдруг светлеет и сразу молодеет будто?

Посидев вот так, в странном забытии, тетя Поля вдруг спохватывалась, начинала хлопотать, ставить чайник, угощала Толика своими вкусностями.

Толик тетю Полю жалел, уважал за молчаливость, за то, что она впустую слов не тратит, не лезет с расспросами, как некоторые балаболки из ихнего коридора, и потому даже обрадовался, что увидела его на улице тетя Поля, не кто иной.

— Это дело не простое, — сказала соседка, наклоняясь к Толику, чтоб потише говорить, — и не ребячье, конечно, но что делать? — Она вздохнула. — Отца тебе надо увидеть.

Толик кивнул, двинулся дальше, и сердце у него снова облилось кровью. Правильно сказала тетя Поля — надо, ох как надо увидеть ему отца! И нельзя — и нужно.

Дома на столе пыхтел чайник, бабка держала на растопыренных пальцах блюдечко и отхлебывала из него. Стояла чашка и перед мамой, но она как будто не видела ее.

Поглядывая на застывшую мать, Толик наполнил свою кружку и, обжигаясь, с шумом стал пить чай.

Они сидели втроем за столом, четвертый стул пустовал, и Толик с болью и тоской представил, как было бы хорошо, если вдруг открылась бы дверь и вошел отец. Он сел бы на свое место; мама, улыбаясь, подала ему стакан с крепким коричневым заваром, и отец прихлебывал бы тихонько, держа по привычке перед глазами газету с последними новостями. Пусть бы они сидели вот так, молча, пусть бы даже поругались с бабкой, только не так, как сейчас: трое сидят, а четвертого нет...

Где он? Сидит на вокзале с авоськой в руке и ждет, когда настанет поздняя ночь, чтобы прилечь на вокзальную деревянную лавку? Или в общежитии, курит с товарищами, о чем-нибудь говорит, а сам думает про них — про маму, про Толика и даже про бабку? Или далеко отсюда трясется в вагоне, едет в свою командировку? Где он, папка, хороший, дорогой? И почему так получается, что люди расходятся?

Мама вдруг всхлипнула, закрыла лицо руками и крикнула неизвестно кому:

— Нет!.. Так нельзя! Пойду к нему!

— Во-во, — невозмутимо сказала бабка, вглядываясь в дно блюдечка. — Бегай, унижайся! Пятки лижи!

Уже потом, перебирая прошедшее в памяти, Толик понял, что ничего бы не случилось, если бы мама вдруг не крикнула отчаянно, закрыв лицо руками, если бы баба Шура не сказала так небрежно эти гадкие слова. Да, ничего бы не случилось, и Толик бы не взвился на бабку, и всего остального тоже не было бы.

Но Толик не выдержал и крикнул остервенело:

— Мама, давай уйдем от этой гадины! — и с мерзостью, с отвращением показал на бабу Шуру.

Все клокотало в нем, он готов был швырнуть в бабку кружкой с коричневым чаем, но баба Шура взяла и словно выплеснула на него ушат холодной воды. Она не закричала в ответ, она просто хмыкнула и посмотрела на маму. Всего-навсего посмотрела. Но как посмотрела! Ну-ка, мол, ответь, послушаем, что ты скажешь.

Мама взглянула на Толика, глаза ее поблекли, она уронила голову и прошептала:

— Сынок! Толик! Напиши!..

Толик застыл. Жалкий, жалкий человек! Безвольная бабка рабыня.

— Да что ты его просишь? — сказала баба Шура, все глядя в блюдечко. — Я и сама куда надо напишу.

Толика будто ударили в самое солнечное сплетение. Он задохнулся. Какие-то неведомые шарики, винтики, болтики — или что еще там — стремительно закрутились в голове. Он вспомнил ящик, бородатого парня в шляпе с пером, его песенку и короткий разговор. «Если бабка напишет сама, будет хуже», — мелькнуло мгновенно.

Словно во сне, Толик встал, взял бумагу и уселся обратно.

— Диктуйте! — сказал он дрожащим голосом и увидел, как напряженно, не веря себе, уставились на него бабка и мать. — Диктуйте, — повторил он сдавленно и прибавил: — Да поскорей!

— В горком партеи, — неуверенно пробормотала баба Шура, но тут же приосанилась, пришла в себя, решила, что снова победила.

«Ну погоди!.. — подумал Толик. — Не радуйся», — и ожесточенно закрипел пером.

Когда они кончили, было уже поздно, и бабка сказала, что бросит письмо утром.

5

Который час Толик топтался у ящика.

Он продрог и утешал себя тем, что хоть сегодня воскресенье и не надо пропускать уроки из-за вчерашнего.

Вчера он бросился на амбразуру. Закрыв ее грудью.

Еще за минуту перед тем, как пришла ему эта спасительная идея, Толик клялся себе, что его и под пытками не заставят писать про отца. Но бабка сказала, что напишет сама, и все содрогнулось в нем.

«И напишет, не поперхнется», — подумал Толик со страхом и вдруг понял, что не может, не имеет права сидеть сложа руки. Он не выдержал, когда его били, это правда, и он отвечает за то письмо. Но этого мало. Он теперь отвечает за все. Он отвечает, если бабка напишет еще одну жалобу.

Тогда он вспомнил парня с бородой и в шляпе. Толик вскочил, взял бумагу и написал то, что диктовала бабка. Он писал с усердием и злостью, он тщательно выводил буквы и верил, знал, был убежден, что письмо, которое он строчит, не дойдет, никогда не дойдет.

Бородатый парень улыбался ему из письма.

Бородатый парень подмигивал ему задиристо, и Толик знал, что он поможет.

Все будет просто, очень просто.

Толик топтался у ящика, колотил валенком о валенок и был счастлив, что обыграл бабку. Как в хоккее, в нападении, провел шайбу мимо нее. Толик подпрыгивал, пробегался, боксировал пустой воздух, чтобы согреться, и настроение у него было прекрасное, и он напевал песенку этого замечательного бородача, услышанную вчера:

Го-о-ри, огонь, ка-ак Про-метей!
Го-о-ри, огонь, ка-ак Про-метей!

Да, это просто удивительно, просто случайно, что он встретил вчера этого парня и что в решающую минуту вспомнил о нем, — ведь иначе не оберешься греха с этой настырной бабкой Шурой. А теперь все хорошо. Теперь все просто, только надо набраться терпенья, а мороз уж не так страшен — лишь бы приехал бородач.

Он приедет сейчас, скрипнут тормоза красного «Москвича», они поздороваются, как старые знакомые, и Толик попросит у него свое письмо. Соврет что-нибудь. Например, что неправильно написал адрес. Или что просто раздумал посылать. Или — Толику даже жарко стало: а что, в самом деле? — или скажет этому парню правду. Почтарь хороший и добрый, он поймет. Он отдаст письмо. Не может быть, чтоб не отдал.

Толик мерз, но не унывал, двигался энергично, напевал про Прометея какого-то, хвалил себя, что закрыл грудью амбразуру, не побоялся, написал сам, очень верно сделал, потому что, если бородач станет сомневаться, он просто откроет при нем конверт, покажет свой почерк, докажет, что письмо это не чужое, а именно его и он его хозяин. Если бы написала бабка, почтарь мог не поверить, мог бы сказать, что такими каракулями ученики не пишут, и тогда бы все пропало и жалоба ушла, куда адресована, — в том-то и дело, что,

хоть и быстро надо было соображать вчера, Толик продумал все-все до последней мелочи.

Толик дрожал, улыбаясь, вспомнил, как слышал по радио лекцию, что дрожь — это не просто дрожь от холода, а хитрость организма: хочешь ты или не хочешь, а трясешься, потому что шевелятся, согреваясь, мышцы. Толик хвалил свой дрожащий организм за хитрость, даже он ему сегодня нравился, молодец!

Скрипнули тормоза, мышцы Толикиного тела враз перестали трястись; он кинулся к машине, приготовив для веселого парня в шляпе с пером первую фразу, которую долго сочинял, подпрыгивая у ящика. Фраза была очень вежливая: «Дяденька, будьте добры, выслушайте меня!» — и Толик был уверен, что парень непременно остановится и сразу же, с этой первой фразы отнесется к нему приветливо.

Дверца хлопнула, и Толик уже открыл рот, чтобы сказать свои вежливые слова, как вдруг увидел, что из «Москвича» вылезает вовсе не тот бородатый парень, а толстый и хмурый дядька.

Почтарь прошел мимо Толика, едва не задев его локтем и даже не заметив, сунул мешок в ящик, сильно встряхнул его и тут же выдернул назад. Он не слушал, как шуршат письма, просто ему не было дела до того, как они шуршат. Дядька хмурился, думал о чем-то своем и совсем не замечал своей работы.

Толик уже не раз видел: если люди давно работают, привыкли к делу, которым занимаются, оно им как-то все равно. Сидит в автобусе шофер, открывает и закрывает двери, объявляет остановки, а вид у него такой, будто занят он совсем другим.

Или вот еще кассирша в магазине. Стоит перед ней очередь, а она вдруг начнет деньги считать. Считает, считает грязные бумажки. Добро бы сдавать в банк надо было или еще куда, а то просто так сидит и считает, неизвестно зачем. И хоть бы считала с интересом, но ведь будто машинка какая-нибудь счетная, арифмометр. А глаза у самой пустые. Витает где-то. Ни очереди не видит, ни денег.

Вот и дядька этот. Приехал, вышел, сунул свой мешок в ящик, обратно вытащил и к машине отправился. Сам даже, наверное, не заметил, что он сделал. Как автомат. Раз, раз, раз, раз... Дядька шел назад; еще ми-

нута, и он уедет. Толик в отчаянии кинулся к нему, совсем забыв свою вежливую фразу.

— Дяденька, — крикнул он, — отдайте письмо!

Дяденька остановился, навис над ним толстой тучей.

— Какое письмо? — спросил простуженным голосом.

— Я письмо туда бросил! — крикнул Толик. — А адрес неправильно написал!

— Ну, другое сочини! — прохрипел почтарь.

— Да как же, дяденька? — закричал Толик. — Как же я напишу?

— Не могу, не могу, — ответил дядька, колыхнув животом и трогаясь к машине. — Порядок такой.

Это было ужасно, страшно, немыслимо: вся Толикина затея лопнула в одну минуту. Еще недавно он радовался, что придумал такую штуку. Никто и не догадается! Было письмо — и нет его. Писали? Писали. В ящик бросили? Бросили. А письма нет — фокус-покус.

А вот какой фокус вышел. Страшный...

В отчаянии Толик дернул толстяка за рукав и заплакал.

— Дяденька! — крикнул он. — Честное слово. Честное пионерское! Отдайте письмо. Отдайте, я все расскажу.

— А ну-ка! — прорычал почтарь, отодвигая Толика толстой рукой. — Отойди! Ишь хулиган какой!

Он сел в «Москвич», отчего тот покосился на один бок, кинул свой мешок через плечо куда-то в черное нутро кузова и завел машину.

— Дяденька! — крикнул в который раз Толик, умоляюще вцепившись в ручку «Москвича». — Ну, дяденька!..

Почтарь рванул машину, и Толик чуть не упал под колесо, едва успев отпустить ручку.

— Не положено! — крикнул ему на прощанье толстяк.

«Москвич», расплескивая тонкий лед в лужах, помчался вперед, ехидно подмигивая красными огоньками.

Толик на мгновение представил, что произошло, и закричал — жутко, пронзительно. Потом подбежал к оранжевому ящику и яростно стукнул его кулаком. По замерзшей руке, словно молния, стеганула острая боль, и Толик бессильно заплакал.

«Дурак, идиот! — клял себя Толик. — Что наделал! Что наделал! И почему так получается: когда хочешь сделать хорошее, выходит плохое?!»

6

Не зря говорят: понедельник — день тяжелый. Вро-чем, давно уж не было у Толика легких дней. Один дру-гого тяжелей, словно гири.

Все уроки Толик сидел как во сне. Слова учителей долетали откуда-то издалека, словно в ушах была вата. Потом так же далеко прогремел последний звонок, и Толик побрел одеваться. Он шел по лестнице — глухой, какой-то пустой, равнодушный — и вдруг едва не пока-тился кубарем: пропустил ступеньку.

Внизу, спиной к Толику, стоял отец.

Он стоял спиной и разглядывал расписание — навер-ное, смотрел, сколько у Толика уроков.

Толик метнулся в сторону и заскочил в уборную. За-бравшись в кабину, он накинул крючок и прислонился лбом к двери.

Гулко громыхало сердце, он дышал тяжело, с пе-рерывами. Каждый, кто входил в уборную и шаркал ро-гами там, за тонкой дверцей, казался Толику отцом, и тогда он сдерживал дыхание, чтобы его не было слышно.

Отдышавшись, Толик сбросил крючок и выглянул в коридор, едва приоткрыв дверь. Отец по-прежнему сто-ял у расписания, но уже не разглядывал его, а смотрел вверх, на лестницу. Весь класс уже разошелся, а То-лика не было, и отец ждал, ждал терпеливо, крутя в ру-ках шапку.

Толик почувствовал, как больно сжалось у него сердце. Он успел разглядеть, какое обиженное лицо бы-ло у отца, как разбегались черными полосками две мор-щины от носа. Отец похудел и казался таким беззащит-ным и жалким, что Толик едва не бросился к нему.

Он сдержался, прикрыл дверь, прошел мимо ряда кабинок. Что делать? Ждать, когда отец уйдет! Но он может не уйти. Он ведь видит, что Толикина шуба од-на осталась на вешалке. Он может предупредить ня-нечку, а сам пойдет по классам искать Толика, а потом зайдет в уборную и найдет его тут.

Толик взглянул за окно. Во дворе дурачились ребя-

та из их класса, гонялись друг за дружкой. Одна Женька стояла в стороне, поджав губы и снисходительно глядя на остальных.

И вдруг Толик кинулся к окну.

Форточка! Форточка в нем была такая, что в нее мог пролезть не только мальчишка, но и не очень толстый взрослый.

Толик влез на подоконник и выбросил в форточку портфель. Сумка грохнулась среди играющих ребят, и они испуганно остановились, подняв головы. Толик ухватился за перекладину форточки, подтянулся, опираясь на оконную ручку.

Ребята увидели его и весело загалдели.

Толик просунулся в форточку и повис уже по ту сторону окна.

Этаж был первый, но довольно высокий. Правда, внизу чернел сугроб грязного, подтаявшего снега, и Толик разжал руки.

Стекло и стенка смазались перед глазами, и Толик по пояс провалился в грязный сугроб.

Ребята вокруг хохотали. Цыпа хлопал Толика по спине и кричал:

— Ну, не ожидал от тебя! Молоток!

Но Толику было некогда выслушивать похвалы.

Он выбрался из сугроба, схватил сумку и, оглянувшись на дверь, из которой каждую минуту мог выйти отец, кинулся к дому.

Пробегая мимо Женьки, стоявшей отдельно от ребят, Толик мельком взглянул на нее. Учительницына дочка смотрела на него, скривив брови, будто для того и стояла тут, чтобы увидеть, как Толик выпрыгнет из уборной.

— В тихом омуте, — сказала она вслед Толику, — черти водятся!

Толик не стал с ней спорить.

Ему было не до Женьки.

Он мчался по улице, как ошпаренный, без шапки и без пальто, и прохожие смотрели ему вслед.

Вечером мама сходила за шубой.

Она вернулась заплаканная, долго вздыхала, а потом сказала:

— Нянечка говорит: целый день ждал... Недавно ушел...

Бабка хмыкнула, нацепила на нос очки, стала царапать пером бумагу, шевеля губами.

«Пишет! — в отчаянии подумал Толик. — Пишет!!» И вдруг почувствовал, как устал, смертельно устал. Что он не в силах совладать с жуткой бабкой.

Баба Шура стащила очки, покусала в раздумье дужку и вдруг спросила, оборачиваясь к Толику:

— Грозился, говоришь? Кулаками махал?

Толик захлебнулся.

— Рехнулась?! — заорал он. — Да он меня не видел!

— Угу, — сказала бабка, не отрываясь от своих мыслей и не слыша Толика. И снова заскоблила перышком.

В голове у Толика зазвенело, и он пожелал страшного. Он пожелал бабке смерти...

7

Он устал, смертельно устал от этой войны, он был не в силах одолеть бабку. Но отступить, махнуть рукой, сказать самому себе: я сделал все и больше не могу — это значило сдаться.

Это значило трижды стать подлецом.

Первый раз — уступив силе, второй — нечаянно, желая добра, и в третий — сейчас, сдавшись.

Толик прикрыл глаза.

Жалобы, как серые, скользкие жабы, сидели напротив отца, широко разеваая глотки. «Товарищи, партийный комитет, прошу вас вернуть моего папу...» Жабы подступали к отцу все ближе, тяжело подпрыгивая и жирно шлепаясь.

Толика передернуло.

Нет, это было ясней ясного. Он должен что-то сделать.

Он уснул и проснулся с этим вопросом: что? Что сделать?

Третья жаба, запечатанная в голубой конверт, лежала на столе. Сейчас Толик уйдет в школу, и чуть погодя бабка выпустит свою серую, скользкую тварь.

«Что делать? — лихорадочно соображал Толик. — Может, схватить голубой конверт и порвать его на глазах у бабки?» Она сочинит новую жалобу, да еще по-злее, чем эту, — она ведь будет мстить тогда не только

отцу, но и Толику. Тихо украсть? Но какая разница? Нет, надо так. Когда она бросит письмо, надо сломать ящик.

Но он железный.

Взорвать?

Чем?

Сжечь?

Сжечь! Набросать туда горящих спичек.

А чтобы лучше горело, взять с собой пленку. Старые диафильмы. Еще отцовские. Новые пленки не горят. А старые как порох. «Синяя птица». «Волк и семеро козлят». Детские сказочки для малышей младшего возраста.

Когда-то Толик смотрел с восторгом эти сказочки и думал, что все на свете хорошо, все прекрасно — одни синие птицы, и козлята, и Красные Шапочки. А Серые Волки — негодяи. Серых Волков всегда убивают охотники.

Да, все это было. Теперь не так. Теперь Толик знает про Серых Волков чуть-чуть побольше.

Здравствуйте, дорогая баба Шура, волчиха из волчих! Здравствуйте, толстый почтарь, волчья шкура. Теперь-то Толик покажет вам, что такое настоящий охотник. Это вам не сказочки для детей!

Озлобясь все больше и больше, Толик схватил пленки и выскочил в коридор. В школу он сегодня не идет. Ему сегодня не до школы.

Выйдя из дому, Толик спрятался за углом. Бабка не мешкала. Мелкими, немощными шажками она прошлепала мимо него, держа в руке голубой конверт.

Толик крался за бабкой, будто умелый сыщик, привыкнув уже таиться на улице.

Баба Шура бросила конверт, заторопилась назад, а Толик стал озираться, выжидая, пока улица опустеет. Но народу, как назло, было много.

Медленно, переваливаясь с боку на бок, похожие на уток, прошли две тетки с авоськами в обеих руках. Авоськи тянули их к земле, но они будто не замечали тяжести — тараторили по-сорочьи.

Потом промчался какой-то первоклашка. Возле ящика он словно споткнулся и стал ковырять в носу, разглядывая Толика. Пришлось его шугануть. Перwokлашка не обиделся, побежал дальше, торопясь пуще прежнего, будто смотрел он не на человека, а на ворону.

Птица улетела, и смотреть стало не на что, вот он и побежал.

А погода стояла прекрасная! Город был насквозь пронизан солнечным светом. Солнце дробилось в лужах, слепя серебряными звездочками, залезало за воротник, щекало, прыгало, как футбольный мяч с голубых крыш прямо в грачиные гнезда, где орал и резвился прилетный народ.

В другой раз Толик порадовался бы весне вместе с грачами, но сейчас солнце светило не для него. Он ждал, а народ все шел и шел, и от волнения у Толика уже тряслись руки.

Наконец улица опустела. Толик ступил на край тротуара, чтобы было виднее. Да, никого нет, вот только проедет этот самосвал...

Машина промчалась мимо Толика, ее тряхнуло, и сноп грязи обрушился на мальчишку. Толик будто окунулся в лужу. Шуба стала похожей на половую тряпку, грязь стекала с лица. Толик отплевывался, на зубах хрустел песок. Струйки грязи попали даже за шиворот.

Вначале Толик опешил и вдруг дико, по-уличному заругался. Никогда в жизни еще не ругался Толик, стыдился бранных слов, грязных и липких, а тут — тут не выдержал. Ведь, конечно же, шофер нарочно подъехал к яме, нарочно облил его и даже не остановился, укатил себе, довольно посмеиваясь.

Все люди, все эти взрослые, весь мир показался Толику ужасным, мерзким, отвратительным.

Толик подскочил к ящику и сунул в его железный рот кинолентку. Конец пленки выставлялся наружу, и казалось, что оранжевый ящик показывает язык.

Толик шаркнул спичкой о коробок. Спичка тут же потухла. Толик запалил еще одну, но и она потухла от легкого ветерка.

Стараясь успокоиться, Толик вспомнил, как закуривал на улице отец — сложив ладони кулком, чтобы ветер не гасил огня.

Сердце колотилось, будто молот о наковальню. Казалось, оно отдается в почтовом ящике — гулком и холодном, гремит, словно колокол, и его стук слышно за квартал. Усмиряя сердце, Толик старался не дышать. От этого звенело в висках. Он злился на себя, что

не может спокойно сделать такое простое дело, но спички то гасли, то ломались, словно соломенные.

Сзади заскрипели шаги, сердце заколотилось часто-часто, как колеса вагонов на стыке. Толик сунул спички в карман и попробовал сделать скучающий вид.

Но вида у него не получилось. Уши и щеки горели, как стоп-сигналы на том «Москвиче», ноги и руки мелко вздрагивали. Он казался сам себе воришкой, который первый раз в жизни хочет украсть и еще не знает, как это сделать.

Шаги проскрипели мимо. Прохожему не было дела до мальчишки, который прислонился к почтовому ящику.

Он зажег спичку и укрыл слабый огонек ладонями. Руки опалило, пленка вспыхнула и опять погасла.

Толик обернулся — улица вновь пустовала, лишь где-то вдали маячили маленькие фигурки.

Он лихорадочно достал сразу толстый виток цветных фильмов и стал совать их в ящик, пока жесткая пленка не уткнулась в мягкое бумажное дно.

«Вот они, голубчики, — подумал Толик и вздрогнул. — Ведь там еще и чужие письма! Чужие? Ну и что! Чужим людям наплевать на Толика, наплевать на его горе!» Он вспомнил бабу, вспомнил шофера, который окатил его грязью, он увидел пустые, безразличные глаза Изольды Павловны. Никому нет дела до Толика, и ему тоже нет дела до других!

Пленка вспыхнула, огонь, словно жулик, шмыгнул в оранжевый ящик, и оттуда повалил желтый удушливый дым. Через мгновение в ящике шелестело, гудело, шелкало, будто там стоял примус, а на примусе кипел чайник.

Толик вздохнул. Порядок! Письма горели.

Он улыбнулся, похлопал ящик по нагретому боку и услышал странный звук. Что-то вроде скрипа.

Толик обернулся.

У обочины дороги стоял почтовый «Москвич», а от него аршинными шагами неся тот самый веселый парень. Борода у него была на месте, а вот шляпу с пером он где-то оставил, и Толик чуть не захохотал: бородач был лысый.

Да, странные моменты бывают у человека. В минуту крайней опасности он вдруг смеется. Когда надо спа-

саться — стоит. А еще поговорка есть: дают — берн, бьют — беги.

Толик стоял как замороженный, смотрел на лысого парня с густой бородой и никуда не убегал.

В одно мгновение парень подскочил к Толику и схватил его за плечо.

— Ты что? — крикнул он удивленно. — Ты зачем?

Чуть позже, разбирая в памяти по косточкам все, что произошло, Толик вспомнил: парень спросил у него это не свирепо, нет, не зло, а именно удивленно.

Не дожидаясь ответа, бородач выпустил Толика и вдел под ящик свой мешок. Мгновением позже он выдернул мешок обратно и, как фокусник в цирке, перевернул его. К ногам Толика вывалился комок дымящихся, обгоревших писем. Парень затопал по нему ботинками, дым перестал валить, но от грязных, скоробившихся, пожухлых конвертов уже не было проку.

Все это время — пока парень открывал ящик, махал мешком, тушил письма — Толик стоял рядом и не шевелился. Он мог бы убежать, десять раз убежать, тем более что почтарь стоял к нему спиной, но не тронулся с места. Это было необъяснимо, непонятно, ни к чему, но это было так — Толик стоял словно вкопанный и будто ждал, пока бородач не покончит со своими хлопотами. Наконец парень обернулся к Толику.

Он не крикнул, не заругался, он просто долго смотрел на Толика, потом наклонился и приблизил к нему свое лицо.

— Ты зачем? — спросил он, все удивляясь. — Ведь это письма, понимаешь? Кто-то кому-то писал, надеялся, будет ждать ответа, а ты сжег... Понимаешь?..

Парень говорил негромко, вглядываясь в лицо Толика, стараясь понять, зачем он поджег письма, и Толик уже открыл рот, чтобы объяснить. Сказать, как ждал он вчера веселого парня, а приехал тот толстяк, равнодушная квашня. Сказать все как есть. В конце концов почтарь имеет право узнать правду...

Толик уже открыл рот, чтобы рассказать парню все как есть, и вдруг увидел Женьку.

Она высовывалась из-за плеча почтаря и, шурясь, строго, как Изольда Павловна, вглядываясь в Толика.

«Привет!» — тоскливо подумал Толик, и в нем что-

то оборвалось. Говорить с парнем при Женьке, выкладывать все как есть при этой шпионке он бы и под пыткой не согласился.

А почтарь не успокаивался.

— Ты зачем? Зачем? — спрашивал он, начиная злиться и слегка встряхивая Толика за плечо.

— Просто так, — дрожа, сказал Толик.

— Ах, просто так! — взорвался почтарь. — С ним, как с человеком, а он, оказывается, просто так! Ничего себе просто так!.. За просто так сжег кучу писем!..

Парень все раскалялся и раскалялся, а Женька все мельтешила за ним, не уходила — как же, ждите, уйдет она! Наконец бородач перестал возмущаться и потребовал:

— А ну говори, где живешь? Где учишься?

Спросил он это тихо, спокойно, но с решимостью. Наверное, теперь Толик казался ему хулиганом, ни больше ни меньше — малолетним вредителем, которого надо решительно остановить, иначе будет хуже.

Толик в ответ понурил голову, затоптался на месте — это было мертвым делом допытываться у него, где он учится и, того хуже, где живет, но вперед сунулась Женька. Правда, пока она молчала. Услышав вопрос парня, ступила на шаг ближе, держа за спиной портфель и непринужденно его покачивая, но от нее можно было всего ждать, и Толик погрозил ей сбук кулаком, чтоб она не вздумала сунуться.

Это все и решило. Женька фыркнула и сказала:

— Подумаешь, какой! — И, помолчав, вроде бы даже подумав, а не с бухты-баряхты, прибавила, обращаясь к парню: — Дяденька, он у нас учится. Вон в той школе...

Бородач крепко ухватил Толика за плечо, и они пошли на расправу.

Предательница Женька бежала впереди, показывала дорогу, а приблизившись к школе, стремительно кинулась в подъезд.

Едва только парень вместе с Толиком переступили школьный порог, их встретила каменная Изольда Павловна.

Она сверлила Толика презрительным взглядом.

«Ну все!..» — подумал Толик,

Толик брел по улице, вспоминал побледневшее лицо Изольды Павловны, вспоминал, с какой злостью сказала она: «Завтра без матери не приходи!» — и не знал, куда ему деться.

Дома было противно, шляться по городу тоже нельзя — еще встретишь отца.

Толик зашел в гастроном, от нечего делать прошел мимо длинных прилавков с гнутыми стеклами и решил, что, пожалуй, так и станет ходить по разным магазинам, пока их не закроют.

Толик бывал в магазинах не часто — бабка ходила туда сама, не доверяя ему денег, или, на худой конец, посылала мать, но каждый раз, когда он туда заглядывал, в голову почему-то приходила все время одна и та же мысль.

Есть ли люди, думал он, которые все, что лежит за гнутыми стеклами — палки колбас и буханки сыра, и горы конфет, разных причем — всех сортов! — и бутылки вин, толпящиеся на прилавках, и банки разных-разных компотов с иностранными буквами, могут сразу купить? Сразу и много!

Ведь вот говорят — коммунизм, коммунизм... А коммунизм что? Изобилие. Изобилие — когда всего у тебя полным-полно, ешь — не хочу! И компоты, и сыры, и чего только нет!

Толик представлял себе, как начнется коммунизм. Всем дадут много-много денег. По целому ящику. И люди будут ходить по магазинам — набирать дополна разного добра. И потащат все это домой. И будут рубать, пока не надоест. А когда надоест им лопать, некоторые люди исчезнут. Совсем исчезнут или перевоспитаются — кто их знает, но не станет их, словом.

И бабки не будет, главное. Помрет. Зачем ей жить, когда все будет? Она, поди-ка, и сама не захочет. Какой смысл? Деньги в бумажник свой складывать не надо. Копейки от сдачи считать, которую мама принесет, тоже не надо. Отца заставлять, чтоб из-за денег на другую работу шел, тоже незачем, — денег навалом и без того будет, знай работай себе отец где больше нравится. Что тогда делать бабке? Телевизор смотреть только и остается. Сидеть, глаза таращить. Все коман-

дирство бабкино сразу выйдет, как из воздушного шарика газ. Обмякнет бабка, сморщится и помрет!

Толик шел вдоль прилавков, как по длинной съедобной улице, улыбался своим мыслям, поглядывал на еду, замедляя шаг в «сладких отделах».

Вон «Раковая шейка», по двадцать восемь копеек за сто граммов, а соевые батончики по восемнадцать. Есть и чеховские конфеты, «Каштанка» называются. Чехов такие конфеты любил, а потом так и собаку в своем рассказе назвал. Вообще-то, может, и наоборот, но все равно. Толик бы не отказался попробовать, какие они на вкус, «Каштанки».

Да что там! Можно бы и вон тех подушечек, по 10 копеек сто граммов, пососать, но нет у него денег. Даже гривенника.

«Ну что ж, — думает Толик. — Что есть, то есть, а чего нет, того нет, и нечего тут обижаться». Сладко-ежкой он никогда не был, никогда и никто его «Каштанками» да «Раковыми шейками» не баловал, баба Шура все сэкономила, да разве в этом счастье? Нет, не завидовал Толик ребятам, которые сладкое за обе щеки уписывают, а потом зубами маются.

Толик разглядывал конфеты, иронически улыбаясь, как вдруг услышал, что одна продавщица сказала другой:

— Смотри-ка, мать и дочка.

Толик пропустил вначале это мимо ушей: подумаешь, мать и дочка, да мало ли их везде ходит, дочек с матерями, и даже не обернулся. Но потом подумал, что продавщицы не такой народ, чтобы зря удивляться, и посмотрел.

Никакой дочки с матерью он не увидел. Стояли просто у столика две старушки и друг дружке хлеб в авоську класть помогали. Одна авоську растянула, а вторая туда кирпичик хлеба кладет и городские булочки.

Толик поискал глазами, где это тут мать с дочерью, но в магазинчике было пусто, только дядьки в винном отделе толкались, и тогда он понял.

Это и есть мать с дочкой! Две-то старушки — они и есть!

Толик к ним внимательней присмотрелся и даже хмыкнул — во здорово! Ведь правда, старушки-то похожие! У обеих из-под шляпок седые косички торчат. И глаза у обеих одинаковые, и носы. Правда, одна дру-

гой старее все-таки. Сложили они свои кирпичики хлеба и булочки; та, что помоложе, авоську в одну руку взяла, а другой свою маму под ручку прихватила, и они торжественно к выходу тронулись.

Старушки прошеествовали мимо Толика, шаркая туфлями, и он снова поразился, как они друг на друга походят. И лица, и пальто, и шляпки у них одинаковые, и даже две лисы вместо воротников, рыжие лисицы со стеклянными глазами, друг на друга вроде походили.

Толик глядел ошарашенный, а старушки прошаркали мимо него, и он как загипнотизированный вышел вслед за ними.

Возле магазина была лесенка — не лесенка, так, три ступеньки, — но когда старушки по ним стали сходить, та, что постарше, вдруг строго посмотрела на другую старушку и сказала:

— Осторожно, дочка!

Другая, будто испугавшись, пролепетала в ответ: «Да, да, мама!» — и обе звонко рассмеялись, прямо как девчонки. Толик тоже засмеялся и представил себе: вот вырастет он, станет стариком, и пойдут они с отцом или с мамой, а лучше всего пойдут все втроем в магазин. Мама — старушка, папа — старичок, и он, Толик, тоже старичок. И продавщицы шепнут: «Смотрите-ка, это целая семья — мать, отец и сын».

Толик расхохотался, представив себя стариком. Бородка клинышком, как у Чехова, вот только на носу не пенсне, хватит ему, это пенсне на Изольде Павловне надоело, — а очки. Простые очки в розовой оправе, какие все носят. А на голове такая шапка пирожком. И тросточка, чтоб легче ходить. Во забавно? Толик — и старик бородатый! Он снова рассмеялся, потом задумался.

Вот, оказывается, у такой старушки жива еще мама. И они, наверно, любят друг друга — вон ведь как одна другую под ручку взяла, как одна другой хлеб класть в авоську помогала. Смеялись весело тоже, наверное, не зря, а потому, что до такой старости дожили дружно и хорошо.

У всех людей есть мамы. У маленьких. И у взрослых. У Толика — мама. И у Толикиной мамы тоже мама — баба Шура. Толик представил маму — когда она состарится — с бабой Шурой вместе. Мама бабу, конечно, за ручку тоже станет брать. И хлеб в авоську

класть поможет. И заботиться о ней станет. Но вот смеяться они не будут, нет!

Ах, мама, мама! И добрая она, и ласковая, что говорить, но доброга эта и ласка против нее же оборачиваются. Против отца. Против Толика, потому что не может мама перед бабкой за них постоять, заступиться, сказать свое слово.

Любит мама, чтоб все вокруг было тихо. Даже телевизор она всегда потише пускает.

Раньше Толнку нравилось, как мама у окна сидит. Подойдешь к ней поближе, когда она задумается, в глаза заглянешь и увидишь, как все, что на улице, в них отражается. Деревья. Забор. Люди. Только все голубое, потому что и деревья, и забор, и люди — не настоящие, а в маминих глазах.

Сейчас по-другому. Теперь мама, как к окну сядет, да если еще бабы Шуры нет — сразу глаза у нее будто окунутся в туман. Слезы дрожат на ресницах.

Раньше бы Толик к маме кинулся, сказал: «Ну что ты, не надо, не плачь!» Теперь он смотрит горестно, молча, как большой.

Жалко — что говорить! — жалко ему маму, но ведь это же правда — человек сам должен всего добиваться: и хорошего настроения, и чтоб все вокруг было в порядке. Сколько же плакать можно! Не лучше ли вместо слез да вместо этих жалоб найти маме отца, поговорить с ним, уехать, как он говорил, в другой город от бабы Шуры и начать жить заново: без слез, а со смехом, с весельем, с радостями всякими — большими и маленькими. Так, чтоб потом, когда уж и жизнь прожита будет, как у этих старушек, не обижаться на белый свет, не кряхтеть, не охать, а смеяться весело!

Было уже поздно, магазины закрывались, работал лишь дежурный гастроном в центре, и Толик пошел туда.

В гастрономе было шумно, пахло чем-то кислым.

Толик походил в этой толкучке, разглядел цветные наклейки на бутылках и было повернулся уже уходить, но так и застыл.

Прямо перед ним стояла слепая женщина. Она глядела куда-то в угол, помаргивая часто, закатывала зрачки под веки, страшно тараща белками, а руками быстро-быстро ощупывала монетки.

— Рупь двадцать... Рупь сорок, — приговаривала

тетка и протягивала деньги белобрысому парню, который стоял возле нее.

Парень неохотно брал деньги и ныл:

— Мам, не надо, а?

Слепая все моргала, закатывала глаза, потом отсчитала, сколько ей было нужно, нащупала, трепеща пальцами, мальчишку, подтолкнула его вперед и сделала свирепое лицо:

— Ну!..

Парень подошел к прилавку, очередь посторонилась, и он протянул деньги, но продавщица оттолкнула его руку, крикнула торопясь, будто опаздывала куда: «Малолетним не отпускаем». Толик вздрогнул: слепая громко выругалась.

— Отпусти!.. — велел продавщице какой-то дядька из очереди. — Это вон ей!

— Не отпущу, — заорала продавщица, кривя накрашенные губы. — И ей не отпущу! Пьет! Ребенка приучает!

Очередь вдруг заволновалась, ругая продавщицу.

— Отпусти! — кричали дядьки. — Отпусти! Какое твое дело? Ее дело! Незрячая она!

Продавщица снова скривила губы, схватила у мальчишки деньги и выдвинула ему бутылку.

Толик глядел, как слепая взяла мальчишку под руку и они пошли не спеша к выходу, тихо говоря о чем-то, как притихла очередь и как мужчины с состраданием смотрели им вслед.

— Р-рюсскому человеку, — сказал за спиной у Толика пьяный голос, — в ненастье первое дело — выпить!..

Толик вернулся домой поздно, притихший и молчаливый. Слепая и ее мальчишка не выходили из голы.

Толик представил, как слепая ощупывает дрожащими пальцами лицо мальчишки, а он стоит, не шелохнется, только прикрыл глаза — ждет, когда мать потрегает его, когда его «увидит».

Толик вообразил на мгновение себя слепым и крепко зажмурил глаза. Стало темно, только какие-то розовые точки плыли стаей.

Он пошарил руками и снова открыл глаза. Нет, невозможно представить, что ты никогда не увидишь ни-

чего, ничего... Невозможно представить, что не увидишь эту комнату, синий абажур под потолком, маму...

Неожиданно Толик подумал о маме как-то по-новому.

Конечно, слепая женщина — ужасно несчастная, и ее беде никак нельзя помочь. Мамина же беда зависела только от нее одной, он был уверен в этом.

Ей только надо набраться сил. Надо только решиться и переломить себя. Уйти от бабы Шуры. Уехать вместе с отцом в другой город — и все будет хорошо.

Он подумал про двух старушек — про мать и дочь.

Но тогда мама не сможет, как они? Не должна? Ей плохо с бабушкой, это ясно, и хорошо без нее, тоже ясно. Но это со стороны. Пусть даже так, размышляет Толик, все равно, он размышляет как бы со стороны. Ведь маме надо бросить свою мать.

Толик всегда ругал маму, что она слабая, что она бессильная, — и вдруг он стал понимать ее колебания, ее слабость и бессилие. Неожиданно эта мамина слабость повернулась к нему другой стороной. Мама будет страдать сама, но не бросит бабуку — вот что вдруг понял Толик.

Он уже разделся и лежал на раскладушке, приготовясь спать. Неожиданно ему захотелось сделать маме что-нибудь очень хорошее. словно теплая волна захлестнула его.

Он приподнялся на локте и позвал громко, чтоб и баба Шура слышала.

— Мама, — сказал он, — иди скорее. Ну иди же!

Мама вскочила встревоженно, светлой тенью заслонила окно.

— Что ты? — спросила она испуганно.

— Ничего, — ответил Толик. — Наклонись!

Мама наклонилась, думала, что Толик скажет ей что-нибудь тайком от бабы Шуры, но он обнял ее свободной рукой и поцеловал.

Он сразу отвернулся, закрыл руками уши, не желая слушать бабкиных высказываний, ее последних слов.

Но баба Шура ничего не сказала, и Толик, распластавшись, тут же уснул. Проваливаясь в сон, он увидел Изольду Павловну, ее пронзительный взгляд и услышал снова ее слова:

— Без матери завтра не приходи!

«А вот и приду», — подумал он упрямо.

Так он ничего и не сказал маме. А утром, прибежав в школу, сразу наткнулся на Изольду Павловну.

Она стояла у раздевалки, сложив руки, как Наполеон, и ждала его.

Толик затоптался, поглядывая на блестящее пенсне учительницы, и мучительно соображал, что делать. То ли пройти мимо нее, будто бы забыв вчерашнее, мирно поздороваться, то ли, пока не поздно — была не была! — рвануть назад и целый день шляться по городу. Но пока он соображал, Изольда Павловна нетерпеливо сказала:

— Давай же скорей!

Ничего не понимая, Толик разделся и отправился вслед за учительницей.

Она выстукивала по коридору мерную, нудную дробь. Толик шел за ней, как кролик, загипнотизированный удавом, и лишь в последнюю минуту, когда они приблизились к кабинету директора, догадался, в чем дело. «Вот оно что! — подумал Толик, холодея. — Значит, его задумали кинуть в мельницу! Между древнеримскими жерновами?»

Дверь в кабинет директора была белая, будто за ней сидел не Махал Махалыч, а зубной врач. Вот сейчас Изольда Павловна схватит Толика за руки, чтоб он не брыкался, а директор станет сверлить ему зубы — ж-ж-ж-м! Толик даже простонал от боли, белая дверь распахнулась, он вошел и остановился у порога.

— Вот, привела! — сказала Изольда Павловна, отдуваясь, будто она запыхалась, будто она тащила Толика за руку, а он упирался, — Знакомьтесь. Ваш корреспондент.

Толик огляделся.

За столом сидел Михаил Михайлович, директор — Махал Махалыч, как звали его для удобства ребята. Или Топтыгин в квадрате: мол, два Михаила в одном имени. Кроме Махал Махалыча, в кабинете был еще один человек. Он стоял посреди комнаты, заложив руки за спину, и покачивался как пресс-папье — с носков на пятки, с пяток на носки. Дядька был высокий, седой и очень добродушный.

— Ну, ну, — сказал он, покачавшись, и протянул Толику руку. — Интересно познакомиться.

Седой стоял посреди кабинета с протянутой рукой, и Толику пришлось подойти к нему.

— Так вот, — сказал седой, — я и есть тот самый «товарищи, партийный комитет», которому ты писал.

Толик почувствовал, как у него холодеют пальцы, как отливает от головы кровь и там становится пусто и прохладно, будто в голове не мозги, а прогуливается ветерок.

— Рассказывай! — бодро велел седой. — Рассказывай все по порядку, я тебя внимательно слушаю. — И, наверное, заметив, что у Толика остановились и расширились зрачки, добавил мягко: — Да ты не бойся! Говори как на духу — и все будет хорошо, не зря же ты на нас надеялся!

«Вот она, расплата!» — лихорадочно думал Толик. Да, он знал, что его могут разыскать. Но ведь он не предполагал, что все сложится так. У него и мысли не было, что из партийного комитета могут прийти прямо сюда, в школу.

Толик мучился, Толик презирал себя, воевал с бабкой, прятался от отца — и все это были его личные дела. И никто не мог сунуть в них свой нос. Это были страшные тайны Толика. А теперь их узнает вся школа! Будто он играл в домино, а потом показал все свои костяшки — смотрите!

Все! Конец!..

Толик неожиданно успокоился.

Сейчас он смотрел на себя как бы со стороны. Будто не пятиклассник Бобров сидел тут, в директорском кабинете, провалившись по уши в черное мягкое кресло, и будто не с ним говорил седой. Он чувствовал себя как бы зрителем, как бы посторонним.

— Так я слушаю тебя, — сказал седой. — Почему ты решил, что именно партком тебе поможет? А не сами твои родители?

«Он совсем не строгий», — машинально отметил Толик.

— Я жду! — повторил седой. — Говори уж, раз писал...

Толик молчал.

— Ты сам сочинял эти письма? — спросил опять высокий человек, доставая из кармана два знакомых конверта...

Толик молчал. Что ему оставалось делать? При-

знать, что одно он написал, почти ничего не соображая, в тумане, потому что его избили. А про второе вообще ничего не объяснишь. Даже если сказать, они не поймут, скажут, врет, изворачивается, вон чего нагородил. Нет, лучше молчать.

— Ну что с тобой будешь делать! — вздохнул седой. — Твердый ты, видно, парень, с характером, слова от тебя не добьешься. Значит, писал, все обдумав, все всерьез.

— Видно, всерьез тебя обидел отец, — тихо сказал Махал Махалыч. — Видно, крепко он виноват!

Кровь мгновенно прихлынула к сердцу, к голове, к рукам, и Толик почувствовал, как покраснел от пяток до макушки.

«Значит, они решили, что виноват отец. Значит, отцу будет плохо», — подумал он и вдруг, сам того не ожидая, крикнул:

— Нет!

Один раз он уже стал предателем отца. Больше не будет. Ни за что не будет.

— Ну, ну! — сказал седой. — Так ты считаешь, что отец не виноват?

— Нет! — снова ответил Толик.

— Но почему ты писал жалобы? — удивился он. — Да еще одну из них в горком. Откуда ты вообще знаешь, что можно жаловаться в партком, в горком?

— Такая настойчивость, — сказал из-за стола Махал Махалыч, обращаясь к седому, — такая последовательность на дело рук ребенка не похожи. Тут действовал прямо-таки профессиональный склочник.

Директор встал, вышел на середину комнаты и остановился рядом с седым.

— Н-ну, почему же? — протянула Изольда Павловна, блестя пенсне. Все время она стояла сбоку и молчала, будто чего-то ждала. — Причиной этих писем, — сказала она, — может служить целый комплекс — нездоровая обстановка в семье, дурное влияние улицы. — Говорила седому и совсем не замечала директора. — Знаете, я давно замечала за мальчиком слишком уж какую-то... м-м... потаенность, что ли... А это плохой признак. Не зря поговорка говорит: в тихом омуте черти водятся!

Словно отчего-то обидевшись на Изольду Павловну, Махал Махалыч вдруг быстро отошел к окну, гром-

ко забарабанил о подоконник костяшками пальцев, а Толик подумал, что он уже где-то слышал эти слова недавно. Кто-то говорил ему их.

Вспомнил! Это было, когда в школу пришел отец. Толик выпрыгнул из форточки и побежал без шубы домой. На пригорке стояла Женька, и она сказала ему вслед: «В тихом омуте черти водятся». Толик не обратил на это внимания, не до того было, а сейчас вспомнил. Так вот, оказывается, что! Женька повторяла материны слова. Не зря, значит, все ее слушают в классе. Не зря боятся. Раньше Толик не знал этого — только предполагал. Теперь знает. А седой сказал горячо:

— Но ведь его отец прекрасный работник, хороший коммунист.

— Ну, знаете ли! — рассмеялась Изольда Павловна. Махал Махалыч отвернулся от окна.

— Может быть, мы отпустим ребенка? — спросил он нервно.

— Ну что ж, — сказал седой, хмурясь и внимательно глядя на Толика. — Подведем итог. Значит, ты писал жалобы на отца, считая, что он ни в чем не виноват? Это, конечно, странно, но если все так, ты очень нелюбишь отца!

Седой человек посмотрел Толику прямо в глаза, и тот не отвел взгляда. Они глядели друг на друга, и Толик чувствовал, что еще немного — и он заплачет. Слезы плясали у него в глазах, все перед ним расплывалось, и седой человек из парткома расплывался тоже, но Толик не сводил с него глаз.

Кто-то легонько тронул его плечо. Толик обернулся. Махал Махалыч стоял сбоку и кивал головой.

— Ничего, — сказал он тихо. — Все будет в порядке. Иди...

Толик медленно побрел к двери, а Изольда Павловна тяжело вздохнула, будто это у нее случилось несчастье:

— О-хо-хо!..

— Изольда Павловна! — услышал Толик, закрывая дверь, резкий голос директора.

Толик вышел из кабинета, плотно прикрыл за собой дверь и прислонился лбом к белому косяку.

Плечи у Толика затряслись в беззвучном плаче. Но в школе ведь и не поплачешь даже. Возле Толика сразу остановились два любопытных первоклассника...

Когда перед самым звонком Толик вошел в класс, там стояла необычайная тишина. Ребята сидели словно на выставке, свернув руки калачиком, аккуратно разложив на партах тетрадки и учебники, — прилизанные и посветлевшие от счастья: будто сейчас им по пирожному принесут, а не урок начнется. Возле стены, на скамейке, как куры на насесте, жались от тесноты студентки — расфуфыренные, в нарядных платьях, с красивыми прическами и надушенные так, что Толик даже поморщился. На именины собрались, не иначе!

Затарахтел звонок, в класс вошла Изольда Павловна и первым делом вызвала Женьку. На Женьке серебрился белый накрахмаленный воротничок, глаза у нее блестели, и отвечала она так, будто по книге читала, — слова как горох выскакивали из ее маленького круглого рта, без запинки, без зазубринки.

Толик обернулся назад — студентки восхищенно вздыхали, сдержанно покачивали головами, восторгаясь Женькиным ответом, быстренько строчили что-то в своих тетрадках.

Одна студентка шевелилась больше других, громче всех вздыхала и, волнуясь, выше всех закинула ногу на ногу, чтоб было удобней записывать, так что виднелись даже голубые трусики. Уши у студентки горели, будто отвечала не Женька, а она, на носу плясали рыжие веснушки, и Толик улыбнулся ей. Прямо как девчонка, а еще в институте учится.

Женька все тараторила — похоже, что она вызубрила урок, как стихотворение. Наконец, Изольда Павловна остановила ее и поставила четверку. Студентки заохали, зашептались, но Изольда Павловна словно ничего не заметила и вызвала своего человека, Цыпу.

С тех пор как Изольда Павловна пропустила Цыпу сквозь свою мельницу, еще не было ни разу, чтобы он не выучил по русскому. Но даже и у Изольды Павловны раньше он мямлил, хотя и отвечал правильно.

Сейчас Цыпа говорил так, будто рапортовал правила русского языка какому-нибудь маршалу. Тощая грудь его вздымалась под пиджаком, он смело глядел на студенток и тарабанил правила, как опытный бабабаник печатает дробь.

«Во дает!» — восхищенно подумал Толик, не узна-

вая Цыпу, — тот шел явно на пятерку, — но и ему Изольда Павловна поставила только «четыре».

Тут Толик удивился совсем. Женьку «русалка» зажимала всегда, но ведь Цыпа-то, Цыпа в другой раз получил бы пятерку! Нехорошая мысль пришла Толику. «А что, если, — подумал он, — это она специально? Специально вызвала Женьку и Цыпу, а не других, чтоб не подвели. Глядите, мол, студентки, как учить надо!»

После всего, что произошло в кабинете директора, Толик смотрел на Изольду Павловну, словно на змею, которая того и гляди ужалит. Как она сказала про него и про отца! Как она вообще говорила! Никогда Толик эту учительницу не любил, а сегодня особенно. Сегодня она вообще на модель походила, какие в магазинных окнах стоят. Вроде бы и похожа на человека, а сама неживая, холодная. И хитрая!

Конечно, Женьку с Цыпой она нарочно предупредила, чтоб уроки выучили. У Толика задрожали руки: а что, если проверить?

Цыпа кончил барабанить свои правила, и Толик поднял руку. Сейчас он узнает, прав или ошибается. Сейчас увидит — спросит его Изольда Павловна или нет. Он поднял руку повыше, хотя никаких уроков вчера не учил. А ну и что! Подумаешь, двойка! Зато сразу ясно станет.

А если не ясно? Если спросит?

Ну, тогда он ей отомстит за то, что она у директора говорила, — выйдет к доске и понесет какую-нибудь чушь. На «пару». Она же не хочет, чтоб у нее на таких уроках двойки получали.

Сердце гремело, а Толик все тянул и тянул руку. Изольда Павловна уже заметила его; он видел, что заметила, видел, как недовольно сверкнуло ее пенсне и как зашуршала она в классном журнале, отыскивая там что-то. Заметила, но представляется, что не видит.

Толик злорадствовал. Значит, точно! Значит, не хочет спрашивать, чтоб не подвел!

Наконец «русалка» оторвалась от журнала, строго взглянула на Толика и спросила:

— Тебе надо выйти, Бобров?

Кто-то хихикнул.

— Нет, — ответил Толик.

— А что же? — спросила учительница.

— Отвечать.

Изольда Павловна усмехнулась тонкими бледными губами и сказала вдруг:

— Пожалуй, сегодня тебе отвечать не стоит. Ведь тебе, должно быть, и не до уроков сегодня. Отдохни от домашних неприятностей...

Она говорила это вкрадчивым, тихим голосом, и со стороны можно было подумать, что учительница заботится о Толике, у которого что-то случилось дома, что она вообще очень добрый человек.

Бледней, Толик увидел, как на него с любопытством глядят ребята, словно на марсианина. Никогда в классе ни о чьих домашних неприятностях не говорили, и уж раз Изольда Павловна сказала, да еще так сказала — жалеючи, да еще при студентках, значит, у Толика и правда что-то такое-разэтакое случилось.

Нет, что угодно, а такой подлости он не ждал от Изольды Павловны! Конечно, она бы непременно сказала Женьке про письма, а та всем другим, это ясно, но вот так, как сейчас! При всех! Ненавидящим взглядом Толик смотрел на учительницу, стараясь поймать, увидеть ее глаза, но Изольда Павловна глядела поверх класса. Вот, значит, она какая — злая, беспощадная! И лживая, лживая!..

Но все-таки Толик узнал правду. Она не захотела его спросить. Она спросила лишь Женьку и Цыпу, чтоб студентки поразились ее строгости.

— А вот завтра, — Изольда Павловна мягко, как кошка, подошла к Толику и вдруг погладила его по голове. Толик отпрянул, словно ошпаренный. — Завтра, — повторила она ласково, — может, тебя и спросят...

— Познакомьтесь, ребята, — продолжала она, отходя от Толика. — Завтра урок будет вести у вас практикантка Ерошкина.

Класс оживился, захлопал партами, заоборачивался, Толик обернулся тоже и увидел, как рыженькая студентка, став красной, словно клюквенный кисель, поднялась и поклонилась, будто она артистка на сцене.

Ребята зашушукались, засмеялись, но Изольда Павловна сказала негромко:

— Тихо!

Все замерли, как по команде, желая быть образцовыми.

— Так что попрошу меня не подвести! — холодно улыбаясь, пошутила Изольда Павловна, и у Толика

по коже прокатились мурашки в предчувствии недобрых событий.

Всю перемену к нему лезли ребята:

— Кто у тебя помер?

— А может, обворовали?

Толик, натянуто усмехаясь, стоял в коридоре, отмахивался от липких приставал, молча глядя на всех исподлобья.

Откуда-то появился сияющий Цыпа. Его не было всю перемену. Толик видел, как после урока пробежала вдоль коридора сначала Женька, а чуть позже — Цыпа, и вот он вернулся сияющий, словно новый гривенник.

Сейчас Цыпа носился по коридору, будто угорелый, — весь взмок и раскраснелся на радостях, Толик усмехнулся. Сбегал с Женькой, Изольда Павловна их похвалила, наверное, вот и радуется, дурак.

Вдруг Цыпа остановился возле Толика.

— Ну чего ты? — спросил он.

— У него, кажется, кто-то умер, — сказала задумчиво Машка Иванова, — он не говорит.

— Ха, умер! — крикнул Цыпа. — Знаю я эти похороны! Врет он все! На отца родного жалобы пишет, а сам прикидывается!

Не раздумывая, словно стрела, Толик кинулся к Цыпе и воткнулся головой в его живот.

Ребята их едва разняли в конце перемены. Да и то, когда Коля Суворов крикнул, чтобы напугать Цыпу:

— Цыпленков, «русалка»!

Цыпа вскочил, ошалело оглядываясь, и Толик засмеялся над ним. Под глазом у Цыпы сидел приличный фингал.

— Ну погоди... — прошептал длинноногий Цыпа, потирая снык. — Я тебе покажу, я тебе не забуду...

11

На другой день Толик был дежурным в классе и, может быть, потому так остро почувствовал, как переменялись к нему ребята. Если бы он не дежурил, побродил бы в переменку по школе, может, даже на улицу выскочил бы, глотнул весеннего воздуха, сбил бы сосульку с карниза, полизал ее, остудился или на другой этаж сходил, где нет ребят из их класса, все-таки не

было бы так тоскливо. А тут сиди как сыч, один-одинешенек, пока другие по коридору носятся. Сиди да думай про свое.

На первой же перемене дверь в класс приотворилась, и чья-то чернильная рука пустила из коридора бумажного голубя. Толик его поймал, хотел выбросить, да увидел, что на крыле написано: «Предатель собственного отца». И рядом морда нарисована — злая, с оскаленными зубами. Надо думать, он.

Толик смял голубя, швырнул комок в форточку, прислонился лбом к оконному стеклу.

«Цыпины штучки, — подумал он равнодушно. — Выйти бы сейчас да, как вчера, снова синяков ему наставить». Но Цыпа не стоил того. А то еще немного, глядишь, Цыпа вроде героя станет.

На уроках старалась Женька. Она косилась в сторону Толика, прищурясь, кривила губы, будто прикасалась к чему-то липкому и мерзкому, шепталась с Цыпой; они хихикали и, глядя на Толика, осуждающе качали головами.

Эти двое Толику были понятны, но ведь класс состоял не только из них. Пристально и удивленно глядел на Толика Коля Суворов — веселый и справедливый человек. Поймав взгляд Толика, он смущенно отворачивался, но потом снова смотрел, смотрел задумавшись, недоуменно. Исподлобья взглядывала на Толика приветливая Машка Иванова, хоть и зубрилка порядочная, и растеряха, будто ветер у нее в башке свищет, но хорошая девчонка, свой человек. В ее глазах Толику улавливал осуждение, но что делать, права была Машка, прав был Коля. Они же ничего не знали...

После третьего урока, когда началась большая перемена и ребята ушли из класса, в дверях появилась практикантка Ерошкина.

Лицо у нее пылало, веснушки дрожали на носу. В классе запахло духами.

— Здравствуй, мальчик, — тревожно сказала она. — Ты дежуришь?

Толик кивнул и улыбнулся Ерошкиной. «Ерошка на одной ножке», — подразнил он ее про себя.

— Я напишу на доске примеры, — сказала она, берясь за мелок, — а ты смотри не стирай! — И стала выводить округлые, красивые буквы.

«Примеры деспричастий, — написала она и подчерк-

нула заголовок жирной чертой. — Пятак упал, звеня и подпрыгивая. Лошадь скакала, закусив удила. Уходя от преследования, олень несся по лесу».

Не оборачиваясь, Ерошкина вдруг спросила Толика:

— Ты готов?

— Что готов? — не понял он.

— Урок выучил?

А-а, не забыла, значит! Или заботливая Изольда Павловна напомнила.

Толик вздохнул и полез за книжкой. Никогда он раньше таким делом не занимался, чтоб урок учить в перемену. Ненадежно это, что и говорить. Ненадежно, а что делать? Прочитал, запомнил, пока вызовут, еще забыть не успеешь.

Вчера же был, конечно, особый случай, и Толику после сражения с Изольдой Павловной стоило бы выучить урок. Но он опять бродил по магазинам, пока их не закрыли.

— Так ты не подготовился? — обернулась Ерошкина.

— Сейчас прочитаю, не волнуйтесь, — ответил Толик и криво улыбнулся ей.

— А успеешь? — засмеялась Ерошкина.

— Успею, чего там, — буркнул Толик.

— Ну что ж, — согласилась она и пошла к двери. — Только, пожалуйста, — обернулась на пороге, — только, пожалуйста, приготовь тряпку.

Толик кивнул ей и побежал к уборной. Когда, намочив тряпку, он возвращался назад, загремел звонок, и Толик вошел в класс вместе со всеми.

Он кинул тряпку в ящичек — и обомлел: примеров Ерошкиной на доске не было. Их будто кто-то слизнул языком.

Он все стоял, ошалело глядя на доску, когда в класс одна за другой вплыли нарядные студентки. За ними горделиво шла Изольда Павловна, выгнув коромыслом длинную шею. Шествие замыкала розовая от волнения Ерошкина. Ничего не замечая, она простучала каблучками к столу, раскрыла журнал, но в это время сзади произошло движение, и из класса пулей вылетела заалевшая Изольда Павловна.

«Камчатка» загудела, студентки заволновались и поплыли из класса обратно. Печальное шествие замыкала

Ерошкина. Она громко сморкалась в кружевной платок, и Толику стало ужасно жалко ее.

В класс ворвалась Изольда Павловна и, поднеся к глазам руку с часиками, сказала:

— Быстро! Кто сделал? — И вдруг начала отсчитывать: — Раз! Кто сделал? Два! Кто сделал? Три!

Дверь распахнулась, и на пороге появился Махал Махалыч. «Как фокусница», — подумал про «русалку» Толик.

В мертвой тишине директор прошел по рядам и сел на последнюю парту. Еще один ученик.

— Ну что ж, — ледяным голосом сказала Изольда Павловна. — Разберемся. Кто дежурный?

Толик поднялся, опустив голову, сознавая свою вину, — и в самом деле, подумай он про тряпку раньше, даже, в конце концов, не послушай Ерошкину — получил бы лучше урок — и все бы было в порядке.

— О-о!.. — удивилась Изольда Павловна. — Так это ты дежуришь, Бобров! Значит, это ты стер примеры с доски?

— Зачем? — растерянно спросил Толик.

— Ну не знаю, — ехидно ответила Изольда Павловна. — Мало ли...

Толик вдруг разозлился. Еще чего не хватало! Он дежурный — и он же стер. Не много ли на одного?

— Я выходил смочить тряпку, — ответил Толик как можно спокойнее. — Ерошкина меня попросила.

— Н-нда!.. — недоверчиво произнесла Изольда Павловна. — Ну ладно. Все встаньте.

Четко хлопнули крышки парт. Класс поднялся.

— Будете стоять до тех пор, пока провинившийся не признается! — внятно выговаривая каждое слово, произнесла Изольда Павловна и, сложив на груди руки, уставилась за окно.

Весь класс стоял, сидел один Махал Махалыч на последней парте, и, видно, ему было неловко от этого. Он поднялся и тоже подошел к окну, только не к тому, возле которого стояла учительница, а к другому.

Директор и Изольда Павловна глядели в окна, ребята послушно стояли за партами, и Толик все больше чувствовал себя виноватым. Все-таки учительница подсказала, кого винить. Каждый стоит, наверное, и о себе думает: «За что я тут мучаюсь? Виноватого все равно не найти, не сознается, так пусть отвечает дежурный».

Следить за доской он должен? Должен! В класс не должен никого пускать? Не должен! Так с него и спрос!»

Урок кончился, прошла перемена, снова затарабанил звонок, и теперь должна была начаться литература. Махал Махалыч неожиданно попросил:

— Изольда Павловна, пусть они сядут!

Учительница сверкнула на директора стеклышками пенсне, Толику почудилось, что она возмутилась; кажется, и Махал Махалычу тоже так показалось, и он пояснил:

— Так им думать будет легче.

Изольда Павловна надменно кивнула, класс сел, и снова настала тишина.

Кончились уроки, а Изольда Павловна все стояла, окаменев, только Махал Махалыч, как медведь, как в самом деле Топтыгин, прохаживался по рядам, толстый, маленький, круглолицый.

Ребята переглядывались между собой, рассеянно улыбались — всем хотелось есть, хотелось пить, надо было идти домой, и Толик все чаще ловил на себе беспокойные взгляды одноклассников.

Наконец Изольда Павловна встрепелась, велела выйти из класса Женьке и ушла вслед за ней.

Как-то так вышло нечаянно: класс вдруг вздохнул, зашевелился.

— Долго мы будем сидеть? — спросила, осмелев, Машка Иванова Махал Махалыча.

Странно — директор пожал плечами. Изольда Павловна, наверное бы, завизжала, услышав это, а Махал Махалыч пожал плечами.

— Кто-то виноват, а мы сиди! — осмелела Машка.

— А вот это плохо, — ответил директор, останавливаясь у доски. — Очень плохо. Вы должны быть как в поговорке: один за всех, и все за одного. И дружить, и отвечать. Всем за одного заступаться. Всем за одного отвечать. И одному за всех.

Толик посмотрел на директора с интересом — ему понравилось, как сказал Махал Махалыч.

Это правда. То, что все должны отвечать за одного, давно известно, а вот что один за всех — это верно. И страшно важно.

— Мы уже устали! — резко сказал директору Коля Суворов. — И потом — когда учить уроки?

Махал Махалыч внимательно посмотрел на Колю.

— Ребята, — сказал он негромко, — классный руководитель — Изольда Павловна, а не я, И решать будет она. Но я вам дам один совет. Обещайте Изольде Павловне, что вы разберетесь сами. И действительно — разберитесь сами. Без кулаков, по-человечески. И я еще одно скажу, хотя эти слова, наверное, вам повторяют каждый день: вы же пионеры. Больше! Вы — люди!

Он помолчал. Класс притих, внимательно глядя на Топтыгина в квадрате. Никогда Изольда Павловна с ними так не говорила.

— Все бывает с людьми, — сказал директор, — но из любого, самого нехорошего положения человек должен выйти с честью. Потому он и человек.

Директор постоял немного и вышел. Но никто не оживился, не зашумел. Ребята сидели подавленные и тихие. Открылась дверь, и вошла Женька. Она была строгая, щурилась, как всегда, а сама забыла вытереть губы, и они маслялись то ли от бутерброда, то ли от жирных пончиков с повидлом, и Толик увидел, как весь класс внимательно ее оглядел с головы до ног.

Теперь уже не на Толика пристально поглядывали ребята, а на Женьку, и он почувствовал, как растет в тишине — медленно, но уверенно — глухое недовольство.

Боязнь Женьки, учительницыной дочки, на глазах исчезала, растворялась.

Долго и упорно внушала Изольда Павловна классу, что ее Женька такая же ученица, как другие, равная остальным, — ей даже приходится хуже, потому что ее строже спрашивают. И вдруг — будто фотография проявилась. То, что было невидимо, увидел сразу весь класс. Женька сидела с масляными губами, а остальные голодные — вот и все.

Скорчила рожицу Машка Иванова, и эта рожица явно относилась к Женьке. Кто-то на задней парте в знак протеста забренчал копейками.

Коля Суворов вдруг зашушукался, и ребята быстро стали передавать друг другу монетки. Пятаки, копейки, десятинки. И все сразу увидели остров — парту, где сидели Женька и Цыпа. Им ничего не говорили. У них денег не брали. Коля Суворов подошел к двери, высунулся в коридор и исчез. А вернулся с оттопыренным пиджаком.

Класс сразу оживился, под партами передавали жел-

тые, поджаристые пирожки. У Толи заурчало в животе, но он не подал и виду. Разве до этого было! Толику неожиданно стало весело. Еще бы! Значит, не так уж все плохо, раз ребята начинают помаленьку бастовать, значит, не все они под стать перевоспитанному Цыпе.

Кто-то стукнул Толика в плечо.

Он обернулся. Это был Коля Суворов. Он подмигивал Толику и протягивал ему пирожок.

— Не! — растерявшись, громко сказал Толик.

— Да на! Бери! — шептал ему Коля и приветливо улыбался.

Ничто не ранило бы Толика так, как это. Войди сейчас в класс отец и обними его — он сдержался бы. Приди Изольда Павловна и извинись за подозрение — он бы только чуть отошел сердцем. Прибегни сейчас бабушка и бухнись ему в ноги — он лишь усмехнулся бы. А тут...

Толик взял пирожок и, не выдержав, громко заплакал.

Худенькие его плечи вздрагивали, слезы катились градом, Толик стыдился их, принуждал себя успокоиться, но не мог, не мог...

Притихнув, ребята глядели на Толика.

Неумело, по-мальчишески резко гладил его по макушке Коля Суворов.

А в класс вползали сумерки.

12

Всякому дождю наступает конец.

Сколько бы ни лил он, барабания по мокрым стенам, сколько бы ни колотился в водосточных трубах, норовя их разорвать, все равно настанет день, когда тучи разойдутся, уступая новой силе.

Толик еще всхлипывал, стараясь успокоиться, еще гладил его по макушке Коля Суворов, добрая душа, еще не вернулась в класс Изольда Павловна, зачинщица тяжелого испытания, еще бродили над головой тугие тучи, но неожиданно, в какую-то минуту, Толику вдруг стало хорошо и ясно.

Исчезла вдруг тяжесть, неодолимая тяжесть, которую он таскал на себе столько дней, ему стало легче дышать — будто после долгих дождей возшло в нем его собственное, маленькое солнце.

Толик поднял голову.

Больше всего боялся он, что ребята станут смотреть на него жалеючи, но нет. Его подбадривали. Ему кивали — без улыбок, серьезно. Мол, хвост морковкой, старик!

И Толик улыбнулся.

Впервые за много дней улыбнулся он беззаботной улыбкой и освобожденно вздохнул.

Хлопнула дверь, и на пороге возвысилась торжественная Изольда Павловна. Она победно оглядывала класс, будто узнала какую-то новость, какую-то военную тайну. Вот скажи она слово — и виноватый признается. Но и этого мало. Все вдруг встанут перед ней на колени и сложат бутербродом ладошки. Опустят головы, а над Изольдой Павловной засветится яркий круг, как на иконах над разными старцами. Молитесь, непослушные, пока не поздно! Пока еще время есть! Пока еще может святая Изольда простить и помиловать.

Учительница все оглядывала, оглядывала ряды своим пристальным вороньим взглядом и наконец воскликнула задиристо:

— Что же! Тем лучше!..

И опять оглядела класс торжествующим оком.

— Там приходят родители! Я пригласила их в класс!

Учительница шагнула в сторону, и в дверях появились, смущенно озираясь, три мамы, чей-то папа, одна бабушка и даже один десятиклассник — брат Машки Ивановой. Он учился в этой же школе; увидев его, ребята оживились, к тому же Машкин брат показал ей кулак: мол, чего ты тут?

Пятиклассники засмеялись, а бабушка с седыми кудряшками воскликнула:

— Им еще весело!

— Вот-вот! — скорбно подтвердила Изольда Павловна. — Им еще весело!..

Она помолчала, собираясь с мыслями, и, сложив ладошки на животе, траурно заговорила:

— Дорогие родители, у нас большая беда! Сегодня наш класс сорвал урок практикантки...

Она говорила торжественно, трагически приглушая голос, будто случилось действительно страшное. Будто в пятом «А» кто-то умер прямо на уроке, и не просто так, а исключительно по вине учеников.

Родители сидели, притихнув, опустив головы, словно

это они были во всем виноваты, да и Изольда Павловна смотрела на них строго, с пристрастием, вовсе не снимая со взрослых вины за происшествие в пятом «А».

Наконец она умолкла и тяжело вздохнула. В классе настала тревожная тишина.

— И не сознаются? — осторожно спросила мама Коли Суворова.

Она пришла, не сняв даже фартука, который торчал из-под расстегнутого пальто, прибежала встревоженная, и Толик слышал, как, проходя мимо Коли, она шепнула ему: «Мы тебя потеряли!»

— Нет! — тяжело вздохнула Изольда Павловна.

— Покрывают, значит, друг дружку, — воскликнула неизвестно чья бабушка с седыми кудряшками. — Круговая порука, надо понимать. Ну и деток мы воспитали! Так, глядишь, они и банду образуют. Грабить начнут!..

Ребята захихикали.

— А что! — вскричала Изольда Павловна. — Большое всегда начинается с малого.

Хлопала дверь, входили новые родители, и каждому Изольда Павловна повторяла занудливо:

— У нас большая беда! Сегодня наш класс сорвал урок...

И всякий раз ребята прыскали, уже несколько не стесняясь.

Пришел полковник, Цыпин папа, и, узнав, что случилось, зарделся как помидор, опустил щеки и свирепо оглядел класс. Ребята притихли. Полковник подошел строевым шагом к Цыпе и спросил его громовым голосом:

— Надеюсь, не ты?

Цыпа замотал головой, забегал глазками; отец промаршировал к родительской скамье и подал оттуда команду:

— Надо опросить каждого!

«Значит, будет допрос, — подумал Толик и увидел, как вытянулись и побледнели лица ребят. — Вот так штука, ничего себе!»

— А может, не стоит? — сказал, волнуясь, кто-то с задней скамьи.

Толик обернулся. Говорила Колина мама. Тонкая синяя жилка часто-часто подрагивала у нее на шее, руки дрожали.

— Может, отпустим их домой, уже поздно? — говори-

ла она, обращаясь к взрослым. — А завтра они сами поймут, что поступили нехорошо...

Полковник побагровел и крикнул:

— Гнилой либерализм!

Что такое либерализм, Толик не знал, но раз он был гнилой — значит, что-то вроде картошки. Однако и непонятливому человеку было ясно, что полковник Колину маму обвинял в чем-то нехорошем, потому что страшно при этом поморщился. Седая бабушка шумела, что если все прощать таким соплякам, то через полгода они станут законченными негодьями и непременно образуют банду. Почему-то она боялась банд, словно банды так и бродили по улицам. Какой-то папа расстегивал в возбуждении пиджак, тоже чем-то возмущаясь, и Толику показалось, что еще немного — и этот дядя станет вытаскивать из брюк ремень.

Шум поднялся такой, как в коридоре на перемене. Колина мама, потупившись, замолчала.

Пока родители кричали, Изольда Павловна стояла, словно медная статуя из поэмы Пушкина «Медный всадник», не шелохнувшись, не вздрогнув, не проронив ни слова. Дождавшись тишины, она сверкнула пенсне, давая как бы понять, что предложение Колиной мамы просто смехотворное, о чем даже говорить неприлично. И не успел Толик моргнуть, она уже шла по рядам.

— Это сделала ты? — спросила учительница первой Машку Иванову.

— Нет! — испуганно вскричала Машка.

— Дай честное пионерское!

— Честное пионерское.

— А ты знаешь, кто это сделал?

— Нет!

— Дай честное пионерское!

— Честное пионерское...

Изольда Павловна поднимала всех подряд, парта за партой. Ребята вставали, краснея, стесняясь родителей, стыдясь, что с них требуют непременно честное пионерское, бубнили под нос слова, которые надо говорить громко, а всем было тошно, противно, грязно. Даже Женька глядела куда-то под парту. Даже родители, которые только что кричали, перебивая друг друга, смущенно покашливали на задней скамье.

Одна Изольда Павловна чувствовала себя прекрасно.

Она переходила от парты к парте, глядя поверх ре-

бят, ничуть не смущаясь своей новой работы, наоборот, ее губы слегка улыбались — Изольда Павловна просто наслаждалась!

— У, бешеная! — прошептал сбоку Коля Суворов, и Толик усмехнулся.

Давно он ждал от Изольды Павловны гадости, давно казалось ему, что «русалка», как цирковой сундук у фокусника — с двойным дном, но чтоб допрашивать она могла с таким наслаждением — этого даже он, недоверчивый человек, подумать не мог.

И прежде знал Толик, что никто в классе не интересуется Изольду Павловну.

Никто, даже ее собственная Женька. И четверки-то ей вместо заслуженных пятерок она не для Женьки ставила, а для самой себя. Нет, Изольду Павловну в пятом «А» интересовал лишь один человек — классный руководитель Изольда Павловна.

Раньше «русалка» таилась, маскировалась, а теперь все ясным стало.

Будто сняла со своего носа пенсне Изольда Павловна, и все увидели наконец-то ее глаза — пустые, бессердечные, злые.

13

Изольда Павловна медленно двигалась от парты к парте, ребята как заклинание повторяли: «Честное пионерское», «Честное пионерское», — и Толик вспомнил древнюю казнь. Раньше, до революции, солдат пропускали сквозь строй. Их били прутьями. Здесь никого не били, но каждый тоже проходил сквозь строй. Будто ребята не людьми были, а перчатками. Изольда Павловна брала каждую перчатку и на левую сторону выворачивала. Трясла перед всеми. Нет ли там, в складках, чего-нибудь неприличного.

«Русалка» допрашивала с удовольствием, и каждый раз, когда садился на место очередной узник, позорно поклявшись, что он тут ни при чем, отгородившись как бы от класса личной своей невиновностью, сзади, на родительской скамье, раздавался облегченный вздох.

Вздыхала мама, или бабушка, или отец нового невиновного, который дал в том священную клятву.

Очередь подходила уже к Толику, как дверь снова

распахнулась. На пороге, прислонившись к косяку, стояла запыхавшаяся мама.

Каждый раз, когда отворялась дверь, Толик с трепетом ждал появления мамы, хотя был уверен, что она не придет. Сколько дней подряд он шлялся до поздней ночи, не учил уроки, и мама будто не замечала этого. Она думала о своем. Ходила по комнате как загипнотизированная и не обращала на Толика почти никакого внимания. Так что по сравнению с магазинными шланиями сейчас было совсем не поздно, и Толик вовсе не надеялся, что мама вдруг окажется в школе, спохватившись о нем.

Но мама была здесь, стояла в дверях, прислонившись к косяку, и, вглядываясь в ее побледневшее лицо, Толик понял, что что-то случилось...

— А-а, — ласково запела Изольда Павловна, увидев маму. — Проходите! Мы вас ждем... У нас большая беда... Сегодня наш класс сорвал урок...

Теперь уже никто не смеялся. Не до смеху было. Кончился весь смех. Осталась одна тяжесть. А учительница продолжала, обращаясь к маме:

— Мы вынуждены были оставить весь класс. Сейчас опрашиваем каждого. Половина ребят уже дала честное пионерское, что это сделали не они.

«Русалка» торжественно взглянула на класс. Что-то вроде улыбки расплзлось по ее лицу.

— И вы знаете, — сказала она, по-прежнему обращаясь к маме. — Я верю этим ребятам. Больше того — я очень подозреваю, что с доски стер ученик, которого должны были спросить.

Сердце у Толика опять зашлось.

— Он не выучил урока, — торжественно говорила Изольда Павловна, — в этом он признался даже практикантке — и решил сорвать занятие.

Мама стояла у доски, опустив голову, будто это она сорвала урок, будто это она не выучила задание и призналась в этом практикантке.

— Вы знаете, кто этот ученик? — вкрадчиво спросила Изольда Павловна.

Мама судорожно глотала воздух.

— Простите его, — прошептала она. — Это я виновата! Я! — В маминых глазах стояли слезы. — Сейчас приходили из милиции. Он ящик поджег. Но он не виноват! Это я, я!..

Все в Толике дрожало. Его колотил дикий озноб. Руки были словно ледышки, нестерпимо мерзли ноги, а голову будто сдавило железным обручем.

В классе стало совсем тихо.

И вдруг все зашевелились. Ребята застучали крышками парт, родители заговорили, закашляли, зашумели.

— Так зачем же? — воскликнула возмущенно мама Коли Суворова. — Так зачем же вы держали весь класс, если знали, кто виноват? Тридцать детей сидят голодными!

— А затем, — вскинулась на нее Изольда Павловна, и в классе опять стало тихо, — чтобы преподать и детям, и непонимающим родителям, — она посмотрела на маму Толика, — урок честности!

— Не знаю! — сказала Колина мама, застегивая пальто и подвигаясь к выходу. — Не знаю! Может, у вас какие-то свои педагогические приемы, но это возмутительно — устраивать такой спектакль! Тем более что у Толика действительно какая-то беда! — И указала на маму, горестно сидевшую рядом с Машкой. — Или вы не видите?

Изольда Павловна медленно покрывалась пунцовыми пятнами, но молчала.

— Пойдем, Коля! — сказала его мама и открыла дверь, едва не столкнувшись с директором.

Он шагнул в класс, и Толик заметил, как сразу затеплела его блестящая лысина.

— Изольда Павловна, — спросил он удивленно, — вы еще не кончили?

Но этого вопроса почти никто не услышал. Родители поднимались со скамьи, громко разговаривая, словно они сбросили с себя тяжелый камень, который тащили все вместе, как древние рабы, строители пирамиды Хеопса.

Полковник, опустив щеки, тряс головой, соглашаясь с тем, что говорила ему, размахивая руками, седая бабушка, никто уже не обращал внимания на Изольду Павловну.

И вдруг, перекрывая шум, крикнул Коля Суворов: — Мама, подожди! Подождите все!

Женщина у дверей остановилась, замерла полковник, уселась обратно на скамью седая бабушка.

— Подождите! — снова крикнул Коля и повернулся

к Махал Махалычу. — Я знаю, — сказал он. — Я знаю, кто стер с доски!

Все замерли, ожидая развязки.

— Но я не скажу, — говорил Коля. Глаза его блестя, хохолок топорщился, как у петушка, лицо покрылось румянцем. — Ведь вы говорили, чтобы все отвечали за одного! Но если один не хочет отвечать за всех — ведь он предатель! Если из-за него обвиняют другого, а он молчит!

Толик видел, с каким недоумением смотрела на Колю его мама. Она не просто удивлялась — она чуточку улыбалась краешками губ, будто одобряла Колю, будто радовалась, что говорит он громко, не стыдась, совсем как взрослый, и одобряла его за храбрость.

Коля умолк на мгновение, вдохнул побольше воздуха, словно собирался нырнуть на самую глубину.

— А теперь, — проговорил он, — проверьте у всех руки...

И ребята и родители недоуменно молчали.

— Проверьте руки, Михаил Михайлович, — повторил Коля, — ведь тряпку Бобров уносил в туалет, это видели все. Значит, с доски стерли рукой. — Коля слегка побледнел. — Я точно знаю, что стирали рукой. И рука, как ее ни оттирай, все равно в мелу.

Коля сел. Толик с благодарностью и с удивлением взглянул на него. Второй раз сегодня Коля помогал Толику. Вот он, значит, какой! Толик смотрел на Колю, и тот вдруг весело подмигнул ему. На сердце стало веселее, будто плыл Толик по морю и уже силы терял, выдыхался, но появился Коля и кинул ему спасательный круг. Или руку протянул и на берег вытащил.

Минуту Махал Махалыч молчал, потом вздохнул облегченно и, странное дело, улыбнулся.

— Будь по-твоему! — сказал он.

— Михаил Михайлович! — воскликнула удивленно Изольда Павловна. — Что ж это такое?..

Директор вопросительно взглянул на родителей.

— Как? — спросил он бодро. — Проверим?

— Чего уж там! — сердито сказала бабушка, боявшаяся бандитов. — Доводите до конца!

— До конца! — подтвердил Цыпин папа, а Махал Махалыч уже шел между рядов, оглядывая руки.

И вдруг Толик увидел Цыпу.

Он изо всех сил тер. о штаны свои руки.

Цыпа! Значит, это Цыпа! На воре шапка горит! Так вот как он решил отомстить, гад!

Махал Махалыч проверил руки у Женьки, взглянул на Цыпины ладошки, ничего не заметил и шагнул было дальше, как вдруг Машка Иванова сказала удивленно:

— А штаны-то!

Махал Махалыч вернулся.

— Ну-ка встань! — велел он Цыпе.

И тот, сразу вспотев, медленно вынул из-под парты свои длинные, костлявые ноги.

По классу покатился гул. Будто морская волна, которая несется, мчится к берегу, скаждой минутой становится выше, выше — и вот грохочет о прибрежные камни.

Коленки Цыпиных брюк были белым-белы, словно он ползал по доске на карачках.

Лицо его залилось зеленой краской. Цыпа озирался на скамейку, где сидели родители, и Толик услышал, как оттуда прогрехотали полковничьи шаги.

Цыпин папа, красный, как валоманный арбуз, приблизился к сыну и хлопостнул его тяжелой рукой по уху.

— Сукин ты сын! — воскликнул он.

И вдруг произошло неожиданное.

Произошло то, чего никто не ждал, даже сами ребята.

Пятый «А» расхохотался.

Пятый «А» дергал коленками, валялся на партах, кто-то даже упал на пол. Пятый «А» хохотал, покатывался, давился со смеху. Пятый «А» ржал как ошалелый, умирал со смеху, лопался на части.

Полковник растерянно озирался. Цыпа ревел. Отошла в угол Изольда Павловна, погасив стеклышки пенсне. Родители испуганно дергали своих ребят за рукава, чтобы они утихли, уgomонились, а Машкин брат даже дал ей порядочного тумака, но ничто не помогало.

Пятый класс хохотал.

Но хохотал как-то не так. Как-то невесело. Истошно, дико, психовато, но невесело.

И вдруг мама Коли Суворова оторвалась от двери и

быстро пошла по рядам. В ее глазах, широко открытых, виднелся страх. Она проходила по рядам и гладила ребят по голове, легонько шлепала по щекам, и ребята постепенно успокаивались, лишь изредка всхлипывая от странного смеха. И никто уж не мог вспомнить, отчего он смеялся. То ли было смешно, то ли горько...

Класс утихал, а Толик, который даже не улыбнулся за все это время, вдруг решил по-взрослому: если в такую минуту дети смеются, большие должны плакать.

Не успел он подумать это, как на первой парте, рядом с Машкой Ивановой, громко, навзрыд заплакала мама...

Часть третья

НОВЫЙ СЫН

1

На клетчатой клеенке посреди стола лежит листок бумаги. Маленький белый прямоугольник. Клеенка блестит, как море в солнечную погоду, листок походит на плот. Ему бы еще парус да теплый ветер в спину, и он бы поплыл, поплыл... Куда только?

Баба Шура, мама и Толик сидят за столом и глядят на белый листок. Все молчат, будто думают, куда поплывет плот, если бы ему паруса да теплый ветер.

Нет, баба Шура про такое думать не способна. Да она и не на листок глядит-то, а сквозь него. Прошивает взглядом и клеенку и стол — новые, наверное, козни строит.

Мама смотрит на листок, страдая, словно что-то у нее очень болит, да она молчит, терпит. Потом отрывается от листка и на четвертый стул смотрит. Где раньше отец сидел.

Мать смотрит на стул то удивленно, то вопросительно, будто узнать что-то у него хочет, спросить, потом снова взглядом никнет, опускает голову, на листок глядит. Не до плота ей, не до моря, не до теплого ветра.

Одному Толику кажется, что клеенка — море и листок — плот, а никакая не повестка в суд.

Он вообще в толк не возьмет: почему в суд?

Судят воров, хулиганов — это ясно. Но как будут судить отца и мать? И за что?

Отец ушел из дому, и он прав. Он не хочет больше так жить. А мама хочет. Ну и все. Разошлись люди. Разошлись, как в море две селедки, такая поговорка есть. А что Толик мучается, так это его дело. Что мама плачет — не плачь, если хочешь, решай по-другому. Отец ушел — тоже его дело. Ничье больше. Разве еще бабкино. Остальным свой нос совать сюда запрещается.

А тут — суд! Толик представил судью в черной мантии и в круглой шапочке, как в кино. И отца с матерью на желтой яркой лавке. Скамья подсудимых.

— Как вас судить будут? — спрашивает Толик у матери.

— Обсуждать, — вяло отвечает мать. — Тебя делить.

Вот еще новости! Делить! Что он, пирог? Толик даже рассмеялся. Представил, как судья черную шапочку снимает, рукава у черной мантии закатывает, берет нож, длинный, широкий, на камбалу похожий, — видел Толик такой в столовке — и Толика на две части, будто пирог, режет. Одну — маме, вторую — отцу.

Утром мама не пошла на работу. Открыла шкаф, достала нарядное платье.

— Дура! — Бабка скривилась. — Надень похужее! К бедным-то сожаленья побольше, суд-то, он тоже не лыком шит!

Мама послушалась, надела старенькое платье, губы помадой подвела. И тут бабка со своим указом.

— А ну-кося, — говорит, маме фартук подавая, — губы утри. На суду народ будет, об ем подумай, какая предстанешь...

Потом баба Шура в кармашек свой потайной полезла, ключик вынула. Открыла со звоном сундук, старой рухлядью набитый. Ничего не бросает бабка — глядишь, пригодится. Вынула рвань — старые, залатанные штаны. Протянула Толику.

— Зачем? — удивился он. — В суд-то маму вызывают, не меня.

— А мать-то не твоя? — окрысилась бабка и, увидев, как сник Толик, добавила: — Со мной сидеть станешь, а если спросят чего — ответишь. Да гляди, — спину разогнула, — да гляди у меня!..

Толик думал, суд непременно в доме с колоннами

должен быть, и тишина там почище, чем в больнице, потому что уж слово-то такое: суд! Народный суд! Решают, кого в тюрьму посадить, а кого выпустить. Но суд оказался в сером доме, грязном и обшарпанном. В вестибюле было накурено и наплевано, словно на захудалом вокзале.

Толик испуганно озирался, вглядываясь сквозь табачные облака в лица людей, пришедших сюда. Ему казалось, что все здесь должны волноваться. Ведь это суд, это не радость, сюда приходят лишь по несчастью — значит, у каждого, кто сидит здесь, свое несчастье.

Но люди вокруг бродили с постными лицами, будто они в магазине и ждут, когда привезут молоко. Им уже надоело, но они ждут: ведь ничего не поделаешь — надо.

На мгновенье Толику показалось, что все лица тут на один манер — вытянутые, желтые, лошадиные. Было душно. Толику захотелось выйти отсюда — и вдруг он увидел, как лошадиные лица вокруг него оживились и у них заблестели глаза. Сзади брякнула дверь. Толик обернулся.

В вестибюль вошел милиционер, перед ним двигался бритоголовый мужчина — не старый и не молодой. Глядя в пол, он прошел мимо Толика. Руки он держал за спиной.

Будто в школе, зажужжал под потолком звонок. Лошадиные лица зашевелились, загомонили и повалили за высокую дверь.

— Ох, народ! — услышал Толик за спиной знакомый голос. — Прямо как в цирк валят!

Он повернулся и увидел, что рядом с бабкой и мамой стоит тетя Поля. Она покачала головой, повернулась к бабке и сказала:

— И у тебя, я гляжу, совести нет. Бога бы побоялась!

Бабка не моргнула, не шевельнулась, будто оглохла, будто не ей это говорят, и тетя Поля укоризненно на маму посмотрела.

— Ну а ты-то, Маша, как могла? Мало вам для мальчишки всяких бед, так еще в суд притащили?

Мама покраснела, глаза ее сразу взмокли, она не знала, что сказать. Тетя Поля подошла к Толику, взяла его за плечо.

— Ладно! — сказала она маме с бабкой. — Мы с ним на улице подождем.

Мама быстро кивнула, радуясь, что так хорошо все обошлось, и Толик с тетей Полей двинулись к двери.

Июньский ветер будто ополоснул Толика прозрачной водой. Он вздохнул облегченно и вздрогнул.

Перед ним стоял отец.

Наполовину уже похудел толстый календарь на стенке с тех пор, как ушел отец. Каждый день — долой листок. Один листок — тонкий, а много листков — полкалендаря.

Отец стоял перед ним, бледнея, а в памяти Толика, будто в ускоренном кино, проносилось одно за другим все, что было за это время.

Как обнимал он отца в последний раз, и тот стоял, небритый, серый, сжимая в руке авоську с мятыми рубашками. Как писал первую жалобу, роняя на бумагу кляксы. Толстый почтарь, подмигивающий красными глазами «Москвич», горящий оранжевый ящик, седой дядька из парткома, драка с Цыпой, стертая доска и тонкогубая Изольда Павловна промчались перед Толиком нестройной чередой, как привидения, как духи с того света.

Толик отшатнулся от отца. Сколько всего разделяло их теперь: сколько несчастий, обид, слез!.. А главное — их разделял страх.

Толик боялся отца. Он боялся его все эти долгие дни, но тогда страх был отдаленным. Толик мог его избегать, прячась от отца, таясь за взрослыми, перебегая от угла к углу.

Теперь страх вырос и стоял перед ним. Страх был отцом, и надо было рассчитывать.

Толик ждал, что отец станет ругать его. Или еще хуже — пройдет мимо, будто бы не узнав. Он никак, ну никак не мог простить Толику этих писем. Никак! Ведь из-за них, из-за жалоб, пришли они в суд, и судья станет разводить их, потом делить Толика. Нет, то, что было сделано им, неисправимо. Это нельзя простить.

Вдруг отец шагнул к Толику. Мальчик сжался в комок.

— Толик!.. — сказал отец тяжелым голосом. — Толик! Сынок!..

Он протянул к Толику руки, и враз, в одно мгновение, все прошлое, тяжкое, страшное исчезло. Будто

по заляпанной чернилами тетрадке кто-то провел удивительным ластиком. И грязный лист стал белым.

Толик, раскинув руки, бросился навстречу отцу.

Он бросился к отцу — и словно взлетел, как стриж над улицей. Выше крыш, выше тополей, выше труб пронесся, разрезая крыльями упругий ветер. Увидел большое солнце — вполнеба. Увидел близкие облака. Засмеялся легко, освобожденно.

2

И вот снова на землю упал. Опять обшарпанный дом перед глазами. Где-то в нем, за серыми стенами, отца и мать судят.

Толик видел на картинке судебную богиню. Тетка с завязанными глазами, а в руках — весы. Вешает, будто рыночная торговка ягоды. А что вешает? Вину! Кто больше виноват, в ту сторону и весы перетянут.

Толик не сомневался: если по справедливости взвешивать, весы в мамину сторону перетянут. Она больше виновата. Отец совсем ни при чем. Хотя кто его знает... Та древняя тетка с завязанными глазами ничего не видела, может, и тут не увидит?

Толик шевельнулся. Очнулся от своих дум. Тетю Полю спросил:

— А страшно судиться?

— Кому как, — качнула она головой. — Должно, стыдно, а бояться чего?..

Толик вспомнил тех, с лошадиными лицами. Как тетя Поля их ругала. Кто такие, он так ведь и не понял.

— А-а!.. — махнула рукой тетя Поля. — Есть тут всякие. У людей горе, а они как в кино ходят. Любопытные просто...

Как? Толик не поверил. Не может быть! Не может быть, чтобы на суд пускали кого угодно, да еще и бесплатно: гляди — не хочу. Слушай, как судят.

— И там? — спросил он оторопело, кивнув головой.

Тетя Поля поняла.

— И там.

Толик с ужасом представил опять желтую скамью подсудимых. На ней мать с отцом, а сбоку — эти лица. Как тени. Заглядывают им в глаза, и мама с отцом головы опускают. Все ниже, ниже, чтобы скрыться от них. Он думал, там одни судьи. И одному судье всего не

скажешь, а тут эти лошадиные морды. Как стыдно! Ужасно стыдно!

Солнце стояло над головой, жарило сквозь рубашку спину. Тетя Поля надвинула на глаза платок и вдруг спросила:

— А с кем ты останешься, если они разойдутся?

Толик испуганно поглядел на нее. Правда! Как он забыл? Ведь если... Надо будет решать. С отцом или с мамой? Толик вспомнил тот день, когда он ждал отца возле проходной. Тогда он не сомневался ни секунды. С отцом! Отца выгнали из дому, он оставался один, и тогда Толик твердо решил, что будет с ним. Отец говорил: трудно, надо подождать, и Толик согласился. А потом закрутилась такая карусель, что голова кругом.

Сегодня все стало по-прежнему. Толик думал, отец не будет с ним говорить, а он протянул руки. Значит, по-прежнему? Значит, как было? Значит, он должен быть с отцом?

Толик задумался.

Значит, с отцом! Он хотел было сказать это тете Поле, но что-то удерживало его. Будто лопнула какая-то ниточка с тех пор, как он не видел отца. Он бросился с трепетом навстречу отцу, а сейчас думал, что радовался, наверное, из-за прощения. Отец простил его, протянул руки — и сразу исчез страх. То, что мучило его столько времени. И сразу стало легко. Может, из-за этого он радовался?

Толику стало стыдно, что он размышляет, будто шкурник. Ему хорошо, а на отца теперь наплевать? Пусть как знает?

Да, Толику было стыдно, но тетя Поля ждала, надо отвечать ей, и Толик растерянно пожал плечами.

— Меня ведь будут делить, — сказал он мрачно. — Как поделят.

— Вон как! — удивилась тетя Поля. — А я-то думала, ты живой человек. Сам решать станешь.

Толик мгновенно вспотел. Ему стало стыдно. Самого себя. Тети Поли. Но он так и не сказал ничего больше. Еще раз пожал плечами и сильнее покраснел.

— Что ж, — сказала тетя Поля, вздыхая. — Не твоя вина, что не можешь ответить. И отец и мама — родные люди. И если надо выбирать между ними — значит, они виноваты. Не бабка твоя, не кто другой, а они. Оба.

— Отец не виноват, — сказал Толик, глядя в землю.

— Охо-хо! — вздохнула тетя Поля. — Не виноват!.. Ну да ладно, — добавила она, — будь по-твоему...

Они замолчали.

Толик припомнил, как сказала ему зимой тетя Поля, чтобы они с отцом не бросали маму бабке. Толик кивнул тогда головой, но что он мог поделать?

— Ах, был бы жив мой Коля! — сказала вдруг тоскливо соседка. — Никогда и в голову не пришло бы нам разводиться...

Толик удивленно обернулся к ней. Глаза у тети Поли были широко открыты, она смотрела вперед, словно старалась разглядеть что-то там, впереди.

— Если бы живой он был, — повторила она тягостно и вдруг сказала с жаром, будто спорила с кем: — Да ведь люди для того и находят друг друга, чтобы любить! Чтобы рядышком быть до самой смерти, да и помереть-то хорошо бы в один день!

Она помолчала. Потом добавила:

— А есть, есть такие счастливицы, мало, но есть, — помирают в один день.

Толик удивился — чего тут счастливого? — но промолчал. Уж очень горько говорила тетя Поля.

— Ну да что толковать, — вздохнула она, смахивая слезинку. — У всякого — свое. А если уж все в горе испытывается, никому такого горя не пожелаю.

Тетя Поля утерла глаза краем платка. Хлопнула дверь, и из суда вышла бабка. Она сияла, словно начищенный самовар, и у Толика сразу оборвалось сердце. Улыбается бабка — значит, быть худу.

— Господи! — охнула тетя Поля. — Неужто своего добилась?

Вслед за бабкой шагали мама с отцом. Они хмурились и отворачивались друг от друга.

— Да ты тут никак горевала? — воскликнула бабка, подходя к тете Поле и всматриваясь в нее. — Ох ты, сердешная!

— С вами заплачешь, — ответила тетя Поля, настороженно глядя то на отца, то на мать, стараясь разгадать, чем там кончился этот суд.

— Вот и все! — объявила бабка, морща от веселья острый носик. — Молодец Маша, так и держись! Пусть-ка обмозгует получше поперед, чем в суд подавать.

Отец остановился, глядя себе под ноги, поодаль от мамы,

— Эх, Васильевна! — сказала горько тетя Поля. — Ни жалости в тебе, ни любви — ничего нет. Дочку-то бы пожалела!

— Твое какое дело, бесплодна смоковница! — взъерилась бабка, но тетя Поля уже уходила от нее.

— Погоди, — сказала она, оборачиваясь. — Твой бог тебя накажет за это.

— Видали мы такого бога, — усмехнулась бабка и ткнула сухоньким пальцем в небо.

— Маша, — позвал отец маму. — Может, поговорим?

Над головой вдруг протяжно грохнуло, и Толик расхохотался: бабка присела от испуга. А с неба полился, набирая силу, чистый летний дождь.

Мама топталась под дождем, поглядывая на бабку. Наконец решилась и шагнула к отцу. Он взял ее осторожно за руку и повел к стеклянному кубiku между домами. Мама сначала шла медленно, словно боялась чего-то, потом побежала, и вот они уже мчались, словно маленькие, разбрызгивая лужи.

Толик глядел на них издали и вдруг кинулся вслед.

В стеклянном кубике было кафе-мороженое.

Когда Толик вбежал в него, отец и мать уже сидели устолика друг против друга. Увидев Толика, отец смутился, а мама покраснела.

— Ты? — спросила она удивленно.

Толик опешил. Значит, они забыли о нем. Значит, они хотели без него! Опять? Как тогда!

Он сжал вздрогнувшие губы и повернулся, чтобы уйти. Уйти немедленно, прямо под секущий дождь, черт с ними! Толик уже шагнул к двери, но почувствовал на плече руку отца.

— Садись, Толик! — приказал он. — Будем говорить втроем.

В другой раз Толик бы убежал, но сейчас было не до обид. В голосе отца слышалась тревога. Толик сел между ними, словно шахматный судья, только перед игроками были вазочки с цветными шариками.

— Что ж, Маша, — хмурясь, сказал отец, сделав первый ход: Е-два — Е-четыре, как говорят шахматисты. — Дела наши, как видишь, зашли далеко. — Он вытащил папироску и закурил: — Скажу только, что в суд

первым никогда бы не пошел, если бы не надеялся на него, как на последнюю соломинку.

Он глубоко затаился.

— Так вот, как и в суде, еще раз предлагаю тебе: давай уедем. Это единственное, что спасет нас.

Толик пристально смотрел на маму. Что она скажет? Как решит? Неужели не согласится?

— Нет, Петя, нет, — ответила мама, волнуясь. — Я не могу. — И добавила тихо: — Матерей не бросают.

— Да ты пойми! — громко воскликнул отец, и все в кафе заоборачивались на них. — Ты пойми, — тихо повторил отец. — Мать матери разница... Да что говорить! — сник он. — Ты прекрасно все понимаешь.

— Как я брошу ее? Она же старуха, — снова сказала мама и жалобно посмотрела на отца. — Нет, не могу...

— Что ж, — ответил отец, гася папироску. — Теперь все в твоих руках. Но я не вернусь. Я не могу больше так жить!

Мама заплакала. Официантки шушукались, собравшись в кучку, поглядывали на их столик, но мама будто никого не замечала — слезы катились у нее из глаз и падали в мороженое. Толик не выдержал.

— Мама! Ну мама! — шепнул он ей отчаянно. Неужели она откажется?

Мама взглянула мельком на Толика, улыбнулась сквозь слезы и сказала отцу грустно:

— Ты должен вернуться. Я не могу без тебя!

— Ах, Маша, Маша! — горько усмехнулся отец и добавил: — Да разве можно удержать силой, чудак ты человек?

Они понурились оба над своими вазочками, так и не глотнув ни разу мороженого. Толик все ждал, что сейчас заговорят о нем. Как он-то? Куда? Как его разделили? Но родители молчали и, казалось, забыли о нем.

— А я? — спросил Толик, глядя то на маму, то на отца. — А как я?

— Ты? — задумчиво переспросил отец. — Ты?

Он взглянул на маму.

— Я думаю, — спросил он, — у меня равные с тобой права на Толика?

Мама испуганно кивнула.

— Тогда скажи, когда я буду видеть сына.

— В воскресенье, — ответила мама и взглянула за стеклянную стену.

Дождь на улице кончился.

А в маминых глазах опять были слезы.

3

Теперь по воскресеньям у Толика половинчатая жизнь. Вечером он мамин, а с утра принадлежит отцу. Все-таки разрезал его судья, как пирог, на две части.

Толик встает утром, завтракает и смотрит в окно. На ворота. Потом возле ворот появляется отец, и Толик кричит маме:

— Я ушел! Пока!

Они бродят вдвоем до самого вечера. Ходят в кино. Едят мороженое в стеклянном кубике. Катаются на трамвае — до конечной остановки и обратно. Пьют до отвала сладкую воду. А когда совсем жарко, идут к реке.

Толик больше всего жаркие воскресенья любит. Он у берега бултыхается, где по грудку, ныряет с открытыми глазами, глядит, как бегают солнце по речному дну, переливаясь. А выскочит из-под воды, фыркает, весело смеется, скачет на одной ножке, вытряхивает воду из ушей. Потом на отца глядит.

Отец руки вперед, будто нехотя, выбрасывает, а гребнет — сразу вперед уносится, только бурунчики кипят! Руки у отца жилистые, сильные и, кажется, звонкие — на солнце загорели и медью отдают.

Отец и Толика плавать учит. Посадит его на плечи и в воду, как царь Нептун, идет. Волны перед отцом разбегаются, он заходит на глубину, себе по горло, велит Толику на плечи ему становиться и кричит:

— Ныряй!

У Толика колотится сердце: до заповедной мели далековато, да и с отцовских плеч прыгать страшно, — но он молчит, чтобы не осрамиться. Закрыв глаза, бросается в сторону берега, отбивает живот и машет руками изо всех сил. Сквозь плеск он слышит, как отец его подбадривает, и вдруг упирается руками в песок. Доплыл!

— Ну вот, — говорит отец, — только не торопись.

Набок голову поворачивай — вдох, в воду лицо — выдох. И не бойся. Давай-ка еще раз.

Потом они лежат на берегу, говорят неторопливо; и Толик засыпает отца желтым песком — ноги, туловище, руки. Отца голова остается.

Голова лежит на песке, улыбается, всякие интересные истории рассказывает. Вот, например, откуда инженеры взялись? Что вообще значит «инженер»? Оказывается, это слово произошло от латинского — «ингениум». Значит, способность, изобретательность. Выходит, инженер — изобретатель. Толик удивлялся: неужели всякий инженер непременно изобретатель? Отец говорит: всякий. Один в меньшей степени изобретатель, другой — в большей. И вообще, инженер; пожалуй, самый главный человек в стране. Любая машина, да что машина — самая простая вещь инженером придумана, сконструирована, рассчитана.

— И уютно? — смеется Толик.

— А как же, — говорит отец, улыбаясь. — Смог бы человек без уюта прожить? Смог бы. Только что это за жизнь, если все мятые, неопрятные ходить станут.

— И чайник? — удивляется Толик.

— И чайники, и люстры, и самолеты, и лампочки, и иголка — все, все, все...

Они улыбаются, молчат. Потом Толик спрашивает тревожно:

— А ты больше не инженер, раз в цех перешел?

Отец Толику подмигивает и отвечает:

— Я обратно вернулся!

— Значит, снова ту машину чертишь? — смеется Толик.

— Не машину, а только один узел.

Толик смеется: не выиграла, значит, бабка, так ей и надо, не будет лезты! И за отца радуется — то-то он веселый, не хмурится, как раньше.

Не так уж много воскресений в одном месяце, а Толик, с отцом увидевшись, поплавав с ним, повалявшись в песке, чувствовал, как раз от разу он будто бы крепнет, становится сильнее. Не в мускулах, конечно, дело, не в бицепсах там всяких. Сильнее Толик становится вообще.

Сколько времени он жил, словно пришибленный. Утром просыпался, а что вечером будет — не знал. Словом, нет ничего на свете хуже неуверенности. Не-

уверен человек в себе, во всем, что вокруг, — и жить ему тоскливо, неинтересно, тяжело. Толик перегрелся, пережарился на солнце, и кожа с него ключьями полезла. Так вот и тут. Неуверенность, будто старая шкура, с Толика сползала. И он становился веселей, радостней. Никакая баба Шура его из равновесия сейчас вывести не могла. Жил он так, будто и не было никакой бабки. Не замечал ее. Вот что такое сила!

Но никак не думал Толик, что сам же отец, который силу ему эту дает, и по уху может дать.

Тогда он обиделся поначалу, хотел не выходить к отцу в другое воскресенье, но подумал хорошенько — и еще лучше стал относиться к отцу. Понял, что, кроме всего, отец еще справедливый человек.

Вот как было.

Лежали они в песке, говорили, кем Толик станет, когда вырастет. Отец хотел, чтоб инженером. И Толик не возражал. Ингениум — это ведь здорово! Идешь по улице, а тебе навстречу машина. Твоя, ты ее сконструировал...

Лежали они, в общем, говорили мирно, спокойно, улыбались друг другу — и вдруг у Толика глаза расширились.

Он увидел, как недалеко от них Цыпа с учительницей Женькой располагаются. По-хозяйски втыкают в песок зонт, раздеваются, от солнца жмурясь, потом, взявшись за ручки, бредут в воду, как жених и невеста, плещутся там, словно утки, и визжат дружно в два голоса.

Каникулы на дворе, лето жаркое, и уж позабылись, отошли в дальнее весна и школа, но вдруг всколыхнулось что-то в Толике. Не будь тут отца, он, пожалуй, не стал бы старое ворошить, но рядом был отец, и Толику прямо невольно стало. Захотелось к Цыпе с Женькой подойти. Чтоб увидели они, гады, отца и поняли, гады, какой-такой он, Толик, предатель.

— Ты что? — удивился отец, увидев в глазах у Толика охотничий блеск.

— Щас! — ответил он и трусцой побежал к воде.

Цыпа с Женькой все бултыхались, все повизгивали, и, приближаясь к ним, Толик вспомнил вдруг, как они тогда, на перемене, друг за дружкой вниз побежали. Похвалу от Изольды Павловны получать. «Ну-ка, ну-

ка, — подумал Толик, зажигаясь, — а вот я их об этом спрошу».

— Эй! — крикнул он, подбегая к Цыпе и Женьке.

Увидев Толика, они испуганно притихли, перестали брызгаться.

— Ну что? — сдерживая дыхание, спросил Толик. — Как погода?

Женька стала боком выходить из воды, но Толик отступил на шаг и поднял руку, словно на собрании.

— Пойдите-ка, — сказал он. — Погодите. Есть к вам наболевший вопрос.

Женька остановилась, искоса глядя на него.

— Вот тогда, — спросил Толик, — четверки вы еще получили, вас предупредили, что спросят, да?

Цыпа покраснел, растопырив костлявые руки, и с них в речку капала вода. «Как из умывальника», — подумал Толик и засмеялся. Но смех у него получился, наверное, недобрый, и Женька крикнула защищаясь:

— А тебе какое дело?

Но Толик и не собирался к ней приставать. Свяжись тут с девчонкой!

— Да нет, — сказал он. — Никакого. Только вот хочу Цыпе за старое по морде дать.

Честно-то сказать, бить Цыпу ему совсем не хотелось. Подумаешь, трус! Стоит и трясется. Но ударить все-таки стоило. Не счеты сводить, нет, просто так стукнуть. А потом повернуться и не спеша к отцу пойти, чтоб увидели, к кому он идет.

Толик спокойно прицелился и дал Цыпе по подбородку. Тот согнулся, зашатался и упал в мелководье.

Толик повернулся и, как планировал, не спеша пошел мимо Женьки к отцу.

Он думал, отец ничего не скажет. Понимает ведь, в чем дело, — Толик ему про школу рассказывал.

Но отец выбрался из песка и пошел навстречу Толику. Поравнявшись, он выбросил руку, и Толик почувствовал, как обожгло щеку.

— Запомни, — сказал отец, — никогда не хвались своей силой. Или тем, кто у тебя за спиной стоит.

Толик медленно заливался краской.

«Перед Женькой, — подумал он, — перед этим гадом Цыпой так позорить!» Толик схватил одежду и бросился с пляжа.

— Пой! — крикнул ему отец.

Но Толик не обернулся. Лишь дома он успокоился. А к вечеру уже решил, что отец прав. Нельзя было сейчас, когда столько времени прошло, Цылу трогать. Тогда, еще в школе, побить его стоило, а сейчас, что бы он ни думал, получилось все-таки, что счеты сводил.

Толик похвалил про себя отца и решил сказать в следующее воскресенье, что оплеуху он признает.

Но отец не пришел в воскресенье.

И еще раз не пришел.

И еще...

4

Толик не нервничал, не переживал. Никаких предчувствий у него не было. Наверное, опять в командировке, думал он про отца, и надо просто терпеливо ждать. Ведь не может же быть, чтобы отец на него за драку обиделся.

По воскресеньям он никуда не уходил, а читал книжку, забравшись с ногами на подоконник, чтобы отцу было видно его, а ему — их условное место.

Толик почитывал себе спокойно, думал про отца и с удивлением замечал, как волнуется мама. Никогда она так не волновалась, а тут нет-нет да и выглядывала в окно. Будто не за Толиком, а за ней собирался прийти отец.

Толик видел: когда появлялся отец и они шагали вдвоем по двору, мама всегда смотрела им вслед. Ближе к окну она не подходила, стояла в глубине комнаты, но Толик чувствовал ее взгляд до тех пор, пока не сворачивал за угол. Однажды он сказал об этом отцу. Отец обернулся, и Толик увидел, как мама быстро отошла от окна. Отец нахмурился.

— На тебя смотрит, — сказал он.

— Что ты! — воскликнул Толик. — Подумаешь, невидаль! Это она на тебя глядит!

— Да уж что там! — вздохнул отец и опять задумал своей папиросной.

Странно все-таки у взрослых выходит. Вон как маме хочется выбежать к отцу. А сама и шага не сделает. И отец тоже. Будто между ними порог непреодолимый.

Ах, как хочется Толику, чтобы мама с отцом помирились! Чтоб снова у телевизора стали сидеть, обнявшись. Чтоб улыбались опять, друг на друга глядя.

Взять бы их за руки, подвести друг к другу, велеть: «Миритесь!»

Но они ведь и не ссорились. Разве тут в мире дело? Все трудней и серьезней у них, но все-таки хочется Толику помирить отца с мамой, маму с отцом.

Вот завтра у мамы день рождения. Взять бы да привести отца. Может, выпьют они вина, поговорят, да и помирятся. Нет, глупо это. Не пойдет отец. Да главное, где его возьмешь, если он в командировке?

Раньше в мамин день рождения отец приносил ей цветы. Небольшой букетик. На большой денег не было, и так полтинники свои берег, не обедал несколько дней. И хоть скромный был подарок, мама всегда страшно радовалась. Прижимала к себе цветы осторожно, гладила их, потом в воду горячую ставила, чтоб подольше стояли.

Вот бы хорошо — пришел отец, и с цветами! Как раньше. Как всегда. Толик улыбнулся. Отца-то нет, это верно, но ведь цветы от него быть могут?

Он слез с подоконника и вышел в коридор. Тетя Поля на стук откликнулась сразу, будто ждала. Он занял у нее пятак и отправился на почту. Цветных открыток продавалась там уйма, и Толик долго выбирал, пока купил одну с цветами — вроде ромашек, только красные. Тут же, на почте, написал на обороте поздравление.

Открытку Толик заложил в книгу, а вечером, когда стало смеркаться, снова отправился на улицу.

Он шел уверенно — он знал, куда идет. На городской окраине, за старым кладбищем были парники. Там, кажется, выращивали шампиньоны или огурцы, но дело было не в парниках. Рядом на огромных грядках росли цветы. Будто разноцветная река — сначала красная, потом белая, затем голубая и снова красная.

Вперед Толик шел нормально: кладбище было старое, проходное, по нему, сокращая расстояние, шли люди, и Толик был не один, пока добирался до парников.

У заборчика, отделявшего его от цветов, он притаился, вглядываясь в сумерки.

Все было тихо. Над землей медленно поднималась медная луна, похожая на огромное блюдо. Она меняла раскраску цветов, белые теперь казались желтыми,

красные — черными, а Толик хотел именно таких, что на открытке, — как ромашки, только: красные.

Он прислушался. За заборчиком никого не было.

Толик подтянулся и нырнул в пахучие цветы. Они колебались над головой, дрожали тонкими стволами, и Толик пополз вдоль грядок, разыскивая большие красные ромашки. Где-то сбоку вдруг тявкнула собака и залилась протяжным беспрерывным лаем.

— Никак кто залез, — сказал в тишине скрипучий голос.

Толик замер. Потом стал лихорадочно рвать цветы. Стебли не ломались, гнулись, было уже не до красных ромашек, унести бы ноги — и Толик не выдержал. Рванув из земли целую охапку цветов, он вскочил в полный рост и кинулся к забору.

Цветы заслоняли лицо, мешали смотреть, да еще высокая трава оплетала ноги. Подбежав к забору, Толик переметнул через него свою охапку, думая с облегчением, что собачий лай слышится все там же; не приближается, хотя пес уже захлебывается от злости. Похоже, пес сидел на цепи. Радуюсь этому, Толик закинул ногу за забор и с ужасом понял, что попался. Чья-то сильная рука держала его за ворот. Толик дернулся, рубашка отчаянно затрещала.

— От фулюган! — скрипел старческий голос. — От фулюган! Прямо с корнем. Прямо с землей. — И Толик почувствовал, как сильные руки стягивают с него штаны.

— Дяденька! — крикнул он звонко. — Не надо, дяденька!..

Собака все заливалась вдали, луна повисла над головой, грозно бронзовея, и Толику вдруг показалось, что его посадили в жгучую воду. Он дернулся и застонал.

— Вот тебе, вот тебе! — скрипел голос. — Отведай крапивки, фулюган!

Толик взвыл.

— Дяденька! — крикнул он снова. — Дяденька, не надо, я не хулиган, я маме, у нее день рождения, — и почувствовал, как руки, державшие его, ослабли.

— Ну вот! Ну вот! — растерянно сказал скрипучий голос. — А пошто не купишь, коли мамке?

— Денег нет, — ревел Толик, подтягивая штаны и оборачиваясь.

На фоне огненной луны четко вырисовывались борода и горбатый нос. За спиной у деда торчало ружье.

— Значит, мамке? — спросил, смущенно покашливая, старик.

Толик кивнул, негромко постанывая. Сзади все у него пылало, хотелось плакать, но он держался. Неизвестно еще, что дальше будет, так и в милицию попадешь — ничего себе подарочек!

— И то, — сказал старик, переминаясь с ноги на ногу. — И то удивляюсь, за сколько лет ты первый залез. Не лазют за цветами. То ли от центра далеко, то ли полно их и так. Уж сомлеваться стал в своей должности.

Толик растирал слезы.

— Пойдем! — сказал дед повелительно и повернулся.

Вздрагивая всем телом, тихо подвывая и держась за штаны, Толик двинулся за ним.

Дед шагал между грядками, наклонялся, щелкал маленькими ножничками, складывал букет и приговаривал:

— Я уже солью хотел шибануть из берданки-то, да пожалел. Солью-то еще больше.

Толик согласно кивал головой, дед стриг цветы, как опытный парикмахер, и наконец протянул ему пушистый букет.

— Хорош? — спросил он удрученно.

— Хорош! — простонал Толик и побежал к забору,

— Да постой! — кричал ему дед. — Пошто через забор-то? Вон калитка!

Стиснув зубы, Толик выбрался из сада.

Он бежал в темноте, спотыкаясь о корни деревьев, одной рукой держась за штаны, а другой сжимая, будто факел, букет.

Вдруг Толик взвизгнул.

Перед ним, освещенный красной луной, стоял покосившийся крест. Крест блестел каменными боками, отражал свет луны, и было похоже, что он светится весь изнутри холодным неоновым светом. Толику даже послышался легкий треск.

Он отпрыгнул, словно ужаленный, в сторону и побежал, забыв обо всем.

Толик мчался, и ему казалось, что по бокам что-то мерцает. Он решил смотреть только вперед, ни на метр

в сторону, а еще лучше глядеть на букет. На трепещущий душистый букет. Но страх не убавлялся, а подгонял его, словно невидимый бич.

К тете Поле Толик пришел весь взмокший. Место, горевшее от крапивы, пока он бежал, утихло, а теперь, в тишине и покое, заныло снова. Единственным утешением были цветы.

Они трепетали, издавали благоухание и были еще получше, чем те, на открытке.

Толик попросил тетю Полю поставить их в воду до утра, а сам трясся, подпрыгивал, отдувался.

— Да что с тобой? — хмурясь, спросила она.

Пришлось, краснея, рассказать, и тетя Поля расхохоталась до слез.

— Вон как без денег-то, чем рассчитываться приходится!

Потом она вышла на кухню и вернулась с мокрым полотенцем.

— Вот что, парены! — сказала тетя Поля, все еще смеясь. — Снимай штаны, да посиди на этом с полчасика. А я пока на кухне побуду.

Тетя Поля ушла, и Толик сделал все, как она велела.

Огненный жар спал, сразу стало хорошо, и, посидев немного в таком срамотном виде, глядя на цветы, подавленные дедом, Толик вдруг расхохотался.

Ну не смешно ли, если бы в магазине вывеска была: «Цена букета — один зад!»

5

Когда в понедельник мама ушла на работу, Толик выставил свой букет. В цветы затолкал открытку.

Если мама спросит, он скажет, что велел передать отец. Вот и все.

Посвистывая, Толик пошел на улицу. От вчерашнего не осталось и следа, ничего уже не болело, солнце купалось, будто мальчишка, в белых облаках и брызгало лучами. Деревья, серебрясь листьями, походили на богатырей в стальных чешуйчатых кольчугах и помахивали ветвями, будто руками. Только грозных мечей им не доставало.

Эх, всем хороши каникулы, одно плохо: скучно в городе. В лагерь Толик нынче не поехал. Ведь он раньше

в лагерь от завода ездил, где отец работал, а нынче, что ж, без этого пришлось. Ну да не беда, там тоже веселого мало. Ходи по команде, завтракай по горну. Раз — хорошо, два — ничего, а в третий — надоест.

Плохо, что город летом пустеет. Двор будто вымер. Кто уехал, а тот, кто остался, в тенечке дома сидит.

Нет, без дела сидеть тоскливо. Не согласен Толик без дела быть и идет гулять по городу. Бредет не спеша по горячим улицам и все, что увидит, будто губка в себя впитывает.

Вот вроде пустое занятие — асфальт разглядывать, а ведь интересно. Мелкими дырочками он истыкан. Это следы от каблуков. Туфли с острыми каблуками молодые женщины носят — значит, вон сколько молодых женщин тут прошло! И каждая отметилась. А еще спички. Закурит человек, спичку бросит, и кто-нибудь на нее наступит. Утопила спичка в асфальте. Приглядишься, спички словно бревнышки по черной реке плывут.

На остановке две бабушки стоят. Одна аж трясется, такая уж старая, но глаза ясные. Другой говорит:

— Видела привидение в образе младенца. Он и сказал мне: «Раба ты божья!» Это ведь к добру, к хорошему.

Толик вспомнил вчерашние привидения, удивился, что ж тут хорошего, а про старушку подумал с уважением: вот ведь, одной ногой в могиле стоит, а еще хорошего ждет. Молодец, бабушка!

На вокзале, у будки чистильщика, Толик замер как загнипнотизированный. Усатый дядька в тюбетейке, мокрый от пота, сапоги военному надраивал. Мохнатые щетки у него в руках так и плясали, шуршали, смеялись. Иногда он вдруг отдергивался от сапог, подбрасывал свои щетки, они быстро крутились в воздухе, как маленькие пропеллеры, и снова мелькали в руках чистильщика. Лицо его при этом оставалось строгим, даже сердитым.

Толик полубовался, как крутятся щетки, как пыльные сапоги начинают блестеть, словно лакированные, и повернул домой, придумывая, как сказать маме, что цветы от отца, и вдруг столкнулся с ним носом к носу.

Толик засмеялся обрадованно и схватил отца за руку. Вот удача! Сейчас он расскажет ему про цветы, а потом непременно уговорит пойти домой. Хоть на пол-

часа! Хоть на десять минут. Сказать что-нибудь хорошее маме — и все! Пожелать ей чего-нибудь...

Толик открыл уже рот, но при постороннем говорить не решился. Рядом с отцом стоял нахмуренный мальчишка класса так из седьмого. Волосы у него были ежиком, под боксера, из синей футболки выпирали широкие плечи, а простроченные крупным швом тебасы завершали спортивный вид. Увидев Толика, «боксер» поморгал черными глазами, а потом стал пристально смотреть на отца.

Отец молча переминался с ноги на ногу, потом вытащил папироску и закурил. Он казался растерянным, на лбу выступили крупные капельки пота. Отец все молчал, глубоко затягивался, глаза его замерли, остановившись, будто он мучительно о чем-то думал.

Наконец он сказал севшим голосом:

— Ну, знакомьтесь!

Толик, удивляясь, что у отца есть знакомые ребята, подошел к парню и подал ему руку. Тот взял Толикину ладошку, встряхнул ее легонько, здороваясь, и вдруг сжал так, что у Толика перед глазами пошли цветные круги.

— Ар-ртем! — раскатисто, баском сказал парень.

— Видишь ли, Толик, — проговорил отец, ничего не замечая. — Теперь у меня новая семья...

«Как это новая семья? — подумал про себя Толик и улыбнулся. — Что-то путает отец. Надо ему сказать скорей про цветы».

— У мамы сегодня день рождения, — напомнил Толик. — Ты не забыл?

Отец вскинул на него пристальный взгляд, отрешенно пошевелил губами.

— Да, да, — сказал он медленно. — Передай ей поздравления. Ну так вот...

«Что — так вот? — раздраженно передразнил его Толик. — Что — так вот, если я принес цветы будто бы от отца!»

— Ну так вот, — продолжал, затягиваясь, отец. — Как бы это тебе объяснить?.. Словом, у меня новая семья... А вот Тема — как бы мой новый сын...

Толик оглох на мгновение. Что-то говорил отец, безмолвно шевеля губами, беззвучно проехал рядом трамвай, неслышно, словно вату, пнул камень Артем.

Улица с трамвайными рельсами, тополями, похожи-

ми на богатырей, и черным асфальтом вдруг покосилась и стала тихо кружиться. Толик заметил испуганного отца, удивленного Артема, шагнул назад и уперся спиной в стенку. Он раскинул руки, почувствовал шероховатые кирпичи и крикнул:

— Дура-ак!

Своего голоса он не услышал, зато увидел, как стали оборачиваться прохожие.

Неожиданно все звуки снова вернулись к нему.

— Толик! Толик! — говорил, волнуясь, отец.

Артем все пинал камень, на мостовой прозвенел трамвай.

— Толик, Толик! — говорил отец и гладил его по плечу.

Что было сил Толик стукнул по отцовской руке кулаком.

Значит, Артем — его новый сын. А раз есть сын, значит, есть и жена. Попросту говоря, у отца новая семья, как он выразился. А еще проще — он ушел от них навсегда. Навечно. И никаких дней рождения. Никаких цветов.

Толик хотел заплакать, но не получилось. Плачут ведь от обиды, а тут какая обида? Толик чувствовал лишь противную горечь во рту и тяжесть, неимоверную тяжесть. Словно он тащил на плечах бочку со свинцом. От этой тяжести хотелось сесть прямо на землю, привалиться к стене, закрыть устало глаза, зажать руками уши — и ничего не слышать, ничего не знать, пропади оно пропадом!

«Подлость! — думал Толик. — Какую же подлость сделал отец!»

Он всегда считал отца невиноватым в том, что случилось. Он всегда ругал маму. Это она не восстала против бабки, древняя рабыня. Она молчала, будто немая. Она не защитила отца. Во всем была виновата мамина слабость. Это ее проклятое безволие! Он всегда был за отца. Он всегда считал отца правым.

Толик подумал неожиданно: мог ли он ждать от отца такого?

Руку на отсечение! Он мог поручиться за отца, как за себя самого. Даже больше, чем за себя. И вот...

Значит, все это время между воскресеньями, когда они ходили на пляж, ели мороженое в стеклянном ку-

бике, катались на трамваях, у отца была другая жизнь? Другие заботы? Другие мысли?

И только в воскресенье он менялся. Говорил с Толиком о разных вещах. Плавать учил. Даже по морде дал — учил справедливости.

Справедливость... Что такое справедливость тогда? Где она, если отец бьет по лицу, а потом знакомит с новым сыном?

Новый сын! Э, нет, вы послушайте, как это звучит: новый сын, будто бывают старые сыновья.

Старые сыновья представились Толику маленькими старичками с бородами и усами. Они двигались на него стройной колонной — с горном и барабаном, и он видел в этой колонне самого себя: бородака, как у Чехова, и очки.

Толик взглянул на Тему. Новый сын все попинывал камешек, запустив руки в карманы, блестел на солнышке своим ежиком и вообще плевал сто раз на него, старого сына.

Неожиданно для себя Толик сжал кулаки и кинулся к спортивному парню. Это было все равно, что бросаться на каменную крепость, на танк, на стенку. Темка был наполовину выше Толика и вдвое шире в плечах. Но Толик не думал об этом. Он молотил Артема изо всех сил, ожесточенно обрушивал частые и несильные удары и приговаривал:

— Получай, гад! Получай, новый сын!..

6

Войдя домой, Толик обессиленно рухнул на мамину кровать и тут же забылся.

Он спал тяжелым, мертвецким сном и снова видел себя с бородкой клинышком. Очки поблескивали, как пенсне Изольды Павловны, а в руках крутились сапожные щетки. Рядом, на асфальте, истыканном каблуками, стоял младенец без штанов и с крылышками — божий, значит, посланник, глядел с интересом, как Толик крутит щетки, и повторял задумчиво: «Рабы божий! Божий ты раба!»

Проснулся Толик словно от толчка. Над ним стояла мама и гладила его по плечу.

— Эх, муш ты мой, муш, — сказала она, ласково улыбаясь.

— А что? — с трудом спросил Толик. Все, что случилось час назад, снова поднималось в нем, словно черный, грязный туман.

Мама протянула открытку, и Толик перечитал, что написал вчера на почте: «Дорогая Маша, сердечно поздравляю с днем рождения. Твой муш Петя».

Толик криво усмехнулся. Ошибка вышла. Муж, а не муш — от слова «мужество», «мужчина». Вот такая ошибка вышла! И не муж, и не мужество, и не мужчина... Изменник, вот что...

Толик поглядел на открыточные цветы, рванул бумажку.

— Что ты? — вздрогнула мама.

— Так, — ответил, хмурясь, Толик. «Сказать или не сказать?» — подумал он и решительно мотнул головой. Нельзя было даже на мгновение представить, что будет, если сказать. Как будет. Он просто промолчит. Спрячет в себя подальше отца с его новой семьей.

Мама все глядела на Толика, все улыбалась, счастливая, что ей цветы подарили, нарядная, в синем платье под стать глазам, и что-то еще хотела сказать Толику. Наконец решилась.

— Там папа, — шепнула она и кивнула за окно.

Толик вздрогнул.

— Ну и что? — быстро спросил он.

— Нет, ничего, — ответила, смущаясь, мама. — Может, ты позовешь его?

Толик сел. На столе дымился пирог, в глубокой тарелке поблескивал холодец, в окружении нескольких рюмок стояла бутылка с вином. «День рождения! — горько подумал Толик, поглядывая на маму. — Знала бы она, какой это день рождения!»

— Так позовешь? — спросила, волнуясь, мама, и Толик увидел, как хотелось ей, чтоб пришел отец.

— Нет, — сказал он и шагнул к окну.

Возле ворот торопливо курил отец. Он смотрел на их окна и, увидев Толика, махнул ему рукой. Сердце зашлось у Толика. Он отступил назад, как когда-то мама.

— Что ж ты? — спросила из-за плеча мама. — Он тебя зовет!

Не ответив, Толик сел за стол.

— Тогда, — неуверенно сказала она, — тогда я схожу сама.

Мама глядела то на Толика, то на бабу Шуру, будто спрашивала у них разрешения. Толик мрачно смотрел в тарелку, а бабка словно ничего не слышала.

— Так я пойду, — не то спрашивая, не то утверждая, сказала мама и вышла в коридор.

«Не придет», — уверенно подумал Толик про отца. И точно. Мама вернулась бледная и растерянная.

— Он не идет, — сказала она. — И зовет тебя. Хочет тебе что-то объяснить.

Толик молча жевал холодец, не ощущая вкуса. Кровь тугими ударами стучала в висках. «Объяснить! — подумал он с ненавистью. — Все уже объяснил, чего там!»

Ночью Толик часто просыпался, словно от каких-то толчков, и с ужасом вспоминал отца. Будто только сейчас понял, что случилось. В отчаянии Толик сжимал кулаки. Что делать? Что делать?.. Поздние слезы душили Толика, и он, чтоб не разбудить маму, зарывался с головой в подушку.

В ночной тишине цветы источали тонкий запах. Толик вспоминал, как доставал их, и проклинал себя. Ведь он для отца старался!

Толик лежал на спине, то забываясь, то вновь вздрагивая и широко открывая глаза. Над головой светлел потолок, с боков неясно проступали стены, и Толику казалось, что он бредет в лабиринте, что он заблудился в этих мутных стенах и не знает, куда идти. Толик закрывал глаза, и оказывалось, что у лабиринта нет дна. Он падал вниз, в черную пропасть, и задыхался от ужаса.

Утром Толик едва проснулся. Трещала голова, и все тело было тяжелым, словно налитое свинцом. Он плеснул в лицо воды, сунул в карман горбушку и вышел на улицу.

Двор был пуст и тих, как вчера, опять ярко горело солнце, но оно не походило ни на какого плавающего мальчишку. Просто шар, на который невозможно смотреть, надоедливый со своей жарой. Деревья даже примерно не напоминала богатырей — просто горы обвисших листьев. Асфальт душил тяжелым зноем, и ничего в нем интересного тоже не было.

Кто-то окликнул Толика, он обернулся и увидел отца.

— Подожди, Толик, — попросил он. — Я должен тебе объяснить.

Толик взгляделся в его лицо. Еще глубже стали две морщины от носа к уголкам рта, темные борозды пересекали лоб, а глаза походили на застывшие ледышки. Толик подумал, что отец сразу стал посторонним и незнакомым.

Он что-то говорил, но Толик не слушал, будто отец стоял за толстым стеклом. Потом повернулся и побежал.

— Толик! — крикнул отец. — Подожди!

И Толику послышалось отчаяние в его голосе. Но он лишь прибавил ходу.

Толик бежал размеренным шагом, как спортсмен, — согнув в локтях руки, дыша носом, сильно отталкиваясь ногами от земли, и вдруг услышал за спиной шаги.

Кто-то гнался за ним. Тот, сзади, приближался, и Толик рванулся вперед. Он уже не думал, что надо сгибать руки в локтях, дышать носом, сильно толкаться ногами. Толик мчался по дороге и слышал сзади тяжелое, прерывистое дыхание.

«Что же, — думал он, — значит, так? Отец обо-злился и решил поговорить с ним, как тогда, на пляже? Дать ему как следует, чтоб выслушал и понял? Доказать свою справедливость? Ну уж нет! Этого не будет!»

Толик бежал все дальше и чувствовал, как наливаются тяжестью ноги. Во рту стало горько, грудь сжимало. Изнемогая, он обернулся и рванул из последних сил. За ним бежал не отец, а его новый сын. «Подговорил! — решил Толик. — Или сам решил расквитаться за вчерашнее!»

Но сил больше не было, и Толик, еле дыша, прислонился к заборчику.

Боксеристый Артем медленно подходил к нему.

— Ну на, бей, бей! — сказал отчаянно Толик. Все стало ему опять безразлично.

— Ну и бегаешь! — отдуваясь, проговорил Темка. — Будто кто гонится!

«Будто не гонится?» — ответил про себя Толик, но

промолчал, удивляясь, что новый сын не торопится. В таких делах всегда торопятся.

— Слушай! — сказал Темка, блестя на солнце своим ежиком. — Есть разговор!

«И у этого разговор», — подумал машинально Толик, но послушно пошел за Темкой. Они уселись на бревнышке под каким-то забором, и Темка вытащил сигареты.

— Куришь? — спросил он басом.

Толик мотнул головой. Но вдруг, неожиданно для себя, взял сигарету.

Подозрительно поглядывая на Толика, Темка поднес ему огонь. Толик втянул в себя горький дым. В горле зашипало, ужасно захотелось кашлять, но он только крикнул, сдерживаясь, стараясь не ударить в грязь лицом. Теперь Толик дым не вдыхал, а глотал илн выдувал носом, и очень походило, что он в самом деле курит. Только выступили слезы — вот и все.

— Дурак же ты! — убежденно сказал Темка, растягиваясь на бревнышке и дымя сигаретой. — Набросился на меня, а хоть бы спросил: нужен мне твой отец?

Толик удивленно уставился на него.

— Ты же его новый сын? — спросил он.

— «Новый, новый»! — обозлился Темка и даже покраснел. — У меня свой отец есть!

Толик ничего не понимал.

— Что, у тебя два отца?

— Ох, дурак! — подскочил Артем. — Ну, дурак! Отец у меня один, его мать выгнала, а потом твой пришел. Понял?

Толик кивнул.

— Ну так слушай! — сказал Темка и поднялся, чтобы идти. — Этот твой отец мне — до лампочки. Понял? У меня свой есть! Понял? А твоего я ненавижу. Понял?

Толик кивал головой после каждого Темкиного вопроса.

— Вот ты найди его, — велел Темка. — И скажи, что я его ненавижу. Понял? И пусть уходит!

Толик опять кивнул.

— Я и сам ему говорил, — грустно сказал Темка, — да мать плачет. Говорит: «Повешусь...»

Он вздохнул.

— Если бы не мать, — сказал он, — я бы давно куда-нибудь драпанул.

7

После встречи с Темкой Толик снова бросил якорь у окна. Часами он торчал на подоконнике, пустыми глазами разглядывая улицу. Если бы кто-нибудь спросил его, что он там видел, Толик пожал бы плечами. Он ничего не видел. Все, что отмечали его глаза, в голове не оставляло никакого следа.

Толик думал совсем о другом.

Толик думал, что, значит, у отца не все так просто, если новый сын его ненавидит. Выходит, они теперь в сговоре с Темкой. Толик хочет, чтоб отец вернулся, а Темка — чтобы ушел от них. Вот так. Любовь и ненависть соединились.

Раньше Толик всегда ждал, что ему скажут взрослые. Что они решат. Что они сделают. А ты уже на сделанное гляди: нравится не нравится — не твое дело. Готовые решения кушай — подают их тебе на блюдечке, как кашу. Любишь не любишь — лопай!

Теперь все переменилось. Теперь он не станет молчать и ждать, что ему скажут. Надо действовать, чтобы все было в порядке. Надо вообще действовать в жизни, а не ждать!

Толику казалось, что раз их теперь двое, они сумеют добиться своего. Надо только сказать отцу, что Темка его ненавидит. Что у него есть свой отец и новый ему не нужен. Как жить с сыном, который его ненавидит? Отец должен уйти...

Думая об этом, Толик не переставал удивляться: почему отец женился снова? Как хватило решимости у него? Отцу было тяжело дома, и он ушел — Толик прекрасно понимал это. Ведь он ушел не просто так. Он ушел потому, что не мог смириться с бабкой. Он ушел в знак протеста — и это была борьба!

Тогда Толик жалел, любил, понимал отца. Сейчас — презирал!

Выходит, все это была липа? Обман? Пустые слова и пустые поступки — раз отец так быстро успокоился. Нашел новую жену. Нового сына...

Толик жестоко судил отца, сам порой не веря во

все, что случилось. Это казалось фантастическим, невозможным, страшным: отец — изменник... Толик вспоминал, как он мучился, написав две жалобы на завод. Он считал, что совершил преступление, написав эти письма — первый раз избитый, другой — желая уберечь отца. Как он мучился, как он ненавидел себя! Но ведь ничего не мог поделать. А отец? Кто заставлял его?

Нет, то, что произошло, нельзя было понять, и Толик думал о мести.

Темка, кажется, придумал неплохо. Толик найдет отца и скажет ему, что все бесполезно, что Темка ему никогда не будет сыном, как Толик, что Темка ненавидит его.

Неожиданно Толик вспомнил день, когда был суд. Вспомнил, как говорил отец с мамой в стеклянном кубе. «Силой не удержишь», — сказал отец. Правильно, силой не удержишь. Может, он хочет всем этим доказать, что силой его не удержишь?..

Толик вышел на улицу и услышал странные звуки. Вроде музыка, но какая-то не такая.

На трамвайной остановке, окруженный людьми, стоял маленький толстый дядька в соломенной шляпе. Он был, наверное, чуть повыше Толика и в три раза толще. Толику сразу стало жалко его. Некрасивые люди всегда вызывали в нем смертельную жалость и слезы, а этот, в соломенной шляпе, еще держал на себе толстую медную трубу и дул в нее, отчего щеки его округлялись и он становился совсем страшным.

Дядька играл старый вальс — Толик слышал не раз эту музыку, она называлась «Амурские волны», — глаза его печалились, он был немного выпивши.

Толпа на остановке посмеивалась, а дядька все играл, пропуская трамвай за трамваем, будто он специально стоял и провожал трамваи. Пу-пу-пу, пу-пу-пу, пу-пу-пу! — торжественно гудел он, а люди подходили, похихикивали, показывали на него пальцем; кто-то постучал из-за спины по его шляпе.

Дядька перестал играть, оглянулся, нахмурил брови. Подошел трамвай, он полез в него, не сняв трубу, и, конечно, застрял. Люди на остановке засмеялись хором, кто-то свистнул. У Толика навернулись слезы. Жестокий, жестокий народ! Он подскочил к трамвайной двери и помог толстяку снять трубу. Дядь-

ка забрался в трамвай, а Толик обернулся к людям на остановке, посмотрел, как они тупо хохочут, и крикнул захлебываясь:

— Что он вам сделал, гады? Что сделал?..

Кто-то осекся, но остальные продолжали смеяться, словно ничего не слышали. И вдруг из трамвайного окна высунулся толстяк. Он обвел толпу тоскливым взглядом.

— Эх, чудаки! — сказал он. — Смеетесь? А я друга сейчас похоронил. Тридцать лет рядом в оркестре играли.

Он сел, выставил из окна трубу и снова заиграл медленный вальс.

Пу-пу-пу, пу-пу-пу... — загудела труба, и трамвай медленно-медленно тронулся.

Люди на остановке быстро расходились, заспешив куда-то, а Толик стоял на рельсах, скрипя зубами, чтоб не зареветь, и смотрел, как уплывал по синим рельсам красно-желтый трамвай с трубачом.

Ему казалось, что это над ним хохотала толпа и что это у него умер старый друг. Да ведь так оно, в сущности, и было. Кто-то взял его за руку. Толик поднял глаза. Это был отец. Вот он, умерший друг. Стоит цел и невредим, человек, меняющий сыновей.

— Мне надо поговорить с тобой, — сказал Толик отцу, глубоко вздыхая, как бы освобождаясь от трубача.

— И мне надо поговорить с тобой, — ответил отец, вынимая папироску.

Они зашли в стеклянный кубик. Им поставили вазочки с цветными шариками, и Толик спросил первым:

— Зачем ты сделал это?

— Ты должен попытаться понять меня, — сказал отец, опуская голову. — Я измучился от такой жизни. Твоя бабушка невыносима. Мама не любит. Лучше как ножом: обрубил — и все... — Он заглянул Толику в глаза. — Единственное, что я хочу, единственно, о чем думаю все время, — чтобы понял и простил меня ты. Я тебя очень люблю, — сказал отец, — и прошу остаться моим сыном.

Он сказал слово «моим» громче, будто хотел подчеркнуть, что Толик должен быть не чьим-то там сыном. Чудак человек! Разве можно стать чужим сыном, если у тебя есть отец?

— Ты понял меня? — спросил отец.

Толик вспомнил трамвай, улывающий с трубачом. Вспомнил людей на остановке. Тем, веселым, было не до толстяка. Он их рассмешил, вот вам и все. А как мало! Как мало смеяться, когда надо плакать! Ах, люди, как часто не понимают они друг друга! Не хотят понять. Вот и отец спрашивает: «Ты понял меня?» — потому что сам ничего не понял. Потому что у самого сил понять не хватило.

— Нет, — ответил Толик, вглядываясь в отца, как в ту толпу на остановке. — Не понял, потому что ты не прав. Мама любит тебя. Любит, понятно? Она просто слабая, и ты ей должен помочь.

— Как помочь? — воскликнул отец.

— Не знаю, — тихо сказал Толик. — Но ты должен. Вы должны оба.

Отец отвел глаза.

— Но не в этом дело, — продолжал Толик. — Не это я хотел сказать.

Он набрал побольше воздуха, чтобы нанести отцу последний удар.

— Темка тебя ненавидит, — сказал он, бледнея. — Он не хочет, чтобы ты был его новым отцом. У него есть старый. И он говорит, чтобы ты уходил от них.

Толик думал, отец растеряется, загорюет, вздохнет. Но он только кивнул головой.

— Знаю, — сказал он. — Знаю!

8

Через день, утром, во дворе раздался свист. Толик выглянул из окна и увидел Цыпу.

Ничего себе гости!

Гость был не один, поодаль стояли пятеро каких-то незнакомых Толику ребят, и было ясно, что они пришли с Цыпой.

— Иди-ка! — крикнул долговязый развязным голосом. — Поговорим!..

Толик сразу почувствовал неладное, но не выйти, остаться дома было позорно. Сжимая кулаки, Толик сошел вниз.

На дворе было пустынно. Только Цыпа и пятеро парней.

Цыпа подошел вплотную к Толику, посмотрел

сверху вниз, оттянув губу, и сильно ткнул его пальцем в живот. Толик от неожиданности отскочил назад, парни загоготали, а Цыпа уже снова медленно приближался к нему. Толик зарделся. Если бы Цыпа его ударил, было б не так обидно. Ударил за старое — вот и все. А тут он издевался. Тыкал пальцем.

Цыпа приближался, и Толик, свирепея, стремительно метнулся в атаку. Он целил в оттопыренную Цыпину губу, но не достал и попал в подбородок. Руку резанула острая боль, Толик скорчился, а когда разогнулся, увидел, что стоит в кольце. Пятеро незнакомых парней и шестой Цыпа медленно подходили к нему. Толик крутнулся, выбирая слабинку в этом кольце, и почувствовал сильный удар сзади. В то же мгновение град кулаков обрушился на него со всех сторон, будто он попал в молотилку. В глазах плавали желтые круги, парни били куда попало, и один ударил в поддых. Земля поехала вбок, и Толик осел на асфальт.

Через минуту, когда Толик пришел в себя, вокруг никого не было. Парни бегали под тополем, там, где зимой играли в хоккей. Кто-то широкоплечий и складный стремительно настигал то одного, то другого, и парни валялись с ног, как кегли. Тот, кто гонял их, действовал двумя руками. Правая у него была свободна, и он бил ею в нос. Во второй он держал толстую кошелку. Кошелкой широкоплечий добавлял, кому не хватало.

Пошатываясь, Толик приподнялся и побежал на помощь извavitелю. Первым ему попался Цыпа. На этот раз Толик достал до его отвислой губы. Цыпа заревел и выпустил изо рта розовую пену. Потом Толик поставил кому-то подножку и на полном ходу столкнулся со своим защитником.

Толик застыл от удивления.

Это был Темка. Он запыхался, глаза его горели, а левая рука еще раскручивала для удара тяжелую кошелку.

Парни беспорядочно разбегались. Артем свистнул им вслед — и те побежали быстрее. Толик злорадно засмеялся. Его трясло как в лихорадке, хотелось догнать Цыпу с его наемными извavitелями, дать так, чтобы кубарем покатались вдоль по улице.

— Э-э, — сказал Артем, разглядывая Толика, — они тебя прилично помяли.

Успокаиваясь, Толик пошевелил толстым отчего-то языком. Во рту было солоно, один зуб шатался. Вдобавок горела ободранная щека.

— Сходи помойся! — велел Темка, и Толик повернулся к дому.

Взгляд его скользнул по своим окнам, и он остановился. Тяжелым, задумчивым взглядом на него смотрела баба Шура. Толик не помнил, чтобы она когда-нибудь так смотрела. Бабка не прокалывала Толика, не глядела сквозь него. Ему показалось, что она просто задумалась. Та самая баба Шура, которая никогда не задумывалась, вдруг задумалась.

Толик потоптался нерешительно и повернулся к Темке.

— Домой нельзя.

Они пошли к уличной колонке. Широкая струя хлынула на лицо. Сразу стало прохладно, приятно, боль утихла.

— Ничего, — утешил Темка, когда Толик утерся его платком. — За одного битого двух небитых дают.

Они пошли вдоль улицы.

— А вообще-то, — сказал Темка, — если хочешь быть небитым, занимайся боксом.

— Ты занимаешься?

— Угу! — Темка приподнял кошелку. Там лежали боксерские перчатки.

— Здорово! — удивился Толик. — Дай померить!

Они остановились прямо на тротуаре. Толик надел тугие блестящие перчатки и, смеясь, помахал ими.

— Пойдем? — спросил Темка, взглядываясь в Толика.

— Куда?

— На тренировку. Поглядишь. Если захочешь, я тренера попрошу, он тебя возьмет. — Темка оглядел Толика. — Фигура у тебя подходящая. — Он засмеялся. — В весе мухи!

В спортивный зал пускали только в тапочках, но тапочек у Толика не было, и он, сняв ботинки, прошел туда босиком. В зале было прохладно, тихо, лишь строгие команды тренера отдавались гулким эхом где-то под потолком. В шеренге ребят, которые бегали, прыгали через скакалочки, наклонялись и махали руками, широкоплечий Темка просто терялся — все тут

были широкоплечими, коренастыми такими бычками, и у всех прическа бобриком.

Толик все ждал, когда начнется бой, хотел посмотреть на Темку, как это тут у него получается, но на ринг Темку так и не выпустили. Он прыгал в углу с каким-то парнем, бил ему по кожаным лапам, и все. Зато стали драться двое других. Один парень был белобрысый, с челочкой и бесцветными маленькими глазками. Он все время скакал, мельтешил, подныривал под противника и все время нарывался на выставленный кулак. Казалось, другой парень, черненький такой и очень спокойный, лишь тем и занимался, что подставлял белобрысому свой кулак.

Тренер хвалил черненького, а белобрысому говорил, чтобы тот противника завлекал, а не мельтешил. Наконец с челочкой допрыгался. Черненький все выставлял, выставлял один кулак, а потом выждал момент — и как саданул второй рукой по белобрысому! Тот закачался, и у него носом пошла кровь.

Толик уже совсем было увлекся боем, но, как только у белого побежала кровь, отправился в коридор. Уж очень противно стало глядеть, как белобрысый бодро улыбался, хотя в глазках у него было совсем другое.

Только что Толик сам дрался — не понарошку, а на самом деле, и разбил губу длинному Цыпе, и сам плевался кровью возле колонки, но там была драка, там была война. Толик мог рассказать по порядку, почему дрались там, во дворе. Здесь же черненький разбил нос белобрысому просто так. Ни из-за чего. Может быть, он даже не хотел этого — черненький выглядел добрым парнем и совсем не злился, когда ударил того, с челочкой.

Нет, драться просто так и просто так пускать друг другу кровь из носа Толику не хотелось. Он признавал только серьезные драки. А тут и всерьез и понарошку.

Вышел, помахивая кошелкой, Темка.

— Не понравилось? — спросил он. — Ну ты просто не раскусил еще, не понял, что к чему.

— Да нет, — ответил Толик, — понял. Неохота просто так драться.

Темка рассмеялся.

— А так охота? — и кивнул на Толика. Толик построговал лицо рукой. На скуле вздулся фингал, зуб все шатался и кровоточил.

— И так неохота, — подтвердил он и вдруг добавил: — Вообще драться неохота...

Он вложил в эти слова свой смысл. Действительно, как устал он от этой борьбы, от этой бесконечной драки с бабкой, с мамой, с Изольдой Павловной, с отцом, с Цыпой — да кого только не было среди противников, вот даже Темка, который мирно идет рядом. Ведь ничего не произошло с тех пор, как Толик поговорил с отцом. Ничего не сдвинулось с места. Отец не вернулся, и Темка по-прежнему его новый сын. Новый сын — значит, враг.

Враг-то враг, но Толик не испытывал к Темке никаких вражеских чувств. Наоборот. Темка поступал как товарищ, нет, больше — как друг. Он не тронул его, когда Толик бросился с кулаками. Даже не вспомнил ни разу про эту глупость, а ведь это была ужасная глупость бросаться на него: он-то тут при чем? А сегодня эта драка с Цыпиной компанией. Да и вообще. Темка был старше Толика на два класса, а говорил, как с равным, не задирая нос, не хвастался, что сильнее. Вот и сейчас — шел, думал над Толикиными словами про драку и не смеялся, молчал — значит, понимал.

— А ты и не дерись! — сказал он. — Просто я уважаю сильных людей. И не только людей, — улыбнулся Темка. — Вот хочешь, прочитаю?

Они сели на лавочку, и Темка вытащил из кошельки книгу.

— Про дельфинов и про китов, — сказал он. — Мировая книга. Вот слушай! Одного кашалота загарпунили. Когда кита гарпунят, он удирает, а этот наоборот. Пошел на таран. — Темка стал читать. — «Кашалот развернулся и бросился в атаку на судно. Двенадцатиметровый кит ударил судно головой в борт. Корабль резко накренился. Удар был так силен, что заскрежетали стальные листы корпуса, многие матросы попадали, а судовые двигатели вышли из строя. Пришлось судно отбуксировать в порт». — Темка восхищенно глянул на Толика. — Видел? — воскликнул он. — Какой отважный кит!

— Так это кит! — возразил Толик.

— А ты что, хуже кита? — удивился Темка. — Любой человек за себя постоять должен!

9

С Темкой было интересно. Он знал совершенно все про дельфинов и китов и озадачивал Толика своими вопросами.

— Знаешь, — спрашивал он, — какой длины самый большой кит?

Толик пожимал плечами.

— Тридцать три метра! — восхищался Артем. — Если бы кит встал на хвост, он был бы с девятиэтажный дом. Во!

Толик удивлялся, это было на самом деле здорово — идет по улице кит, и все от него в стороны шаркаются. А Темка снова приставал:

— Сколько он весит, знаешь? Сто пятьдесят тонн. Если его на весы положить, то на другую чашку должны встать две тысячи человек...

Толик представил: целая площадь во время демонстрации.

— ...или сорок автобусов! — добивал его Темка.

— А самый маленький кит, — спросил Толик, — метров десять?

— Этот самый маленький кит — мой любимый, — сказал Темка.

— Ты его видел? — удивился Толик.

— Нет... Просто он очень симпатичный, маленький, один метр.

Знания сыпались из Темки, как горох из мешка, и Толик узнавал тысячи забавных вещей. Оказывалось, что в одну секунду дельфин проплывает пять метров — как курьерский поезд мчится, — что сердце у кита весит столько же, сколько целый конь-тяжеловес, и что одной только крови у кита десять тонн, что дельфины разговаривают между собой, спасают людей в море и что мозг у дельфина больше, чем у человека.

— Ты кем будешь? — спросил однажды Темка у Толика.

Толик пожал плечами. Давно уж он не думал, кем станет. Сначала хотел летчиком или моряком, но это

давно. Потом перестал думать о таком далеком, не до того было...

— А я стану акванавтом! — решительно произнес Темка.

— Кем-кем? — не понял Толик.

— Акванавтом. Значит, море изучать буду. И знаешь, чего я хочу. Приручить дельфина!

Темка глядел восторженно на Толика, глаза его блестели, словно вишни на солнце, и Толик удивился, откуда это у Темки, который живет в сухопутном городе — одна речка только рядом, — такая любовь к морю?

— Ты море-то хоть видел? — спросил Толик.

— Не! — весело ответил Темка. — Только в кино!

В кино и Толик много раз видел море, ну так что ж, этого ведь мало, и он поглядел на Темку с интересом. Значит, такой твердый у него характер, раз моря не видел ни разу, а любит его, любит дельфинов своих и кашалотов.

— Ну, это ничего! — воскликнул, весь светясь, Темка. — Меня отец обещал свозить к морю.

Отец! Это слово резануло Толика.

— Какой отец? — спросил он встревоженно.

— Да мой, мой, — помрачнел Темка. — Не волнуйся. — И закурил хмурясь. Толик задымил тоже. Как-то так получалось, что, разговаривая про отцов, они курили, хотя удовольствия было мало, а Темке так просто вредно — ведь спортсмены не курят.

— А кто он у тебя? — помолчав, спросил Толик.

Темка задумался, потом сказал:

— Нет, конечно. К морю он меня не свозит. — И добавил, горько усмехаясь: — Он у меня пьяница.

Толик испуганно уставился на Темку. Вот, значит, что.

Толик вспомнил тот вечер, хмельного отца. Он никогда не был пьяницей — правда, выпивал, но крепко только в тот вечер. И Толик не мог подумать даже, что отца можно лишиться из-за пьянства, хотя пьяные, бредущие вдоль заборов мужчины не раз встречались ему.

— Мать сперва жалела его, — сказал Темка, — в больницу лечиться возила, но он оттуда сбежал — домой пьяным вернулся. Прямо в больничном халате пришел, а под ним — ничего нет. Мать его и выгнала.

Он вздохнул, выпустил струю дыма, прикрыл глаза.

Толику стало жаль Темку, жаль его отца и мать, которых он никогда не видел, но которые мучились из-за водки, отец — не замечая этого, а мать — переживая, страдая, горюя, как Толикина мать, наверное, даже хуже.

— Ты пробовал водку? — спросил неожиданно Темка, обращившись к Толику.

Он мотнул головой.

— А я пробовал, — сказал Темка. — Специально пробовал, когда дома никого не было. Узнать хотел, чего он находит в ней.

Темка замолчал.

— Ну? — подстегнул его Толик.

— Налил полстакана и выпил. Горько — ужас! Голова сразу кругом пошла, будто в покдаун попал. А потом мутить меня стало. Тут мать вернулась, понюхала стакан и давай меня ремнем хвостать. Ревет и лупит, ревет и лупит, а я ей ничего объяснить не могу, язык еле ворочается. Испугалась, что и я запью.

Он усмехнулся.

— Твой-то тоже попить начинает, — сказал он.

Толик вздрогнул. Отец стал выпивать? Да нет, быть этого не может!

— Врешь! — выдохнул Толик и добавил зло: — Наговариваешь ты все, потому что ненавидишь! — И сам удивился тому, как сказал. Будто он Темку уговаривал отца любить.

— Ну, знаешь, — обиделся Артем. — Что не люблю я его, это точно. Но чтобы наговаривать, ты это брось.

Верно, не тот человек был Темка, чтобы зря говорить.

— Хоть бы он ушел поскорей, — вздохнул Темка. — Вот думаю и ничего придумать не могу. Что бы такое выкинуть, чтобы он ушел? — Он повернулся к Толику. — Может, ты придумаешь?

«Что тут придумаешь, — с горечью подумал Толик. — Ведро воды на него вылить, чтобы обиделся, капкан у входа поставить? Все это ерунда, все это детские штучки, и не помогут они».

— Может, мне из дому уйти? — спросил сам себя Темка. — Я ведь давно хотел. Но куда? — вздохнул он. — Куда уйти-то?

Они бродят по городу, как два бездомных щенка,

и некуда им деться. Слава богу, погода стоит хорошая, и мать Артему дает немного денег. Они покупают пончики с повидлом и запивают их сладкой газировкой — не хуже любого обеда и даже интереснее — не надо есть суп и сидеть не надо. Пожевал стоя, попил и шаг-гай себе дальше.

В речке искупаются, на тренировку Темкину сходят — Толик его в коридоре подождет, потом опять просто так бродят. Весь свой город исколесили. Где не побывали только. Даже в знаменитой Клопиной деревне.

Давно-давно, когда ни Толика, ни Темки на свете не было и война шла, в город их приходили эшелоны. Выходили из них люди, вытаскивали тяжелые ящики, везли на лошадях в разные места, где днем и ночью костры горели. Зима была, кострами отогревали землю, а потом вбивали в нее железные балки, строили торопливо заводы, ставили в холодных цехах станки, которые в ящиках привезли. Холодно было, померли многие по дороге от голода, а станки привезли, как новенькие — в смазке, не попорченные ржой, чтоб сразу, без проволочек можно было делать снаряды.

Тетя Поля говорила Толику, о себе люди тогда думали мало, работали круглые сутки, в три смены, а жили как попало. Строили деревянные хибарки в длинном овраге, который был в самом центре, между стенок опилки насыпали для теплоты или паровозный шлак. Хибарки росли одна возле другой, как пчелиные соты, и никто не жаловался. Думали: кончится война, построим большие дома, заживем хорошо сразу, да не вышло. Не сразу большие дома построили, да и хибары не сдавались — время-то шло, рождались дети вроде Темки с Толиком, в хибарках народу прибавлялось, и никаких новых домов не хватало, чтобы расселить деревянный овраг. Овраг этот прозвали Клопиная деревня.

Уже выросли Толик с Темкой, люди послевоенного рождения, а Клопиная деревня все существовала, хоть и опустела почти. Дощатыми крестами заколотили окна хибар, и зимой домики заносило непролазными сугробами по самые крыши. Нежилым, пустынным, таинственным становился старый овраг.

Стоя рядом с Темкой на краю обрыва, Толик думал, что сверху Клопиная деревня походит на странное лицо, изрытое оспой, изрезанное морщинами улиц и по-

лосой ручья, протекавшего по дну. Лицо было безмолвным, будто вырезанным из камня, как лица египетских сфинксов из учебника по истории. Но оно не умирало, нет, наоборот. Толику показалось, овраг едва ухмыляется, притворился, что глух и стар, а сам готовится выбросить какую-нибудь штуку.

— Пойдем? — спросил Толика Темка, кивая на овраг.

Тысячу раз разглядывал Толик сверху Клопиную деревню, даже бывал там раньше у каких-то бабкиных знакомых — правда, это было давно, когда окна в хибарках еще сверкали мутными стеклами, а по узким улицам ходили люди. Но идти туда сейчас... Ему стало не по себе, жутковато, но Темка поглядывал на него, улыбаясь, и Толик вспомнил про отважного кита.

Ступеньки крутой лестницы вели их вдоль пустой горбатой улицы. Солнце не забиралось сюда, и прямо посреди дороги росли тощие, но безмерно длинные подсолнухи с маленькими головками.

— К свету тянутся! — сказал про них Темка, как про живых, и они удивленно остановились. Дорогу им пересекала курица с цыплятами. Это было странно и смешно — по вымершей деревне шла такая живность. Мать шагала деловито, не обращая внимания на людей, будто никогда им не принадлежала.

— Во дает! — восхитился Толик смелой курицей.

Сбоку стояла хибара, такая же, как другие, с заключенными накрест окнами, только дверь была распахнута. Она тихо скрипела на ржавых петлях, чуть шевелясь от незаметного ветерка.

Темка шагнул в хибару, распахнул еще одну дверь и шарахнулся в сторону. В комнате раздался дикий визг, мимо них метнулось чудовище, и Темка расхохотался.

— Да это кошка! — крикнул он. — Их тут уйма.

Они вошли в домик.

На полу лежал толстый слой пыли, и в ней после каждого шага оставались четкие следы. На полу лежали желтые газеты и стопка старых книг.

Толик перевел дыхание.

— А что? — вдруг сказал Темка. — Это идея! Здесь можно жить.

И весело поглядел на Толика,

Толик был в восторге от Темки.

Еще когда они поднимались из Клопиной деревни, Толик, глядя восхищенно на Темкин затылок, решил во всем ему подражать. Кроме бокса. Он даже подстричься решил под бобрник, как Темка.

Все-таки удивительный человек встретился Толику. Ведь небольшой еще, не взрослый, во всяком случае, а какой решительный! Только теперь Толик начинал понимать по-настоящему Темкины слова и про кита, и про то, что человек должен сильным быть. Темка был сильным и волевым и воспитывал в себе силу и волю.

Толик и раньше понимал, что Темка отличается от него — например, он любил дельфинов и китов, считал, что надо заниматься боксом, он много еще других вещей говорил, убежденно говорил, и Толик втайне, в закоулках души завидовал этой Темкиной уверенности. Теперь он завидовал ему, не таясь, и зависть эта была хорошая, потому что одно дело впустую завидовать, а другое — завидуя, стараться быть не хуже.

Нет, не подражать Темке было нельзя. И раньше он правился Толику — это так, но теперь, после того, что Темка решил там, в Клопиной деревне, его можно было сравнить только с тем отважным китом. Темка шел на таран. Изо всей силы!

Они дружно шагали в ногу. Толик вспоминал знакомую песенку и замурлыкал ее под нос. Темка услышал ее и подхватил. Толик взглянул на небо и запел громче. Они шагали и пели во весь голос, довольные собой и всем, что было.

Встань пораньше,
Встань пораньше,
Встань пораньше —
Когда дворники замаячат у ворот,
Ты увидишь, ты увидишь,
Как веселый барабанщик
В руки палочки кленовые берет.
Ты увидишь, ты увидишь,
Как веселый барабанщик
В руки палочки кленовые берет.

Они шли, распевали свою песенку во все горло, и прохожие, улыбаясь, оборачивались на них. А чего улыбаться? Тр-ра-ра! Тр-р-ра! — стучали кленовые па-

лочки. Чего улыбаться, Толик пел вполне серьезно. И Темка тоже. Тр-р-ра! Тр-р-ра! — грохотал тугой барабан. Нечего улыбаться!

Они шли в ногу, как военные. Вполне серьезно. И песня у них была военная. Что улыбаться, если идут двое и громко поют? Может, это отряд? Боевой отряд? Разве двое не могут быть отрядом?

Толик все шел и пел и за своим голосом не услышал, как умолк Темка. Как остановился он словно вкопанный. А Толик все шел и шел и обернулся, только отмерив еще шагов десять.

Темка стоял возле пьяного дядьки, а тот валился на него, еле держась на ногах. Темка удерживал его руками, прислонял к стенке, и Толику вдруг показалось, что пьяный пристает к Темке. Он кинулся назад на выручку и вдруг увидел блестящие Темкины глаза.

Эти глаза потрясли Толика.

В глазах у Темки, у отважного Темки, у человека сильной воли, были слезы.

— Иди! — приказал Темка Толику твердым голосом. — Иди домой. Я должен отвести его. Это мой отец.

Толик глядел на пьяного, ничего не понимая.

Это Темкин отец? Не может быть, чтоб у Темки был такой отец! Не может быть, чтоб такие дети были у таких отцов!

Пьяный свесил голову на грудь, полуприкрыв глаза. Рубашка у него была в грязи и порвана: видно, он падал и зацепился за что-то. Время от времени пьяный вскидывал голову, обводил вокруг мутными глазами и выкрикивал:

— Ар-ртюша! Стар-ричок!

Темка закинул руку отца себе через плечо и сделал шаг. Пьяный повалился и едва не уронил Темку. Толик подскочил к ним и подхватил пьяного с другой стороны.

Они вели Темкиного отца по улице, и все уступали им дорогу. Пьяница оказался тяжелый. Толик чувствовал, как по лбу у него струится пот, но утереться было нельзя, и он дул на капельку, которая свисла с носа. Капелька, как назло, не слетала, щекотала, мешала, и Толик злился за это на пьяного.

Рядом пыхтел Темка. Изредка Толик взглядывал на него, и сердце его сжималось. Глаза у Темки расшири-

лись, губы тряслись, он побледнел, на виске вздулась вена.

Прохожие оглядывались на них, говорили всяк свое, но чаще другого Толик слышал одну фразу:

— Бедные дети!

«Бедные дети! — злился он. — Не бедные дети, а бедные взрослые — вот что! Вместо того чтоб жалеть, помогли бы лучше».

Они шагали вперед, и Толик заметил, как все больше и больше бледнел Темка. Наконец они остановились у деревянных, почерневших от времени и дождей ворот. Ржавое кольцо в воротах скрипнуло, мальчишки втащили пьяного во двор, а потом по ступенькам — в маленькую темную прихожую. Темка толкнул ногой какую-то дверь, и они очутились со своей пошей в узкой комнатке.

Толик оглянулся и опешил.

Из-за стола медленно поднимался отец. Рядом с ним стояла маленькая женщина. На улице было жарко, а она куталась в платок.

Вот, значит, куда привели они Темкиного отца. Впрочем, что тут удивительного? Просто Толик, пока они тащили свою тяжелую пошу, ни разу не подумал об этом — куда ведет Темка. И все-таки это было неожиданно — увидеть отца в одной майке за чужим столом, в чужой комнате, рядом с чужой женщиной.

Толик услышал, как загрохотало сердце. В секунду он покрылся липким потом, ноги задрожали — то ли от усталости, то ли от того, что он увидел.

А маленькая женщина в платке долго и неотрывно смотрела на Темку такими же жгучими, как у Темки, глазами, потом шагнула к нему.

— Зачем ты привел его? — спросила она Темку. — Ты же знаешь... Зачем ты привел, спрашиваю? — закричала она.

И без переходов, без всяких пауз Темка закричал в ответ ей:

— Затем, что он мой отец, понятно? Затем, что это он должен жить тут! — Темка сделался белым как стенка. — А вы? — кричал он, обращаясь к отцу. — А вы тут не должны жить! Вы должны жить у него!

Темка показал пальцем на Толика, маленькая женщина будто лишь сейчас заметила его. Она пристально взглянула на Толика.

— Слышите? — орал Темка. — Вы, так называемый Петр Иванович! Убирайтесь отсюда!..

Отец покрылся красными пятнами, стоял истуканом и ничего не отвечал. Маленькая женщина замерла тоже. Только пьяный Темкин отец оглушающе храпел, запрокинув как мертвый голову.

Темка повернулся к Толику, шагнул к нему и подтолкнул в прихожую.

Они вышли на улицу. И Толик видел, как мелко трясется Темка, будто он просидел сутки в мерзлом, стылом погребе...

11

После того как они вышли на улицу, Темка ни слова не сказал об отце. Ни звука. Будто ничего и не было, будто не шли они через весь город с пьяным.

— Значит, как условились, — сказал он, успокоившись, и пожал, прощаясь, Толику руку.

Целый день Толик думал о Темке.

Думал, что все его несчастья по сравнению с Темкиными, хоть, может, и не ерунда, но в общем-то, конечно, меньше, проще.

Темка знал, что значит позор, когда ведешь пьяного отца через город, Толик о таком и подумать не мог. У Темкиной матери был теперь другой муж — Толикин отец. И она требовала от Темки, чтобы он полюбил его. А Толик и представить себе этого не мог.

Нет, Темке трудней и тяжелей, чем Толику. В тысячу раз хуже!

Толик думал так, считая себя еще счастливым по сравнению с Темкой, и Темка от этого становился в его глазах все лучше. Он хвалил Темку, он любил его. Он подумал даже, как было бы здорово, если бы Темка был его старшим братом.

Толик улыбался про себя, гордился Темкой и совсем забыл о своих бедах.

В тот же день, вечером, мама позвала Толика в магазин. Он долго отнекивался, но потом согласился, и они пошли в центр. У мамы было хорошее настроение, она все улыбалась, рассказывала Толику, каким он был маленьким. Потом замолчала.

— Однажды ты спросил меня, — сказала она. — «Мама, — спросил ты, — а что такое жизнь?» Я уди-

вилась твоему вопросу, а ты добавил: «Мне кажется — это игра». — «Как это?» — спросила я, смеясь. «А как в игре: и грустно и смешно».

Толик улыбнулся.

— Сколько мне было тогда? — спросил он.

— Пять лет, — ответила мама.

— Что ж, все верно, — подтвердил он. — Жить — это и грустно и смешно.

Мама взглянула на него удивленно.

— Тебе было пять лет, что ты мог понимать?

— Но ведь верно? — спросил Толик, вглядываясь в маму.

— Потому и помню, — вздохнула она, — столько лет...

Они шли не спеша, говорили о всякой всячине и совсем не подозревали, что еще один квартал им остался, еще сто шагов, еще десять...

Мама остановилась. Толик взглянул вперед.

Из дверей магазина выходил отец. Он держал под руку маленькую, с черными, как у Темки, глазами женщину. По другую сторону от отца стоял Темка. Он всматривался в маму Толика, мама всматривалась в женщину. А отец и Толик глядели друг на друга.

Они потоптались немного друг против друга, и отец с новой семьей свернул в сторону.

Мама качнулась, и Толик подхватил ее. Мамино лицо было белым, губы плотно сжимались. Толик думал, она заплачет, как всегда, но глаза ее были сухими, только блестели необычно.

И еще он увидел в маминых глазах отчаянность. Будто она решила на что-то.

— Ты знал? — спросила она вдруг сухо, и у Толика не хватило духу соврать. Да и что толку врать? Он кивнул.

Мама коротко размахнулась и ударила Толика по щеке.

Толик не обиделся, не заплакал. Он смотрел на маму, будто с высоты. Будто был он на горке, а мама внизу.

Ведь ее же он пожалел, когда не сказал про отца. Хотел, чтобы мама подольше не знала. Впрочем, это глупо, конечно. Все равно бы узнала.

— И глупо и смешно, — сказал Толик и увидел побелевшие мамины глаза.

ПОЖАР

1

Не узнавал Толик маму.

Все в ней переменилось: и походка, и голос, и глаза.

По комнате ходит быстро. Голос звонкий стал, словно металлу в него добавили. Не плачет, как раньше, наоборот — глаза ясные, и решительность в них. Только сама — как струна натянутая. Затроне — сорвется и больно ударит.

Ходит она по комнате, делает свои привычные дела, а сама все думает напряженно. Спросишь о чем-нибудь — молчит, не слышит, а повторишь громче — вздрогнет, обернется. «Что-что?» — скажет и тут же опять про свое думает. Толик даже пугаться стал: не случилось бы чего-нибудь с ней, не попала бы под машину, вот так задумавшись, когда с работы идет.

Но самое главное — мама к бабке переменялась. Мало с ней говорит — так, о пустяках только, о всяких домашних делах, да и то — перекинутся словом и молчат. Бабка на маму строго взирает, рассматривает ее пристально, будто диковинную бабочку, а мама на ее разглядывания — ноль внимания. Раньше бы бабка про такое мамино поведение высказалась немедленно, а теперь молчит. Чувствует перемену.

И вдруг кончилось бабкино владычество. Будто династия какого-нибудь Рамзеса Второго в учебнике истории.

Толик думал, бабы Шурино царство навечно, навсегда, а если даже не навсегда, то нелегко ее свергнуть будет. А вышло все очень просто. И смешно.

Мыла мама однажды пол. Тряпкой громко шваркала, зло по полу воду гоняла и добралась до бабки с уткнутыми друг в друга тапками. Дулась опять за что-то баба Шура. Характер проявляла. Так вот, добралась мама до бабкиных тапок и вдруг сказала:

— Ну-ка подвинься!

Не стала бабкины ноги тряпкой аккуратно обводить. Баба Шура на нее уставилась, точно филин. Поразила маминной наглости. Потом губы поджала и отвернулась, будто ничего не слышала.

— Подвинься! — еще раз сказала мама. — Ви-дишь, пол мою.

А бабка оглохла, приготовилась с мамой за такое покушение не говорить, пока сама не устанет.

И тут случилось.

Мама поглядела пристально на бабку, руки о передник вытерла и вдруг — раз! — подхватила стул вместе с бабкой. И на другое место поставила. Толик расхохотался. Будто мебель передвинула, неодушевленный предмет. Да так оно и есть. Какой же бабка одушевленный предмет, коли у нее души нет?

Вот и все. Баба Шура сидела, переставленная, как мебель, из одного угла в другой, и рот у нее сам по себе открылся. А закрыться никак не мог. Сидела бабка с открытым ртом, потеряв всякую царственность и всякую грозность, а Толик все хохотал, радуясь падению императрицы, приветствуя великую домашнюю революцию, и революционная сила — солдаты, матросы, крестьяне и рабыни, вместе взятые, мама то есть, — не выдержала, усмехнулась тоже.

Когда мама взяла деревянный трон и переставила его вместе с бабой Шурой в другое место, Толик удивился: какая она сильная, оказывается! Легко так стул перекинула.

Но, оказалось, мама еще сильнее. Оказалось, это только всему начало. Пролог, как в книгах пишут. Главное впереди было.

С тех пор как бабку свергли, она стала тише воды, ниже травы. Ходит по комнате — еле тапками шуршит, будто они у нее на воздушных подушках. И молится, молится усердно. Возьмет половичок, под коленки подложит и кланяется, кланяется... Раз мама с ней не очень-то говорит, так с иконой переговаривается.

Дальше так было. В субботу мама тесто завела. Утром Толик проснулся, нюхнул — вкусно пахнет. Огляделся, бабка пышки в тряпницу заматывает. Потом платок пониже на лоб натянула, подошла к своей иконе, поклонилась. Такая смиренная, тихая. Аккуратно за собой дверь притворила.

Толику стало любопытно, куда это ее понесло в такую рань. Он вскочил с постели, высунулся в окно.

Внизу, на крылечке, стояла тетя Поля. Бабка поравнялась с ней, затопталась, принялась вокруг оглядываться, будто бы погода ей нравится, — никогда ника-

ких погод не замечала, а тут заметила. Тетя Поля глядит на бабу, едва улыбается, все топтания бабкины понимает, ждет. Ведь с тех пор, с суда, как в коридоре встретятся, друг друга не узнают, а тут топчется баба Шура, — видно, хочет помириться.

— И чего это, Полина, ты тут стоишь? — спросила наконец бабка, невзначай будто так обронила.

Тетя Поля еще хитрей улыбнулась.

— Свежим воздухом дышу. Птичек слушаю, — сказала. — А что делать-то?

— В божий храм идти, — смиренно бабка ответила.

— Так я партейка! — сказала тетя Поля.

Но бабка рассмеялась:

— Какая ты партейка?

Тетя Поля подобралась, будто драться решила.

— А вот такая. Муж у меня партийный был — значит, и я тоже. — Потом усмехнулась. — Ну а ты-то, Васильевна, хоть не партейка, а неверующая, зачем идешь?

Баба Шура сгорбила острые плечики, прикинулась обиженной, но ничего не ответила, пошла. И вдруг за камень запнулась. Чертыхнулась полным голосом. Тетя Поля усмехнулась, подмигнула снизу Толику, и ему тоже стало весело.

Толик слез с подоконника и увидел, что мама стоит посреди комнаты в одной сорочке и пустую миску из-под теста держит.

— Ты чего? — спросил Толик, но мама словно его не слышала.

— Ах, ты! — сказала она. — Ах ты, проклятая богомолка! Тесто извела и пышки в церковь потащила. Убогим раздавать!

Мама быстро оделась, села на краешек сундука.

— Ах, ты! — повторила с досадой, и лицо покрылось у нее розовыми пятнами.

Вот расстроилась! Подумаешь, унесла бабка пышки, то ли еще раньше было. Но мама все не могла успокоиться.

— Видишь, — говорила она, распаляясь, — видишь, как бабушка бога любит? Ради него нас без еды оставила!

Мама подошла к комоду, отчаянно подергала ящик, где бабка деньги прятала. Бесплезно! Закрыты деньги на тонкий ключик. Ничего не скажешь, устроила им

сегодня бабка великий пост. Маме, наверное, отомстить решила. Сиди теперь, жди допоздна, пока она вернется изволит.

Раньше бы мама только вздохнула да пошла к соседям чего-нибудь перезанять, а теперь никуда не шла, металась по комнате.

— Стыдно ведь! — шептала она. — Стыдно побираться! И ради чего? Ради этого?..

Она остановилась, посмотрела ненавидящим взглядом в угол.

— Все ему! Все! — Мама так это сказала, что Толик понял: конечно, она не про пышки говорит.

— Все богом своим прикрывает! — выкрикнула мама, и Толик увидел, как у нее посветлели от гнева глаза. — И хоть бы верила! А то ведь врет все! Лицемерничает!

Никогда еще Толик не видел маму такой. Ее прямо колотило всю.

— Везде у нее бог! — кричала она. — Гадить — бог! Жизнь всем калечить — тоже бог велит!

Мама вдруг подтащила в угол стул, сняла бабки Шурино божество и уцепилась кусачками за гвоздь, на котором висела икона.

Гвоздь — будто ворона каркнула: «Кр-р-рак!» — из стены выскочил, а мама стояла на стуле и вертела его, разглядывала тщательно. Будто не ржавый гвоздик, а зуб у кого-то выдернула. И удивлялась теперь. И зубу удивлялась диковинному. И тому, что сумела выдрать его, хоть никак на это не рассчитывала.

Толик подошел к иконе, первый раз в жизни близко ее увидел. Отер пальцем со стекла пыль, и круг над головой у святого озарился. Живые глаза на Толика глянули, будто сразу повеселел старец, что его достали из угла.

— Мама, — спросил Толик, — а круг над головой из золота?

— Из золота! — ответила она, усмехаясь. — Из золота, да самоварного.

И вдруг мама подняла руки вверх. Толик охнуть не успел — мелким бисером брызнуло стекло, отскочили какие-то железки, отпали цветочки, лопнул деревянный обод.

Мама стояла над разбитой иконой, и Толик испугал-

ся, взглянув на нее. Она снова стала покорной, как раньше. Руки словно плети висели вдоль тела.

Минуту назад он праздновал победу вместе с мамой и удивлялся, какая она сильная, раз выдернула, словно больной зуб, ржавый гвоздь из угла. Он удивлялся маме и не боялся бабки. Мама перенесла ее со стулом, мама сбросила икону, мама ходила прямая и решительная — значит, бояться было нечего. Рабыня расправляла плечи.

И вдруг — грохот. И вдруг — опять рабыня.

Толик вглядывался в маму, волнуясь за нее, понимая, прекрасно понимая, как это непросто — взять и в один миг, в одно мгновение все переломать. Всю жизнь подчиняться — и вдруг восстать.

— Что будет! Что будет!.. — вздохнула мама, но посмотрела на Толика и, увидев его испуганные глаза, снова стала решительной. — Ну, — сказала она, вздыхая освобожденно, — чему быть, того не миновать! — И пошла за веником.

Когда мама уносила разбитую икону, неожиданно Толик пожалел святого старца с повеселевшими глазами.

«Он-то тут при чем?» — подумал Толик и поглядел жалеючи вслед маме.

2

Бабка вошла, развязала платок, закрывавший лоб, перекрестилась в угол и замерла. Моргнула, моргнула, взглянула на маму, поняла все. Глаза у нее остекленели, и она грохнулась на пол.

Мама вжалась в шкаф, смотрела неотрывно на лежащую бабку и даже двинуться не могла.

— Господи, что же это! — вскрикнула она наконец испуганно и, кинувшись на колени, приложила ухо к бабкиной груди. Потом отстранилась.

— Толик! — сказала она лихорадочно. — Помоги!

Вдвоем они перенесли старуху на кровать, и мама выскочила в коридор.

— Я за «скорой»! — крикнула она, выбегая.

Толик остался один. Ему стало не по себе. На кровати лежала бабка, и неизвестно — живая она была или нет.

Толик вспомнил, как он желал бабке смерти. Как

пришла однажды, в самый тяжелый день, к нему эта мысль, мучительная и жестокая. Он желал бабке смерти, он винил ее во всех своих бедах, он считал, что она, и только она, виновата кругом. Никогда, никогда прежде не думал он об этом, никогда и никому не желал смерти, а тут умолял, чтобы бабка умерла. Чтобы исчезла с этого света. Чтобы исчезла и не мешала людям жить.

И вот бабка лежала на кровати, вытянув руки. Толик не слышал ее дыхания — может, и правда она умерла. Но странно! Он теперь не желал ей смерти. Он теперь жалел бабу, ужасаясь: а что, если и вправду умерла?

Толик глядел на востренький желтый бабы Шурин носик и уже не винил ее, как прежде. Он по-прежнему не любил ее, но отец своим поступком, этой своей женитьбой, вдруг как бы снял с бабки половину ее вины. Раньше бабка была одна во всем виновата в Толикиных глазах. И вот отец...

Толик привык к Темке, привык уже к мысли, что у отца другая семья. Привыкнуть можно, а понять нельзя. Так он ничего и не понимал, хотя одно знал наверняка — отец не такой уж твердый, как раньше казалось. Он тоже теперь виноват. И по сравнению с отцом, по сравнению с этим его поступком баба Шура в глазах Толика вдруг как будто стала лучше. Ну, может быть, не лучше, но не такой уж плохой и страшной.

Он вглядывался в бабкин носик, утопавший в подушках, и неожиданно подумал, что, наверное, стал похож на нее. У человека беда, ему худо, а он сидит, глядит, думает о чем-то. А надо не сидеть. Надо делать! Надо что-то делать!

Толик вскочил и подбежал к комоду. Где-то тут, в коробке, мама хранила валерьянку. Толик нашел пузырек, накапал лекарство в рюмочку, долил водой и подошел к бабке. Давать ей лекарство было неудобно. Оно бы пролилось, едва только наклонишь рюмку, но Толик все-таки решил попробовать.

Он поднес рюмку к бабкиному рту — и обомлел.

Баба Шура, не открывая глаз, приподняла голову и мигом опустошила рюмку.

Толик стоял над бабкой и ошарашенно глядел на нее. И вдруг захохотал. Он приседал и корчился. Он покатывался со смеху. Это было здорово! Лежит почти

мертвая — и вдруг хватить рюмку! Во даст бабка! Во представляется!

— Что гогочешь? — недовольно спросила баба Шура и приоткрыла один глаз.

Толик захохотал еще пуще, но тут же умолк.

Дверь широко распахнулась, и вслед за мамой вошел врач. Не врач, а какой-то геркулес. Рукава у него закатаны, как у мясника, а руки обросли густой шерстью. Геркулес держал одним пальцем маленький чемоданчик, и казалось, дай ему гирю, он ее тоже держал бы одним пальцем.

Мама говорила с врачом шепотом, рассказывала ему, как и отчего упала баба Шура, а он молчал, слушал своей резиновой змеей бабкин живот, переставлял быстро блестящий кругляшок, будто кто-то убегал из-под кругляша в бабкином животе, и доктор хмурился, был недоволен. Потом врач взял бабкину руку. Пощупал ее.

Баба Шура лежала словно мертвая, и только востренький носик топорщился из подушек.

Геркулес пощупал бабкину руку и вдруг отпустил ее. Рука упала. Он поднял ее снова и снова отпустил. Рука упала.

Мама позеленела.

— Не может быть! — прошептала она и повторила: — Не может быть!..

Геркулес был неподвижен и молчалив. Лицо его словно окаменело. В третий раз взял он бабкину руку, поднял ее, отпустил. Рука снова шлепнулась на кровать.

Мама заплакала, а геркулес вдруг сказал громовым голосом:

— Эй!

Бабка была как покойница.

— Эй, бабуся! — повторил геркулес.

Бабка смолчала.

— Симуляция, — пророкотал врач, пряча свою резиновую змею в карман и берясь пальцем за чемоданчик.

— Как же быть? — ничего не понимая, спросила мама.

— Симуляция, я говорю, — пробухал врач. — Пульс нормальный. — И вдруг расхохотался. — Божественная, значит, старушка-то? Оно и видно!..

Врач хлопнул дверью. Бабка открыла глаза. Мама устало опустилась на сундук.

— Представля-лась! — протянула она и заплакала. — Опять представлялась!..

— А што? — подняла бабка острый нос. — Обрадели, што померла? Наследства захотели? — И захихикала. — Это я вас испытать захотела.

— Эх ты, испытательница! — горько сказал Толик, перестав смеяться. — А икону уже не жалко?

Бабка насупилась и перекрестилась в пустой угол. Толик даже чертыхнулся. Ну бабка! Хоть кол на голове ей теши!

3

Толик сидел рядом с тетей Полей на лавочке у ворот и чертил прутиком по земле. Вышла мама. Лицо у нее было поблекшее, усталое. Еще бы, устанешь тут от бесконечных бабкиных представлений. Толик усмехнулся, вспомнив, как бабка лежала будто мертвая. Ни дать ни взять — лисица из басни Крылова. Но лисица — в басне, а чего бабке-то хитрить? Зачем так представляться? Если ты серьезно обиделась, что мама икону выкинула, так разве можно представляться? А если она проверяла, что станет мама делать, если бабка померет? Фу, как глупо! Толик подумал про двух старушек из магазина — мать и дочь. Та старушка, та мать так бы представляться не стала. Да разве можно испытывать людей, что будут делать они, если умрешь? И не просто людей — свою дочь.

Толик посмотрел на маму. Хоть и была она блеклой какой-то, глаза ее смотрели по-прежнему решительно и твердо. «Молодец, — подумал Толик про нее. — Молодец, что не скисла от бабкиных фокусов». Нет, решительно с мамой что-то происходит. Толик вгляделся в нее. Мама смотрела сейчас не только решительно, но зло. Злой он ее еще никогда не видел. Всегда она была слабой, покорной, а тут — злой. Будто другой человек сидит. Платье мамино, лицо тоже ее, а вот глаза чужие. Жесткие глаза и острые какие-то.

— Как живешь, Маша? — спросила ее тетя Поля. Спросила осторожно, будто больную.

Мама со всеми вежливо разговаривала, с тетей По-

лей особенно, а тут не взглянула даже. Прямо перед собой все смотрела, едва шурясь.

— Разве это жизнь? — ответила она резко. — Только и думаешь, как бы в петлю. Муж ушел, мать бесится. Сын и тот против меня.

Толик не обиделся ни чуточки. Снова поглядел на маму с интересом. Раз так говорит, да и смотрит так, чему-то быть, значит. Толик знал бабуку и знал, что она может выкинуть, какую штуковину, знал он и отца, и его поступки тоже можно было предположить, кроме последнего. Знал Толик и маму. Но он знал иную маму — эта, со злыми глазами, была неизвестна ему. И новая, решительная, злая, отчаянная мама могла — да нет, не могла — должна была что-то сделать. Удивительное. Выходящее из ряда вон.

Тетя Поля вздохнула. Помолчала.

— Ты уж прости меня, старую, Маша, — сказала, — ну а сама-то себя ты не коришь? Не ругаешь?

Мама мельком взглянула на нее.

— Корю! — ответила решительно. — Ругаю! Да что толку-то? Раньше надо было, раньше!..

— Ну раз так говоришь, — сказала тетя Поля мягко, — значит, еще не поздно. Значит, поспеешь еще.

Мама усмехнулась. Тетя Поля взяла ее за плечо, повернула к себе, строго посмотрела.

— Да ты меня в пример бери, — сказала. — Гляди, гляди на меня и помни: мое былое не вернуть. Мое — было. А твое — есть. Слышишь, есть! Твой-то живой, невредимый! И сын вон у тебя есть. Счастливая ведь ты! — быстро говорила тетя Поля, и в глазах у нее блестели слезы. — Счастливая, только ты сама этого не знаешь!.. А ты узнай! Пойди! Поговори!

Тетя Поля говорила торопливо, будто боясь, что мама уйдет и не дослушает ее, но она слушала внимательно, подавшись вперед.

— Это просто обстоятельства у вас такие, — говорила тетя Поля. — Выше вас обстоятельства-то оказались, молоды вы еще, горя не знаете. Глядишь на вас — и сердце кровью обливается...

Тетя Поля говорила, говорила... Мама смотрела на нее во все глаза — и вдруг раздался крик:

— Толик! Толик!

Толик бросил свой прут. На другой стороне улицы стоял отец.

Мама побледнела. Толик приподнялся с лавки.

— Где Тема? — спросил отец.

«Ну вот, — подумал Толик, — началось...»

— Какой Тема? — решил прикинуться он, но отец не обратил на это внимания.

— Он пропал. Ушел из дому.

Толик помолчал. Говорить, где Темка, ясное дело, было нельзя, невозможно. Ни за что не сказал бы этого Толик, но отвечать все-таки что-то было надо.

— Не знаю! — сказал он и сел обратно.

Отец опустил плечи и повернулся.

Мама смотрела на отца, а тетя Поля исподлобья глядела на маму.

— Маша! — сказала она встревоженно. — Ну что же, Маша?

В глазах у мамы снова вспыхнула злость, она окликнула отца, и отец обернулся.

Прямая, как натянутая струна, мама пересекла дорогу, и они медленно пошли вдоль по улице...

4

Едва отец и мама свернули за угол, Толик кинулся в Клопиную деревню.

Было жарко, асфальт шевелился под ногами, как трясина. А когда Толик выбежал на обрывистый берег оврага, снизу на него пахнуло жгучим жаром. Над железными, деревянными, толстыми крышами покинутых улиц струилось горячее марево, будто тысячи печек излучали свое тепло. Дальний берег оврага, деревья, дома походили на мираж — они шевелились и от этого казались ненастоящими.

Толик скатился вниз — теперь идти сюда было не страшно. Овраг снова стал обитаемым. Там жил Темка.

Темка сидел на пороге открытого дома и возился с какой-то штуковиной.

— Смотри, — сказал он, улыбаясь, — я нашел фотоаппарат.

Фотоаппарат был старый, обшарпанный, с мехами, похожими на гармошку, и снимал забавно. Сначала надо было смотреть сквозь него через матовое стекло и крутить колесико, чтобы стало резко, а потом вставлять плоскую коробочку, вынимать задвижку и только тогда снимать. Никогда Толик не видел такого аппарата, вот

до чего он старый был. У всех аппаратики маленькие, крути колесико, целясь да щелкай, а этот гроб и двумя руками не удержишь, подставка нужна.

Темка прикручивал фотоаппарат к треноге и целился в курицу, которая лежала, блаженствуя, в пыли. Вокруг нее топтались цыплята.

— Жрать охота, — сказал Темка, вглядываясь в Толика. — Не достал?

Толик мотнул головой. Уже четвертый день жил здесь Темка. Первое время Толик бегал за пирожками, покупал их на остатки Темкиных денег. Потом деньги кончились, и Толик принес хлеба, взяв его у бабки. Темка наелся хлеба с солью и с луком, который рос возле брошенной избушки, и Толик решил принести хлеба побольше.

Дома он сунул полбуханки под рубаху и уже собрался уходить, как откуда-то вынырнула бабка. Зорким глазом она сразу заметила, что у Толика подозрительно торпорщится живот, хлеб отняла, спрятала его в буфет под ключ.

— Нет! — мотнул головой Толик и сказал главное: — Тебя отец ищет.

Темка бросил древний фотоаппарат, повернулся к Толику.

— А вдруг выследит? — спросил он встревоженно.

— Не догадается, — ответил Толик.

— Ну а вдруг? В общем, ты петляй, когда ко мне идешь, понял? Следы запутывай. Куда-нибудь подальше от оврага ходи да оглядывайся!

Толик кивнул.

— А жрать все-таки охота! — сказал грустно Темка, и, будто подтверждая его слова, у него заурчало в животе.

— Вон еда ходит, — улыбнулся Толик и показал на курицу.

— А цыплята куда? — встревожился Темка.

— Да что ты? — засмеялся Толик. — Я пошутил.

— У меня никогда рука бы не поднялась на живое, — сказал Темка. — А тут еще мать. Как же они сиротами-то?

— Слушай! — обрадовался Толик. — А может, у нее где-нибудь гнездо есть? И она яйца туда кладет?

— Раз у нее цыплята, — ответил Темка, — яйца она не кладет.

Они помолчали. Было тихо и нестерпимо жарко. Даже здесь, в глубине оврага, солнце палило, будто на пляже.

В тишине, словно испорченный мотор, урчал Темкин живот, требуя еды, и Толик с грустью подумал: сколько сможет выдержать еще Темка?

Четыре дня и три ночи провел он уже тут, на дне оврага. Днем еще туда-сюда, можно привыкнуть, хоть тоже неприятно, — никого вокруг, только деревья шумят да курица квохчет, а ночью вообще жуть. Только Темка, отчаянный человек, может это вынести.

В первую ночь, пока совсем не стемнело, Толик с Темкой был. Они сидели на крылечке. Толик светил Темкиным фонариком, а Темка читал растрепанную книжку, которую они нашли в избушке. Называлась книжка таинственно — «Собака Баскервиллей», и, подобрав ее, Толик хотел забрать с собой, почитать. Но Темка не дал.

— У-у! — вытаращил он глаза. — Законная книжка! Страхота! Надо ее ночью читать, чтоб страшнее было.

И вот они сидели в темноте, читали пухлую книжку про ужасную собаку Баскервиллей, которая носилась в темноте как привидение — светящаяся, огромная, жуткая убийца.

Сердце у Толика гроыхало так, что, умолкни Темка, он наверняка бы услышал его грохот. Но Темка не умолкал, читал с выражением.

— «В ту же секунду Лестрейд вскрикнул от ужаса и упал ничком на землю. Я выпрямился и, почти парализованный тем зрелищем, которое явилось моим глазам, потянулся ослабевшей рукой к револьверу».

Толик сжался в комочек, представив себе собаку Баскервиллей. Ему показалось — она стоит в темноте. Не там, в книге, а тут, рядом с ними. В кустах. Он не выдержал и повернул фонарик в темноту. Там было пусто.

— Во дает! — заругался Темка. — На самом интересном!..

Толик перевел дыхание, успокаивая сердце, и снова навел фонарик на книгу. А Темка будто издевался над ним.

— «Да! — воскликнул он зловещим голосом. — Это была собака, огромная, черная как смоль. Но такой собаки еще никто из нас, смертных, не видывал».

Темка читал с выражением, не спеша, делая паузы между предложениями, и в эти короткие перерывы Толику слышались таинственные звуки. Что-то прошелестело за их спиной. Что-то стукнуло в темноте: тук-тук...

— «Из ее отвислой пасти, — подвывая, читал Темка, — вырывалось пламя, глаза метали искры, по морде и загривку переливался мерцающий огонь. Ни в чьем воспаленном мозгу не могло бы возникнуть видение более страшное, более омерзительное, чем это адское существо, выскочившее на нас из тумана...»

Толику снова послышался этот тенькающий звук, словно кто-то отбивал азбуку Морзе: ту-ту-туу-ту...

Он толкнул локтем Темку.

— Слышь? — прошептал Толик.

— Да не трус! — усмехнулся Темка, но прислушался.

Звук морзянки слышался отчетливо и ясно. Кто-то работал на передатчике. Спрятался в заброшенном овраге и передавал сведения. Шпион!

— Погаси! — тревожным шепотом велел Темка, и Толик послушно щелкнул выключателем. Щелчок показался ему громом. Передатчик утих на мгновение, но потом заработал снова.

Та-тарара-та-та, тарара-тарара-та, — тиликала морзянка.

— Надо взять что-нибудь потяжелее, — шепнул Темка и полез на карачках, разыскивая в темноте увесистый камень.

— Может, сбегать за милицией? — спросил Толик, поднимая палку.

— Долго, — ответил Темка. — Он уйдет. Надо самим.

Мрачные, пустые дома с заколоченными окнами в темноте казались живыми существами. Они только притаились. Еще чуть-чуть, и они сдвинутся над мальчишками. Или оживут. В окнах за дощатыми крестами засветятся желтые огни. А из одного метнется темная тень. Это самый страшный. Это шпион...

Первым шел Темка. Толик шумно дышал у него за

плечом, и Темка то и дело оборачивался, грозя кулаком.

Из-за облака выплыла круглая, как фонарь, луна. Пока они читали на крылечке, луна плавала где-то у них за спиной. Теперь она стояла над головами, и от лунного света некуда было скрыться. Шпион запросто мог их увидеть. Он и так, кажется, начал подозревать неладное. Морзянка то пищала, то надолго замолкала и снова, словно спохватившись, лихорадочно дребезжала в темноте: та-та-тарара-та!..

Крадучись, мальчишки шли на звук, и он приближался. Медленно, но приближался. Уже стало понятно, где сидит шпион, в каком доме. Приземистый, белый, наверное, с белеными глиняными стенами. Окна у хибары были заколочены, как и всюду, и в них была крошечная тьма. Да и звук доносился не из дома, а из-за него. Словно шпион был на улице. Сидел, как и они, на крылечке, раскинул свой передатчик, забросил на крышу антенну и стрекочет, будто кузнечик.

Чем ближе подбирались мальчишки к домику, тем медленней и осторожней становились их шаги. Нежданно выстрелил сучок под ботинком Темки. Они замерли, словно два истукана. Вот сейчас, сейчас выскочит из-за угла испуганный шпион и начнет палить из бесшумного пистолета. Только пламя из дула ослепит их — и все. Не станет больше ни Толика, ни Темки...

Но шпион ничего не заметил. Морзянка слышалась совсем ясно. Видно, увлекся.

Толик шагнул вперед и заслонил собой Темку. У Темки в руке камень. Если он кинет и промахнется, все пропало. Темка погибнет. У Толика все-таки палка. Ею можно бить, не выпуская из рук. Толик выскочит первым и оглушит врага. И тогда Темка пусть бьет его камнем.

Толик набрал побольше воздуха и, подняв палку, прыгнул из-за угла. Зажмурив глаза в ожидании выстрела, он хлопыстнул батоном по крыльцу и тут же упал, услышав, как грохнул о стенку Темкин камень.

С трудом сдерживая хрипящий свист, вырывавшийся из груди, Толик открыл глаза.

На крыльце было пусто.

И вдруг в темноте снова запела морзянка. Где-то

здесь, прямо у них под носом. Темка шагнул вперед и наклонился.

— Тыфу, черт! — громко сказал он и позвал Толика. — Гляди-ка!

Толик приблизился и в лунном туманном свете увидел на двери железную петлю. Дул легкий ветерок, и она болталась, постукивая о ручку: та-та, тарара-ра-ра!

Мальчишки не засмеялись, не обрадовались. Просто вздохнули. Отлегло немного.

Ничего не значило, раз нет шпиона, что его вообще не могло тут быть. Все могло быть в этом овраге.

— Пожалуй, я пойду, — сказал Толик, переводя дыхание, и Темка кивнул соглашаясь.

Он быстро пошел по дорожке, ведущей наверх, — и вдруг остолбенел. Горящие зеленые глаза собаки Баскервиллей глядели на него не мигая.

Толик шагнул в сторону, и с диким воплем метнулись глаза. Толик перевел дыхание и чертыхнулся. Господи, наслушаешься разной муры — и черт знает что начинает казаться. Обыкновенный кот.

Неожиданно ему стало стыдно, что он так быстро распрощался с Темкой. Будто сбежал. А Темка там один. И ничего. Может, ему тоже страшно, а он не бежит.

Насвистывая песенку, Толик повернул назад.

Темка еще не лег. Он сидел в халупе на матрасе, брошенном у стены, и читал свою «Собаку».

Толик стукнул в окно. Темка вздрогнул и ослепил его ярким лучом фонарика.

— Ну так я пошел! — непринужденно сказал Толик.

— Ну так иди! — напряженно ответил Темка и рассмеялся, поняв его. — Иди, иди! — сказал он. — Ничего!..

Обратно Толик шел, громко распевая. Было страшно, но он старался не думать об этом.

Это было в первую ночь. А сегодня наступит четвертая. Мало того, что тут жуть сплошная, так сегодня Темка еще голодный спать ляжет. Живот вон у него урчит. Это Толика вина.

Собака Баскервиллей не пугала его теперь.

Его пугала мысль о том, чем он будет кормить Темку завтра.

Ведь он отвечал за это.

Сначала Толик продал свои книжки. Их было немного, не больше десяти — «Золотой ключик», «Русские народные сказки» и еще несколько, — подарки к праздникам и дням рождения от мамы и отца.

В букинистическом магазине была длинная очередь, высокий старик с козлиной бородкой нервно перелистывал книги — наверное, искал, нет ли выданных и залитых чернилами страниц, — а потом швырял их куда-то на стол, откидывая с сухим стуком несколько костяшек на счетах.

Толик терпеливо выстоял очередь, а когда подошел к старику, тот на него даже не взглянул.

— У детей не принимаем, — буркнул он.

И Толик, посмотрев задумчиво на нудную бородку скупщика, не стал спорить. «И тут не верят», — подумал тоскливо Толик. Он отошел от старика и, поймав на себе сочувственный взгляд какого-то парня, попросил книги сдать его. Парень ничего не сказал, только кивнул. И через пятнадцать минут терпения Толик получил свою выручку — один рубль сорок две копейки мелочью.

Вообще-то эти деньги можно было растянуть дня на четыре, если кормить Темку одним хлебом с луком. Даже белым можно было. Но Темка смотрел вчера такими голодными глазами, что у Толика рука не поднялась принести ему одного хлеба. «А! Придумаю что-нибудь», — махнул он рукой и купил в гастрономе две бутылки молока, двести граммов колбасы, две городские пышные булочки и на добавку три пирожка с ливером. Еще одна копейка осталась в запасе.

Увидев Толика с охапкой еды, Темка молча заскакал, блестя голодными, как у волчонка, глазами, потом, урча, стал есть. Пища исчезала поразительно быстро. Толик улыбался, и радуясь и горюя. Это, конечно, хорошо, что у Темки такой аппетит, и хорошо, что Толику пришла эта идея — продать книги. Но с другой стороны — Темка уже доедал последний пирожок с ливером. Оставалась одна городская булка. И снова надо было думать, как накормить его завтра.

Наконец Темка наелся, отломил еще задок у городской булки и стал вяло жевать его.

— Наелся, кашалот? — спросил его Толик.

Темка лениво икнул. Глаза закрывались у него сами собой.

— Ну, дрыхни! — кивнул Толик и пошел наверх.

Надо было придумывать что-то. Надо было искать еду.

Любопытно все-таки бывает. Что бы там ни случилось, но Толику за всю его жизнь ни разу о еде думать не приходилось. Ну, продавали булочки в школьном буфете, ну не было никогда у него денег на эти булочки, но он же не умирал с голоду. Ел свой хлеб с маслом на перемене, а когда приходил домой, худо-бедно, но кормила его бабка или мама. И супом, и вторым — котлеты там с картошкой или макароны. Никогда не думал Толик о еде, да вот пришлось.

И вообще, с тех пор как ушел Тимка в «подполье», Толик стал, ну, серьезнее, что ли. Ведь теперь он не только за себя отвечал, но и за Темку тоже. Будто Темка его сын и Толик обязан его накормить.

Еда теперь для Толика — первая забота. И не только еда. Толик для Темки теперь вроде бы как поводырь у слепого. Смотрит, куда идти. Как шагать. Или словно перископ у подводной лодки. Лодка — под водой, а перископ наверху крутится. Направо глаз повернет, налево, кругом осматривается — нет ли близко врага. И как быть дальше.

А как быть дальше? Толик думал об этом каждый час, каждую минуту и ничего не мог придумать. Отец один раз приходил, поверил, что Толик про Темку ничего не знает. Но ведь он же не успокоился. А Темкина мать — тем более. Наверное, заявили в милицию. Наверное, в реке спасатели искали, с баграми — не утонул ли. Ищут, конечно, Темку, это ясно, и что до сих пор не догадались в Клопиной деревне поискать, так это случайность. Чистой воды.

Ну, хорошо. Пусть даже совсем не найдут. Но сколько Темка еще продержится? Осенью в школу надо будет. Что же он, учиться не станет? Будет зимовать тут, как Амундсен?

Нет, все это ненадежно и шатко. Разве что отец не выдержит, сдастся.

Прежде Толику все представлялось просто. Темка уходит из дому, отец, поняв, что Темка сбежал из-за него, возвращается к маме и Толику. Раз-раз-раз — и в дамках!

Но все оказалось сложнее и серьезней. Если Темку найдет милиция — позор и провал! Приведут домой под конвоем, как вора.

А если сдаться? Просто вернуться Темке — и все? Толик усмехнулся. Скажи-ка об этом Темке! Пожалуй, еще отколотит, боксер.

Да, многое кажется поначалу простым и решаемым. Как в математике. Глянешь на задачку, все просто. Первое действие, второе. А решишь, ответ не сойдется...

Так и у Толика. РадуетсЯ он, что твердый Темка человек. Железный характер. Спит себе сейчас на матрасе у стены, «Собаку Баскервиллей» под голову сунул и ни в чем не сомневается. Все просто у него и понятно ушел из дому — и точка! А Толик думает-думает, руки у него опускаются, словно у пловца в море без берегов. Куда плыть? Зачем плыть — все равно бесполезно. Подводная лодка внизу, под водой, храпит себе спокойно, а он — перископ. Ему виднее. Виднее, что все бесполезно. Что не вернется отец, если не захочет. А если захочет, вернется и без того.

«Детство все это, — по-взрослому думает Толик, — игрушки-побрякушки. Несерьезно! — И тут же на себя злится: — Несерьезно! Если бесполезно и несерьезно, что ж, так и сидеть, сложив руки? Ждать снова, пока за тебя взрослые не решат? Ждать и ни во что не вмешиваться?..»

Толик ломал голову, прямо на части ее разобрал, а придумать ничего не мог. Тогда стал смотреть под ноги. Может, кто рубль обронил. Нет, рубль — это уж слишком. Двадцатинку бы! И то четыре пирожка купить можно. Или лучше батон. Придется Темке снова хлеб с луком есть, что поделаешь. «Придется!» Толик усмехнулся. Придется ли? Надо еще найти эту двадцатинку.

Забавная мысль пришла ему в голову. А что, если пойти на рынок? Глядишь, кто-нибудь просыплет картошку — можно подобрать, а потом испечь ее в костре. Дров, слава богу, в овраге полным-полно. Да и вообще — ту же двадцатинку там найти легче, чем просто на улице, — всюду торгуют, всюду деньги достают, авось и упадет монетка.

Базар походил на реку, только непонятно было, в какую сторону она текла. Во все! Вперед, назад, вбок... Люди толкаются, на ноги друг другу наступают, спо-

рят, смеются. А на прилавках — чего только нет! Пирамиды зрелых помидоров, ярких, блестящих, как бы незаправдашних. Желтые дыни, будто они из сливочного масла сделаны. Яблоки в корзинах — светятся, словно прозрачные. А пахнут, пахнут!.. У Толика даже слюнки потекли — вот бы попробовать!

Конечно, если по сторонам глазеть, на всякие вкусы глаза пялить, никакой двадцатинки не найдешь. Надо вниз глядеть. Под ноги. Авось блеснет заветная монетка. Ну блесни, блесни! Говорят, если думаешь только о том, что тебе нужно, обязательно найдешь. И Толик шепчет: «Двадцатинка, найдись! Найдись, двадцатинка!» Словно гипнотизирует. Заклинает.

Покупатели на него внимания не обращают — не видят, наверно, даже, что путается тут под ногами мальчишка, а торговли сквозь толпу его разглядели. Молча взглядами провожают. Вдруг жулик? Бродит тут, шепчет, будто чего выскивает. И чуть Толик поближе к прилавку встанет, кричит, будто кто их режет:

— Отойди, пацан!

— Пацан, отойди!

Толик на гранаты загляделся. Вспомнил, что про них отец ему говорил. Гранаты, мол не ломают, не режут, а дают. Чтоб сок там, внутри, из ягодок вышел. А потом дырочку повертишь — и пей. Это отец Толику на базаре говорил — они вместе тогда ходили, втроем, с мамой. Но гранат не купили. Так и не попробовал Толик этого странного фрукта с взрывчатым названием. А сейчас снова увидел его.

Гранатами торговал толстый азиат в халате. Халат был зеленый, в темную полоску, и от этого круглый азиат походил на крыжовник. Голова у азиата напоминала желтую дыню, а на голове была тубетейка с вышитыми грушами. Толик усмехнулся. Прямо весь фруктовый какой-то человек. Продавец заметил Толикину усмешку, замахал толстенькими ручками, как все торговли:

— Проходы, малчик, проходы!

«Во народ, — со злостью подумал Толик. — Всего боятся! В каждом мальчишке им вор кажется. Да сейчас уж воров-то нет». Ни одного за свою жизнь не видел Толик — только в книгах про них читал. И не слышал никогда, чтобы у кого-нибудь что-то украли. А нет, все равно боятся. По привычке боятся. Как дрожит за свои деньги баба Шура, так и эти дрожат за свои помни-

доры, за свои гранаты. Потому что свое, личное, частное. Не ворует никто, а они боятся. И всегда будут бояться. Потому что порода у них такая — торговать, наживаться, за свои денежки трястись.

Разозлившись, Толик пошел с базара. Но у самого выхода остановился улыбаясь. Перед ним стоял огромный сетчатый ларь, до отвала набитый арбузами.

Люди свободно подходили к ларю, выбирали тяжелые зеленые мячи, а потом становились в очередь. За красными, будто пожарными, весами стоял бородачатый продавец. Толик взглянул на него — и глазам не поверил. Но факт оставался фактом, арбузами торговал тот веселый почтарь — сразу и бородачатый и лысый. Бородач бережно принимал от покупателя арбуз, сжимал его обеими руками, а сам прислушивался, словно доктор. Словно хотел узнать, что у него там, внутри.

Толик засмеялся. В прошлый раз бородач слушал, как шуршат письма, и это понравилось тогда Толику. Сейчас он слушал, как пищит толстый арбуз, и это тоже нравилось Толику. Хороший он все-таки, этот парень! Злой не может слушать, как шуршат письма и как пищит арбуз. И хоть в прошлый раз бородач притащил его к Изольде Павловне, Толик не обижался. Во всем виновата Женька. Не будь ее, они бы договорились, поэтому Толик нисколько не злился на почтаря, который переделался в арбузника.

Улыбаясь, Толик подошел к ларю. За проволочной сеткой торжественно светились толстокожие шары. Бока у них блестели, и в каждом боку отражалось курносое лицо Толика. Он протянул вперед руки, взял тугобокый, тяжелый кругляш, покачал его перед собой и хотел положить обратно, как вдруг вспомнил про Темку: его же надо кормить.

«А что? — подумал Толик, слыша, как раскачивается, будто маятник, сердце. — Ведь такой арбуз целый день можно есть». Вот он возьмет сейчас этот шар, а потом, когда все кончится, попросит у отца денег и принесет их лысому бородачу: извинится, скажет все как было. А сейчас...

Со стороны он, наверное, походил на вареного рака, самое малое, если не на красные, будто пожарные, весы бородача. Стыд давил, топтал, издевался над Толиком. «Ничего себе, — бормотал он, — порядочный человек». Только что думал про воров. Говорил сам се-

бе, будто их давно нет. Вывелись. Только из книжек он про них и знает. Ну еще тогда — цветы. Но они не в счет. Их все-таки дал сторож за ту смешную и горячую плату. И вот! Вот он воровал. Сам! Собственными руками.

Стыдась и ругая себя в душе, Толик тащил арбуз к выходу. Он миновал ворота и на ходу подпернул подбородку тяжелый шарф. Арбуз блестел, словно автомобильная фара. Толик мельком обернулся — и замер. Сзади стояли веселый бородач в шляпе с пером, а рядом с ним милиционер.

Толик шагнул, шагнули и те двое. Толик побежал и вдруг увидел перед собой Изольду Павловну. В то же мгновение он запнулся о собственную ногу и грохнулся на асфальт.

С глухим треском арбуз разорвался на мелкие осколки.

Толик чуть не заплакал.

Арбуз оказался зеленый.

6

У милиционера нос был картошкой. Прямо какое-то наваждение!

— Как фамилия? — вежливо поинтересовался он, приготовив блокнот и острый карандаш.

— Бобров, — спокойно ответил Толик, вглядываясь в бдительного арбузника. «Все не глядел, не глядел, а тут увидел, — укоризненно подумал он. — Не мог отвернуться?!» Лысый парень пощипывал бороду и озадаченно смотрел на арбуз. «Вот именно! — подзуживал его Толик. — Погнался из-за зеленого!»

Толик безразлично поглядывал на толпу, которая окружала их. Весь страх и весь стыд исчезли. Будто он всю жизнь только и делал, что воровал арбузы.

— Где живешь? — спросил милиционер.

Толик ответил.

— Ну хорошо, — кивнул «картофельный нос», пряча блокнот и карандаш. — А как это докажешь? Может, ты придумал?

— Очень просто, — хладнокровно ответил Толик и обернулся к Изольде Павловне.

Только легкая досада царапала где-то внутри. Просто обидно, что Темка останется без еды. Арбузом

можно было прокормить его целый день. Да и самому испробовать. Толик облизнулся. Жара прямо расплавила город. Настоящая Африка!

Только сейчас Толик рассмотрел учительницу как следует. Она была в босоножках на высоких каблуках, и каблуки блестели позолотой. «Во дает!» — подумал Толик, но и это было еще не все. На голове у Изольды Павловны криво сидела широкополая красная шляпа. Платье — зеленое с красными цветами — довершало живописную картину. Подпоясывала платье толстая бронзовая цепь.

В школе Изольда Павловна всегда ходила в серых платьях с отложными воротничками, в серых, бесцветных чулках и в туфлях на низком каблуке, а тут расфуфырилась!

Толик смотрел на Изольду Павловну, и учительница, заметив его недобрый взгляд, стала торопливо выбираться из толпы. Но народу было много, все разглядывали Толика, зеленый арбуз, судили, рядили, и Изольда Павловна, работая острыми локтями, с трудом проталкивалась сквозь толпу. Толик улыбнулся. Изольда Павловна не хотела вмешиваться в эту историю. Наверное, потребуются свидетели, и ее могут записать. Даже наверняка запишут, если Толик скажет. А ей не хочется. До смерти не хочется. Вон она даже красными пятнами покрылась.

Он вспомнил весну, пытку, которую устроила «русалка» всему классу, блестящие стекляшки ее пенсне и что она говорила у директора про отца. «У, подлая!» — подумал Толик и повторил громко, указывая на «русалку»:

— Очень просто. Вон моя учительница!

Толпа зашелестела.

— Минуту, гражданочка! — громко сказал «картофельный нос» и сделал шаг к Изольде Павловне.

Толпа расступилась.

— Это ваш ученик? — спросил милиционер вежливо. И тут произошло удивительное.

— Нет! — быстро сказала Изольда Павловна, ничуть не смущаясь. — Я не учительница. Он это выдумал!

Толик обомлел.

Милиционер взял его за руку и вздохнул.

— Пошли! — сказал он печально.

И вдруг Толик рассмеялся. Сначала обомлел, а теперь рассмеялся. Как здорово она сама про себя сказала. Конечно, не учительница! Какая она учительница? Учительницы разве такие бывают?

Толик рассмеялся, расхохотался от души, а милиционер и бородач посмотрели на него удивленно, а толпа загудела, возмущаясь Толикиной клеветой на постороннюю женщину.

Толик думал: милиция — страшное место. Но, оказалось, ничего страшного нет. Просто гулкий коридор, и в него выходят двери, обшитые черной кожей. «Картофельный нос» заглянул в одну дверь, поговорил немного, притворил ее и объяснил, что придется обождать.

Обождать так обождать. Толик не возражал, и они сели на лавочку — Толик посредине, а по бокам милиционер и лысый бородач. Не поленился ведь — закрыл свой ларь и за ними пришел.

Конечно, Толик волновался, но немного, Изольда Павловна все его отвлекала, и он хихикал над ней, квохтал потихоньку себе под нос.

— Ты для чего? — прервал его бородач.

— Что — для чего? — не понял он.

— Ну, арбуз утащил?

Толик задумался. Не будь милиционера, можно было бы сказать этому арбузнику про Темку. Все-таки уважительная причина — голодный человек. Но рядом сидел «картофельный нос», а милиция, наверное, с ног сбилась, разыскивая Темку. Нет, говорить нельзя. Как в тот раз, у ящика.

— Просто так! — сказал он.

— У него все «просто так»! — воскликнул бородач. И тогда «просто так», и теперь.

«Значит, узнал», — подумал Толик, усмехаясь.

— Что ты все смеешься? — спросил вежливо милиционер.

— Просто так! — ответил Толик.

— У него все «просто так»! — воскликнул бородач. Они помолчали.

— А вы? — спросил Толик, поглядывая на бородача. — Были почтарем, а стали продавцом. Почему?

— Просто так, — ответил бородач и смутился.

— И вы — просто так, — улыбнулся Толик.

— Да, — вздохнул бородач. — Ищу место в жизни.

— И я, — машинально ответил Толик.

— Что — и ты? — удивился бородач. — Тоже ищешь? Место в жизни?

Это вырвалось у Толика как-то невзначай, мимоходом. Но в общем-то да. И он ищет. А что, не может искать?

— Знаете что? — посмотрел бородач на милиционера. — Отпустите его. Это ведь она была. Учительница.

— Я так и думал, — печально сказал милиционер.

— Один раз я уже приводил его к ней.

— За воровство? — вскинул брови милиционер.

— Нет, нет, — замотал головой арбузник. — Совсем другое!

Милиционер разглядывал свои ботинки, думая, как ему быть. Привел человека в отделение, а теперь отпустить?

— Да и арбуз-то зеленый! — воскликнул бородач. — Черт с ним! Спишу на бой! Знаете, сколько их колетса, пока сгружают?

— Все-таки воровство, — неуверенно сказал милиционер.

— Он не для себя! — воскликнул бородач. — Я знаю!

Дверь, куда заглядывал милиционер, неожиданно распахнулась, и на пороге появились двое. Один был милицейским майором, а второй — у Толика полезли на лоб глаза, — а второй был отец.

— Не волнуйтесь! — говорил ему майор. — Все подняли на ноги. Объявили розыск.

Отец кивнул в ответ, шагнул с порога — и замер, увидев Толика.

— Что случилось? — спросил он встревоженно.

— Украл арбуз, — сказал милиционер, поднимаясь с лавочки.

— Украл у меня арбуз! — подтвердил бородач, принимая отца за милицейского начальника. — А я говорю, что он не для себя!

— Откуда вы знаете? — строго спросил отец.

— Да верю я! — воскликнул бородач. — Смотрю на него и знаю, что не для себя. И письма тогда поджигал не просто так. Что-то у него неладно!

— И письма? — удивился отец.

— Ну да, письма! — обрадовался бородач. — В почтовом ящике.

— Вон что!.. — растерянно сказал отец.

— А вы знаете мальчика? — удивился милицкий майор, глядя на отца.

— Это мой сын! — ответил он.

— Ага! — обрадовался майор. — Нашелся!

— Да нет, это не тот, — поморщился отец.

— Любопытно! — Майор уставился на Толика, моргая белесыми ресницами. — Один сын сбежал, второй украл арбуз.

— Отпустите его! — снова попросил бородатый. — Это он у меня украл.

Майор пожал плечами.

— Раз вы сами просите, — сказал он, — мы не держим. Да и отец здесь, разберется.

Толик и отец молча вышли из милиции.

— Чьи же письма ты сжигал? — спросил отец.

Толик промолчал. Чего там старое ворошить. Что было, то прошло. Вон уже сколько нового случилось! Отец женился. Темка сбежал. Толик вздохнул: вот чем Темку кормить?

Отец словно услышал его.

— Где Артем? — спросил он глухим голосом.

Толик пожал плечами.

— Ты знаешь! — сказал отец горячо. — Ты не можешь не знать.

Толик зло взглянул на отца.

— Темка сказал, что ненавидит тебя! — крикнул он. — Темка сказал, чтобы ты уходил от них! Так что же?

Отец молчал, понутив голову.

Толик посмотрел на небо. Оно клубилось белыми барашками. Голубое поле, и стадо белых баранов. Только низко над городом плавали черные тучи. Толик вгляделся получше. Это был дым. Он поднимался черными бурунами все выше и выше.

— Что это? — спросил Толик, и сердце его дрогнуло.

— Горит, — ответил отец, думая все о своем.

— Что горит?

— Как будто Клопина деревня.

— Что? — кинулся к нему Толик. — Что?!

Отец удивленно разглядывал его и ничего не мог понять.

Толик ринулся вперед. На тротуаре было много народу, он все время натякался на кого-нибудь, кого-нибудь обгонял, и это злило его. Толик выскочил на мостовую и побежал изо всех сил.

Темка! Там был Темка! Дрых на своем матрасе у стенки. Толик много раз слышал, как гибнут люди во время пожара — спят, угорают от дыма и не просыпаются.

Он несея так, как не бежал никогда в жизни. Он мчался, обгоняя зазевавшиеся машины. Он мчался скорее троллейбусов, потому что троллейбусы стояли на остановках, а у Толика не было никаких остановок. Он мчался как бешеный, не думая ни о чем, кроме Темки.

За спиной послышался топот. Он не обернулся. Рядом показалась чья-то тень, которая вырвалась вперед. Он узнал отца.

— Артем там? — крикнул отец на ходу.

Молчать дальше было бы преступлением.

— Да! — крикнул Толик.

— Где? — выдохнул отец.

— Ты не найдешь! — ответил Толик.

Отец кивнул и крикнул:

— Не отставай!

Они бежали рядом, как два олимпийца, не отставая ни на шаг. Во рту стало сладко, ноги едва двигались, когда они выскочили к берегу оврага.

Горело с той стороны, где утром деревья, дома, противоположный берег казались миражем. Там гудело бешеное пламя, вырывались огненные плащи с черной дымной каймой, гулками залпами взлетали ввысь огненные угли.

«Все ясно!» — подумал Толик, вглядываясь в свирепое лицо оврага. Он молчал, притаившись, много лет. Молчал, дожидаясь своего часа. Копил злобу на бывших своих жильцов. Злился на их неблагодарность. Вот, мол, пожили, а не нужен стал — и ушли. Ну, погодите!.. Овраг хмурился, собирал силы, чернея оспинами старых хибар, — и вот закричал. Закричал, завыл, застонал!..

Пламя крутилось красными смерчами, перебегало с крыши на крышу, и деревянные хибары, просохшие насквозь за много лет жизни, набитые сухими опилками

между стен, вспыхивали, как спичечные коробки, одна за другой.

Пожарники впустую метали в огонь острые водяные стрелы. Вода испарялась, не долетая до крыш.

Овраг бесновался.

Овраг сумасшествовал.

Овраг мстил.

С пронзительным воем к обрыву подъезжали машины, из них выскакивали милиционеры и, взявшись за руки, теснили людей от края.

Толик с отцом едва пробились сквозь эту цепь.

— Там мальчик! — кричал отец. — Там мальчик!

Они побежали мимо милиционеров, и их остановили пожарники.

— Там мальчик! — снова крикнул отец.

И Толик увидел, что за ним ринулись, раскручивая на ходу шланги, два дядьки в касках. Один был уса-тый. Пожарные бежали медленнее, их задерживал тяжелый шланг, и Толик с отцом обогнали их.

Рядом с Темкиным домом стоял сухой тополь. Он уже горел всюду, словно факел. Сгоревшие ветки красными червячками падали на крышу, и крыша вспыхнула на глазах у Толика. Она загорелась не постепенно, а сразу. Занялась в одно мгновение.

— Иди назад! — крикнул отец. — Немедленно иди!

Но Толик мотнул головой. Собрав силы, он кинулся вперед и, обогнав отца, вскочил в дом. Крыша горела, но в комнате был только густой белый дым. Дышать стало нечем, горло разъедало. Зажав нос, Толик на ощупь потрогал матрас. Темки не было.

Толик выскочил из избушки, кашляя и чертыхаясь.

— Нет! — крикнул он отцу и тут же увидел Темку.

Накинув на голову куртку, Темка ползал по земле. Куртка уже дымилась.

Сначала Толик ничего не понял. Потом увидел курицу. Она металась перед Темкой. А Темка ползал возле нее, хватал что-то и прятал за пазуху.

— Вот идиот! — заорал Толик во всю глотку.

Темка ловил цыплят, а курица защищала их. Она клевала его в руки, но Темка все равно хватал и прятал цыплят.

В это время на нем вспыхнула куртка. Темка сбросил ее, но тут же красный червячок — сгоревшая топо-

линая ветка — упал ему на рубашку, и рубашка загорелась.

Толик ничего не успел сообразить. Отец стремительно кинулся на Темку и придавил его своей грудью к земле. Это длилось мгновение. Отец поднялся, схватил Темку на руки и кинулся наверх.

— Назад! — крикнул он Толику. — Назад!

Темкина хибарка уже вовсю полыхала. Толик обернулся, словно пытаясь запомнить этот ад, и чуть не умер со страху.

На него что-то налетело, сумасшедше взвизгнуло и пронеслось мимо. Это была одичавшая кошка.

Огромная тополиная ветка, треща, грохнулась рядом. Он повернулся, кинулся вслед за отцом и тут же упал, наступив на что-то скользкое.

Толика передернуло. Это были мыши. Целая орава мышей. Они пищали, лезли друг на друга, мчались наверх, к людям.

Толик вскочил. Что-то сильное хлестнуло его в грудь и ослепило. Он растерялся и потерял ориентировку.

В ту же минуту он увидел, как ему машет рукой уса-тый человек в каске. Струи воды стекали по штанам. Пожарник полил его, чтоб не загорелся.

Толик стремглав выскочил из оврага.

Он увидел «скорую помощь» с красным крестом, согнутую, мокрую спину отца и носилки. На носилках лежал Темка. Он лежал как-то странно. Будто хотел отжаться от носилок.

— Ложись! Ложись! — говорил ему отец, но Темка непослушно тряс головой.

Толик понял его. Он подбежал к Темке и стал вытаскивать у него из-за пазухи желтых перепуганных цыплят.

Он прятал их к себе за рубашку, со страхом разглядывая черную страшную рану на Темкиной спине, и плача ругался:

— Гад ты такой, юный натуралист!

8

Толику кажется, он ступает по снежному насту.

Он боится, что на белом, как сугробы, полу после него останутся следы, и идет медленно, осторожно, не сгибая ног, жмурясь от ослепительной белизны. Белый

потолок, белые стены, белые простыни на Темкиной кровати. И черный, будто обуглившийся, отец.

Он дежурит возле Темки всю ночь, а днем его сменяет мать. Толик старается не встречаться с ней. Как-то неловко глядеть на новую жену отца, и он приходит, когда ее нет — рано утром или уже под вечер.

Темка лежит на животе. Над спиной, на железных палочках, — белая простыня вроде палатки. Горящая ветка сожгла Темке кожу на спине. Вместо сгоревшей врачи прилатали ему чужую. Но ожог перевязывать нельзя, и Темка лежит все время на животе, под белой палаткой.

Сзади, за кроватью, стоит деревянная подставка. К ней привязан сосуд с какой-то жидкостью. От сосуда к Темкиной ноге тянется тонкий шланг. Жидкость потихоньку стекает в Артема.

Он почти все время спит. Ему дают такое лекарство, чтоб спал. Во сне Темка дергается, ему охота перевернуться на спину или свернуться поудобней, калачиком, но отец удерживает его. На спину Темке никак нельзя. Ни за что!

Однажды утром, когда, осторожно ступая, Толик вошел в палату, отец не обернулся к нему. Он спал тоже — сидя, свесив голову.

Толик на цыпочках подошел к кровати, сел напротив Темки и стал разглядывать его.

Как изменяет болезнь человека! Круглое Темкино лицо вытянулось и похудело, обострились скулы, потускнел румянец на щеках.

Толик тихонько вздохнул.

Если честно сказать, он завидует Темке. Досадует, что это с Темкой случилось, а не с ним. Правда, если уж совсем-совсем честно, то все-таки страшновато в больнице лежать. Сколько уколов всяких! И эта жидкость прямо в ногу течет. И палатка. И боль...

Сколько раз видел Толик, как выступают у Темки слезы от боли. Но он хлопает ресницами, говорит, не глядя на отца: «Сестру!» — и отец нажимает кнопку. Прибегает белоснежная медсестра и дает Темке таблетку от боли или колет его острой иглой, и Темка успокаивается, слезы уходят у него из глаз. Но Толик-то понимает, что все это значит. Понимает, как тяжело его дружку.

Толик вглядывался в Темкино осунувшееся лицо и

все думал: сумел ли бы так он? Ни разу не пикнуть. Не застонать. Ни разу не позвать маму.

Нет, что ни говори, а Темка — человек! Может быть, это смешно покажется, если кому сказать, но Темка даже герой. Спас шесть цыплят. Шесть цыплят — может, и смешно, но тому, кто не знает, как любит Темка своих дельфинов и кашалотов. А если любишь дельфинов и считаешь, что они похожи на человека, — значит, вообще все живое пожалеешь, когда вот так случится. Темка пожалел. Не в словах пожалел, не в уме только, не про себя, как это часто бывает, а на самом деле. И вот обгорел. Зато цыплята живы.

Толик завидовал Теме, своему героическому товарищу, думал, что он бы все-таки не сумел, и оттого глядел на спящего Артема уважительно, будто на взрослого.

В самом деле, этот пожар как бы разделил их. Толик остался таким же мальчишкой, как был, а Темка сразу стал взрослым.

Больно ему, беда такая навалилась, а Темка по-прежнему на своем стоит, по-прежнему тверд как камень. Сказал тогда — так и делал, и никакая боль ему не мешала твердым оставаться.

Забывшись, Толик швыркнул носом. Отец вздрогнул, дернулся к Темке, подумав, что это он, но увидел Толика и сказал успокоенно:

— А-а, это ты.

Тотчас открыл глаза и Артем.

Толик подмигнул ему и достал из-за пазухи цыпленка. Одного из шести. Протянул Темке. Артем улыбнулся, погладил малыша по пушистой желтой спине. Толик поставил цыпленка на пол, и тот покатился желтым шариком, смешно поскальзываясь тонкими лапками и тихонько тиликая. Сколько Толику биться с бабкой пришлось из-за этих цыплят! Но он настоял. Они теперь в сарае живут, пока Темка, хозяин их, не поправится.

Отец наклонился к Темке, взбил ему подушку.

— Пить хочешь? — спросил он, но Темка резко отвернул лицо к стенке.

Отец сел понурясь, будто получил оплеуху, принял-ся разглядывать свои ботинки. Потом вздохнул и попросил Толика не уходить, пока он покурит. Он редко курил в эти дни — ведь, пока Тимка спит, от него не отойдешь, — и поэтому возвращался в палату не скоро и

чуть позеленевший. Выкуривал, наверное, подряд кучу сигарет.

— Молчишь? — спросил Толик, когда отец вышел.

— Молчу! — ответил Темка.

Да, прав был когда-то Толик. И грустно и смешно устроена жизнь. Отец дежурит возле Темки, сидит, как верный пес, а Темка, просыпаясь, не испытывает к отцу никакой благодарности, молчит упорно, только отворачивается, сжимает губы в тонкие полосочки да хмурится. И самое смешное, что Толик Темку понимает. И вполне согласен с ним.

У них будто борьба. Кто — кого. Отец Темку или Темка отца. «Генеральное сражение», — думает Толик. Да так оно и есть. Все сейчас выясняется. Кто победит. Кто на своем настоит.

Темку с ложечки кормят, чтобы удобней ему было, так он из отцовских рук еду не принимает. Ждет, когда мать придет. Или сам ест, морщась, неудобно глотая еду сквозь железные прутья кровати. Будто сквозь решетку ест: тарелка на воле, а сам — в тюрьме.

И еще одно. Отец все время рядом, а Темке не встать, в туалет не сходить. Матери он стесняется, про медсестру и говорить нечего. И у них с Толиком заговор. Едва отец покурить выходит, Толик бросается под кровать, достает стеклянную посудину, которая смешно называется — «утка», и Темке помогает сделать что надо. Плохо только — на дверях в палате крючка нет, и Темка волнуется, краснеет и дрожит, боится, что кто-нибудь придет. Больше всего боится, если войдет отец. Но они успевают каждый раз. И Темка сразу веселее становится. А Толик его рассмешить старается. Стойку на руках пробует сделать, но у него никак не выходит, и Темка смеется, удивляется, почему у Толика такое простое дело не получается. Или Толик цыпленка к Темке подносит, и тот кормит его крошками прямо у себя на подушке. Цыпленок проваливается на мягкой подушке, клюет хлеб и падает. Ребята хохочут-заливаются!

Потом отец входит. Снова садится на пост. Или говорит вдруг Темке бодрым голосом:

— Ну, давай почитаем!

Темка сводит брови, отворачивается к стене, закрывает уши руками. Тяжелым, тягучим взглядом отец смотрит на Темку. Видно, ему хочется сказать что-ни-

будь резкое, злое, но он сдерживается. Желваки ходят у него на щеках. Отец раскрывает мятую книгу с желтыми страницами и читает вслух. Книгу достали из Темкиных штанов, когда его привезли в больницу; это все та же «Собака Баскервиллей», и отец читает ее снова.

Темка зажимает уши руками, но отец словно не видит этого. Он читает и читает вслух, зажигается, говорит страшным голосом, когда доходит до жуткого места, и Толик слушает его, опять пугаясь. Ничего, что второй раз. Такое сто раз слушать можно.

— «...В расселине, где горела свеча, появилось страшное, изборозженное следами пагубных страстей лицо, в котором не было ничего человеческого», — таинственным голосом читал отец. Нет, от таких книг мурашки по коже ползли, и Толик снова с удивлением и завистью смотрел на Темку. Он бы не выдержал, хоть немного приоткрыл уши, чтобы слышать, но у Темки даже пальцы побелели. Вот как не любил он отца! Вот как не хотел слышать даже его голоса!

Толику становилось совестно, что он сидит тут, развесил уши, когда Темка бастует, ведь, в конце концов, у них заговор; не один Темка против отца, а они оба, вместе, и он поднимался с белого как снег табурета. Тихонько, на цыпочках шагал к двери. Там останавливался. Еще раз глядел на упорного Темку. Потом на отца, который читал.

Толик вздыхал и выходил из палаты, думал: чем же кончится все-таки эта дуэль? Кто победит?

И кто окажется правым?

Цыпленок шуршал под рубашкой, щекотал живот. Толик всегда боялся щекотки, но теперь было не до смеху. Он весь сжимался от напряжения, думая о своем. Весь сжимался, каждой своей клеточкой, желая помочь Темке, который остался там, наедине с отцом.

— Выдержи! Выдержи! — шептал Толик ссохшими губами и думал, какой хороший человек Темка, какой верный товарищ, какой твердый и настойчивый, раз что-то сказал.

И еще он думал вот о чем. Если ему, Толику, трудно, если он устал от всей этой борьбы, то как же должен устать Темка? И сколько сил в нем, сколько самоотверженности, если он — совсем ведь мальчишка, а столько лет воюет.

Со своим отцом сначала, чтоб не пил. Потом с ма-

терью — чтоб не прогоняла отца. А сейчас с чужим отцом — чтобы ушел.

Толик вздыхал и думал, думал и вздыхал...

Трудно все-таки жить на белом свете!

9

Одного никак не мог понять Толик: отчего так волнуется мама? Всего раз она видела Темку, тогда, возле магазина, наверное, и разглядеть его толком не сумела, а как услышала, что Темка обгорелый лежит в больнице и от него отец не отходит, так разволновалась — просто удивительно! Спрашивает каждый день: «Как Темка?» А потом обязательно: «Как отец?»

Темка поправляется потихоньку, а отец — что отец, сидит на белом табурете, да и все.

Хотя, конечно, не все. Сидит на табурете пришибленный.

Толик сначала думал — это он из-за Темки. Виноватым себя считает. Ведь Темка из-за него ушел. Не ушел бы, не попал бы и в эту больницу. Но когда и на Толика отец смотрит, вид у него такой же. И голос занскивающий. Будто он и перед Толиком виноват. Кругом виноват, перед всеми.

Отец глядит на Темку и Толика, и вид у него такой, словно они не мальчишки, а судьи какие-нибудь. А он их суда ждет.

Темка свой приговор вынес — зажимает руками уши, молчит, отворачивается. И Толик вынес — не может простить отцу измены.

Но нелегкое это дело судить, да еще взрослого, да еще родного отца. Умом не прощает Толик отца, а сердцем его жалеет. Ведь отец! Ведь родной человек!

Вот случилось все это, изменил отец Толику — и словно в тень куда-то отошел, отодвинулся. Но как вспомнит Толик зимнюю ночь, белые ветви в палисаднике напротив, отец словно к нему возвращается. Выходит откуда-то из темноты. И больно становится Толику, будто что-то он потерял и не найдет уже никогда.

Щемит у Толика внутри, жжет, щекочет в горле, и жалко ему смертельно отца.

Из-за этой жалости все и вышло.

Глядел, глядел Толик на отца и вдруг шагнул к нему, руку протянул, погладил по колючей щеке вместо

приговора. Отец вскинул на него глаза, и они сразу черными стали, как глубокий омут.

— Хвост морковкой! — тихо Толик сказал, как отец говорил ему когда-то, и вздрогнул. Потому что отец заплакал.

Сколько всякого было в этот год — скандалов, неприятностей, разочарований, обид, — но ничто не потрясло Толика, как это.

Плечи у отца не вздрагивали, как у мамы, когда она плакала, он прижал их к голове, будто хотел прикрыться, будто хотел спрятаться от мальчишечьих глаз, будто стыдился, что не выдержал, что открылся другим, да еще младшим, — как трудно ему, как невыносимо трудно...

Толик стоял возле отца, повесив руки, совсем растерявшись, не зная, что делать, что сказать, надо ли что-нибудь делать и говорить.

Скрипнула Темкина кровать. Толик обернулся и увидел Темкины глаза. Темка смотрел ошалело, глаза его походили на два черных кругляша, а брови торчали крутыми галками. Потом в Темкиных глазах что-то мелькнуло, что-то такое новое появилось, какое-то сожаление, что ли, или, может быть, жалость — в общем никогда такого в Темкиных глазах Толик не видел раньше! Решимость — да, злость, отчаяние видел, а такого — нет!

Темка смотрел мгновение на отца такими вот новыми глазами, заскрипел опять кроватью и вдруг сказал: — Петр Иванович!.. Петр Иванович, почитайте!

Отец не шевельнулся, только тяжело вздохнул, прикрывая лицо ладонью, словно козырьком; потом вдруг встал, все еще закрывая лицо, стыдясь его показать мальчишкам, и вышел в коридор.

Толик опять взглянул на Темку, и Темка отвернулся, потому что теперь у Толика в глазах мелькнуло что-то новое. И не хотел он об этом думать, но уж так получилось — получилось само собой, — и ничего Толик не мог с собой поделать. Да, вынес он свой приговор отцу, как и Темка его вынес, но вот пожалел он отца и тут же осуждающе на Темку взглянул: чего, мол, ты так жестоко? Странно устроен человек. Вместо того чтобы на себя посмотреть сначала, себе сказать: а сам-то ты какой? — на товарища первым делом глядит, его судит.

Темка от Толика отвернулся, понял его и обиделся, конечно; и Толику стало стыдно, что так получилось, нехорошо как-то, не по-товарищески...

Вот ведь, ни слова друг другу не сказали, только посмотрели — и все поняли оба. Секунда какая-то, а больше длинного разговора.

Стукнула дверь, и вошел отец. Лицо спокойное, будто ничего и не было. Будто выходил покурить — и все.

Прошел широким, решительным шагом к табурету, уселся покрепче, раскрыл «Собаку Баскервиллей», взглянул неторопливо сперва на Темку, потом на Толика. Но хоть смотрел отец спокойно, и делал все уверенно, и старался быть взрослым перед невзрослыми мальчишками, Толик вдруг почувствовал, что отец только делает вид и что никакой он не спокойный. Слезы были правдивее всего, что он делал теперь, а это значило, что отцу плохо — плохо всерьез, по-настоящему. И дело вовсе не в Толике и не в Темке, не в том, что они судят отца, — из-за этого он не стал бы плакать. Видно, плохо у отца везде и всюду, плохо со всех сторон.

Толик вглядывался в отца, вслушивался в его удивительно спокойный голос, которым он читал про ужащающие происшествия в «Собаке Баскервиллей», и не верил этому спокойствию, потому что так читать эту книгу и быть таким равнодушным можно, только вовсе не думая о книге, а думая отрешенно свое. Он сравнивал отца с путником, который заблудился в лесу, мечется то вперед, то назад, то вбок и уже совсем отчаялся, уже крикнул что было сил, но вот снова спохватился и снова упорствует, не желая признаться, что заблудился.

И хотя Толик думал так, вглядываясь в отца, не веря его спокойствию, он радовался все-таки.

Радовался, что Темка лежал теперь, не закрывая уши, что он слушал внимательно чтение отца, что он поступил справедливо и по-взрослому, по-мужски, попросив отца почитать, дав понять ему, что есть вещи, которые выше их вражды. Дав понять, что если враг признается врагу в поражении, пусть на минуту даже, то другой враг всегда найдет в себе благородство, чтоб понять, и простить, и пойти на уступку.

В Темкину палату будто ветер ворвался.

Ворвался, промчался по углам, освободил комнату от застоялого запаха лекарств, наполнил ее свежим воздухом, от которого в груди легкость и чистота.

И сразу веселей в палате стало.

Толик сидит тихонечко, следит, как подросший цыпленок на полу скачет, про себя улыбается, потому что Темка цыпленка даже не замечает — глядит на отца блестящими глазами, и говорят они, говорят, говорят...

Про «Собаку «Баскервиллей», которую они вместе читали. «Могло ли так быть?» — Темка спрашивает, а отец отвечает: «Почему же нет? Если огромного дога выкрасить фосфором и выпустить ночью, можно представить себе, какое это ужасающее зрелище, да еще в такой местности, какая в книге описана, — сплошные болота и на много километров никакого жилья, плюс легенда, которая ходила в том крае, плюс то время, о котором шла речь, — начало двадцатого века». Темка улыбался, размышлял, можно ли теперь пса покрасить, и отец отвечал, что конечно, что теперь еще проще, можно обойтись без фосфора — фосфор, что ни говори, а очень вреден, собака Баскервиллей должна была бы скоро сдохнуть, но теперь есть специальные краски, которые светятся в темноте и совсем безвредны.

Темка тут же настораживался, взгляд его утонул где-то в потолке, будто он уходил из палаты, потом возвращался и обсуждал с отцом пришедшую к нему идею — выкрасить такой краской стадо прирученных дельфинов и проследить их жизнь ночью, в темном море, это было бы очень интересно и важно, потому что Темка нигде еще не читал, чтобы велись ночные наблюдения за дельфинами, никто не видел, как, к примеру, и где они спят...

Отец улыбался, соглашался, что да, что это действительно было бы здорово и что, наверное, можно было бы заснять движение светящихся дельфинов, изучить их ночные пути и внести вклад в науку.

Тут Темка рассказал отцу про фотоаппарат, который они с Толиком нашли в овраге, про то, какой этот фотоаппарат был тяжелый и неуклюжий, и очень жалел, что его не удалось спасти, а то бы они сейчас профотografiровали прямо тут, в палате: Темка — отца, отец — Тем-

ку, а потом и Толика, ведь это же очень важно — уметь фотографировать, и всегда может пригодиться в жизни, кем бы ты ни был — акванавтом, или инженером, или летчиком.

Отец кивал, глядя на Темку, на его разгоревшиеся щеки и блестящие глаза, соглашался с ним, и Толика они оба совсем не замечали.

Но Толик ничуть не огорчился — что он, при чем тут он, если у отца с Темкой отношения наладились, если помирились они, ведь, в конце концов, это правильно, это очень верно, что люди друг с другом по-человечески разговаривают и у них нормальные отношения, так и должно быть.

А кроме того, дела у Темки шли на поправку, и это важнее всего. Убрали уже палку, к которой сосуд с жидкостью привязан был и откуда эта жидкость Темке в ногу лилась. Убрали и палатку над Темкой, на бок ему потихонечку поворачиваться разрешили. Сильной боли теперь Темка не чувствует, губы не кусает, а улыбается во весь рот. Улыбается — вот что главное! Целый день они друг другу улыбаются. Темка и отец.

У отца так прямо будто крылья выросли. Словно он от какого-то груза освободился, скинул камень со спины. Плечи уже не висят — ключицы из-под рубашки не выпирают, голову прямо держит, белозубо улыбается, и морщины возле губ разгладились.

И старается отец изо всех сил. Старается, чтоб Темка его полюбил.

Про тот разговор о светящихся дельфинах и о том, что хорошо бы научиться фотографировать, Толик сперва забыл, но оказалось, это не только разговор.

Однажды он пришел проводить Темку, открыл дверь, улыбнулся, навалившись на косяк, что-то щелкнуло возле Темкиной кровати, и глаза у Толика округлились. На тонких ножках рядом с Темкиной подушкой стоял маленький глазастый прибор и глядел на Толика блестящим выпуклым очком. Темка нажимал какую-то кнопку на фотоаппарате, отец сидел на корточках у штатива, и оба они походили на пулеметный расчет, который залег за своим оружием.

Вот это да! Толик даже охнул, вглядываясь в блестящую машинку.

— Иди! — кричал ему весело Темка, повернувшись

на бок. — Краткосрочные курсы обучения фотографии! Сегодня вечером будем проявлять и печатать.

— Печатать, — поправил его, улыбаясь, отец, — пленку я проявлю раньше.

Темка с отцом стали наперебой объяснять Толику, что тут к чему, куда глядеть, как ставить выдержку и что такое диафрагма — то же, что и у человека в животе, сжимается и раскрывается, — какая бывает фото-пленка, но тут Толик запутался, никак не мог усвоить, что такое фотографическая чувствительность.

— Ну ладно! — сказал, смеясь, отец. — На первый раз обоим вам достаточно теории, давайте снимайте друг друга и что хотите — все-таки тридцать шесть кадров.

Толик и Темка стали щелкать вокруг, вырывая аппарат из рук друг друга, обстреливать друг дружку, отца, палату и улицу за окном. Улицу снимал, конечно, Толик, и Темка при каждом щелчке спрашивал его:

— Что снимаешь? Что?.. А теперь?

— Троллейбус! — кричал ему возбужденный Толик. — Воробья! Девчонки какие-то идут!

И Темка счастливо смеялся в ответ.

— Вот встану скоро, — сказал он мечтательно, — и наснимаю кучу всего! Всяких птиц! Всяких зверей!

— Где ты возьмешь их? — удивляясь, спросил Толик. — Одни воробьи! Ну, цыплята наши! Ну, кошек да собак наснимать можно, но ведь это же не звери и не птицы.

— В лес поедem! — ответил Темка и повернулся к отцу. — Поедем в лес, Петр Иванович? Когда поправлюсь.

— Поедем! — сказал отец. — Вот можно бы на пароходе поехать, вниз по реке. В пятницу отправиться под вечерок, а вернуться поздно в воскресенье, все-таки два выходных! И порыбачить можно, и птиц поснимать. Знаю я одно такое местечко.

Толик поглядел на счастливого отца и улыбнулся, потому что было похоже, это не отец обещал поехать с ними на пароходе, а ему самому кто-то обещал, и он радовался, как мальчишка.

— А пока учись! — сказал отец. — Хорошенько учись, снимать птиц надо поодиночке, тихо, меня с вами не будет, никто не подскажет. А в лесу снимать надо иначе, чем на солнце, — другая диафрагма, другая вы-

держка, — и объяснял подробно опять, какая зависимость между пленкой, тем, как предмет, который снимаешь, освещен, выдержкой и диафрагмой.

Мальчишки решали фотографические задачи, и оказывалось, что это совсем как в математике, — нужно знать правила, но одних правил все-таки мало, обязательно должен быть навык, опыт, практика. Они снимали теперь уже не впопыхах, а обдумывая каждый раз, как и какую диафрагму поставить, что снять, с какой выдержкой, пока не кончилась пленка.

Потом отец достал кассету и ушел, оставив мальчишек одних, и они все крутили фотоаппарат, щелкали впустую затвором, целились друг в друга, пока наконец Темка не спохватился.

— Хватит, хватит, — сказал он. — Повесь-ка, пока не доломали, а то и поехать никуда не придется.

Толик послушно повесил фотоаппарат, и вдруг неприятная мысль кольнула его. Он попробовал прогнать ее поскорее, но ничего не вышло. Такие гадкие мысли, видно, не исчезают бесследно, они сразу отражаются в человеке, сразу отпечатываются в нем — там, внутри, в душе или на лице, в зависимости, наверное, от того, кто какой человек, — и Темка сразу заметил это, спросил Толика, что с ним.

— Ничего! — равнодушно ответил Толик, стараясь отогнать эту гадость.

Но она не отгонялась, а, наоборот, вырастала, становилась все огромней, будто в Толика забралась обезьяна. Сначала обезьяна была малюсенькая, едва заметная, но она вырастала с каждой секундой, вырастала в мохнатую гориллу, отчего-то похожую на бабу Шуру. «Чей фотоаппарат-то? — шептала горилла бабкиным голосом. — Чей, а? Чей? Твой или Темкин? Не знаешь? Ну так знай! Темкин. Это ему отец подарочек такой сделал. Ему — понял? — а не тебе! А ты сын родной. А Темка никакой не сын! Ну-ка, ну-ка вспомни, когда тебе отец такие подарки делал? Не вспоминай! Никогда!»

Горилла внутри Толика приплясывала, колотила себя по бокам длинными мохнатыми лапами, разевала огромную, до ушей, пасть, радовалась чему-то; и чем быстрее она росла, тем ниже опускал Толик голову, тем противней было ему.

Он боялся посмотреть Темке в глаза, он стыдился самого себя.

Человек не выбирает свои мысли, они приходят к нему сами по себе, не спросясь — и хорошие и гадкие, — ничего уж тут не поделаешь. Надо только, чтоб гадкие мысли не стали делами, — потому человек и называется человеком. Надо суметь эту гориллу вовремя взять за хвост и вышвырнуть из себя. Сразу увидишь, как легко и просто тебе стало. Сразу почувствуешь, как хорошо без дурных мыслей, — никто не топчет тебя внутри мохнатыми лапами. Надо только поскорей это сделать. Промедлишь, пожалеешь ее — и станешь ей сродни. Будешь ходить с мохнатой душой. Улыбаться людям, а внутри ненавидеть их.

Толик поднял голову, глубоко вздохнул. «Прочь, горилла, прочь!» Он даже руки поднял, на нее замахиваясь.

— Ты чего? — повторил удивленно Темка, пристально вглядываясь в Толика.

Тот прикрыл глаза, переводя дыхание. Горилла уменьшилась, снова становилась малюсенькой. «Прочь!» — рыкнул на нее Толик, думая, что маленькую прогнать будет проще. Но она и не подумала исчезать. Просто сжалась в точку и свернулась в клубок. Заснула.

«Вот гадость! — подумал про себя Толик. — Вот мерзость!» Но Темка глядел на него вопросительно, и нужно было что-то отвечать.

— Да ну! — сказал он. — Так! Мура!

Действительно, какая это мура! Никогда и никому не завидовал Толик, а тут позавидовал, да и кому — закадычному дружку, Темке! Темке и так живется несладко! Похуже, чем ему. А тут стало только налаживаться — и нате! Позавидовал первый же друг!

Темка пристально вглядывался в Толика, будто слушал его тайные мысли, а потом сказал погрустнев:

— Ты не бойся! — сказал он. — Аппарат этот твой. Я его от Петра Ивановича не возьму, уговор дороже денег... — Он промолчал, а Толик даже рот приоткрыл от удивления: как это Темка понял? — Ты знаешь, — задумчиво проговорил Темка, — я будто сплю, сплю все время... Есть такая болезнь — летаргия. Человек засыпает и может много лет подряд проспять... Вот будто

и я сплю и не могу очнуться. Проснусь — и все дальше пойдет по-старому.

Толик медленно покрывался красными пятнами. Маленькая горилла исчезла в нем, испарилась. Остался лишь стыд — жуткий, неповторимый стыд перед Темкой. Как могла появиться эта горилла, как он мог подумать такое!..

Толик вздрогнул: точно! Это точно! Это в нем проснулась бабкина кровь. Ведь он внук этой скряги, этой жадины, которая из-за жадности раскрошила всю семью, словно ломоть хлеба. И эта жадность теперь вдруг проснулась в нем!

Он сидел красный как рак и вдруг вскочил с табуретки и выбежал на улицу. Как стыдно ему было!..

Возле больницы носом к носу Толик столкнулся с отцом и мамой. В руках у отца была большая картонная коробка.

Толик стоял возле них, пораженный, не зная, что делать: то ли пройти мимо, то ли обрадоваться, раз отец и мама стоят и разговаривают. Раньше бы он обрадовался, конечно, что тут говорить, но сейчас он не знал, как быть, потому что голова его была забита совсем не этим, а Темкой, фотоаппаратом. А главное — собой.

Нет, лучше утопиться или забраться на крышу и броситься сверху вниз головой, чем быть похожим на бабуку. Это ужасно, если у него бабкина кровь! Правда, сейчас все успокоилось, горилла исчезла, оставался лишь стыд перед Темкой. Но кто знает, вдруг горилла появится снова? В другой день, из-за других случаев и людей? Вдруг она будет просыпаться часто — это же кошмар! Он, Толик, исчезнет, а командовать им станет такая вот обезьяна. Хоть и человекоподобная, но не человек.

Расстроенный Толик не заметил, что отец и мама совсем не взволнованы встречей.

«Мама, — вспомнил Толик, — интересуется Темкиным здоровьем. Вот она и пришла узнать, как и что. И увидела отца. Что особенного?..»

— Я проявил пленку, — сказал отец Толику. — Сейчас будем печатать.

— Прямо в палате? — удивилась мама, будто она уже знала про все — и про фотоаппарат, и про то, как они снимали сегодня.

— Прямо в палате! — улыбнулся отец. — Николая

Ивановича помнишь? Так он тут главврачом. Разрешит!

— Ну идите! — ответила спокойно мама. — Счастливо!

Она повернулась и не спеша пошла по улице. Толик вздохнул, постепенно приходя в себя, и они отправились к Темке.

— Ничего! — сказал ему отец, обняв за плечо. — Скоро всему конец.

Толик подумал, освобожденно вздыхая, что правда, скоро всему конец, скоро уж, совсем скоро выпишут Темку из больницы.

Но оказалось, они не поняли друг друга.

Совсем не поняли.

Выяснилось это позже, а пока отец отворил дверь в Темкину палату и стал вынимать из коробки увеличитель, пластмассовые ванночки, красный фонарь.

Он хлопотал, а Темка глядел на Толика удивленными глазами, видно, не понимая, отчего он убежал. Но едва они устроились поудобнее и кинули в ванночку первый листок бумаги, Темка все забыл. Глаза у него яростно засветились при красном таинственном свете, он подмигнул Толику и шепнул ему в самое ухо:

— У тебя законный отец!

Толик легко вздохнул, снова радуясь за Темку и за отца, увидел, как, словно по велению волшебника, в ванночке под красным фонарем на белом листе бумаги прописывается он сам — все ярче и четче: распахнутая рубашка в клеточку, рот до ушей, брови вразлет и точечки глаз.

Толик смотрел сам на себя, прислонившегося к косяку возле дверей в Темкиной палате, и поражался чуду остановленного времени.

Толик принес этот снимок домой еще мокрым, свернув трубочкой. А наутро, когда бумага просохла, мама приколотла карточку кнопкой к стене. Повесила в тот угол, где бабкина икона висела, только пониже.

— Ну вот, — сказала смеясь. — Теперь ты наш бог!

— Чей это ваш? — усмехнулся Толик, поглядывая на смурную бабку.

Возьмет еще да в знак протеста порвет карточку. А ведь жалко, все-таки первый настоящий снимок. Не такой, когда перед фотоаппаратом окаменевший сидишь и фотограф тебе, словно маленькому, обеща-

ет: «Гляди сюда, сейчас птичка выскочит», — а человеческий, какие у взрослых бывают. Да и сфотографировал Толика не кто-нибудь — Темка.

— Наш! — весело подтвердила мама, будто и не замечая бабки. — Наш! Наш! — И засмеялась, словно горох рассыпала.

Часть пятая

ВНУК МИЛЛИОНЕРШИ

I

С той поры, с того самого дня, когда Толик принес мокрую карточку, мама — как радио: поет без конца. Румянец во всю щеку, платье шуршит, будто даже платье радуется чему-то, и ходит мама так, словно летает.

От такого невразумительного веселья Толику как-то не по себе. Отец ушел — горевать надо, а она веселится. Нет, что-то тут неладно... Не тот человек мама, чтобы просто так сейчас веселиться. Неужели?..

Чудовищная мысль приходила в голову, Толик сжимался, сердце его в эти минуты, наверное, бывало с наперсток, и он казался себе маленьким, ничтожным, никому не нужным.

Действительно! Отец женился на другой женщине. А вдруг и мама женится, то есть выйдет замуж?

Кровь гулками молотками стучала в висках. Толик едва успокаивался. Нет, этого не может быть! Он прогонял чудовищные видения и корил себя: если человек засмеялся, вместо того чтобы тосковать и ныть, значит, он уже подлец?

Толик успокаивался, улыбался, разглядывал маму, которая заворачивала в газету соль, сырую картошку, стрелчатый зеленый лук, прятала все это в маленький рюкзачок и наказывала разную всячину, вроде того, чтобы не лез глубоко в воду, не заходил далеко в лес, — будто он последний малыш и едет один в неизвестные дали.

Большой пароход стоял у дебаркадера, сверкая прохладными белыми палубами, блестя металлическими поручнями, увешанный спасательными кругами. Посадка

еще не началась, пассажиры толпились на берегу нестройной, говорливой гурьбой, и Толик принялся разглядывать их.

Встав в тесный кружок, хохотали молодые парни и девушки в зеленых брезентовых куртках — туристы. У некоторых за плечами висели, как ружья, гитары.

Посреди толпы то тут, то там виднелись пучки удочек, и под каждым пучком пряталась, напоминая гриб, обтрепанная, вылинявшая кепка. Толик пригляделся к рыбакам и хохотнул: лица у них были замкнутые, окаменевшие словно, сосредоточенные, будто рыбаки уже сейчас, на берегу, представляли себя у тихого омута, где ни шуметь, ни отвлекаться нельзя, а нужно смотреть сосредоточенно на красные поплавки да ждать удачи. Толик подумал, что и порознь рыбаки стоят не зря — у каждого, наверное, свое укромное, заповедное местечко. «Ох, индивидуалисты!» — вздохнул, улыбаясь, Толик и представил, как рыбачат они — отец, Темка и он. Рыбачат все вместе, сидя на одном бревнышке, или уж если не на бревнышке, то неподалеку друг от друга, не таясь и радуясь все вместе каждой пойманной рыбке.

Началась посадка. Отталкивая туристов и рыбаков, к пароходу, будто на приступ крепости, кинулись деревенские тетki, вооруженные мешками и корзинами. В корзинах виднелись углы хлебных кирпичей, сушки и батоны; тетki по-свойски, не обижаясь, переругивались и шустро взбегали одна за другой по трапу. Толик улыбался, не понимая их вокзальной торопливости, и вдруг кто-то закрыл ему глаза.

Толик засмеялся: Темка! Конечно, это был Темка! Толик обернулся и рассмеялся опять. Артем и отец были в полном обмундировании — в старых каких-то пиджаках, в поношенных кепках, как два гриба, — совсем похожие на заправских рыбаков.

Все трое улыбались друг другу, возбужденно говорили о каких-то мелочах, а сами были уже там, на белоснежном, как айсберг, пароходе. Последние бабки с мешками и корзинами взбежали на палубу, за ними солидно двинулись рыбаки с пучками удочек, пора было подтягиваться к трапу и им, как вдруг зазвенела разбитая бутылка.

Толик уже давно заметил пристанский ларек. Там торговали чем-то пьяным — не то пивом, не то вином, и

возле ларька топтались забулдыги. Они галдели на всю маленькую пристанскую площадь, толкали друг друга в грудь и, пока еще не началась посадка, привлекали всеобщее внимание. Тетки с кулями качали головами, озираясь на пьяниц. Толик же лишь взглянул и отвернулся: очень уж хорошее у него было настроение, чтобы портить его. Но сейчас загремела разбитая бутылка, раздался пьяный крик. Толик посмотрел на ларек и увидел, как, пошатываясь, к ним бежит человек.

Рубаха у него была распахнута, в руке он держал острозубо отбитое горлышко зеленой бутылки, взлохмаченные, грязные его волосы слиплись сосульками, на лице синел кровоподтек.

Это был Темкин отец, и в первую минуту Толик пожалел только себя. «Все, — подумал он, — сорвалась рыбалка!»

Пьяный, угрожающе поблескивая отбитым горлышком, придвинулся к ним.

— А-а!.. — сказал он, всматриваясь в отца. — Герой нашего времени!.. Ну, пойдем выпьем!

Толик посмотрел на отца. Он посерел, губы его сжались, а стиснутые кулаки мелко вздрагивали. Толик подумал, что отец испугался, но тот сказал твердым голосом:

— Не видишь? Мы идем на пароход...

— А-а!.. — протянул пьяный. — На пароход? Бабу мою к рукам прибрал, а теперь сына хочешь?

Толик снова посмотрел на отца. Теперь руки у него не вздрагивали. Он шагнул к Темкиному отцу.

— Но, но! — зарычал тот, выставя обломанную бутылку. — А этого не желаешь?

Зубья у бутылки оскаленно блестели на солнце, словно волчья пасть.

Все время, пока Толик смотрел на взрослых, Темка стоял молча и встрепенулся, лишь когда отец сделал шаг к пьянице.

Толик подумал, он хочет защитить своего отца, но Темка шел, сжав кулаки, прямо на него, и тот отступил перед напором собственного сына.

— Ты что?.. Ты что?.. — жарко шептал Темка, и пьяный пятился назад, пошатываясь.

Наконец он разжал кулак, и горлышко зеленой бутылки с зазубренными краями жалобно звякнуло об асфальт. Тут же, словно эхо, грянул пристанский колокол.

«Отправление», — отметил про себя Толик. Пьяный остановился.

— Ладно, — мотнул он головой и протянул к отцу ладонь. — Тогда дай трояк!

Отец полез в карман, чтобы достать деньги, но Темка обернулся к нему и крикнул:

— Не надо!

Он крикнул негромко, но повелительно. И Толик удивленно отметил, что отец немедленно послушал его.

— Ну хоть рубль! — попросил, чуть трезвея, пьяница.

Темка не отрываясь смотрел на него и молчал. Потом сунул руку в карман и вытащил деньги.

— На! — сказал он резко и тут же повернулся.

Подпрыгивая и дико гикая, пьяница побежал к ларьку, а Темка шел на пароход. Проходя мимо отца и Толика, он даже не взглянул на них. Только бросил коротко и властно:

— Идем!..

Колокол на пристани гроыхнул два раза, и, словно подтверждая его сигнал, громогласно и хрипло, как какой-нибудь допотопный ихтиозавр, заорал пароходный гудок.

Торопясь, они взбежали на палубу.

2

Крутой берег подвинулся в сторону, сразу убавив свою крутизну, и пароход, вспенивая воду, вклинился в тихую, а оттого жестяную на глаз реку.

Над головой лениво полоскался флаг, пароход мелко подрагивал корпусом и пускал из трубы в прозрачное небо едва различимую полоску жаркого марева.

Тетки с котомками расселись по скамейкам, достав всякую снедь, развязали цветастые платки, успокоились, засмеялись, похрустывая плотными огурцами; рыбзки, прислонив вороха удочек, наконец-то объединились в буфете; туристы запели веселую песню.

Темка стоял на самом носу, облокотясь о перила, глядя на воду, ни разу не сказав ни слова и даже не обернувшись, словно обиделся за что-то на Толика и отца.

Чтобы как-нибудь сгладить случившееся, Толик по-

дошел к дружку и обнял его за плечо. Темка не шелохнулся.

— Ну чего ты? — спросил Толик.

Темка не отвечал, и Толик подумал, что, пока Темка лежал в больнице, время для них как бы приостановилось. В шахматах еще так бывает: игроки ходят, двигают фигуры, но положение — позиция по-шахматному — не меняется. Никто не сильнее — ни белые, ни черные. Так и вокруг Толика было. Все двигались, разговаривали, что-то делали, но ничего не изменялось.

И вот время снова тронулось. Они увидели Темкиного отца — часовая стрелка пошла вперед. Но не с той минуты, когда остановилась, а как бы пропустив прожитое, как бы сделав скачок вперед. И оказалось, что очень многое стало другим.

Успокоилась мама: видно, смирилась, что отец не вернется. Подружились отец и Темка, хотя должно было быть наоборот. И он, Толик, человек, который, может, больше всех хотел, чтобы отец вернулся, помогал этой дружбе.

Время шагнуло вперед и сразу перевернуло Темку. Раньше бы он уговаривал своего отца, повел бы его домой, может, а теперь от него отказался — легко ли это?!

Время пошло дальше и сразу провело между отцами и сыновьями новую черту, водораздел, как говорится в учебнике географии. По одну сторону черты сразу трое — Толик, Темка и отец Толика.

Но что же — так все и останется? Трое по одну сторону? Один отец у Толика и Темки?

Толик повернулся к Темке. Что бы он сказал на это? Толик обрадовался, если бы Темка стал ему братом. Был счастлив!

Но ведь все это детство, все ерунда. Если они оба с отцом, то как же матери? И у Толика и у Темки свои мамы, и обе они жены отца: одна бывшая, другая настоящая. Вот тут-то уж ничего не придумаешь. Никакая фантастика не поможет.

Старая мысль кольнула Толика. Снова он подумал про маму с подозрением. Уж очень веселая она. Подозрительно веселая. А что, если в самом деле выйдет замуж?

Толик с ужасом представил, как в их комнату явится какой-то мужчина и сам собой, не спросясь, станет его

новым отцом. Пусть это называется не так — не отец, а отчим, — но какая разница! Другой человек будет проверять дневник, говорить разные слова, указывать, шутить, а может, и бить — всякие ведь бывают люди...

Нет, он никогда не примирится с этим, никогда не будет говорить с этим новым отцом как с отцом!

Толик посмотрел на Темку — и вдруг, может быть, впервые за все время понял его по-настоящему. Понял всю его лютую ненависть к отцу, которая была сперва. И понял вдруг силу — да, да! — силу отца, который преодолел Темкину ненависть. Который заставил Темку сказать: «А у тебя законный отец!»

«Но что все-таки, что будет дальше? — с тревогой и тоской подумал Толик. — Ведь время снова идет, шагает, стучит машинами в пароход, тикает стрелками в часах».

Толик обернулся. Отец подошел сзади и положил им на плечи тяжелые ладони.

— Что, хлопчики, приуныли? — спросил он негромко и сам себе ответил: — Не надо унывать. Не надо... Ну-ка хвост морковкой!

Сзади запели. Толик подумал, что это опять туристы, но песня была очень странная, не туристская.

Он оглянулся. Тетки, которые тащили мешки и корзины с хлебом, скинув на плечи платки, негромко пели.

Песня была печальная. Сперва Толик различал лишь незнакомую мелодию, но потом разобрал и слова:

Закатилось ясно солнышко
В три... ой, три дня, три да часа,
В три дня, в три часа...
Ой, занималась наша зорюшка,
Зо... ой, зорюшка да ясна!
Зорюшка ясна...
Ой, по этой-то ли по зорюшке
Пта... ой, пташицы да поют...

Толик оглядел палубу. Притихшие туристы отложили гитары, и удивление остановилось на их лицах. Хмурились почему-то пожилые рыбаки возле своих удочек.

Песню, оказывается, знали не все тетки, и первые строчки выводили лишь четверо — три пожилые женщины и одна помоложе:

Пташницы поют...
Ой, они поют-распевают...
Не слы... —

пели они, а остальные им помогали дальше:

...Не слышно ничего,
Не слышно ничего...

Толик всмотрелся в четырех залезав. Там, на пристани, он не заметил, какие загорелые были у них лица, да и сейчас не заметил, если бы женщины не скинули платки. Теперь же на лбу и сбоку, на скулах, у них виднелись белые полосы — незагорелая кожа. А все лицо поблескивало в затухающих солнечных лучах, лоснилось; и было понятно, что женщины эти — трое пожилых и одна молодая, да и другие тоже — много работают на солнце.

Ой, в чистом поле под вершинною
Хи... ой, хижина да стоит!
Хижина стоит...
Ой, во этой-то ли да во хижине
Ке... ой, келейка нова!
Келейка нова...
Ой, во этой-то ли да во кельюшке
Вдо... ой, вдовьюшка жила!

Женщины умолкли так же неожиданно, как и начали петь. Туристы захлопали не к месту, но никто их не поддержал. Глупо было хлопать за такую песню, а женщины на этих туристов даже не взглянули. На палубе стало тихо, только плескалась и шипела вода за бортом.

— Я думал, мешочницы какие-то, — задумчиво сказал Толик. — Хлеба набрали, будто голодовка. И лезли на посадку как сумасшедшие.

— Нет, — ответил отец задумчиво и помолчал. — Нет, — повторил он тихо, — не мешочницы... Теперь жатва, и в деревне люди с утра до ночи в поле. Чтобы дома хлеб не печь, не тратить время, и посылают недалежные колхозы женщин в город за хлебом. Дальним невыгодно, а ближние ездят.

— Так это они не себе? — слышался Темкин голос.

Пока женщины пели, Темка выбрался из своего угла и теперь глядел на них удивленными блестящими глазами.

— Не себе, — кивнул отец и снова помолчал, будто он не объяснял, а вспоминал. — Не себе, — повторил он глухо. — А что толкались они на посадке, так по привычке. Не всегда ведь такие просторные пароходы ходили. Бывали и маленькие, колесные, народу полно, а возвращаться надо, дети у каждой, дом, страда... Мужчины — кто на работе, а кто и с войны не пришел. Так что спешили, толкались, ничего не поделаешь. А теперь уже это вроде привычка...

Отец обернулся к мальчишкам.

— От войны это, — сказал он тяжко. — От войны...

Отец закурил и облокотился о перила. Толик и Темка вглядывались вперед, в быстро темнеющую воду, в узкую оранжевую полосу заката.

Подумав здесь, на пароходе, про войну, Толик представил не танки, не грохот пушек, которые видел в кино. Он вспомнил тетю Полю, ее слова про маму и отца — что молодые они, что не знают настоящего горя и поэтому не берегут друг друга. Он вспомнил портрет ее навсегда молодого мужа, висящий в углу, и удивился: как, оказывается, походили друг на друга тетя Поля и эти женщины! Они походили словно деревья, посаженные в разных местах, но в одно время.

Война давно прошла, а эти женщины и тетя Поля все еще ее забыть не могут — поют печальные песни, смотрят на фотографии тех, кто так никогда и не состарится. И никогда они ее не забудут, потому что война — это самое страшное.

«Но раз война самое страшное, что может случиться, как должны любить друг друга люди, если ее нет? Как должны радоваться друг другу!» — подумал Толик и крепко взял Темку за плечо.

3

Поздно ночью, когда небо, сверкавшее крупными звездами, слилось с рекой, в которой светились красные звездочки бакенов, пароход взревел сиплым, протяжным басом.

Вглядевшись в черноту, Толик заметил, что к ним приближается маленький домик на барже, расцвеченный огоньками. Пароход торкнулся боком в пристань, она жалобно заскрипела, по трапику мальчишки вслед за отцом сошли на дебаркадер, слышались сонные команды капитана, пароход вспенил воду и быстро исчез за

поворотом. Стало тихо. Черная вода скользнула где-то внизу, едва журча; и казалось, что под ногами не река, а пропасть без края.

Отец привел ребят в крохотную комнатку с широкими деревянными лавками — лавки были такие же, как на железнодорожных станциях.

В комнатке душно пахло кислым потом, и на одной лавке раскатисто храпела толстая тетка, изредка причмокивая губами.

— Располагайтесь! — велел отец. — Все равно ночью не ходьба.

Он сунул свой рюкзак под голову, надвинул на глаза кепку и затих. Мальчишки улеглись тоже. Толик подумал, что лучше бы, конечно, ночевать у костра в поле, но костер был еще впереди. Он улыбнулся предстоящему и не заметил, как его сморило.

Проснулся Толик первым от тревожащего, радостного предчувствия. Он вышел на цыпочках из комнаты ожидания и, взглянув на реку, счастливо рассмеялся. Домик на барже будто поднялся в небо и заблудился среди облаков: он утонул в белесом прохладном тумане. И берег и река исчезли, только небо над головой оставалось прозрачное и чистое.

Толик растолкал Темку и отца. Они поднялись на крутой берег, выбравшись из тумана, и пошли по росистой траве. Толик наклонился, сорвал пучок влажной зелени и провел ею по лицу. Щеки сразу запылали, стало свежо и приятно.

Над рекой плыл перистый туман, а здесь, над туманом, вспыхивало солнце, зажигая в росистой траве несметное число радужных светлячков, искрящихся кристалликов, серебряных жемчужин.

Откуда-то из-за кустов на луг выбежал длинноногий, тоненький жеребенок. Он галопом пронесся по зеленой траве, смешно подкидывая хвост, застыл на минуту словно вкопанный, и вдруг упал прямо в росу, подняв тонкие ножки, заржав радостным голоском от неслыханного счастья.

Толик остановился, тихонько смеясь. Ему захотелось сбросить рюкзак, скинуть рубашку и покатиться так же, как этот жеребенок, по росистой траве, кинуться в эту зеленую реку, звенящую тысячами росинок...

— Эй, жеребенок! — услышал Толик голос отца и встрепенулся.

Темка с отцом ушли далеко вперед, и, подбежав к ним, Толик увидел, что оба смотрят на него как на маленького, разгадав, верно, о чем он думал, когда любовался веселым лошадиным ребенком.

«Ну и что? — улыбнулся он, нисколько не обижаясь. — Ну и пусть догадались, и пусть считают маленьким! Сами небось рады были бы стать жеребятми, раз столько в этом счастья!»

Толик прижался к отцовской руке.

— Помнишь, папа? — спросил он, и отец, посмотрев на него сверху, приветливо кивнул.

Они поняли друг друга! Они поняли друг друга потому, что сбылось то, о чем говорили тогда, в зимнюю стужу, потому что шли теперь по росистой траве, и ноги их утопали в блестящих искрах, потому что дышалось им легко и свободно, и свежий воздух врывался в них, как хрустальная ключевая вода. Им шло ходко, вольно, им жилось прекрасно в этот миг и не хотелось думать, просто не думалось, что, кроме этой жизни, простой и ясной, есть еще какая-то там другая жизнь — запутанная, непонятная и горькая.

Толик прижался к отцу покрепче, они шагали в ногу, и все было прекрасно вокруг, если бы Толик не разглядел Темкиного лица.

Увидев, как отец кивнул Толику и как Толик прижался к руке отца, он вдруг отвернулся.

Толику сделалось стыдно. Вот уже два раза подряд — вчера на пристани и сейчас — он забывал про Темку, думая лишь о себе. Получалось, он делал это нарочно, чтобы напомнить Темке, какой отец у него. Получалось, он намекал Темке: мол, что ни говори, а мой отец — мой, и ничей больше.

Отец тоже почувствовал Темкино настроение. Чтобы стать равным для обоих, он обхватил мальчишек за плечи и спросил, обращаясь к Темке, хотя говорил двоим:

— Ну-ка скажите, что вы слышите?

Толик прислушался. Было тихо-тихо, даже река внизу не плескалась.

— Птица поет, — ответил Темка.

— Правильно, — сказал отец, — пеночка.

Толик услышал далекое цвирканье и разозлился на себя: глухая тетеря!

— Стучит кто-то, — сказал Темка, начиная улыбаться. — Дятел?

— Точно! — кивнул отец.

И только теперь Толик услышал дальний сухой стук. Он напрягся, не желая уступать Темке, вслушался в звенящую тишину и вдруг услышал жужжание.

— Шмели, — сказал он растерянно.

И Темка с отцом снова повернулись к нему. Снова смотрели они на Толика, как на малыша, хваля его и радуясь его счастью.

— Шмели, — подтвердил отец.

— Шмели, — как эхо отозвался Темка.

Река освобождалась от тумана, словно в половодье ото льда. Они спустились к воде, срезали ивовые удища, торопясь, насадили наживку.

Нет, определенно счастье улыбалось сегодня Толику! Он первым вытащил рыбку, и не беда, что попалась совсем малюсенькая, чуть больше спички, — ведь главное положить начало, главное первому увидеть затонувший поплавок, вздрогнуть от счастья и испуга, дернуть, торопясь, удище и закричать на всю реку, так, что отзовется эхо:

— Пойма-а-ал!

Может быть, у рыб есть такое правило: маленькие клюют у маленьких рыбаков, те, что побольше — у тех, кто побольше, а самые большие тянутся к крючку взрослого рыбака, к серьезному человеку? Наверное, есть такое правило, потому что отец вытаскивал редко, но больших окуньков — с его ладонь, Темка почаще — ему попадались толстые пескари и сорожки. Толик же таскал каждую минуту мелкую и доверчивую щеклею. Так что наловили они порядочно. И когда поспела на костре уха, ели ее с писком за ушами. Еще бы, ведь нет ничего приятней, чем есть пищу, не только самим тобой приготовленную, но и добытую!

Но это было все-таки половиной дела. Они же сюда не только за ухой приехали. Главное — охота. Не простая, с фотоаппаратом.

Конечно, для настоящей фотоохоты нужен специальный аппарат, с длинным, почти в метр, объективом, чтобы издалека снимать всяких зверей. Ясно, с обыкновенной «Сменой» труднее будет подкрасться к осторожным птицам или лесным зверькам, но что ж — так еще интереснее!

За рыбацкую удачу первым поохотиться досталось Толику, и, пообедав, он отправился в лес.

Как удивительно в летнем лесу! На березовых листьях, словно капельки крови, — божьи коровки. Растопырит коровка крылья, задребезжит ими и сорвется в небо. Толик проводил жучка глазами, потерял из виду, перешагнул через муравьиный тракт. Присел улыбаясь. Бегут, бегут муравьишки, работают с утра до ночи, тащат травинки, соломинки, тащат дохлых жучков, торопятся, ничего на свете не замечают. И не ссорятся никогда. Ни разу в жизни не видел Толик, чтоб муравьи между собой не ладили, поссорились бы, подрались. Мирный народ муравьи!

Толик шагал по прозрачному, освещенному солнцем лесу, прислушивался к таинственным летучим шорохам, всматривался в ветви, отыскивая птиц, и вдруг благодарно подумал о Темке.

Все-таки раньше он не понимал ясно Темкиной любви к дельфинам, которых тот никогда и в глаза не видел, к кашалотам, хотя забавно, что кашалот протаранил судно. Темка говорил — ему кит понравился за прямой характер, за отчаянность, но дело было, конечно, не в этом.

Только сегодня понял Толик все по-настоящему. Сегодня, потому что сегодня он увидел жеребенка, который катался от радости на спине и мог радоваться не меньше, чем люди. Видел луг, усыпанный хрусталиками росы, а сейчас разглядывал муравьев и думал о божьих коровках.

Все живое оказалось близким и похожим на него, человека. И жеребенок, и божьи коровки, и муравьи жили, трудились, радовались — они были сродни ему. Толик думал теперь про животных не как чужой, посторонний, а как старший их брат. И хвалил Темку: он давно был старшим братом дельфинов, кашалотов, цыплят — всего, что есть живое...

4

Толик присел. На ветке скакала птичка. Она попрыгала, приглядываясь к мальчишке, и юркнула за дерево. Он обошел ствол и опять — в который раз сегодня! — счастливо засмеялся. Из маленького дупла торчал веселый птичий нос.

Толик спрятался в куст, поставил диафрагму и выдержку, навел стеклышко объектива на дупло и замер.

Птица наконец появилась в окошке, покрутила носиком, прежде чем слететь. Толик щелкнул, и птичка исчезла. Он хотел подняться и идти дальше, но, подумав, решил, что надо снять птичку еще раз — мало ли, вдруг с первого раз не получится.

Он сидел в зарослях, думая про маленькую работягу, которая, наверное, тысячу раз за день слетает в лес, пока накормит досыта своих птенцов, а потом, когда подрастут, учит летать — словом, ведет себя как настоящая мать, ничем не отличается от человеческой матери: так же любит своих ребят, заботится о них.

Думая о своем, Толик услышал чьи-то голоса. Он приподнялся из своей засады и увидел отца с Темкой. Они шагали по опушке леса не торопясь, о чем-то разговаривая, и Толик решил притаиться — выскочить неожиданно, когда они подойдут, а до этого, может, еще вернется птица, и он сумеет ее снять.

Но птичка не летела, а голоса приближались, и Толик услышал, как, продолжая разговор, отец сказал: — ...Не суди так строго!

— Не строго, — ответил ему, волнуясь, Темка. — Я не строго, а по совести. Ведь это не стихийное бедствие.

Толик притаился, даже не думая о том, как нехорошо слушать чужие разговоры. Просто он не считал, что у Темки могут быть с отцом разговоры, секретные от него. А когда понял, что могут, было поздно.

— Все зависит от человека, — ответил отец. — Если слабый, то стихийное. Он сам с собой ничего поделать не может.

— Но ведь должен он думать о других?

Толик понял, что они говорят про Темкиного отца.

— Пьяный человек не хозяин сам себе, — ответил отец и вздохнул.

— А трезвый — хозяин? — спросил Темка резко.

Отец как будто задумался и не отвечал. Они вплотную подошли к засаде, где сидел Толик, и остановились.

— Смотри, — сказал отец задумчиво. — Гнездо.

— Подождем, пока прилетит? — спросил Темка и без остановки добавил: — Вот вы — хозяин сам себе?

Отец чиркнул спичкой, до Толика долетел запах табачного дыма.

— Ты о чем? — сказал отец, помолчав.

— Петр Иванович! — вдруг грубо сказал Темка. — Когда вы уйдете от нас?

— С чего ты взял? — Голос отца дрогнул.

— Надо, чтоб вы ушли, — ответил Темка. — Вам надо вернуться.

— Ты никак не можешь смириться со мной? — спросил отец напряженно.

— Разве я говорил бы с вами так про своего отца? — Темка помолчал. — Он никогда не обращался со мной, как вы. Пил и ругался, ругался и пил. Вы совсем другой. Но тоже не хозяин сам себе.

Отец усмехнулся.

— Что ты знаешь? — сказал он. — Вот вырастешь, тогда поймешь.

— Я и сейчас понимаю, — не обиделся Темка и вдруг попросил: — Дайте прикурить!

Опять чиркнула спичка, Толик представил, как курят Темка и отец. Говорят и курят, будто равные.

— Ах, Артем! — вздохнул отец. — Торопишься быть взрослым, а не знаешь, как это трудно, взрослым-то быть.

— Пацаном еще труднее, — зло ответил Темка. — Потому что мы от вас зависим.

Толик смотрел на дупло все это время, и птица наконец прилетела. Но он не шелохнулся. Фотоаппарат лежал у него на коленях.

— Прилетела! — заметил отец, и Темка ничего не ответил. Наверное, просто кивнул.

— Уходите скорей, Петр Иванович, — задумчиво сказал Темка. — Смотрите, как вас Толик ждет, да и маму мою вы не любите, я ведь вижу.

— Не говори глупостей! — прикрикнул отец, голос его напрягся как струна. — Никуда уходить я не собираюсь!

Толик напряженно вслушивался в разговор и все хвалил Темку, все удивлялся его настойчивости и силе. Он одного только боялся — что отец и Темка снова поссорятся. Особенно когда отец повторил резко:

— Не говори глупостей!

Но Темка вдруг спросил с надеждой:

— Так вы не уйдете?

Сначала Толик облегченно вздохнул — слава богу, они не поссорились, но, когда отец и Темка отошли, неожиданно понял: Темка обрадовался, что отец никуда не уйдет.

Фигурки отца и Темки уменьшились, стали букашками в зеленом поле. Толик поднялся и увидел, как вдруг небо стало ниже, земля сузилась, трава поблекла. Он заплакал, до боли в пальцах сжав дерево, где жила птица. Значит, теперь все! Значит, отец не вернется, и у Толика больше нет союзника! Так хорошо и так настойчиво говорил Темка, Толик радовался, что у него есть верный товарищ, — и вот его не стало...

Что-то мокрое скользнуло Толнку за шиворот. Он поднял голову. Низко над вершинами деревьев плыли махровые тучи. Солнца будто никогда и не было. Начинался дождь. Сначала капли были большие и тяжелые; они гулко щелкали по листьям, и Толик встал под большую березу, думая, что такой дождь скоро пройдет. Но он не переставал, капли стали меньше, и полился занудливый осенний поток.

Толик все стоял, прислонившись к пушистой березе, и вначале она укрывала его от сырости. Но потом дождь стал стекать с листьев, Толик быстро вымок, но терпеливо чего-то ждал.

Вдалеке закричали. Толик прислушался, и сердце опять заплясало в нем. Отец и Темка звали его.

— И-и-ик! — доносились голоса. — То-ли-ик!..

Толик решил молчать, но голоса стали явственней, и он расслышал в них беспокойство.

«В конце концов, это бесполезно — стоять тут и мокнуть назло себе», — подумал Толик и оттолкнулся от березового ствола.

Отца и Темку он заметил издали — они были одеты по-походному, за плечами торчали рюкзаки.

— Давай скорей! — нервно сказал отец. — Уходим. Видишь, какой дождь!

Толик взял у Темки свой рюкзачок, натянул на мокрые плечи.

— Скорей! — повторил отец. — Если сейчас опоздаем, торчать нам тут до завтра.

Он пошел впереди размашистыми шагами, подгоняя как бы их своим примером.

— А может, останемся, Петр Иванович! — спросил

весело Темка и сбросил рубашку. Капли защелкали по его спине с темным пятном. — Дождь-то совсем теплый.

— Оденсья, — обеспокоенно сказал отец.

Но Темка, размахивая рубашкой и рюкзаком, молча побежал вперед, в дождь, и Толик понял, чему радуется Темка.

Толику снова стало больно, но он вспомнил себя, как глядел он утром на жеребенка, как хотел броситься в траву, усыпанную росой, как счастливо и хорошо было ему, и заставил себя понять дружка. Темка сделал все, он слышал это сам. Темка сделал все, что мог, и больше ни в чем не виноват.

Темка радовался по справедливости, Темка имел право радоваться сегодня.

5

Пароход медленно шел вверх по течению, преодолевая скорость реки, и Толик коротал время, глядя, как по-осеннему пузырится река под ударами дождевых капель.

Он молчал почти всю дорогу, неразговорчивым был и отец; один Темка веселился, шутил, бродил по пароходу, заглядывал во все уголки.

В город они вернулись утром, и Темка с отцом проводили Толика до трамвайной остановки. Отец смотрел хмуро. Темка же, напротив, был весел и, махнув рукой, крикнул на прощанье:

— Приходи!

Звякнув, трамвай тронулся, и Толик вдруг вспомнил толстого дядьку с трубой. Он похоронил друга и играл на улице печальную музыку, и все над ними смеялись, не понимая.

Сейчас было почти так же. «Приходи!» — крикнул ему Темка, но это прозвучало совсем не так. «Прощай!» — прозвучало это, и хоть Толик не схоронил своего друга, но потерял его. Потерял навсегда...

Трамвай уползал медленно и осторожно. Темка с отцом уменьшались, и не хватало лишь толстого дядьки с трубой, чтобы стало совсем горько...

Дома Толика встретили так, будто в самом деле явился бог. Ну, мама — понятно, она засмеялась по привычке, всплеснула руками, обняла его, словно не видела сто лет. Но бабка, с чего бы она-то... Бабка обра-

довалась тоже, глазки ее засветились, она зашвыркала носом, так расчувствовалась при виде внука, будто и не надеялась увидеть его. Что-то такое случилось с ней.

Толик пожал плечами, бросил рюкзачок, помылся не торопясь, поглядывая на радостную маму.

Если бы она не веселилась так, нужно было рассказать ей про отца, рассказать, что он не вернется, но, похоже, мама совсем и не думала о старом. Все уже кончилось для нее. Кончилось благополучно, и что тут теперь говорить без толку?

Пока Толик ел, мама куда-то засобиралась, улыбаясь и приговаривая, как она удивлена, что он вернулся раньше срока.

Толик насторожился, слушая ее болтовню, а мама, покрутившись перед зеркалом, сказала:

— Я пошла!

— Куда ты? — спросил строго Толик, но мама словно и не услышала, каким он тоном это говорил.

— Так, — сказала она, — по делам. Часа через два вернусь.

Дверь за ней хлопнула. Толик сидел мгновение с ложкой, протянутой ко рту, потом бросил ее и встал из-за стола.

— Куда ты, внучок? — запричитала бабка. — Ты-то хошь не оставляй меня, старую...

Толик взглянул с презрением на старуху и выскочил во двор.

Он бежал по улице, лихорадочно придумывая самые злые, самые тяжелые слова, которые он скажет маме. Кулаки сжимались сами собой, дыхание сбивалось, ноги наливались свинцовой тяжестью.

Впереди показалась мама. Она шла легкой, девчоночьей походкой, помахивала сумочкой, поглядывала по сторонам, улыбалась еще, наверное, широко раскрытыми прозрачными глазами.

Возле табачного киоска мама неожиданно остановилась. Сердце у Толика заколотилось еще сильнее — он увидел, как в маминых руках блеснула целлофановая обертка сигарет. «Ну все! — в отчаянии подумал он. — Сама она не курит, значит — ему? Ему!..» Теперь уже все ясно. Теперь уже ничего невозможно скрыть!

Мама шла на свидание легкомысленной летучей походкой, и Толик вдруг подумал: а что сказал бы отец, увидев это? Что бы подумал он? Что сделал?

Наверное, подошел бы к маме твердым шагом и ударил ее по щеке. При всех! Толик задумался. Но почему — ударил? Какое он имеет к ней отношение? Ведь это он виноват теперь перед мамой, а она — она, может быть, делает это все нарочно. Чтобы отец понял: он ей вовсе не нужен и не собирается она всю жизнь лить из-за него слезы.

Толик замедлил шаг.

Может, плюнуть на все это к черту? Если мать и отец махнули рукой друг на друга, то что может сделать он? Какой-то мальчишка! Будь что будет в конце концов. Это их дело, как им жить. Пусть сами решают...

Ну а он? Как же он, Толик? Злость волной захлестнула его. Может, снова, как было? Решают все взрослые, а ты — молчаливая пешка. Тебе только объявляют о том, что решили они?

Мама выйдет замуж, а потом объявит ему?

Но почему, почему дети не должны думать о том, что считается взрослым?

А если это взрослое касается их может быть, даже больше, чем самих взрослых? Почему взрослые забывают про детей, когда решают свои дела? Почему дети должны быть всегда свидетелями?

Задумавшись, Толик потерял маму из виду, а когда снова увидел ее, она была далеко впереди и стояла с каким-то мужчиной. Кончики пальцев враз превратились в ледышки: мама взяла мужчину под руку, и они отправились к стеклянному кубику. Туда, где мама, отец и Толик сидели после суда.

Нет, мамина измена была не простой, а умышленной. Она шла туда специально, чтобы самой себе доказать, как плюет на то, что было.

Сейчас, сейчас он пойдет и скажет все, что надо! Вот сейчас, через минуту.

Мама и мужчина сидели на том самом месте, где были они в прошлый раз. Мужчина сидел спиной, мама — боком к Толику. Он подошел к ним. Все расплылось в мутном тумане.

— Это подлость, — сказал он хриплым голосом, глядя на маму, и повторил: — Это подлость!

Мужчина быстро повернулся к Толику, но он не обратил на него внимания. Ему было все равно, какой у мамы мужчина.

Мама посмотрела растерянно на Толика, но эта растерянность отражалась в ее глазах только мгновение. Она опять засмеялась и сказала:

— Ну и хорошо! И хорошо, что ты пришел. Мы сейчас обрадуем тебя.

«Обрадуют! — мелькнуло мимолетно. — Известно, как обрадуют...»

Толик медленно, словно опасаясь, перевел взгляд на мужчину — и вздрогнул всем телом. На лбу выступила испарина.

В новом костюме перед ним сидел отец.

Ноги у Толика подкосились, он сел и, облокотившись на стол, уронил голову. Кровь гулко ухала в висках, во рту было сухо и горько.

— Шампанского, — послышался далекий голос отца, и над ухом Толика что-то забулькало.

Он поднял голову. Три бокала стояли на столе, два полных, в третьем было налито на доньшке.

— Ну, сынок, — радостно сказала мама, — выпей с нами! — Лицо ее горело прямо как румяное яблоко. — Выпей, выпей, — кивнула она, — сегодня можно! Сегодня мы с папой... — Она замялась, подбирая слово, счастливо взглянула на отца. — Сегодня мы помирились...

Толик деловито кивнул, хлебнул шампанское, ощутив во рту освежающую колючесть, и только тут понял, что сказала мама.

Помирились? Как помирились?.. Только вчера в лесу он слышал, как отец сказал Темке, что остается. Что никуда не уходит от них, а сейчас мама говорит — они помирились.

— Как помирились? — не понимая, спросил Толик и взглянул на отца.

Тот улыбался, будто ни в чем не бывало, и кивал головой.

— Нет, — сказал Толик. — Неправда.

Мама рассмеялась звонким смехом.

— Он не верит! — воскликнула она. — Не может поверить!

— Могу, — равнодушно возразил Толик, — но это неправда.

— Правда, правда, — подтвердил отец. — Помнишь, мы сидели тут тогда? — Толик кивнул. — И я говорил маме, что жить так нельзя, что мы должны уехать. — Толик кивнул снова. — Ну вот, мама согласилась.

Мы уезжаем в другой город. Я буду работать инженером на новом заводе.

Как просто все получилось, ах, как просто! Сначала не соглашалась, а теперь согласилась — вот и все. Делов-то!

— Нет, — упрямо сказал Толик. — Это неправда.

Отец насторожился.

— Ведь ты, — сказал Толик, — ведь ты сказал вчера Темке, что остаешься у них.

Толик не отрываясь глядел на отца. Что ответит он? Как объяснит?

Отец молчал и густо покрывался краской. Мама удивленно смотрела на отца, но не ее он стыдился. Отец медленно покрывался густой краской, как мальчишка, которого уличили во вранье. Наконец он опустил глаза и сказал оправдываясь:

— Что же я должен был сказать?

Отец покраснел еще сильнее, а мама, чтобы выручить его, произнесла сухо:

— Он уходит от них.

— А-а, — понимающе протянул Толик и спросил: — Значит, Темке ты просто соврал?

Толик вдруг почувствовал, как страшно, как дико устал он от всей этой истории.

Отец соврал, всего и делов-то, ну подумаешь!..

Соврал, соврал, соврал...

Просто наврал Темке, как врет мальчишка мальчишке.

Толик чувствовал, что на него наваливается тяжесть — будто кули с песком. Кули давят, давят, и он ничего с ними не может поделать. Эта тяжесть ему не под силу.

Нет, ничего не понятно все-таки на этом свете! Что о других говорить, если даже сам себя понять не можешь? Ведь, наверное, надо было бы радоваться сейчас. Смотреть на счастливо смеющихся родителей, радоваться, что все вышло наоборот, а не так, как сказал вчера Темке отец.

Толик попробовал обрадоваться, попробовал улыбнуться, но ничего не выходило.

Стараясь развеселиться, он глотнул еще шампанского и вдруг спросил неожиданно для себя:

— И это у вас праздник?

— Толик! — повелительно сказала мама. — Ты

еще... — Она хотела сказать, наверное, «ты еще ничего не понимаешь» или что-нибудь в этом же духе, но отец сжал ее руку.

— Эх, вы! — сказал Толик и горько усмехнулся. — Эх, вы!.. — повторил он. — Справедливые люди!

Он встал из-за столика и пристально посмотрел на отца.

Да, он посмотрел не на него, а в него, словно стараясь разглядеть сложный механизм, из которого устроен его собственный отец.

И отец вздрогнул под взрослым Толикиным взглядом. Вздрогнул и отвел глаза...

6

Толик кинул камушек в окно, и Темка появился сразу, без промедления.

Они брели по улице, и Толик мучительно соображал, как ему все рассказать. Выйдя из стеклянного кубика, отец с мамой пошли домой, а Толик бросился сюда.

Конечно, можно было не спешить. Подождать, пока отец сам скажет. Он натворил, он пусть и говорит. «Подождать! — передразнивал сам себя Толик. — Как это подождать? Друг ты Темке или так — пенка на молоке. Сдунешь — и не станет». Нет, сказать первым должен он, именно он, и хорошо, что Темка еще не знает.

Незаметно мальчишки вышли на край Клопиной деревни. Овраг лежал под ногами искореженный, в изломах пепельных морщин. Осталось лишь несколько полуобгорелых хибар, остальное сожрал огонь.

Толик нашел глазами место, где был их домик. Как памятник прошлому там торчали черные лапы бывшего тополя. Как памятник всему счастливому, что было у них, у Толика и Темки.

— Знаешь, — сказал Толик, поворачиваясь к товарищу, — мне нужно что-то тебе сказать.

— Мне тоже, — ответил Темка серьезно. — Я говорил с отцом... с Петром Ивановичем, — поправился, краснея, — и он... он мне сказал... что, ну, в общем, он... — Темка собрался с силами и наконец выпалил: — не вернется к вам.

Толик разглядывал Темку и видел, как мучается он. Как стыдно ему говорить об этом, как стыдно призна-

ваться, что отец победил его упорство, сломил его, словно тонкое деревце. Но самое главное не это. Самое главное — Темке стыдно говорить, что он признает эту победу и согласен с ней.

Широкоплечий парень, без пяти минут восьмиклассник, стоял перед пятиклашкой, сгорая от стыда, но ничего не мог с собой поделать.

Толик молчал.

Теперь уже Темка смотрел на него удивленно. Почему он молчит, почему не огорчается, ведь это, в конце концов, очень серьезно, и он приготовился к важному разговору. Он приготовился выслушать упреки. Он приготовился сказать, может быть, самое важное — что больше не может ненавидеть отца.

— Понимаешь, Темка, — сказал Толик, глядя ему в глаза, — я тоже хотел с тобой говорить об этом.

Толик отвернулся. Он стоял на крутом краю пепелища, и ему казалось — сейчас придется прыгнуть в глубину. На эти обгоревшие колья, на эти горы обугленных кирпичей... И все-таки лучше пусть это будет он.

Толик поднял глаза.

— Это неправда! — сказал он печально и объяснил: — Это было вранье. Отец уже вернулся к нам. Они уезжают...

Толик увидел, как расширились зрачки у Темки. Он глядел на Толика, не видя его, и кривил посеревшие губы в жалкую улыбку.

Темка стоял не шевелясь, неподвижно улыбаясь, и молчание выросло прозрачной стеной между ними.

Стена становилась выше, шире, и Толик с ужасом ощущал, что он ничего не может поделать с этой стеной. Она росла независимо от него, независимо от Темки. словно отец, надев шапку-невидимку, торопливо строил эту стену между Артемом и Толиком. Он их свел, познакомил — ведь они не знали прежде друг друга и никогда не узнали бы, но помог отец — худом ли, горем, но помог, только ему обязаны мальчишки встречей. А теперь, когда отцу стало не нужно их знакомство, он, незримый, торопливо строил стену.

Темка глядел огромными, невидящими глазами на пожарище и вдруг сказал:

— Я так и думал...

«Вот и все, — тоскливо подумал Толик. — Сейчас он

повернется и уйдет». И они могут больше не встречаться. Никогда в жизни. Толик уедет с родителями, а Темка останется тут, и воспоминания их друг о друге будут только больно колоть память. И они постараются поскорее забыть друг про друга.

Опять взрослые! Опять эти взрослые все решают, хотя их и нет рядом. Нет, определенно взрослые обладали какой-то магической силой. Они походили на магнит, который располагает железные опилки только так, как нужно ему, и не иначе. Толик и Темка располагались отцом так, как это нужно было ему.

«Ах эти взрослые! — отчаянно думал Толик. — Если бы можно без них».

Конечно, это глупости. Никуда тут не денешься — взрослые и ребята, как части велосипеда. Велосипед — дети, а педали и цепь — взрослые. Они придают всему движение, и это ведь совсем неплохо, главное, чтоб правильно ехать... Но — правильно ехать! Кто знает, как правильно ехать? Ребята не знают, а взрослые едут куда хотят...

Темка молчал, обреченно глядя в овраг. Толик тронул его за плечо.

— Да, конечно, — торопливо и невпопад сказал Темка и вдруг криво улыбнулся. — А ведь мы так и хотели...

Толик нехорошо подумал об отце. Зачем он добивался, чтобы Темка подружился с ним? Ведь он знал, что так будет, знал! Из закоулков памяти выплыла одна подробность: мама спрашивает каждый день у Толика: «Как там Темка?» А потом: «Как отец?» И еще — отец и мама стоят у больницы. Стоят и говорят, будто ничего у них не случилось, будто они не разошлись, улыбаются друг другу. И эти слова: «Ты наш бог». — «Чей — наш?» — удивился тогда Толик, не бабкин же, а про себя мама во множественном числе не скажет. Сейчас ясно, чей это «наш».

Так вот, значит, когда все началось. Они помирились давно, а игра продолжалась. Отец все добивался Темкиной дружбы. И добился.

— Не горюй! — сказал вдруг Темка наставительно. — Не горюй, а радуйся.

Толик посмотрел на Темку и вдруг увидел, что глаза у него совсем взрослые. Темкины глаза не обижались, не горевали, а понимали... Понимали!

— Ведь он твой, отец-то, — сказал Темка задумчиво. — И слава богу, что все кончилось..

Темка помолчал, обдумывая что-то.

— Ты знаешь, — подтвердил он, — это даже хорошо, что все кончилось так, хотя, честно сказать, я к твоему отцу... — он помолчал, — привык... Но если бы он остался, все равно ничего не вышло... Про своего отца я бы не забыл.

Толик опустил голову.

— Хвост морковкой! — сказал Темка и улыбнулся. — Помнишь, ты всегда говорил: хвост морковкой? — Он помолчал, словно выбирал слова. — Я тебя знаю, — сказал он. — Ты сейчас ругаешь Петра Ивановича. Думаешь, он меня обманул, мою маму... Нет. Он ошибся. Он просто очень ошибся, ты не суди его. Ему тоже нелегко.

Толик вздохнул, всмотрелся в Темку.

— Удивительный ты человек, Темка, — сказал горько Толик. — Тебя бьют, а ты улыбаешься.

Темка помолчал и вдруг засмеялся.

— Я ведь боксер, — сказал он. — Так и должно быть, какой же я иначе боксер...

И вдруг некстати, совсем не вовремя, невпопад, не к месту Толик вспомнил, как рассказывал Темка про отважного кашалота. Смертельно раненный кит вдруг повернул к судну и, разогнавшись, врезался в корабль.

Темка улыбался тогда, рассказывая эту историю, и говорил, что люди должны походить на этого отважного кашалота.

А то какие же они люди?

7

Дома было как в праздник.

Стол накрыт хрустящей скатертью, уставлен тарелками со всякой едой, а в полных стопочках дрожит водка. Отец и мама сидят нарядные — отец в новом костюме, мама в своем любимом платье. Одна баба Шура обыкновенная — серый платок, серая кофта, острый носик из-под платка.

— Давай скорее, — сказала мама, едва вошел Толик, — мы тебя заждались. — Сказала так, словно они куда-то опаздывали.

Толик внимательно оглядел отца. Новый костюм сидел на нем хорошо, ладно обтекал широкие плечи, и рубашку он купил новую, дорогую, и красивый галстук. Просто на жениха походил отец. Вот только лицо у него было вовсе не жениховское, а серое и усталое. Будто он прошел сто километров пешком и, едва умылся, сразу за стол сел.

Совсем недавно Толик отца обвинял, считал, что он обманул Темку — да так ведь все и было, — а теперь обида уходила. Может, в самом деле? Может, прав Темка — отец ошибся? Жестоко и больно для всех, но ошибся, и его надо не винить, а понять.

Отец поднял рюмку с дрожащей водкой.

— Давайте выпьем, — сказал он задумчиво. — Давайте выпьем за то, чтобы все было хорошо.

Мама согласно кивнула головой, чокнулась с отцом. Чокнулась и бабка, но пить не стала, только пригубила и поглядела на отца колючими глазами.

Отец опустил голову и слепотыкал в закуску вилкой.

Да, невеселый получался праздник! Толик думал, это будет светлый-светлый день, такой день, когда в тебе звенит таинственная струна, когда петь хочется, когда ты сумеешь сделать все, что захочешь. Еще бы — ведь они снова сидят вчетвером, они снова вместе, но только теперь по-другому. Оттого и смотрит бабка колючим взглядом, что все по-другому, — победили ее отец и мама. Поняли они друг друга наконец.

Толик ковырялся в тарелке — такая вкуснота, но есть не хотелось, не было, как назло, аппетита, а все думалось, думалось, будто он мудрый старец.

Поняли родители друг друга, но вот сами не радуются, что теперь все позади. Чему действительно радоваться, если с таким трудом поняли они все, если понимание это оказалось таким долгим, запутанным и тяжким.

Толик как бы со стороны оглядел стол, за которым они сидели. Не было тут ни одного правого человека. Каждый виноват в том, что случилось. Раньше Толик одну бабу Шуру во всем обвинял, но теперь-то он точно знал: и мама, и отец, и он сам — все виноваты. Все виноватые они, все до одного, но все же и пострадавшие. Бабка — власть потеряла, у Толика куча несчастий была, а про маму с отцом и говорить нечего. Не зря

они, хоть и нарядные, хоть и праздничные, а совсем не-веселые.

Отец встрепнулся, улыбнулся криво.

— Ну ладно, — сказал он, — что было, то миновало! — Взглянул на бабу, поднял стопку: — Давайте выпьем, Александра Васильевна, чтоб остаться нам добрыми родственниками!

Баба опять кольнула его острым взглядом, но смолчала, только вздохнула тяжело и залпом опрокинула стопку, аж в горлышке у нее сбулькало: ну баба Шура!

— Значит, через два дня, Петя? — тихо спросила мама, словно не верила во все, что случилось.

— Через два, — ответил отец. — Завтра собираемся и берем билеты. А послезавтра, — он вздохнул, — прощай что было.

Прощай что было?.. Прощай Темка, прощай дом и бабу, прощай школа, хоккейная площадка зимой во дворе, танкистский шлем? И целый год жизни тоже прощай?

— Прощай все, что было, — повторил отец, посмотрел на Толика и спросил его: — Верно, Темка?

Он сразу осекся, побледнел, и Толик почувствовал, как нехорошо стало отцу.

Тяжелым и больным взглядом оглядел его Толик с ног до головы.

— Я не Темка, — сказал он. — Я Толик...

— Прости, — поник отец. — Прости, оговорился...

Толик встал из-за стола, подошел к окну. Августовские сумерки сгущались на улице, пряча в густую тень деревья, забор, дома.

Толик услышал за спиной отцовские шаги, ощутил на плече его руку.

— Прости! — глухо сказал отец, и Толик неожиданно понял, что его не надо просить, что он простил отца.

Простил именно потому, что отец так жестоко оговорился. Он называл Толика Темкой, и это значило, он не забыл Темку. Он чокался с бабушкой, он говорил маме, что через два дня надо ехать, он хотел забыть все, что было, но он помнил о Темке. Думал о нем, винился перед ним, чувствовал себя неправым.

Выходит, Темка не ошибался, когда защищал его. Выходит, он лучше знал отца?

Спиной Толик ощутил, как рядом с отцом встала

мама. Словно она тоже просила простить отца, понять его, понять, что он не хотел его обидеть.

— Завтра, Толик, — сказала мягко она, — пойдем в школу за документами.

«Вот и все!» — подумал он обреченно. Конец школе, конец Изольде Павловне, которая сказала, что она не учительница, конец Женьке с Цыпой. Странное дело, Толик перебирал в уме неприятности, успокаивал себя, что теперь им конец, а легче не становилось, наоборот. Наоборот, в горле застрял какой-то комок. А Коля Суворов? А Машка Иванова? А Махал Махалыч, Топтыгин в квадрате? Но самое главное — Темка! Р-раз — и обрезать? Все, что было, позабыть?

— Знаешь что, мама, — вдруг резко обернулся он. — Вы поезжайте одни!

Возле стола что-то грохнуло и рассыпалось. Толик поглядел туда. Баба Шура разбила чашку, и белые черепки веером лежали на полу. Бабка подбирала их, пыталась сложить один к одному, но ничего у нее не выходило.

— Вы поезжайте сперва сами! — сказал он, думая, что отцу и маме придется тоже собрать по черепкам разбитую чашку. Другую только.

Мама и отец смотрели на Толика и будто не узнавали его.

— Я приеду к вам, — объяснил он. — Я приеду. Но не сейчас. Потом. — И вдруг добавил взросло: — Вы сначала устройте все у себя.

Можно было подумать, он говорил, чтобы родители получили квартиру, устроились на работу, но Толик думал про другое.

И они понимали, про что он сказал.

Мама растерянно смотрела на Толика. Ее руки опять опустились как плети. Вот-вот она сядет на краешек стула, опустит голову, скажет: «Никуда мы не поедем», — и снова станет покорной бабке. И все пойдет по-старому...

Но мама вдруг сжалась пружиной. Напряженной рукой провела по лицу, будто стряхивала что-то. Сказала твердым, решительным голосом:

— Хорошо. Я согласна.

Толик подошел к столу, взглянул на тарелку, полную вкусной еды, и вдруг дико захотел есть.

Мама глядела на Толика удивленным взглядом, у окна яростно курил замолчавший отец.

И вдруг всхлипнула баба Шура. Она потянулась к Толику сухими, костлявыми руками и запричитала, захлебываясь слезами:

— Вну-учо-ок, золо-отко! Один ты-ы меня не покида-а-ешь...

Много он видел всяких ее кривляний. Один тот спектакль чего стоил, когда она померла будто: целый театр.

Но сегодня бабка плакала по-настоящему.

Если она вообще умела плакать, как все.

8

Наутро в дверь осторожно постучали.

Отец и мама складывали вещи, работа кипела, мелькали платья, какие-то кастрюли, а Толик и баба Шура молчаливо глядели на эту суету.

Толик думал, что родители уж очень торопятся, суетятся как-то. Можно подумать, люди не собирают два тощеньких чемодана, а, по крайней мере, строят дом и потому, что строят впервые, очень боятся что-нибудь забыть, что-нибудь недоделать или в чем-нибудь ошибиться.

Когда раздался стук, баба Шура резво побежала к двери и пропустила вперед круглого человечка.

Человечек был даже ниже бабки и, казалось, состоял из шаров. Один, большой, был живот, второй, поменьше, — голова. На вытянутые шары походили и руки. Человечек докатился до стола, и Толик заметил у него под носом щеточку черных, как тушь, усов.

Человечек подвигал усами и спросил неожиданно писклявым голоском:

— Кто из вас Александра Васильевна?

При этом он оглядел внимательно и отца и Толика, словно и они могли оказаться Александрой Васильевной.

Бабка зашебуршала тапками, вынимая на ходу тонкий ключик, отворила, торопясь, комод и достала из него паспорт.

— Я и есть Александра Васильевна, — сказала она независимо, предъявляя человечку паспорт.

Странное дело, кругляш не удивился, паспорт не отверг, а, наоборот, со вниманием его разглядел. Потом объявил:

— Нотариус по вашему вызову.

Нотариус — это слово было знакомо Толику, хотя и приблизительно. В его представлении нотариус был кем-то вроде судьи или прокурора — в черной торжественной мантии и в шляпе, похожей на коробку из-под печенья, тоже черной. Он что-то такое делал, что-то важное, но не судил — это точно. У нотариуса должны быть непременно очки, он должен знать все законы.

Этот же кругляш был в обыкновенной косоворотке и в широких, как театральный занавес, полотняных штанах, очки держал в жестяном футляре, несерьезно обвязанном резинкой, и совсем не походил на человека, знающего все законы.

Кругляш растегнул лапку, которую держал под мышкой, вытащил какие-то листы, «вечное перо» и спросил бабу, кивнул на отца, на маму, на Толика, будто это не люди, а мебель:

— Не помешают?

Баба Шура оглядела торжественно маму и отца, помолчала, подбирая слово, и выговорила внятно и строго:

— Отнюдь!

Кругляш склонил свой малый шар над бумагами, заскрипел «вечным пером», потом окинул всех официальным взглядом и объявил:

— Производится завещательный акт! Что завещаете, — обратился он к бабке, — недвижимое или движимое?

— А? — не поняла баба Шура.

— Имущество, говорю, какое завещаете? — закричал нотариус, думая, что, видно, бабка глуховата. — Движимое или недвижимое?

— Деньги! — сказала, серея, бабка.

— Наличные или на книжке? — спросил, успокаиваясь, нотариус.

— На книжке, — проговорила бабка.

— Значит, так, — заговорил нотариус, записывая что-то в свои бумаги. — Завещаются деньги в сумме...

— Девять тысяч...

— В новых? — охнул Толик.

— В новых! — гордо откликнулась бабка.

Нотариус отложил «вечное перо», подозрительно уставился на бабу.

— Вы кто? — спросил он, неожиданно оборачиваясь к маме и отцу.

С тех пор как кругляш вкатился в комнату, отец и мать стояли растерянные, бросив свои чемоданы, и, словно интересное кино, разглядывали происходящее.

— Я дочь, — помешкав, ответила мама. — Это мой муж, а это сын.

— Ага! — обрадованно сказал нотариус и потрогал ладошкой свой верхний шар. — Живете вместе?

— Жили, — тихо ответила мама. — Завтра уезжаем.

Нотариус вышел из-за стола, подкатился к маме. Он был, наверное, ей до плеча, не выше, и Толик едва удержался, чтобы не рассмеяться.

— На новую квартиру? Кооператив?

— Нет, — удивилась мама, — в другой город. Почему вы решили?

Нотариус вернулся за стол, удивленно посмотрел на бабу.

— Вы дочери деньги завещаете? — спросил он ее.

Баба Шура взметнула брови домиком, грозно посмотрела на маму. Будто настал ее час. Будто она прокурор теперь и вынесет свой приговор маме.

— Нет! — сказала бабка твердо. — Не дочери. А вот ему, — и повернула сухой палец в сторону Толика.

Толик засмеялся. Все понял он. Снова бабка представление ломает. На один вечер и хватило-то честно-сти. Опять за свое. Опять за старое.

— И до совершеннолетия деньги мои не трогать! — сказала она нотариусу.

Он сморщил лоб, склонился над бумагами, но тут же откинул «вечное перо».

— Нет! — воскликнул он. — Непонятно!

И снова скатился со стула, задвигался по комнате.

— Деньги имеете, — воскликнул он, — а живете в таком помещении! — обвел он рукой комнату. — Ведь и прекрасную квартиру в кооперативе построить можно, и мебель новую купить.

Нотариус подошел к шкафу и вдруг уперся в него плечом. Шкаф скрипнул.

— Ну вот! — сказал он, словно что-то кому-то доказывал. — Видите! Рухлядь, розваль! А вы деньги мальчику завещаете.

Он подкатился к столу, уселся за бумаги. Сказал строго, глядя на бабу:

— Вы извините! Я инструкцию нарушаю, переубеждая вас! Но подумайте: мальчику до совершеннолетия еще лет шесть, а? И потом, зачем ему деньги? Вырастет, сам заработает, а вы, извините, так и помрете в этой комнатухе.

Он снял очки, постучал дужкой по столу.

— Может, у вас конфликт? — спросил он. — Может, вы сгоряча? Так я потом зайду.

Он взглянул на бабу, на маму, на отца, на Толика. Покрутил головой и стал собирать бумаги.

— А вы, это, — сказала бабу, — вы инструкцию-то не нарушайте. Записывайте, что говорят.

Нотариус посмотрел на бабу и присмирел.

— Ладно! — сказал он и заскрипел пером, повторяя под нос то, что писал: «Девять тысяч рублей... Боброву Анатолию Петровичу... по достижении совершеннолетия».

«Девять тысяч, — подумал Толик. — Девяносто постарому». Он зажмурился, стараясь представить себе такую гору денег. Но ничего не выходило. Никак не представлялась такая гора.

Ну и ну!.. Ну и жмотина оказалась бабу! И отца и маму пытала скупердайством и жадностью. И вот сколько накопила. Теперь не знает, куда их девать.

— Ну и ну!.. — сказал Толик, все еще удивляясь. — Ну и жмотина ты, бабу!

В первый раз назвал Толик вслух так бабу Шуру. Она взглянула на него строго, пристально: мол, лишу сейчас тебя наследства. Толик взгляд бабкин сразу понял и, хоть вслух она ничего не сказала, ответил:

— Нужны мне твои миллионы, — и, подумав, добавил: — Как собаке пятая нога.

И вдруг он услышал смех.

Толик повернулся и увидел, что мама и отец весело смеются. Толик удивился: неужели так смешно оказалось про пятую ногу у собаки, и вдруг понял — они не над этим смеются, а над бабушкой. Баба Шура ждала, что они заплачут. Что они станут просить прощенья, раз такое наследство оказалось у бабки. Что они скажут: «Ладно, мы сдаемся, только дай эти деньги нам», — а они — они смеялись!

— О-хо-хо!.. — сказал круглый нотариус, глядя сквозь очки на бабу Шуру. — И чего только не нагладишься в нашей шкуре.

Он заскрипел «вечным пером» по своим бумагам, мама и отец ушли за билетами, и Толик увидел, как враз, в одну минуту осунулась бабка.

Плечи ее опустились, носик повис, она кивала головой на все, что говорил ей кругляш, совсем не похожий на нотариуса, и Толик понял: ему жалко бабку.

Не хозяйка, не владычица была теперь бабка. В серой кофте, в серых чулках сидела перед нотариусом серая сухонькая старушка, божий одуванчик.

9

В день отъезда мама ходила с решительным лицом и улыбалась, но потом с ней вдруг что-то случилось. Будто эта решительность и это веселье были неискренними, ненастоящими, напускными, будто все это было маской — тяжелой, изнуряющей, и вот в маме кончились силы. Она сорвала маску, опустилась на сундук, зажала ладони коленями и замолчала.

Потом она проводила по лицу рукой, взбадривалась, стараясь улыбнуться, но улыбка получалась жалкой. Мама вскакивала, пробовала хлопотать на пару с отцом, но тут же садилась снова и опять жалобно смотрела на Толика. Так, словно он умирал.

Промелькнули часы, и отец сказал:

— Ну пора! Присядем на дорогу.

Прозрачные мамнины глаза опять заблестели, она безвольно опустилась на чемодан, повесила голову, и был миг, когда Толик подумал: все-таки она не выдержит, и никуда они не поедут.

Хотел ли он этого?

И да и нет... Но все-таки, пожалуй, нет. Толком он еще не представлял, как будет жить один на один с бабкой Шурой, — наверное, будет несладко. Но лишь ради этого ему не хотелось иного решения. Пусть едут! Пусть! Надо, чтобы они уехали. Для них же самих.

— Ну, встали! — сказал отец, и Толик заметил, как медленным, грустным взглядом отец осмотрел комнату. Абажур, медузой висящий под потолком, старый шкаф,

которому не дал цены нотариус, диван, комод, старый бабкин сундук...

Тут же отец вострепнулся, заулыбался весело, думая, наверное, о новом доме и о дороге.

Они вышли во двор: сначала отец с двумя старенькими чемоданами — к одному была привязана неуместившаяся кастрюля, — потом сгорбившаяся баба Шура и мама с Толиком.

За воротами на лавочке сидела тетя Поля. Увидев процессию, она поднялась.

— Едете? — спросила соседка тихо.

— Едем, — ответила мама и вдруг порывисто бросилась к тете Поле, обняла ее.

— Ну, ну! — говорила тетя Поля, поглаживая маму по спине. — Ну, ну! — Потом отстранила ее и сказала строго: — Берегите!.. Берегите!.. — И заплакала неожиданно, так и не договорив, что же надо беречь.

Они двинулись дальше, но, пройдя несколько шагов, Толик обернулся. Обернулась и мама.

Тетя Поля низко, в пояс поклонилась им вслед.

До вокзала было порядочно, и отцу с чемоданами приходилось тяжело, но они пошли пешком и совсем не короткой дорогой. Сначала Толик ни о чем не догадывался и понял, в чем дело, лишь у самого Темкиного дома.

Отец повернулся к маме, виновато глядя на нее, она кивнула, и, оставив чемоданы, отец скрылся во дворе.

Баба Шура вздохнула, покрутила головой — ей было, конечно, непонятно такое, а Толик, напротив, обрадовался за отца. Обрадовался, что так хорошо они придумали с мамой. По-взрослому и не трусливо.

Скоро отец появился в воротах. Он был не один. С ним шагал Темка.

Отец приблизился к чемоданам, потоптался смущенно и сказал, словно извиняясь:

— Вот Артем захотел меня проводить.

Теплая волна колыхнулась в Толике. Темка, Темка! Какой он все-таки удивительный человек! Все плохое забыл, выбросил будто, оставил только хорошее — и пришел. Не каждый взрослый так может. А Темка смог.

Они отправились дальше — впереди баба Шура, потом отец рядом с мамой и замыкающая пара: Толик и Темка.

Они шагали дальше, и вот появился вокзал — серый и мрачный, похожий на большую казарму, а Толик все думал о Темке, о его справедливости. О том, что, верно, в этом и есть главная человеческая сила — быть справедливым.

Они переглянулись, и Толик вдруг заметил, как вытянулся и похудел Артем. Мальчишки не улыбнулись друг другу, не подмигнули весело, только посмотрели внимательно, будто каждый хотел запомнить другого.

— Скоро в школу, — вздохнул Темка, и Толик кивнул ему механически, вспомнив Изольду Павловну, и Женьку, и Цыпу, и Машку с Колей Суворовым. Как-то все будет, вздохнул он, но не огорчился.

Поезд уже стоял у платформы — чистые зеленые вагоны. Отец протянул билеты худому как жердь проводнику и понес чемоданы в вагон. Кастрюлька, привязанная к одному чемодану, жалобно звякнула, ударившись обо что-то железное, будто брякнул звонок, и вдруг мама кинулась к Толику.

Она обнимала его, тискала изо всех сил, и руки у мамы дрожали. На мгновение Толик отстранился и увидел, что мама не плачет, что глаза у нее сухие, но совсем больные. Они горели воспаленно, мама дышала горячо и обнимала Толика, как маленького!

— Прости! — шептала она. — Прости меня!..

— За что? — удивленно спросил Толик и пристыдил себя.

Ему бы, наверно, надо заплакать сейчас, но слез не было — напротив, он равнодушно смотрел на все, что происходило. Словно это не его обнимала мама, словно его не касался этот вокзал, этот вагон, в котором они уедут, будто Толик стоял где-то тут сбоку и взирал на все равнодушно, как посторонний.

— Толик! — шептала мама. — Прости! — И заглядывала ему в глаза, будто что-то изменится, если Толик скажет: «Да, прощаю».

Он поглядывал на Темку, думал, что надо быть справедливым, кивал головой, напряженно улыбался, а мама не успокаивалась, словно всего этого ей было мало. Словно Толик должен что-то такое сделать из ряда вон, что-то такое крикнуть или поставить печать на своих словах, чтобы было доказано, утверждено: он их простил, и не обижается, и все так должно быть.

Из вагона вышел отец, и через мамино плечо Толик увидел его растерянное лицо.

«Ну вот, — подумал он, — они оба расклеились и растерялись. Разве можно так? Разве можно уезжать с таким настроением? Надо думать о том, что будет, что впереди, и улыбаться, а не плакать, потому что впереди всегда должно быть лучше».

Отец шагнул к маме, обнимавшей Толика, покрутил в руках папироску, разминая ее, и Толик запомнил это: под сильными отцовскими пальцами тонкая табачная оболочка лопнула, и рыжие крошки посыпались дождем на вокзальный асфальт.

— Ничего, — сказал отец, улыбаясь деревянной улыбкой. — Вот мы устроимся и сразу за тобой приедем.

Мама кивнула головой.

— Да, да, — сказала она. — Сразу же. В тот же день.

И вдруг Толику захотелось сказать им что-нибудь взрослое, настоящее, чтобы они ехали спокойно, наконец. Ведь он оставался, а им-то надо ехать. Ехать и жить снова, будто начинать новую тетрадь. Надо, чтобы новая тетрадь была чистой, аккуратной, без клякс и поправок, а они трясутся, волнуются, как на контрольной.

Толик собрался с силами и сказал, стараясь твердо выговаривать слова:

— Вы поезжайте, не бойтесь, — но голос предательски дрогнул, и он добавил: — Я буду ждать!

По радио объявили, что поезд отправляется. Мама сжала Толика в последний раз, крепко обнял его отец, пахнув табаком.

10

Поезд шел еле-еле, и Толик шагал рядом с ним.

Он вглядывался в застывшее лицо отца, видел, как дергаются за плечом проводника мамины губы.

Поезд покатился скорей, и Толик побежал, стараясь не отстать от вытянутой руки проводника со свернутым трубочкой желтым флажком.

Но поезд покатился быстрее, и Толик едва успел взглянуть еще раз на бледные лица отца и мамы.

Мама посмотрела на Толика расширившимися глазами.

Отец махнул рукой и не улыбнулся.

Потом их заслонила зеленая, слившаяся стена из вагонов.

— Будьте... — прошептал Толик и замолчал, поняв, что его никто не услышит.

Он стоял на краю платформы.

Платформа обрывалась крутой ступенью, и впереди, холодно блестя, перепутались блестящие рельсы.

Они сливались, расходились, соединялись вновь, и по этой железной путанице, умело разбираясь в ней, уходил поезд, становясь все меньше.

Толик обернулся назад.

За спиной, тревожно глядя на него, стоял Темка.

Подальше, под фонарем, сгорбилась баба Шура.

Толик вздохнул и шагнул навстречу Темке..

Он не почувствовал, как сильно сжал ему руку Артем.

1969 год

Обман

ПОВЕСТЬ

Часть первая

ОРАНЖЕВЫЙ САМОЛЕТ

1

Оркестр заиграл туш, духовики из музыкального кружка весело раздували розовые щеки. Кто-то ткнул Сережку в бок, кто-то шлепнул по плечу — он покрылся испариной, только кончик носа почему-то мерз, — вскочил, отбросил со лба светлую челку и побежал к сцене.

Сережка бежал вдоль рядов, и на него все смотрели. И от музыки, играющей в честь его, и от аплодисментов, и от яркого сияния многоярусной люстры он как бы потерял себя, не чувствуя ни рук, ни ног, ни тела. Он словно летел туда, к сцене, и полет этот был бесконечным, медленным, тягучим...

Потом он оказался в слепящем свете рампы. Растерянно топтался на виду у всех. Со страхом, как в пропасть, смотрел в зал, шевелящийся и возбужденный. Оборачивался на президиум, в котором о чем-то шептались.

— Главный приз, — наконец сказал конопатый судья, — вручается Сергею Воробьеву, установившему абсолютный рекорд. Его модель самолета с бензиновым моторчиком, подхваченная воздушными потоками, пролетела сто девятнадцать километров! Приз и ценный подарок — именные часы вручает Герой Советского Союза, пилот первого класса Юрий Петрович Доронин.

Аплодисменты загрохотали, как канонада, высокий, толстоносый Доронин протянул Сереже широкую и грубую ладонь, сказал в шуме: «Поздравляю» — и начал давать ему одну за одной кучу грамот — за первое ме-

сто среди юношей, среди взрослых, от комсомола, за абсолютный рекорд и еще, еще какие-то, и с каждой грамотой в зале нарастал добродушный смешок, а когда Герой положил прямо в блестящий кубок коробочку с часами, потому что руки у Сережи уже были заняты многими наградами, зал захохотал.

Доронин поднял руку, и стало тихо.

Так тихо, что Сережа слышал тоненький звон висюлек в многоярусной, похожей на пирожное люстре.

— Ребята! — сказал летчик. — Это знаменитый самолет! — Он поднял вверх оранжевую модель с перебитым крылом, Сережину победу, абсолютный рекорд. — Его нашли колхозники в лесу за много километров от старта. — Он повернулся к Сереже. — Мне сказали, что Сергей Воробьев мечтает стать летчиком. Я уверен, он станет им, потому что во всяком стремлении должны быть вера и воля. Сегодня мы празднуем первую Сережину победу. Придет время, и у него и у вас будут победы поважнее. Стремитесь же к ним!

Сережа бежал обратно, и снова грохали аплодисменты, отмечая самый радостный день в его жизни.

2

Голова немножко кружилась.

Слава! Фу ты, он ее и не ждал. И не готовился вовсе — она обрушилась, как шквал, как ураган, как ливень.

Впрочем, какая это слава? Случайность! Выигрыш по лотерее! Ведь любую модель могли подхватить эти невидимые, стремительные восходящие потоки, прилепить потом, как марку к открытке, к густому, кудреватому облаку с золотистыми краями! И привет горячий! Не страшно, что кончится горючее, что остановится мотор... В общем, просто выигрыш — слава бывает не такой, слава — это же когда ты сам, сам что-то делаешь... Вот если бы быть там, в модели, если бы управлять ею хотя бы с земли, по радио, тогда другой разговор. А тут... Крутанули колесо, развернули билетик — вам, гражданин, часы, и кубок, и стопка грамот.

— По-моему, ты уже зазнался, — говорит Галка Васина, Васька попросту, — уже рисуешься!

Она идет в метре от Сережи — он ее всю разглядеть

может; черная коса на плече лежит, а когда Васька поворачивается, глаза ее — два черных выстрела.

— Слово самурая! — смеется Сережа. — Знаешь, на каждую модель мы наклеиваем табличку: при нахождении просим вернуть туда-то и туда-то, но, клянусь, никто не думает, что наклейка пригодится.

— А все-таки приклеиваете? — не верит она.

— По правилам так положено! — говорит Сережа.

Он разглядывает удивленно свой оранжевый самолет, отмочивший такой номер, и сам себе не верит.

Когда модель ушла под облако, как водится, стартовал спортивный самолет. Он должен был преследовать ее и преследовал, пока, делая какой-то маневр, не потерял из виду. Сережа жутко расстроился — ведь он был из соревнований, но через неделю оранжевую модель привез шофер грузовушки. Он сказал, что модель ему дали в сельсовете, и назвал село. Сто девятнадцать километров!

И вот теперь Сережа нес свою птицу с переломанным крылом, разглядывал ее удивленно.

— Вот Доронин! — говорит Сережа восхищенно. — Это да! Человек! Вражеский самолет таранил.

— И все-таки у твоего Доронина, — спорит Васька, — славы меньше, чем у той же Дорониной, у артистки. — Она улыбается. — Ты прямо смешной! Времена другие!

Другие, соглашается про себя Сережа. Ведь этот герой Доронин теперь на «кукурузнике» летает, на четырехкрылой этажерке. А когда-то немцев таранил! Но с Васькой он спорит:

— Допустим! Все, допустим, относительно! Но тогда нельзя так спорить! Ведь в ответ я скажу, что твою Доронину не сравнить с Гагариным.

— К старости, — Галины глаза рассматривают Сережу, — ты, наверное, станешь жутким сухарем, — она машет ладонью, — и уж, конечно, будешь технарем!

— Буду, — смеется Сережа, — для авиации гуманитарного образования маловато.

Он кивает Ваське и бежит к дому.

3

Сережа вшагивает в комнату, и его сразу оглушает самодельная музыка:

— Труу-ру-ру-ру-ру! Ру-ру-ру-ру! Труу-руу-у-у-у!

Мама трубит в свернутый журнал. Олег Андреевич играет на расческе, тетя Нина стучит ложками по блюду.

Сережу слепит крахмальная скатерть, золотистая пробка на толстой бутылки.

— Итак, — говорит Олег Андреевич, — торжественный банкет считаю открытым!

Он в милицеском мундире, на погонах — майорские звезды.

Сережа кладет на пол свою замечательную модель, гости разглядывают грамоты, часы, кубок.

— За удачу, — говорит Олег Андреевич. — За чемпиона!

Пробка жахает в потолок, шампанское гибкой струей выливается из горлышка.

Сереже наливают тоже — самую капельку на дне. Сережа смакует сладкую шипящую водицу, похожую на компот, крутит завод у первых своих часов, надевает на руку, сверяет время у Олега Андреевича, радио включает — пора.

Все никак не может наудивляться Сережа этим чудесам.

Вот мама возле него сидит, с тетей Ниной разговаривает, улыбается, папироску размягчает, в пальцах вертит — и в эту же минуту по радио говорит. Про колхозы, как там хлеб сеют и кто впереди; про заводы, какие у кого дела; или рассказ какой-нибудь под музыку.

Сереже больше всего нравятся рассказы или стихи. Их мама читает как-то особенно. Неторопливо, плавно так. Словно артистка.

Лично он, Сережа, разницы между мамой и артисткой совершенно не видит. Артистка только на сцене выступает, а мама — по радио. Но чем диктор хуже артистки? Ничем. Вон летом, когда мама в отпуск уходит, вместо нее артистки разные работают. Подзарабатывают, мама говорит. Так у них в сто раз хуже получается. Про картошку, например, говорят и уж так декламируют, будто из самодеятельности только что высочили. И голоса-то скрипучие, угловатые, немягкие какие-то.

То ли дело у мамы. Вот разговаривают они тут, дома, с тетей Ниной, и голос у нее хриловатый, даже грубый. А по радио совсем иначе звучит. Красиво, сильно. Тетя Нина говорит — контрастно.

Тетя Нина вообще про маму хорошо говорит. Что

она настоящий талант. Что ничем она не хуже московских дикторов. Что, живи бы мама в Москве, она бы там давно заслуженной артисткой стала. Дают же дикторам такие звания.

Мама на тетю Нину машет рукой.

— С такой-то харей! — говорит.

Мама вообще говорит грубо. Грубые словечки выбирает зачем-то. Это ей не идет, она совсем другая. Она, когда с Сережей одна остается, совсем другие слова выбирает. Добрые и ласковые.

— При чем тут лицо?! — возмущается тетя Нина. — Знаешь поговорку: по одежке встречают, по уму провожают?

— Какой у меня ум?! — не соглашается мама.

— У тебя поважней красоты и ума. У тебя талантливый голос. Такое на дороге не валяется.

Сережа вскакивает, тянется к динамику, вкручивает его на полную громкость. Мельком видит себя в зеркале, видит, как блестят, как светятся радостью глаза: он тетю Нину хочет поддержать, хочет показать, какая талантливая мама.

Он улыбается гостям и говорит:

— Давайте послушаем, мама читает.

Сережа ждет, что мама скажет что-нибудь грубо, как-нибудь нехорошо про себя пошутит, но она молчит, только недоверчиво ухмыляется. А по радио говорит про колхозников, про то, как они убирают картошку. Из-за маминного голоса выплывает музыка. Сначала гармошка играет тихо, потом громко и опять потише. В динамике что-то щелкает. Улыбаясь, Сережа смотрит на Олега Андреевича и на тетю Нину. Сейчас они будут хвалить маму. Но они молчат.

— А ты говоришь — талант! — смеется мама. — Все мы тут таланты. — И вдруг взрывается, вскакивает даже. — Да разве можно эту мазню талантливо прочитать? Что там сделаешь? Ну ответь, ты же понимаешь!

Мама кричит на тетю Нину, словно в чем-то ее обвиняет, а Сережа растерянно хлопает глазами — ведь он хотел как лучше.

— Но, Аня, — рассудительно отвечает тетя Нина, — ты знаешь лучше меня: талантливую вещь прочесть талантливому диктору легко — разве не правда? И ведь куда сложнее талантливо прочесть бездарную писанину! Халтуру какую-нибудь! Обязаловку!

Мама курит папиросу, думает о чем-то сосредоточенно, потом говорит:

— Ладно, выпьем!

Она разливает вино по рюмкам, поднимает свою, говорит Олегу Андреевичу:

— Можно, я тост скажу?

— Можно! — смеется Олег Андреевич.

— Тост у меня только свой будет, бабий, не обижайся, — говорит мама, — но он и вас, мужиков, касается, потому что куда мы без вас-то, одни...

Она молчит минутку, Сережа смотрит на маму с удивлением и улыбкой: что она скажет, интересно? Про себя? Про талант? Про тетю Нину?

— Ну так вот, — говорит мама, глядя на тетю Нину. — Выпить нам надо с тобой не за талант, не за красоту, не за ум. А за бабье счастье, понимаешь? За тебя, Нинка, потому что счастье это у тебя есть. И за меня, потому что у меня его нет... Но будет!

Сережа понимает, что мама немного опьянела, он принимается пристально глядеть на нее — чтобы она заметила его взгляд, чтобы поняла, сдержалась... Мама всегда его понимала без слов. Но теперь она не замечает Сережу.

— Ничего нам не надо, Нина, кроме дома, кроме мужа и детей.

В глазах у мамы блещут слезы, Сережа не выдерживает, подходит к ней, обнимает сзади за плечи.

Мама вздрагивает, смахивает слезы, берет Сережу за руку, притягивает к себе, заглядывает ему в глаза.

— Открою я тебе секрет, Сергунька, — говорит мама и просит вдруг: — Пойми, если сможешь.

— Ну что ты, мам, что ты, — бунчит Сережа, думая, что это из-за вина она прийти в себя не может.

— Не говорила долго, боялась сказать, да и еще не сказала, может быть, но вот Нина здесь, Олег Андреевич, не так страшно... — И вдруг словно ударила: — Замуж я выйду скоро, Сергунька.

— За кого? — спрашивает он машинально.

— За Никодима, — говорит мама и поправляется: — За Никодима Михайловича. Приезжает он.

— Закончил курсы? — спрашивает тетя Нина.

— Закончил, — говорит мама. — На днях приезжает. Будто торопясь, Олег Андреевич наливает вино в рюмки, поднимает свою.

— Ну, так за вас, Анна Петровна, — говорит он.

— За тебя, Аннушка. — Тетя Нина вскакивает со стула, подходит к маме, обнимает ее, и обе они плачут.

Скрипит дверь, в щель сперва вкатывается голубой грузовичок, потом просовывается красная сандалия, а затем появляется весь Котька, тети Нинин сын.

— Папа, — говорит он Олегу Андреевичу без всяких предисловий, — а кораблям очень опасно северное море, там снайперы.

— Что, что? — смеется Олег Андреевич.

— Такие ледяные горы.

— Айсберги?

— Ну да, снайберги.

Все смеются.

Сережа улыбается тоже.

Потом берет чайник и выходит на кухню.

Из кухни дверь ведет на улицу.

На двери с тугой пружиной висит объявление, намертво приклеенное соседкой. Сережа знает его на память:

«Прозьба ко всем гражданам когда ходите двери задерживайте не хропайте а то у меня голова разламывается и мозги вылетят».

Он идет по двору, не замечая ничего вокруг, и в такт шагам повторяет про себя объявление — со всеми ошибками:

«Прозь-ба ко всем граж-да-нам... а то у ме-ня го-ло-ва раз-ла-мы-ва-ет-ся.. моз-ги вы-ле-тят».

Слова тупыми ударами отдаются в висках...

5

Когда не знаешь, куда идти, ноги сами тебя принесут.

Неподалеку от дома гастроном, а во дворе его высятся штабеля фанерных ящиков. Сережа приходил сюда однажды, искал материал для моделей: планки от ящиков очень ему подходили.

Ящики поставлены друг на друга в высокие стены, и кое-где между ними есть узкие коридоры. Взрослый не проберется, а мальчишка пройдет.

Сережка протискивается боком по коридору, отыскивает место пошире, усаживается неудобно на узенький край ящика. Откидывает голову, вверх смотрит.

Над щелью среди ящиков небо виднеется. Густая синева. По нему облака тянутся — легкие, как дымок. Перистые. По географии проходили.

Сережа глядит на небо, думает про облака. Но размышляет про облака будто и не он вовсе, а кто-то другой. Тоже Сережа, но другой Сережа. Настоящий же молчит. Настоящий словно замер и ни о чем думать не хочет, хотя думать надо, надо.

Один Сережа вверх глядит, в щель среди ящиков, на небо. Другой Сережа в землю взглядом уперся, и все в нем болит. Все частички его.

Никодим! Зря поправилась мама: не Никодим Михайлович он, Никодим просто. По отчеству ведь человека зовут, когда уважают его. А Никодима Сережа так и зовет — по имени только. Про себя, конечно. Но главное ведь, как про себя человека зовешь.

Может быть, зря Сережа к нему так относится. Может быть, он вовсе не плохой человек — Сережа его один раз только видел, разве скажешь что-нибудь серьезное о человеке с первого взгляда, да еще о взрослом. И может, неплохо отнесся бы к нему Сережа, если бы не мама.

Она после той встречи, после того раза, когда Никодим к ним в гости приходил и с Сережей познакомился, его фотокарточку в уголок зеркала вставила.

Тогда Сережа все понял. Тогда он сказал маме:

— Зачем нам этот Никодим?

Мама поглядела на Сережу виновато, подошла к нему, взяла за плечи, взглянула в глаза и ответила, как взрослому:

— Должен же у тебя быть отец!

— Ты что! — крикнул тогда Сережа оторопело. — С ума сошла! У меня есть отец!

Отец! Вот был бы он жив!

Отец Сереже часто снится. То в гермошлеме и высотном летчицком костюме с гофрированными рукавами, похожий на космонавта, — картинку, где нарисованы такие летчики, Сережа из «Огонька» вырезал и над своей раскладушкой повесил. То просто за столом, в белой рубашке, улыбается во весь рот, как Чкалов. Такой

портрет тоже над кроватью у Сережи есть. А то будто Юрий Гагарин — люди его на руках подбрасывают, и отец в летчицком кителе с майорскими погонами фуражку с кокардой одной рукой придерживает, чтобы не упала.

Отец улыбается, что-то говорит беззвучно или просто молчит, и Сережа заметил: если отец приснился, значит, ему повезет. В школе или в кружке. Или просто будет хорошее настроение.

Одно только странно — отец ему всегда разный снится. С разными лицами. Но и к этому Сережа привык. Он просто знает: если снится летчик, значит, это отец. И неважно, какое у него лицо. Это объясняется просто. Сережа своего отца никогда не видел. Отец его погиб, когда Сережа еще не родился.

Он был летчиком-испытателем. Они жили в маленьком городке тогда. В поселке даже. Поселок был от авиазавода. И отец обкатывал военные истребители.

Однажды он ушел на работу, поцеловал маму на прощанье, помахал ей рукой, как всегда. И мама, как всегда, села у окна смотреть на летающие самолеты. Ей казалось, что на всех самолетах летит отец. В тот день летали три самолета. Они были похожи на треугольники с маленькими хвостами. Летающая геометрия. Или что-то вроде морских скатов. Мама смотрела, как треугольники измеряют небо. Потом один из них пошел на снижение. Как-то очень резко пошел. И упал на землю. Мама говорила, что небо вдруг стало красным. Кровавым.

Она уехала, в чем была, не собрав даже чемодана, — села на станции в проходящий поезд. После поезда мама ехала на лошадах в бабушкину деревню, и едва добралась до порога, как родился он, Сережа.

Сережа родился раньше срока на целых два месяца, он должен был умереть вслед за отцом. Но мама и бабушка спасли его.

Сережу всегда смешил этот мамин рассказ. Как они спасали его. Забавно очень спасали. В русской печке. Подтапливали ее слегка и клали Сережу в нее. Так он в печке и жил два месяца.

А отца он не видел. И отец не видел его. Сережина жизнь началась после того, как кончилась жизнь отца.

Вот почему снился ему отец с разными лицами...

Сережа смотрит вверх. Он не раз замечал: солнце ушло за горизонт, на улице уже сумерки, а небо еще совсем дневное, и облака на нем горят дневным сиянием. Небо и облака темнеют позже земли.

Земля загородила собой солнце, но не навсегда.

Завтра придет утро, и снова станет светло.

Сережа вдыхает в себя прохладный воздух. Обида угасает, как вечер.

Он берет чайник и встает.

Надо идти. Домой, к маме. Он представил, как мама бежит по улице, спрашивая знакомых мальчишек, не видели ли они Сережу, и по спине между лопаток заструился холодок. Он представил себе ее курносое, почти безбровое лицо, будто выгоревшее на солнце, — представил, как округлились от испуга ее глаза. Если бы кто знал, как любила его мама. И как любил ее он. Вот без отца он живет — это возможно, хотя и горько, но без мамы представить себя нельзя. Без мамы он жить не мог бы!

Сережа бросается назад, по узкому проходу среди штабелей фанерных ящиков, и вдруг ощущает боль. Острый гвоздик, торчащий из ящика, рассек кожу на запястье, и боль вернула его к настоящему.

Никодим!

Никодим будто напомнил о себе этим гвоздиком.

6

Мама дома, моет посуду в тазу, наклонив слегка голову и прищурив один глаз, чтоб не щипал дым от папироски.

Когда Сережа входит, она глядит на него широко раскрытыми глазами, молчит, потом медленно произносит:

— Я думала, ты поймешь...

Сережа не отвечает.

Он раздевается, ложится на свою раскладушку у стены, лижет кровь из ранки, смотрит на карточку Никодима.

Бывают же такие лица — сказать нечего. Глазки маленькие, серые, волосы какие-то сивые, жидкие, зачесаны назад. Уши торчком — два лопуха. И чего только мама нашла в нем?!

Сережа отворачивается от зеркала, разглядывает вырезки на своей стене.

Летчики в высотных костюмах, Гагарин, Чкалов. Все вместе — для Сережи отец.

Обида распирает грудь. «Как же так? — думает он. — Всю жизнь мама говорила про отца, всю жизнь повторяет, как он погиб, и Сережа эту картину представляет теперь словно живую, словно это он там был, — и вдруг Никодим! Эх, мама!»

Сережа смотрит на картинки. Это же мама на него всегда влияла! Это же из-за нее он картинки эти на стену наклеил и твердо решил летчиком стать. Как отец. И в авиамодельный кружок тоже из-за мамы записался. Вот освоит он сперва там все премудрости, потом в школу планеристов пойдет, без отрыва от учебы, конечно, а там и на летчика выучится. После — в летное училище поступит. Или в авиационный институт. Тут еще подумать надо, потому что летать и без училища научиться можно, в школе ДОСААФ, а конструирование его очень увлекает.

Сидишь в кружке — тишина. Бамбуковую основу над спиртовкой гнешь или крылья тончайшей бумагой обклеиваешь. Запах казеинового клея совсем особенный, на другие непохожий: этот клей авиацией пахнет.

Сережа поглядывает на оранжевый самолет, который лежит на полу — изуродованный, но героический, усмехается, говорит ему про себя: «Ну, брат, не ожидал от тебя, не ожидал». А сам думает про новую модель, тоже с бензинкой, но другой конструкции — посложней. Он решил его с Робертом сделать — старостой кружка: одному будет трудно.

Хлопает дверь.

— Не спишь? — спрашивает мама, подсаживаясь к нему на раскладушку.

Он подвигается не отвечая. Мама тоже молчит. Смотрит на Сережу, о чем-то думает про себя сосредоточенно, потом поднимается, снимает с гвоздика гитару, садится опять.

Сережа разглядывает внимательно мамину кровать с блестящими шариками на спинке, обшарпанный шкаф, который протяжно скрипит, когда его открываешь, стол возле стенки — одна ножка хроает, бумагу под нее скручивают, когда редкие гости приходят. А без гостей и так хорошо.

Бабушка, когда приезжала, ворчала на маму:

— У тебя все не как у людей!

— А как у людей? — поддразнивала ее мама.

— Чистота, порядок, уют! — шумела бабушка. — Квартиры получают, обстановку покупают. Ну да ладно, квартиры нет, так хоть бы эту-то комнатуху подкрасила, побелила. Живешь, как по течению плывешь. — Бабушка махала рукой, уходила в кухню.

— Это точно, — кивала мама, — как по течению...

Потом, после бабушкиного отъезда, бралась за тряпку, за веник, мыла, скребла, прибирала, приносила даже мелу, чтобы побелить потолок, кисть с длинной ручкой, но вдруг садилась на кровать, закуривала папироску, молча глядела перед собой, потом собирала все приготовленное для ремонта, отдавала соседям.

— Ты что, мам? — удивлялся Сережа. — Раздумала?

— Плевать на все, — говорила она, улыбаясь. — До потолка боюсь не дотянуться.

— Так давай маляров позovem! — удивлялся Сережа. — Тоже нашла причину.

— Позовем, позовем, — говорила мама. Но так никого и не звала.

Потолок в комнате был серый от папиросной копоти, и все оставалось по-прежнему у них: хоть и неудобно, но привычно...

Мама трогает тихонько струны, поет негромко:

Гори, гори, моя звезда...

Голос у нее глуховатый, но сильный. «Профессиональный», — говорит тетя Нина.

Звезда любви приветная...

Больше всего любит Сережа, когда мама поет. Не в компании — шумно и весело, а вот так, тихо, как для себя. А значит, и для него, Сережи...

Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда.

Мама кладет руку на струны, спрашивает улыбаясь:

— А ты знаешь, кто эта звезда заветная?

Сережа мотает головой.

— Ты. — Он смеется. — Ты, ты, не смейся. Каждый,

кто поет, думает про свою звезду, конечно. У каждого она есть. А я вот про тебя думаю.

— Почему не про папу?

Мама удивленно глядит на него, смущается отчего-то, потом твердо повторяет:

— Нет, про тебя.

— Ну а я тогда про тебя, — говорит Сережа. — Ты тоже моя звезда заветная. — Он садится в раскладушке.

— Ладно, ладно, — грустно говорит она, — пока заветная, и то хорошо. А вырастешь, будет у тебя другая звезда. Про меня и не вспомнишь.

— Эх ты! — возмущается Сережа, отстраняясь. — Так про меня подумала! Я же твой сын, как я про тебя забуду? — Он умолкает, вспомнив Никодима, и прибавляет обиженно: — Не то что ты!

Мама резко вскакивает, вешает гитару на гвоздик. Не поворачиваясь к Сереже, чиркает спичкой, сильно затягивается, говорит:

— Не беспокойся, я уже решила. Будет все, как было. И Никодим тут ни при чем.

Сережа приподнимается на раскладушке, молчит от растерянности, потом спрашивает жалобно, надеясь и не веря:

— Правда, мама?

Она оборачивается к Сереже, комкает пальцами папироску, подходит к зеркалу.

Сережа притихает. Мама смотрит не в зеркало, а на Никодима.

Потом берет карточку в руки, трогает ее, словно гладит Никодима, и вдруг рвет в мелкие клочки.

У Сережи перехватывает дыхание.

— Зачем? — удивляется он, приподнявшись на локте. Теперь-то Никодим не страшен ему. Нисколько. И может еще сто лет сидеть там, в углу зеркала.

— Да что уж тут, — отвечает мама, подходит к выключателю и щелкает им.

Сережа, приподнявшись, вглядывается в темноту, стараясь рассмотреть маму. В отраженном свете улицы он видит ее лицо, и ему кажется, что она лежит с открытыми глазами. Он зовет ее шепотом, но она не отвечает, и тогда Сережа решает, что это, верно, от усталости и от вина ее так скосило.

Та-та-та-та...

Та-та-та-та...

Сереее снится война. Будто он летит на своем оранжевом самолете и строчит по невидимому врагу. Трассирующие пули идут впереди самолета широким белым веером, вспарывают землю вниз, Сережа летит на бредущем, одно крыло чуть вниз, потом штурвал к себе, и оранжевый самолет круто взмывает вверх. Сережа видит, как оттуда, из-под облака с золотой каймой, падает на него черный крест — вражеский самолет.

Он нажимает гашетку.

Та-та-та-та...

Но трассирующий веер не рассыпается впереди него.

Та-та-та-та...

Значит, кончились патроны. Кто же тогда стреляет? Черный крест? Черный крест...

Сереежа видит, как смертельный веер тянется к нему, словно белые длинные пальцы. К его заметному оранжевому самолету.

Сереежа вскакивает. Ощущает, как капельки пота ползут по лбу. Фу, душно в комнате.

Он вздрагивает.

Та-та-та-та...

Черный крест опять строчит. Хотя нет, это стук. Кто-то стучится в дверь. На улице уже светает.

— Мама, — шепчет Сереежа, — мама!

Она поднимает голову, говорит испуганно:

— Что случилось?

— Стучат.

— А-а, — говорит мама, пожевывая и сразу успокаиваясь. — Ну открой.

После душного сна Сереежа приходит в себя. Никакого креста нет, слава богу. Все нормально. Дом, мама. Он вздыхает и идет к двери...

Та-та-та-та...

— Сейчас, сейчас, — ворчит он, вовсе успокаиваясь, сбрасывает цепочку, вертит кругляш английского замка, распахивает дверь и отступает назад.

Сердце у него обрывается. Будто он снова уснул. Будто продолжается страшное видение, только теперь другое. Вторая серия.

В дверном проеме стоит Никодим.

Он улыбается, глядит приветливо на Сережу, потом шагает вперед, молча протягивает ему руку, и Сережа, как загипнотизированный, дает свою.

Сначала, пока никого не видно из-за отворенной двери, мама удивленно моргает глазами, но, когда Никодим входит в комнату, она вскакивает, прикрывая себя одеялом, потом, отвернувшись, натягивает халат, поворачивается и смотрит на Никодима, растерянная и взлохмаченная.

А Никодим, ничего не замечая, подходит к столу, грохает на него тяжелую авоську, рядом приставляет фибровый чемодан.

— Не ждали! — говорит он, усмехаясь. — Помните, картина такая есть. Кого-то из передвижников, кажется. Так и называется: «Не ждали».

Сережа помнит. В какой-то книге видел. Комната большая, не такая, как у них, и все в ней замерли, потому что на пороге стоит человек, коротко стриженный, усталый. Вернулся, наверное, из тюрьмы. Или с каторги. Революционер.

Там понятно, там революционер. А Никодим тут при чем? Ну да, не ждали... Вообще не ждали, правильно. Хотя почему же? Ждали. Даже приготовились.

Сережа видит, как трудно маме. Он вглядывается в ее лицо, и она чувствует его взгляд. Но не может решиться. Не может шагнуть к Никодиму и сказать ему сразу. Она оборачивается к зеркалу, торопливо причесывается, а Сережа стоит один на один с Никодимом.

Гость развязывает авоську. Старательно развязывает.

— Аня, — говорит он, не отрываясь от авоськи, — вы извините, что я так рано... Хотел было другим посздом, но не утерпел, взял билет на самый первый, приехал ночью, еле утра дождался — и бегом к вам... Так что извините, разбудил все же.

— Ничего, — глухо отзывается мама, не отворачиваясь от зеркала.

— Хотел попозже прийти, — говорит Никодим, — но думаю, Сережу надо застать, пока в школу не ушел, может, думаю, порадуя... — Он зубами развязывает свой проклятый узел, но говорить не перестает. — Аня, — мычит, — а ты Сереже-то, м-м, черт, вот замолтал... Ты Сереже-то все сказала?.. Ничего... Надо же... Ничего не скрывает?

Мама молчит.

— Ну вот, — балабонит Никодим, — размотал все же. — Он хрустит бумагой, разворачивает сверток, оборачивается к Сереже, протягивает ему сперва ласты, потом трубку для ныряния, потом маску.

Сережа растерянно топчется на холодном полу, держит охапку подарков и чувствует себя одураченным. Не знает, как быть. С Никодимом он разделался еще вчера. Вечером, когда мама порвала его карточку. И вот он пришел. И дарит подарки. И заговаривает зубы. А мама причесывается у зеркала и молчит. И будто ничего не видит.

Не видит! Все она видит! Только трусит.

Сережа решается. Он больше не даст себя одурачить. Жалко, конечно, возвращать все это добро. Ласты вон какие зеленые, прекрасные, лягушачьи! И трубка! И маска! Но разве можно на это поддаваться? Он не карась какой-нибудь глупый. Он на красивые приманки не клюнет.

Сережа шагает вперед, складывает подарки на стол, говорит хриплым голосом:

— Спасибо, мне не надо. — И добавляет невпопад: — Мне в школу надо.

Никодим останавливается, смотрит внимательно на Сережу, но Сережа торопливо одевается и не глядит по сторонам. Только чувствует на себе тяжелый этот взгляд.

Никодим переступает с ноги на ногу, спрашивает маму:

— Что же, Аня, получается, а?.. Или ты передумала?

— Передумала, — отвечает мама, все причесываясь.

— Да повернись ты! — вдруг командует Никодим.

Сережа возмущенно вскидывает голову, хочет сказать, чтобы потише он тут себя вел, не командовал, но видит, как покорно поворачивается от зеркала мама, как смотрит она на Никодима испуганными, округлившимися глазами, в которых дрожат слезы, и вдруг его озаряет: мама слушается Никодима! Значит!..

— Извини, Никодим! — говорит мама и что-то тербит в руках. Сережа видит, что она перебирает обрывки фотографии. Той, вчерашней. — Извини! — повторяет она. — Я не все учла... И я передумала.

— Но как же так? — разводит руками Никодим. —

Мы же переписывались! Два года!.. Мы договорились!.. Я приезжал!..

Он восклицает, лицо его покраснело от натуги, уши топориком тоже порозовели, и Сереже становится жаль его.

Но жалость тут же исчезает.

Никодим говорит маме:

— И вообще, Аня! Ты так настаивала, так хотела, чтобы мы жили вместе. В конце концов, ты знаешь, я иду против воли матери!

Сережа хлопает глазами. Он думает, мама сейчас взорвется. Прогонит Никодима прочь. Но мама жалко улыбается, говорит, нисколько не обижаясь:

— Да, да, Никодим, ты прав, все так и есть, но я не могу... Решила.

Никодим оборачивается к Сереже, подхватывает свой чемодан и шагает к двери.

Он больше не смотрит на маму. Он разглядывает Сережу. С интересом разглядывает, и Сережа замечает, что губы у Никодима вздрагивают, как от сильной обиды.

— А это? — говорит ему Сережа, показывая на подарки, но Никодим не слышит. Он останавливается в распахнутых дверях, пристально смотрит на Сережу и сипло произносит:

— За что ты меня ненавидишь?

Сережа чувствует, как сердце в груди начинает метаться зайчиком. Почему он так говорит? Разве Сережа его ненавидит? Вовсе нет... Совсем нет... Он не ненавидит его...

Сережа вскакивает. Он открывает рот, чтобы объяснить, чтобы как-то ответить этому чужому человеку, но вместо слов из него вырывается странный хрип.

Дверь захлопывается.

Никодимовы шаги грохочут по кухне. Взрывается дверь на сильной пружине, и у соседки, наверное, вылетают мозги.

Все стихает.

А Сережа стоит, открыв рот, захлебываясь от подкашившей к горлу обиды.

Май, а на улице дождь, нудный, будто осенью. Тучи над самыми крышами носятся рваные, клочковатые,

злые. Тягостно на душе. И от погоды, и от утреннего разговора.

Сережа смотрит за окно, в плотный дождь, который стушевывает силуэты домов, и будто перед Никодимом оправдывается.

Что же, в самом деле он Никодима ненавидит?

Ну ненавидит, допустим. От обратного пойдем. Как в теореме. А за что он его любить должен? За то, что к ним прийти хочет?

Сережа раздумывает. Вспоминает маму.

Он тогда сразу за Никодимом выскочил. Схватил портфель и убежал. Мама у комода осталась. Глаза широко открыты. В пустоту смотрят. Глаза большие, а лицо постарело мгновенно...

Сережа судорожно оглянулся, приходя в себя, как бы возвращаясь в действительность. Класс. Зеленые стены. Учительница возле доски ходит. Вероника Макаровна, по прозвищу Литература.

Лет Веронике Макаровне много, но она всегда на высоких каблуках ходит. А ноги тонкие и, наверное, слабые, поэтому на каблуках она пошатывается. Как на коньках, если плохо катаешься. Чулки при высоких каблуках Литература носит простые, ученические, в резинку, но они всегда перекручены.

— Ну, кто ответит? — спрашивает Вероника Макаровна и подслеповато шурится: она близорукая, так что тем, кто на задних партах, может повезти — изда- лека лиц не разглядит, а фамилию — кто там сидит — не сразу вспомнит. И вообще она странная. Вот и те- перь остановилась у окна и словно забылась. Забыла, что у нее класс, что она спрашивать должна. Смотрит на улицу, где дождь ерошит лужи. Класс притих. Если вот так тихо сидеть, Вероника Макаровна может дол- го за окно глядеть. Минут пять. А то и больше. Нако- нец она оборачивается.

— Ну, кто ответит? — повторяет Вероника Мака- ровна. Сережа видит, как Понтя, сосед его, руку тянет.

Вероника Макаровна смотрит на Понтю, потом в журнале ручкой ставит напротив Понтиной фамилии точку и торжественно объявляет:

— Пантелеймон Карпов.

Имя, конечно, у Понти забавное. Пантелеймон! Да сейчас таких имен никому и не дают. Но Понтя как

раз этим гордится. Его так в честь деда называли. А дед у Понти — Герой Советского Союза. Генерал в отставке. Деда у Понти никто не видел, он в Москве живет, но карточку Карп приносил. Очень он на генерала своего похож.

— Отвечай! — говорит Понте Вероника Макаровна.

— В повести Пушкина «Капитанская дочка», — говорит Сережин сосед, — есть два типичных представителя своих обществ.

— Гринев — от «Динамо», Пугачев — от ЦСКА, — ворчит кто-то в классе, по партам прокатывается смешок.

Вероника Макаровна стучит ручкой по столу.

— Гринев — представитель дворянского общества, — декламирует Пантелеймон, — и, хотя он является врагом крестьян, он вынужден обратиться к Пугачеву за помощью по личным вопросам.

— Выбирай выражения, — говорит Литература, — думай, как говоришь.

— Да я в том смысле, — горячо объясняет Понтя, — что ведь ему же никто, кроме Пугачева, не помог. Пугачев был добрый человек. Пугачев возглавил восстание крестьян против царизма. Зря он только себя за царя выдавал. Пушкин подчеркивает его обреченность, потому что в то время еще не назрела революционная ситуация.

— Когда назрела революционная ситуация? — спрашивает Вероника Макаровна.

— Седьмого ноября семнадцатого года, — отвечает ей кто-то с места.

— В начале, — поправляет она, — семнадцатого года. А когда происходили события, описываемые в «Капитанской дочке»?

— В восемнадцатом веке, — отвечает Понтя.

— Вот именно! — подтверждает Литература, поднимаясь со стула и давая Понте сигнал садиться. — События, описываемые в «Капитанской дочке», — говорит она, — относятся к тысяча семьсот семьдесят четвертому году и отражают события восстания крестьян под предводительством Емельяна Пугачева...

Вероника Макаровна говорит что-то про Пугачева и Гринева, а Сережа думает о Марии Ивановне, из-за которой и случились у Гринева все эти происшествия с Пугачевым, вспоминает сцену перед сражением: как

стискивал Гринев рукоять шпаги, как горело его сердце, как воображал он себя рыцарем Марии Ивановны и желал защитить ее от врага.

Сережа растерянно оглядывает класс и видит Галю у косу. «Вот с кем надо поговорить», — думает он и принимается внимательно смотреть на Галю. Она беспокойно начинает шевелиться, потом поворачивается, глядит вопросительно на него.

— Воробьев! — слышит он голос Литературы и поднимается, мучительно думая, что же спросила сейчас Вероника Макаровна. Но она говорит ему: — Ты чего такой рассеянный?

Сережа пожимает плечами, глядит внимательно на учительницу.

— Бывает, — говорит он виновато.

И Вероника Макаровна неожиданно кивает:

— Бывает.

В глазах ее Сережа видит растерянность.

9

Дождь встал глухой белой стеной — в двух шагах, словно лес, скрывает человека. Девчонки и ребята бросаются с крыльца как в омут и тут же пропадают. Краешком глаза Сережа следит за Васькой и мчится за ней, боясь отстать, потерять из виду. Длинноногую девчонку догнать непросто. Сережа хочет уже позвать ее, крикнуть, чтобы подождала, но неожиданно Галя ныряет в чужой подъезд. Сережа заскакивает следом.

— Тебе чего? — настороженно спрашивает запыхавшаяся Галя.

Он переступает с ноги на ногу, мнется, не знает, как начать, как вообще надо спросить про то, что нужно.

— Галы! — заикаясь, говорит Сережа и повторяет: — Галы! — Наконец бухает: — А у меня мама жениться хочет.

— Замуж выйти, а не жениться, — поправляет его Васька. И переспрашивает: — Хочет?

Васька смотрит на него внимательно, приблизив к Сережиному лицу свое лицо.

— Не знаю, что делать, — вздыхает Сережа.

— Он нехороший? — спрашивает Галя. — Пьяница?

— Нет, — растерянно отвечает Сережа. — Не пьяница. — Потом, разозлясь, объясняет: — На фиг он мне нужен: у меня отец есть.

Васька задумывается, отворачивается к дождю. Говорит неуверенно:

— Но ведь замуж не ты выходишь... Мама...

— А зачем ей замуж? — удивляется Сережа. Никак он не может этого в толк взять: действительно, зачем? Разве плохо жили они до сих пор? Разве скучно им было друг с другом? Ну разве же это неясно — придет третий, лишний, и никогда уж не будет Сереже так хорошо с мамой и маме с ним, потому что Никодим будет мешать. Что ему, про отметки рассказывать прикажете? Про авиамodelьный кружок? Про то, что Сережа хочет на отца походить и будет, как он, летчиком?

— Ты странный человек, — говорит Галя, строго глядя на Сережу. — Зачем маме замуж? Для счастья. Разве не ясно? Ведь человек рожден для счастья, как птица для полета, слышал? Она еще не старая. У нее еще должен быть муж. Защита и опора.

— Рассуждаешь, как старуха, — недовольно бурчит Сережа, но что-то словно успокаивает его. — Защита и опора, — хмыкает он. — А я?

Галя улыбается.

— Ты, конечно, защита, — говорит она, — но не опора. Пока что, конечно. Вырастешь, будешь и опорой.

— Высоковольтной? — смеется Сережа.

На душе полегчало, будто и в самом деле Галя — старая старуха, которая все объясняет и успокаивает. Подъезд, куда они забежали, недалеко от Серезино дома. От Васькиного еще ближе. Но он вдруг предлагает:

— Идем в кино!

В конце квартала — «Коллизей». Сквозь дождевую дымку горят огни не вовремя сверкающей рекламы.

Васька кивает, и они мчатся. Бежать с Васькой приятно, Сережа сдерживает себя, чтобы не обгонять ее, чтобы она бежала чуток впереди, самую малость. Лужи хлопают под ботинками, расплескивая в стороны брызги. У Серези есть рубль — им хватает на билеты и на кофе. И даже на два песочника. Он прихлебывает невкусный, но горячий кофе и снова вспоминает последние Васькины слова. И чем больше думает над их смыс-

лом, тем ему хуже. Действительно. Замуж хочет мама, а решает он. Как глупо.

— И потом, — вдруг говорит Васька, — отца не вернешь, ведь правда? Что же делать?

Гаснет свет, на экране мельтешат кадры.

Сережа смотрит кино, но в голове его совсем другое.

Как все запутано, в самом деле... Как все горько.

Мама часто говорит: «В жизни все бывает не так, как в кино. Я сама убедилась». Когда говорят другие, этих слов не слышно. Пропускаешь мимо ушей. Но когда касается самого...

Сережа смотрит на Ваську, на грустную ее косичку, и она, не поворачиваясь, стучает его по руке:

— Смотри на экран.

— Смотрю, — покорно отвечает Сережа.

10

Дождь прошел.

Сережа стоит перед высоким серым зданием. Вверху, под крышей, блестят шагающие серебряные буквы: «Почта — телеграф». И часы в полстены.

Все в городе знают, где почта, но очень немногим известно, что здесь без всяких вывесок — и вход со двора — на верхнем этаже находится радиостудия — важный объект. Государственный. И его охраняют.

Сережа гордится: мама его как бы на важном заводе работает. Туда только по пропускам вход. Поэтому Сережа к вахтеру подходит, просит:

— Позовите, пожалуйста, Воробьеву.

— Анну Петровну? — спрашивает женщина с пистолетом. Сережа ей улыбается. Это тетя Дуся. Она на вахте, чтобы не скучно, любит вязать.

Сережа ждет маму, прогуливается вдоль здания и вдруг замечает, что возле лужи на корточках сидит тети Нинин Котька.

Сережа к нему подходит, говорит:

— Здорово, Котька.

— Сергуня наш привет, — отвечает важно Котька. Ничуть не удивляется его появлению.

— Сергуня, — спрашивает он без перехода, морща маленький, кнопочкой, нос, будто только и ждал, когда Сережа придет, — а тебе страшно?

— Чего страшно? — не понимает Сережа.

— Посмотри в лужу, — говорит Котька. — Видишь, какая глубина. Видишь, вон то большое дерево в этой луже умещается.

Сережа смотрит в лужу. Вот какой глазастый этот маленький Котька. Действительно, если взглядеться в лужу — глубина страшная. И дерево в ней, и кусочек почтамта, и даже тучи. Сережа закрывает глаза. Открывает их снова.

— Нет, не страшно! — отвечает Котьке.

— Это сейчас не страшно, — говорит Котька, — потому что ты большой. А когда ты маленький был, тебе тоже было страшно.

Сережа берет Котьку за лямку коротких его штанов, поворачивает к себе. Котька доверчиво обнимает Сережу за шею, щекочет его за ухом. Сереже не хочется его огорчать.

— Страшно! — говорит он. — Еще как страшно. Мне и сейчас страшно бывает.

— А чего ты боишься? — спрашивает Котька, но ответить не дает. Лоб его сморщен. Он все время что-то соображает. — Я, например, боюсь тигров, леопардов и змей. Змей шипят. Но я их не видел. Только в кино.

— А леопардов и тигров? — смеется Сережа.

— Тоже в кино, — ничуть не смущается Котька.

В Котьке накопилось много мыслей, ему их надо обсудить, и он без передыху говорит Сереже:

— Хочешь, научу, как надо сорок ловить? Берешь бумажку от шоколадной медальки, привязываешь к ней длинную нитку, бросаешь медальку под дерево, где сорока сидит, и начинаешь к себе тянуть. Сорока бумажку увидит, подлетит, а ты веревочку к себе тяни. Она подойдет, ты снова — к себе. Вот сорока за блестинкой совсем близко подойдет, тут ты и ловишь.

Котька облегченно вздыхает. Он, наверное, боялся, что не успеет рассказать все подробности и Сережа уйдет. Но Сережа не ушел, и теперь можно вздохнуть. И даже вытереть под носом.

— Котька, — спрашивает Сережа, — а ты тут с кем?

Но Котька не успевает ответить.

— Сережа! — кричит от проходной тетя Нина. — Иди сюда! Я тебя проведу!

Наверху, где радиостудия, люди ходят тихо. Разговаривают вполголоса. На специальном табло, как

у входа в рентгеновский кабинет, горят строгие красные буквы: «Тихо! Идет передача!»

Тетя Нина вводит Сережу в аппаратную. Тут стоят магнитофоны, огромные, вполроста. Это если взрослому. Сереже так до груди будет. Медленно вращаются огромные бобины с магнитной пленкой.

Вот интересно! Когда фотографируешься, все понятно. Фотопленка, светочувствительный слой, проявитель, фотобумага... В фотографии свет записывает твоё лицо — это ясно. Происходят химические изменения. А здесь? Пленка крутится с одной бобины на другую. И никак не изменяется. А записывает-то посложней изображения! Записывает звук!

Тетя Нина держит Сережу за плечо, чтобы не отходил, кивает на большое окно в стене.

За стеклом, как в аквариуме, сидит мама. Она шевелит губами — что-то говорит, но что — не слышно. И это выглядит очень забавно.

Сережа разглядывает мамин аквариум. В комнате, где она сидит, все стены обиты материей, чтобы не было резонанса. Перед мамой на гнутых ножках, будто склонившиеся цветы, штук пять микрофонов. Один, побольше, похожий на чёрный блин, свисает прямо с потолка.

Мама читает старательно, изредка отрывается от бумаг, но в окно не смотрит — глядит на потолок или в сторону. Иногда она жестикулирует. Морщит лоб. Прикрывает глаза. Качает рукой в такт словам. Может быть, читает стихи.

Мама ведёт себя так, будто совсем одна. А на неё глядят человек десять. Пристально смотрят. Другой бы не выдержал, смутился, но маме до людей по эту сторону окна дела нет. Она своим занята.

Мама кончила читать, откинулась на стул, устало бросила вниз руки.

У главного магнитофона стоит дядька — седой и лохматый. Волосы у него — будто дым из трубы валит, торчком стоят. Щетина на бороде. Но глаза веселые, так и бегают.

— Молодец, Анька! — кричит он маме, щелкнув чем-то.

И вдруг мамин голос, изменённый динамиком, Сережу оглушает.

— Черта с два! — говорит мама грубо. — Переписываем!

— В последний раз, — испуганно кричит взлохмаченный дядька. — А то на тебя не угодишь. Присидишь с тобой до ночи! И передача скоро!

— Не ори! — спокойно советует ему по радио мама.

Сережа думает, дядька рассердится, но он только смеется, нажимает кнопку в магнитофоне. Лента с маминым голосом несется назад, как курьерский поезд.

11

Лужи походят на осколки темных стекол. Огни, загоревшиеся в окнах, отражаются в воде желтым бисером. После дождя потеплело. Небо расчистилось от туч. Над крышами повис яркий лунный зрачок.

Они идут медленно, мама вдыхает воздух, в котором словно растворилась тополиная листва, и тихо повторяет:

— Как хорошо... Хорошо...

Тетя Нина так и не дождалась, когда мама освободится. Пожала Сереже плечо, сказала, что ей пора кормить Котьку, и убежала. Сережа стоял в аппаратной до конца. Сидел в коридоре, когда шла передача. Мама курила папиросы, сыпала пепел, вздыхала от вынужденного безделья, потом передача кончилась, и вот они уже подходят к дому, а Сережа все не знает, как начать. Как сказать маме про Никодима.

Просто так сказать: «Я согласен» — глупо. Нехорошо. Надо сказать так, чтобы мама поняла. Чтобы ее не обидеть.

Сережа весь вечер думает про людей. Про то, от чего счастье зависит.

Ему кажется: из всех его взрослых знакомых тетя Нина — самая счастливая. Отчего? Ну, во-первых, она красивая. Сережа даже в нее немножко влюблен. Он от этого с тетей Ниной долго говорить стесняется. Если один на один. При других, пожалуйста, потому что при других только с ним тетя Нина говорить не станет. Обязательно отвлечется. С ней ведь все поговорить хотят. Ниночка да Ниночка: всякий, кто мимо нее пройдет, — знакомый, конечно, — непременно остановится. Что-нибудь скажет. Или спросит. Тетя Нина не только красивая. Она обаятельная. Так мама говорит. Это

правда. Если все к ней тянутся, значит, обаятельная.

Глаза у тети Нины всегда блестящие. А голос на мамин похож. Грудной.

Она, как и мама, стихи очень любит. Мама ее хвалит за стихи. А тетя Нина маму хвалит.

Мама ее обрывает, говорит:

— Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку!

Они смеются обе. Действительно, что поделать? Они подруги, и не просто подруги, а товарищи по работе. У них одна профессия — дикторы. Только одна — радиодиктор, другая — теледиктор.

Но разница между ними все-таки есть.

Про эту разницу мама любит тете Нине рассказывать.

— Возраст — раз. Два — вывеска. — Это мама лицо вывеской называет. — Три — характер. А на трех китах, как известно, держится мир.

Характеры у них действительно разные. Мама курит много. А это не просто привычка. Иногда так закурит, задень ее, она как камень раскаленный. Плесни воды — взорвется.

Да что там говорить... Счастливая — несчастливая. Это же не только от удачи зависит, от выигрыша какого-то. Это ведь не лотерея.

Счастливый человек счастлив потому, что он такой, а не другой. Был бы другим, стал бы несчастливым. Была бы тетя Нина как мама, тоже, наверное, несчастливой оказалась.

Но тетя Нина красивая, веселая, легкая, добрая. Сережа задумывается. А мама, что же, не добрая? Еще какая добрая!

Сережа припоминает утренний разговор. Явление Никодима. И вчерашний.

Вон она какая добрая, мама. Решила, что Сереже с Никодимом хуже будет, и отказалась от того, что решила. Для него, Сережки.

Выходит, несчастным и от доброты тоже стать можно.

Сереже делается жалко маму. Он берет ее под руку, заглядывает ей в глаза.

— Ну что, Сергуня, — говорит мама, — вот и добрались мы домой.

— Добрались, мама, — отвечает Сережа. Сердце у него щемит от жалости. Он хочет сказать что-нибудь

хорошее, выбрать какое-то несбыкиновенное слово — светлое и прозрачное, — чтобы маме сделалось хорошо, чтобы она не когда-нибудь, а вот теперь, тотчас, почувствовала себя счастливой, но придумать ничего не может.

— Мам! — говорит он грубо, как она, и хочет поправиться, сказать мягче. Но ничего у него не выходит. — Мама, — повторяет Сережа непослушным голосом. — Понимаешь, только не обижайся, пожалуйста, я хочу сказать тебе про Никодима. — Он молчит, потом поправляется: — ...Никодима Михайловича. — И опять молчит. — Я не против, — выговаривает он наконец, — пусть женится на тебе.

Мама останавливается, смотрит на Сережу испуганными глазами.

— Пусть он на тебе женится, — начинает торопиться Сережа, — пусть. В тесноте, да не в обиде, ты не беспокойся, мою раскладушку можно от окна отодвинуть к шкафу, тогда войдет еще одна кровать. — И кончает неожиданно. — Ведь папы нет...

Он говорит, захлебываясь от слов, и мама смотрит на него спокойнее, без испуга. Потом берет Сережу обеими руками за голову, притягивает к себе. Он тыкается носом в холодный, влажный плащ.

— Не думай об этом, Сергунька, — говорит мама. — Я ведь решила.

Он отшагивает от нее.

— Это ты из-за меня, — говорит он громко.

Мама молчит, качает головой.

— Да он теперь не придет, — говорит мама.

— Придет! — уверенно смеется Сережа. — Еще как придет! Бегом прибежит! Ведь к тебе же, к тебе!

— Глупенький, — улыбается мама, — не все так просто. Он не придет. И я к нему не пойду.

— Значит, я пойду, — не задумываясь, отвечает Сережа, и мама хмыкает. Он молчит и хмыкает тоже. Брякнул, называется. Он? Пойдет к Никодиму? И что скажет?

Утром по дороге в школу Сережа видит Верснику Макаровну. Узнать ее можно за сто верст.

Она идет не одна. С каким-то мужчиной. Литература о чем-то спорит с ним, но и мужчина не соглашает-

ся. Они размахивают руками и, похоже, ссорятся, потому что возле школы расстанутся, даже не кивнув друг другу.

Сережа глядит, как Литература ковыляет, покачиваясь, на каблуках, будто на коньках, потом оборачивается на мужчину и обмирает.

Через дорогу, посматривая на машины, переходит Никодим.

Сережа мгновение стоит в нерешительности. Потом кидается вслед.

Догнать его очень просто. Десять секунд быстрого бега.

Сережа обгоняет Никодима и останавливается перед ним.

— Здравствуйте, Никодим Михайлович, — говорит он, переводя дыхание. Никодим останавливается. Удивленно разглядывает его.

— Ну, привет! — отвечает недоверчиво.

— Это я виноват, Никодим Михайлович, — говорит Сережа. Неожиданность помогает ему говорить решительно, не выбирая слов. — И вас я не ненавижу. Вы ошибаетесь. — Сережино наступление обескураживает Никодима. — Если я вас обидел, извините меня, — продолжает Сережа. — Вы должны к нам прийти.

— Никому ничего я не должен, — мрачно говорит Никодим, но тут же спрашивает: — Это ты сам? Или мама тебя послала?

— Эх, вы! — задыхается от возмущения Сережа. — Можно ведь догадаться, кажется! Если бы мама, я вас дома нашел. А я случайно вас увидел. С училкой нашей. С Литературой.

Никодим растерянно кивает, огибает Сережу, потом оборачивается:

— С Литературой, говоришь?

И вдруг смеется.

Сережа не понимает, чего он. Потом догадывается — ему смешно, что учительницу так зовут. Нет, не такой уж он, оказывается, противный, этот Никодим.

Вовсе не противный.

— С Литературой, — кивает Сережа и смеется тоже. — А вы с ней, оказывается, знакомые!

— Знакомые! — говорит Никодим.

Они стоят друг против друга и улыбаются — тревожно, недоверчиво, не зная, что будет дальше.

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

1

Свадебное путешествие...

Никодим сказал:

— Едем в свадебное путешествие.

— Счастливого пути, — дрогнув, ответил Сережа.

— И ты с нами, — сказал Никодим.

Сережа посмотрел на него подозрительно.

— Куда? — спросил он.

— Секрет фирмы, — засмеялся Никодим.

— А когда?

— Когда кончишь учиться.

Сережа где-то читал, что раньше в свадебные путешествия ездили за границу. На каком-нибудь пароходе с парусами. На какие-нибудь Азорские острова. Вот житуха была! Качайся себе на волнах, разгуливай в белых штанах, кури сигару. Любуйся морями и пальмами.

Ясно, что на Азорские острова они не поедут. Но куда? В Москву? Это было бы здорово! В Ленинград? Никогда Сережа в Ленинграде не бывал. Нигде он не был, кроме пионерского лагеря в тридцати километрах от города.

Но Москва и Ленинград и даже Азорские острова померкли, затуманились, когда Никодим открыл тайну.

Утром проснулся Сережа, а на столе три рюкзака: большой, поменьше и маленький. А у дверей — подумать только! — три велосипеда. Он даже не поверил вначале. Поморгал, глаза кулаками потер — нет, стоят. Поблескивают никелированными частями.

Сережа у мамы давно велик просит. Мама не покупает. Ей не жалко, она боится, что он под машину угодит. А тут три сразу! Да откуда?

Дверь открывается, входит Никодим с авоськой. В ней хлеб, сахар, чай.

— Последние подробности, — говорит он. И велит: — Вставай скорее!

Они быстро завтракают, выводят во двор своих коней, Никодим рассказывает, как весь вечер чистил

в сарае от смазки купленный вчера велик для Сережи, как брал напрокат остальные.

И вот они едут, и Сережа думает, что все произошло словно по волшебству. Раз — и они в свадебном путешествии. Едут вдвоем не в душном вагоне в незнакомый город, а по полевой дороге, среди зеленых колосьев и васильков в деревню к бабушке.

У Сережи дорожный ЗИЛ — он его пощупать даже как следует не успел. Ход мягкий, бесшумный. На бугорочках сиденье пружинит — не скрипнет! Шины по гладкой тропе шуршат, словно у новенького автомобиля: «Чш-ш-ш!» Тормоз действует безотказно. Только нажми на педаль, и велик как вкопанный на месте стоит.

Сережа разгоняет по дороге, тормозит, поворачивает, поднимаясь в рост, с силой давит на педали. Велосипед фурчит, мчится навстречу маме и Никодиму. Сережа тормозит опять, взрыхляя пыль, объезжает их аккуратно, слушает, о чем они говорят.

— Если гнать, — говорит Никодим, — то можно и за сутки доехать. Восемьдесят километров не так уж много. Но к чему? За три дня не спеша и доедем. Покупаемся где-нибудь. Позагораем. Цветов нарвем! Започуем у костерка.

Мама согласно кивает Никодиму, Сережа смотрит на него с интересом.

«Как все-таки я не прав был, — думает. — На Никодима зверем глядел. Карточку его ненавидел».

Осторожно, чтобы Никодим не заметил, Сережа разглядывает его. Вглядывается.

Нет, на карточку свою он похож, конечно. Волосы сивые, гладко назад зачесаны. Вообще-то их можно светлыми назвать. Русыми. Но не чисто. С каким-то серым отливом. И уши торчат, тоже правда. Но, если рассудить спокойно, не такой уж это грех. У кого торчат, у кого, напротив, прижатые. Также нехорошо. А в общем-то для мужчины такие недостатки значения не имеют. Девчонке, женщине — да. Уши торчком — нехорошо. Но и то их, наверное, волосами можно прижать. Волосы подлиннее отрастить, на затылке узлом завязать — вот уши и прижмутся.

От Никодима Сережа к Ваське переходит почему-то. О ней думает. Хорошо, думает он, у Васьки вот уши не торчком. У нее вообще все как надо. Косичка сзади

толстая. Глаза... Он вспоминает Васькины глаза. Как два выстрела...

Сережа смущенно хмыкает. Что это он о Ваське думает? Уж не того ли... Не влюбился?

Раньше бы за такую идею Сережа сам на себя разозлился. А сейчас, странно, ему даже приятно это слово повторять. Влюбился... Хм... Влюбился.

Ничего такого Сережа не чувствует. Никакой любви. Просто думает об этом, но как-то со стороны словно бы. Вон Понтя зимой влюблялся, так на уроках ничего не слышал. Всю промокашку сердечками со стрелой изрисовал. Сереже ничего такого рисовать не хочется. Но он смотрит на себя в велосипедное зеркальце. Разглядывает свой профиль. Не античный, конечно, но ничего. Нос у него, пожалуй, широковат. Мама раньше говорила, отцовский нос. Она его вообще на две части делила. «Нос, — говорила, — отцовский, а глаза мои. Ресницы тоже мои, я когда девчонкой была, они такие же пушистые были. Даже смотреть мешали». Сережа жмурит один глаз, другим на себя в зеркало смотрит. «Да, пожалуй, ему тоже ресницы мешают...»

Эта мысль ему уже на земле приходит. Как очутился внизу, не помнит. Загляделся в зеркало. Вот черт, локоть саднит.

Сережа смущенно поднимает свой ЗИЛ, оглядывает технику. К нему бежит мама, ее велосипед прямо на дороге лежит. Никодим отводит его в кювет, кладет рядом со своим, подходит к ним тоже.

— Как это тебя угораздило? — смеется он.

Сережа пожимает плечами. Не признаваться же, в самом деле, что в зеркало загляделся!

— Тебе шутки, — недовольно одергивает Никодима мама. — А у него кровь, видишь. Локоть разбил.

— Сейчас обеспечим, — говорит Никодим и приносит свой рюкзак.

Из фляжки он обмывает ссадину, смазывает ее йодом из дорожной аптечки. Сереже больно, он попискивает, но терпит. Перед мамой одной и пореветь еще можно было бы. А в глазах Никодима срамиться нельзя.

— Перебинтуем? — смеется Никодим, но Сережа качает головой. Опять ему нравится Никодим. Без маминых сентиментальностей. Раз-раз — и готово. По-солдатски.

Они едут дальше. Проселочная дорога пуста, и они катятся рядышком. Никодим и мама. А с краю Сережа.

— Со мной однажды случай был, — говорит Никодим. — В армии я служил, назначили меня в наряд. Зимой было дело. Стою я у склада, карабин на плече...

— Заряженный? — спрашивает Сережа.

— Конечно, заряженный, — отвечает Никодим. — Ведь на посту! Ну стою я, валенками притоптываю, чтобы не околеть. А погода как назло: ветер, снег лицо сечет. Ночь. Одна лампочка у входа болтается.

Хожу я, значит, как положено, вдоль склада. У двери чуть топчусь. А служить я только начинал еще. Устав хорошо помнил. Если опасность — три раза предупредить, а потом и огонь открывать можно. И вдруг гляжу — под колючую проволоку, которой склад обнесен, кто-то пролезть пытается. Я притаился, не дышу, вглядываюсь. Так и есть. Кто-то в черной одежде перебирается. Уже на этой стороне. Ну, я карабин с плеча, кричу, как положено: «Стой! Кто идет?» Не отвечает. Вроде притаился. Снова кричу, гляжу — полез. В третий раз окликаю — шевелится. Ну, я в воздух — шар-рах!

— Выстрелил? — ужасается Сережа.

— Выстрелил. Потом целюсь в нарушителя. Нажимаю спуск. И вдруг грохот. Взрыв! Видно, попал не то что в диверсанта, а прямо в его мину. Или что там еще он волок.

— Ну? — нетерпеливо торопит Сережа.

— Ну прибежало начальство. Стали разбираться. Оказывается, у проволоки баллон оставили. Со сжатым газом. А снег и ветер его в моих глазах шевелили. Оптический эффект. Казалось мне, что он шевелится.

Сережа хохочет, мама не отстает.

— Не смейтесь, — говорит Никодим, — надо мной без вас весь полк потешался. Кличку дали Бдительный.

Мама и Сережа покатываются над Никодимом. Над его незадачливостью. Никодим и сам беззаботно смеется. Это хорошо, думает Сережа. Мама ему говорила, что если человек над собой посмеиваться не боится, значит, он над другими смеяться не станет. Такому человеку можно смело доверять.

Никодим все больше симпатичен Сереже.

— А на войне вы были? — спрашивает он Никодима.

— У Никодима Михайловича имя-отчество есть, — строго глядит на Сережу мама.

— Вот пустяки! — обижается Никодим. И говорит серьезно: — Ты это, Аня, брось! Как Сереже захочется, так пусть и зовет.

Сережа нажимает педали, мчится вперед.

Ветер бьет ему в глаза. Он жмурится. И злится на маму. Что она, не может одна это сказать? Без Никодима?

— Сережа! — кричит сзади мама. — Подожди!

Сережа не тормозит, но и не крутит большие педали. Велосипед замедляет ход. Мама и Никодим догоняют Сережу.

— На войне я не был, — говорит ему Никодим, — хотя прорваться туда хотел. Даже сделал попытку. Мне, когда война началась, десять лет было... Но я об этом потом расскажу. Сейчас у меня предложение есть. Давай вот этот отрезок — до леса — наперегонки пройдем. Кто кого.

Сережа, улыбаясь, кивает.

— Но вы же не на равных, — говорит мама.

— А мы устроим гандикап, — говорит Никодим. — То есть уравнием силы с помощью форы. Сережа, отъезжай вперед, к тому кусту... Вот теперь на равных.

Мама слезает с велосипеда, снимает с головы косынку.

— Приготовились! — кричит она. — Внимание! Марш!

Сережа привстает с седла, всем весом наваливается на педали — даже цепь трещит — и мчится вперед, к невидимому финишу.

Он не оборачивается. На соревнованиях не глядят назад.

Сережа летит вперед, нависая над рулем.

Ветер звенит в ушах. Запах сладкого клевера врывается в ноздри.

Сережа мчится к лесу, косо освещенному падающим солнцем, и слышит шепот шин, взбивающих пыль...

Сережа бросает в огонь еловые ветки, смотрит, как они дымят вначале, как валит от них густой седой

дым — испаряются соки из хвои, — потом ветка вспыхивает, и хвоинки изгибаются алой, раскаленной стружкой. Звонящее комарье, как только ветки начинают дымиться, исчезает. Но потом появляется вновь, въедливо кружится за спиной, в тени, и Сережа опять бросает ветки.

Он слушает, о чем говорят мама и Никодим, а сам не может оторваться от костра, от огня, вглядывается в трепещущие его языки, и пламя кажется ему живым. Оно прихотливо меняется — то опадая, то взлетая, и показывает Сереже странные чудеса — то красную, в прожилках, скрюченную руку, то косматый, ощерившийся лик, то крылья птицы. И все это мгновенно: секунда — и крылья исчезли, вместо них — рыжая борода.

Сережа замер, он рад бы повернуться к маме и Никодиму, но глаза его словно привязаны, словно утонули в огне.

— Мне, когда война началась, — говорит Никодим негромко, — было десять лет, а в сорок третьем я решил уйти на фронт. Насушил немного сухарей, упер у матери две свечки — на всякий случай, спичек взял, чаю. Рассовал по карманам, чтоб без мешка ехать, — для конспирации, влез каким-то чудом в поезд, который на Москву шел. — Никодим выхватывает из огня тлеющий сучок, протягивает маме, чтобы прикурила, сам он некурящий. — Ну а правил тогдашних, — продолжает, — не знал. Доехал до Владимира, там проверка пропусков — в Москву по пропускам только въехать можно. Ну, меня прихватили. В изолятор. Вместе с жульем всяким.

— А мы в войну, — перебивает его мама, — в деревню из города перебрались. К родственникам. В городе совсем с голодухи помирали. Летом еще ничего, летом крапиву собирали, щи из нее варили, а зимой совсем голодно. Отец без вести пропал, у матери специальность — домохозяйка. Устроилась на завод грузчицей, а там железо таскать надо, надселась, совсем уже подыхали, да хорошо, мать решилась. В деревне хоть тяжело, но все же еды хватало. Даже на тряпки потом меняли...

— Ну а вы-то, — спрашивает Сережа Никодима и осекается. Ждет, что мама снова ему внушение сделает.

Но мама молчит, а Сережа поправляется: — Как там дальше с ворами было?

— Никак. Доставили меня назад, — отвечает Никодим. — В тюремном вагоне, с решетками. Потом в милицию передали. Мать прибежала, не разбираясь, хлесть, хлесть меня по щекам. Думала, я с ворами связался, что-нибудь украл... Потом разобралась. Еще сильнее дома побила.

Сережа смеется. Не отрывая взгляда от огня, говорит Никодиму:

— Что она у вас такая драчунья! — И добавляет: — А кто она?

Спросил Сережа просто так, механически, без интереса, потому что смотрел загнипнотизированно в пламя, разглядывал огненные фигуры, и вовсе не обратил внимания, что Никодим замолчал и ответил лишь спустя минуту:

— Да так... Женщина...

Потом они пили чай, сваренный в котелке. Сверху в кружках плавали кусочки сгоревших хвоинок, тонкие полоски пепла, и Сережа отдувал их к краю кружки, обжигался вкусной, ароматной жидкостью. Никогда в жизни не пил он такого вкусного чая!

Мама прилегла, голову Никодиму на колени примостила. Никодим ее волосы тихонечко гладит. Сережа на них поглядывает, улыбается. Он теперь не вздрагивает, когда Никодим прикасается к маме. Маме это нравится, тихая улыбка на ее лице бродит. Она о чем-то думает. Мечтает.

Никодим гладит маму по голове, играючи щекочет ей ухо травинкой. Мама, задумавшись, отряхивает с уха букашку, а она ее снова щекочет. Никодим подмигивает Сереже, он улыбается в ответ, мама ловит букашку, не догадывается, что ее разыгрывают. Они не выдерживают, оба фыркают.

Мама смеется, а Никодим начинает петь. Поет он нехорошо, неумело, сразу видно, что медведь ему на ухо наступил, но мама подхватывает песню, и получается уже стройнее. Никодим под маму подстраивается.

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Головой склоняясь
До самого тына.

А через дорогу,
За рекой широкой,
Так же одиноко
Дуб стоит высокий.

Песня грустная, но Сереже вовсе не печально, ему хорошо, ему хочется прыгать, бежать куда-нибудь. Веселье его переполняет, и он подтягивает, вернее, выкрикивает смешливо:

Как бы мне, рябине!
К дубу! Перебраться!
Я б тогда не стала
Гнуться и качаться!

Мама грозит ему пальцем, Сережа умолкает, но веселье так и распирает его. Хочется ему взрослых развеселить, сказать какую-нибудь шутку. Он вспоминает: когда они Пушкина проходили, Понтя весь класс смешил. Мама и Никодим кончают петь, и он им шутку повторяет:

Там царь Кашей по рынку бродит
И спекуляцию наводит.
Он бабки тама продает
И по полтиннику дерет...

Шутка, конечно, не для семиклассника — он все же в седьмой перешел, но ему дурить хочется, а взрослые его понимают: мама шутливо головой качает, Никодим улыбается. Сережа видит: они довольны, и вскакивает с земли. Кричит по-дикарски: ладонью к губам и быстро ею машет. Звук получается пронзительный, непривычный, и эхо подхватывает его.

— Ого-го! — кричит Сережа.

— Ого-го! — кричит мама.

— Ого-го! — кричит Никодим.

Эхо объединяет их крики, отвечает по очереди Сережиным, маминым, Никодимовым голосом:

— Ого-го-го!

Потом они спали. В стogu!

Никодим раскопал подножье стога, уложил туда маму и Сережу и присыпал их сверху. Комары сюда не добирались, но Сережа все равно долго не мог уснуть: сено бесконечно шуршало, тут шла какая-то своя жизнь, может быть, без букашек, без живых существ, но ведь жизнь может быть и у предметов неодоушевленных.

Жизнь могла быть и у скошенной травы, у этих миллионов и миллиардов пахучих, душно-приторных травинок.

Сквозь щелочки в сене Сережа разглядывал небо — громадное, бархатно-синее, со звездными россыпями. На небе, казалось, нет ни одного, даже крохотного, кусочка, где не было бы мельчайшей звезды, и он подумал, что в мире всегда есть сравнимые предметы. Вот, например, огромное небо можно сравнить с этим стогом, совсем, в сущности, небольшим. И все-таки в стогу, наверное, не меньше травинок, чем на небе звезд. Траву эту скосили с целого поля, а для муравьев, к примеру, которые ходят внизу, эта трава казалась бесконечным, необозримым лесом. Сережа улыбнулся. Конечно, муравьи не смотрят на небо. Не видят миллиардов звездных россыпей. Они слишком малы, чтобы видеть высокое небо. К тому же по ночам они спят. Муравьи видят траву, ежи, может быть, — лес, а Сережа, как всякий человек, видит небо. У каждого существа свои измерения, свой мир. Они не думают про Никодима, про маму, они, может, и матерей-то своих не знают, не привыкли знать. Но ведь радуются же и они чему-нибудь. И огорчаться, наверное, умеют. И бояться. И страдать.

Сережа закрывает глаза. Травинки шуршат, пахнут чем-то необъяснимо легким и удивительным.

Сережа засыпает и, кажется, тут же просыпается. Как быстро прошла ночь! Уже утро.

Перебивая друг друга, поют, трещат, заливаются неизвестные птицы в лесу. Над травой, рядом со стогом, кисеей тянется туман.

Мама уже встала и собирает с Никодимом цветы.

Сережа видит, как они наклоняются и будто ныряют в теплое молоко: наполовину исчезают за белой кисеей.

Солнце, похожее на медный блин, выбирается из-за тумана. словно оно окунулось в него и теперь, умытое, выходит на работу.

Они едут дальше.

Спицы сливаются в серебристые круги.

Шесть сверкающих на солнце кругов катятся по дороге, взбивая легкую пыль, выбирают на большак, пропускают мимо себя урчащие самосвалы и стремительные легковушки, потом съезжают на тропку и не-

слышно серебрятся посреди ромашек, голубых колокольчиков, шелестящих пик иван-чая.

«Что такое счастье? — думает Сережа и сам себе отвечает: — Счастье — это как сейчас!»

3

Бабушка их не ждет.

Когда три велосипедиста подъезжают к ее дому, она копается в огороде и долго издали не понимает, кто приехал. Не может себе поверить.

Потом подходит, вглядываясь, осторожно подает ладошку Никодиму, маме, Сереже. Уже тогда говорит испуганно:

— Господи!

Бабушка отходит медленно, постепенно понимает, что произошло, и чем лучше понимает, тем чаще повторяет:

— Господи! Господи!

Сережа смеется. И над бабушкой. И над Котькой. Тот однажды с тетей Ниной к ним в гости пришел и во дворе гулял. Сережа его проводить вышел, смотрит, Котька с девчонками стоит.

Одна лопочет:

— Господи, господи!

Вторая спрашивает ее:

— Что это?

— Это тетя такая, — отвечает первая.

— Эх вы, — важно объясняет Котька, — это говорят, когда гостей не ждут, а они пришли.

Сережа тогда расхохотался. И сейчас смеется. Прав был, оказывается, маленький Котька.

Бабушка ведет их в избу, тут же выводит обратно, крутит колодезную ручку, достает, расплескивая, воду в ведре, подает умываться.

Никодим скинул рубашку, голый до пояса, — смеется, крикает зычно, по-своему: «Хо! Хо! Хо!» Сережа ему подражает — вода ледяная, и он орет, дурачится, растирается длинным полотенцем с красными петухами по краям.

Замечательно все-таки кругом!

И бабушка совсем не злая. Улыбается — пришла в себя! — толстые губы растягивает, показывает ров-

ные, будто у девушки, зубы, и морщинки по ее лицу плывут-расплываются.

Они сидят за длинным деревянным столом, потемневшим от времени, пьют холодное молоко, заедают медом и большими ломтями хлеба, похожими на кирпичи. Потом отдыхают.

— Это так, в перекуску, — говорит бабушка, волнуясь, и Сереже кажется, что ей вовсе не об этом хочется сказать. — Это так, с дорожки, — разъясняет она. — Сейчас курицу зарежу, будем обедать.

Мама, улыбаясь, гладит ей руку, говорит:

— Никодим — мой муж. Вот мы к тебе показаться приехали.

Бабушка кивает головой, хочет улыбнуться, но отчего-то плачет, подходит к Никодиму, тянется к нему — тот к ней наклоняется, целует ее.

— Здравствуй, зятюшко, — говорит она, — здравствуй, золотой!

Мама отворачивается, хлюпает носом, закуривает, смеется.

— Ну что? — спрашивает. — Довольна? Дождалась?

— Дождалась! — говорит бабушка и при Никодиме маму спрашивает: — А он какой? Не пьет? Не блудничает?

Мама смеется, качает головой, бабушка строгость меняет на улыбку и крестит издали Никодима.

Днем они едят наваристый куриный суп, соленые грибы, огурчики, капусту. В большом чугушке парит свежая картошка.

После обеда мама гладит платье, Никодиму брюки, Сереже рубаху, и вчетвером, вместе с бабушкой, все идут вдоль деревни.

На лавочках, на бревнышках возле своих домов люди сидят. Семечки шелкают, транзисторы слушают. На бабушку с гостями глядят.

Одни просто кланяются. Другие встают, подходят за ручку подержаться. Сперва с Никодимом, потом с мамой и с Сережей. С бабушкой за ручку здороваться необязательно — она своя, тутошняя, а гости всем интересны. Сережа заметил: лица у деревенских как бы бронзовые. Загорелые. Только морщинки на лбах, когда люди смеются, распрямляются и белеют.

Сережа себя на этой прогулке неловко чувствует.

Словно зверь в зоопарке. Все на него смотрят. Разглядывают. Маму и Никодима разглядывают больше, и Сережа видит — им тоже неловко, но терпят.

— Э-э! — подходит лысый, но с косматыми бровями старик. — Анька голоногая приехала.

— Она самая, — отвечает мама, деда обнимает, а Никодиму объясняет: — Меня голоногой прозвали за то, что, бывало, без чулок зимой в школу бегала. Нечего надеть.

— Вот-вот, — говорят старик. — Бедовали крепко. Теперь, гляжу, оправились. Вон Евгения-то распухла, — кивает он на толстую бабушку. — Эх, кадушка!

Бабушка старика шутя кулачком по лысине колотит, толкает, сама же смеется.

— Это он, старый лешак, забыть мне не может, что за него не пошла, вдовой осталась!

— Ага! — кивает старик. — А теперь пойдешь? Все смеются.

— Идем! — шутит бабушка, берет старика под ручку, и они впереди шагают. Старик балагурит, берег у мамы папирску, курит. Колечки пускать пытается.

— А ты кто же по специальности-то будешь? — допытывается дед у Никодима.

— Экономист, — отвечает тот.

— Экономист! Хо! Бухгалтер, што ли?

— Нет, — смеется Никодим, — похоже, но не то. Как бы вам объяснить... Главнее, что ли...

— Главнее! — понимает старик. — Начальник, значит.

— Не поняли вы меня, — опять смеется Никодим, — дело это как бы главнее бухгалтерского. Сложнее.

— Экономию, значит, наводишь? — уточняет дед.

— Вроде того! — кивает Никодим.

— Ну с этим ясно, — волнуется дед. — А вот что про Америку слышать? Войны не предвидится?

Дед, как репейник, приставучий. Все ему что-то от Никодима надо. Проводил их до конца деревни. Обратно вернулся.

А деревня Сереже понравилась. Тополями заросла. На плетнях глиняные горшки сушатся. Подсолнухи из огородов головами машут.

Когда домой возвращались, колесный трактор на-

встречу попался. Тракторист, весь черный от копоти, возле них затормозил, кепку снял.

— Ань! — говорит бабушка. — Не узнаешь? Двоюродный брательник.

Мама охнула, трактористу руку подала, рассмеялась, на ладошку поглядев: вся черная.

— Валь! — кричит трактористу. — Приходи с гармошкой!

Под вечер полная изба народу собралась.

Валентин с гармошкой пришел, наяживает. Бабушка с тем стариком пляшет, половицы трещат. Табачный дым не успевает в окошко вылазить. Мама частушки поет:

Я не знаю, как сказать,
Чтоб судьбу с твоей связать.
Чтобы путать — не распутать,
Чтобы рвать — не разорвать.

Гармонист на минуту остановится, рюмку опрокинет, пот со лба вытрет да снова играет.

Сережа и не думал, что у него столько родственников. Двоюродные тетки и дядья. Дети их. Троюродные Сережины братья и сестры, значит.

Один родственник Сереже приглянулся. Парень постарше его. Стриженный под нулевку. На лавочке скромно сидит, скользкий огурец вилкой в тарелке поймать не может.

Надоело родственнику огурец ловить, встал, тихонечко вышел во двор. Сережа подождал для приличия, тоже вышел.

Стриженный парень столбик у крыльца подпирал. Сережу увидел, не удивился. Сунул руку в карман, протянул сигареты.

— Не-е! — испугался Сережа и оправдываться стал: — У меня мать смолит ужас как. Я поэтому табака не выношу.

Парень кивнул, солидно объяснил:

— Меня Колькой звать. — И спросил без перехода: — Ваша техника?

Велосипеды посверкивали в глубине двора.

— Наша, — ответил Сережа.

— Сразу три велика? — удивился Колька.

— Сразу три, — подтвердил Сережа, не вдаваясь в подробности. Предложил: — Хочешь попробовать?

Стриженный Колька закатал правую штанину, вывел Сережин велосипед на улицу, сел как следует, повиляв, едва не навернулся, но все-таки поехал и скрылся в темноте. Вернулся он не скоро, минут через десять. и по тому, как торопливо слез, а потом стал многословно нахваливать велосипед, Сережа понял: все-таки навернулся.

«Ну и пусть, — подумал Сережа, — не жалко, все же родственник».

Родственник поставил велосипед в ограду, вышел на улицу, потоптался немного и вдруг сказал:

— Хочешь на тракторе прокатиться?

— А ты умеешь? — не поверил Сережа.

— Айда, — ответил Колька и, не оглядываясь, побежал.

Трактор оказался тот самый, колесный, на котором ехал Валентин, и тут выяснилось, что Колька — сын Валентина, а трактор водить научился в школе, у них есть уроки механизации, да и отец недаром тракторист.

Колька уселся на сиденье, пристроил рядом Сережу, включил фары. Трактор затарахтел, застрелял, рванул с места.

— А вдруг отец услышит? — крикнул, тревожась, Сережа.

— Не, — мотнул головой Колька, — он на гармошке себе все звуки заглушает.

Трактор вырвался за околицу, помчался по пыльной, мягкой дороге.

— Как легковушка шпарит! — крикнул, шурясь, Колька. И вдруг свистнул — протяжно, по-ухарски. Сережа засмеялся, приставил ко рту два пальца. Теперь они свистели вдвоем, и звук, смешанный с тракторным треском, получился ужасный. Похожий на вой доисторического животного.

— Колька! — крикнул Сережа симпатичному родственнику. — Давай в город приезжай!

— Я был! — ответил Колька.

— Нет, ко мне приезжай. Я тебе все покажу! В киношки ходим! В зоопарк!

— Договорились! — крикнул Колька и повернулся к Сереже. Стриженная голова его в отраженном свете фар походила на круглого ежика.

Сережа рассмеялся. Ему захотелось сделать что-нибудь хорошее этому Кольке. Что-нибудь подарить, к

примеру, щедро. Какое-нибудь сказать словечко, чтобы Колька понял его расположение, сердечность и дружбу.

Все ему нравилось в этот миг: и добрый родственник, который так лихо водит трактор, и пыльная дорога впереди, и мелькающие сбоку березы.

— Ну так приедешь? — воскликнул Сережа.

— Железно! — ответил Колька.

Как приятно, думал Сережа, узнавать новых людей. Вот вчера еще не знал он Кольку, даже не подозревал, что у него родственник есть. А сегодня у него прибавился еще один друг.

— По рукам? — крикнул, веселясь, Сережа.

— По рукам! — ответил Колька. И, повернувшись, протянул Сереже свою ладошку.

Пожать ее Сережа не успел.

Раздался треск, и он как бы очутился во сне: по ним не было земли, он летел куда-то.

4

Теперь Сережа — «самолет».

Левая рука торчит на отлете. От нее к плечам тянутся металлические мачты, обтянутые марлей. Рука гипсом укутана. Посмотришь со стороны — в самом деле одно крыло.

В палате, где он лежит, два «самолета» — он и молодой парень, «пушкарь» — серый дядька с мешками у глаз. Он сломал ногу и лежит на деревянной доске, а нога, как пушка, торчит вверх, прицепленная через колесики к тяжелому противовесу. Есть «рыцарь». Шутейный мужик, балагур, дядя Ваня. «Рыцарем» он стал потому, что сел на подоконник, спиной к улице, покачнулся, вылетел вниз с третьего этажа. Ладно, повезло, упал на клумбу — сломал только шею. Теперь лежит, закованный в броню от затылка до пояса.

Невеселая компания, что и говорить.

Времени много, а девать его некуда. Придет врач с утра, постучит по гипсам, похмыкает, уйдет, ничего не сказав, а что тут скажешь, теперь время нужно, пока переломанные кости под гипсом в покое срастутся.

Сережа читает «Графа Монте-Кристо», толстенный том — мама достала. Кино он смотрел, но книги вот не читал, а в ней, оказывается, поинтереснее. Потом товарищам своим новым пересказывает. Они внимательно

слушают. Довольны, что Сережа время убить помогает. «Укокошить», — балагур говорит.

Он слово берет, когда всем все надоест и уж немоту станет. Когда уж и «Граф Монте-Кристо» не помогает.

— Кхе, кхе, — начинает, — однако, вот выпишусь, в космонавты пойду. А что? — сам себе удивляется. — Там мягкая посадка, а я и твердую испытал, возьмут...

От тоски да скуки больным любая шутка мила. Самая малая.

— Хотя нет, — говорит дядя Ваня. — Надо еще себя испытать. Этажа с десятого бы жахнуть.

— Ты хоть испугаться-то успел? — спрашивает его «пушкарь».

— Зачем пугаться? — отвечает «рыцарь». — Я, может, к этому прыжку всю жизнь готовился.

Сережа покатывается.

У дяди Вани трое пацанов. И жена — худенькая, замотанная. Они приходят в конце дня: жена с работы забегает в магазин, потом за ребятами, и все вместе они приходят к отцу. Жена перед ним отчитывается долго, подробно: чего купила, куда ходила, кто из соседей чего сказал, как ведут себя дети — каждый в отдельности. Дядя Ваня делается серьезным, все строго слушает, потом внушительно разговаривает с пацанами — наказывает, кто как вести себя должен, но под конец не удерживается.

— А то брякнетесь, — говорит, — как ваш папка, с третьего этажа. Да коли не на клумбу!

Сережа прыскает, жена балагура уходит, рассерженная, но на другой день они снова все вместе являются с тощенькими гостинцами: яблоком или банкой компота.

Дядя Ваня работает на асфальтовом катке, делает дороги. Каток все-таки напоминает трактор, и Сережа рассказывает ему, как катался он ночью с дальним родственником, стриженным Колькой, как врезались в березу и Сережа пролетел вперед метров на семь, пока не приземлился, потеряв память.

— Тоже, значит, летун, — роднит его с собой дядя Ваня. А про память объясняет коротко: — Замыкание! У меня тоже было.

Серый «пушкарь» хоть и смеется дяди Ваниным шуткам, но осуждает его, когда тот из палаты по нужде выйдет.

— Балабол! — говорит он.

— Откуда вы знаете? — возмущается Сережа.

— Хе, — машет рукой унылый «пушкарь», — да по специальности видаты! На катках бабы работают.

Это Сережу не убеждает. Ему дядя Ваня нравится. Если бы не он, совсем они тут посохли.

Два раза в день — утром и вечером — к Сереже приходит мама. И оттого, что видит он ее с перерывами, а не подряд, изменения в маме Сереже лучше заметны.

Главное изменение в том, что она красивее стала. Лицо глаже — чуточку пополнела. Платья у мамы новые появились — цветастые, яркие, они ей идут, молодят. Туфли на высоких каблуках носит — выше ростом стала, приподнялась. А главное — улыбается все время.

— Ох ты, горюшко мое, — говорит Сереже, а сама улыбается. Видно, что горюшка нет, хоть он и в больнице оказался.

Тогда, после тракторной катастрофы, Сережу в районную больницу повезли. На большаке машину остановили и помчались. Пока до райцентра ехали, мама у шофера узнала, что он в город едет. Ну, вместо райцентра его сразу сюда доставили.

Так что быстро свадебное путешествие закончилось. И велосипеды у бабушки остались. Но не это Сережу волнует. Интересно, как у Кольки дела? Он маму спрашивал, она ответила уклончиво — ничего. Трактор не сильно побился, только большая вмятина в радиаторе и фары — вдребезги.

— Попало ему? — спрашивает Сережа. Мама плечами пожимает, улыбается неопределенно.

— Наверное, — говорит, — немножко...

Сереже жаль Кольку. Он же знает — тот его катал от чистого сердца, в благодарность за велосипед.

Сережа просит, чтобы мама принесла листок бумаги, ручку, она приносит, и он пишет письмо:

«Колька, не унывай, я поправлюсь, ничего особенного, просто перелом, только чешется шкура под гипсом, но уговор дорожке денег, приезжай в город, как обещал. Привет!»

Мама придерживает листок, чтобы удобнее писать, потом читает послание.

— Ты не забыл? Ведь завтра день рождения! — спрашивает она.

В середине июля у Сережи день рождения. В этот раз — четырнадцать лет. Но ведь как не повезло с рукой! День рождения — в больнице.

— Может, выпустят? — жалобно говорит Сережа. Ему хочется, чтобы день рождения дома был, чтобы позвать Понтю, Роберта из кружка. Может, позвать Ваську.

— Не унывай, — отвечает мама и снова смеется. — Что-нибудь придумаем.

Вечером Сережа засыпает не сразу. Долго возится на правом боку. Надоело ему на правом боку спать, до смерти хочется левую руку на затылок забросить, повернуться. Но левая рука вверх торчит.

Сережа ерзает, пытит, искомкал простыню. Наконец притихает. Думает: что же завтра мама изобретет?

Но мама ничего не изобретает. Ее просто нет.

Всегда два раза в день — утром и вечером — приходит, а сегодня, в такой день, ее нет.

Сережа ест утреннюю больничную кашу, и обида хмурит его лицо. Ему тоскливо, тяжело, не хочется никого видеть, даже балагура дядю Ваню.

А тот, как назло, старается. Мелет какую-то ерунду. «Пушкар» и второй «самолет» ржут. Дядя Ваня умолкает, подходит к Сереже, садится рядом. Молчит. Протягивает яблоко.

Сережа смотрит на дядю Ваню, на «рыцаря» в гипсовой броне, разглядывает его внимательно, словно видит в первый раз, потом говорит негромко:

— Спасибо, дядя Ваня.

Тот хмурится. Черные брови съезжаются на переносице, соединяются в одну черную полосу.

— Между прочим, я тебя за умного мужика считал, — говорит. — А ты скис. Думаешь, мама тебя забыла? Дурак! Она потому и не идет, что помнит. Вот увидишь.

Настроение у Сережи поднимается. Он не отрывает взгляда от двери. Конечно! Что за сомнения! Мама придет, и не одна — с Никодимом, он просто уверен в этом.

Когда терпение начинает иссякать, дверь действительно открывается. На пороге стоит Понтя во взрослом халате. Халат полощется по полу, рукава на Понте, как на пугале, свисают вниз.

Понтя делает шаг в палату, и на пороге возникает Васька.

Сережа приподнимается, пораженный и смущенный.

Он чувствует, как начинают гореть щеки. Галя изменилась, пока он ее не видел. Глаза, кажется, стали еще больше и вообще... Какая-то совсем взрослая. Ее теперь и Васькой-то не назовешь.

Сережа смотрит на Галю, но та тоже делает шаг вперед и уступает место Никодиму. Сережа приветливо машет ему здоровой рукой, ждет, когда появится теперь мама, но вместо мамы в палату входит Котька, за ним тетя Нина и Олег Андреевич в своей форме. Вот это да: столько гостей сразу! Сережа теряется, ему нужна помощь, и помощь приходит. Это мама. Она стоит на пороге нарядная, с новой прической, ароматная, благоухающая.

Все поздравляют Сережу, жмут ему руку, балагур и второй «самолет» норовят выйти, смущенные таким обилием гостей, но мама их не выпускает, они сдвигают табуретки, застилают газетами, потом чистой скатертью — мама принесла ее с собой, и из авосек выгружается еда. Жареная курица, помидоры, огурцы, большая миска со смородиной, пышный узорчатый торт.

— По всем правилам! — кричит Понтя, втыкает в торт четырнадцать тонких свечек, какие на новогодних елках бывают, и зажигает их.

Все замолкают на мгновение. И вдруг Сережа видит, что Котька сложил ладоши лодочкой, прикрыл глаза и шевелит губами. Он хочет засмеяться, но тетя Нина перегоняет его.

— Ты что, Константин? — спрашивает Котьку строго.

— Я, мама, молюсь, — отвечает Котька серьезно.

— Как молишься? — удивляется Олег Андреевич.

— Вот так! — говорит Котька. — О бог, святыня браголодная, сделай так, чтобы Сережа скорее поправился.

Балагур дядя Валя даже подпрыгивает на кровати.

— Ой! — кричит он. — Помогите! Не могу!

Все хохочут, покатываясь, утирая слезы, а Понтя даже икая.

Открывается дверь, и заглядывает нянечка. Смотрит, что все смеются, моргает глазами и, не зная, что к чему, сама смеется.

Через неделю после дня рождения выписали второго «самолета», а дяде Ване сделали новую операцию. Что-то у него не так срасталось.

— Это надо же, — говорит он, покрываясь липким потом, серея, но все-таки улыбаясь. — Второй раз шею сломали и снова составили.

От боли он курит, пуская дым под одеяло, кривит губы.

Тогда, в день рождения, когда ушли гости, дядя Ваня спросил Сережу:

— Который отец-то? Милиционер?

— Нет, другой, — ответил он автоматически и осекся.

Выходит, назвал Никодима отцом?

Сережа задумался. Выходит...

Ему стало грустно. Как он быстро от отца отказался... Давно ли Никодим к ним пришел? Третий месяц... Три месяца назад Сережа его ненавидел, а теперь относится хорошо, привык. Может, даже любит?

Сережа думает о Никодиме, вспоминает про свадебное путешествие, как они в стогу ночевали, как на заре Никодим собирал с мамой цветы, а еще прежде, у костра, гладил ее голову, щекотал ухо травинкой.

Раз мама любит Никодима, значит, и он любит ее. Выходит, так? И выходит еще, что Сережа должен любить его. Должен считать отцом?

Сережа думает про измену, про страшную измену, которую он совершил. Вот он согласился, что Никодим — его отец. И этим как бы предал отца настоящего.

Отец у Сережи — летчик, он этим всегда гордился. Хотел быть похожим на него. Модели клеил. А теперь... Теперь что же выходит?

Он прикрывает глаза, пытается вызвать из памяти неизвестное лицо отца — то похожее на Чкалова, то с улыбкой Гагарина, то на тех, в высотных костюмах. От усилия Сережа даже сжимает веки. Но не выходит... Это ужасно — не выходит. Он клянет себя последними словами, щиплет за ногу, но у него ничего не получается. Три месяца, всего три месяца назад отец снился ему ночами — пусть с разными лицами, но снился, а теперь он видит во сне что угодно, всякую чепуху, но отца нет. Нигде нет. Ни во сне, ни в памяти.

Мамины улыбки начинают раздражать его. Ему противны ее яркие платья, прическа, каблуки. Он смотрит исподлобья, когда она приходит, и хмурится. Мама спрашивает, что с ним случилось, шутит, пробует расшевелить, но Сережа от этого только больше раздражается. Потом говорит негромко, чтобы не слышали соседи:

— Ты все забыла?

— Что забыла? — удивляется мама.

— Про меня. Забыла, да?

Мама трясет головой, не понимает никак.

— Кем я буду, — говорит он и видит, как мама грустнеет.

— Нет, — отвечает она. — Помню. Я звонила в кружок. У них скоро соревнования.

— Когда? — приподнимается Сережа.

— Могу уточнить, — обещает мама.

Сережа припоминает новый самолет, управляемый по радио, который они вместе с Робертом начинали, припоминает запах казеинового клея и тишину, которая бывала в кружке.

Что ж делать, отца нет, и нет его карточки, чтобы знать и помнить лицо. Но есть его дело. Есть авиация. И авиамodelьный кружок!

Сережа ловит пристальный мамин взгляд. Она разглядывает его строго, как взрослого, который сказал серьезную вещь. Глаза ее не улыбаются — смотрят широко, удивленно, как тогда.

— Я все помню, — говорит она ласково. Неожиданно добавляет: — Но и ты помни про меня.

Сережа не понимает этих слов. Что она хочет сказать? Что он не помнит про нее? Очень даже хорошо помнит. Разве забудешь? Он улыбается. Отходит. Разве забудешь хотя бы день рождения?

А потом у него снова праздник.

Спустя несколько дней утром вместо мамы приходит Никодим. Он достает из авоськи сверток. Сережа смотрит с любопытством — что там вкусненького? Но Никодим достает не еду, а Сережины брюки.

— Одевайся скорей, — улыбается он, — едем!

Сережа знает — выписать его не могут, пока не снят гипс, волнуясь, надевает брюки, не спрашивая ничего, оттягивая узнавание, потому что узнавание, судя по Никодиму, будет приятным.

И все-таки не выдерживает:

— Куда?

— На аэродром, — отвечает Никодим.

— Зачем? — удивляется Сережа.

— Твои соревнования! Едва врача уговорили — только на два часа.

Сережа подпрыгивает от счастья! Никодим помогает натянуть брюки, набрасывает на плечи спортивную курточку. Они идут вниз. Там урчит такси.

— Заедем за Котькой? — смеется Никодим. — Тетя Нина просила.

И вот они вместе с Котькой и Никодимом летят по асфальту за город, и вот уже из-за кустов видно аэродромную мачту с полосатой колбасой, по которой определяются направление и сила ветра, а потом появляются ангары с полукруглыми крышами, двери у них открыты, и в ангарах темнеют похожие на этажерки АНы.

Еще из машины Сережа видит красный стол судейской коллегии и выстроившихся в шеренгу ребят. Перед каждым на траве стоит модель. Модели разноцветные, и оттого кажется, что на зеленой траве переливается радуга.

Сережа выбирается из машины. Его гипсовый «самолет» привлекает внимание шеренги, ребята разглядывают его, он видит, как кто-то машет рукой. Роберт! Это он!

— Привет рекордсмену! — кричит Роберт.

Сережа сигналил Роберту, кивает знакомым ребятам. Он чувствует за спиной дыхание Никодима, и он счастлив! Пусть Никодим увидит его самолеты! Пусть он узнает, кем будет Сережа!

Сережа думает об этом без иронии, без превосходства. Просто Никодим должен знать это, вот и все.

— Что ли, ты летчиком будешь? — спрашивает Котька, увлеченно ковыряя в носу.

— Может, летчиком, — отвечает Сережа, — а может, конструктором. — И предлагает Котьке в порыве счастья: — Давай и ты!

— Даваю, — соглашается Котька. — Но я еще не решил, кем буду. Может, диктором, может, сыщиком.

Они отходят в сторонку. Садятся в траву. Стрекоз чут кузнечики. Всплескивают крылышками красные и белые бабочки. Зеленое поле спортивного аэродрома

только кажется зеленым. Оно цветное. Оно алеет, голубеет, желтеет, и Сереже после больницы, после духоты и противного запаха лекарств дышится освобожденно, легко.

Он улыбается. Котье и валит его здоровой рукой на землю, борется с ним, благодарно смотрит на Никодима.

— Никодим Михайлович, — спрашивает Сережа, — а вы, что же, с работы отпросились?

— Отпросился, — говорит Никодим, — у мамы срочная запись, она не могла, и я договорился.

Сережа вновь вглядывается в него, в который раз за немногие эти месяцы. Да нет, Никодим — замечательный! Он добрый человек, а добрые люди всегда замечательные. И глаза у них добрые, открытые, и лицо прямое, светлое. У Никодима все такое. И уши тут ни при чем. Уши у людей могут быть всякие. Даже должны!

Сережа садится рядом с Никодимом, прижимает к себе Котьку. Потом, подумав, тихонько прислоняется к Никодиму спиной.

Никодим обнимает его за плечо. Сережа прислоняется к нему посильней.

Ему хорошо.

Просто великолепно!

В поле урчат бензиновые моторчики. Ревут, форсируя обороты. Одна за другой модели взлетают в вышину, чтобы сесть потом в поле. У кого дольше летает, у того, значит, лучше модель. Надежный фюзеляж, легче крылья. У того вернее глаз и умнее расчет. Ведь в каждом лишнем метре, который пролетят модели, целая зима работы. Сережа знает, почему фунт модельного лиха. Строишь самолет долго, а он в последнюю минуту не летит. Отказывает мотор. Или плохо отцентрирован корпус. Сколько горя потом, обиды. Хочется бросить все, растоптать ногами самим же сделанную птицу.

Модели взлетают, а Сережа переживает за каждую. Вот ровно идет, набрала высоту, значит, все в порядке. Моторчик стрекочет в тишине, потом замолкает. Кончился бензин. Но модель не падает. Она летит и летит плавными виражами. Это воздух. Восходящие потоки. Невидимые струи воздуха не дают упасть модели.

Сережа осторожно трогает руку Никодима. И вдруг слышит шепот:

— Сергей! — шепчет ему, наклонясь, Никодим. — Сережа! Хочешь быть моим сыном?

Сережа резко оборачивается к нему.

— Как это? — говорит он. — Как?

— Я тебя усыновлю. Ты будешь мой сын...

Сергей смотрит на Никодима широко раскрытыми глазами.

Мысли несутся в нем ураганом. В этих мыслях есть все — испуг, смятение, сомнение, радость, подозрение.

Но им владеет то, что вокруг, то, что сейчас.

Аэродром, бабочки, Никодим, модели, летающие в синеве, солнечное тепло, Котька.

Им владеет реальное счастье — необходимое, как воздух, и он не может думать о плохом в эту минуту.

— Хочу! — говорит он Никодиму. И повторяет жарко, словно в омут бросается: — Хочу! Хочу! Хочу!

6

Август. Духота. На листьях тополей и акаций толстый слой пыли: давно не было дождей.

Сереже сняли гипс. Рука срослась замечательно. Только малость похудела, и надо ее разрабатывать.

Каждый день Сережа ходит в кабинет лечебной гимнастики. Шевелит пальцами, сгибает и разгибает руку, крутит ею. А остальное время — на речке.

Вместе с Понтей они ныряют в маске и с трубкой, бурлят воду ластами. Выныривают, отплеываясь, засекают на счет, кто дольше под водой пробудет, кто дальше пронырнет не дыша.

За лесом, над спортивным аэродромом, прыгают парашютисты. Сережа видит, как медленно, старательно урча мотором, АН-2 поднимается над верхушками сосен и от него отрывается черная точка. Вспыхивает парашют, другой, третий, лес проглатывает их, а самолетик снова ползет в небо и опять бросает парашютистов.

Сережа стоит по пояс в воде, смотрит, как мелькают в прозрачной воде Понтины ноги, и опять думает об этом, опять, опять...

Это было все тогда же, в тот замечательный день во время авиамodelьных соревнований. Сережа был счастлив, бесконечно счастлив, и еще Никодим сказал свои слова... Сережа согласился. Не было никаких сомнений,

впрочем, что говорить — он и теперь согласен, но дело не в том.

Тогда, на авиамodelьных соревнованиях, произошло еще одно событие. И Сереже стало стыдно за Никодима.

Все случилось словно бы нарочно. Модели взлетали одна за другой, наконец настала заветная минута: на старт вышел Роберт с новым самолетом.

Сначала все шло нормально. Роберт крутанул пропеллер, мотор заверещал пронзительно и отчаянно. Самолет пошел плавно в высоту.

— Видите! — кричал Сережа Котьке и Никодиму. — Видите!

Красный самолет смело разрезал воздух, потом неожиданно пошел резко вверх, почти вертикально пошел, видно, заело элероны, звук мотора сделался надрывным, дребезжащим, самолет нехотя вывернул набок и вдруг пошел вниз. Прямо на них.

Сережа глядел на красный самолет, толкая рукой Котьку, но Котька не уходил — им кричали что-то, и тут Сережа почувствовал, что теряет опору. Он повалился. Рядом раздался треск, и все стихло.

Сережа увидел красный самолет, воткнувшийся в траву, бегущего к нему Роберта.

А потом — Никодима.

Он стоял метрах в двадцати позади Сережи и Котьки, растерянно оглядывался и чертыхался. Сережу словно ударило: Никодим убежал! А их оставил! Сережа сидел, навалившись на Никодима, а потом потерял опору...

Они скоро уехали в больницу — пришла пора возвращаться, — и чем дальше отъезжали от аэродрома в подвернувшемся «газике», тем больше Сережа стыдился: ведь Никодим бросил их, испугавшись за себя!

Времени прошло уйма — целый месяц. Сережа из больницы выписался, плавает вот с Понтей, но как напмнит ему что-нибудь про аэродром — модель или парашютисты вот эти, — так он сразу вспоминает испуганное, растерянное лицо Никодима.

Конечно, если подумать, можно ли винить Никодима? Что мог он сделать тогда? Прикрыть их собой? Как прикроешь? Ляжешь, что ли, на них? Вторую руку Сереже сломал бы. А потом психологически объяснить

можно: им же кричали. Сережа не опомнился, и Котёк не сообразил, а Никодим среагировал. Вскочил и убежал. «Бдительный».

Сережа вспоминает смешной Никодимов рассказ про то, как он баллон расстрелял. И как солдаты его прозвали.

Сережа старается забыть странный случай. Тем более Никодим ему сказал такие слова... Но не забывается. Словно заноза в голову попала.

Нанюрявшись досыта, Сережа и Понтя идут домой и рассуждают о подводном плавании.

— Мой отец, — говорит Понтя, — может минуту под водой просидеть.

— А дед, наверное, все пять, — ехидничает Сережа. Ему ужасно надоело, что Понтя каждую минуту то на деда, то на отца ссылается: «Мой дед!», «Мой отец!»

Понтя дуется. Молчит. Молчит и Сережа. Ему неловко. Вот сказал, а вышло будто по злобе. Ему тоже хочется сказать: «Мой отец!» Но он не может.

Чтобы загладить свое глупое ехидство, Сережа хочет сказать Понте про Никодима. Про то, что тот его усыновить хочет. Он уже совсем решает рассказать это Понте, но что-то удерживает его в последнюю секунду. Какое-то суеверие.

Усыновит, тогда скажу, решает он, хлопает Понтю по плечу, и ему радостно оттого, что промолчал, сдержался. Что оказался сильным сам перед собой. Сдержаться вообще труднее, чем сболтнуть.

С Понтей Сережа прощается у дома. Прыгает по скрипящим деревянным ступенькам, осторожно придерживает дверь, чтобы у соседки мозги не вылетели, входит в комнату, оглядывается, глазам своим не верит.

У стола сидят Никодим, мама и — господи! — Литература.

Сережа застывает на пороге, ничего не может сообразить.

— Здравствуйте, — первой здоровается Вероника Макаровна.

— Знакомься! — говорит Сереже Никодим. — Это моя мама.

Мама! Сережа неловко роняет на пол ласты, нагибается, чтобы поднять, лихорадочно соображает: значит, Литература — его мать? Он вспоминает приезд

Никодима. На другой ведь день Никодим шел с Литературой по улице. Но Сережа тогда не задумался почему, знакомые, и все, мало ли! И вот, оказывается, Литература — Никодимова мать и его, Сережина, родственница.

Он поднимает ласты, выходит на кухню, долго мылит там руки и все не может прийти в себя.

За столом ему неловко, он глядит в стакан, потеет и думает о том, что пришел домой рано, надо было еще погулять.

Взрослым, похоже, тоже неловко, они молчат, бренчат ложечками в стаканах с чаем.

— А ваш голос, — нарушает молчание Литература, — я часто слышу. Приятный голосок...

— Ничего, — сдержанно отвечает мама. — Специалисты хвалят. — Слово «специалисты» она произносит с ударением. Сережа поглядывает на нее. Лицо у мамы вежливое, но не доброе. Он приглядывается и замечает, что мама сидит напряженно, неестественно прямо. И голову подняла гордо. Сережа переводит взгляд на Никодима. Тот растерянно глядится в никелированный чайник.

«Зачем уж она так», — думает он про маму и размышляет о Литературе. Что бы мог он сказать про свою учительницу? Вообще-то мнения о взрослых у ребят не спрашивают, к тому же об учителях. Но мнение имеется. Одних учителей любят, других — нет, а Вероника Макаровна — никакая. Вернее, обыкновенная. Только ругается часто, что ребята ее предмет не любят. Русский, мол, понятно, там правил много, а литературу — за что? Как интересно: Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Действительно, за что? Но не любит, это верно. И неизвестно за что. А вообще Литература обыкновенная. Вот только из-за каблуков и чулок выглядит чудачкой. И не вредина она, не злая — зря мама с ней так говорит.

Снова слышен звон ложечек в стаканах, опять молчат взрослые. Вероника Макаровна снова первой заговаривает, будто маму приступом, как крепость, берет.

— Вы должны меня понять, — говорит она вкрадчиво, — наши судьбы очень похожи, я потеряла мужа в войну, Никодим рос тяжело...

Сережа видит, как напряглась учительница, как волнуется она и как неприступна мама. «Нехорошо это, — думает он, — негостеприимно. — И пугается по-свое-

му. — Будет теперь Литература двойки из-за этого ставить!»

— Не женился он долго, мне хотелось, чтобы все у него было хорошо, понимаете? Как следует!

— Понимаю! — говорит мама злым голосом. — А вышло не как следует! — И вдруг наклоняется к Веронике Макаровне, спрашивает ее мягко и ехидно: — Кто вот только меня поймет?

Вероника Макаровна заливается краской. Сережа не очень понимает, о чем это они так странно говорят, но чувствует, что разговор всем неприятен. Ему хочется, чтобы взрослые перестали так говорить, хочется перебить их, отвлечь чем-нибудь. Растерянность у него уже прошла, и, хотя радоваться не приходится, что учительница оказалась еще и родственницей, ничего ужасного пока не произошло. Сережа ерзает, придумывает, что бы ему сказать подходящее к моменту, и вдруг для себя неожиданно бухает невпопад:

— А Никодим Михайлович рассказывал, как вы его ремнем лупили.

Сережа краснеет, понимая, что ничего он не улучшил, наоборот, только испортил и Вероника Макаровна сейчас встанет и уйдет, он хочет добавить какие-нибудь слова, объяснить подробнее свою мысль, но только теруется от этого и подавленно молчит.

Вероника Макаровна испуганно глядит на Сережу, не понимая, в чем ее обвиняют, и вдруг улыбается:

— Это когда он на войну убежал? — спрашивает она. Никодим оживляется, перестает глядеть в чайник, благодарно смотрит на Сережу, а Вероника Макаровна объясняет: — А я в тот момент ничего другого придумать не могла. Била, а сама боялась: вдруг снова всевать удерет?

Сережа улыбается: слава богу, что Вероника Макаровна его поняла, и еще хорошо, что мама сидит не напряженно и злое выражение сошло с ее лица. Теперь разговор идет обыкновенный, простой. Никодим рассказывает, что маме обещают дать к Октябрьским квартиру в новом доме. Вероника Макаровна участливо кивает головой, близоруко, как в классе, щурится, оглядывая комнату и соглашаясь с тем, что новая квартира, несомненно, нужна. А мама смотрит в стакан, и лицо ее измученно, устало, расстроено. Наверное, ругает себя за свои же слова. Такая уж она, мама.

К Октябрьским квартиру не дали.

Но это ничего не значит. К Новому году непременно ладут.

По вечерам, после работы, мама водит Сережу и Никодима к их дому. Дом уже есть. Он построен. В нем даже горят огни. Правда, пока огни освещают мутные окна, измазанные белилами. Рабочие белят потолок, красят полы.

Мама притопывает сапожками, смеется весело, валит Никодима в сугроб.

— Скоро, — кричит, — скоро в ванне будем мыться, под душем плескаться! Хватит в баню ходить! Надоело!

Никодим барахтается в снегу, Сережа толкает к сугробу маму, хочет ее тоже посадить в сугроб, но Никодим голосит:

— Осторожно! Осторожно!

Сережа оставляет маму в покое.

Сначала он никак не мог понять, в чем дело. Почему мама с ним все о Котьке заговаривает?

— Как тебе Костик тети Нинин, нравится?

— Мировой мужик, — отвечал Сережа. — Мыслитель! А что?

— Ничего, — соглашалась мама. И восхищалась: — Такой проказник! К ним ремонт пришли делать. Малыры принесли бочку с золотой краской — цветы на штукатурку наносить. Так он в этой краске вывозился, приходит и хвастается: «Я золотой!»

Сережа смеялся. Известное дело, Котька. Что-нибудь да выдумает. И мамины слова буквально принимал. Нравится ей Котька, и только.

Это еще летом было. Но потом, к осени, мама что-то поправляться стала. И уже в открытую разговаривать принялась: кого бы Сережа больше хотел — братика или сестренку? Сережа сперва чуть не заплакал от обиды. Без него решили! А теперь спрашивают!

Он себя почувствовал одиноким, бездомным, ненужным. Мамино такое решение ему казалось предательством, жестоким эгоизмом. Он дулся, не разговаривал. Мама Сережу разглядывала с любопытством. Потом подвела итог:

— Это потому, что ты один всю жизнь рос. — И при-

бавила, подумав: — Подумай только, будет у тебя братишка. Такой же забавный, как Котька.

Сережа подумал. Ну, если как Котька — куда ни шло. А через несколько дней сам над собой смеялся. Ну если даже не как Котька, чего особенного? Или если девочка, то что?

— Ну ладно, — сказал он маме, — рожай кого тебе хочется. На твое усмотрение.

Мама расхохоталась. Потом сказала:

— Девочку хочу! И мальчика!

Теперь уж Сережка смеялся:

— Жадная!

— Жадная, — кивнула мама, — жадная, Сергунька! Хочу, чтобы много детей у меня было. Ведь дети — это для женщины счастье! Это ее продолжение, понимаешь? Дети — продолжение человеческого. Вот будут и у тебя дети, а у твоих детей еще дети, твои внуки, а у тех еще — правнуки твои, и так вечно!

Мама вообще очень переменялась. Грубо не говорит. Курить совсем бросила.

— Это им вредно, — говорит мама и кивает на себя. Шутит: — А то еще родятся да вместо соски запрасят папироски.

Они хохочут. Стихи получают! Вместо соски запрасят папироски!

Вообще смеются они часто. Вот и теперь. Вытащила мама с Сережей Никодима из сугроба, вытерла слезы от смеха и говорит:

— Не к добру это! После смеха — всегда слезы!

— Типун тебе на язык! — говорит Никодим. — Заладила!

Дом, в котором дадут маме квартиру, стоит перед ними важно, осанисто. Сережа даже немного робеет перед ним, представляет, какая будет у них квартира, какую купят они мебель.

Он вспоминает, как бабушка, приезжая, укоряла маму, что живет она не как люди, что нет у нее квартиры, приличной обстановки, и вообще... Мама отвечала ей: «Значит, не задалась твоя дочка». А потом гоняла по комнате табачный дым.

Как изменилось все, думает Сережа. Будет теперь и у них хорошая квартира. Но и это не главное. Мама — счастливая, вот что важно. Ничем не отличишь ее теперь от тети Нины.

«Дурак! — тут же клянет он себя. — Какой я дурак был! Ведь если бы Никодим к нам не пришел, ничего же не изменилось, так бы и осталось все, как было».

Он обзывает себя дураком, хвалит Ваську за то, что уму-разуму научила, думает о новом годе, каким он будет.

Еще счастливее?

Конечно, счастливее!

Так и выходит, как Сережа думает.

Ключи от квартиры им дают в три часа. Тридцать первого! А в двенадцать — Новый год.

Мама примчалась домой на такси, ворвалась румяная, хохочущая. В руке железный ключик высоко держит. Словно волшебный, золотой. Никодим за спиной посмеивается.

— Собирайся! — кричит мама Сереже. — Летим!

Они летят в такси, их на каждом шагу норовят остановить — все торопятся, времени мало, но машина мчится, круто руля, норовя носом врезаться в сугроб!

— Потише! — кричит, смеясь, мама шоферу. — Мы в новую квартиру еще не въехали! Да и вообще! На тот свет не торопимся! У нас на этом еще дела есть!

Шофер улыбается, разглядывает маму — в пушистом зеленом берете, с помпошечкой, — говорит неожиданно:

— Что-то, извините, мне ваш голос знаком.

— Знаком! — важно надуваясь, отвечает мама. — Каждое утро слушаете, какую я вам погоду объявлю.

— Нет, правда? — удивляется шофер. — Вы, что ли, и есть Воробьева?

— Ветер умеренный, до сильного, — говорит, чуть меняя голос, мама. — Температура в области пятнадцать, в южных районах — минус двенадцать. В городе ожидается малооблачная погода. — Она смеется, не выдерживает.

Шофер мотает головой.

— Как это у вас получается? — говорит он. — Учились где?

— Самоуком! — смеется мама.

Потом они бегут по лестнице на пятый этаж. Дом пятиэтажный, без лифта.

— Тяжело ходить будет! — говорит Никодим.

— Ни чер-рта! — бушует мама.

— Тебе же нельзя, — кричит ей вслед Никодим. Она обогнала их на целый марш. — Да осторожнее! — сердится он. — Сумасшедшая! Куда летишь?!

— К небу! — шутит мама. — Выше, к небу!

Дрожащей рукой поворачивает мама ключ в двери, распахивает ее, скинув сапожки, бежит в одну комнату, потом в другую. Возвращается молча, едва дыша, и бросается на шею Никодиму.

Он ее подхватывает осторожно, кружит на месте. И вдруг мама плачет.

Никодим отпускает ее. Мама садится на пол, слезы градом льются из глаз.

— Боже мой! — говорит мама. — Подумать только! И все это мое! — Она показывает на Сережу. — И ты! — Смотрит на Никодима. — И ты! — Разводит руками, обхватывает квартиру. — И это!

Она плачет горько, безутешно, и тут же смеется, и вытирает лицо пуховым беретом, размазывая краску с ресниц.

И Сережа неожиданно замечает: лицо мамы, еще только что радостное, вдруг делается усталым. Словно мама долго-долго шла по какой-то дороге и вот пришла, села. Все в ней опустилось, оборвалось.

Она пришла к цели.

8

Вечером они сидят на матрасах, разложенных по полу, а посредине большой лист ватмана. Это стол. На нем вина и закуски. Кроме матрасов, ничего перевезти не сумели, да не беда! Не беда, что на окнах занавесок нет, что маленькая лампочка, голая, без абажура, едва освещает комнату, главное — есть новый дом. И есть елка.

Ее Олег Андреевич принес.

— Котькина инициатива, — сказал серьезно. — Это он предложил свою елку вам отдать. И игрушки при- тащил.

У Сережи игрушки есть, но они остались в старой комнате, про них забыли в суете и хлопотах, а Котька молодец. Пыхтит, тащит большую картонку. Они раз-

вешивают игрушки и гирлянды с цветными лампочками, включают ее, и в доме сразу наступает праздник.

— Ур-ра! — кричат гости.

До Нового года еще полчаса, и мама вдруг предлагает:

— Хотите прочту стихи?

Все хлопают ей.

— Их записали на пленку, — объясняет она. — Скоро передадут. Но динамика нет, я вам сама прочитаю.

Наступает тишина.

Мама стоит коленками на матрасе. Лицо ее светлеет. Она говорит:

— «Как выпить солнце»! Владимир Солоухин...

Немного молчит.

Профаны,
Прежде чем съесть гранат,
Режут его ножом.
Гранатовый сок по ножу течет,
На тарелке — красная лужница.
Мы
Гранатовый сок бережем.

Сережа разглядывает гостей. Тетя Нина смотрит на маму во все глаза, будто впервые видит. Олег Андреевич — напротив, уперся взглядом в пол и думает тяжело о чем-то. Еще Виктор Петрович, звукооператор — дядька с маминой работы, — волосы у него столбом, похожи на серый дым. Он пришел с женой, румяной и толстой, — у нее щеки как две булочки. Хорошо, что все на матрасах сидят — ей бы и двух стульев не хватило. Улыбается, внимательно слушает маму.

Обтянутый желтою кожурой,
Огромный,
Похожий на солнце плод,
В ладонях медленно кружится.
Обсмотришь его со всех сторон:
Везде ль кожа целая.
А пальцы уж слышат сквозь кожуру
Зерна —
Нежные, крупные,
Нажмешь легонько
(Багряна мгла!),
Кровью брызнули три зерна.
(Впрочем, брызгаться тесно там —
Глухо и сочно хрупнули.)

У Сережи слюнки текут от кислого гранатового сока. Граната нет, а слюнки текут, так мама вкусно читает.

Теперь осторожно мы мнем и мнем
Зерна за рядом ряд.
Струи толкуются под кожей,
Ходят, переливаются.

— Сергуня, — зовет его Котька и тянет за рукав.
— Чего тебе! — ворчит недовольно Сережа.

Стал упругим.
Стал мягким жесткий гранат.
Все тише, все чутче ладони рук:
Надо следить, чтоб не лопнул вдруг —
Это с гранатом случается...

— Я хочу, — дергает его Котька.

Сережа недовольно встает, ведет Котьку в туалет. Так и не дослушал он, что там с гранатом надо делать.

Любопытно, рассуждает Сережа. Мама ему покупала раньше гранаты на рынке у грузин, он тоже резал их ножом, обсасывая косточки, и мама резала, но, оказывается, они профаны... Впрочем, разве в этом дело?.. Гости дружно хлопают. Сережа возвращается с Котькой в комнату. Жалко, не дослушал мамины стихи, вот что.

Стреляет пробка. Врезается в потолок. Рикошетит по Котьке.

— Вот чудеса, — говорит он задумчиво, — вино пьют взрослые, а достается мне.

Ну, Котька, ну мыслитель! Все хохочут над ним, потом чокаются шампанским.

— Ур-р-ра! — надрывается Сережа. — Ур-р-ра! — Он торопливо зажигает бенгальские огни, передает их гостям, гасит свет. Мерцают на елке разноцветные огоньки, брызжут сверкающие цветы, мама ползет на коленках к гостям и всех целует: тетю Нину, Олега Андреевича, седого звукооператора, его жену. Мама роняет рюмки, хохочет, повизгивает, а Никодим говорит ей:

— Аня! Аня! Осторожней!

— Ну как же! — кричит ему мама. — Как же не выпить, не порадоваться?! Такой день, — и машет ему

пальцем: — Смотри не забудь. Тридцать первое декабря.

...Тридцать первое декабря. Потом первое января. Сошлись два года в одну ночь. Забавно все-таки. Еще минуту назад старый год был. А через минуту — новый. Никакой паузы, никакой остановки. Одна секунда нового года, пять секунд — и пошло, поехало... Целый час прошел. Потом незаметно — день.

Январь для любого школьника счастливо начинается — ведь каникулы. Сережа ходит в кружок, теперь он новую модель делает. Самостоятельно. Роберт его только консультирует.

После кружка Сережа катается на лыжах. На троллейбусе едет до конца маршрута. Там горы. По субботам он с собой Котьку берет. Когда едут с катанья, Котька от усталости засыпает, привалившись к Сереже. Сережа обнимает его, старается не шевелиться и представляет, что это он едет с братом. Котькина мохнатая шапка усыпана снегом, в троллейбусе снег превращается в капельки, а сверху Котька похож на мокрого, жалкого щенка. Нежность к нему разливается в Сереже. Он знает — это нежность к будущему брату. Или сестре...

После Нового года мама вся в хлопотах. Она заняла денег у тети Нины и Олега Андреевича, носится по магазинам.

Сережа приходит домой, а в квартире новый шкаф блестит лакированными дверцами. Потом появляется диван. Стол со стульями. В маленькой комнате две деревянные кровати.

Дом обрастает вещами, и Сереже нравится каждый вечер помогать Никодиму и маме. Мама дает указания — ей на стул, к примеру, теперь не забраться. Да и ни к чему — на стуле стоит Никодим, он цепляет к потолку новую люстру, присоединяет провод, вкручивает лампочки. Мама щелкает выключателем, лампочки сияют в матовой оправе люстры, тихо бренчат стеклянные висюльки... Потом они вбивают гвозди.

Мама расстраивается из-за холодильника, ей обещали его достать, но вот не выходит, расстраивается из-за каких-то покрывал, и он удивляется — какая она стала! Всегда была равнодушна к вещам, а теперь даже расстраивается.

— Ты это зря, — объясняет он маме. — Тебе волноваться нельзя.

— Верно, — соглашается мама.

Она уютно усаживается в уголке дивана, вооружается иглой и начинает возиться с распашонками, простынками, чепчиками. Сережу удивляет, что все это имущество такое крохотное, простынки, к примеру, чуть больше носового платка.

Мама тихонько бубнит под нос песенки, улыбка блуждает у нее на лице. Вдруг она негромко охает. Сережа испуганно спрашивает:

— Что с тобой?

— Ничего, — загадочно говорит мама, радостно смотрит на Сережу и зовет: — Хочешь малышку послушать?

Ничего не понимая, Сережа подходит к ней, мама прижимает к себе его голову.

Сережа внимательно слушает. Тихо. Только гулко, как колокол, бьется мамино сердце. И вдруг кто-то ворочается там. Кто-то тукает.

Мама вздрагивает и смеется.

Часть третья

РОДСТВЕННЫЕ ЧУВСТВА

1

И вот настает пора.

Никодим бежит на улицу ловить такси. Сережа подает маме шубу. В мохнатенькой старой шубке мама как колобок.

Потом они заезжают за тетей Ниной. Оказывается, и Олег Андреевич с Котькой тоже дома. Машина набивается битком, водитель ворчит, но все же везет.

В больнице, в приемном покое, когда они входят, становится тесно и весело. Мама шутит, смеется, целует всех по очереди.

— Ни пуха ни пера, Аннушка, — говорит ей тетя Нина.

— К черту, — смеется мама, ненадолго уходит, потом появляется новая: в больничном халате с широчен-

ными рукавами. Она отдает узел с одеждой. Опять смеется:

— Платье-то принесите позже!

Тетя Нина смотрит на нее зачарованно.

— Не боишься? — говорит она.

— Нет! — беспечно отвечает мама.

Она чмокает всех в последний раз, идет к двери, распахивает ее, машет оттуда рукой. Потом манит к себе Сережу. Он послушно идет, и вдруг мама обнимает его крепко.

— Ну что ты, мам, — отбивается Сережа, — ну, что ты!

Он с силой освобождается из ее объятий, делает шаг назад, улыбается.

— Возвращайся скорей! — говорит он приветливо. — Рожай, кого хочешь, и поскорей обратно!

Мама кивает, губы у нее дрожат, но она встряхивает головой, закрывает за собой дверь.

Открывает ее снова. Выражение у нее деловитое.

— Никодим, — говорит она, — маму не забудьте вызвать. И кровать купи.

Компания вываливает на улицу, топчется на снегу. Наконец все видят маму в окне на третьем этаже. Она показывает четыре пальца и шевелит губами.

Четвертая палата, ясно. Они машут ей, Котька даже обеими руками. Потом медленно идут, оглядываясь.

На углу все оборачиваются в последний раз, опять сигналият маме, потом больницу скрывают другие дома.

Сережа вздыхает облегченно. Ну что ж, это на несколько дней. Скоро мама вернется с братиком или сестрой, надо вот только купить кровать.

Взрослые вместе с Котькой идут впереди. Сережа замедляет шаг. В нем возникает странное желание: быстро добежать до угла и посмотреть, стоит ли мама возле окна.

Он оборачивается, мчится назад. Возле угла, скрывающего больницу, замедляет шаги, высовывается осторожно. Выходит весь.

Мама смотрит на Сережу, не узнавая, потом понимает, что это он, и машет, машет рукой — быстро, отчаянно, будто стоит на пароходе, который отплывает.

Сережа прикладывает ладонь к губам, целует ее, поворачивает ладонь к маме и дует. Воздушный поцелуй. Так учила мама в детстве.

Мама отвечает ему. Сереже становится легче. Он машет рукой в последний раз и бежит обратно, догонять остальных.

Взрослые говорят о кровати, обсуждают, где ее купить, оказывается, это непросто, тетя Нина предлагает зайти в «Детский мир», кроваток там, конечно, нет, но тетю Нину узнает продавец — все-таки теледиктор, — выясняет, что и почему, просит минуточку подождать, куда-то исчезает.

— Слушай, — смущенно говорит Олег Андреевич, — мы с Котькой отойдем, пожалуй. Неудобно.

Тетя Нина смеется, отвечает ему шутливо:

— Эх ты, угрозыск! А кровать сыскать не можешь! То, что не способен сделать страх, делает любовь!

Олег Андреевич машет рукой, отходит, продавец выволакивает деревянную, закутанную бумагой кровать, Никодим бежит платить в кассу, на продавца набрасываются какие-то люди, ругаются, почему одним можно, другим нельзя, но продавец отвечает:

— По заказу, граждане, не шумите. Диктора Воробьеву знаете? По радио говорит. Так это ей. Сегодня родила.

Никого мама еще не родила, и вообще как-то все выходит неудобно, но в глубине души Сережа доволен. Во-первых, кровать все-таки есть, а во-вторых, никто же не начал кричать: знать не знаем никакого диктора. Значит, знают. И тетю Нину сразу рассмотрели. Больше даже не ворчали, значит, все в порядке.

Тетя Нина спешит на передачу, а Сережа и Никодим домой. Олега Андреевича и Котьку они не отпускают. Пьют чай. Смотрят по телевизору на тетю Нину.

— Хорошо, что у меня мама в телевизоре работает, — говорит глубокомысленно Котька. — Сама на работе, а все равно дома.

Они смеются.

— Сегодня у нас мужская компания, — говорит Олег Андреевич. — Прямо клуб джентльменов. Интересно, укрепит наш клуб Аня? Или поможет женской фракции?

— Пусть женской, — говорит Сережа. — Не жалко. Нас и так вон сколько! — Но выражение «Клуб джентльменов» ему нравится. Действительно, одни мужчины. Вообще не все мужчины бывают джентльменами,

это известно. Но у них-то? У них — все. Котья вот, к примеру, настоящий джентльмен. Честный человек, к тому же философ! Олег Андреевич — угрозыск. Кому джентльменом быть, как не ему? Никодим? Подумав, Сережа присоединяет и Никодима к джентльменам. Конечно, как же еще! И поздно вечером вспоминает об этом.

Когда, проводив Олега Андреевича с Котькой и подав телеграмму бабушке, они вернулись домой, Никодим сказал смущаясь:

— Помнишь, Сережа, я тебе на аэродроме сказал? — Сережа молчит. Что за вопрос? Конечно, помнит. — Давай так договоримся. Когда мы маленького регистрировать понесем, и с тобой все устроим.

Сережа кивает. Он согласен, что ж. Одно только кажется ему странным — почему так долго Никодим не говорил ничего? Аэродром был в августе, теперь март. И мама ни разу не сказала. Ведь она должна была сказать?

«Может, Никодим маме не говорил?» — думает Сережа. Потом догадывается: конечно, не говорил. Он маме приятный сюрприз готовит.

Сережа кивает Никодиму, улыбается ему. Настоящий джентльмен, думает он.

Он представляет, как будет звать Никодима.

Папа? Отец?

Представить это Сереже трудно, никогда никого не называл он отцом. Его отец был в памяти, вернее, в воображении — любой летчик в воображении был отцом. Тут же надо было назвать этим именем Никодима.

Погасив свет, Сережа долго не может уснуть. Он представляет, как вернется мама — это будет, наверное, через неделю, как закутают они маленького в теплое голубое одеяло с кружевным пододеяльником из приданого, которое приготовила ему мама, как они поедут в загс, где все про людей записывают, как вернутся оттуда уже совсем новые.

Все — новые. И мама — у нее теперь два ребенка, и Никодим — он станет отцом двоих детей, и Сережа, потому что у него будет отец. И, естественно, маленький — кто там появится, все равно, мальчик или девочка. Он тоже новый. Самый новый. Потому что недавно родился на свет.

Утром Сережа просыпается в темноте. За окном свищет пурга.

Он одевается. Март. Мартовские метели. Но ничего! Скоро опять каникулы. Весна!

В школу Сережа приходит с красным лицом — оно иссечено ветром и снегом. Но настроение у него прекрасное. Бодрость и легкость в голове. Ему хочется всем рассказывать про себя, про свой дом, про Никодима, про маму.

Он встречает в коридоре Ваську.

— Галь, — шепчет он восторженно, — вчера маму рожать отвезли.

— Поздравляю! — говорит Галя. — Кого загадал?

— Все равно, — отвечает, смеясь, Сережа, — кто будет!

Начинается урок, а Сережа все никак успокоиться не может. Шепчется с Понтей. Сосед тычет его локтем. Хвалит:

— Молоток!

Будто Сережа отличился, а не мама.

Уроки идут, сменяя друг друга, тягуче тянется время. Сереже хочется, чтобы скорее прозвенел последний звонок. Он сразу побежит в больницу. Может, он узнает новость. Хочется первому ее узнать...

Последний урок литературы, и Сережа поглядывает на Веронику Макаровну с хитрой улыбкой: знает она или нет? А если не знает, будет ей сюрприз. Ведь этот Сережин братец для Литературы — не чужой, внук.

Он задумчиво глядит на улицу, по которой, взвивая снег, носится ветер, и слышит стук.

Стучат в классную дверь. Класс с любопытством настораживается. Кто-то хихикает. Вероника Макаровна, ковыляя на каблуках, открывает дверь.

— В чем дело? — говорит она строго и отступает.

В класс входит тетя Нина. Ее все узнают, шушукуются.

Тетя Нина входит в класс, ищет глазами Сережу и говорит:

— Идем! Скорее идем!

Сережа хватается портфель, думает радостно: кто все-таки? Мальчик? Девочка?

И вдруг он видит, что лицо у тети Нины белое. И белые губы.

— Сережа! — говорит она, и слезы катятся у нее

по щекам. В классе повисает тишина. Все поражены. Еще бы! Вдруг приходит известный диктор и плачет. — Сережа! — говорит тетя Нина. — Мама умерла!

2

Он бежит по улице.

Он бежит без шапки и без пальто.

Ветер рвется ему навстречу, швыряет в лицо пригоршни колючего снега. Ветер старается остановить его, но он бежит, напрягая все силы.

В голове гулко тукает кровь. Он устал. В глазах мелькают розовые кружочки. Со лба катится липкий пот. Сережа не видит перед собой ничего — прохожие уступают ему дорогу.

Неподалеку от больницы его настигает чья-то рука. Какой-то мужчина втаскивает его в машину. Сергей не может ничего понять. В машине оказывается тетя Нина, она силой натягивает на него пальто и шапку. Сережа видит перед собой милицейскую шинель. Человек, который втаскивал его в машину, милиционер, Олег Андреевич.

Сережа с хрипом хватается за воздух. Он ни о чем не думает. Ничего не понимает. Ему кажется, что машина идет тихо, он пробует растворить дверцу и выпрыгнуть на ходу. Тетя Нина повисает на нем.

Он сдается.

Машина тормозит.

Сережа вываливается в снег, вскакивает и, ничего не понимая, бежит к окну.

К тому, где вчера стояла мама.

Он с надеждой смотрит на окно. Потом кричит изо всех сил:

— Мама! Мама! Мама! Мама!

Он кричит отчаянно, словно тонет, и от этого крика в глазах появляются слезы. Он не плакал до сих пор. Крик помог ему заплакать.

Он плачет и кричит, кричит и плачет. Слезы — это ничего, мелькает в голове, главное, чтоб мама... Чтоб она показалась.

У окна, где вчера она стояла, собираются женщины в таких же халатах, как мама. Сережа вглядывается в лица. Мамы среди них нет. Потом появляется человек

в белом. Шевелит губами. Женщины мгновенно исчезают.

Сережу тянут куда-то.

Он оборачивается.

Олег Андреевич ведет его за собой.

Они обходят больницу, толкают маленькую дверь, ведущую в подвал.

На них смотрят какие-то люди.

Они одеты в белое, Сережа понимает только это.

Олег Андреевич шагает дальше, открывает какую-то дверь.

Сережа видит Никодима, тетю Нину.

Они расступаются. Сережа не понимает...

Сережа смотрит перед собой и не понимает. Мама лежит, сложив на груди руки.

Он смеется. Ерундовину тут все говорят. Она уснула. Сейчас проснется.

— Мама, — зовет он, падает на колени, хватая ее за руку, чтобы очнулась, и вдруг чувствует, как независимо от него, из самого нутра, оттуда, что он еще никогда не чувствовал и не ощущал, поднимается хриплый вой.

Его берут под руки, ему дают что-то попить, но он ничего не видит, кроме мамино пожелтевшего лица.

Он рвется к ней.

Его отпускают.

Сережа разглядывает маму. Она похудела, щеки слегка провалились, а морщинки на лбу разгладились.

Осторожно, боясь сделать ей больно, Сережа гладит мамино лицо.

Он смотрит на нее бесконечно долго. В ушах нарастает тонкий звон...

У больницы толпятся люди.

Его трогают за руки, за плечи, что-то говорят. Сережа отмечает знакомые лица — Гали, Литературы, Понти, но тут же забывает о них.

Потом он видит бабушку. Она стоит одна. Руки ее повисли.

Сережа приближается к ней.

Они глядят друг на друга равнодушно и пусто.

Бабушка качает головой и говорит:

— Вот вы меня к чему вызвали... Вот к какому празднику...

Сережа идет мимо нее. Его сажают в машину, везут домой.

В квартире полно каких-то людей. Бабушка открывает шкаф, перебирает мамину одежду. Ей молча помогает тетя Нина. Сережа не понимает, чего они хотят, его возмущает, что они копаются в чужих вещах, он отодвигает тетю Нину, пробует закрыть шкаф, но Олег Андреевич сильно сжимает плечо, уводит в сторону.

Сережа стоит. Потом сидит. Потом ходит. Передает какой-то узел. Возвращается обратно. Снова стоит. Ходит. Сидит.

Перед ним ставят тарелку с едой. Он с удивлением разглядывает ее. Ковыряет еду вилкой, встает.

Постепенно в квартире становится тише. Уходят незнакомые люди. Уходит тетя Нина.

Олег Андреевич еще сидит. Он сидит рядом с Никодимом, перед ними пустые бутылки. Бабушка приносит еще одну. Олег Андреевич встает из-за стола. Ему тоже надо идти.

Теперь они втроем.

Никодим, бабушка, Сережа.

Бабушка велит Сереже спать, он качает головой, но глаза слипаются. Он проваливается в черноту.

Он проваливается с готовностью, с облегчением.

Он тоже хочет умереть...

Дни похожи на мелькающие вагоны. Словно Сережа стоит на платформе, а перед ним мчится поезд. Вагоны сливаются в сплошную полосу. Сережа пробует схватить взглядом какое-нибудь окно, видит в нем чье-то лицо, поворачивает быстро голову, чтобы запечатлеть, запомнить его, но вагон уже уносится, и в памяти остается только слабый силуэт... А вагоны мчатся, мчатся. Пронесются чьи-то летящие лица, и от этого мелькания, от этого стремительного бега голова идет кругом. Сережа чувствует, как слабость наливается в коленях, ноги подкашиваются...

Он сидит... Возле гроба — ряд стульев. Бабушка. Никодим. Тетя Нина. Он.

Мимо мамы проходят люди. Вереница людей. Они идут, идут, идут. Иногда Сережа смотрит на них. Сколько людей знало маму, думает он. Люди идут — это похоронная процессия. Теперь по улицам за гробом не ходят. Все, кто хочет проводить, сядут в автобус и молча уедут. Процессия — здесь. Возле гроба.

Вереница лиц в окнах летящего поезда...

В зал входят люди с трубами.

Играет музыка: чухают медные тарелки в такт с барабаном, стонет труба. Каждый удар медных тарелок — как электрическое замыкание: сотрясает все тело.

Мама лежит в гробу торжественная, нарядная. И чужая. Это уже не мама. Это только копия мамы. Неживое подобие.

Серезин мозг выхватывает слезы.

Какая-то старуха, пройдя мимо мамы, останавливается, низко, в пояс кланяется гробу...

Женщина с трясущимися губами кусает платок. Это тетя Дуся, узнает он, вахтерша...

Олег Андреевич, кладущий в ноги красные-красные, как кровь, тюльпаны...

Сосредоточенное, вспотевшее лицо музыканта с трубой. Щеки у него раздуты, словно шары...

Круглые, непонимающие Котыкины глаза.

Никодим...

У Никодима потерянное лицо. Он ищет кого-то взглядом, глаза его мечутся, неловко вытирает слезы кулаком... Сзади него стоит Литература. Она гладит Никодима по плечам...

Улица. Распахнутые настежь двери. Еловые венки с черно-красными лентами. Автобус с траурной полосой. Еще автобус. Машины.

Пурга кончилась. В окно между тучами выглянуло солнце. Рыхлый снег на кладбище слепит глаза. Сереза идет по нему, проваливаясь по колено.

Какой-то человек говорит речь. Его покорно слушают. Только позади, за толпой, глухо разговаривают могильщики, курят и сдержанно посмеиваются о чем-то своем. Привыкли...

И вдруг Сереза видит Никодима. Он спрятался за мать, снял один ботинок и, припрыгивая, вытряхивает из него снег. Вытряхивает снег...

— Пойдем! — говорит бабушка Серезе, но он не понимает — куда пойдем.

Бабушка берет его за плечи, подводит к гробу. Бросается на маму, обхватывает гроб.

Сереза смотрит на бабушку тупым взором, жалеет ее. Что ты плачешь, старая, думает он. Это же не мама, все равно. Бабушку поднимают с земли, настает Серезина очередь.

Он становится на колени, целует маму в лоб. Задумчиво разглядывает ее. Целует руки.

— В последний раз! В последний раз! — шепчет за спиной кто-то. Сережа оглядывается. Тетя Нина. И тут он понимает, в последний раз! Он больше не увидит маму! Никогда!

Сережа смотрит на маму. Хочет запомнить навсегда. И не может, нет. Он видит страдавшееся это лицо, а представляет другое — смеющееся. На голове — зеленый мохнатый берет с помпошечкой. Мама как медвежонок в старой своей шубке. Круглая вся. Вот озабоченно говорит: «Вызови маму! И купите кроватку!» Вот стоит у окна в больничном халате и посылает Сереже воздушный поцелуй.

Чем лучше представляет Сережа маму живую, тем неестественнее кажется она мертвая! Их нельзя соединить! Невозможно!

Но соединить нужно. Все заставляют его сделать это.

Сережа содрогается.

Нет! Этого не может быть! Не может быть, что мама смеющаяся и лежащая тут — одна и та же.

Он безудержно плачет. Его трясет.

Гремит оркестр, жутко чухая медными тарелками. Кладбище отодвигается, подпрыгивает в заднем конце автобуса. Скрывается за поворотом.

Потом какая-то столовая.

Какие-то люди, говорящие о маме.

Потом дом.

Лица родственников из деревни, опоздавших приехать на похороны.

Лицо тракториста Валентина.

Лицо Кольки. Вот и приехал.

Люди что-то говорят, какие-то слова. Колька ведет Сережу на улицу. Они разговаривают. Скоро возвращаются. Дома — табачный дым, окурки. На столе тарелки, от которых мутит.

Испуганные глаза Вероники Макаровны. Растерянный Никодим.

Никодим! Он разглядывает Никодима, разглядывает его красные уши, похожие на лопухи, его невзрачное серое лицо, и новая мысль обжигает Сережу. Конечно! Во всем виноват Никодим!

Если бы не он, мама не вышла бы замуж. Не собралась рожать.

Если бы не он, мама бы жила.

Шаг за шагом, день за днем Сережа припомнил все, как было.

Приезд Никодима. Мамино решение. Разговор с Васькой. Свадебное путешествие. День рождения. Аэродром.

Да пропади все пропадом! Провались в тартарары!

Пусть бы мама смолила папиросы, говорила грубо! Пусть бы жили они в старой комнате. Пусть была бы она несчастливая, только жила! Жила, а не умирала!

И Сережа с ненавистью глядит в сторону Никодима.

3

Наутро бабушка куда-то собирается. Зовет с собой Сережу.

— Младенца-то проведать надо, — говорит она.

Младенца? Только теперь доходит до него это. Мама родила мальчика. Она умерла, когда его рожала.

Сережа мотает головой. На что ему этот младенец? Пропади он пропадом. Из-за него мамы нет.

Но тут же встает, одевается. Идет скорбно рядом с бабушкой.

При чем тут младенец? Он даже не соображает ничего, такой малюсенький.

Сережа вспоминает, как мечтал о брате, когда возвращался с Котькой в троллейбусе. Как увлекла его мама разговорами про брата или сестру. Как хотела она еще ребенка.

В больнице бабушка теряется, суется в разные двери, но все не в те.

— Как про ребеночка бы узнать? — ловит она санитарку.

Санитарка останавливается, расспрашивает подробнее, потом исчезает, выводит врача. Врач — женщина. Полная, веснушчатая, добрая, с толстыми руками.

— Ребеночек живой, — говорит она, рассказывает подробности про вес, про рост.

— Дак как кормите? — пригорюнившись, спрашивает бабушка. — Без матери-то.

— Кормим, — говорит врач, — у нас возможности есть. Но без матери плохо.

— Уж куда там, — вздыхает бабушка.

Врач спрашивает про Никодима, узнает, что Сережа — старший мамин сын, что бабушка — мамина мама и никого ближе больше у покойницы не было.

— Может, еще повезет вам, — говорит она, поднимаясь, — может, ребеночек не выживет.

— Хорошо бы, — отвечает ей бабушка и плачет.

— Как хорошо? — не понимает Сережа, когда они обратно домой идут, и возмущается: — Что говоришь, думаешь?

— Думаю, — отвечает бабушка, — хватит одного тебя, сиротинки. Да ты — большой, сознательный. Младенца-то ведь выкормить сперва надо, выходить, потом воспитать. Кому это делать? Никодиму? Да разве ж сподручно ему, нестарому мужчине, с младенцем? Я одной ногой в могиле...

Бабушка плачет, сморкается, приговаривает:

— Разве ж это дело, чтоб дети раньше родителей помирали?

— Я его выращу, — говорит Сережа о брате. — А что, устраюсь на завод, заработаю...

— И-и-эх, милый! — говорит бабушка и машет рукой. — Дай бог тебе самому без мамки ладом дорасти!

Сережа молчит, не согласен.

На другой день он едет в больницу, вызывает толстую врачиху, справляется про брата.

— Живой, — говорит она и спрашивает неожиданно: — А где же отец?

Сережа молчит, не знает, как ответить. Потом говорит:

— Он болеет.

— Понятно, — вздыхает врачиха, смотрит на туфли. — Передай, что пока живой.

Вечером он говорит про маленького Никодиму.

Тот глядит на Сережу бесцветными глазами и ничего не понимает. Он как бы одеревенел после маминой смерти. Словно задумался о чем-то и от этой мысли оторваться не может — загнипнотизировала она его. Он то и дело плачет. Вдруг прокатится по щеке слеза, сомкнутся губы в некрасивую гримасу. Сережа смот-

рит на него безразлично, говорит про маленького его сына, но Никодим ничего не может придумать.

— Не знаю, — хрипло говорит он, — не знаю... Надо кормилицу искать. Или что?

Сережа не знает, какую кормилицу. Бабушка крестится в угол и молчит. От Никодима больше ничего не добьешься. Он окаменело сидит в углу, бессмысленно уперев взгляд в пол. Замер. Ни действовать, ни думать не способен.

А Сережа ходит каждый день в больницу. Каждый день вызывает врачиху. Каждый раз узнает, что брат жив.

Надо ведь, соображает Сережа, придумывать ему имя. Время идет...

Заботы о брате постепенно занимают Сережу. Это единственное, что хоть как-то заполняет в нем безмерную пустоту.

Ожидая в больнице веснушчатую врачиху, Сережа тупо разглядывает картинки на стенах. Слушая разговоры женщин, сидящих в вестибюле, он стал смотреть на картинки. Потом прочитал их все, и не по одному разу.

В таблицах давались пояснения, как обращаться с новорожденными — как купать, чем кормить, как закаливать младенцев. Сережа выучил наставления едва ли не наизусть, узнал из женских разговоров, что в городе есть несколько детских консультаций и при них молочные кухни, где новорожденным дают питание.

В школе — с того зловещего, вьюжного дня — он не появлялся. Сначала никто его и не посылал, а потом сам не мог. Он уходил из дому с портфелем, заходил в больницу, потом сидел где-нибудь в кино, едва понимая, что на экране. После кино слонялся по городу, наматывал километров по пятнадцать, не меньше. Это выручало: он приходил домой, ел и сидя засыпал от усталости. Когда узнал про консультации и кухни, стал обходить улицу за улицей, читая вывески. Можно было бы просто спросить, но он, ничего не спрашивая, разыскал нужные ему места, выбирал про себя то, что ближе.

Вероника Макаровна бывает у них иногда. Но чаще Никодим у нее. Всякий раз, когда учительница видит Сережу, она вкрадчиво говорит ему про школу.

— Горю не поможешь, — негромко внушает она. — Ты должен быть сильным. Пора закончить это самостязание.

Сережа ей не отвечает, молчит. И что ответить — не может он в школу идти, и все, хотя правильно говорит, наверное, Вероника Макаровна, слишком правильно. Особенно про малыша.

— Я тоже была там, — рассказывает она. — Но чем я могу помочь ему, чем? И чем ты ему можешь помочь? Его мама спасти могла бы, только одна она...

«Это верно, — думает Сережа, — ничем он не может помочь брату, но все равно, все равно...»

Утром встал — в больницу: «Жив?» — «Жив!» Потом по городу версты наматывать, потом домой, чтобы кулем свалиться на диван.

Да, две недели полных прошло, как Сережа из школы, не помня себя, выбежал.

Две недели. Галя каждый вечер приходит. Вероника Макаровну повторяет — в школу зовет. Но он не может. Не может, и все тут.

Сережа обрывает листок в календарике. Одевается.

— Ну? — испуганно спрашивает бабушка. — Пошел? С богом! Ты хоть там, — где там, не знает, голос ее растерянным становится, — бутерброд съешь. В портфель положила.

Сережа кивает.

— Готовь лучше приданое, — говорит он. — Скоро братана забирать будем. — Идет к порогу, потом, озабоченный, возвращается. — Ванночка есть? — спрашивает и спохватывается: — Сегодня поглядеть надо, где ванпочки продают.

Он идет проторенной дорогой в больницу. Думает о том, что после ванночки придется покупать коляску. Еще погремушки. Это купит сам. Выберет, которые поярче. Забоги о брате вызывают тихую улыбку. Сережа улыбается и сам не понимает, что улыбается первый раз за две недели...

В больнице ждать приходится долго. Веснушчатая врачиха на обходе, смотрит, наверное, этих голопузиков, и он опять сидит.

Наконец она приходит. Садится рядом с Сережей. Разглядывает его внимательно.

— Какой же ты хороший человек, — говорит она серьезно, — так заботишься о ребенке.

— Он болеет, — снова объясняет Сережа и кивает в сторону головой, — он в себя прийти никак не может, бабушка старая, да ей уезжать пора, а мне все равно делать нечего.

— Вот как, — говорит врачиха, разглядывая ноги. — Скажи все же отцу, чтобы пришел.

— Не может он, — упорствует Сережа, — совсем потерялся. Как маленький. Плачет. Боюсь, как бы чего не случилось.

— Ты правду мне говоришь? — недоверчиво спрашивает врачиха. Сережа усердно кивает. — Ну вот... — инется она, — тогда пока ему не рассказывай. Бабушке скажи... Скажи, маленький умер.

Сережа медленно оборачивается к ней.

— Как? — не понимает он. — Почему умер?

— Мама твоя... Одним словом, он слабеньким был... Да еще без нее остался...

Сережа разглядывает веснушчатое лицо врачихи и говорит невпопад:

— А мы кровать достали...

Врачиха берет его за руку, гладит по голове, он шагает к выходу, забыв попрощаться.

Брат умер...

И брат умер...

Он его никогда не видел и не может сказать поэтому, любит его или нет. Но это маленькое незнакомое существо имело отношение к нему. У них была одна мама. Мама нет, ее не стало, но существо, рожденное ею, осталось и было его братом. Было, может, последним, что связывало с мамой.

И вот его нет. Можно считать, что и не было. И выходит, мама умерла зря.

Сережа идет с трудом — мешают слезы. Он заходит в какой-то подъезд, прячется за дверь, в угол, и плачет, плачет навзрыд.

Сзади раздаются шаги.

— Эй ты! — произносит старческий голос. — Чего тут делаешь? Ну-ка иди... — Сережа выскакивает из подъезда.

Он идет быстро. Он спешит. Он не был там целую вечность. И сейчас идет не для того, чтобы заняться моделью.

В кружке на него глядят вопросительно. Работает новая группа, и его не знают. Сережа идет в столярку. Просит материал, объясняет. Руководитель у столяров — старик усач, Сережа знает его, и он знает Сережу — материалы дает.

Испарина выступает на лбу. Сережа старательно строгает доски. Сколачивает ящик. Выходит слегка неуклюже, но что делать. Потом красит ящик марганцовкой, взятой в фотокружке. Несет под мышкой в больницу. Ящик небольшой, но руки оттягивает — не очень сухой материал.

Веснушчатая докторша смотрит на Сережу, ничего не понимая.

— Вот, сколотил, — говорит он подавленно, — сам, поскорей.

— Гроб? — догадывается врачиха, и Сережа кивает. — Мальчик! — говорит она. — Мальчик! Это же очень большой, — но спохватывается. — Ты зря, зря, — говорит она, — мы хороним сами таких маленьких. Понимаешь, сами. Ничего не нужно, пусть только потом придет отец. Когда поправится...

Сережа выходит из больницы с ящиком. Приходит с ним домой.

— Что за чемодан? — спрашивает бабушка.

— Младенец помер, — деловито отвечает Сережа и смотрит на бабушку взрослыми глазами.

4

Перед бабушкиным отъездом Сережа возвращается в школу. Ребята смотрят на него как на новенького. Да ведь так оно и есть, если подумать. Он теперь совсем иной, чем прежде.

В классе Сережа сидит тихо, не шелохнется. Но мало что слышит. Отвечает вяло, честно говоря, просто плохо. Но учителя его жалеют, ставят тройки. Кроме Литературы. Вероника Макаровна вызывает его часто, задает легкие вопросы, самые легчайшие, не дает до конца ответить, кивает одобрительно, ставит пятерки и четверки.

«Хочет подбодрить, — думает Сережа, — нашла способ!..» Ему эти отметки безразличны, как безразлично все. Почти все.

Он смотрит на Ваську. Ждет, когда обернется.

Грустно улыбается ей, ни на кого не обращая внимания.

Сережа ведь и на Галю теперь по-новому смотрит. По-другому видит ее.

Ему кажется, во всем классе ребята как ребята, кроме них с Галей. Остальные — школьники семиклассники, пацанва, а Галя и он — взрослые люди. Им бы не в школе сидеть, на заводе работать, быть вместе с большими, потому что с ребятами им уже неинтересно. Но делать нечего — приходится учиться.

В школу Сережа вернулся из-за Гали. Только из-за нее. Она пришла к ним вечером, после смерти братишки, и вызвала Сережу на лестницу.

Васькины зрачки были расширены, от этого глаза ее казались черными, гипнотизирующими, решительными. Но смотрела она не на Сережу, а куда-то в сторону. И синяя жилка вздрагивала на шее.

— Сережа, — неожиданно сказала она, — поцелуй меня.

— Зачем? — ошарашенно спросил Сережа.

— Поцелуй, — снова велела Галя.

Он наклонился к ней, прикоснулся пересохшими губами к щеке.

— Не так! — сказала Галя. — Как взрослые...

Брякнула дверь, по лестнице кто-то шел. Они отпрянули друг от друга, отвернувшись к перилам. Пока, насвистывая, прохожий шагал сзади них, сердце у Сережи раскачалось, как маятник.

— Ну, — обернулась Галя, когда шаги стихли.

— Чего ты придумала? — спросил он дрогнувшим голосом.

Сережа разглядывал Галю — ее застывшие от напряжения лицо и влажный лоб.

— Молчи! — сказала Галя, с силой зажмурила глаза и придвинулась к Сереже.

Он прикоснулся губами к ее губам, это вышло неуклюже, странно. Галя оттолкнула его и побежала вниз. Сережа кинулся домой, схватил пальто, помчался за ней и едва догнал задыхаясь.

Они пошли рядом.

— Ты что? — спросил он, потрясенный.

— Не думай, — сказала Галя, глядя в сторону; — я тоже знаю. «Не отдавай поцелуя без любви!» — Она остановилась, сказала горячо: — Но тебя надо встрях-

нута, понимаешь! Тебя надо оживить, а то ты тоже умер...

Он заморгал часто-часто и ничего не сказал ей. А наутро пришел в школу.

— Кто тебя научил? — спросил он ее потом.

— Никто, — ответила Галя. — Сама.

Он разглядывал ее посреди уроков, смотрел удивленно потом, когда шли они вместе из школы, и поражался: как сумела она это придумать?

Сереза разглядывал себя как бы со стороны. Жизнь казалась ему тоскливой и серой, и только Галя в этой жизни была исключением.

Он в самом деле оживал... Когда серое, дождливое небо разрезает голубая чистая полоска, человек смотрит именно на нее — уж так он устроен. И тучи расходятся. Так должно быть, потому что этого ждешь. Не вечно же лить дождю...

После майских, когда отметили сорок дней с маминей смерти, бабушка уехала в деревню. На каникулы Сереза должен был приехать к ней, а дальше...

Загадывать надолго никто не хотел, и что будет дальше — об этом не говорили. Бабушка считала — неудобно, надо подождать малость, пока Никодим отойдет. Никодим же молчал.

Никодим вообще вел себя странно.

То он замирал на целый вечер, уставясь в телевизор, и словно не замечал Серезу. То вдруг приносил охапку подарков — книги, сласти, пакеты с коллекционными марками — и весь вечер тараторил без умолку, говоря всякую пустяковину и ерунду. То исчезал дня на два, на три, говорил, пряча глаза, что ночует у матери, и Сереза хозяйничал в доме один: жарил себе яичницу, кипятил чай, мыл потом посуду.

К нему часто приходила тетя Нина, всегда с какой-нибудь едой — то покупала шашлыки в кулинарии или блинчики или приносила торт. Приходила и толстуха с звукооператором Виктором Петровичем, приходили еще какие-то люди, знавшие маму. После них всегда оставались кульки, свертки — Сереза не отказывался от подарков. Он понимал — иначе они обидятся, они знали маму, и эти подарки как бы для нее.

Однажды вечером, когда Никодима не было, в дверь позвонили. Сереза открыл. Вошли какие-то незнако-

мые люди, он решил, что опять мамины знакомые, пригласил пройти.

Люди — их было трое, две женщины и старик — внимательно оглядели квартиру: прошли по комнатам, заглянули в кухню. Потом в ванную, в туалет.

Сережа разглядывал их удивленно, мамины знакомые так себя не вели.

— А взрослые когда будут? — спросил старик.

Сережа пожал плечами.

— Ну а у нас, — сказала одна женщина, — однокомнатная и комната. Площадь примерно равная.

Сережа глядел на них непонимающе, никак не мог в толк взять, о чем они.

Старик заметил это.

— Мы по объявлению, — сказал он и назвал адрес. — Эта квартира?

— Эта, — не понял Сережа. — По какому объявлению?

— Объявление на столбе висит: меняют двухкомнатную квартиру на однокомнатную и комнату.

— Это какая-то ошибка, — рассмеялся Сережа. — Мы ничего не меняем. Кто-нибудь пошутил.

— Хороши шутки! — ворчал старик, притворяя за собой дверь.

«Кому в голову такая глупость пришла?» — подумал Сережа и, когда появился Никодим, рассказал ему о странных посетителях.

— Уже приходили? — рассеянно спросил Никодим.

Сережа обмер. Не может быть! Так, значит, это Никодим? Никодим...

Он не верит этому, не верит, что Никодим способен вот так, вдруг...

Ему кажется, миллион лет прошло с тех пор, как мама карточку Никодима порвала. Миллион лет назад он ненавидел его, не хотел, ни за что не хотел, чтобы вдруг стал этот чужой человек маминым мужем. Но потом все как бы переменялось. И это свадебное путешествие. И вся эта жизнь вместе. Он хорошо относился к Никодиму, тот правился ему...

Но что же случилось? Он думал, так и останется навсегда? Даже после маминой смерти?

Сережу пробирает озноб.

— Поговорим? — предлагает Никодим и усажива-

ется на стул. Глаза у него бегают. От страха? От стыда?

Чего же стыдиться? Кто теперь Никодим Сереже? Никто. Мама их связывала, разве не ясно? Теперь мамы нет. Вот и все. Очень просто.

— Поговорим, — отвечает Сережа с трудом. А сам смотрит мимо Никодима, в зеркало. Разглядывает сам себя.

Обтянутые кожей скулы, прямой и широкий нос, мамины глаза. И вдруг плечи вздрагивают.

Будто стоял он на краю обрыва, подошел к нему кто-то сзади незаметно и толкнул. И вот он летит с обрыва. Летит и не знает, что с ним будет. Не знает, как жить, что делать...

— Понимаешь, Сергей, — говорит Никодим с трудом, — теперь уж ничего не выйдет. — О чем он? — Помнишь, я про загс говорил? — Лицо его покрывается пятнами.

— Помню, — говорит Сережа спокойно. — Но вы не краснейте. Это я понимаю.

— Ты меня никогда не простишь, я знаю, — он потухает, опускает плечи. — Я не простил бы тоже на твоём месте. Но жизнь сильнее нас.

Сережа кивает задумчиво. Да, жизнь сильнее нас. А особенно смерть. Она все меняет. Хороших делает подлецами. Впрочем, хороших ли? Может, они всегда подлецами оставались, только рядом с хорошими это было незаметно.

— Когда ты вырастешь, — говорил Никодим, — и к тебе придет житейская мудрость, ты поймешь... Нам надо разъехаться сейчас. Разделить квартиру. Я ведь еще не старый, хочу устроить свою жизнь.

— Только в следующий раз, — горько говорит ему Сережа, — выбирайте жену помоложе. И чтоб ребенка у нее не было.

Он видит, как замирает взгляд Никодима.

— Я буду тебе помогать, — говорит Никодим. — Мы будем часто встречаться... Ходить в кино... В кафе-мороженое...

В Сереже будто работает странный выключатель. Он то верит в происходящее, думает, что Никодима нельзя осуждать, — размышляет, как равнодушный старик, — то не верит. Не может поверить, что это все Никодим говорит. Что это он такое придумал. «Щелк-

щелк», — работает выключатель, и глаза Сережины то расширяются от непонимания и обиды, то смотрят равнодушно и пусто.

Никодим встает. Торопливо, суетясь, накидывает плащ, объясняет:

— Бабушке я уже написал, она согласна и скоро придет. За мебель тете Нине деньги отдам я, тоже не волнуйся. Но мебель ты можешь взять любую, хоть всю, понимаешь меня?

— Вот бы, — произносит медленно Сережа, — вот бы мама на вас теперь посмотрела.

Руки у него трясутся, чуть дрожат.

— И еще, Сережа, — говорит Никодим, пряча глаза. — Еще вот что... Понимаешь... как бы сказать. — Он мямлит, топчется, чего-то хочет пояснить, но чего? чего еще объяснять? — Вот что, Сережа, — говорит он, — моя мать, ну, Вероника Макаровна, она тут ни при чем, она меня даже осуждает, но я не хочу, понимаешь, чтобы ее имя... В общем, не говори в школе, ведь мы должны остаться друзьями, верно?

— Конечно, друзьями, — отвечает сдавленно Сережа. — А как же иначе, только друзьями.

Никодим нерешительно топчется в прихожей, словно хочет что-то сказать, пятится к двери, приоткрывает узкую щель, подобострастно улыбаясь Сереже, пролезает в нее. Сережа тупо разглядывает Никодима, не в силах понять его поступков, и вдруг видит за его плечом, на лестничной площадке, знакомое лицо. Вероника Макаровна! «Чего она-то пришла? — думает Сережа. — Сыночка поддержать?» И неожиданно понимает, что Вероника Макаровна не пришла. А стоит тут давно. Что Никодим зашел к Сереже для этого объяснения, а Вероника Макаровна стояла за дверью и ждала, чем все кончится.

Глаза у Вероники Макаровны все время дергаются, смотрят нетвердо, она немного смущена, что Сережа ее увидел. Но что-то ей еще надо. Никодим уже на лестнице, уже отвернулся, готов бежать, готов скатиться ко лобком по лестнице, а Вероника Макаровна все еще стоит перед Сережей, переминается с ноги на ногу.

Потом говорит робко:

— Вон там, в книжном шкафу, два денежных перевода на мамино имя. Ты их получи. Это от твоего отца.

Никодим словно только и ждет этих слов. Срывается вниз по лестнице. Готов скатиться кубарем — куда-то спешит. Литература идет за ним, осторожно переступая со ступеньки на ступеньку.

Все!

Сережа закрывает дверь на запор и прислоняет голову к прохладному косяку.

Было ли это или не было?

Было ли?

Было!

Сережа вспоминает аэродром. Красный, как молния, самолет, падающий на них. И лицо Никодима.

Это было давно, тогда, в дни Сережиного счастья. От того времени ничего не осталось теперь. Рожки да ножки. Да слова. О какой-то еще дружбе. О мебели. О деньгах.

Медленно выплывают из памяти слова Никодима. И еще какая-то фраза.

Деньги от отца. Деньги. Еще какие-то деньги.

Он нехотя роется в книжном шкафу, находит извещения о денежных переводах. Два извещения по сорок рублей. От кого — непонятно, просто адрес и мамино имя.

Сережа мучительно соображает, как быть. Потом одевается, идет на почту — может, там известно.

Он идет неторопливо, обходит лужи. Раньше бы он прыгал через них, а теперь это кажется ему забавой для малолеток.

Высокое здание почты видно издалека — Сережа разглядывает шагающие золотистые буквы и смотрит в окна верхнего этажа. Немногие знают, что там радиостудия.

Он вспоминает прошлую весну и день, когда он пришел к маме. Где-то там стеклянное окно во всю стену, «аквариум», обшитый изнутри материей, чтобы не было резонанса. Но у микрофонов, нагнувшись, как цветы, теперь сидит не мама, а кто-то другой, наверное, артистка из театра. Впрочем, может, читают и не они, может, маме нашли хорошую замену, это все равно. Сережа не слушает радио. Проводка в новой квартире есть, есть и динамик, но его Сережа убрал, спрятав на антресоли, в дальний угол...

Почтамт велик, Сережа не сразу разбирается, где тут выдают переводы, стоит в очереди, потом сует голо-

ву в окошко... Вот неожиданность: ему улыбается толстуха, жена звукооператора Виктора Петровича. Она скороговоркой выпрашивает Сережу про жизнь, про здоровье, про новости, сует ему конфетку, он отвечает ей односложно — разве расскажешь все! — потом протягивает талончики.

— Это маме прислали, — говорит он.

— Маме? — удивляется толстуха, разглядывая извещение. — Значит, кто-то не знает...

Она исчезает, потом появляется, говорит радостно:

— Договорились! Деньги выдадим тебе! — Но Сереже деньги не нужны, ему надо выяснить, кто послал.

На обороте корешка он читает округлые разборчивые буквы: «Деньги за апрель», «Деньги за май». В конце слов — неразборчивая закорючка, зато обратный адрес выведен ясно: улица, дом, квартира, номер... Авдеев Семен Протасович.

Сережа не понимает, в чем дело, зачем эти деньги, почему? Но слова Никодима жгут его... Врет он все, сильный лопух. Назад отработал, вот и оправдывается... А сердце обрывается... Если допустить только, если представить...

Сережа идет по адресу, указанному в корешке. Быстро находит улицу, дом. У дома много подъездов, вот в этом живет Авдеев. Он медлит. На лавочке сидят пацаны. Сережа спрашивает о Семене Протасовиче.

— Да вон он идет, — говорит один мальчишка, и Сережа видит рыхлого, полного человека в очках с тонкой, поблескивающей золотом оправой. В одной руке у него толстый портфель, в другой — авоська с молоком и сырками.

— Вас разыскивают, — говорят мальчишки Авдееву.

Он внимательно разглядывает Сережу.

— Что угодно, молодой человек? — Взгляд его цепок, быстр.

— Это вы, — спрашивает Сережа, — посылали деньги Воробьевой? Анне Петровне? — Он протягивает корешки.

Мгновенье Авдеев стоит застыл. Очки его поблескивают, и за ними не видно выражения глаз.

— Д-да, посылал, — говорит он медленно, потом быстро идет в глубь двора, подальше от мальчишек, то

и дело оглядываясь, кивая Сереже и приговаривая: — Иди, иди, мальчик!

Странное поведение мужчины удивляет Сережу, но он идет следом. У детских качелей человек останавливается и спрашивает резко:

— Тебя как звать?

— Не имеет значения, — грубо говорит Сережа, — я только хочу знать, вы ли посылали эти деньги. И зачем?

— Допустим, я, — отвечает мужчина, снимая очки и протирая их. Без очков он выглядит беспомощным, жалким. — Допустим, я, допустим, возвратил Анне Петровне долг. Что дальше?

— Тогда почему здесь написано: «Деньги за апрель», «Деньги за май»?

— Я знаю, тебя зовут Сережа, — говорит Авдеев, надевая очки обратно. Лицо его становится жестким и властным. — Но почему... — Сережа не дает ему договорить:

— Это правда, что вы мой отец?

— Я знал, как это кончится, — жалуется кому-то Авдеев. — Я предупреждал!

— Отец? — Сережа трясется от волнения.

— Ну раз ты догадался...

— Эти деньги вы посылали для меня?

Авдеев кивает.

— Давно?

— Всю жизнь... — Он разглядывает Сережу, едва улыбаясь. — Тебе был год, когда я видел тебя в последний раз.

«Какое мне дело, — думает Сережа, — какое дело, когда вы видели меня!..»

Его качает, его даже поташнивает. Отец... Нет, тут что-то не так. Ведь его отец летчик. Он разбился. Испытывал новый самолет, потом небо стало красным, как кровь, потом был взрыв... А тут стоит рыхлый человек с волосатыми руками и мясистым круглым лицом. Отец...

— Впрочем, — говорит Авдеев, — это сентиментальности. Наши с твоей мамой дороги давно разошлись, ты уже взрослый и сможешь понять. К тому же сейчас все проще. Я видел ее с полгода, издалека... Она, кажется, хотела подарить тебе братца, это так?

— Так, — потрясенно отвечает Сережа. — А деньги

вы возьмите. — Он протягивает десятки, полученные на почте.

— Понимаю, — говорит, улыбаясь, Авдеев, — времена меняются. Ну что ж, это к лучшему. Но деньги ты отдай маме. Это мое обязательство. У нас ведь и уговор такой был, что я тебя не увижу, этого требовала Аня, ничего не попишешь.

У Сережи кружится голова. Ужасно просто кружится.

— Берите, — говорит он, сует Авдееву деньги и поворачивается.

Он идет со двора и на полдороге останавливается. Нет, все-таки этого не может быть. Он возвращается к Авдееву.

— А вы не летчик? — говорит он с надеждой.

— Нет, инженер, — отвечает Авдеев, — на самолетах и в отпуск не летаю, боюсь!

Сережа поворачивается. Это все. Это конец.

Он идет к воротам.

— Передай привет маме! — говорит вслед Авдеев.

— Ее нет, — отвечает Сережа и резко оборачивается. Он видит толстое лицо Авдеева, губы, расплывшиеся в улыбке, стальные, цепкие, не улыбающиеся глаза. — Она умерла...

Сережа не думает, что говорит, это для него не новость. Для него новость этот отец. Как грохот пушки над самым ухом. Отец! Отец! Его отец, и Сережа не знает, как ему быть, куда ему деваться с этим отцом.

Лицо Авдеева разглаживается, от носа к краешкам губ прорезаются глубокие морщины. Потом Авдеев говорит. Что-то там говорит. До Сережи не сразу доходит смысл слов. Он кивал согласно. Но память возвращает гладкие слова, зацепившиеся за что-то. Как он сказал? Жива ли бабушка, мамина мама? Да, да, жива. Сережа понимает смысл этих слов, теперь понимает.

— Не страдайте, — говорит он. — К вам не прибегу.

— Сережа! — восклицает Авдеев. — Как ты можешь! Я всегда буду помогать тебе, давай пойдем к вам, теперь же, немедленно, я сделаю все, что надо, об-

стоятельства переменились, но жизнь сложна, Сережа, судить людей нетрудно, важно их понять...

— Слушайте! — обрывает его Сережа. — Слушайте! — Он молчит, и в паузе складываются слова, последнее решение в этом обмане. — Чего вы разоряетесь? Вас же нет! Вы умерли, понимаете? Разбились на самолете.

Сережа шагает по двору, и тяжелые, будто пудовые, руки тянут вниз. Ему хочется упасть на землю, закрыть руками глаза и ничего, ничего не видеть. Все в нем вывернуто. Будто поднял его кто-то за ноги и встряхнул так, что все внутри оборвал.

В его памяти был отец. Теперь его не стало.

Умерла мама, и исчез отец.

Незрячими глазами выбирает он дорогу к Галиному дому, зовет ее во двор, заводит в какой-то закуток и просит, содрогаясь от страшного, тяжелого плача:

— Васька! Галя! Поцелуй меня! Я жить не могу!..

5

День рождения...

Год прошел, и опять у Сережи день рождения. Пятнадцать... Совсем взрослый.

Сережа разглядывает Понтю и Ваську и думает, что в сравнении с ними он старик: столько всякого в эти месяцы было.

В комнатке, где живет Сережа с бабушкой после размена, тесно. Он никого не знал, но все пришли сами. Понтя и Галя — просто так, а тетя Нина нанесла гостинцев и даже вина — легкого, красного, похожего на густой морс, и Олег Андреевич наливает на доннышко чашек всем, пропуская лишь Котьку.

— Что ж, Сережа, — говорит он негромко, серьезно, — рано кончилось твое детство, рано началась взрослая жизнь. Но ты должен держаться, должен жить, должен своего добиваться — помнишь, ты же летчиком мечтал стать. Выпьем, друзья, за летчика Сергея Воробьева!

Сережа кривится. Должен, должен! Ничего он не должен. И летчиком он не будет никогда, это все обман, ложь, розовые детские туманы.

Сережа пьет вино — сладкая водичка. Она не оглушает, не отвлекает мысли.

«Что рассуждать? — думает он. — Времена меняются, как сказал его папаша Авдеев. Взгляды меняются. Мнения».

Он раньше все хорошие слова, сказанные людьми, глотал, не прожевывая, словно голодный малек. Переел, видать. Теперь от добрых слов его мутит. Даже если их Олег Андреевич говорит.

Стучат. Бабушка суетливо шаркает к двери, отворяет ее перед Литературой и Никодимом.

Сережа со стуком ставит на стол чашку. Глаза его замирают. Литература тараторит поздравления, обходит стол, хочет поцеловать Сережу в лоб, но он демонстративно уклоняется — что за фокусы! — и она целует его в затылок.

— Вот тебе подарки! — говорит Вероника Макаровна, достает из авоськи мяч, альбом для марок, боксерские перчатки.

Боже, думает Сережа, сколько истратила денег, и мысль о деньгах обжигает его.

— Мне ничего не нужно! — резко говорит он учительнице, но она даже не слышит его, усаживается на табурет, угодливо подставленный бабушкой, приветливо улыбается Гале, Понте, кланяется персонально тете Нине и Олегу Андреевичу, сюсюкает что-то Котьке.

Никодим отошел, стал круглее, глаже, лицо то и дело ползет в улыбке. Но улыбаться открыто он как бы опасается, словно чего-то стыдится. Сережа нагло разглядывает Никодима, его ухоженный вид, изучает новый светлый костюм — раньше не было! — цветастый галстук — прежде он ненавидел галстуки, ходил вечно с расстегнутым воротом. Сережа замечает, что Никодим смущается, губы у него прыгают, брови шевелятся. Он без нужды причесывает волосы, прокашливается, что-то говорит Олегу Андреевичу.

Сереже делается стыдно.

Кое в чем он разбирается теперь. Немного успокоился и разбирается. В общем-то, Никодим человек не дурной, не злобный, не хитрый, не подлец, и маму он, видно, любил. Но бывают же вот такие люди — они, как амёбы, простейшие существа: легко меняют форму. Даже если их разрезать — половинки будут нормаль-

но существовать и не догадываться, что они лишь части целого. В природе вообще много всяких чудес. Есть животные, которые меняют цвет в зависимости от окружающей обстановки, температуру тела, могут перестать есть, даже дышать, если нужно. И все для чего? Лишь бы жить. Жить любой ценой, несмотря ни на что.

Никодим такой же. Он встретил маму, и все было прекрасно — разве забудешь то поле возле стога, туман, похожий на молоко, Никодима и маму, собирающих цветы?

Он даже сильным стал: ведь когда Сережа его с Литературой в первый раз увидел, они спорили. Конечно, о маме; о чем же еще? Спорили, и Никодим пришел к ним, и Вероники Макаровны не послушался. Она же хотела, чтоб ему было лучше — сама говорила, — а лучше, значит, не с мамой!

Сильный! Конечно, он сильный. Слабый бы так не поступил — совесть замучила. Впрочем, может, и Никодима мучает, но он сделал свое — и все. Точка.

Чего, в самом деле! Он еще не старый. Ему жить надо. «Горю не поможешь», — внушала Сереже Вероника Макаровна. И сыну своему это же внушила.

«Про деньги это тоже она», — думает Сережа. И при воспоминаниях о деньгах ему хочется вскочить, перевернуть стол, послать всех к чертовой матери. Он проклинает себя, проклинает бабушку за эту слабость — но что, что может поделать? Ведь он, если подумать, продал себя. Продав маму. Она бы на такое никогда не согласилась, у нее хватало и гордости и злости. А он, выходит, пошел. И какое имеет значение, что узнал все после, когда денег уже не стало, и что решила это бабушка одна, не спросив даже его...

Дело было так. Когда они меняли квартиру, тетя Нина очень возмущалась. Она говорила, что Никодим не имеет на нее никаких прав, что квартиру давали маме от работы и она принадлежит только Сереже.

Сереже эти слова не нравились, он осуждал тетю Нину, а Олег Андреевич все время повторял: «Пойми ты, у Никодима есть юридические права».

Двухкомнатную квартиру разменяли на однокомнатную и комнату, Никодим сказал бабушке: выбирайте,

что нравится больше. При разговоре была Вероника Макаровна. Она добавила:

— Разъезд, конечно, неравноценный, но если вы выберете комнату, мы компенсируем... Дадим вам триста рублей.

Бабушка оправдывалась потом:

— Ведь у меня же пенсия — всего двадцать четыре рубля, да твоя, за маму, — сорок. Разве проживешь на это? Порешай-ка арифметику: питание, квартира, одежда — ты ведь так и лезешь из нее.

Сережа свирепел, слушая бабушкины объяснения. Но последним доводом она его убедила.

— А за мебель, которую себе взяли, надо с тетей Ниной рассчитаться? Или хочешь, чтобы Никодим платил? Он предлагает, нате...

Сережа помнит, он действительно предлагал.

— Чем эту подачку брать, — возмущается бабушка, — я уж лучше законную разницу за жилплощадь получу.

Много раз они говорили об этом. Обсуждали со всех сторон. И выходит, Никодим тут ни при чем. Они как бы сами продали однокомнатную квартиру.

Сережа разглядывает своих бывших родственников. Едва они вошли, в комнате стало как-то напряженно. Все говорят, улыбаются, как и раньше, но неестественно, скованно. Вероника Макаровна, кажется, чувствует это, но старается не замечать. Воркует о чем-то с бабушкой, та вздыхает, кивает головой, с ней согласная. В общем, по всему выходит, учительница тут ни при чем. Так ей хочется, вот что. Это дела Никодима, она же — Сережина учительница, и только. Мало ли что! Не она ведь въехала в эту однокомнатную квартиру. У нее своя жилплощадь имеется.

Наконец Литература встает, раскланивается со всеми, расточая улыбки и добрые слова, Никодим повторяет все ее движения, они уходят.

— Зря ты переживаешь, — говорит Сереже тетя Нина, — надо было только не триста, а пятьсот взять, квартира все-таки мамина была.

— Знаете что, — неожиданно отвечает Сережа, — больше я в школу не пойду. Устроюсь работать. — Он усмехается. — В конце концов, надо на что-то жить.

В комнате становится тихо. Потом плачет бабушка.

— Разве же затем, — всхлипывает она, — я в деревне дом заколотила, к тебе приехала? Тебе учиться осталось три года.

— В школе три года, да потом пять лет, — вздохнув, говорит Сережа, — нет, не выйдет, долго ждать.

Чего ждать? Он знает чего. Того дня, когда будут у него эти проклятые триста рублей. Нет, не понимает тетя Нина его. Не нужны им эти сотни. И папашины деньги не нужны. Разве же не ясно — этими деньгами они откупаются от него. Хотят благородными быть. Пусть подавятся благородством своим.

Сережа смеется.словно с него спал какой-то груз.

— Олег Андреевич! — говорит он. — Тетя Нина! Помогите устроиться! Чтоб рублей сто получать.

— Сто — это много, — улыбается Олег Андреевич. — Чтоб сто получить, надо специальность иметь. Да и куда тебе столько...

— Нужно! — мрачно отвечает Сережа.

— А что, может, и в самом деле! — Олег Андреевич обнимает тетю Нину за плечи. — Может, пусть поработает. А учиться можно и вечером.

— Что бы сказала Аня? — задумчиво отвечает тетя Нина, вздыхает и с жалостью смотрит на Сережу.

— Вот вопрос — куда? — Олег Андреевич чешет лоб.

— Никакого вопроса, — отвечает спокойно тетя Нина. — К нам, на студию. Будет под моим присмотром. И Аню там знают...

6

Сережа дежурит через день.

Должность у него — осветитель, платят семьдесят рублей, вполне прилично, он же еще несовершеннолетний, то есть не совсем полноценный работник.

Сереже на телевидении все нравится! Тут всегда праздник!

Вечером перед передачей вспыхивают гирлянды мощных ламп, тетя Нина, непохожая на себя, подгримированная какой-то яичной пудрой, усаживается за низенький столик, в последний раз листает текст — бумаги с напечатанными на машинке сообщениями, звукооператор подкатывает к ней «журавля» — микрофон,

подвешенный к специальной металлической мачте с колесиками, операторы двигают, навалиясь всем телом, как докеры, свои тяжелые камеры, фиолетово сверкают объективы, прицеленные в тетю Нину.

Вдоль всей студийной стены, под потолком, звуко-непроницаемое стекло, как на радиостудии, но только больше, и за ним, у пульта с десятками рычажков, контрольных экранов, кнопочек и лампочек, сидят режиссер и его ассистент. Помощник режиссера носится в это время по студии с наушниками на голове, выполняет неслышимые команды начальства.

Потом щелкает табло, мерцает слово — краткое, как приказ: «Передача!» — и тут же на какой-нибудь камере вспыхивает красный глазок.

— Добрый вечер, товарищи! — улыбается тетя Нина. — Начинаем нашу вечернюю программу!

В студию врывается музыка, помощник режиссера двигает заставку-картинку, нарисованную на картоне, — там цветы, или пейзаж, или название передачи, операторы крутят ручки своих камер, и камеры нехотя поднимаются на высоту, наклоняют их — выбирают ракурс...

Сережина работа проста. Под руководством Андрона, старшего осветителя, он наводит свет на выступающих, если надо, выставляет отражатели, добивается, чтобы не было ненужных теней, чтобы, к примеру, носы не бросали тени на щеки, словом, стремится к качественному освещению лиц, фона, если надо — всей студии.

К тем, кого надо «высвечивать», как говорит Андрон, относится и тетя Нина. Сережа делает это с улыбкой и удовольствием, тайком разглядывая, как она «собирается» перед передачей, выбирает позу, как шевелит губами, «разрабатывая» их. Глаза у тети Нины светятся, и он думает, что она удивительно походит на маму. Не внешне, нет, а вот всем этим ежевечерним волнением перед эфиром, маленькими приготовлениями, которые на первый взгляд ничего не значат, но в самом деле означают многое.

Установив свет, Сережа шепчет шутливо тете Нине начало скороговорки, такого специального упражнения для дикции:

— В шалаше шуршит шелками!

Она кивает ему, понимает, что Сережа волнуется за нее, продолжает строчку:

— Желтый дервиш из Алжира!

— И, жонглируя ножами, — смеется Сережа.

— Штуку кушает инжира!

— Тихо, тихо, — кричит по радио режиссер. — Разбаловались, детки! Трехминутная готовность!

Сережа отходит на цыпочках в отведенный ему уголок, садится и молчит как мышь. Он тут просто осветитель — и все. И не должен путаться под ногами.

Часто после традиционных «Новостей» всем, кто в студии, делать нечего до самого конца — когда диктор прощается со зрителями. Гаснут лампы, выключаются камеры. Режиссер на пульте курит, скинув пиджак, или даже дремлет. Остальные смотрят фильм по монитору или телевизорам, установленным в фойе, а Сережа любит поговорить с тетей Ниной.

Они сидят в дикторской перед большими зеркалами, отражаются в них многократно, и тетя Нина рассказывает случаи из практики Олега Андреевича, или про Котьку, или про маму — каким хорошим она была радиодиктором, таких в стране немного, а в провинции не сыщешь днем с огнем. Сережа любит слушать рассказы про маму, а тетя Нина объясняет, что у каждого диктора должно быть свое лицо — творческое лицо, — своя манера, свой голос, непохожий на другие, так чтобы тебя узнавали сразу, без объявлений, и у мамы все это было.

— Ведь в том, что я диктором стала, — говорит тетя Нина, — твоя мама виновата. Я заканчивала институт, участвовала в самодеятельности — стихи читала, и вот нас пригласили записаться на радио. Твоя мама долго разглядывала меня сквозь окошко в радиостудии — я вела студенческий концерт, а потом ухватила меня за рукав, все про меня выспросила, наговорила кучу слов про мой талант и сюда привела. Вот я и не инженер, а диктор. — Тетя Нина улыбается тихо, наверное, вспоминает маму. — Так что Аня — моя крестная мать.

— А не жалеете, — спрашивает Сережа, — что не инженер?

— Нет! — уверенно говорит тетя Нина. — Твоя мама влюбила меня в эту профессию.

Сережа внимательно разглядывает тетю Нину.

Не верит он теперь красивым словам, но тетя Нина говорит искренне и про себя, отчего же ей не верить?

Они молчат. Сережа думает про маму, про непонятный ее обман, вспоминать о котором нет сил. Но надо, приходится.

— Тетя Нина! — говорит Сережа задумчиво. — А вы знали? Про отца?

— Нет, — отвечает тетя Нина, — не знала. Только накануне, как в больницу лечь, Аня мне рассказала. Словно предчувствовала... — Тетя Нина молчит, словно колеблется. — Этот Авдеев, — говорит она, — может, и неплохой человек. Он ушел к другой женщине, и мама вычеркнула его из своей жизни. Но она считала, что ты не можешь быть без отца. Пусть выдуманного.

— Почему же она лгала? — не понимает все-таки Сережа.

— Не лгала! — останавливает его тетя Нина. — Ты считай, не лгала! — Тетя Нина смотрит на Сережу серьезно, требовательно. — Считай, что отец твой летчик, что он погиб, испытывая самолет. Ты подумай только: так мама хотела!

Сережа думает. Мучительно думает.

Что ж, думает Сережа, пусть так и остается? Этот мамин обман? Пусть отец его считается погибшим летчиком? Но где его могила? Где его фотографии? Не зря же их нет, ведь невозможно же потерять сразу все, абсолютно все существующие фотографии... Так и жить, представляя вместо отца то Гагарина, то Чкалова, то неизвестных летчиков в высотных костюмах? Нет, это невозможно. Нельзя всю жизнь врать — себе, своим товарищам, потом, когда станет взрослым, детям своим. Мама говорила: у каждого человека есть продолжение, будет оно у Сережи, но что ж, тогда и у лжи продолжение будет? Ведь не смогут же внуки неизвестного летчика думать о нем так, как думал Сережа...

Мысли у Сережи совсем не мальчишечьи. И разве их передашь? Разве расскажешь все тете Нине?

Он напряженно молчит. Если бы взрослые лучше детей видели! Внимательнее на них смотрели! Не просто, как взрослые на детей, а как взрослые на маленьких взрослых. Как равные на равных, как мужчи-

ны на будущих мужчин и как женщины на будущих женщин...

Сереза разглядывает тетю Нину. Она красивая, счастливая, и сердце у нее доброе. Вот она и Серезу утешает, говорит, пусть так и будет, как мама выдумала.

Тетя Нина говорит это, потому что старается Серезу утешить. Потому что считает — он еще ребенок. Хочет не хочет, а смотрит на него как взрослая — сверху вниз...

Дети все-таки друг друга лучше видят. Вот Сереза Котьку, например.

Тетя Нина же Серезу не понимает. Видит, слышит и не понимает, потому что любит маму, любит Серезу и хочет все пригладить, успокоить, утешить.

Дети лучше понимают друг друга, думает Сереза и задумывается перед следующим вопросом, просто спотыкается о него: а вот взрослые понимают ли друг друга, как дети?

7

— Ты мужик али дите? — дурачась, спрашивает Андрон.

Сереза держит деньги, свою первую получку, и рот у него до ушей. Надо отложить немного, думает он, для тех трех сотен, остальное отдать бабушке, пусть больше не ворчит и не плачет.

Вечно у них из-за денег руготня. А недавно настоящая битва вышла.

Сереза собрался в магазин, полез к бабушке в кофту за деньгами, а вытащил квиток от денежного перевода. Его аж пот прошиб — опять от этого папаша! И нате вам — на бабушкино имя!

Он устроил допрос с пристрастием, сперва бабушка округляла глаза, делала невинный вид, потом разревелась и все рассказала. По порядку.

Знала она, единственная из всех, чей Сереза сын. Знала фамилию его, имя, отчество, поэтому, когда переводы приходиться перестали, испугалась — мол, услышал про маму и затих, выяснила адрес и явилась.

То ли просила его бабушка, а верней всего, сам

предложил — этого уж Сережа добиться не мог, но Авдеев опять прислал перевод.

— Ты отвечай за себя! — кричал Сережа бабушке. — А за меня нечего! Я работаю, поняла, мне его подачки не нужны.

Он велел ей дать сорок рублей, пошел на почту и отправил деньги обратно. Заполняя бланк, Сережа подумал и написал там, где оставлено место для письма:

«В ваших деньгах не нуждаюсь, буду всегда возвращать». В конце он хотел расписаться, поставить, как Авдеев, неразборчивую каракулю. Но раздумал. Вывел ясную букву С...

А вот сегодня у С, у Сережи, свои, не зависимые ни от кого деньги.

— Ну как, мужик али дите? — повторяет Андрон. — Давай скинемся — обмыть же надо трудовое начало!

Сережа выкладывает не раздумывая, трешку, остальные прячет в карман.

— Ну идем! — велит старший осветитель и сокрушается: — Вот беда — послать бы тебя, да не дадут — ведь несовершеннолетний.

Сережа ждет его в парке возле студии. Андрон исчезает и быстро возвращается с двумя бутылками и пирожками.

— Гляди не подведи, — предупреждает он, — а то узнают, что с несовершеннолетним пил, еще выгонят.

Лицо у Андрона маленькое, с кулачок, какое-то иссохшее, в глубоких бороздах морщин и местами шелушится. Сколько ему лет — не поймешь: не молодой, не старый. Бородка тощая, рыжая, клинышком. Он разливает портвейн по бумажным стаканчикам — себе полный, Сереже — половину, лицо его благостно разглаживается, еще немного, и он замурлычет от удовольствия.

— За начало трудового пути! — предлагает Андрон. — И пусть в этом пути будет побольше передышек!

Они пьют, заедают пирожками — вино сразу ударяет Сереже в голову, ему становится тепло, он разглядывает Андрона с любовью и уважением, кивает, соглашаясь с его словами.

— Работа, она как гора! — философствует Андрон. — На нее сразу не вбежишь. Да и к чему? Впере-

ди у тебя много лет, силы экономя, пригодятся. Сделал рывочек — передохни, сходи в отпуск, возьми бюллетенчик, пораньше с работы отпросись, пока несовершеннолетний.

Он расплескивает еще.

— И не рвись! — поучает. — Не рвись ввысь! А то что за жизнь, сам подумай! Работать да еще учиться! Потом опять учиться! Да снова учиться! Кончишь вуз, заработал корочки, а уж устал, помереть охота. Но это только начало, выясняется. Дальше стараться надо! Перед кем-то выпендриваться, других оттеснять, выдвигаться! Тьфу на все это! Плюнуть и растереть.

Андрон плюет, но плевков свой не растирает. Разливает еще.

Кусты, за которыми они сидят, шевелятся, Андрон суетливо прячет бутылку за пазуху — перед ними стоит дружинник. Сережа разглядывает его внимательно: у дружинника скрючена шея.

— Э! — вскакивает Сережа. Он узнал дядю Ваню, балагура из больницы, соседа по палате.

— Ничего, ничего! — говорит дядя Ваня кому-то за кустом. — Тут свои! Наши! — Он присаживается к Сереже, отнимает у него бумажный стаканчик, подставляет его Андрону. — Дай-ка лучше мне!

Андрон успокаивается, жмет руку дяде Ване, объясняет:

— Первую получку обмываем!

— А ты че? — говорит дядя Ваня. — Работаешь? А нашто?

— Мама у меня померла, — спокойно отвечает Сережа. Он вспоминает, как соврал тогда дяде Ване, что Никодим его отец, и хладнокровно восстанавливает истину: — А тот-то, помните? Он не отец...

— Отчим? — спрашивает дядя Ваня.

— Нет... Просто так... Никто...

Теперь Сережа лежит в траве, разглядывает осоковые шишечки и края лопухов, которые обрамляют небо. Ему хорошо. Чуть-чуть клонит в дрему, но он не спит, слушает, как философствует Андрон.

— Мы тут про жизнь, — объясняет тот дяде Ване. — Значит, на чем я остановился? Ну да! Плюнуть и растереть! Жить надо неспешно, куда торопиться, себя надирать — на тот свет? Поспеешь. А на том свете все меж собою равны. И достигшие. И недостижные. Не-

достигшим-то еще и лучше, поди-ка. Хоть вспомнить есть что: жил, мол, удовольствия ради, а не бежал наперегонки с другими. Ты вот кто? — обращается Андрон к дяде Ване. — Асфальтировщик? На катке? Прально! Прально! Мудро, я бы сказал! Я вот тоже всего-навсего осветитель. Лампочками освещаю людей. Не бог весть, слышь? И не надо! Я не гордый. Я и так проживу, пусть другие ломаются: призвания, мечтания, тьфу — растереть и плюнуть!

«Ха, летчиком я хотел стать, — думает Сережа, — а вот и не буду. Буду осветителем, как Андрон, — просто и тихо. И не надо ломать голову, биться, выпендриваться, все верно он говорит».

Андрон молчит, допивает свой портвейн, а дядя Ваня говорит задумчиво:

— Заберу, однако, я тебя.

— За что? — поражается Андрон. — Вместе же пили!

— Вместе, — грустно соглашается дядя Ваня, — но я тебя не за это заберу. А за слова твои, понял? За твою философию. — Он берет Андрона за грудки, притягивает к себе. — Житуха-то ему и так не больно сверкает, понял? Так ее веселить надо, понял, а не паскудить, как ты! Масло в огонь не подливать, да еще мальчонке! — Он поднимает Андрона на ноги. — А ну давай, Лев Толстой! Пошли к богу!

Сережа хохочет. Ну просто заливается. У Андрона на лице страх — того и гляди в штаны напустит. Он же не знает, какой дядя Ваня балагур.

— Кончай! — говорит он дяде Ване. — Не тронь. Он мой шеф!

— Шеф! — восклицает дядя Ваня. — Такой же шеф, как я японский император.

Сережа представляет дядю Ваню в японском кимоно и опять хохочет. Балагур плюет в досаде, поворачивается, исчезает за кустами, но тут же возвращается.

— Тогда я тебя заберу! — говорит он Сереже. — Вставай. Пошли отсюда!

Андрон разводит руками.

Вот он похож на японского императора. Сидит под кустом, ноги калачиком, руки развел, перед ним, в траве, пустая бутылка, как священный светильник.

— Поди-ка, не евши? — спрашивает его дядя Ваня.

Сережа мотает головой. Все кружится перед ним, но ему весело. Дядя Ваня держит его под руку, куда-то ведет, и вдруг они оказываются в маленькой комнате, за столом, перед ними дымится вареная картошка, а рядом сидят три лупоглазых пацана мал мала меньше и невысокая тетенька. Сережа узнал дяди Ванину жену, пацанов, которые приходили все вместе в больницу, тыкает вилкой в картошку, но все время отчего-то промахивается.

— Ишь развезло, — говорит жалеючи дяди Ванина жена.

Сереже неловко.

— Я сегодня зарплату обмывал, — говорит он.

— Слышь-ка, — стучит дядя Ваня пальцем по краю столешницы. Палец у него твердый, как бы заостренный, и стук от этого получается громкий. — Слышь-ка, — говорит он, — ты этому черту с бородкой не поддавайся. Не возжайся с ним, хоть он начальник твой. Обернуться не успеешь, голову закрутит, пустомел. Разве ж можно с такими идеями жить? В гроб только ложиться да помирать. А человек жить обязан.

— Че ты, че ты! — тараторит Сережа, изо всех сил держа глаза открытыми. — Он все прально. Без болтологии. Как в жизни, как на самом деле...

— Не как в жизни, — качает головой дядя Ваня. — Слабый он просто, понимаешь? Не повезло ему когда-нибудь, вот он и скис, придумал слова разные, чтоб оправдываться... Он ведь эти слова-то даже не тебе говорит, а самому себе. Себе внушает, что он правый, а остальные дураки.

Сережа молчит. Думает.

— Если несчастье случилось или не повезло, надо, наоборот, сильнее быть, злей даже. Повезло не повезло! Жизнь ведь не сани, никуда не везет, надо самому жизнь двигать!

Они выходят на улицу.

— Продышаться тебе надо, — говорит дядя Ваня.

Сережа втягивает в себя прохладный вечерний воздух, голова свежее, и в сон уже не тянет.

— Промежду прочим, — говорит дядя Ваня, — люди пьют с радости или с горя. Ну, понятно, получка —

праздник, отметить можно, хотя скажу прямо: если бы мой пришел так нагостевавшись, выдрал бы как сивого мерина!

Дядя Ваня кипит, а вовсе не балагурит. Что-то всерьез все принимает.

— Конечно! — говорит Сережа. — По-твоему, мы чаем с пирожными отмечать свои праздники должны? Сами пьете, а мы что — хуже вас? — Он задирает дядю Ваню. — Сам-то шею как сломал? А?

Дядя Ваня молчит, сжимает и разжимает кулаки, нервничает.

— Ишь въедливый какой! — сердится он. — Дети должны быть лучше родителей. Такое даже выражение есть, черт бы тебя побрал!

— Вот-вот, — отвечает Сережа, — дети — должны. А взрослые — не должны.

Дядя Ваня не согласен с Сережей, но ему не хватает слов, что ли. Доказательств.

— Пойми ты! — восклицает он. — У взрослых жизнь труднее, вот, например, я...

Он умолкает. Сережа приготовился смеяться — раз про себя, значит, смешное. Ему кажется, у дяди Вани вся жизнь очень забавная, одни нелепые происшествия, как тогда — из окна в клумбу свалился.

— Ну слушай, раз так, — говорит дядя Ваня, а морщины на его лице делаются глубже. — Никому не говорил, даже жена не знает, поэтому молчи, будь мужиком. Вот эта жена, которую ты знаешь — говорит дядя Ваня, — у меня вторая. На первой, на Нюре, женился я до войны, молодым, совсем мальчонкой. И было двое детей у нас — две дочки. Вот. А потом война началась. Мы в Орле жили. Я ушел на фронт, сразу же попал в окружение, когда вышел, написал домой. Ответа нет. Пишу соседям, мало ли, думаю, эвакуировались куда, а назад получаю известие. — Дядя Ваня закуривает, и Сережа видит, как мелко вздрагивают у него руки. Дядя Ванина тревога незаметно передается и ему, он уже не смеется, не ждет забавного, а слушает внимательно, напряженно. — Получаю известие, — повторяет дядя Ваня, и голос его хрипнет, — что бомба, в общем — прямое попадание в цель, где они прятались. Детей сразу, на месте, жена умерла в больнице. Незадолго, пишут, перед тем получила обо мне известие — пропал без вести.

Дядя Ваня вздыхает, долго молчит. Пускает через нос дым, окутывается табачным облаком.

— Ну вот, — говорит, затапывая папиросу. — Вышел я из войны, помотался по белу свету. Долго плутал, никак своего найти не мог. Потом вот Асю встретил, поженились, детишек родили, все вроде как заросло — не то еще зарастает. А в прошлом году весной поехал я на юг, в санаторий, по профсоюзной путевочке. Иду как-то утречком по берегу, любуюсь прибоем и вдруг, представляешь, вижу — идет навстречу мне Нюра. Седая, правда, старая, как я, но Нюра... Остановились мы друг против друга, потом навстречу бросились! — Дядя Ваня вздыхает, трет лоб, не знает, куда руки деть, пальцы сгибает и разгибает. — Вишь, как выходит. И радоваться вроде надо. А вроде и плакать. Нюра в госпитале тогда не померла, хотя плоха была, — ее эвакуировали. Ожила, после войны замуж вышла: считала меня погибшим. Тоже дети есть, семья... Вот и посоветуй, — оборачивается к Сереже дядя Ваня, — как быть? И любим-то мы с ней друг дружку по-старому. Может, и крепче еще. И семьи наши новые ломать права не имеем.

— Почему? — спрашивает Сережа. — Ведь встретили же! Все слава богу!

— Почему? — переспрашивает дядя Ваня и горько усмехается. — А потому. Из-за детей.

Из-за детей! Сережа сжимает шершавый дяди Ванин кулак, благодарность теплой волной захлестывает его. Благодарность и горе.

— Оттого и пил я, — говорит дядя Ваня. — Через это и с подоконника упал, черт бы меня побрал.

Теперь этот случай не кажется больше смешным. Сережа разглядывает в темноте дяди Ванино лицо.

— А вот мой, — говорит Сережа, кусая губы, — обо мне не думал.

— Живой он у тебя, настоящий-то? — спрашивает дядя Ваня.

— Живой, — отвечает Сережа.

— Эх, дела! — говорит дядя Ваня. — Но ты, того, не хнычь, не распускайся. Волю свою держи. Бывает, что надо переступить себя.

— Переступить! — восклицает Сережа и повторяет задумавшись: — Переступить...

Дядя Ваня переступил для детей, это ясно, для сво-

их детей. Сережа, коли надо, десять раз себя переступит. Ну а сейчас-то? Через что переступить? Почему? Зачем?

Сережа шагает домой и думает о дяде Ване. Тот сказал ему на прощанье несколько слов, и эти слова только теперь доходят до Сережи. Он сказал, что у той Нюры, первой своей жены, не спросил даже адреса. И новой фамилии. Чтобы не было никакого пути назад.

— Пусть будет, как было, — сказал он ей, и она согласилась.

Сережа вздрагивает. Это кажется невероятным! Живые люди считают себя мертвыми!

Он вспоминает ребят дяди Вани: а ведь правда, они не виноваты! Но и это еще не все. Можно невиноватых виноватыми сделать. Важно — думать, важно — беречь, важно себя для других не жалеть, вот что.

Сережа невольно думает про Авдеева. Это не имеет значения, что случилось у них с мамой. Почему он бросил их. Важно — бросил. Не захотел подумать, убереечь, важно, что себя пожалел.

А может, не так? Может, все по-другому?

Может, это мама бросила его?

Но это все равно. Мама бы не ушла просто так. Просто так ничего не бывает. И теперь вот он, Сережа, должен думать о нем.

Зачем? Зачем он взялся из этой маминой тайны? Зачем он убил того, Сережиного отца, — пусть с разными лицами, но хорошего, доброго, несчастливоего?

Сережу знобит от бескрайней обиды. Он с ненавистью сжимает зубы. И вдруг бежит.

Он бежит не домой — к Авдееву.

Сережина тень то обгоняет его, то на мгновение отстает. Фонари бросают блики на его вспотевшее, влажное лицо. Голова кружится.

Уже темно, в окнах гаснет свет.

Сережа врывается во двор, где живет папаша, и орет во все горло:

— Авдеев! Авдеев!

Вспыхивает свет в окнах на третьем этаже. Кто-то в майке выходит на балкон.

— Кто там? — хрипло говорит человек.

— Зачем ты явился? Кто тебя просил? — кричит Сережа.

— Не делай глупостей, Сережа! — отвечает тень на балконе.

Сережа стремительно наклоняется, подхватывает с земли камень и швыряет в авдеевское окно.

Раздается грохот.

— Есть! — шепчет себе Сережа и поднимает еще камень.

Снова звенит стекло.

— На! — кричит Сережа. — На, гад! Получай!

В соседних окнах загораются огни. На балконы выбегают люди, словно поглядеть на пожар, что-то кричат, но Сереже все равно — что...

Часть четвертая

ПОБЕГ

I

Бабушка стоит посреди комнаты босиком, в длинной белой рубаше — настоящее привидение. Косички дрожат у нее на плечах — она плачет, но в руке держит ремень.

— По ночам шляешься! — говорит бабушка, стараясь быть грозной.

Сережа обнимает ее, целует, поднатужившись, отрывает от пола.

— Господи! — плачет бабушка. — И пьяный! — Но Сережа лезет в карман, поднимает над головой несколько цветных бумажек — свою зарплату.

Слезы у бабушки сохнут.

— Не знаю, об чем и думать, — говорит она. — Куда бежать — то ли в морг, то ли в милицию?

Она накидывает халатик, приносит Сереже молоко, хлеб, колбасу.

Сережа жадно ест. Потом ложится на раскладушку, разглядывает цветочки на дешевеньких обоях, которыми бабушка оклеила комнатку. Как у Пушкина, думает он: «Воротился старик, — глядь — стоит прежняя бабушка, на пороге сидит его старуха, перед ней разбитое корыто...» Много захотел очень, издевается он над

собой, проваливаясь в сон. Сыном стать... Брата или сестру...

Он просыпается от толчков. Ничего не понимая, открывает глаза. Бабушка трясет его за плечо.

— За тобой пришли! — плачет она. — Что наделал-то?

Он встает, подходит в трусах к столу.

Возле двери — молоденький милиционер. За ним — Авдеев и какая-то женщина.

— А! — говорит Сережа, не удивляясь. — Здрасьте-пожалте, гости добрые!

— Он еще и острит! — говорит милиционер. Во все щеки у него румянец. Будто отлежал. Но слова говорит серьезные: — Давай-ка одевайся!

Сережа натягивает штаны, причесывается, целует бабушку в щеку и говорит ей:

— Ты не волнуйся! Спи! Я просто папаше окна выставил!

— Окна ты выставил не папаше, — говорит милиционер, присаживаясь, — а совсем другим людям.

Другим людям! В Сереже что-то обрывается. Какая глупость! Почему — другим?

Сережа молчит, растерянно глядит на бабушку и клянет себя. Ведь это из-за него растянула она толстые губы, как девчонка, плачет без удержу, надевает при всех платье. Он прикрывает ее собой, говорит по-сторонним:

— Отвернитесь, чего уставились? — А сам думает: «Дурак проклятый, чего натворил!»

— Товарищ сержант, — говорит Авдеев, — но мы же уже договорились с Клавдией Петровной, — он глядит на кивающую женщину, — полюбовно, так сказать, миром, я все оплачу, и к мальчику у нас больше нет претензий...

— У вас к нему нет, а у меня есть, — отвечает милиционер, — я, если хотите знать, о вашем же сыне беспокоюсь, хоть вы и порознь живете. Сегодня вам окно высадит, а завтра кем он станет?

Милиционер постукивает карандашиком.

— Мы фиксируем, — втолковывает он Авдееву, — все факты хулиганства подростков и, если вот бабуся с ним не справляется, путево^{ку}чку в колонию выпишем.

Сережа разглядывает милиционера и никак не может простить себе оплошку. И вдруг поражается: но

за что же он хотел выбить окно Авдееву? Кто ему этот человек? Сам же говорил: его нет, не существует!

На душе муторно, как-то липко.

— Знаете, — говорит он, — вы меня простите, это вышло как-то случайно, я выпил.

— Ну вот! — хлопает белесыми ресницами милиционер. — Как говорится в худфильме — признание прокурора президенту республики.

Он распахивает блокнот, начинает что-то быстро строчить, зернышко карандаша громко шуршит под сильным нажимом.

— Товарищ милиционер! — взывает к нему Авдеев.

— Мы же договорились, — неуверенно просит пострадавшая Клавдия Петровна.

Бабушка снова плачет, но сержант их не слышит.

— Значит, вы с ними не живете, — говорит он как бы сам себе, но обращаясь к Авдееву. — С мальчиком одна бабушка. Как фамилия? — Он мельком вскидывает на нее глаза. — Подросток хулиганит в пьяном виде, и уследить за ним некому.

— Погоди! — говорит бабушка. В глазах у нее решимость.

Милиционер перестает писать, снимает наконец фуражку, сурово оглядывает бабушку, не в силах понять, по какой такой причине она сбивает его мысль.

— Погоди! — повторяет бабушка. — Есть еще кому за него заступиться, у него еще отчим имеется.

— Где же он? — удивляется милиционер.

Бабушка суетится, бормочет под нос:

— Сей минут, сей минут! — Потом бросается к выходу, кричит: — Я ему позвоню!

Сережа досадует на бабушку, клянет себя за дурость, за непростительную свою ошибку и объясняет:

— Она же зря пошла, понимаете, отчим со мной не живет, он ушел после мамы, и вообще ведь виноват я...

Милиционер разглядывает Сережу — слушает и не слушает. Потом спрашивает:

— Что пил-то? И с кем?

— Портвейн, — отвечает Сережа, а дальше врет: — На именинах у одного мальчика...

— На именинах, — вздыхает милиционер, в голосе его Сережа не слышит прежней решимости. — В первый раз?

— В первый, — говорит Сережа.

— Если штраф надо, товарищ сержант, — перебивает его Авдеев, — вы сразу скажите, я готов хоть сейчас, все-таки Сережа — мой сын, я обязан.

Гнев душит Сережу: «Все-таки сын»!

— Товарищ Авдеев! — дрожащим голосом произносит Сережа, и отец его испуганно сверкает очками. — Товарищ Авдеев! — зло повторяет он. — Что вы тут меня защищаете! Что вы все откупаетесь! Я не нищий, я работаю и без ваших забот обойдусь!

Милиционер поднимается, прохаживается по комнате, пуская за собой папиросный дым. Сережу колотит. Он не верит Авдееву. Он точно знает, что Авдееву надо все пригладить. Чтоб никто ничего не подумал...

Щелкает замок. На пороге стоит бабушка. Косички снова развязались и болтаются на плечах.

— Не пошел, — произносит она растерянно. — Я, говорит, сплю и все равно с вами не живу. Не отвечаю.

Милиционер останавливается, задумчиво глядит на бабушку, дымит папиросой. Потом подходит к столу, сует в карман свой блокнот и молча выходит. За ним исчезает женщина. Авдеев на пороге оборачивается.

— Эх ты! — говорит он и шевелит желваками. Потом плотно прикрывает дверь.

Сережа облегченно вздыхает.

— Глупенькая ты моя, — говорит он бабушке и, как маленькую, гладит ее по голове.

А бабушка опять плачет.

Потихоньку бабушка затихает, и чем тише всхлипывает она, тем больше саднит Сереже душу, колет досада на самого себя, жжет собственная несправедливость.

2

Сережа просыпается рано, еще нет шести. Медленно обходит квартиру. Собирает в авоську Никодимовы подарки. Альбом с марками. Книги. Боксерские перчатки. Ласты, трубку, маску. Футбольный мяч. Выводит из угла велосипед.

Он стирает ладошкой пыль с зеркала, глядится в него. Год только... Целый год...

Сережа вспоминает, как свалился, заглядевшись на себя в это зеркальце... Глупый был, совсем пацан.

Из всех Никодимовых подарков Сереже жаль толь-

ко велик. Да и то не потому, что он ему нужен. На велосипеде он катался в прошлом году — нынче ни разу не сел даже. Просто потому... В общем, ясно.

Велики привезли тогда Валентин и Колька. Ехали на похороны, а про них не забыли — вот такая деревенская привычка. Поставили тихо в чуланчике у дворника на старой квартире. И вот Сережин здесь.

Да какой он Сережин? Никодимов. Все это добро Никодимово, ему вроде как взятки давались. Теперь-то он понимает, прекрасно все понимает.

Сережа представляет, как вчера ночью стоял сонный Никодим у телефона в одних трусах, с измятыми щеками, как слушал бабушкины слова, как бегали у него глаза, как сказал он бабушке свое решение. Ясное дело, это Сережи он стеснялся, пацана, потому что говорил ему когда-то совсем другое, а перед старухой стыдиться не приходилось — чтобы раз и навсегда все было понятно. Испугался... Может, и не испугался, а не захотел. Твердо сказал, что отношения не имсет...

Бабушка не глядит на него, пригорюнясь, но молчит, не возражает. Еще бы! Это ведь ей вчера досталось. Эх, бабушка, деревенская твоя душа...

Сережа вешает авоську на руль, выкатывает велосипед на улицу. Сначала он ведет его просто. Потом садится.

В последний раз!

Педали радостно поскрипывают, — наконец-то они крутятся, потренькивает звонок, когда колеса попадают в выбоины, мягко шуршат шины. Вот так... Все это было, теперь не будет. Это — прошлое.

Сережа не торопится. Делает круг по городу. От их с бабушкой комнатки к дому, где было счастье. Потом к другому, старому, где они с мамой много-много лет прожили, где было хорошо и покойно. Интересно, думает Сережа, висит ли то объявление на двери: «...а то мозги вылетят!» И живет ли та сварливая соседка? Потом Сережа мимо школы проезжает, словно прощается со всем этим миром, миром детства — горестного и счастливого. У Галиного дома Сережа притормаживает, вглядывается, виляя рулем, в пустые окна. Наверное, еще спит.

Велосипед идет медленно, нехотя, будто знает — следующий этап — Никодим. Однокомнатная его квартира, где он теперь живет.

Сережа решительно крутит педали, резко тормозит, втаскивает велосипед на четвертый этаж. Перед тем, как позвонить, снова гладит зеркальце.

Прощай, велик! Передавай привет!.. Кому?

Прошломu лету!

Он нажимает на кнопку. Слышит шаги за дверью. Гремит цепочка, на пороге — заспанный Никодим.

— Получите ваше имущество, — говорит спокойно Сережа.

Никодим что-то там лопочет, но Сережа уже шагает вниз.

Он идет по городу.

Хотя еще утро, солнце печет, будто близкая печка, слепит глаза, выбивает пот. Август, а как в июле.

Время есть, Сережа шагает просто так, без цели и вдруг носом к носу сталкивается с Литературой.

В руках учительница держит бидончик и авоську, полную всякой снеди: помидоры, огурцы, но главное — арбуз. Арбуз оттягивает ей тонкие руки.

— Сереженька! — обрадованно восклицает Литература. И вдруг просит: — Ну-ка помоги!

После вчерашнего? Как у нее язык поворачивается просить помочь после вчерашнего? Сережа сердито разглядывает бывшую родственницу, он готов отказаться, но вид у Литературы жалкий, усталый, волосы совсем закрывают глаза, а она не может даже откинуть их — заняты руки. Да ведь и не было ее вчера, наверное, у Никодима? Не знает она ничего? Он молча берет за авоську.

— Сейчас к Никодиму зайдем, — болтает учительница. — Отрежу тебе арбузика. На рынке открывала — уж такой яркий, такой сахаристый.

«Как же, — думает Сережа, — непременно зайду!» А про себя отмечает: значит, не знает еще ничего. Но что ему за дело? Пусть знает! Донесет вот авоську до подъезда, а там пусть катится...

Сережа шагает, глядя себе под ноги, перехватывает авоську из руки в руку, молчит, но Литература и не требует от него ответов. Ей носильщик нужен, вот и все.

Она перебирает всякую безделицу — сколько народу на рынке, как все дорого, и вдруг произносит:

— Сережа, Никодим у вас помазок для бритвы оставил, две майки и тренировочные брюки, хлопчато-

бумажные, в суете разъезжались, понимаешь... Посмотри...

Сережа останавливается. Голова у него начинает кружиться. Все быстрее, быстрее.

— Что? — переспрашивает он. — Помазок и брюки?

— Да, да, — улыбается доброжелательно Вероника Макаровна. — И две майки.

Сереже хочется вдруг спросить ее. Задать один вопрос.

— Я ночью разбил окна людям, — говорит он торопясь, — и бабушка позвонила Никодиму, чтобы он заступился, понимаете? А он сказал: я ничего не знаю, я с вами теперь не живу.

Сережа видит, как вытягивается лицо Вероники Макаровны. Она переступает с ноги на ногу, мучительно думает, что ей сказать: что-то борется в ней, какие-то слова. Наконец успокаивается. Смотрит на Сережу уверенно.

— А что же, — говорит, — он должен был сказать?

«Ну вот и все! — облегченно вздыхает Сережа. — Пожаловался».

Он кладет авоську на землю, кивает учительнице, поворачивается и бежит.

— Принесем, — кричит, обернувшись, — и помазок, и все прочее!

Сережа бежит по серому асфальту, и его колотит жаркая ненависть.

Он вспоминает тот летний вечер, когда Литература пришла к ним в гости. И маму — напряженную, злую. Да, да, да! Мама была права! Тысячу, миллион раз! Нельзя было верить. Ни на минуточку. Все представлялась эта Вероника Макаровна. Даже тогда, когда говорила: у нас похожая судьба. Может, и похожая была, да мама никогда бы так не сказала. Не стала бы выгораживать своего сыночка перед своим же учеником.

Сережу душит обида, слезы наворачиваются на глаза.

— Эх вы! — шепчет он. — Благородные люди!

3

В студии записывают «Трех мушкетеров». Еще вчера Сережа думал об этом с любопытством, сегодня все

кажется ему глупым, бездарным обманом. Эти жирные, старые мушкетеры, с которых градом катится пот, их неумелое брэнчанье шпагами, громогласные фальшивые слова.

В разгар записи совсем не по пьесе с грохотом, одна за другой, взрываются две лампы. Света недостаточно, и режиссер на пульте кричит по радио:

— Осветители! Андрон!

Андрона в студии, как назло, нет, он выскочил куда-то, и режиссер набросился на Сережу:

— Немедленно менять лампы! Никакого порядка! Набрали сопляков!

На глаза наворачиваются слезы.

— Я эти лампы не делал! — кричит Сережа режиссеру и бежит на склад, но теперь куда-то исчез кладовщик, Сережа обегает коридоры, заглядывает во все комнаты, наконец находит его в самом неподходящем месте.

— Что! — орет разъяренный кладовщик. И это нельзя! Будто Сережа последний тиран и мерзавец.

— При чем же тут я? — объясняет Сережа. — Ведь запись, простой!

— А при чем я? — орет взвинченный кладовщик. — Ну эта занюханная контора! Никогда никакого порядка! Уйду!

Назло Сереже и всему свету он копается, пишет через копирку какую-то бумагу, дает Сереже расписаться. Наконец выдает две лампы. Сережа мчится по коридору к студии. Лампы большие, он держит их широко растопыренными пальцами. И вдруг распахивается дверь из какой-то комнаты, Сережа шарахается к противоположной стене, одна лампа вылетает из его вспотевших пальцев и с торжественным звоном разлетается в мельчайшие осколки. Сережа готов завывать от обиды, от неудачи, но в дверях, которые распахнулись так неожиданно, стоит Андрон. Он все понимает, кивком головы велит Сереже бежать в студию, а сам мчится к кладовщику.

Режиссер на пульте совсем сходит с ума.

— Скорей, скорей, скорей! — орет он голосом, усиленным динамиком. — Кончается время!

Сережа вкручивает свою лампу, в студии появляется Андрон с озабоченным лицом и еще одной лампой. Вид у него такой, что режиссер молчит — вообще с Андро-

ном лучше не связываться... Лампы вспыхивают, в студии солнечно и ярко, «Трех мушкетеров» начинают записывать снова, пожилые толстяки опять начинают брэнчать шпагами.

Сережа сидит в своем углу, сжав голову руками, почти в отчаянии.

К нему на цыпочках подходит Андрон.

Сережа закрывает глаза. Ни о чем не хочется говорить.

После записи они сидят в буфете. Глодают безвкусные сосиски. Пьют лимонад.

— Поскорей жуйте! — шумит на них буфетчица, пожилая тетка с плоским, как у якутки, лицом. — Пора уходить! Вас ведь тут никогда не накормишь, идут и идут, идут и идут!

Сережа видит, как, мусоля пальцы, буфетчица считает стопку денег. Целую кучу.

Денег... Много денег... Его осеняет: «А нужно только триста! Прийти и отдать. Вместе с помазком и этими хлопчатобумажными брюками. Ничего не говорить, отдать только. Или сказать: вот вам ваши игрушки... Как в детстве... Подачки мне не требуются!»

— Андрон, — говорит Сережа, — одолжи три сотни.

Тот крутит пальцем у виска.

— Тебе куда столько?

Сережа говорит ему про размен. Про Никодима и его мамашу. Про триста рублей, которыми бабушка соблазнилась и которые давят и унижают его. Про вчерашнее. Про Литературу — как колебалась она, что ответить.

Андрон чертыхается.

— Все в мире разделено на две половины, — говорит он. — В цвете — черное и белое. В морали — высокое и низкое. В характерах — хитрость и простота... Вот ты — пацан еще, поэтому простой, неопытный. А твои эти... родственники... Ей же своя рубашка ближе к телу. А справедливость — как бог на душу положит...

Сережа кивает головой. Точно. Правильно рассуждает Андрон.

— Но не все так просто, — продолжает Андрон. — Ты трактат Чернышевского читал? Об отношении искусства к действительности?

Сережа мотает головой.

Что-то плохо он понимает.

— Слушай сюда! — восклицает Андрон. — Сейчас поймешь!.. Вот в болоте! Лягуш на лягушку глядит, и нет для него никого прекраснее. А меня, может, от вида этой лягушки тошнит. Это теория, понимаешь?

— Вы кончите, нет, пустобрехи? — взрывается буфетчица. — И молотят, и молотят, вот язык-то без костей.

— Зато у тебя, — говорит Андрон, — язык с костями. Я имею в виду говяжий язык и рыбы кости, — все в одной тарелке!

— Чистоплюй нашелся! — орет буфетчица. — А ну давай отсюда.

Она кладет деньги в ящик, вделанный в прилавок, щелкает замком, машет руками:

— Все! Закрыто!

Андрон и Сережа идут на улицу. До передачи полчас. Они забираются за кусты в парке, ложатся на траву.

— Итак, исходя из Чернышевского, — продолжает Андрон, — на вещи можно смотреть по-разному. Сейчас ты на родственников этих глядишь как слабый на сильных. Но вот ты достаешь триста рублей, швыряешь им и уже — что? — смотришь на них как сильный на слабых.

— Это верно! — говорит яростно Сережа. — Очень верно! Но где взять триста рублей?

— Вот это интересный вопрос, — объясняет Андрон. — Уже по Достоевскому. Помнишь — в болоте все прекрасны. А я давно говорю, что вся наша жизнь — болото. Чем меньше в него влезаешь, тем лучше. Но это другое дело. Итак, теорема: ты в болоте. В болоте? — спрашивает он Сережу.

— В болоте, — соглашается тот. — Да еще в каком!

— Значит, напрашивается вывод — не бойся запачкаться. Все равно в болоте. Ведь, запачкавшись, ты как бы сразу очистишься: отдашь эти три сотни, швырнешь им в лицо!

— Украсть, что ли? — не понимает Сережа.

— Во брякнул! — поражается Андрон. — Это уж слишком уголовная мера... Ну продай что-нибудь... Займи до завтра, а сам не отдай... Что-нибудь такое мирное. Аморальное, но не совсем. — Он потягивается в зеленой траве. — Я бы тебе дал, — говорит он, — даже

аморально, до завтра, но с обманом. Да ведь нету! — Андрон зевает и декламирует: — Птичка божия не знает ни заботы, ни труда...

— Слушай, Андрон, — спрашивает вдруг Сережа, — а ты кто?

— Как кто? Старший осветитель.

— А еще? — добивается Сережа. — Кто ты в самом деле?

— Пьяница, — отвечает Андрон добродушно, — а оттого и натуралист.

— Как, как? — не понимает Сережа.

— Ну, на жизнь смотрю натурально. Без всяких прикрас.

4

Это верно, размышляет Сережа на передаче, жизнь надо рассматривать без всяких прикрас. Чем дольше он живет, тем больше в этом убеждается. На жизнь надо глядеть трезво, взросло, серьезно. Никто к тебе не придет и не скажет: Сережа, вот тебе деньги. Пойди швырни их Литературе. Вместе с их барахлом. Дядя Ваня прав. Жизнь надо самому двигать, а не ждать, пока повезет. Это не сани какие-нибудь, правильно.

Деньги! Деньги! Чем больше думает о них Сережа, тем больше уверенности: обязательно! Обязательно надо отдать. И ошибается тетя Нина, которая не считает эти деньги оскорбительными. Очень здорово ошибается! Больше ничего не должно их связывать. Ничего. Ни помазок, ни та подачка.

Сережа не дожидается, когда закончатся «Новости». После этого станут крутить детектив, подряд две серии — это два часа, не меньше, и, может быть, если тетя Нина согласится, они успеют к ней сбегать... Делать нечего, он решил занять у нее. Надо только не говорить для чего.

«Новости» заканчиваются. Сережа поворачивает рубильник, лампы гаснут. Он идет в дикторскую. Тетя Нина сидит спиной к двери, держит в руках гитару.

— Садись, Сереженька, — говорит она ласково и тихо трогает струны. — Как дела? Все хорошо у тебя? С Андроном ладишь? Он забавный дядька, не правда ли? Этаким философом!

— Все хорошо, — отвечает Сережа, — с Андроном нормально...

Тетя Нина начинает играть, и Сережа вздрагивает. Мама! Это мама!

Гори, гори, моя звезда,
Звезда любви приветная,
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда...

— А кто, — словно в полусне, спрашивает Сережа, — кто у вас эта звезда?

— Котька! — отвечает тетя Нина.

— А Олег Андреевич? — спрашивает он.

— И Олег Андреевич, — улыбается тетя Нина.

Сережа проглатывает комочек, подступивший к горлу. Все как было. И даже ответы такие. Только мама тогда головой мотнула, когда он про отца спросил. «Нет, — ответила она, — только ты». Сереже ясно теперь, почему она головой мотнула, почему так ответила.

Воспоминания наваливаются на него, сгибают плечи. Что бы, интересно, сейчас сказала мама, думает он, что посоветовала? Ясно — рассчитаться с Никодимом и Литературой. Но как?

— Тетя Нина, — говорит Сережа, — одолжите триста рублей?

— У меня нет, — говорит она и удивляется: — Зачем тебе столько?

«И так неудобно, — думает он, — что делать — спрашивал наудачу, на всякий случай».

— Один долг надо вернуть обязательно, — говорит Сережа.

— Я бы дала, — говорит тетя Нина, — без всяких разговоров, но сейчас нет. Может, терпит месяц? Или давай я перезайму.

Ну нет! Что он, маленький! Сережа отнекивается, объясняет, что это вовсе не обязательно, что найдет сам.

Он выходит из дикторской. Остается одно. Понтя. К нему приехал дед генерал. Дед, наверное, богатый.

Сережа предупреждает Андрона, садится в троллейбус. Понтя дома, но генерала нет, только какой-то старик в шлепанцах на босу ногу и полосатой пижаме смотрит телевизор.

— Пантелеймоша! — говорит Сережа умоляющим

голосом. — Попроси у своего генерала триста рублей. Во как нужно!

Понтя рассеянно оглядывается, потом шепчет:

— Зачем?

— Только не спрашивай, — говорит громко Сережа, — узнаешь потом! Ну попроси у генерала!

— Ты что думаешь! — вмешивается вдруг старик у телевизора. — Раз генерал, значит, миллионер?

— Нет, — объясняет горячо Сережа, — не миллионер, у нас они не водятся, но все же!

Старик качает головой. И тут только до Сережи доходит, что этот старик и есть генерал. У него в самом деле усы. И когда он покачал головой, усами нос погладил — точно так, как Понтя губой шевелил.

— Это вы и есть? — говорит рассеянно Сережа. Он пятится к двери, краснеет. — Тогда извините! — лопочет он.

Старик вскакивает с кресла, глаза его смеются, он забавно, как тараканище, шевелит усами.

— Ну а если, — говорит он, — я триста рублей найду, когда вернешь? Через неделю?

Сережа вспоминает Андрона. «Что-нибудь такое, — говорил он, — аморальное, но не совсем». Вот оно — не совсем аморальное, кивнуть, дать слово, а потом не вернуть.

— Ну через две, — говорит генерал, и Сережа видит Понтино лицо сбоку. Понтя радуется, подмигивает, мол, бери. Но через неделю Сережа не вернет. И даже через две. Может, через полгода.

— Нет, — говорит он, — спасибо. Через две — тоже.

— А мне к тому времени уезжать надо, — объясняет старик, — я ведь, знаешь, хоть и генерал, а пенсионер, — деньги на билет потребуются. На дорогу. Кое на какие покупки.

Сережа разглядывает доброго старика. Нет, он не может его подвести. И себя не может. Никак.

Сережа прощается с генералом и Понтей. Они жмут ему руку. Сережа выходит на улицу. Облегченно вздыхает.

Он улыбается. Ему нужны триста рублей, просто позарез нужны, но как здорово, что он не взял их у генерала. Ведь даже в зеркало сам на себя он не смог бы тогда глядеть.

Сережа едет домой. Бабушки нет. Куда-то ушла,

Он открывает шкаф, где хранится одежда, перебирает плечики с мамиными платьями.

Сердце обрывается.

Вот в этом платье мама приходила в больницу, когда Сереже исполнилось четырнадцать. В этом ходила, когда ждала маленького.

Продать мамины платья? Только не это! Даже лучше украсть.

Сережа припоминает: плосколицая злая буфетчица кладет деньги в ящичек, вделанный в прилавок.

Эти деньги, эта кипа мелькает снова и снова.

«Сколько там? — думает он. — Рублей пятьсот. А то и тысяча!»

Он отталкивает наваждение, перебирает плечики в шкафу, сдергивает с них свое: недорогой костюмчик, купленный еще мамой, демисезонное пальто, рубашки. Это, конечно, негусто, думает он, связывая вещи в узел, но все-таки. Может, рублей сто?

В комиссионном магазине уже висит табличка «Закрыто», но Сережа подныривает под нее, видит накрашенную тетку.

— Неграмотный? — кричит она. — Уже восемь!

— Тетенька, — умоляюще просит Сережа, — примите вещи, мне деньги очень нужны.

— Всем нужны! — успокаивается тетка. — Но приемщица уже ушла, это раз. А главное — от детей мы не принимаем.

— Я не ребенок! — говорит Сережа.

— Паспорт есть? — обрезает его тетка. — Ну видишь, значит, ребенок.

Он выныривает из-под таблички на улицу, бежит домой. Пора! Скоро кончится детектив!

Бабушки все нет. Сережа бросает узел на стол. Кидается к двери. И вдруг останавливается.

Он шагает к шкафу, отыскивает на полке свои перчатки, сует их в карман.

Сердце бьется, словно молот.

Он бежит на студию, спокойный и уверенный. Он знает, что надо сделать. Андрон говорил — не совсем аморальное. Он ошибался. Чтобы размотать этот клубок, нужно время. А времени нет. Значит, надо взять топор и узел разрубить. Выходит, надо сделать совсем аморальное. Украсть.

В студии вспыхивают лампы. Тетя Нина усаживается за столик... Операторы двигают камеры...

Сережа сидит в углу и ничего не видит. Его лихорадит мысль о предстоящем.

Украсты! Решено!

В конце концов буфетчица не пострадает. Ведь это будет кража. Ее не заставят вносить украденные деньги. Потом, когда он заработает эти проклятые триста, он ей вышлет. Так же, как украдет, — без слов. Уедет на окраину, в почтовое отделение, где его никто не знает, и отправит перевод без обратного адреса. Впрочем, адрес можно выдумать. И наконец, если там не триста, а больше, он остальное не возьмет. Оставит.

Операторы снимают наушники, в студии гаснет свет. Сережа прячется в декорационном складе, который рядом со студией и никогда не запирается. Все торопятся домой. Шаги стихают.

Сережа берет шпагу, которыми сражались толстые мушкетеры, пересекает темную студию, поднимается к буфету, тихо, как кошка, перепрыгивает через прилавок.

Вот он, этот ящик. Внутренний замок. Сережа достает из кармана перчатки, натягивает их, просовывает шпагу в щель, наваливается всем телом.

Острые шпаги с грохотом отламывается.

Сережу прошибает леденящий озноб. Он падает, вжимаясь от страха в пол. У вахтера внизу играет радио. Сережа поднимается. Снова просовывает в щель шпагу. Опять наваливается всем телом. Сжимаясь, дерево под металлом издает странный, едва шипящий звук.

Он отдыхает. Просовывает шпагу подальше. Щель между ящиком становится шире, шире. Он наваливается снова. Квадратик металлического запора свободен. Планка с отверстием, врезанная в прилавок, больше не держит его.

Удерживая шпагой прилавок, другой рукой он выдвигает ящик.

Сердце останавливается.

Ящик пуст...

Нет, деньги там есть. Но не те, что он видел днем. Здесь нет кучи, а тонкая пачечка рублевок и мелочь. Мелочи много — ею усыпано все дно, встречаются и металлические рубли, но той, той пачки нет.

Раздумывать нельзя.

Сереза хватает деньги, сыплет в карман мелочь. Потом задвигает ящик обратно, достает сломанную шпагу. Прилавок опять накрывает запор. Следы от шпаги видны ясно, но замок закрыт.

Сереза нагибается, подхватывает обломок шпаги, на цыпочках идет вниз, пробирается в студию, затем в декорационный склад. Забрасывает шпагу за теснину фанерных щитов. Обломок кладет в карман.

Потом идет к выходу.

На вахте сидит тетя Дуся. Дежурит она по очереди — то на радио, то здесь. Вахтерша разглядывает его приветливо.

— Задержался? — спрашивает она.

— Сегодня две лампы лопнули, — говорит он. — Такой грохот! Менял...

5

Сереза переставляет ватные ноги, в голове ухает колокол. Он чувствует себя голым на каком-то церковном шествии. Вокруг много-много людей, но он их не видит. Он только знает, что они разглядывают его и в такт шагам колотят в колокол.

Он приходит в парк возле студии. Бессознательно находит кусты, за которыми пил вино с Андроном. Ложится в траву.

Он лежит ничком. Сухие былинки колют щеки и лоб. Мимо, за кустами, проходят люди. О чем-то говорят. Смеются. Сереза слышит обрывки фраз, и ему кажется, что все рассказывают о нем.

— Я ему говорю, ну идешь?.. Подожди, отвечает, надо сообразить... — смеется женский голос.

— Ну смотри, ну смотри, если так дело пойдет... — резко говорит мужчина.

— Ты мне лучше ответь, кто виноват?.. — скрипит старуха.

— Бежим скорее, а то догонят... — шепчет мальчишка.

Сереза поворачивается на спину, в кармане перекачивается мелочь. Он вскакивает. Расстилает платок. Достает деньги. Считает их.

Руки трясутся. Он то и дело поглядывает на кусты и от этого сбивается. Снова считает.

Заканчивает в полном изнеможении. Двадцать девять рублей шестьдесят копеек.

Он заворачивает деньги в платок. Получается небольшой узелок. Кладет его рядом. Опять лежит. Вечерний воздух холодит грудь, земля — спину.

Глаза у него открыты, но он как бы в забытьи. То слышит и ощущает окружающее его. То оказывается впотьмах.

Потом его встряхивает кто-то.

Сережа садится, озирается, но никого нет.

— Украл! — шепчет он. И повторяет с ужасом: — Украл!

То, что встряхнуло его, наполняет тело холодом, обрывает сердце, швыряет вниз, в бездонную глубину. Сережа вскакивает и бежит.

— Украл! — повторяет он. — Украл, украл, украл! Двадцать девять рублей шестьдесят копеек!

Может, если бы он украл триста, пятьсот, тысячу — сколько там было вначале, — его бы теперь сотрясало от страха, от ужаса. К страху он готовился. Он знал, на что идет. Но он украл не триста, не пятьсот, не тысячу. Двадцать девять рублей шестьдесят копеек. Мелочью! И в этих ничтожных рублях, да еще железом, заключалось большее, чем страх. Низость! Мерзость! Подлость!

Его сотрясает от унижения. Он хотел украсть, но ведь и собирался отдать эти занятые таким способом деньги. Деньги были ему нужны — и хотя это, конечно, преступление, но преступление объяснимое, вынужденное.

А как он объяснит эти двадцать девять рублей шестьдесят копеек? Даже себе — как?

Сережа то бежит по улице, то вдруг останавливается, прижимается к столбу, то идет скорым шагом — куда, зачем, к кому?

Вор! Хорош вор! Мелкий паскудник! Двадцать девять рублей шестьдесят копеек!

Малость суммы подчеркивала низость поступка, поступок от этой малости лучше не становился. Он украл! Он вор! Только в кино гангстеры хладнокровны и великолепны, в самом же деле это мерзко, гадко, дерьмово... Зачем он все это сделал?

Он вспоминает зачем. Вернуть три сотни Никодиму с мамашей. Чужие должны быть чужими. И навсегда

забыть об этих родственниках. Забыть о прошлом. Но что же вышло?

Сережа больше не думает о сумме. Двадцать девять, триста, тысяча — не все ли равно. Он украл. Зама­рался. Он стал лягушей, как объяснял Андрон, но вот в чем дело — вокруг люди, и для них лягуша — это лягуша. Гадкая, скользкая тварь, и смотрят они на нее не как лягуши, а как люди.

Аморально — не совсем аморально.

Сережа думает о маме. Боже! Ведь он это делал, помня о ней. Как бы мстя за нее.

Мама бы швырнула три сотни Литературе, сомнения нет. Но она не стала бы красть для этого. Нашла другой способ достать их.

Взрослым легче, оправдывается перед собой Сережа, им проще найти триста рублей. А кто даст пацану деньги? Добрый Понтин генерал? И то на две недели, не больше, деньги не трава, на лугу не растут, они ведь всем, даже генералам, нужны.

«Оправдываешься! — презирал себя Сережа. — Но разве можно оправдываться?»

Пусть посадят в тюрьму, и дело с концом. Но мама! Все знали тут маму. Сережа сам по себе никто — к нему еще никак не относятся: хорошо относятся к маме, к ее памяти, и он, Сережа, для людей не мальчик, а мамина тень, которую уважают.

Сережа поворачивается, бежит к студии. Он стучится в дверь, из-за нее выглядывает незнакомый старик. Ночной сторож. Тетя Дуса ушла!

Все кончено, думает он, теперь уже ничего не поправишь, деньги на место не вернутся.

Что делать? Что делать!

Он лихорадочно ходит по улицам. Потом бежит к Гале.

Поздно. Она спит. Сережа вызывает ее во двор. Открывает рот, чтобы сказать, — и не может. Он молчит, глядит удивленно на Галю, словно не в силах понять, зачем она тут.

Нет, он не может ей признаться. Галя поймет, это ясно, ни словом не упрекнет его, но он не может. Стыдно! Стыдно!

Он смотрит на Галю, поворачивается, бежит, не видя ее удивленного взгляда.

К Олегу Андреевичу, думает он, скорее, скорее!

Ведь он угрозыск, самый главный начальник в городе по ловле преступников. Вот он к нему и придет. Признается. Ведь можно же, можно что-то исправить.

Сереза бежит к тете Нине и опять останавливается.

К тете Нине нельзя. Нельзя к Олегу Андреевичу именно потому, что там тетя Нина. Ведь она привела его на работу. Она просила принять, хотя он несовершеннолетний, и добилась своего. Она говорила с ним каждый вечер, когда их дежурства совпадали, и даже пела, как мама: «Гори, гори, моя звезда!»

Что скажет он тете Нине? Вот я украл? Признаюсь? Ведь на тетю Нину и так будут все пальцем показывать. Она, мол, его опекала. Худо опекала, значит, раз ограбил буфет.

Ограбил!

Какое слово!

Сереза стоит как вкопанный. Потом бежит опять. К реке. К мосту.

Вот здесь, кажется, глубокое место.

Сереза смотрит вниз, в глухую черноту. Потом достает узелок с деньгами.

Двадцать девять рублей шестьдесят копеек — немного бумажек, остальные железом — булькают в темноте. Камнем идут на дно.

Он вытирает руки о штаны.

Словно бросил какую-то грязь...

6

Он чувствует себя выжатым, изнуренным. Но облегчения нет, напротив. Ему кажется, что сделал еще одну подлость: избавился от доказательства, трусил совсем.

Сереза идет пошатываясь, голова словно распухла, а в вены, у висков, забиты тугие пробки: кровь в них остановилась. Еще немного, и голова лопнет, как пузырь. Пусть лопнет, думает он. Теперь все равно. Хорошо бы умереть. Вернуться на мост, к тому самому месту, откуда бросил он платок с деньгами, кинуться вниз, в смоляную черноту... Пусть думают что хотят...

Он поворачивается, пересекает дорогу, чтобы вернуться к мосту... В мозг острым скальпелем врезается странный визг, что-то с силой толкает его в бок, он па-

дает, переворачивается на земле, ощущает боль в ноге...

Сережа отплевывается, на зубах скрипит пыль, он чувствует приторный вкус крови, но это не пугает его. Как во сне, он поднимается на ноги, равнодушно разглядывает рваные брюки... К нему бежит человек — большая, темная тень. Наверное, надо удирать, но Сережа стоит. Ему все равно.

Запыхавшийся человек хватается его за плечо, молча оглядывает. Сережа видит — это летчик, «аэрофлот». Форменная фуражка, голубая рубашка с крылышками на груди.

— Разбился? — испуганно спрашивает летчик. Голос у него трубный, низкий. Наверное, таким голосом можно свободно с самолета на землю кричать. Услышат.

Сережа молчит.

— Что же ты так, а, милый! — гроыхает авиатор. — Ведь я же тебя растоптать мог — крутой поворот, красный свет для пешеходов, и вдруг ты под колеса.

Он радуется, что Сережа жив, тащит его к машине, впихивает в вишневого цвета «Жигули». Рвет с места.

— Сейчас, сейчас! — говорит он. — Ранки промоем, брюки зашьем, все в ажуре будет. Не плачь!

Но Сережу колотит. Ему не хватает воздуха, грудь разрывается, плечи трясутся.

— Потерпи, милый! — умоляет летчик и спрашивает: — Очень больно?

— Нет! — отвечает Сережа.

— Что же так плачешь? — спрашивает он озадаченно.

— Мама! — вырывается из Сережи крик. — Мама умерла! Понимаете?

Летчик молчит, «Жигули» летят по пыльному асфальту, а Сережа плачет навзрыд, плачет тяжело, без слез. Все, все, все, что было... Никодим, размен, эти три сотни, Литература, кража — все, что было, все, что видел он и от чего страдал, — это же не отдельные происшествия. Не случайные факты! Всему этому есть общее имя. Вот оно: мамина смерть.

Смерть! Мамина!.. Мама умерла — вот что произошло. И только поэтому случается все остальное!

Машина тормозит, летчик ведет Сережу по ступеням какого-то дома, нервно звонит, им открывает жен-

щина в стеганом халате, охает, провожает в кухню, тащит таз с теплой водой, промывает Сереже ранку на колене, смазывает йодом...

Ранку нестерпимо щиплет, это приводит Сережу в себя. Он больше не плачет. Его не колотит. Опять наваливается равнодушие.

Летчик приклеивает к коленке большой лист пластыря, объясняя, что пластырь не простой, а особенный, бактерицидный, он уничтожит всех микробов в ранке, не даст ей загноиваться. Сереже безразлично — даст или не даст. Он идет, прихрамывая, умываться, послушно снимает штаны. Пока жена летчика зашивает их в комнате, Сережа разглядывает огромного мужчину, занимающего почти всю кухню. У него толстый нос, большие толстые губы, брови растут кустами. Боже мой, поражается Сережа, да ведь это тот герой — тогда давным-давно он вручал ему грамоты, и кубок, и часы. Доронин!

— Ну что же, — говорит летчик, — раз так, давай знакомиться. Меня зовут Юрий Петрович.

— А я вас знаю, — говорит Сережа. — Вы герой. Вы мне давали награды во Дворце пионеров.

— Я тоже тебя помню, — отвечает Доронин. — Ты хотел стать летчиком. — Он хмурится. — А мама правда умерла?

— Правдивее правды нет, — отвечает Сережа. — Это она все хотела, чтоб я летчиком стал, говорила, отец мой — летчик, а он, оказывается, никакой не летчик... Я пойду, — говорит, волнуясь, Сережа. Мысль о краже подавляет его — он больше ни о чем не может думать.

— Без штанов? — удивился Доронин. — Сядь. Это быстро.

Властный, рокошующий голос останавливает Сережу.

— Вы на «кукурузнике» летаете? — спрашивает он, лишь бы спросить.

— На Ан-2, — отвечает Доронин.

— Раньше немцев сбивали, а теперь на «кукурузнике» летаете, — говорит с упреком Сережа.

Летчик опускает голову, тербит толстый нос, потом неожиданно говорит:

— Значит, мама хотела, чтобы ты стал летчиком?..

— Все равно, кем быть, — отвечает Сережа, — чем меньше горка, тем легче с нее падать. И вообще, — он

вспоминает Андрона, — все эти мечтания, кому они нужны?

— В каком классе? — строго прерывает его Доронин.

— Работаю, — отвечает Сережа. Уточняет: — Осветителем на телевидении.

— Вот так работа! — удивляется летчик. — Лампочки включать да выключать!

Летчик исподлобья разглядывает Сережу.

Женщина в стеганом халате приносит зашитые Сережины брюки, он одевается, идет с летчиком вниз, опять садится в «Жигули», слушает вкрадчивый рокот мотора, показывает дорогу.

— Вот что, парень, — говорит вдруг Доронин. — А кто в тебя все это напихал?

— Разве не правда? — усмехается Сережа.

— Ересь! — громогласно рыкает летчик. — Слышал такое слово? Ересь это все! С такой философией в гроб ложиться да помирать!

— Я бы хотел, — задумчиво говорит Сережа.

— Между прочим, — зло говорит Доронин, — у меня тоже нет ни отца, ни матери. Даже бабушки нет, я детдомовец. А так, как ты, никогда не ныл, не распускался.

— Вам легче, — говорит Сережа, — вы Герой.

Летчик молчит, опустив голову.

— А летать бы хотел? — неожиданно спрашивает он.

— Нет, — усмехается Сережа. — И вообще! Надоела мне вся эта болтовня. Прощайте!

Он выскакивает из машины, бежит к дому.

— Какая квартира? — кричит ему вслед Доронин.

— Ну четвертая, — врет Сережа. — А вам зачем?

— Будь здоров! — кричит летчик и срывает с места свой автомобиль, будто хочет взлететь.

Сережа идет домой, молча ест ужин. Бабушка что-то шьет, не глядит на него. Потом он умывается, ложится спать, закрывает глаза.

И вскакивает.

Как же? Он забыл? А кража! Ведь надо что-то делать. Что-то соображать. До утра осталось немного — плосколицая буфетчица придет на работу, увидит следы от шпаги, не найдет денег, и... начнется!

Бабушка поглядывает на Сережу поверх очков, смешно опуская нос.

— Что? — говорит она. — Забыл чего? Или при-
млилось?

— Примлилось, бабушка! — говорит он. — Такое
примлилось, и не выговоришь.

Он глядит на нее, разглядывает свою добрую ба-
бушку, не думающую, не ведающую ни о чем, смотрит
на мамину маму и думает, что, кроме нее, признаться
ему некому.

Некому, да что там говорить... Он глядит на бабуш-
ку глазами, полными слез, и произносит:

— Бабушка! Я деньги украл!

Она хихикает, покачивая головой, не отрываясь от
шитья, потом испуганно вздергивает очки.

7

Сначала бабушка не верит, и Сереже приходится ей
рассказывать все по порядку, шаг за шагом. Каждую
мелочь.

Как велела Литература разыскать помазок, майки и
хлопчатобумажные штаны. Как он мотался по городу,
бегал к генералу и в комиссионку. Как сунул в карман
перчатки и шпагой открывал ящик...

Бабушка наконец верит. Закрывает руками уши,
кричит:

— Молчи! Молчи!

Сережа молчит.

— Надо вернуть! — говорит бабушка, бросается к
шкафу, достает вчерашнюю Сережину зарплату.

— Где она живет, эта буфетчица? Пойду, брякнусь
в ноги! Подол стану целовать! Неужели не простит! —
Обессиленно опускает руки. Спрашивает сама себя: —
А ежели не простит? Под суд? — Она мотает голо-
вой. — Нет! Не отдам тебя! Аню отдала, тебя не от-
дам! Сама виновата, дура жадная, погналась за день-
гами — трудно жить, трудно жить. Прожили бы, зато
в отдельной квартирке. — Бабушка плачет, качает го-
ловой, вспоминает Олега Андреевича, вскакивает, что-
бы бежать к нему, к тете Нике за защитой и помощью,
но сама себя судит: — Нельзя их сюда впутывать, не
по-христиански, сколько они и так для нас сделали.

Глаза у нее то вспыхивают, то туманятся.

— Может, не найдут еще? — спрашивает она у Се-
режи с надеждой, будто он ответ какой дать может. —

Ты ведь в перчатках, как по кино, следов-то не осталось.

Следов не осталось. Он уверен, что и шпагу не найдут за штабелями декораций. Но ведь видела сго вахтерша, тетя Дуся эта. Он последний выходил. Можно, конечно, отпереться, но очень неловко соврал ей про лампы. Все знают, что лампы еще днем меняли.

— Не выйдет ничего! — вздыхает Сережа, говорит про вахтершу.

— Бежать! — всплескивает руками бабушка. — Уехать тебе надо. Немедленно! Завтра.

Сережа разглядывает бабушку, как ненормальную: бежать, эк брякнула! Он не Дубровский — по лесам скрываться. Но потом кивает. Не так уж она стара и несообразительна. Варит, да еще как!

— Двадцать девять шестьдесят! — ершится она. — Разве это деньги, чтоб за них мальчонке жизнь ломать! Ничего! Не разорятся! Не такие деньги, чтоб долго искать, не найдут и успокоятся, замки покрепче навясят.

Говоря это, бабушка то смеется, то плачет.

— В случае чего, все на себя приму, только ты уезжай, слышишь! — плачет она. — Пусть меня садят, если им приспичит, за тридцатку!

Бабушке жалко себя, свою старость за эти несчастные двадцать девять шестьдесят, но еще больше жадко Сережу, бестолкового сироту, она заливается, и, как всегда, на плечах у нее вздрагивают седые косички, словно не старуха, а старая девчонка в чем-то провинилась и горько плачет.

Они не спят всю ночь, обо всем договариваются, как два заговорщика — обо всех мелочах. И Сереже порой кажется, что все это не жизнь, а тот самый детектив, который он пропустил, бегая к Понте и в комиссионку. Что бабушка и он — главные действующие лица, которым и самим неизвестно, что произойдет через сутки, но они полны решимости бороться до конца, не сдаваться и не отступать, что бы ни случилось.

— Значит, так, — повторяет бабушка еще раз, чтоб и самой не забыть, и Сереже напомнить. — Первое дело — Дуся, платок она мне вязала при Ане еще, радио охраняла — я-то ее помню, вот она бы помнила... Это главное, — говорит она. — Потом увольнение, затем вокзал. Давай-ка записывай адрес.

Сережа послушно пишет, бабушка укладывает в рюкзачок вещи, кладет деньги во внутренний карман курточки, прищипливает его булавкой, наставляет Сереже, чтоб берегся жуликов — он невесело ухмыляется.

— Чего мне бояться, я сам жулик!

Бабушка опять плачет, в который уж раз за эту длинную ночь. Сережа угрюмо молчит: и страх и волнение как бы выболели в нем.

Утро вползает серое, пасмурное.

Сережа и бабушка завтракают быстро, сосредоточенно. Он пишет заявление. Кладет его в карман. Все решено, приготовлено, теперь надо действовать. Но они тянут. Минутная стрелка ползет медленно, лениво. Порой кажется, она стоит.

— Бабушка, — вдруг спрашивает Сережа, — вот тогда, давно, при маме, ты почему-то не любила меня... И всегда ворчала на маму.

Бабушка глядит в окно, глаза ее от серого утра на улице кажутся светлыми, словно выцветшими.

— Все мне казалось плохо, все не так, — отвечает она тихо, — ты вроде как безотцовщина при живом-то отце, а Аня... мама плохо жила, ничего не хотела, вроде как и живет и нет. — Бабушка поворачивается к Сереже. — Нам, старым, — говорит она, — все кажется, что счастье в семье, в доме, в родне. У ребенка отец должен иметься, у жены — муж... — Она молчит, перебирая поясок. — Да вишь как выходит...

Сережа смотрит за окно, на низкие, набухшие дождем облака и думает, что они с бабушкой хоть и по-разному рассуждают, но про одно, про маму, про то, как было и как могло быть, про счастье и его обманчивость... Кажется, такая поговорка есть: где найдешь, там и потеряешь...

В девятом часу они выходят из дому и у подъезда сталкиваются с Галей. У нее испуганные глаза.

— Что случилось, — спрашивает она, — ты вчера какой-то странный был... Не в себе!

— В себе, — вздрагивает Сережа. Они с бабушкой договорились врать. Целый день врать сегодня. Но Гале?.. Бабушка глядит на Сережу пристально, ждет, видно: хватит ли у него силенок на уговор? Хватит, бабушка, не бойся! — Да вот, — весело продолжает он, — сегодня уезжаю в другой город, поступлю в очень

хорошее училище, готовят механиков широкого профиля. Там у меня братан троюродный.

— Хочешь уехать? — растерянно говорит Галя. — Не сказав? Вдруг?

Сережа прячет глаза. Ну что ей ответить?

— Ты заглядывай, — приглашает Галю бабушка, оттесняя Сережу, — заходи, не стесняйся. Письма от Сережи будем читать. Чай пить.

— Зайду! — вежливо говорит Галя, а сама ошалело смотрит им вслед.

Бабушка держит Сережу за руку, словно маленького, крепко вцепилась. Потом отпускает. Охает.

— Ну, началось!

Началось!

В отделе кадров бабушка говорит за Сережу, не дает ему рта раскрыть — чтобы не врал.

— Я сама говорить буду, — приказывала бабушка по дороге. — Мне, старой, греха не страшно. Ты только головой кивай да молчи.

Сережа кивает головой, ему подписывают какие-то бумаги, приходится ходить в разные комнаты, и всюду, как тень, с ним идет бабушка.

Тетю Нину! Только бы не встретить тетю Нину, думает Сережа и трусливо оглядывается.

Подписей требуется немного, все удивляются, что Сережа работал так мало, но, вежливо выслушав бабушкины объяснения, кивают головой, соглашаются: да, учиться надо, по крайней мере, осветитель не профессия, действительно, а Сережа еще молодой, только начинает.

Ему жмут руку. Желают успехов. От этих пожеланий у Сережи кружится голова, ему душно, стыдно, но он молчит. Хорошо, хоть отдел кадров в комитете один, для радио и для телевидения, и не надо идти на студию, где можно встретить Андрона, режиссеров, ассистентов, помощников, операторов, которые все уже знают Сережу и неплохо к нему относятся.

Где можно встретить буфетчицу с плоским и злым лицом...

Сережа стоит у окна, в узком проходе. Больно тычут его углы чемоданов, трут железными застежками

рюкзаки. Но он ничего не чувствует. Он смотрит вниз, на бабушку, прижавшую ко рту ладонь.

Они глядят неотрывно друг на друга, потом окно движется в сторону — поезд трогается плавно, почти незаметно, и бабушка бежит вслед за окном, а когда бежать сил не хватает, останавливается и крестит издалека Сережу.

Серый вокзал, станционные склады с грязно-коричневыми крышами и черными заборами быстро убегают назад, зато все, что вдаль — старое кладбище, заросшее березами, дымящиеся трубы ТЭЦ, коробки новых домов, — стремительно торопится вперед. Земля кружится перед ним, и Сережа думает, что она походит на огромную, невероятных размеров музыкальную пластинку, только записаны в ней не звуки, а жизнь...

Электровоз тянет вагоны сильно и ровно. Сережа забивается в уголок, поворачивается спиной к пассажирам и неожиданно засыпает.

Странное дело — он видит не сон. События минувших суток так подавили его, что и во сне он не выключается из этого бесконечного происшествия, а только повторяет, повторяет события с неумолимой, беспощадной точностью.

Вот ему выдают свидетельство об окончании семи классов, трудовую книжку. Вот бабушка заводит невинный разговор о вахтерше, которая — молодец какая! — вяжет шерстяные вещи, ненароком как бы выведывает, где живет вязальщица, и они идут, почти бегут к дому вахтерши тети Дуси — ведь она может уйти, времени — одиннадцатый час, надо торопиться!

Тетя Дуся дома, моет пол, задрав подол, смущается, увидев чужих людей, долго не может разобрать, кто они, наконец узнает Сережу, здоровается с бабушкой, уверяя, что хорошо ее помнит, хотя по глазам видно — не помнит.

— Дусенька, — плачет бабушка, — ты Анечку мою знала?

— Знала, как же, очень хорошо, — кивает растерявшаяся, ничего не понимающая тетя Дуся, — и на похоронах была. — Она сморкается.

Бабушка падает на колени — подбородок беззвучно трясется, губы дрожат, слезы светлым градом катятся по щекам.

— Дуся! — говорит она. — Христом-богом молю!

Обещай, что поможешь, что не скажешь! Не для себя прошу! Ради Ани сделай! Ради ее памяти!

Бабушка горько плачет, вахтерша поднимает ее с колен, но не может — бабушка толстая и тяжелая, и тогда тетя Дуся сама начинает плакать.

— Чувствую, что беда какая, — говорит она. — А разве же можно в беде не помогать?

Бабушка поднимается, говорит Дусе про маму, про Никодима, про младенца. Они снова плачут в два голоса, а Сережа сидит на стуле совсем вытряхнутый — ему и не стыдно даже.

Бабушка рассказывает про Никодима и Литературу, про размен, про эти злополучные триста рублей, про помазок и хлопчатобумажные штаны, которые наказала принести учительница, и вахтерша охает, качает головой, ужасается, опять плачет.

— Это надо же, — говорит она, — какие люди, какие люди!

— Еще не все, — горестно вздыхает бабушка. — Теперь самое главное.

Тетя Дуся глядит на бабушку расширившимися глазами, переводит взгляд на Сережу, берется руками за виски.

— Милый ты мой, — говорит она Сереже, — и что ж ты удумал! Да разве можно, такой грех! Сказал бы, кому можешь. По десятке да двадцатке наскоблили бы эти сотни. Народ же вокруг...

— Дело сделано, — задумчиво произносит бабушка и просит: — Дуся, матушка, век не забуду — прими грех. Скажи, что ушел он со всеми...

— Приму, — успокаивает ее вахтерша, — что я, не баба, жалости у меня нет? Не томись, бабушка, вот тебе крест. — Тетя Дуся истово крестится, плачет, обняв бабушку, потом добавляет: — Да и буфетчица эта, Тонька, такая зараза, что не жалко. Обсчитывает да обмеривает, веришь ли — и никто не видит, интеллигенция кругом!

Они опять плачут, теперь уже успокоенно, облегченно, и бабушка говорит вахтерше про свой план, про Сережин побег, то есть отъезд.

— Верно это, — подумав, соглашается тетя Дуся. И спрашивает бабушку: — Чему он тут научится, при лампочках-то?..

Лампочки вспыхивают, гаснут и снова вспыхивают.

Сереза открывает глаза. За окнами — гроза. Небо до самого края занавешено лохматыми тучами, с которых срываются корявые молнии. Дождь порывами плещет в стекло...

Сереза озирается, видит вагон, дремлющие лица напротив. Он откидывает голову, разглядывает круглый рычажок в стене, машинально его задевает.

И вдруг...

Вдруг все молнии из всех туч сразу, в одно мгновение, падают вниз. Окно озаряется слепящим синим светом, потом гаснет и вспыхивает вновь. Сереза сжимается. Ему кажется, это какой-то бред, галлюцинация, он слышит голос мамы:

Теперь осторожно мы мнем и мнем
Зерна за рядом ряд...

Радио! Да это радио, спохватывается он. Тот самый черный рычажок. И мамин голос. Сереза захлебывается от спазм — он и плачет, и смеется сразу. Стихотворение про гранат! Тогда! Котька утащил его в туалет, и он не дослушал. Это мама! Ну конечно! Радио! Запись на пленку.

Сереза стискивает руками горло, напрягается, чтобы не прослушать, не упустить ни одного слова. А мама говорит, и в голосе ее скрытое волнение, и тайная радость, и сила, и счастье.

Струи толкутся под кожей,
Ходят, переливаются.
Стал упругим,
Стал мягким жесткий гранат.
Все тише, все чутче ладони рук:
Надо следить, чтоб не лопнул вдруг —
Это с гранатом случается.

Сереза почти не дышит, взгляд его провалился сквозь стенку вагона, сквозь дождь и тучи, в неизвестное, где ничего нет. Он кивает в такт маминым словам, соглашаясь с ними, любя каждое придыханье, каждый звук этого голоса.

Терпенье и нежность — прежде всего!
Верхние зерна — что?!
Надо зерна
Суметь
Достать в глубине,
В середине размять их здорово...
И прокусить кожуру,
И ртом,

Глотками сосущими пить потом,
В небо подняв драгоценный плод
И
Запрокинув голову!

Голос умолкает так же неожиданно, как он возник, и это потрясает Сережу не меньше. Он лихорадочно крутит рычажок динамика. Но там слышен лишь сухой треск. Мужской голос передает последние известия.

Сережа обессиленно откидывается назад. Слезы стоят в глазах. Он вздрагивает всем телом.

Сережа озирается. А может, ему почудилось? Все дремлют, никто не слышал... Никому нет дела до каких-то стихов... Хотя нет. Вон седая женщина внимательно смотрит на Сережу. Он улыбается ей.

— Это моя мама читала! Вы слышали?

Женщина улыбается, кивает головой.

— Артистка? — спрашивает она.

— Лучше! — отвечает Сережа. — Диктор.

Он отворачивается к окну, смотрит, как молнии врезаются в землю. И вдруг замирает.

Но разве же можно, думает он, пить сок из граната, и смеяться, и просто жить, зная, что ты украл? Что обманул, убежав?

Он вопросительно смотрит на динамик. Но мама молчит. Чей-то другой голос бубнит про уборку урожая.

Мама! Она бы сказала.

Сережа опять вспоминает тот день.

Они сидят на матрасах в новой квартире, пьют вино, и мама смеется все время. А перед этим плачет. «Неужели, — говорит она, — это все мое? И ты, и ты, и этот дом?» Она не верит! Она удивляется! Она счастлива, как никогда в жизни!

Сережа много думал об этом счастье. О том, какое оно в самом деле. Про счастье удачливой и красивой тети Нины. Про мамино счастье, такое горькое. Он тогда размышлял еще: счастье — это человек. Какой человек, такая и жизнь у него. Если он такой — то счастливый, а если другой — то несчастный. Все в нем самом! И мама это ему доказала. Всем сумела доказать, что это так действительно.

Что несчастливый человек тот, кто не стремится к счастью. А счастливый тот, кто хочет его.

Значит, мое несчастье — это я, думает он напряженно.

Поезд приходит рано утром.

Незнакомый большой город вползает в вагон долго, как бы нехотя. Потом оглушает. Грохотом трамваев. Большой цветастой толпой. Глянцевыми огромными лужами на маслянистом асфальте. Дружно взлетающими стаями голубей.

Сережа подходит к милиционеру, протягивает ему бумажку с адресом и, пока тот объясняет, как добратся, с любопытством, будто впервые, разглядывает форменную фуражку, синий мундир, золотистые пуговицы.

Вот человек, который собою означает справедливость. Даже тут, в другом, большом городе, можно сказать ему сейчас — я такой-то, ограбил буфет за много километров отсюда, — и он изменится в лице и ответит куда следует, потому что справедливость — везде справедливость, в любом городе она одинакова.

Эта мысль Сережу гнетет. Он отходит от милиционера, садится в трамвай, едет, а сам думает, что все это — бабушкина наивная выдумка. Может, она и права, история эта заглохнет, забудется, про него, живущего в другом городе, не вспомнят — и все будет хорошо, о'кэй!

Хорошо? И он забудет? И никогда в жизни не вспомнит?..

Трамвай весело мчится по широкому проспекту, окаймленному высокими домами, ныряет между ними, катится мимо старых деревянных домиков, потом опять едет по новой улице.

Сережино училище как раз напротив остановки, но он туда не идет, а выспрашивает про общежитие. У Кольки при его появлении глаза лезут на лоб, потом он бешено рогочет, узнает, что Сережа приехал к нему — и жить и учиться, тащит его к директору, но Сережа упирается.

— Погоди, — говорит он, — сперва расскажи про свою «ремеслуху».

— Никакая это не «ремеслуха», — обижается Колька. Он все еще ошарашен, но и безмерно доволен. К этому прибавляется некоторое пижонство оттого, что живет он в большом городе, и гордость за училище. — ПТУ, — объясняет он. — Мы не «ремесленники», мы

«пэтэушники». Гляди, у нас какие классы... А мастерские... А спортзал...

Он водит Сережу по коридорам, блистающим, как больничные, тычет пальцем в алые вымпелы, висящие на стенах, в кубки, матово сверкающие в глубине застекленных шкафов.

— У нас знаешь! — торжествует Колька. — Как в суворовском училище! Дисциплина — раз! Самообслуживание — два! Три — самоуправление! А главное — кодекс чести, слышал? В какой школе есть? А у нас — кодекс! Если кто-нибудь что утащит — хоть ложку! — судим и выгоняем, понял?

— Как судим? — холодеет Сережа.

— А так! Общее собрание — это наш суд.

Суд! И тут суд! Везде кара, везде наказание, глупости все это, никуда не сбежишь!

Сережа представляет огромный зал, полный народу. Незнакомые, чужие парни размахивают кулаками, кричат хором: «Выгнать! По-зор!»

Позор! Конечно, позор! И никуда от него не деться. Вот пойдут они с Васькой к директору. Тот спросит: «Работал?» — «Работал!» — ответит Сережа. «Давай трудовую книжку. Характеристика где?» Трудовая книжка — вот она. А характеристики нет.

Обещали позже прислать, если понадобится. Долго было писать, а бабушка торопила: надо уезжать, там конкурс, редкое училище, и узнали только что...

Бабушка говорила: молчи. Врать я сама буду, старая грешница. Но вот и ему пора настала врать. По уговору он должен отдать только свидетельство из школы. Будто лето просто гулял, как всякий школьник. Сейчас поступает.

Врать. Надо врать.

А вообще-то в чем дело? Почему там, дома, врала бабушка, а не он? Почему она его спасала, а он стоял как истукан? Ведь виноват он, а не бабушка. Буфет взламывал он, а не она...

Сережа потеет, покрывается пятнами, Колька тащит его в столовую, ругает себя:

— Я, дурак, гляжу — ты зеленеешь, давай рубай, а то без жратвы-то куда?

Сережа вяло тыкает вилкой в котлету, есть ему не хочется. Он Кольку разглядывает, не узнает его. Как он переменялся! Тогда — год с лишним уже! — был

деревенский парнишка, курил солидно и держал себя с показным достоинством. Перед Сережей, наверное, рисовался... А теперь блестит белыми зубами, говорит просто, без важности. Хорошо бы с ним подружиться — тогда не получилось, авария, потом, зимой, не до этого. Может, теперь...

— Здорово, — спрашивает Сережа, — влетело тебе за трактор?

— Еще как, — вздыхает Колька, — отец драл да драл, драл да драл! Его самого-то чуть прав не лишили...

— Как это вы про велики не забыли? — удивляется, задумчиво улыбаясь, Сережа и рассказывает про мамин голос в поезде.

— Мы твою маманю завсегда слушали, — говорит Колька. — По ее голосу утром в школу бежишь. Когда мороз, слушаешь, какую температуру объявит, и думаешь, тетя Ань, ну давай, накинь по-родственному градусов пять!

Сережа смеется. Про маму ему думать всегда хорошо. Только вот... Зачем она обманула? Разве можно обмануть для пользы дела? Для справедливости? Вот он лжет сейчас, весь изоврался, обманывает, так ведь это для того, чтобы скрыть подлое... Благородного обмана не бывает.

Спать они ложатся вдвоем в большой комнате. Конец августа, многие еще не приехали, у некоторых практика — Колька же практикуется здесь, в городе, на большом заводе.

Они тушат свет, но уснуть Сережа не может, возится на новом месте, скрипит пружинами.

— Ты не врешь? — спрашивает неожиданно Колька. — Не врешь, что учиться приехал? Ты же на летчика хотел?

Сережа молчит.

— Хотел, да расхотел, — отвечает тяжело. И вдруг спрашивает Кольку: — А ты про отца моего знал?

— Слышал, — отвечает Колька, — он же разбился...

— Кто говорит? — напряженно спрашивает Сережа.

— Да все в деревне. И отец.

Сережа облегченно вздыхает. Он распутывал свои мысли, как узел.

Отца нет, думает он, вернее, есть только Авдеев, но про него — про того, придуманного — хорошо говорят

и помнят по-хорошему. Значит, выдуманный мамой, несуществующий человек все-таки существует? И пусть Сережа уничтожил в себе эту легенду, рассыпал как песочный домик, — отец-летчик живет собственной жизнью в других людях независимо от Сережи... Придуманный мамой отец продолжает быть, и, чтобы его уничтожить, надо ходить от человека к человеку и всем объяснять: это неправда, летчика-героя нет, а есть просто Авдеев...

Сережа вздыхает, ворочается, не может уснуть, хотя Колька уже храпит, как тот трактор «Беларусь», который он хряпнул о березу.

Значит, все-таки может быть благородный обман? И может быть подлый?

Между прочим, думает он, бабушка обманывает сейчас для него. Ведь если бы с ней самой такое случилось, небось давно призналась.

Сережа вспоминает тетю Нину, Олега Андреевича. Представляет: вот известно про буфет. Неужели же не догадаются, что есть тут тайная связь? Ограбили буфет, и он стремительно уехал. Нашел неповторимое училище. Конечно, они идут к бабушке. Допытываются, в чем дело.

Бабушка не скажет. Будет плакать, будет врать, будет мучиться, но не скажет, потому что Сережа ее внук.

Но почему же тогда он не думает, что она его бабушка? Что не должна она врать за него, его выгораживать, принимать на себя всю эту тяжесть лжи, вранья, обмана.

Сереже душно, он сбрасывает скомканное одеяло, переворачивает подушку, но все равно жарко. Он весь извелся, и чем больше думает, тем становится тяжелее.

Он вспоминает Доронина. Тогда ему показалось обидным — летчик прикрикнул на него, пристыдил, сказал: разве можно так распускаться?

И действительно: разве можно?

Разве можно прятаться за плечи взрослых, наделав бог знает что? Разве можно подставлять под удар бабушку, скрывшись в кусты? Разве можно лгать?

Сережа садится. За окном светает.

Мамин обман простителен. Он стал жестоким только после ее смерти. Если бы она была жива, обман этот существовал всегда. И он не мог бы осудить его, не зная о нем.

Сережин обман другой. Его нельзя таить. Этот обман не может существовать всегда. Потому что, обманув раз, можно обмануть и два. Можно сделать всю жизнь сплошным обманом.

Врать про отца, выдуманного героя. Врать про себя, про свою порядочность и честность.

Сережа встает, натягивает брюки, вытаскивает из-под кровати рюкзак.

Пишет тупым карандашом на куске желтой бумаги: «Колька! Прощай! Я должен вернуться!»

10

Поезд тянется еле-еле. Стоит у каждого столба. И часы! Часы у всех остановились. Через каждые десять минут Сережа спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, а сколько сейчас?

— Мальчик! — возмущаются пассажиры. — Ты уже надоел!

Надоел! Он и сам себе надоел.

Черный забор, грязно-коричневые крыши складов, серый вокзал раскручивается в обратную сторону, а дальние дымы ТЭЦ, коробки домов, старое кладбище едут вперед. Обратно крутится невероятная пластинка, на которой вместо музыки записана жизнь. Но пластинку назад крутиться не заставишь. Жизнь — можно, если очень захотеть.

Если решиться.

Первым он выпрыгивает из вагона. Несется на при вокзальную площадь, к троллейбусной остановке.

Он влезает в троллейбус, радостно поглядывает на знакомые улицы. Он едет к Олегу Андреевичу. Пусть бабушка узнает потом. Пусть не волнуется понапрасну.

В милиции он находит нужную дверь, открывает ее. Олег Андреевич поднимает брови, удивляясь, улыбается, говорит:

— Ну и шутница твоя бабушка. Говорит, уехал.

— Не шутница, — отвечает Сережа, — я уже приехал. — И добавляет: — Олег Андреевич, буфет я ограбил. — Сережа рассказывает подробно, как было дело, молчит только про Литературу — здесь, в милиции, это значения не имеет, и Олег Андреевич тускнеет, задумывается, смотрит в окно, стучит ручкой по столу.

— Тогда все понятно, — произносит он наконец, —

и отъезд вы с бабушкой придумали, чтобы подальше быть?

Что скрывать — Сережа кивает.

— Дела-а, — задумчиво говорит Олег Андреевич и вдруг спрашивает: — Зачем же ты вернулся? Зачем рассказываешь мне? Ведь если бы ты не рассказал! У тебя полное алиби! Кража произошла вчера... Хотя постой-ка... Вчера тебя действительно не было. Каким поездом ты уехал? Билет сохранился? А сколько ты денег взял?.. Ну дела! — поражается Олег Андреевич, берет телефонную трубку, крутит диск, говорит:

— Семенов! Срочно!

Приходит пожилой милиционер, толстый и растрепанный, с печальными глазами, поглядывает подозрительно на Сережу, а Олег Андреевич ему объясняет:

— Вот грабитель явился. С повинной. Но он утверждает, что взял двадцать девять шестьдесят. А не шестьсот...

Сережа даже подпрыгивает:

— Какие шестьсот!

— Вот такие, — отвечает Олег Андреевич. — Буфетчица заявила, что ограбление было вчера и что взяли шестьсот.

Олег Андреевич и пожилой дядька окутываются черным дымом, Сережа чувствует, что он погиб, причем погиб каким-то странным, невероятным образом, о котором не думал, не предполагал.

— Зачем тебе столько? — спрашивает пожилой милиционер. — Мотоцикл хотел купить?

— Что вы, издеваетесь! — кричит Сережа. — Мне надо было триста. Чтобы отдать им, поняли! Чтоб не унижаться! Вместе с помазком! Со штанами!

Сережу колотит, ему не хватает воздуха! «Боже мой, — думает он, — зачем я бросил в реку эти деньги? Я бы им показал сейчас, сколько там было. Впрочем...» Он неожиданно сникает. Ведь он хотел взять триста. Кому какое дело, что там оказалось мало. Он же все равно украл. Много или мало, какая разница!

— Ладно! — говорит он устало. — Пусть шестьсот!

— Ничего не понимаю, — пожимает плечами растрепанный толстяк. — То отпирается, то признается.

— погоди, Семенов, — останавливает его Олег Андреевич и велит Сереже: — Ну-ка давай билеты.

Сережа послушно вынимает их.

— Так! — довольно говорит Олег Андреевич. — Пункт первый — не сходится. Приехал сегодня, уехал не вчера, а позавчера.

— Билеты можно достать, — уныло говорит Семенов.

— Верно, — улыбается Олег Андреевич, — достать можно. Кто тебя видел там, в другом городе?

— Колька! — вяло отвечает Сережа.

— Вот это дело, — ухмыляется Семенов, — фамилия, имя, адрес?

Сережа понуро объясняет. Стидища-то какая. Теперь Кольку станут таскать. Комендантшу в его общестии — у нее они спрашивались ночевать. Каких-то людей в чужом училище, которым Колька Сережу показывал, как брата представлял...

— Ну а деньги-то? — спрашивает Олег Андреевич. — Те, что взял, — истратил?

Сережа мотает головой. Рассказывает про платок. Про мост. Снова клянет себя, зачем выбросил.

— Тебе везет, — говорит Семенов и предлагает Олегу Андреевичу: — Иду, ладно? Звоню в ОСВОД. — Потом поворачивается к Сереже: — Место покажешь?

Они едут втроем в милицеском «газике», и Олег Андреевич подробно расспрашивает про Литературу, про размен, про доплату, на которую соблазнилась бабушка.

Сережа рассказывает про то утро, про прощание с великом, про ласты и боксерские перчатки, про авоську с тяжелым арбузом...

— Успокойся! — велит ему Олег Андреевич.

— Ничего, парень! — оборачивается растрепанный толстяк. — Ты вот зря скис! Зря на такой шаг пошел озлобясь. Я понимаю, ненависть тебя захлестнула, но ты не маленький, должен знать: не все люди добрые. Да и не должны быть все! Добро ведь только рядом со злом разглядеть можно. И отчаиваться нельзя. Тебе жить да жить... Привыкай к тому, что встретишься с дрянью не раз. От дряни не киснуть надо, не отчаиваться — воевать с ней!

Олег Андреевич треплет Сережу за шею, улыбается ему.

— Слышишь, — говорит он, — что следовательно Семенов тебе говорит. А он на этом деле зубы съел.

На мосту они выходят, Сережа ведет к тому месту,

где бросил платок. Внизу тарактит катер с аквалангистом.

Семенов указывает место, куда надо нырять, кричит, сложив ладони рупором:

— Белый платок, узелком. Песком занести не могло. Позавчера брошен. Отсюда — и вниз по течению!

Аквалангист кивает головой, осторожно спускается в воду. Пузыри вспениваются над ним.

— Холодна водичка, — говорит, вздрагивая, Семенов и спрашивает: — Что будем делать, если не найдут?

— Хитер же ты, бестия! — смеется Олег Андреевич. — Спрашиваешь, а сам лучше меня на сто ходов вперед все уже разложил, коли Сереже поверил. — И спрашивает: — Поверил?

Семенов подходит к Сереже поближе, заглядывает ему в лицо, говорит неожиданно:

— Ответь, пожалуйста, милый друг, мне на один вопрос. Как ты из училища уехал? Тебя кто надоумил или сам?

— Надоумил, — отвечает Сережа. — Мама. Я ее голос услышал! — говорит Сережа. Глаза у него наполняются слезами. — Помните, — спрашивает он Олега Андреевича, — она стихи читала? Про гранат? Они записаны на пленку. И пленку вдруг включили...

Они молчат.

— Эх, милый! — говорит Семенов негромко.

Вода вскипает от пузырьков, из глубины появляется аквалангист, его подхватывают с катера.

«Не нашел!» — обрывается у Сережи сердце.

Аквалангист снимает маску, достает изо рта дыхательный шланг и поднимает над головой маленький комочек.

— Один — ноль, — говорит Семенов и вновь разглядывает Сережу. — Крепись, милый, раз выбрал честность, — произносит он. — Не так это легко и просто. Придется тебе и потерпеть и пострадать...

11

И вот суд.

Маленькая нечистая комната. Унылые зеленые стены. Ряды стульев, сколоченных вместе, как в кино.

У задней стены — длинный, как для президиума, стол, покрытый зеленой материей с чернильными пят-

нами. За столом женщина с усталым лицом и короткими волосами. Это судья. Еще две женщины рядом — заседатели. Четвертая, у краешка стола, приготовила бумаги: будет писать, секретарь.

Сережа сидит вместе со всеми. Хотя он подсудимый, а для подсудимого есть особое место за деревянной огородкой, судья его туда не зовет.

Хриплым голосом она читает бумагу, где записано все, как было, потом просит Сережу встать, подойти поближе, спрашивает, верно ли она прочитала.

Сережа кивает.

— Сергей Воробьев, — говорит она заседателям, — сам сообщил о краже. Необходимо отметить, что благодаря заявлению буфетчицы Селезневой, сделанному ею в корыстных целях, на Воробьева вообще не падало подозрения. Однако он глубоко прочувствовал свой проступок и явился с повинной в органы милиции. Что же касается Селезневой, на нее заведено особое дело.

Женщины кивают, соглашаясь с судьей. Сереже разрешают сесть, он отворачивается от зеленого стола и видит сосредоточенные, напряженные лица.

Исстрадавшуюся бабушку, Галю с округлившимися глазами. Тетю Нину, которая в волнении теребит платок. Олега Андреевича в строгом парадном мундире. Растрепанного Семенова...

Странно, в нем нет стыда. Не осталось ни капельки. Только волнение.

Будто перед ним река, большая река — широкая, с быстрым течением. Он вошел в эту реку, плывет через нее, и все знают, что ее проплывают только взрослые. Но он плывет, ему нужно ее переплыть. А эти люди стоят на берегу, мучаются, страдают, переживают. Каждый хотел бы ему помочь, но это запрещается правилами. Он плывет сам. И остальные могут только смотреть...

Сережа садится.

— Слово защитнику, — говорит судья.

— Защитником в этом деле, — говорит, поднимаясь, Олег Андреевич, — стал сам Сережа Воробьев.

Олег Андреевич проходит на середину комнаты, смотрит на крайние стулья, где сидят Литература и Николай. Пришли. Могли бы не приходить, но пришли, хлопали Сережу по плечу, сказали пустые слова, отсели в сторонку, чувствуя неприязнь остальных. Свидетели.

Подтвердили, что доплатили триста рублей. Расписались под бумагами, а теперь вот сидят, наблюдают.

— Я не могу защищать Сережу, — говорит Олег Андреевич. — Он украл, сделал это преднамеренно, и, по собственному его признанию, только случайность спасла его от большего преступления: в кассе осталось двадцать девять рублей шестьдесят копеек. Но остановимся на точной сумме, которая была ему нужна. Почему именно триста рублей? Почему остальные деньги, если в кассе будет больше, он хотел тотчас вернуть буфетнице, как собирался вернуть позже и нужные ему триста. Каков умысел и какова личность виновного — вот главные вопросы этого дела.

Олег Андреевич говорит сдержанно, кратко, строго. Он рассказывает про маму, про Сережу, про недолгое счастье, про размен и злополучную доплату...

Олег Андреевич садится.

— У мальчика нет родителей, — негромко говорит судья. — В таких случаях мы предлагаем помощь, выясняем, способен ли опекун обеспечить правильное воспитание и может ли обеспечить материально.

— Не отдам! — вдруг кричит бабушка. — Не отпущу!

Судья поднимает руку, успокаивая ее.

— Но я хорошо изучила дело, — продолжает она медленно, — и, хотя это противоречит моим обязанностям, предлагаю такой вопрос не ставить. — Она молчит, чуть хмурясь. — Однако мой долг, — строго говорит судья, — заставляет сказать и несколько неприятных слов. Олег Андреевич защищал Сережу Воробьева. Разобрав это дело, я понимаю, что мальчик оказался во власти обстоятельств, подняться выше которых у него не было ни сил, ни житейского опыта. Но разве это прощает Сережу? Мои слова обращены к тебе, Сережа. Ты совершил преступление. Маленькое или большое — это неважно. И ты не совершил бы его, если бы верил друзьям. Друзья у тебя есть. Они сидят здесь...

Судья собирает бумаги и выходит, следом за ней идут заседатели и секретарь.

Тихо. Все молчат.

И вдруг открывается дверь. На пороге Андрон. Его глаза растерянно бегают, он кого-то ищет. Находит — идет к Сереже, съездившись, опустив плечи.

— Сергуня, — говорит он. — Ты вот деньги тогда искал. Трех-то сот у меня нету, возьми хоть полста.

Он протягивает красные бумажки. Сережа улыбается ему одними глазами: эх, Андрон, путанный человек, спасибо тебе, а вслух говорит:

— Теперь уж не надо. Теперь я сам должен.

Краешком глаза Сережа видит, как встает с крайних стульев Вероника Макаровна, как крадется на цыпочках к двери, хотя сейчас ведь перерыв и можно ходить смело. За ней выходит Никодим. Сережа смотрит им вслед с усмешкой, оба они кажутся ему какими-то неудачниками, что ли. Ему даже жалко их — учительницу, ковыляющую на тонких каблуках, и серого, невзрачного Никодима.

Судья и ее помощницы возвращаются.

Все встают.

— Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, — торжественно произносит судья, — суд приговорил Воробьева Сергея Петровича, одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года рождения, к одному году лишения свободы.

В Сереже словно лопается какая-то струна. Он даже слышит этот странный, звенящий звук...

— решил... на основании статьи... Уголовного кодекса наказание считать условным с испытательным сроком...

— Неправильно! — растерянно говорит Андрон. — Дайте лучше мне, старому дураку!

Сережа думает, судья сейчас возмутится, обругает Андрона, но она разводит руками.

Вот и все, думает Сережа, вот и все.

Кончился обман...

12

Обман кончился... Что теперь?

В тишине всхлипывает бабушка.

— Чего дальше-то! — говорит она. — Может, обратно в училище? Там все же Колька...

— Или в школу? — предлагает Галя.

Сережа сидит, повесив голову. Он чувствует, что-то произошло. И с ним, и с ними. Слово он после приговора судьи внезапно заразился проказой — есть такая неизлечимая болезнь. И его жалеют. Выдумывают сроч-

но глупые лекарства. А он-то, дурак, думал, все будет наоборот. Он сразу поправится. Вылечится от обмана. Засмеется освобожденно, вздохнет легко, побежит бездумно по улице, как когда-то, как прежде...

— Не знаю, — говорит Олег Андреевич и улыбается смущенно, — что и делать. То ли сочувствовать, то ли поздравлять.

Он смотрит на них. Странно все-таки устроены люди. Вот только что друзья ему речку переплыть помогали. И знали, к чему он плывет. А когда доплыл — смущенно молчат. Видно, уж так всегда. Какая бы правда ни была, если за нее осудят, не обрадуешься.

Он поднимается.

— Раз меня осудили условно — это значит поставили условия. Словно в задаче, — задумчиво размышляет Сережа, — даны условия, надо найти ответ. Вот я и не хочу, — он оглядывает всех внимательно, — не хочу, чтобы этот ответ нашли вы. Хочу сам.

Он медленно поворачивается, идет к выходу. Плотно притворяет за собой дверь. Выходит на улицу.

Воздух врывается в него, заполняет легкие, обдувает лицо.

Вместе с ветром летят капли мелкого дождя.

Сережа не отворачивается от него.

Он закрывает глаза и чувствует, как постепенно лицо становится мокрым.

«Вот и все, — думает он. — Теперь надо жить дальше...» В сущности, он только повторяет то, что, всхлипывая, сказала бабушка, но тогда это говорила бабушка. Теперь думает он.

Он думает сам и не хочет, чтобы кто-нибудь думал за него.

Сережа глубоко вздыхает и чувствует на плече тяжелую руку.

13

Он открывает глаза.

Перед ним стоит летчик в синем плаще и форменной фуражке. Герой Доронин! Однофамилец артистки.

— Что же обманул? — спрашивает он строго. — Сказал, четвертая квартира...

Сережа опускает голову.

— Зачем вам? — говорит он.

— Ну ладно, — говорит летчик, трогая большой нос, — хватит хныкать! — В голосе его едва слышимая прония. — Своего добился, и правильно. Перестань обращаться. Смотри вперед. — Он хлопает Сережу по плечу, идет к машине, которая стоит в стороне.

И вдруг у Сережи начинает бешено колотиться сердце. Он срывается с места и бежит к «Жигулям».

Это как в школе. Отвечаешь урок, который отлично выучил, и сердце бьется от уверенности, от предчувствия. Вот закончишь сейчас, и тебе поставят пятерку. Уверен в этом. От этой уверенности все тело становится легким и солнечно на душе.

Сережа бежит к машине, распахивает дверцу и говорит:

— А вы? Зачем приезжали?

Ведь не может же Доронин просто так его искать.

Летчик улыбается. Толстое лицо его становится добрым от морщин, бегущих к вискам. Он тербит свой нос, растягивает толстые губы, включает двигатель.

Сердце колотится, а летчик молчит.

Он сейчас что-то скажет. Хорошее. Просто замечательное. То, что ждет Сережа.

Но резко сжимается сердце.

— Подождите, — говорит Сережа, меняясь в лице, — я вначале вам должен... Мне дали год условно!

— Не имеет значения, — отвечает летчик, разглядывая Сережу и по-прежнему улыбаясь. В глазах его бегают искорки.

Сейчас, сейчас... Сейчас он скажет...

Сейчас он скажет что-то такое, что изменит всю Сережину жизнь...

Всю жизнь!

Жизнь эта не будет без облаков, как не бывает без облаков небо.

Но — помните? — ведь это к облакам струятся от земли невидимые воздушные потоки.

Они поднимают в высоту модели, планеры и людей.

1972 год

Солнечное затмение

ПОВЕСТЬ

Не такая уж это была окраина, нет. Окраины давно уже поощетинились бетонными доминами. Издали еще ничего, издали, сквозь дымку, этаким сказочный многоглазый городище, весь белый, чего-то обещающий. А вблизи — каменный забор. Выйдешь из-за одного дома, думаешь, ну сейчас вот и простор будет — поле, одуванчики, земля, — а вместо одуванчиков снова дом, а за ним еще и еще, и сил уже нет добираться до выхода, и глаза тоскуют от асфальтовой серости...

Так что было это вовсе не на окраине, а посередине где-то, между центром и новыми районами, и были еще тут старые деревянные домишки, бараки-засыпухи — от военных лет, и была еще земля, и одуванчики, и старые черемухи осыпали весной дощатый тротуар опавшими лепестками.

И такой тут покой стоял, отрада душе, что порой забывалось, будто это город, большой, шумный город, и казалось, что ты в районном поселке незначительного масштаба. И люди, торопливо выходившие из-за кустов акаций, от троллейбусных остановок, приехавшие из центра, с авоськами в руках или портфелями, вывернув из-за акаций, вступив из города в старый свой поселок, где жили они давно, сами не замечая, вдруг успокаивали шаг, глядели вокруг новым, ожившим взглядом, размякали как-то, потому что уголок этот, отгороженный от шума и суеты тополями, кустами и тишиной, жил другим дыханием, другим ритмом и того же требовал от всякого, кто входил сюда...

Один только батяня Федькин ходу не сбавлял. Газовал на четвертой передаче. Выруливал из-за акаций и к дому пылил.

Федор глядел на него со своей голубятни и взглядом как бы сопровождал, как бы старался отца уберечь. Только не всегда это ему удавалось.

Дорога отца шла мимо фанерной будочки с пластиковой волнистой желтой крышей — самого, пожалуй, современного сооружения в старом районе. Палатка бесперебойно торговала пивом, возле нее толпились мужики; мужской этот водоворот рассасывался только в сумерки, и будка эта была для Федора самым тоскливым местом. Не в городе, нет. Во всей его жизни.

Эх, жизни!.. Хватало Федьке в ней расстройств и огорчений, и пары он огребал букетами, и дрался, бывало, с другими голубятниками — такое уж это дело, не обойтись, — и порол его батяня, но все неприятности и досады были в сравнении с пивнушкой этой проклятой семечками, царапиной, пустяком, мелочью. Вот чем были для Федьки все остальные неприятности. Потому как нет для человека ничего больнее срама собственного отца.

А Федькин батяня, загребая ботинками с оббитыми, побелевшими носами пыль, мчал к дому, не сбавляя скорости. Не видел черемухи, травы, облаков. Дул, страшно сосредоточенный, глядя под ноги, как бы задумавшийся о чем-то серьезном. И Федька глядел на него не отрываясь, и этот взгляд его частенько все же помогал — отец проходил мимо будки; правда, потом, миновав ее, становился он вялый и мешковатый, и пропадала враз его сосредоточенность. Но стоило Федьке сморгнуть, или оглянуться на турмана, или подумать о чем другом, даже не сводя глаз с отца, как все и начиналось.

«Э! — кричал от пивнушки какой-нибудь сиплый голос. — Джон Иванович! Подгребай к причалу!» Или еще хуже: «Американец! Валяй сюда!»

И все возле будки ржали, просто хором ржали, а отец резко разворачивался, подступал к пивнушке, задиристо выкрикивая: «Кто обзывается? Кто?» Но его обнимали, говорили пьяно: «Брось, Гера, брось, давай по единой», — и отец затухал, замолкал, толкался у будки до позднего вечера, а когда являлся домой, комната, где жили они втроем — отец, мать и Федор, — тотчас наполнялась пивным духом... Эх!

Мать уже и не плакала теперь. Глядела на отца высохшими глазами, сама высохшая, как доска, чернявая и худая, совсем старуха, а отец отворачивался в сторону, сопел, снимая ботинки, потом говорил, оправдываясь:

— Ну чо ты, чо ты, Тоня, я же не пьяный, всего кружечку.

Бог с ней, с кружечкой, пил бы себе на здоровье и три, и пять, и бутылку, если уж приспичило, нет, не это Федьку терзало, а срам. Срам отцовский. И слабость его немужская.

Звали батяню Федино́го Джон Иванович в самом деле. Родился он в тридцатые годы, аж до войны. И мода тогда была. Сейчас мода на обувь, сапоги каким-то чулком носят, к примеру, очередища страшная у обувного магазина неподалеку от их поселка, ну вот, а тогда мода на имена была. На заграничные. И родители называли отца Джоном — по-американски. Мог бы сто раз сменить это свое имя, да он и так сменил, называя себя, знакомясь, Георгием, но народ настоящее отцово имя знал, насмехался; мать объясняла, насмехался потому, что отец тут, в райончике этом и в этом доме, жил сызмальства и алкаши эти несчастные — его детские друзья.

Федор думал об этом частенько. Вот как! Вон тот, седой совсем и с палкой, — тоже, значит, отцовский кореш с детских лет. И этот, рыжий. И тот, лысатик-пузан. Сдувают с кружек пену, чокаются с отцом. Федор глядел на них с голубятни и все представить не мог, какими они мальчишками были. И были ли? Чудно это все ему казалось. И глупо. Пусть даже были они друзьями, пусть сто лет тут живут и друг друга всегда знают. Пусть... Обзывать-то чего же! Дразниться до седых волос! Ну и чем виноват отец перед ними? Объясните — чем? Этот, седой, Иван Степанович, другой Платонов, его и по имени-то никогда не зовут, просто Платонов, будто и имени нет, лысый — Егор, а отец — Американец, вот тебе... Американец. Джон. Взрослый человек, а все Американец.

Эх, батяня!.. Другой бы послал к черту старых друзей, коли такое дело, коли дразнят взрослого человека, детство забыть не могут. И все. Жил бы, как остальные. Шел спокойно мимо пивнушки. Не дергался по пустякам. Но, видно, была у отца какая-то своя тайна, что ли. Своя робость, которую никак не перешагнуть. Вот вырулил он из-за угла, дует домой, сосредоточившись, голову опустив, думая о чем-то. Поравнялся с будкой.

— Дядя Сэм! — кричит лысый. — Хэлло! Дуй сюда, у меня аванец! — И отец словно спотыкается. Минуту

стоит, потом рукой самому себе махнет, мол, была не была, к пивнушке идет, кричит истошным голосом: «Кто сказал «дядя Сэм»?» — и народ у ларька хохочет, за животы держится. Ладно бы эти трое, друзья детства, а то все уже потешаются.

Шут гороховый!

Федор глядел, как сворачивает отец к ларьку, и закусил губу, зло воткнул топор в бревно. «Черт с ним! Горбатого могила исправит!» Это матерные слова, не его, но он их всегда повторяет. Позременив, огляделся вокруг себя, словно бы к жизни возвращался.

А жизнь у Федьки отдельная от всех. Собственная. С ребяташками он не якшается по причине простой: не желает быть, как отец, американцем. Он бы, правда, и не стал никогда америкашцем, любой бы, кто обозвал, получил как следует по зубам. Тут же. Да за такие слова!.. Но он с ребятами все равно не водится. Не потому, что боится, как бы по-отцовски не обозвали. Потому что за отца стыдно. Мало у кого отцы не выпивают, это есть, случается. Но ни над кем в округе не издеваются, как над Федькиным родителем. Поэтому Федор все больше один. Чтоб не пришлось говорить: «Это мой батя».

Федор привык один быть. Привык своей жизнью жить, от всех отдельной. Стучал топором, рубанком стружку гнал.

Собрал старые доски, пару со стройки стянул, а сетка старая — и притих, мурлычет под нос песенку.

Песенка у Федора забавная, из какой-то там старины, в кино услышал или по радио, теперь уж и не упомнит...

Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна...

Других слов не помнит, зато эти ему нравятся очень. Правда, на что ему берег турецкий? Или Африка, опять же? Ему тут нормально. В этом их углу. Тихо летом, тепло. Турманы урчат, зобы раздувают, золотистый самец перед голубкой хвост развернул, пошалить хочет, ах вы, летуны, ах, мерзавчики! Ну ничего, потерпите малость, доделает ваш Федька новую голубятню, всем голубятням голубятня. Просторная, не на крыше где-нибудь, а отдельно стоит, на четырех столбах, с крышей покатою, чтоб дождь не заливал, по всем правилам ис-

кусства, ах ты, елки-мotalки, и пусть они там живут, как им нравится, папаня этот...

Подумал опять про отца, и руки сами собой разжались, молоток выпал. Пальцы холодными стали. Вот всегда так. Сколько ни думай про разное, как про отца вспомнишь — ладони потеют и тоскливо становится.

Федор обернулся к ларьку — отец брел от него к дому, никуда уже не спешил, голову задрал гордо, крутил ею на тонкой шее, озирался вокруг, будто желал, чтобы его видели... Чего смотреть-то?.. Федя мотнул головой, занялся снова своими делами. Хорошо же стружкой пахнет, ах, хорошо, и душа от запаха этого словно вычищается, ясней становится, опять Федя поглядывает веселей на своих турманов, на небо над головой, прозрачное и голубое, — есть ли у неба дно? Он прибавал гвоздями сетку к раме, а сам все время на небо поглядывал. Вот говорят, больше всего летчики небо любят, у них, мол, профессия такая, а он не согласен. Не летчики, голубятники небо больше всего любят. Летчику что, захотел — полетел. А тут стоит человек на земле и и на крыше какой, свистит на голубей, а сам радуется, что голуби его в небе мелькают. И миг такой настает, когда чувствует голубятник, будто это и не голуби вовсе, а он сам там, в небе-то. И без всяких моторов-двигателей, а сам собой, и только трепещут, хлопают крылья его. Никому не признавался Федор в этом, не такой он человек, чтобы об этом говорить, да и как скажешь?.. Прислонился он к стойке, задрал голову вверх, нырнул с головой в небо, и полетел, полетел в глубину, аж защемило под ложечкой от страха...

Неделю уже — с тех пор, как ее привезли, — наблюдала она за мальчишкой. Знала, как его зовут. Голубятня, которую он достраивал, была почти вровень со вторым этажом, с их окнами, и каждое сказанное там слово — да что слово, шепот даже — слышала она в своей комнате. А он и не подозревал о ее существовании.

Ветер трогал занавеску, приносил к Лене запах свежей стружки, незнакомый ей, новый, раньше не слышанный, и она хотела, прямо до озноба какого-то желала припасть к охалке пачухей стружки и вдыхать, вдыхать до головокружения этот манящий запах. Все было так просто! Стоило только сказать матери или отцу,

когда они придут с работы, и ей принесут сколько угодно стружки. Но Лена молчала. Словно оттягивала предстоящее удовольствие...

Утром, едва просыпаясь, она прислушивалась к улице. В голубятне ворковали птицы. Издалека, с трамвайного круга доносились краткие звонки и скрежет железных колес о рельсы. За акациями все время срывались троллейбусные штанги и звенели о провода. Но когда появлялся Федор, все другое исчезало для Лены — оставались шуршание рубанка о дерево, удары топора, хлопанье голубиных крыльев и хриловатый голос Федора, ни с того ни с сего вдруг выводивший:

Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна!

Лена подкатывала коляску к окну, отодвигала занавески и разглядывала мальчишку, но едва он поднимал голову, испуганно отъезжала в глубину комнаты. Не хотела, чтобы Федор ее видел. Ей нравилось оставаться невидимой. Это ее забавляло. Впрочем, может, и не забавляло... Может, совсем другое...

Странно чувствовала, она себя в эти дни. Дом, куда ее привезли после болезни, был родным, но она не привыкла к этому дому, не могла привыкнуть. Сколько помнила она себя, родным для нее был сад возле школы-интерната, общая комната на десять таких, как она, девчонок, нянечка Дуся, а до школы еще один интернат — в лесу, за городом. Так что родным для нее был шум и гам или тишина, но особая тишина, непохожая на эту, когда она совсем одна, будто в заточении... В той тишине девчонки плакали все вместе от грустной какой-нибудь истории, они любили грустное, это было про них. И тихий этот плач, когда нянечка Дуся дремлет в своей закуске и воспитатели ушли домой, их объединял и странно окрылял — вот ведь, и у грусти, оказывается, есть крылья.

Впрочем, такое случалось поздним вечером, перед сном, а утром грусти не оставалось места, и они, кто как, каждая по-своему, одевались, переползали в коляски, прихрамывали, кособочились, натягивали, помогая друг дружке, платья, смеялись, кричали и плакали тоже, только днем плакали громко и как-то непонятно весело — днем плакать грустно запрещалось. Ими же самими.

А тут все было не так.

День проходил одиноко и пусто, а шумно становилось к вечеру, когда возвращались люди с работы, когда приходили мать и отец.

Днем только Федька развлекал ее. Пел, бормотал, разговаривал с голубями, шуршал стружкой. И не знал, что на него глядит из окна, сквозь щель в занавесках девочка, которая может передвигаться только на коляске.

Ах, коляска! Там, в интернате, среди подружек, таких, как она, коляска была для нее предметом одушевленным — с ней можно и поговорить в случае чего. Легкую, маневренную коляску отец привез Лене из заграничной командировки, и это никелированное создание было изящным и вертким, помогая ей жить. Они вообще там не замечали своих бед. Жили просто — вот и все. Странно, восьмиклассникам не надо объяснять, что такое их беда, их уродство, но девчонки про себя никогда, кажется, и не думали. Болезни их общие, полиомиелиты и параличи, даже как будто сближали всех в нечто единое. Комната на десять коек была не просто комната для этих искалеченных болезнью девочек, а чем-то совсем иным... Одна из Лениных подружек, Зина, самая, пожалуй, тяжелая, с парализованными рукой и ногой, сказала однажды, что их комната — скит, и все замолчали. Скит. В этом слове пряталось что-то тайное. И еще заброшенное. Скиты бывали в тайге, там монахи прятались от жизни. Нет, это им не подходило, и Лена сказала:

— Не скит, а первичная комнатная организация.

Девчонки загалдели обрадованно, будто Ленка угадала редкое слово в кроссворде, нашла ответ в трудной задаче. И правда, какой это скит! Стены увешаны вышивками до самого почти потолка — специально приглашали дворника дядю Степу, чтобы прикрепил. На ковриках — цветные фотографии любимых артистов, среди которых чаще всего Вячеслав Тихонов, и бусы из ярко-оранжевых ягод шиповника, и новогодние красивые открытки из дому, и портрет Ленина — они купили его еще год назад, когда вступили в комсомол.

Нет, все у них было там по-своему, своя жизнь, где никто никому не кажется уродцем, а все равноправные люди, открытые и прямые, и чаще всего веселые, неунывающие — с унынием и всем таким прочим они беспо-

щадно боролись. В шестом классе к ним пришла Вера Ильинична. Теперь они все зовут ее классной мамочкой, а тогда Вера Ильинична не могла прийти в себя. В глазах у нее то и дело вспыхивали слезы — просто так, без всяких причин, оттого, что она смотрела на девочнок. Вера Ильинична удивлялась часто, прямо-таки поражалась. Она пришла сюда из нормальной школы, и на уроке литературы девочки потребовали разговора про «Молодую гвардию». «Молодая гвардия» была разлюбимой книгой, в очередь на нее становились с пятого класса, и девочки так на том уроке разговорились, что Вера Ильинична пораженно молчала и только в конце сказала о том, что несказанно удивлена. И объяснила: там, в той, нормальной школе восьмиклассники путают Ульяну Громову с Любой Шевцовой. Девочки не поняли — как так? И Вера Ильинична снова объяснила: вертихвостки и вертихвостки, им некогда за книгу сесты — то танцы, то прогулки по Бродвею — так окрестили одну улицу в городе.

Они очень тонко чувствовали все, эти больные девочки. Вместо того, чтобы загальдеть, притихли. И Лена сказала:

— Вера Ильинична, мы признаем вас нашей классной мамой, вы хороший человек. Но у вас есть один недостаток...

Лена увидела, как расширились глаза у Веры Ильиничны, как она растерянно заморгала, и добавила:

— Нас не надо жалеть...

Вера Ильинична быстро кивнула. С тех пор слезы у нее не появлялись никогда. По крайней мере, при них. И никогда, обвиняя здоровых людей в недостатках, она не приводила причин этих недостатков. Ведь те восьмиклассники из нормальной школы не читали «Молодую гвардию», потому что танцевали и гуляли.

А в тот раз, когда девочки разбрелись из класса, Вера Ильинична осталась с Леной. Помогла ей перебраться с парты в коляску и покатила в спальню. Лена чувствовала: что-то учительнице не дает покоя. И точно. Вера Ильинична спросила:

— Почему ты так со мной говорила?

— Мы говорим так со всеми учителями.

— Вот как...

Вера Ильинична приумолкла и, кажется, сделала еще какой-то вывод.

— А потом, — прибавила Лена, — мы же признали вас нашей классной мамой.

— Спасибо! — проговорила Вера Ильинична сдавленным голосом.

— Остановитесь, мамочка! — приказала Лена. — И наклонитесь сюда.

Вера Ильинична наклонилась. Лена обняла ее за шею и поцеловала. Учительница быстро исчезла за Лениной спиной. Все-таки не удержалась. Хлюпнула носом.

— Ну вот! — укоризненно вздохнула Лена. И прибавила: — Я вас поцеловала не для будущих пятерок, не подумайте. Они и так будут. Просто я вас люблю!

Это Лена сказала в шестом классе. Потом, в восьмом уже, Вера Ильинична, получившая высшее звание классной мамочки, призналась Лене, что ее поразил тот разговор.

— Понимаешь, — сказала она, — я подумала, что ты старше меня.

— Так оно и есть, — улыбнулась Лена. — Я старше тебя. Или ты еще не поняла?

Да, у них там была необычная жизнь, в которой коляски и костыли, парализованные руки и ноги, уродство и красота не играют абсолютно никакой роли — ни вот на чуточку, и мера ценностей взвешивается на иных весах — на весах сердечности, любви и души, но вот тут...

Тут, в родном доме, когда она оставалась одна, все начинало меняться. Она глядела в окно — по улице шли нормальные люди. Маленькие девочки прыгали через скакалку. Смешной зеленоглазый мальчишка строгал доски, стучал молотком, вспевал всегда неожиданно:

Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна!

Лена смеялась над ним, но не так, как там, в интернате, — там бы она расхохоталась громко и открыто, а тут прижала ладошку ко рту, чтоб он не услышал. Не услышал ее смеха и не увидел ее в этой безобразной, уродливой, стыдной коляске!

Нагляделся Федор на голубей, подождал, пока влетят они в голубятню, пересчитал деловито, закрыл сет-

ку, снова взялся за рубанок, но услышал материн голос:
— Сынок! Федя!

Глянул он на мать сверху, сердце тоской обволокло. Узкие плечи вперед подались, лицо у матери заострилось, и оттого, что смотрит на него снизу вверх, получается будто как-то просительно. Будто он, Федор, должен ей помочь.

Федор к матери сошел, она протянула ему газетку, в газете два бутерброда с колбасой, — все без слов понял. Ужинать домой не зовет, дома немоготу. Подтвердила:

— Ой, как стружкой хорошо пахнет! Посижу.

Присела на ступеньку лестницы, в голубятню ведущей, спросила сама себя:

— Почему я не мальчишка? Гоняли бы мы с тобой голубей...

Умолкла. Жует Федор колбасу, слушает, как молчит мать, и завять ему хочется. Господи! Что же вы делаете, взрослые люди?! Да ведь даже его ума достаёт, чтоб понять — негоже так жить, невозможно. Вон небо какое глубокое, вон тополя шумят листьями без конца, вон голуби воркуют, вон люди идут, — как же вокруг-то хорошо и ясно, так неужели же в ясности этой нельзя ясно и жить? Ясно друг к дружке относиться, радоваться вместе, любить, счастливыми быть? Есть Федору не хочется, до того тоскливо на душе у него. Он не за себя горюет — за мать. Вон она какая — сама не своя. А ведь карточка дома висит — красавица черноглазая. Коса, толщиной в руку, на грудь переброшена, и хоть карточка старая, потускнела от времени, сквозь тусклость даже эту видать — счастливая мама, веселая, все у нее на душе ладно, ничего не надо.

Федор дожевал колбасу неохотно.

— Знаешь, — сказал, чтобы что-то сказать, — турманов предлагают продать. В соседнем квартале мужик объявился, полковник отставной, говорят. Богатющий — страсть. Подходил сюда, интересовался.

Мать вздохнула.

— Птиц продавать грех, сынок. Они живые. И вольные.

Вздохнула опять, отвернулась от Федора. Он знает: в глазах слезы.

— Ты опять за свое! — сказал он.

Мать мотнула головой, повернулась к нему. От глаз

к вискам морщины тянутся. И от носа к краешкам губ. Но не плачет. Взгляд сухой и острый. Сказала:

— Садись-ка рядом, поговорим ладком...

Он сел послушно — прямо в траву, в стружки.

— С отцом говорить без толку, — улыбнулась извинительно мать, — так давай с тобой порассуждаем. И не бойся, плакать не стану.

Федор кивнул, вглядываясь в лицо ее, серое и болезненное.

— Ну вот, выслушай, сын. Человек ты вполне взрослый да разумный. Комсомолец. Суди меня, коли сможешь, а коли не сможешь — оправдай и помоги... Не хочу я больше. Сил нет. Каторга у меня, а не жизнь... Знаю, что и тебе не сладко, но мне... до стенки дошла, уперлась. Кончилось мое терпение. Все.

Она замолчала, посмотрела на Федю решительно, потом взгляд отвела в сторону чуть, и оттого, видно, что Федор теперь как бы сбоку оказался, взгляд ее этот стал жестким и сухим.

— Давай уедем, — сказала мать, глядя по-прежнему в сторону. — Мало ли на свете городов... К бабушке уедем.

Теперь Федор глаза от матери отвел. Посмотрел вбок. Потом на голубятню свою.

— Их жалеешь? — спросила мать.

Он покачал головой.

— Отца.

Чуть не оговорился. Чуть не сказал: Американца...

Не успел матери ответить, а тот тут как тут. Из-под земли вырос по мановению волшебной палочки. Подошел деловой походкой, сел рядом с Федором на стружки, обнял его. Федя руку отцову стянул.

— Вот так вот! — воскликнул отец. — Всю жизнь! К ним со всем сердцем, а они нос воротят. Куда же денешься?

Мать в сторону смотрела, словно и не заметила, что он пришел.

— Ну объясните вы за-ради бога! Чем я вам неугодный? Чем нехороший? Алкаш я, что ли, какой? Ни разу в милиции не ночевал! Вон, поглядите на мужиков-то! И так и этак валяются, а я! Пивком балуюсь — ну и что? С приятелями беседую — разве грех?

Мать все молчала, Федор на отца посмотрел. Значит, бросить его мать предлагает. Уехать к бабушке.

В другой город. Но он, Федька, сделать этого не может. Был бы и впрямь отец буян и громила. Хам какой-нибудь, драчун. Нет, он жалкий. Худой, щеки ввалились, щетина черная ежом торчит. И чего-то он просит всегда. У всех. Как и сейчас.

Федор поглядел на мать. Та как неприступная крепость. Все слова отцовские мимо нее пролетают. Да и правильно. Сколько слов он этих всегда без толку тратит — пустые они, вот и все.

— Знаешь чего, батяня, — начал Федя, но осекся. Отец тут же умолк, словно ждал он любого слова, будто слов этих — ругательных или милостивых — выпрашивал он от сына и жены, и умолк с готовностью, ожидая их как подаяния. — Знаешь, батяня, ты, конечно, не алкаш, ты просто... никто.

Отец голову откинул, будто его ударили. Глаза закрыл. Потом выдохнул:

— Никто? Как никто?.. Повтори, повтори!

Но Федор молчал. Краем глаза увидел он, как мать на него взглянула. Может, с интересом взглянула. Только сейчас сказал он ей, что отца жалеет, Американца этого, и тут же отцу будто оплеуху закатил. Никто... Это же надо — никто...

Отец встал, пошатнулся. Федор удивился: не пьяный ведь. Постоял. Двинулся в сторону. Подошел к дереву. Прислонился к нему. И вдруг Федька увидел — трясутся у отца плечи. Плачет. Плачет навзрыд. И прохожие останавливаются. Глядят на отца. Со своего балкона Платонов заорал:

— Гера! Гера, кто тебя обидел?

И Федя не выдержал. Такая жалость к отцу нахлынула, навалилась всей тяжестью, будто каменная глыбина, и заплакал он, заревел, как маленький, безысходно, во весь голос, и крикнул сквозь слезы матери, растягивая слова:

— Что вы делаете, а? Что вы делаете, взрослые люди?!

И у матери навернулись слезы: смахивая их, кинулась она мимо Федьки к отцу, там, под деревом, схватила мужа за плечи и повела к дому на виду у всего поселка, на глазах у народа.

Федор глядел им вслед сперва сквозь слезы. Потом отец и мать, оба теперь вместе, показались ему жалкими, обиженными, загнанными, оскрамленными, и он поду-

мал в отчаянии: отчего же это? Почему? Что за дикость такая: двое ж взрослых людей любят друг друга, ведь любят же, и мучают, терзают без жалости — зачем, отчего? Неужели же пивной ларек всему причина и глупое имя отца — Джон Иванович? И разве же не пустяки это, разве же это препятствие для хорошего, покойного житья, для всех, для них, для трюх? Разве же не могут они рядышком, друг к дружке поплотней прижавшись, сбросить этот стыд и жить, как люди?

Он схватил топор, молоток, рубанок, взобрался по лестнице, швырнул барахло свое в голубятню, запер засов и спрыгнул обратно наземь. Нога у него подвернулась, он упал боком, взгляд его, цепкий в это мгновение, ухватил край голубятни, небо, прозрачное и легкое, и край окна, в котором было испуганное чье-то лицо. Он вскочил и, прихрамывая, побежал домой, к двухэтажному старому бараку военных лет. К черному провалу двери, где скрылись отец и мать.

Так уж она была устроена — не могла спокойно сидеть, когда другие ссорились. Еще в интернате придумала: если толпа, если девчонки руками размахивают и кричат, она на коляске своей разгонялась, мчалась прямо на эту толпу и кричала:

— Полундра!

Бывало, натыкалась колесами на людей, боль причиняла кому-то, но со второго или третьего раза ее все поняли — своей «тачанкой» она толпу разгоняла, а когда те, кто ссорился, друг от друга отходят, смысла кричать и руками размахивать больше нет.

Вот и тут... Она сидела в глубине комнаты, молчала терпеливо, а когда Федя заплакал, не выдержала — подъехала к окну, решительно откинула штору, приготовилась крикнуть что-нибудь, конечно, не «Полундра!», это словечко тут не подходило, никто бы не понял ее, — но увидела, что опоздала: взрослые уже исчезли, а Федька скатился по лестнице, ударился оземь, вскочил и побежал к своему бараку.

Лена задернула штору, сделала несколько кругов по комнате, чтобы успокоиться, но не могла.

«Боже! — думала она. — У всех что-то есть, что-то болит, неужели же нет дома, нет семьи на белом свете,

где было бы все-все в порядке? В порядке, в счастье, в покое?»

Она глянула на стену, где висела их семейная фотография — мама, отец и она. Сфотографировались в прошлом году, в воскресенье, когда по правилам интерната дети встречаются с родителями и гуляют по школьному саду. Тогда появился какой-то мужчина с лисьей мордочкой — гладкой и угодливой. Он приближался тихо, откуда-то сбоку, из глубины сада, подходил, когда родители и их немощные дети не думали о нем, и заставлял врасплох своим угодливым видом и предложением сфотографироваться всей семьей — на память. Родители терялись, это Лена заметила сразу, как растерялись ее папка и мамуля; эти слова — «на память» — всех словно обезоруживали. «На какую это память?» — подумала она тогда. Но промолчала. Человек с лисьей мордочкой расположил мамулю и папку симметрично по отношению к коляске, проворно отбежал и щелкнул несколько раз затвором. И вот теперь та карточка — на память — висела здесь, а другая — над кроватью у Лены в большой интернатской комнате.

Она усмехнулась, вспомнив фотографа. «Значит, на память? Всего-то... на память!» Лена рассмеялась, но ей не было весело. Она давно заметила за собой странную привычку — запоминать слова. Незначительные, проходные для других, для нее они становились каким-то... квадратным корнем из особого смысла. Пусть будет так — несколько выпренне, но точно... Она махнула рукой. Бог с ней, с этой «памятью». Вгляделась в карточку. Мамуля — белокурая, круглолицая, голубоглазая. У нее нет до сих пор ни одной морщинки, со стороны кажется, что она живет спокойной и ровной жизнью — только вот глаза ее выдают. Вдруг мамуля начинает моргать. Когда ей плохо — моргает. Когда трудно и сложно — моргает. В воскресенье, день свиданий, мамуля, увидев Лену после недельного перерыва, всегда сперва моргает. Потом целует ее тысячу раз. Ласкает так, будто видит в последний раз.

Лене это не нравится. Она сразу начинает сердиться, когда видит мамулю. Она бы хотела, чтобы ее мамуля была чуть пожестче, ей было бы так проще. Всем и всегда Лена прямо говорит об этом, как тогда, в шестом классе Вере Ильиничне, она и мамуле всегда говорит, не церемонясь, но ту не прошибает. Мамуля, пожалуй,

единственный человек на свете, который способен пропустить Ленино высказывание мимо ушей. Может, оттого, что моргает часто? И чего-то не замечает?

Вот папка — другое дело. Это настоящий человек. Нет, нет, Лена вовсе не думает, что мамуля ненастоящий человек. Просто есть такое выражение. И папкин характер такой, что требует уважения, беспрекословного уважения. Петр Силыч. Даже в имени его что-то сдержанно глубокое. Отец — гордость Лены. Он талантливый геолог. Открыл никелевые месторождения в Сибири. Он вообще там без конца пропадает. И шлет Лене конверты с фотоснимками, открытками и значками. Снимки обязательно надписывает аккуратным округлым почерком. «Уренгой. Здесь будет крупная железнодорожная станция». «Удокан. Колоссальное месторождение меди. Мои товарищи продолжают обследование этой зоны». «Посмотри, доченька, какая речича! Ее называли в честь тебя Леной».

Лена просто повизгивала, когда получала толстые отцовские конверты. И читала девчонкам вслух эти надписи. А потом всей комнатой они листали толстенный «Атлас мира», подаренный папкой, и отыскивали Уренгой, Удокан и плыли мысленно на теплоходе по Лене.

Отец все чувствовал и все понимал. В письмах своих он никогда ничем не восхищался, никогда не описывал сибирских красот и чудес — просто фиксировал, что на фотографиях. И когда Лена уговорила его выступить в школе, он рассказывал о профессии подчеркнуто сухо, пожалуй, даже официально.

Лена слушала его с удовольствием, радуясь, что у нее такой умный и тонкий отец, — больным людям, особенно мальчишкам, грешно внушать любовь к геологии. После выступления Лене разрешили прогуляться с отцом по саду. Стояла поздняя осень, октябрь, моросил мелкий-мелкий дождик, скорей влажная пыль, пахло прелыми листьями, и отец, прокашлявшись, пробормотал за спиной у Лены:

— Просто не пойму, зачем ты настояла?

— Во-первых, — ответила она, — хочу, чтобы все знали, какой у меня папка. А во-вторых, не можем мы тут отрываться от жизни.

Отец опять закашлялся, а Лена улыбнулась. Во всей своей болезни она одного терпеть не могла, не могла

с этим смириться: люди говорят с ней из-за ее спины. Но тут она была довольна. Она любила отца и не хотела видеть в эту минуту его лицо.

Вот-вот... Лицо отца, когда она и не видит его, только слышит басовитый кашель. Мамино лицо с вечно моргающими глазами. Нет, не зря память ее засекает какие-то глупые проходные слова, которые означают нечто большее, чем в них вкладывают. Тот фотограф с лисьей мордочкой и угодливыми повадками. «На память». Неужели и они думают — на память? Вот так всю жизнь, с тех пор как она родилась? Ведь то, что она живет и добралась до восьмого класса, естественно и неверно. И возможно, скоро она исчезнет. И они боятся. Боятся повторить эти случайные слова — «на память». На память о ком? Да что тут — о ней.

Лена отъехала в глубину комнаты, подальше от фотографии. «Это одиночество, — подумала она. — Одиночество и комната без людей. — Там, в интернате, она, самая волевая, по общему мнению девчонок, не позволяла себе распускаться и думать про подобную чушь. — И еще эгоизм, — решила она. — Думаю только о себе. Вон тот мальчишка, Федор. Разве ему легче, хоть в порядке у него и руки и ноги?» Она подъехала к окну и снова спросила себя: «Неужели же нет на белом свете людей, счастливых до конца, без всяких оговорок и без всяких пределов? Неужели нет? — И тряхнула головой. — Еще этого не хватало! Есть!.. Есть и есть!»

В дверях зашебаршил ключ, на пороге появилась мамуля, прекрасная и веселая, за ее плечом улыбался папка, и Лена отчаянно крутнула колеса своей коляски, рванувшись к ним.

— Аленушка! — закричала с порога мамуля. — У меня сенсационная новость! Я уйду с работы.

Лена затормозила.

— Зачем? — крикнула она отчаянно.

— Давай без прений, — сказала мама.

— Без прений, — тихо поправил отец.

— Хорошо, я согласна, — засмеялась мама, — откуда все знать, у меня же техническое образование.

У Лены закаменело внутри. «Значит, они все давно видят и понимают. Только молчат. Поняли, что я изменилась. Позволяю себе думать черт-те знает о чем».

— Мамуля, — сказала она жестко, выделяя каждое слово, — я, конечно, понимаю, что еще не обладаю из-

бирательным правом, но позволю и мне принять участие в решении собственной судьбы.

Мама остановилась на полпути с авоськами в руках, приоткрыв слегка рот, и казалась в это мгновение слабой. Лена едва заметно усмехнулась.

— Если ты уйдешь с работы, — сказала она, — я буду считать, что вы признали меня неполноценной, не умеющей властвовать собой, беспомощной и никчемной инвалидкой.

— Ты с ума сошла! — закричала мама.

— Или — или, — ответила Лена. — Или ты возвращаешься в свое КБ, или вы отвозите меня домой.

— Куда?

— В интернат, — поправилась она.

Вопрос был решен, Лена это знала. Она вообще умела «вертеть» людьми, как выразилась однажды Зина, и это умение не держалось на ее болезни, напротив, оно держалось на ее жестком требовании не считать ее больной. А в этом разговоре все было ясно заранее. Выдумка мамули, понятное дело. Похоже, она убедила отца. Судя по тому, что он молчит и мнется, папка сомневается в мамулином варианте.

— Алечка, но ведь ты болела, крупозное двустороннее воспаление легких, — сказал он наконец, предварительно покашляв. И умолк.

— А еще что? — четко отпечатала Лена. — Что еще там вы насчитаете?

— Ничего, — спохватился он.

— Товарищи родители, — наставительно произнесла Лена, и ей самой стало тошно от своего тона, — давайте раз и навсегда прекратим эти разговоры. Раз и навсегда!

Отец вздохнул, а мамуля заморгала глазами, готовая заплакать, но папка остановил ее.

— Все, — пробормотал он, — закрыто.

Они молча ушли на кухню, молча выкладывали там продукты из авоськи, открывали и закрывали холодильник. Потом оба враз шумно вздохнули, и Лена засмеялась в комнате.

— Ты чего там, Алена? — спросил отец.

— Давно бы так, — ответила она. И выбросила из головы этот разговор. Вспомнила Федора. Если бы у всех все так легко разрешалось.

За чаем она спросила мамулю:

— Выполнишь одну мою прихоть?
Мамуля быстро-быстро заморгала, заранее пугаясь.
— Купи мне красивое длинное платье!

Федька проснулся поздно и заторопился на голубятню. Вчера он долго ворочался, не мог уснуть, а ночью ему снились разные страхи. Будто мать поставила тесто, оно поднялось, вышло из миски, скатилось на пол и стало пухнуть, расти на глазах, стало подбираться к подбородку, душить, а выбраться невозможно — как с ним, с тестом, быть, не поплывешь по нему — густое, и не пойдешь — жидкое...

Дома было пусто и неуютно. Смятая родительская постель, разбросанная по комнате обувь, на столе хлеб — разрезанный и разломанный, невымытые тарелки. Только солнце красило комнату. Высвечивало нечистый пол, небруанный стол и будто бы о чем-то напоминало. Федька вспомнил и вскочил с постели. Все это очень похоже, ей-богу! Вот грязный стол. Стоит только захотеть, и он будет чистым. Где тряпка? Вот она! Раздва — готово. Стол блестел свежeweымытой клеенкой, а Федор уже тащил ведро с водой: еще немного, чуточку терпения, и пол будет сверкать, словно новенький.

Да, да, это все очень похоже. Стоит только как следует захотеть. И придумать. Вот, он, Федор, давно этого хотел. Но придумал только вчера. И вот сегодня уже, сегодня вечером, отец придет домой вполне нормальным, надо только придумать, вот и все.

Комната с каждой минутой становилась ухоженной и чистой. Федор заправил постели — и свою и родительскую, — родительскую с особым тщанием, вымыл грязную посуду, застелил стол новой скатертью, поставил на нее вазу и сбегал в палисадник — отломил несколько верхушек мальвы. Протер тряпкой проигрыватель, отобрал несколько пластинок, а на диск поставил для отца «Амурские волны». Батяня ведь на флоте служил, на Дальнем Востоке, а Амур — это там, ему приятно будет. Федор оглядел довольно свою работу, насыпал в карман крупы и крошек для голубей и отправился на свою стройку. С большим опозданием.

Голуби на него заворчали. Это простаку кажется, будто голуби воркуют, и все, а он-то уж знает. Опоздал — они ворчат, сердятся. Посыпал им крупы, по-

крошил хлеба, подлил в лоток свежей водички, а теперь и погуляйте на здоровье. Хлопнул запор, открылось голубям небо, они затрепетали, рванулись в вышину и пошли, пошли кругами. Федор свистнул им вдогонку — переливисто, длинно, с перепадами, поглядел на полет их хитрый — на кружение по спирали, голова устала, опустил ее и заметил: занавеска в окне напротив голубятни дрогнула.

И он вспомнил. Вчера, когда побежал за родителями после того их разговора со слезами, нога у него подвернулась, он упал и увидел в окошке этом девчонку.

Первое, что он ощутил, — досада.

«Значит, она все слышала», — подумал он. Но в этом окошке никогда никаких девчонок не было, тут жили двое, муж и жена; муж геолог, Петр Силыч, Федя знает его, подходил не раз к голубятне, спрашивал, которые турманы и чем от других отличаются. Но девчонка?

Федор легонько свистнул. Штора не шевелилась. «Может, ветер? — подумал он, но себя же перебил: — А вчера?»

Он попытался восстановить в памяти ее лицо. Не получилось. «Да поди никого и нет».

— Алё, — не крикнул, а сказал он. — Э, девушка!

За шторой было тихо. «Может, случайно кто к ним заходил?» Он достал рубанок и принялся строгать доску, изредка поглядывая на окно. Нет, там никого не было. И все же что-то притягивало его к окну. Он отложил рубанок — ему пришла в голову забавная мысль.

— Девушка, — сказал он, — я знаю, что вы смотрите на меня. Зачем? — Было тихо. — Зачем сквозь штору? Можно ведь и так. — Никто не откликнулся. — А я вот сейчас, — сказал он, тщательно заправляя рубашку в брюки, — поднимусь по водосточке и увижу, есть вы или нет.

Он застучал ботинками, открыл голубятню, спустился на землю, стряхнул с себя стружку и вновь поглядел на окно.

Штора была сдвинута, и на него смотрела девчонка. У Федора сразу сердце оборвалось — какая она красивая была, белолицая, ржаная коса солнышком вокруг головы уложена.

— Ну вот, — сказал он растерянно, — я же говорил.

— Что говорил? — спросила она.

— Что вы есть.

— Ну, есть, — сказала она. — Дальше что?

Он смущенно пожал плечами.

— Не знаю. Есть — и все.

Федор видел, что она смущена, что он ее силком заставил выглянуть — румянец медленно разгорался на ее бледном лице.

— А чего вы смотрели на меня?

— Говори со мной на «ты», — сказала она неожиданно резко и добавила мягко: — Не терплю официальщины.

— Чего, чего? — не понял он. Потом кивнул. — Ладно. Но ты не сказала.

— Так, — ответила она безразлично. — Смотрела — и все. Запрещается?

Он рассмеялся. Все это ему вдруг смешным показалось. А его смех смутил ее. Федя заметил, как она резко шевельнулась, будто хотела закрыть штору, но передумала.

— Да ты бы вышла погуляла, — сказал он. — Голубей бы моих потрогала. Они у меня, видишь, какие.

Он задрал голову вверх, свистнул пронзительно, долго, мастерски, хвалясь перед девчонкой своим умением.

— Голуби у тебя, Федя, что надо, — сказала девочка.

Он понурился. Значит, все слышала. Он молчал, молчала и она.

— Ну и что, — сказал Федор неожиданно для себя, — у каждого свое. И смешного тут ничего нет. Все очень даже грустно... Но с сегодняшнего дня... — Федор решительно рукой рубанул: — Все будет, как я постановил!

Он посмотрел на девочку, сердце опять застучало тревожно. Спросил:

— А как тебя зовут?

— Лена, — ответила она.

— Вот увидишь, Лена, — сказал Федор и почувствовал, как у него кадык ходит. — Сегодня же увидишь. В шесть часов. Мы вот по этой тропке пойдем. Как раз мимо твоих окон. — Он опустил голову, поморщился. Представил, как она сидит, эта Лена, в глу-

бине своей комнаты и все слышит. И мать — что она говорила. И отца. Слышит, как он, Федор, плачет.

Он больше не глядел на нее. Поднялся в голубятню, подождал, пока слетятся птицы, закрыл свое хозяйство, спрыгнул вниз. Оттуда только и посмотрел на Лену. Она сидела все там же и все так же в каком-то кожаном кресле и как-то растерянно глядела на него. Федор кивнул ей благодарно. Улыбнулся. Повторил виновато:

— Зря ты все это слушала.

Она ответила не сразу и как будто с трудом.

— Ничего, — сказала она, — я и не такое знаю.

Федор вздохнул, повернулся, чтобы уйти, сделал несколько шагов, побежал и крикнул:

— Так ты приходи на голубятню.

Лена не ответила. Федор обернулся.

— Придешь?

Она кивнула издалека, и у Федора сжалось сердце: он еще не видел такой девчонки. Нигде не видел такой красивой — ни в школе, ни на улице.

Весь день он двигался как-то лихорадочно. Стоял в магазине за колбасой и яйцами, покупал молоко и хлеб, шел по дороге — и все это будто во сне: перед глазами стояла Лена.

Пшеничные косы вокруг головы и синие огромные глаза — как на иконе, в пол-лица.

«Кто же она? — спрашивал он себя. — Откуда взялась? Не с неба же спустилась?» И ругал себя за тупость: ведь говорил же, все бы мог спросить, разве трудно. И тут сам себе отвечал: да не мог. Не мог он расспрашивать ее про всякие подробности. Она же не просто какая-нибудь девчонка. Она — прекрасная.

Федору попадались какие-то глупые и непривычные слова. Он такими словами не разговаривал никогда. И никогда ему в голову такое не приходило. Прекрасными в его жизни могли быть голубь или картина Рафаэля в журнале. Но человек?.. Да еще девчонка?..

Что-то путалось в нем. Что-то ломалось. Какие-то стенки, бывшие в нем, вдруг подтаяли и развалились, а вместо них появлялось новое, и он не понимал, хорошо это или плохо — просто что-то в нем происходило.

Лена стояла в глазах. Только она.

Федор даже наткнулся на какую-то старушку в магазине, и она долго обзывала его «слепым» и «полоро-

тым». А он улыбался ей глупо в ответ. И старушка считала, что он ее дразнит.

Нет, этот день был волшебным, честное слово. Федя вспомнил утро: стоит только захотеть!..

В четыре он подготовился окончательно. Вышел на остановку, сел в троллейбус и поехал на стройку, где работал отец.

Отцовский экскаватор громыхал ковшом, наваливал землю в кузова грузовиков, и Федор невольно залюбовался. Какая же силища в этой машине! Сколько кубов сразу цепляет! И управляет всем этим легко, играючи, его отец. Слабак. «Никто», как назвал его вчера Федя.

Но вот настал этому конец. Теперь у Федора будет нормальный отец. Да, Джон Иванович, если хотите — ничего страшного нет. Только не Американец. Только не «дядя Сэм». Все. Кончено.

Он присел в сторонке. Дождался конца смены. Возник на пути отца, когда тот шел, вытирая ветошью руки, — простой, не похожий на себя, обыкновенный человек, никакой не паяц, никакой не алкаш, не шут гороховый.

Отец будто споткнулся, увидев Федьку. Хотел что-то спросить, но не спросил — понял. Вздохнул.

— Сам придумал? — буркнул угрюмо.

— Думаешь, мать? — спросил Федор.

Отец мотнул головой, потом еще раз мотнул. Так они и шли до самой остановки, и отец мотал головой, а потом еще и хмыкал.

В троллейбусе мрачность его прошла. Он посерьезнел. Сказал неожиданно:

— Это ты правильно, Федор, надумал. Приветствую. Вроде как испытание мне.

— Что ты, батяня, — ответил Федор. — Ты у нас сам с усам.

Отец снова хмыкнул. Они сошли на остановке и двинулись медленно, как все. Каменный город отступил, они вошли в свой райончик, где росла акация, была трава и цвели поздние одуванчики.

Пивная будка работала исправно, и там уже толклись Седой и Платонов. Они развернулись к Федору и батяне, и Федя сжался, готовый броситься на будку, чтобы снести ее вместе с пивом и этими «друзьями детства». Отец что-то почувствовал.

— Ну-ка, — сказал он, — дай мне твою руку. — И сжал напрягшийся Федькин кулак.

И неясно было — кто кого за руку вел: Федор отца или отец Федора.

Они прошли спокойным шагом мимо пивнушки и двинулись дальше — утоптанной пыльной дорогой.

Справа от них оставалась голубятня.

— Как там твои турманы? — спросил отец, но Федор услышал его как бы сквозь вату. Он смотрел не на турманов, не на голубятню свою, а чуть вбок, где было окно. Она сидела там. Ждала его. Он кивнул Лене, разрываясь от волнения. И подумал, что с самого утра, с того первого разговора обходил эту дорогу, хотя и в магазин и по другим делам надо было идти тут.

Федор прошел по дороге вместе с отцом, кивнул Лене, скрылся в своем подъезде, и Лена отъехала от окна, задернув штору. Этот день казался сумасшедшим. И смешным. И страшным.

Она каталась по комнате, крутила виражи и смеялась, вспоминая сумасшедший день. То глупо хихикала, то отчаянно хохотала, как дурочка. Вот тебе и Федор. Не нужен, видите ли, ему берег турецкий! И Африка ему не нужна! Еще как нужна!.. А ведь молодец, ничего не скажешь! Вытащил ее, как улитку из домика: «Улитка, улитка, высунь рога, дам кусок пирога, — дождь или ведро». Есть такая детская прибаутка. Вот Федор ее и произнес. Другими только словами и произнес. И улитка, дурочка, тут же растерялась, высунула рога.

Почти месяц пряталась. Танлась. Слушала, как он припевает, стучит молотком, вжикает рубанком. И раз тебе — попалась. Боевой парнишка, ничего не скажешь. Сообразительный.

Лена перебирала сказанные им фразы, простецкие слова — перебирала, словно украшения, словно какие-то ценности, и опять смеялась. «Э! — сказал он. — Девушка!» Вот тебе и «э»! Но потом, потом... «Зря ты все это слушала». И как он объяснил остальное, как рубанул рукой воздух. Выходит, теперь Федор будет водить отца, как маленького, на прицепе — с работы домой.

Лена остановилась. Это трудно было понять, ей особенно. Мамуля и папка всегда вращались возле нее,

словно спутники вокруг светила. И классная мамочка Вера Ильинична служила своим воспитанницам беззаветно и преданно. И нянечка Дуся, жалевшая их день и ночь, причитавшая без конца: «Матушки вы мои, голубушки», — только эту жалость они и сносили. Жалость... Вот Федора бы впору пожалеть. И не посторонней тете Дусе, а собственному отцу...

Лена не раз видела этого человека возле пивного ларька в конце квартала — там всегда стоял мужской водоворот, но прежде этот водоворот ее не касался, там шла чья-то чужая и чуждая ей жизнь. А теперь... Теперь получалось, это чуждое задевало ее...

— С какой стати? — сказала она вслух сама себе. И сделала еще круг по комнате. — А вот с такой! — ответила, поглядевшись в зеркало. И засмеялась. — С такой, с такой! — И подъехала к зеркалу вплотную.

Они там запрещали себе глядеться подолгу в зеркало. Только по надобности. Самое минимальное. Причесаться, оглядеть себя, вот и все. Разглядывание себя в зеркало к хорошим мыслям не приводит — так считалось в их комнате. Зина говорила мрачно и кратко: «Нам это ни к чему. Мы и не бабы и не девки. Мы никто». Эта тема долго не обсуждалась. В неприятное они не углублялись, хотя у Лены была своя, отличная от Зининой трактовка.

Первое время ей говорили, что она красавица. Лена фыркала и тотчас отъезжала. Потом завучу, Михаилу Ивановичу, отрезала, когда он повторил эти пустые слова: «С лица воду не пить! Вы дайте мне ноги! — И пробормотала так, чтобы слышали остальные: — Медведь!» Кличка эта пристала к старику намертво, хотя Лена через полчаса приехала к нему извиняться за резкость. Завуч махал руками, тряс головой, повторял испуганно: «Что вы, Леночка, это я виноват, простите грешного». Но она чувствовала себя дрянно. И, признаться откровенно, не столько из-за старика, сколько из-за своих слов. Из-за их обнаженной правды. Она действительно была красивая, это так. Ну и что от этого? Ей жилось бы легче, будь она уродкой — одно к одному. И Лена сторонилась зеркал.

А тут подъехала вплотную. Уставилась на себя. Сначала со злобой. Потом улыбнулась. И заплакала.

Но слезы получились не горькие, а странно облегчающие. Лена промокнула их и посмотрела на себя спо-

койно. Ну, косы. Допустим, золотистые. Ну, глаза. Допустим, большие. Оттого, что худая, всего-навсего. Ну, лицо. В общем, правильное. А чего еще? Руки! Ну, руки. Как у всех. Чего еще? Ничего.

Она резко отъехала от зеркала и снова подумала, что родной дом на нее плохо действует. Слезы какие-то глупые. Зеркало. Нет, одиночество для нее не подходит. Неприемлемо.

Одиночество? А Федор? Чего это он так краснел разговаривая? И потом целый день не появлялся на голубятне и даже не проходил мимо. Дома, что ли, спрятался? Но зачем же тогда с отцом мимо шел?

Дурацкие все наворачивались вопросы. Лена взяла книгу. Прочитала несколько страниц и поняла, что читала механически — не запомнила ни слова. Включила телевизор. Показывали футбол. Нашли, чем гордиться, — умеют бегать и пинать мяч. Щелкнула выключателем и взяла в руки транзистор. Мешались разные голоса и языки. Звучала музыка. «Солнечный круг, небо вокруг», — прорвался мальчишеский голос. «Это все было», — с тоской подумала Лена и бросила приемник на кровать. Нет, решительно тут можно свихнуться. Еще немного — и она записхует. Надо в школу, в интернат. Ведь это форменный ужас — целый год быть одной, пропустить класс и только, видите ли, потому, что двустороннее крупозное... Ну и что? Зачем бояться за нее? Даже если...

Она больно стукнула кулаком по подлокотнику. Опять! Опять это идиотство! Эти соображения о загробном царстве. Подумала бы лучше: ну, ты уедешь в интернат, к девчонкам, а Федор?.. Как он?

Лена хмыкнула: «Федор!» А он тут при чем? Что еще за новая тема? И вдруг снова покатила к зеркалу.

— Итак, — сказала она себе презрительно, — итак, Елена прекрасная, неужто ты, матушка-голубушка... Неужто ты — и влюбилась!

Она резко откатилась, подъехала к телевизору и включила его на полную мощность. Потом включила транзистор. Там гремел джаз. Схватила книгу и принялась громко, во весь голос читать первое, что попало.

— «Луна, низко висевшая в небе, была похожа на желтый череп! — закричала она. — Порой большущая туча протягивала длинные щупальца и закрывала ее.

Все реже встречались фонари, и улицы, которыми проезжал теперь кеб, становились все более узкими и мрачными. Кучер даже раз сбился с дороги, и пришлось ехать обратно с полмили. Лошадь умиралась, шлепая по лужам, от нее валил пар. Боковые стекла кеба были снаружи плотно укрыты серой фланелью тумана. «Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа». Как настойчиво звучали эти слова в ушах Дориана. Да, душа его больна смертельно. Но вправду ли ощущения могут исцелить ее?»

Лена кричала, напрягая связки, орал телевизор тысячами болельщиков на стадионе, ревел транзистор, и она ощущала облегчение.

Внезапно перед ней возникло лицо мамы. Глаза у нее беспрестанно моргали. Мелькнул седой висок папки — он быстро прошел по комнате, выключил телевизор и радио.

— Что с тобой, девочка? — спросил он сурово, и Лена испугалась. Она никогда никого не боялась в жизни, она не знала, что такое страх, и тут испугалась.

— Так, — сказала она растерянно, — Оскар Уайльд. «Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа».

Мамуля, не переставая моргать, пощупала ее голову. Лена засмеялась.

— «Да, душа его больна смертельно»! — воскликнула она. — «Но вправду ли ощущения могут исцелить ее?»

— Нет, я ухожу с работы! — сказала мама.

— Ерунда, — спокойно проговорила Лена. — Имеет же человек право на бзик. На обыкновенный бзик. Чего здесь ужасного?

Мамуля ушла на кухню, а отец остался в комнате. Неожиданно он встал на колени перед коляской и принялся целовать Лене руки. Она вырывала их, ничего не в силах понять.

— Что с тобой, доченька, — повторял отец, и в голосе его было отчаяние, — что с тобой, доча?

Лена вырвала наконец руки и прижала к себе отцовскую голову.

— Ну прости! — приговаривала она. — Ты что, испугался?.. Конечно... Какая же я дура!

Отец отстранился от Лены, отошел в угол. Сказал оттуда с напряженным весельем:

— А мы тебе платье купили. Длинное!

Лена захлопала в ладоши, закричала:

— Чур не показывать! Мыться! Мыться!

Так она завела для себя. Никто ее не учил, сама придумала: прежде чем обнову надеть — помыться. А дома было еще одно правило — купал ее отец.

Это было очень давно, совсем еще в детстве, когда стесняться совсем нечего. Отец брал ее на руки и нес в ванну. Потом она подросла и стала тяжелой, так что мамуля ее не могла поднять, и опять купаться ее носил отец. Закатывал рукава рубашки, надевал мамулин фартук, чтобы не забрызгать брюки, и укладывал ее в воду, и мыл, и полоскал, как самая заботливая мама. Лена не стыдилась отца. Может, оттого, что, когда ее раздевали, она, как никогда, чувствовала себя больной. Неполноценной.

И вдруг она испугалась. В первый раз.

Отец напустил воды в ванну, нацепил фартук, закатал рукава и вошел в комнату, чтобы отнести Лену. Но она сидела одетой и исподлобья глядела на отца. Он все понял.

— Хорошо, — сказал он, — пусть мамуля.

Лена прикрыла глаза. Нет, в этот сумасшедший день с ней определенно что-то случилось.

— Подожди, — шепнула она, — все нормально.

Она сняла что могла сама, отец помог в остальном. Потом подхватил ее как пушинку, принес в ванную, бережно опустил в теплую воду.

— Прости, — сказала она отцу, — со мной сегодня действительно чего-то не того...

— Да нет, девочка, — улыбнулся отец, — просто ты растешь.

— Расту? — удивилась она и стыдливо спряталась под воду.

Они молчали. Весело капала вода из крана. Отец снял с полки трех маленьких цветастых утят и бросил в ванну. Этих утят он бросал ей всегда, сколько она помнит себя.

— Утята маленькие, — сказал мягко отец, — а наша Лена растет.

— Пап! — сказала она резко, и глаза ее наполнились слезами. — Пап! — повторила она требовательно.

но. — Ну ответь! Зачем я расту? Посмотри на меня. Я чувствую, что стала больше, какая-то сила раздвигает меня изнутри. И грудь, и бедра, и плечи. Но зачем? Зачем мне это? Посмотри на ноги! Они ничего не могут. Просто плети.

— Перестань! — попросил отец.

— Подожди, папочка, — сказала она, смахивая слезы. — Потерпи. Еще немножко. Помоги мне. Ответь! Зачем я расту? Женщина рождается на свет, чтобы рожать сама! А я! А я никогда не смогу стать матерью! Не смогу полюбить! И меня никто не полюбит, ты понимаешь? Так зачем же все это? — Она замолчала, взглянула на отца и спрятала лицо под воду.

Когда вынырнула, отец сидел, опустив голову.

— Доча, — сказал он, взяв ее за мокрую руку. — Каждый миг из жизни уходят люди. И смерть порой становится избавлением от страданий. — Он помолчал. — Если бы я был верующим, я бы сказал тебе: помолимся. Но я говорю тебе: поверим. Поверим в себя, в свои силы. В то, что мы люди, и ты — человек, еще небольшой, но смелый, умный и мудрый человечек. Ты все сможешь, только помни всегда: не быть — проще, чем быть.

Лена глядела на него широко раскрытыми глазами.

— Папа, — произнесла она, — я верю тебе, я очень верю тебе, но мне ведь от этого не будет легче.

Отец надолго замолчал. Он молчал, сидя на табурете, раскачиваясь из стороны в сторону, потом произнес:

— Позор, если я стану тебе лгать. — Он помолчал снова. И прибавил: — Легче тебе не будет.

Отец встрепенулся и принялся мыть ее — жестко и нежно, и она помогала ему, вернее, себе, и на сердце у Лены стало неожиданно ясно.

Больше они ни о чем не говорили. В огромной махровой простыне принес папка дочку в комнату, надел на нее новое платье, помог заплести косы. Мамуля готовила ужин, и все их священнодействие проплыло мимо нее. Да, собственно, это и входило в ритуал.

Когда туалет был закончен и Лена сидела в каталке, отец позвал маму. Он умел это делать, папка, — соединять в одно два взгляда: мамуля появлялась на пороге в тот самый миг, когда он подвозил Лену к зеркалу. Мамуля, охая и ахая, разглядывала дочь, а

Лена — себя: перед ней сидела взрослая девушка в синевом длинном платье с яркими цветами, так идущими к голубым глазам, к золотой косе через плечо, к горящим алым щекам.

Федор ждал, что батяня прибранную комнату оценит, скажет что-нибудь одобрительное, но он будто ослеп. Ходил из угла в угол, будто дергался — то тише пойдет, то быстрее. И пластинку «Амурские волны» Федору завести не с руки было. «Ладно, — решил он, — до мамки».

А она все не шла. Всегда рано приходила, никогда такого не случалось, чтоб задержалась. И без нее ничего не выходило у Феди с отцом. Молчали, будто не о чем говорить. Батяня метался по комнате. Садился на стулья — на все по порядку, — вскакивал, ходил, дымил в форточку, снова метался. Потом сказал:

— Может, я прогуляюсь?

Федя плечами пожал: что он, отца под арестом держит? Да пусть идет. Но тут же представил: стоит ему на улице появиться, как возникнут «друзья детства» и опять... Ответил строго:

— Потерпи.

Батя хмыкнул, уселся за стол, небрежно сдвинул вазу с цветами, скатерть сморщил, начал газеты листать. Хмыкнул снова. Задиристо произнес:

— Нехорошо говоришь!.. Нехорошо!

Федор отмолчался. Понял: это в нем его страсти горят, оттого и мечется и дергается — выпить надо. Дверь отворилась.

Федя вздохнул освобожденно, подбежал к проигрывателю, включил. Вальс послышался. К матери подскочил, схватил сумку. Воскликнул:

— Ну, давайте! Танцуйте!

Но мать с отцом друг против дружки стоят как вкопанные. Будто первый раз встретились. У отца руки подрагивают, кулаки тяжелыми камнями висят, разжать их не может. Мама сморщилась, согнулась, будто старуха. Испуганно улыбается.

— Ну же! — смеется Федор. — Да ну!..

Кончилась пластинка, Федя рукой в досаде махнул.

— Что же вы, а? Или танцевать разучились? Ведь умели, я знаю!

— Разучились, Феденька, — сказала мать, к столу подходя, и воскликнула: — А в комнате-то! Порядок! Красота! Молодец, сынок.

— Не я это, — покачал он головой. — Батяня наш...

— Ну! — засмеялась мама. — Рассмешил. Да батяня наш... — Она осеклась, быстро на отца взглянула, вздохнула тяжело.

— А что батяня у вас? — хмуро спросил отец. — Не может? Вышел из доверия?

Эх, не получалось опять, не выходило по-хорошему.

— Хватит вам, — перебил Федор, — давайте ужинать.

Он кинулся к плите, принялся жарить яичницу, включил чайник, поставил тарелки, нарезал хлеб. Батяня и мать сидели за столом в безделье, поглядывали смущенно друг на друга и молчали.

— Мамка, — суетился Федор, — а турману-то, старику, знаешь, ну самый зобастый, ему кто-то хвост пободрал, может, кошка, если присел на какой крыше. Батяня, а ты ножовку бы развел мне на работе, у вас там мастера имеются?..

Отец и мать хмыкали, что-то отвечали, кивали ему в ответ, и вдруг мать сказала:

— Вишь, Гера, мы с тобой нормально жить отвыкли. Вроде и говорить насухе не об чем?

Она подошла к сумке, достала бутылку, и Федор в досаде нож прямо на пол бросил.

— Ну что вы за люди! Ну неужели же без этого нельзя?

Его трясло от бешенства. Мамка! Сама вчера вон что говорила, уехать предлагала, сил, говорила, нет, а сегодня бутылку отцу предлагает. Все перед Федей померкло: и комната, им прибранная, и день сегодняшний удивительный.

От яичницы дымок пошел, Федор схватил сковородку, брякнул на стол, повернулся к двери.

— Ты куда, сынок? — воскликнула мать.

— Ну вас к черту! — сказал он сдавленно. — Темные люди. — И грохнул дверью так за собой, что штукатурка посыпалась.

На улице стояли густо-синие сумерки. Было тихо и звездно.

Федор сперва шел быстро, разгоряченный и злой, потом шаги поубавил.

Минувший день снова вернулся к нему. И не тем, что случилось только что, а голубями в ясном небе, шторой в чужом окне и лицом Лены. Ее лицо вновь возникло в нем, вытесняя все остальные. Огромные глаза и косы вокруг головы. Почему он был так уверен, что в комнате кто-то есть? И почему он так говорил с ней?

Нет, не стыд за вчерашнее управлял им тогда, нет. Просто в ней было что-то такое... необъяснимое. Она смотрела таким взглядом, перед которым изворачиваться нельзя, невозможно. Может, это и поразило его — она смотрела необыкновенно, вот что. Беззаботные девчонки так не смотрят.

Федор подошел к голубятне и поднял голову. Из-за шторы выбивался теплый розовый свет. Послышался приглушенный смех. Потом еще, громче.

«Вот, — подумал Федор, — живут люди, и все у них хорошо, все нормально. Отец, и мать и доча сидят, наверное, за столом, пьют чай и шутят. А мои...»

Неожиданно в нем пробудилась злость. Да что же это в конце концов? Кончится когда-нибудь?

Кулаки у него сжались, и ногти впились в ладони. Надо же воевать! Надо сражаться с ними! И если мать не помощница ему, не союзница, он и сам как-нибудь повоюет, что-нибудь выдумает сам!

Федор взглянул на теплое окно с розовым светом, повернулся и побежал. Дверь хлопнула и ударила в стену, когда он ворвался. Отец и мать испуганно вздрогнули. Бутылка была еще почти полная. Федя кинулся к ней, схватил, и не успели родители охнуть, как он швырнул ее в раскрытую форточку. Раздался приглушенный звон.

— Вот так! — сказал Федя. — А теперь можете бить! Убить можете! Валяйте!

Он приготовился к худшему, к самому грандиозному скандалу — батяня такого простить не мог, — но мать и отец молчали и даже не глядели на него.

Федор взглянул на рюмки — они были полные. «Значит, не выпили? И яичница остыла». Тут что-то было не так. Концы с концами не сходились.

И вдруг мать заплакала. А отец подсел к ней и начал гладить ее по плечам.

— Запутались мы, запутались, — проговорила мать

сквозь рыдания. — Что же будет теперь, Гера? Что с Федей-то будет?

— Не надо раньше времени, — пробормотал отец.

— Да что у вас опять? — крикнул Федея.

Мать мотала головой, закрыла лицо платком.

— Ревизия у нас на базе, а у меня недостача.

— Ты чо, мам, воровка? — ошалел Федор.

Она платок от лица отняла, взглянула ему в глаза.

— И ты подумать мог?.. Плакала я часто, расстраивалась, невнимательная была... Наверное, обсчиталась, а недобрые люди попользовались.

Федор на отца посмотрел.

В упор.

Вот какое дело приключилось.

Вот, батяня, какое дело ты натворил!

Вечер был теплый и тихий, а наутро хлестал дождь. Лена растревожилась: Федор, наверное, не придет, не будет мурлыкать свою глупую песенку, и даже голубей не слышно — то ли шум дождя заглушил их воркованье, то ли притихли от непогоды.

Капли ударялись в стекло, ползли вниз, соединяясь в мокрые дорожки, по улице пробегали редкие прохожие с зонтами и в плащах, и снова становилось пусто.

Новое платье красовалось на плечиках, Лена велела мамуле в шифоньер его не убирать, и, когда взгляд касался сиреневого пятна с пестрыми разводами, улыбка трогала Ленины губы.

Вот бы девчонки увидели ее в обнове! Взять бы и появиться на вечере в новом платье.

Вечера у них проводились часто. Вера Ильинична говорила, даже чаще, чем в нормальной школе.

В зал собирались все жители интерната — и учителя и нянечки. На сцену не выходили, она обычно пустовала, и это было справедливо. Как бы Лена поднялась на сцену? А она ведь не одна такая. Сидели, лежали, стояли кругом, но свободное пространство в центре круга существовало скорее для формы, нежели для дела: в него никто не выходил. Директриса, или завуч, или кто-нибудь из учителей, а чаще других Вера Ильинична, словесница, говорили, не вставая со стула, вступительные слова, а потом спрашивали, кто желает выступить.

Несколько мальчишек играли на скрипках. Была

одна очень способная девочка, пианистка, тоже, как Лена, в каталке. Подъезжала к пианино, играла пьески, конечно, простые, но девочке бурно хлопали и гордились ею; ее звали Женя. Вообще у них никого никогда не принуждали, не заставляли, не готовили «номеров». Право выступить имел каждый, и вечера порой затягивались далеко за полночь: читали стихи и прозу — декламация была самым доступным жанром, слушали музыку в записях — от биг-бита и поп-оперы до Чайковского и Бетховена. Всем было весело и интересно, и всем хотелось танцев. И вот однажды, уже давно, директриса, едва пришедшая тогда из горно, поставила пластинку и объявила вальс. Несколько девчонок, которые передвигались сносно, попробовали покружиться, но тут же одна упала, сильно расквасила нос, танцы остановили, директриса перепугалась, а наутро, говорят, главврачиха отчитала ее в учительской. С тех пор танцы устранивались, но по-другому. В круг выходили учителя или гости, если они были, включали музыку, взрослые танцевали, а девчонки и ребята жадно глядели на них и хлопали потом в ладоши. Учителя смущались, Вера Ильинична особенно, но зал громко требовал, чтобы танцы продолжались, и вот так, танцами учителей, заканчивались все вечера. Вообще они были главным событием в интернате.

Девчонки готовились к этим праздникам заранее, каждая мечтала об обнове, для них эти школьные вечера были главным развлечением и всякий раз как бы экзаменом.

Лена поражала других. Многим болезнь наносила удары — плохо давалась речь, тупела память, и стихи, например, Зина учила мучительно и остервенело, Лене память служила идеально. Лишение ног, болезнь компенсировала другим, среди прочего — обостренной памятью. Лене было достаточно прочесть дважды любое стихотворение, и она намертво запоминала его. Классная мамочка однажды даже устроила ее персональный вечер. Лена выучила множество пушкинских стихов, конечно, не по школьной программе, и устроила как бы конкурс: кто отгадает, чьи стихи. Она читала целый час, никто не отгадал ни одного стихотворения, и в конце, украсив голову Лены венком, торжествующая Вера Ильинична объявила: да ведь это все Пушкин!

Народ ахнул и застыдился своего невежества, и за-

хлопал растерянно — то ли незнакомому Пушкину, то ли Лене, у которой такая потрясающая память и поразительное знание классика. Потом, когда аплодисменты утихли, Лена прочла еще один стих, конечно, до того незнакомый и ей. Он ее привлек чем-то потаенным, недоступным всем им. Вере Ильиничне она его не показала, выучила сама и прочла в тишине:

Когда в объятия мои
Твой стройный стан я заключаю
И речи нежные любви
Тебе с восторгом расточаю,
Безмолвна, от стесненных рук
Освобождая стан свой гибкий,
Ты отвечаешь, милый друг,
Мне недоверчивой улыбкой;
Прилежно в памяти храня
Измен печальные преданья,
Ты без участия и вниманья
Уныло слушаешь меня...
Клянусь коварные старанья
Преступной юности моей
И встреч условных ожиданья
В садах, в безмолвии ночей.
Клянусь речей любовный шепот,
Стихов таинственный напев,
И ласки легковых дев,
И слезы их, и поздний ропот.

Лена покраснела тогда, прочитав стихи, ей хлопали особенно жаростно, и у всех были какие-то странные лица — полуулыбающиеся, полугрустные...

Лена представила сейчас: вот она сидит среди ребят и девочек в своем замечательном длинном платье и читает эти стихи... Она вообще часто себя представляла в необычном виде. Сиреневое длинное платье — это самое простое и доступное. А вот стать бы летчицей. Управлять сверхскоростным самолетом. Или обладать бы голосом поразительным — во всех возможных регистрах, стоять на сцене Большого театра, «ложи блещут», публика потрясена. Или бы... на лыжах прокатиться с крутой горы, все падают, даже мужчины спортивного вида, а она мчится, и ветер обвеивает ее сильные, красивые ноги.

Ах, мечты и сновидения! Это с Зиной или с другой подружкой, Валей, можно шептаться о них, да и то тайком от девочек. Тайком, потому что на жизнь это не похоже, не похоже на правду, тем более на их правду, и всякие

пустые разговоры остальных ожесточали. Она по себе это знала. Сколько раз взрывалась, когда кто-нибудь начинал выдумывать невозможное, плести бог знает что да вдобавок плакать... Однажды Зина, которая любила копаться в библиотеке, подъехала в своей коляске к Лене и заговорщически сказала:

— Слушай. Это английский писатель и ученый. Чарлз Перси Сноу. — И прочитала залпом: — «Участь каждого из нас трагична. Мы все одиноки. Любовь, сильные привязанности, творческие порывы иногда позволяют нам забыть об одиночестве, но эти триумфы — лишь светлые оазисы, созданные нашими собственными руками, конец же пути всегда обрывается во мраке: каждый встречает смерть один на один». Вот!

Зина вздохнула, глядела на Лену круглыми глазами и повторяла:

— Понимаешь! Понимаешь! Оказывается, все на свете известно! Даже про смерть! А мы чего-то изобретаем! Выдумываем оазисы, читаем книги, ведем разговоры. А в самом деле — одиноки.

Лена спорила с ней до отчаяния, но высказывание Сноу переписала в записную книжку. И выучила наизусть.

В дни прекрасного настроения (и никогда — дурного), когда Зина была в ударе и хохотала, Лена подбиралась к ее уху и цитировала грустного Чарлза. Они смеялись, скорбная мысль не казалась такой скорбной, а, напротив, забавной. Привязанности, любовь! Да для них-то без привязанностей и любви вообще не было жизни.

— Это здоровым легко рассуждать, нам же не до того! — поддерживала их Валя: с ней, единственной, поделились они цитатой из Сноу... Так что плакать у них запрещалось, запрещалось рассказывать о невозможных мечтах и розовых сновидениях, как запрещалось впадать в отчаяние и тоску...

Лена раздвинула шторы и увидела лицо Федора. Он сидел в своей голубятне, там, правда, дождь его не доставал, но весь он был мокрый, как цуцик.

Лена улыбнулась ему и распахнула окно.

— Голуби в дождь не летают? — спросила она.

— Нет, — ответил он, стуча зубами.

— Где же логика? — улыбнулась Лена.

— Какая?

— Голуби не летают, а ты сидишь тут.

— Просто так, — сказал он неуверенно.

Первое ее желание было — позвать Федора, чего он там мается. Но она испугалась. Даже отъехала от окна. До сих пор он видел ее только окно, а тут увидит всю. Взгляд ее упал на платье. Ну вот, все понятно. Она ведь и платье-то просила для этого. Чтоб Федор ее не видел такой...

Лена подкатила к окну.

— Можешь, — спросила она Федора, — досчитать до трехсот?

— А потом? — удивился он.

— Потом возьми горсть стружки и приходи ко мне, ведь промок весь... Второй этаж, первая дверь налево. И задвинула штору, чтобы не видеть его лица.

Мгновение она сидела в кресле неподвижно, безвольно опустив руки. Потом подъехала к длинному платью, принялась расстегивать кофточку. Это было не так просто для нее — переодеться. Ей помогала тетя Дуся в интернате, помогали девчонки. Дома — папка и мамуля. Снять кофточку — это пустяк. Главное — снять старую юбку, а потом надеть платье. Для этого надо приподняться на руках — сначала на одной, потом на другой.

Лена волновалась и торопилась. В голубятне считал до трехсот Федор, а она перебирала эти числа здесь, в комнате. У интерната были свои игры. Среди них и эта, вполне серьезная. Лена переодевала платье сама, досчитав до трехсот. Но это был ее рекорд. В других обстоятельствах. Когда некуда торопиться. И не предстоит свидание.

Свидание? Она засмеялась. Засмеялась, приподнявшись на руке и подсовывая под себя подол платья. Кресло скользнуло куда-то назад, и Лена, неловко скрючившись, рухнула на пол.

Она должна была заплакать по всем правилам. Но засмеялась. И, помогая себе руками, подползла к креслу. Красивое платье волочилось вместе с ней, собирая пыль с пола. Лена ухватила за коляску и стала подтягиваться. Затрещала материя. Все-таки зацепилась. Вот это было досадно.

Кресло не слушалось — откатывалось под ее тяжесть, а ей не на что было опереться, нечем упереться. С трудом втянула она себя в кресло.

Федя уже звонил в пятый раз. Она торопливо по-

правила подол, поправила волосы. Помчалась в каталке к двери. И снова засмеялась. Свидание!

Лена почувствовала: смеется неестественно. Сердце билось в груди, колотилось, словно тяжелый молот. Перевела дыхание, открыла дверь.

Федор разглядывал ее с интересом. Глядел на ноги, на каталку. Потом вошел, вежливо поздоровался, снял мокрые ботинки.

— Ты что, — спросил он, проходя в комнату, — ногу сломала? Я в прошлом году тоже в гипсе все лето проходил. На руку свалился. Подпорки со всех сторон, как у крыла самолета, — знаешь, на Анах?

Очень разговорчивый был, даже как будто не ждал ответа.

— Нет, — сказала она, глядя ему в глаза. — Я без ног.

Лена враз успокоилась. Скучно ей стало, и Федор этот ни к чему.

— Как без ног? — спросил он испуганно. — Вон они, я же вижу.

— Они есть, и их нет, — ответила Лена. Кровь отхлынула от ее лица, и Федор это заметил. — Я не умею ходить.

Он открыл рот, наверное, хотел сказать что-то утешительное, но Лена оборвала его, сказала жестко:

— Не вздумай меня жалеть!

Федор смотрел на нее растерянno, и с каждым мгновением зеленые глаза его темнели.

— Знаешь, — сказал он вдруг, — а я, дурак, вчера вам позавидовал.

— И завидуй, — сказала Лена. — Завидуй! Ты что думаешь, и позавидовать нечему? А я никому не нужная инвалидка? Несчастная калека? Пода-айте копеечку!

Она не кричала. Говорила ледяным голосом, тщательно произнося каждое слово, и Федору стало не по себе от этого. Он сжал в руке стружку. Спросил спокойно:

— Мне уйти?

Лена осеклась. Пронзительно оглядела Федора. Кивнула.

— Уйди.

Он положил на стол стружку, подошел к двери, на-

дел ботинки и обернулся на Лену. Она сидела в своем кресле, откинув голову, и глядела за окно.

Федор осторожно притворил за собой дверь.

Дождь все так же хлестал по земле, сек траву, вспенивал лужи, но Федор не бежал и не прятался. Он шел спокойно, как бы и не замечая ливня, и повторял про себя: «Это надо же! Это надо же...» А беспомощная девчонка в каталке стояла перед глазами.

Смятение испытывал Федор. Сколько он был у Лены? Минуту? Две? Всего несколько фраз, и вот все кончено, больше он никогда не войдет к ней и никогда не заговорит. Хорошо, допустим, он виноват. Конечно, его потрясла эта коляска. И эти ее слова, что она не умеет ходить. Может быть, он тарасился на нее, разглядывал, но что тут страшного? Он же видел ее в первый раз вот так — с головы до ног. И имел право разглядывать. Но потом... Он сказал про зависть от чистого сердца. Он думал при этом о себе и своих несчастьях, которые валяются одно за другим, как червивые яблоки с яблони, даже от легкого ветерка. А она?

Она думает про себя, вот что. Только про себя и про свои беды. И эти ее беды застыт весь свет... В общем, она не поняла его. Сразу стала защищаться. И нападать, защищаясь...

Федор пришел домой, лег мокрый на кровать, но тут же вскочил, переоделся. Снова лег. За окном было серо и голо, и на душе у него точно так же. Ведь он шел в голубятню, чтобы увидеть ее, а теперь?.. Как теперь ходить ему туда? Знать, что тебя видят, и беззаботно гонять голубей?

Может, надо было ее похвалить. Сказать: ах, как все замечательно у тебя! И не обращай внимания на свои ноги! Есть они или нет, какая разница? Да он бы себя уважать перестал!

Федор раскрыл первую попавшуюся книгу. Прочитал несколько строк. Ничего не понял. Бросил ее.

Вот все эти дни он родителей осуждал. Что друг дружку понять не могут, не хотят, что отец такую жизнь себе устроил, из-за которой мать попала в беду... А сам-то... Сам-то уж такой умник? Вошел и вышел. И ни в чем не разобрался.

Мать страдает, переживает, почернела вся, а отец этого не видит. Может, у Лены так же. Страдает, а он не увидел. Подумала, что Федор ее страданиям обрадо-

вался? Мол, позавидовал, а завидовать-то, слава богу, нечему... Неужели так подумать можно?

Федор походил по комнате и остановился в недоумении: ведь он на отца сейчас походил. Дергается, как батяня вчера. Выходит, на душе муторно. У батяни отчего — ясно, а вот у него?

И у него ясно. Как дурак сегодня себя вел. Кисейная барышня. «Уйти?» — «Уйди!» А что она, за фалды хватать должна: «Подожди, Федя, мы еще не поговорили, не выяснили».

Да какого черта! Виноват ведь он. Виноват. Девчонка больная там сидит. Пожалела его, под крышу позвала, а он: зря позавидовал, ты такая же, может, хуже. Дурак, да и только.

Он подошел к окну, прислонился горячим лбом к стеклу. Стало прохладно и приятно. «Надо пойти к ней, — подумал он. — Ведь это же глупо, глупо... Надо извиниться, надо что-то сказать и сделать...» Федор надел плащ, захлопнул дверь и сбежал по лестнице. Дождь все так же яростно колотил о землю, только, пожалуй, стал еще гуще: за его стеной ближние дома были едва видны.

Не разбирая дороги, Федор кинулся к дому Лены и вдруг словно споткнулся. Он увидел вначале страшный предмет, потом понял, что это, обалдело загляделся, зацепился ногой о кочку и шлепнулся на коленки.

— Куда ты, сумасшедшая? — крикнул, стоя на четвереньках.

— К тебе! — ответила она. — А ты?

— К тебе, — сказал он, поднявшись и приближаясь к коляске.

Лена сидела под плащ-палаткой, наверное, отцовской, подол длинного платья промок до самых коленок, и лицо забрызгано каплями дождя, а руки по локоть в грязи, ведь ей приходилось крутить колеса.

— Что ты наделала? — кричал Федор. — Как ты сумела? По лестнице!

— Федя, я гигантская дура! — крикнула ему в ответ Лена. — Просто-таки великолепная дура!

— И я! — заорал он радостно. — А я дурак еще великолепнее!

Они хохотали, просто покатывались, слава богу, даже собак не было на улице, не то что людей, и никто не

мог покрутить пальцем у виска. Был повод. По справедливости.

Еще смеясь, Федор наклонился, закутал плащ-палаткой ноги Лены, шутливо спрятал ее руки, развернул коляску и помчал ее к дому.

Они все смеялись. И умолкли только в подъезде.

— Ого! — сказала Лена. — Вниз я как-то скатилась. С помощью перил. А обратно?

— Дай ключ, — потребовал деловито Федор. Теперь то ему все ясно было. Как себя вести. Как держаться. И вообще он понял, кто он такой. Как-то враз понял.

Он взял ключ, поднялся на второй этаж, отворил дверь Лениной квартиры. Спустился вниз и приказал ей:

— Держись за мою шею! Обими руками.

— Да они грязные! — опять засмеялась Лена.

— Держись! — приказал Федор, и она обхватила его за шею, шепнув в ухо:

— Слушаю и повинуюсь!

Оттого, что она шепнула ему прямо в ухо и волосы ее касались щеки, Федору стало щекотно и смешно.

Он улыбнулся, подхватил ее на руки и понес вверх.

Лена оказалась легонькой, и Федор почувствовал себя как бы сильней.

— Сумасшедшая, — повторял он, шагая по лестнице. — Ну просто сумасшедшая... По лестнице, на коляске... В такой ливень...

Он шагал по ступенькам, бормотал притихшей Лене эти глупые слова и чувствовал, что какое-то тепло подкатывает к горлу и нежность к Ленке, к этой отчаянной девчонке, окатывает сердце горячей кровью.

— Сумасшедшая, — повторял он, — ну сумасшедшая... Ох, сумашайка...

Он внес ее в комнату и положил на диван. Когда он отстранился, Лена лежала побледневшая, с закрытыми глазами.

— Сумасшедшая! — позвал он тихонько. Лена не откликнулась. Федор испугался и окликнул ее погромче. Она молчала. Федор растерялся.

Он оглянулся, как бы ища глазами помощи, или лекарства, или еще чего-нибудь, потом наклонился к лицу Лены, чтобы услышать дыхание. Она дышала едва слышно. Федор успокоился и немножко отодвинулся. И вдруг она сказала, не открывая глаз:

— Поцелуй меня!

— Чего? — переспросил он, опешив.

— Дурачок, — ответила она, по-прежнему не открывая глаз.

Он помолчал, встал на колени перед диваном и прикоснулся к влажным и теплым губам.

— От тебя пахнет стружками, — прошептала она и открыла глаза.

— А от тебя дождем, — ответил он и поцеловал ее снова.

Она обняла его за шею, они целовали друг друга неумело и пылко и стали постепенно отплывать в туман, и окна, в которых стояла дождливая серость, засветились солнечным сиянием, пока она не спохватилась:

— Коляска!

Коляска стояла внизу, в подъезде, и дверь в квартиру была распахнута настежь. Федор с трудом поднялся на ноги и, глупо улыбаясь, отправился вниз.

Он принес коляску, запер дверь, вошел в комнату. Лена сидела на диване, сложив на пол мокрую плащ-палатку и отвернувшись в сторону.

— Лена! — шепнул Федор и снова приблизился к дивану.

— Что это с нами? — спросила она, покачав головой. — Какое-то затмение...

— Завтра затмение, — ответил шепотом Федор. — Солнечное затмение. — Он говорил, а она кивала в ответ после каждой фразы. — Я приду к тебе. Мы будем смотреть солнечное затмение.

Он поцеловал ее снова, она не отстранилась, но, когда Федор приблизился вновь, Лена закрылась ладошкой.

Ладошка была грязная — ведь Лена крутила руками колеса, когда ехала по грязи.

Федор схватил ее грязную руку и прижал к своей щеке.

Глаза его горели. Он смотрел на Лену ликующим взглядом, и она, потухшая было, улыбнулась ему такой же безмятежной улыбкой.

Мамуля ничего не заметила. Квартира была убрана, коляска протерта, платье тщательно выглажено и поконилось на плечиках в шифоньере — Федор оказался

мастером на все руки. Но от папки, от него разве укроешься?

Первым делом он обнаружил стружку и подробно выспросил, откуда она взялась. Пришлось рассказать про одного знакомого. Отец промолчал, но несколько раз Лена ловила на себе его беспокойные взгляды.

А в нее, как нарочно, будто бес вселился. Она то принималась распевать во весь голос первое, что приходило — «Орлята учатся летать!», — то включала транзистор и под «Сентиментальный вальс» Чайковского кружилась в каталке по комнате, безбожно опаздывая, конечно, пытая от напряжения и срывая ногти, то принималась нюхать стружку, округляя глаза и глупо хихикая.

Потом она позвала папку и мамулю и принялась читать им Пушкина, то самое, неизвестное профанам стихотворение, которое теперь приобрело для нее новый смысл. Чтобы не выдать себя, она читала, дурачась, подвывая и гримасничая, не забывая, однако, следить за родителями.

Кляню коварные старанья
Преступной юности моей
И встреч условных ожиданья
В садах, в безмолвии ночей.

Когда она кончила, мамуля поаплодировала ей и убежала на кухню, а отец вздохнул и еще раз пристально оглядел Лену.

— Ну хорошо, — сказал он, — ты влюбилась, это мне понятно. Познакомь.

— Завтра, — ответила Лена. — Кстати, завтра — затмение.

— Что? — испугался отец.

— Солнечное затмение. И мы будем его наблюдать. Папа, а как наблюдают солнечное затмение?

Отец растерялся.

— Через специальные астрономические приборы, наверное... Он у тебя что, астроном?

— Конечно, — ответила она серьезно, — и астроном, и философ, и голубевод, и еще многое чего.

Отец быстро подошел к окну, взглянул на голубятню, хлопнул себя по лбу.

— Как я сразу не допер! — воскликнул он. — Значит, Федька! Сын Американца.

— Не Федька, — рассердилась Лена, — а Федор. Какого американца?

Папка усмехнулся.

— Отца у него Джоном зовут, — сказал он, — так что твой приятель Федор Джонович.

— Да пусть хоть марсианин его отец, — засмеялась Лена. — Только бы дождя завтра не было.

Но утро вышло чудесное. Оказалось, что это суббота и родителям не надо идти на работу. Лена смутилась: Федор мог испугаться и не прийти.

Она нервно раскатывала по комнате, прислушиваясь к каждому шороху за окном: мало ли, Федор мог подать ей сигнал с голубятни. Но он не испугался. Послышался звонок, Лена кинулась к двери, но ее опердил папка.

Федор стоял на пороге принаряженный — в белой рубашке с короткими рукавами, в отутюженных брюках. Пушок на верхней губе намечал будущие усы, черные волосы крылом сползали на лоб, и Федор все время отбрасывал их назад.

— Здравствуйте, — сказал он бодро и перешагнул порог, не дожидаясь приглашения.

Папка провел его в комнату, тут же возникла мамуля, заморгала глазами, что-то сиюсь решить, какую-то свою задачу; покашливал, волнуясь, отец.

— Мы с вами знакомы, в общих чертах, — наконец проговорил он. — Я даже знаю, что вас зовут Федор.

— А вас Петр Силыч.

— Ну вот и познакомились, — засмеялась Лена и увидела, как облегченно улыбнулся папка. В самом деле, что произошло? Пришел человек, ее друг, и нечего папке покашливать, а мамуле моргать. Событие какое! Отец словно бы так же решил.

— А как вы будете наблюдать затмение? — спросил он.

Федор улыбнулся, полез в карман, аккуратно вынул что-то, завернутое в газетную бумагу. Это были два стекла, обыкновенные плоские стеклышки, закопченные на свече.

— Вот, — улыбнулся он смущенно, — сквозь них.

— Боже, как просто! — удивился отец. — Я думал, какой-нибудь прибор... Вообще, живя в мире сложного, мы совсем забываем о простом!

Федор взглянул на часы, и папка опять засуетился.

— Знаете, — воскликнул он, — Лена почти не бывает на улице. Давайте мы вывезем ее во двор, и там вы будете наблюдать ваше солнечное затмение.

— Почему ваше? — спросил, смущенно улыбнувшись, Федор.

Отец пожал плечами, смутился, закашлялся снова, извинился, принялся хлопотать, чтобы помочь Лене.

Когда они остались одни, Федор шумно вздохнул. Коляска стояла под окнами, возле голубятни, в окно на них то и дело поглядывали папка и мамуля, но все-таки они были одни.

Ноги Лены укутывал теплый плед, сама она была в шерстяной кофте, хотя солнце светило очень ярко.

Федор смотрел, как родители утепляли Лену под голубятней, и сказал с упреком, когда они ушли:

— А вчера в одном платье мчалась под дождем. Вот бы они узнали...

До затмения еще оставалось время, и Федор выпустил голубей. Птицы взвились в небо, и Лена, прищурясь и откинув голову, следила за их ликующим полетом.

— Как хорошо все-таки, Федя, — сказала она.

— Я их люблю, — ответил он.

— Я не про птиц. Я вообще. Жить хорошо. Даже если у тебя нет ног.

Федор посмотрел на нее строго.

— Зачем ты об этом?

— А о чем же, Феденька? — улыбнулась она. И шепнула: — Поцелуй меня! Ну! Я смотрю!

Она покосилась на окна, а Федор поцеловал куда-то возле уха и спросил:

— Не надо так.

— Как? — удивилась она.

— Лучше, как вчера.

Она взяла его за руку, ощутила ее шершавость. Сказала улыбаясь:

— Ах, Феденька, все это глупости. Ты вчера ушел, а я, дурочка, размечталась. И потом подумала: ну хорошо, раз так получилось, пусть будет. Все-таки целоваться хоть грустно, но приятно.

— А почему грустно? — улыбнулся Федя.

— Потому что бессмысленно. Это просто такие дни.

Жизнь улыбается мне. А потом... ты встретишь нормальную девушку и забудешь про меня.

Федор ничего не ответил. Следил за своими голубями, за их полетом.

— Ты слышишь меня? — спросила она осторожно.

— Я не думал об этом, — ответил Федор.

— Подумай, — посоветовала она.

— Не хочу, — быстро сказал он.

Лена строго взглянула на Федора. «Вот ты какой, — подумала она, — не хочешь, а придется. — Это же решила повторить вслух, но промолчала. — Он ведь прав, раз не хочет думать. Ну и я не хочу».

Голуби кружили в бездонном небе, потом как будто замерли в нем и ринулись вниз. Что-то с ними стряслось. Белыми тенями промчались они рядом с Леной и Федором, влетели в голубятню и тревожно заворковали.

— Держи, — протянул Федор закопченное стеклышко.

Она прищурила глаз, но это вовсе не требовалось, — стекло было довольно большое.

Солнце сквозь него казалось ярко начищенным пятакom, красно-медным и очень близким. Руки грело его тепло, а через стекло оно было холодным.

Федор взглянул на часы.

— Сейчас, — сказал он, — следи внимательно.

Сперва Лена ничего не заметила. Потом солнечный край стал неровным, будто срубленным. И постепенно солнце стало походить на месяц.

Ветер стих, но Лену вдруг зазнобило. Федор удивленно смотрел на нее, а у девочки не попадал зуб на зуб. Он отложил стекло, взял ее за руку. Рука была как ледышка.

— Ты озябла? — спросил он тревожно. — Что с тобой? Что?

Но Лена не отрывалась от стеклышка. Тускнеющее солнце странно завораживало ее.

— Ничего! — сказала она. — Смотри! Пропустишь!

На улицу опускались стремительные сумерки. В полях отчаянно орал напуганные вороны. И тут солнце исчезло. Вместо него в совершенно синем небе висело черное пятно. Голуби заворковали отчаянно, в полный голос, и Лена прошептала:

— Федя! Мне страшно!

И он снова взял ее за руку.

— Потерпи, — сказал он, — потерпи, сейчас кончится.

С минуту черное пятно, затмившее солнце, повисело в небе, потом край его засеребрился, и, словно обрадовавшись, тотчас дунул ветер. Сумерки посветлели. С каждым мгновением солнце освобождалось от страшной тени, потом снова стало медно-красным, и Лена бросила стекляшку. Раздался звон, и она смотрела на яркое солнце, и от яркости этой, от острой рези в глазах у нее вспыхнули слезы.

Голуби ворковали успокаивающе, вороны в тополях умолкли, и Лена почувствовала, что согревается.

Она повернулась к Федору. Он разглядывал ее испуганно.

— Что с тобой было? — спросил Федя.

Лена пожала плечами.

— Что-то было, — ответила она.

— Дурак, — сказал он, — зря я тебе его показал.

— Нет, — ответила Лена, — не зря. — И облегченно вздохнула. — Все-таки жить хорошо. На солнце смотреть. Но чтобы все понять, надо увидеть это пятно... Ты меня понимаешь?

Они долго молчали. Ветер шевелил высохшие травинки, шелестел в кустах, шумел тополиными листьями.

— Все беды — это солнечные затмения, — сказала Лена, — а жизнь — само солнце.

Из подъезда вышел папка. Подсел к ним. Попросил показать голубя.

Федор быстро поднялся в голубятню, тут же вернулся, дал Лене настороженного рыжего турмана, тот косил глазом, оглядывая новую хозяйку, вопросительно поглядывал на Федора, открывал клюв, показывая острый розовый язычок, смешно дергал веком.

Лена слушала, как Федор рассказывает отцу про голубей, и почти ничего не слышала. Федор тоже не слышал себя. Он говорил, а сам смотрел на Лену. И Лена смотрела на него.

Федор себя корил на чем свет стоит, ругал последними словами: у мамки вон какая беда, а он, словно угорелый, к Лене бежит. Беда, беда в дом пришла, умом он это распрекрасно понимал, да вот фокус в чем — беда с его счастьем совпала, и счастье это,

встречи с Леной, сама она, лицо ее, из памяти не выходящее, беду домашнюю решительно отстранили.

Корит он себя. На Лену смотрит, вдруг вспомнит про мамкину недостачу, сморгнет и забудет, снова одну Лену видит, только ее. А про батяню и думать перестал. Грех отцовский совсем в стороне. Беззаботно, конечно, так жить, бессовестно даже, но ничего Федор с собой поделывать не может. О доме и вспоминает только, когда к нему подходит.

В пятницу отец своим ходом добрался. Мокрый до ниточки, но трезвый. И в субботу с утра дома сидел. Мать и в субботу на базу ушла, проверка заканчивалась там, а батяня мрачнее тучи в комнате остался.

Вернулся Федор домой — боже мой, что творится! Отец босиком и с тряпкой в руке. Так тряпку жмет, с такой ненавистью, что та аж пищит. А лицо у батяни — хоть похоронный марш включай. Тряпкой об пол шлепает, чистоту наводит. Вот так штука!

Федя в тот день на отца чистоту в комнате свалил, хотел его в мамкиных глазах приподнять. Она засмеялась, не поверила. Странно: зацепила отца. Задела самолюбие. Конечно, был бы выпивши или с похмелья, про все бы на свете забыл, а трезвый запомнил. И трезвому — что делать. Взял тряпку, моет. Федор его похвалил, да сам не рад: батяня бровь изломал, нахмурился пуще прежнего.

— А что, — сказал, — я уж и впрямь такой, как думаете? — зашвыркал тряпкой дальше.

Федор на пороге потолкался: в комнату не войдешь, обратно к голубятне идти глупо: сию минуту с Леной расстались. Она-то рада будет, а что родители подумают?

Развернулся и пошел на базу к мамке.

Овощная база на завод, пожалуй, была похожа. Проходная, шлагбаум. И серые корпуса — один к одному. Урчат машины, перекликаются грузчики. Шумное место мамкина база. Только в хранилище пустота. Ворота настежь распахнуты, чернеет зев хранилища, будто чудовищная глотка, тянет из нее холодом, сыростью, душноватым запахом гнилья.

Федор вошел туда — пусто и мрачно. В полумраке виднеется некрашенная белая табуретка, на ней сидит мамка в черном халате и сапогах, только лицо и руки белые в темноте выделяются. Страшновато: табуретка,

лицо и руки на черном фоне. И руки к лицу прижаты.

Федор к мамке подошел, хотел подкрасться незаметно, крикнуть, напугать, удивить, а потом пожалел: раскачивается мама на табуретке, как от зубной боли.

Федя присел перед ней на корточки, сказал:

— Да не убивайся ты раньше времени.

Мама руки от лица отняла, не удивилась, увидев Федора.

— Уже после времени, — сказала, давясь слезами. — Все теперь, Феденька, просчитали, недостача на семьсот рублей, в неделю внести надо или дело на суд оформят.

— И слава богу! — сказал Федор.

— Чему радуешься?

— Ясности, — ответил он, — семьсот рублей! Да наберем мы их, займем, если надо. Хочешь, я голубей продам?

Мама его за голову взяла, посмотрела в глаза внимательно, опять слезы из глаз полились, прижала Федю к себе, к черному халату, пахнущему чем-то затхлым, запричитала:

— Ох ты, мой голубо-ок! Как бы я без тебя жила-то? Только в петлю, в петлю!

Федор из мамкиных рук вырвался, тряхнул недовольно головой.

— Сказанешь тоже! — Помолчал. Вспомнил отца. — Вон батяня-то! Третий день как стеклышко, а сегодня дома пол моет.

— Не может быть, — сказала мама и засмеялась. — Не шутишь?

— Какие там шутки! Хвощет тряпкой по полу, аж брызги летят.

Мама опять засмеялась и снова заплакала, и Федя принялся ее уговаривать и гладить по голове, говорить, чтобы ушла она отсюда, с этой овощной базы, тоже, дескать, нашла себе работенку — овощи караулить.

— Семьсот рублей, Федя! Не шутка же, на семьсот рублей сколько всего разного — и яблок, и персиков, и винограда! Народ-то, комиссия эта, знаешь, как косилась — украла, мол, и все. Ладно — вступились люди добрые.

Федор кивал головой, слушал ее и себя проклинал: вот мать ему про свою беду рассказывает, а он в это время Лену видит. То глаза ее, то волосы, то губы.

И мамкино несчастье отдаляется сразу, не переживает он нисколько, хотя внимательно слушает.

— Мам, — сказал неожиданно для себя даже, — перестань горевать. Знаешь, сегодня солнечное затмение было.

— Ну и что? — сказала мать без интереса.

— Солнце пропало. Темно и жутко стало.

— Ну и что? — повторила мамка.

— Эта твоя беда как солнечное затмение, — улыбнулся он, вспомнив Лену. — Ненадолго. А потом снова солнце выйдет. Да оно уже вышло. Ты только не замесила.

Мать вздохнула, вынула платочек, потерла глаза, поднялась с табурета. Закрывая хранилище на огромный амбарный замок, спросила:

— Ты чего такой умный стал? Про затмение говоришь...

Федя засмеялся.

— Научили!

— Это кто же, интересно?

— Добрые люди.

— А есть они, — спросила мамка, задумавшись, — добрые-то люди?

— Сама же сказала, — удивился Федор, — добрые люди тебя защитили.

Мама склонила голову, кивнула.

— Злые люди попользовались, а добрые защитили. Верно. Я вот только думаю, не одни ли и те же они. И добрые и злые?

Федор ее не очень понял. Да и не стремился вникнуть в эти слова. Он опять про Лену вспомнил, как похолодела, будто ледышка, когда солнце исчезло.

Дома было прибрано, чисто, отец сидел за столом, побритый до синевы, в белой рубашке, причесанный и опрятный. Его бы похвалить не мешало, обрадоваться, но как тут обрадуешься, если напротив отца восседает седой друг детства Иван Степанович, а на столе белой наклейкой светится четвертинка. Пока закупоренная, но долго ли ее открыть. Федор и мамка враз нахмурились, и седой увидел это, спросил, вздохнув:

— Чего ты, Тоня, с Джоном сделала? Битый час уговариваю по случаю субботы отметить, а он не желает. И вообще... какой-то торжественный.

— Торжества у нас невеселые, отмечать нечего, —

понурился батяня, потом голову вскинул. — Ну как, Тоня?

Мамка опять заплакала, сказала про семьсот рублей, Иван Степанович крышечку с бутылки сорвал, себе в стакан налил, крикнул, выпив, и утешил — то ли себя, то ли всех их:

— Семь бед — один ответ.

Тут же он встал, вышел, не попрощавшись, ничего не сказав, оставив четвертинку недопитой, и батяня пожал плечами ему вслед.

— Ну, — поднялся он, отутюженный и чистый, — давай, Тоня, глядеть, что и как, унывать теперь прекрати, не ахти какие деньги, семьсот рублей, как-нибудь управимся.

Он двинулся к шифоньеру, распахнул скрипнувшую дверцу, достал свой выходной костюм, новенький, почти не ношенный, проговорил:

— Вот тебе сотня есть!

Мама села на краешек стула, Федор притих у нее за спиной и счастливо заулыбался. Вот таким ему батяня очень нравился. Про такого отца он мечтал. Хоть его Джоном обзови, хоть Американцем, хоть самым дядей Сэмом, ему на шелуху эту наплевать. К водке не приложился, хоть друг детства уговаривал. А сейчас действует уверенно — сила в словах, передвигается спокойно, а не мечется, как дерганый.

— Вот проигрыватель, а, Федюнь, выдержим без музыки?

— Выдержим, — засмеялся Федор, — еще как выдержим!

— Ну тогда, считай, еще полста... Так! Однако, Тоня, ружье куда мое упрятала? Упрятала правильно, давно его пора продать, какой из меня охотник. Это, полагаю, бумаги полторы.

Федор, увлеченный отцом, выбрался из-за материнской спины, снял с вешалки свои новые брюки, вытащил рубашки, нейлоновую куртку. Бросил на отцовский костюм, спросил:

— Сколько будет?

Мамка поднялась тоже, взялась перебирать плечики с платьями, но отец вдруг остановился, взял маму за руки, усадил обратно, Федины вещи сложил в шифоньер. Лицо у него было строгое, неприступное.

— Я виновный, — сказал он, — я и рассчитаюсь. А вы отдыхайте.

Мама опять заплакала. Отец к ней подсел, пожалел неуклюже:

— Ну чего, Тонь?

— Гера! — воскликнула мамка. — Чего же тебе мешает всегда-то таким быть, а? Сердце мое не разрывать выпивками своими. Сына собственного щадить!

Отец закурил. Руки у него тряслись — отчего, непонятно. Хрипло сказал:

— Обещание даю! Клянусь вам! Все, конец! — И засмеялся. — Что я, в самом деле, хуже всех? В кино ходить будем, гулять будем. Можно даже в театр.

Неожиданно он маму обнял, потом вдруг вскочил, схватил ее на руки, закружил по комнате, ваза с цветами на пол полетела, грохнуло стекло.

Федор смеялся счастливо, вот и пронесло, все в порядке теперь, посуда к счастью бьется! Кончилось солнечное затмение, опять солнце светит — и когда это было у них в последний раз? Нет, не упомнит Федор, чтоб так было.

Странно устроена жизнь. Когда все нормально, так худо жили, а случилось несчастье — и батяня словно очнулся.

Мама смеялась, батянин хриловатый смешок ее перебивал, Федор улыбался, глядя на родителей, и не сразу заметил, что дверь открыта и на пороге люди стоят. «Друзья детства» — седой Иван Степанович, Платонов и лысый Егор.

Федор скис: ясное дело, за отцом пришли и сами тепленькие — комната сразу перегаром наполнилась.

Мама и отец гостей позже Федора увидели. Батяня мамку на пол бережно опустил, «друзьям детства» заявил:

— И не ждите. Завязал.

Но друзья, не ответив, прошли в комнату, уселись за стол.

— Ну что, — спросил седой пришедших, — допьем? Грех добру пропадать.

Из чекушки водку в стакан слил, пустил по кругу — каждый хлебнул. Батяня и мамка стояли у стола, удивленно на непрошенных гостей смотрели, ничего по-

нять не могли. Один Федор понимал: у, мефистофели! Батянины совратители!

Он уже приготовился речь произнести, сказать этим мужикам, чтобы валили отсюда, чтоб больше никогда в этот дом не входили, чтоб дали им жить спокойно — маме, отцу, Феде, чтоб не вмешивались во внутренние дела, как пишут в газетах. И даже рот открыл, чтобы заклеить их, но Иван Степанович погладил седые свои волосы и кивнул Платонову:

— Давай, друг!

Платонов полез в карман и вытащил охапку скомканных денег.

— Сотняга тут, — прохрипел Платонов.

— Ящик, — вздохнул Егор.

— Какой ящик? — спросила мамка.

— Этой, как ее...

— А ну прекрати, — оборвал его Иван Степанович и торжественно произнес: — Гера, прими от друзей детства. И ты, Тоня. Чем богаты, тем и рады.

Они улыбались, эти трое, хмыкали, переглядывались, довольные, и у Федора запершило в горле. Только что речь он хотел сказать, выдворить из дому пьянчужек проклятых, а они вон что удумали. И хмыкают, теребят носы смущенно.

Отец принялся друзей обнимать, колотить их сильно по спинам, так что в спинах у них гудело, и они его колотили, а мама плакала опять, платок у нее промок, и она теперь вытирала слезы ладонью. Вытирала слезы, снова плакала и тут же смеялась. В дверь постучали. Все притихли, повернулись к выходу, все еще улыбаясь.

И тут на пороге возник — у Федора аж дыхание перехватило — отец Лены Петр Силыч... Он кивнул, закашлялся смущенно в кулак и сказал:

— Я вот тут деньги принес.

— Но мы вас не знаем, — сказал батяня.

— Знаем, — сказал Федор и густо покраснел.

Лицо Лены стояло перед ним: огромные глаза и золотые волосы.

Друзья детства дружно обернулись к Федору, точно только его увидели. И батяня воззрился пораженно.

И мамка разглядывала, и на лице ее была написана какая-то мука. Что-то мучительно вспоминала.

Лена думала сначала, они на выпивку собирают, эти пьянчужки. Подъехала к окну, осторожно подвинула штору.

— Ежели Джонову Тоню посадят, грех нам всем на душу до конца дней, — сказал седой дядька. Они стояли у голубятни, шуршали деньгами.

— А помнишь, Ваня, когда Тоня сюда приехала? Как они поженились-то. Голенастая такая пацаночка, а теперь...

— Все мы теперь, — сказал третий и пошлепал лысого по голове.

Они рассмеялись, и Лена поняла. Вот, значит, про какую Тоню речь. И возмутилась: а Федор молчал!

Молчал? Она сама себя осадил. Вспомнила тот день. Ливень тот и глупый разговор. Разобиделась тогда, ах ты боже мой! А парень про себя сказал. Думал, хоть у меня нормально, если худо у него... Вот что... Мать, значит. Кто она у него? Продавщица?..

Ей было все равно, кто у Федора мать. Вон даже эти пьяницы собирают деньги, чтобы помочь, так разве она может сидеть спокойно?

Лена откатилась от окна. Окликнула папку. Он вошел — очки на кончике носа, в руках газета. Посмотрел на нее вопросительно.

— Папа! — воскликнула она. — У Федора беда, а он молчит, понимаешь? Мать на работе просчиталась, что ли... Деньги ему нужны.

— Сколько? — спросил отец.

— Не знаю.

Он был отличный человек, папка. Исчез, вернулся переодетым, поправляя галстук. Спросил, какая квартира. Лена знала только подъезд. Вошла мамуля, заморгала глазами, узнав, в чем дело, потом закивала головой:

— Конечно, о чем речь! Помочь надо. Но кто они, эти люди? Мы их не знаем.

— Ах, мамуля! — Лена закатила глаза. Отец ей помог, спросил мамулю:

— Ты Федора видела?.. — И ушел.

Мамуля Лену к дивану подкатила, села сама. Вот они и вдвоем остались. Странно, она с папкой чаще бывала, чем с мамулей. У той все кухня да кухня. Понять можно, надо кормить их, но все же...

— Ленусик, — сказала мамуля, глядя ей руку, —

ты, конечно, примешься ругаться, и папа со мной не согласится, но ты послушай... Может, не надо?

— Что?

— С мальчиком с этим, с Федей, дружить?

Лене захотелось что-нибудь выкинуть или сказать мамуле резкое словечко, но она сдержалась. Спросила:

— Почему?

Мамуля засмеялась.

— Он совсем на тебя не похожий, у него другая судьба, голубей вон гоняет...

— Хочешь сказать, я не могу голубей гонять? Допустим. Не могу. Что дальше?

Мамуля без конца моргала глазами, и это раздражало Лену.

— У тебя же есть подруги, — заспешила она. — Зиночка, например, девочки по комнате, наконец, в интернате мальчики есть...

Лена все поняла, и, странно, не злость, не обида всколыхнулась в ней, а жалость к мамуле. Вот она и опять щадит ее, опять жалеет, старается, чтобы не случилось чего, что потом доставит ей горе, печаль, боль.

Лена протянула к мамуле руки, та охотно подалась вперед. Лена прижала к себе маму и погладила, как маленькую, по голове.

— Не бойся, — шепнула, — не бойся, я все знаю.

— Что знаешь? — отстранилась мама.

— Что меня ждет разочарование. Обида. Потеря.

— Нет, нет! — фальшиво воскликнула мамуля. — Я имела в виду совсем другое.

— Что же? — рассмеялась Лена.

— Хорошо, — ответила мама, — раз ты настаиваешь, хорошо. Он не поймет, что ты больная. Не поймет, что между вами нет равенства.

— Достаточно, мамочка, — сказала Лена, теперь уже злясь. — Это все разные слова про одно и то же.

Раздался звонок. Мамуля побежала открывать, должно быть, вернулся отец. Но из прихожей слышались восклицания — и еще один женский голос, страшно знакомый.

— Мамочка! — крикнула Лена, срываясь с места.

В комнату входила Вера Ильинична, с цветами в одной руке и коробкой торта в другой. Цветы и коробка полетели на диван, Лена повисла на шее учитель-

ницы, повизгивая от радости. Вера Ильинична уселась напротив Лены, и та разглядывала ее, приговаривая:

— Ну-ка дай на тебя поглядеть! Какая ты стала? Прическа шик-модерн, просидела в парикмахерской не меньше двух часов! А вот под глазами круги — сколько забот! Ну, как там девчонки?

Девчонки! Лена только сейчас, сию секунду, с появлением классной мамочки, подумала, что про девчонок она совсем-совсем забыла. Помнила, думала, скучала — и вот появился Федор, и все ушло, все отдалось, даже интернат.

— Мамочка, — заскулила Лена, — я домой хочу, в интернат, ко всем! — А глаза ее смеялись, и ей вовсе не было скучно и не хотелось в интернат; ведь там не будет ливня, голубей, Федора, поцелуев, солнечного затмения, одуряющего запаха стружки и добрых пьянчужек, выручающих Тоню.

— Неправда, — сказала Вера Ильинична. — Это раньше я многого в вас не понимала, а теперь понимаю все и по твоим глазам вижу, что у тебя много новостей!

— Полный короб! — воскликнула Лена, и мамуля кивнула, подтверждая ее слова, вздыхая, подбирая цветы с дивана и коробку с тортом.

— Я исчезаю, — сказала она грустно. — Ис исчезаю, чтобы поставить цветы в вазу и чай на плиту, но перед тем хочу спросить, Лена, какая разница между мамулей и мамочкой?

В ее голосе слышались грусть, и Лена подумала, что грусть ее обоснованна: она звала маму мамулей иногда с иронией и не считала нужным свою иронию скрывать.

Она поняла это сейчас, только сейчас, неожиданно и точно, вспомнив, как осаживала мамулю своими холодными и умными речами, как мамуля без конца моргала, разговаривая с ней, и все это оказалось ужасно противным, просто отвратительным. К черту всякое умничанье! Она всегда гордилась тем, что не пользуется своей болезнью, как некоторые, — словно преимуществом. Но ведь и тон ее в разговоре с мамулей, и ирония не нужны и глупы, и снисходительность — все это гадко, гадко, потому что мама не может ответить ей, не может, — она ее дочь, и дочь больная.

Доброта! Вот! Это единственное, чего желала теперь Лена. Бесконечно доброй — единственно такой! — же-

лала она быть. Всегда, везде, со всеми. И с мамулей тоже. С мамой. С матерью. С женщиной, родившей ее. Родившей в муках, пусть даже такую — уродливую и беспомощную. Но ведь прекрасную для нее. Это было мгновение, не больше, Лена собиралась с мыслями, чтобы ответить маме, — одно мгновение. И мысли о доброте пронесли в одно краткое мгновение. В секунду ее жизни. В одну секунду из многих миллионов секунд.

— Наклонись ко мне, мамуля! — сказала Лена, и в глазах ее показались слезы.

Мама послушно наклонилась, и Лена прижалась к ней. Другой рукой она обняла Веру Ильиничну.

— Потому что я вас обеих люблю, — сказала она. — И еще потому, что я вас понимаю. И вы понимаете меня, мы все друг друга понимаем. Мы ведь женщины, правда?

Что с ней происходило? Кто это знает?

Прежде Лена терпеть не могла подобных сантиментов, а теперь захлопала носом, как мамуля и Вера Ильинична, и засмеялась, правда, тут же, потому что это было действительно забавно: трио хлюпальщиц носами. Она рассмеялась, засмеялись и взрослые, и Лена принялась тормошить классную мамочку, забрасывать ее вопросами: какие были вечера в последнее время, какие школьные сенсации, как Женя, которая хорошо играла на пианино, а главное, как их класс и еще точнее — их комната?

— Как Валя?

— Вышила новый коврик.

— Молодчина! Как тетя Дуся?

— Дремлет и причитает!

— Как директриса?

— Закатала на Новый год сто банок клубничного компота. Будет пир.

— Зинуля моя как?

— Нормально.

— Стихи учит?

— Да.

Лена удивленно взглянула на Веру Ильиничну: ее лицо странно напряглось. Но тут же стало прежним. Теперь расспрашивала она. Про здоровье. Про новые книги, которые Лена прочитала.

— О-о! — застонала Лена. — Расскажи, мамочка, про Оскара Уайльда! Я прочла «Портрет Дориана

Грея», и там такие ужасные выражения! «Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа».

Вера Ильинична улыбнулась.

— «Преступной юности моей». Так, кажется? Видишь, и Пушкин себе позволял.

— А сегодня было солнечное затмение. Ты знаешь? — Лицо классной мамочки снова изменилось, но Лена не требовала ответа. Ее распирало желание рассказать про Федора. Она перешла на шепот. — Мне показывал его один мальчишка. По имени Федор. Мы смотрели на солнце сквозь закопченные стеклышки. И ты знаешь, — она крепко сжала руку учительницы, — мне вдруг стало холодно. Я просто вся околела.

— И ты? — испуганно воскликнула Вера Ильинична.

— Да. Ты тоже мерзла? — Но учительница не ответила, а Лена продолжала: — И вот папа пошел к Федору. Чтобы выручить его мать. Она, кажется, растратила чужие деньги.

Вера Ильинична отодвинулась от Лены. Рассматривала ее с интересом. Потом прижалась к ней.

— Елена прекрасная, — шепнула она, — ты что, влюбилась?

Лена замерла. Быстро закивала. И сказала жарко:

— Да-да-да-да!

Пришел отец, они уселись за стол, пили чай с тортом, и Лена чувствовала, как Вера Ильинична удивленно разглядывает ее. Что страшного, пожалуйста, пусть разглядывает, но зачем отводить взгляд, едва только Лена посмотрит на учительницу?

Нет, что-то тут было не так. Может, она осуждает, как и мамуля? Но Вера Ильинична прятала взгляд не всегда. Лена встречалась с ее карими горячими глазами, улыбающимися ей открыто и ясно, и чувствовала, что ее не осуждают, а напротив. Какие-то другие взгляды прятала учительница.

Мама пошла ее провожать. Лена осталась с отцом. Деньги он отдал и был чем-то доволен, все улыбался. А мамуля не знала, что разговоры под голубятней слышны в комнате. Словно нарочно, они остановились с Верой Ильиничной именно там.

— Знаете, — говорила мама, — у меня порой такое впечатление, словно Лена старше меня.

— У меня тоже, — ответила учительница и доба-

вила, помолчав: — Может, так и есть? Знаете, я терялась с ними первое время. Совсем не похоже на обычную школу. Там еще подчас живы неискренность, ложь, фарисейство. В этом интернате — обостренное чувство правды. Пусть больной, пусть тяжелой, но правды. Честность до конца.

— Ох, — вздохнула мама, — меня иногда так пугает эта честность.

— Пугаться нельзя, — ответила Вера Ильинична, — просто надо помнить: в школе больных детей начисто исключается ложь.

— Ишь ты, расфилософствовались, — усмехнулась Лена. — Будто здесь не могли. Папа, прикрой окно.

Отец неспешно встал, подошел к окну. И пока оно было еще открыто, Лена услышала, как сказала Вера Ильинична:

— Лена... Она могла бы быть Ульяной Громовой, Любовью Шевцовой, понимаете? Великолепный человеческий материал! Какая духовность! — Учительница помолчала. И воскликнула: — Где же справедливость? Почему лучшие больны, а худшим ни черта не делается?

Отец плотно затворил окно и, смеясь, обернулся к Лене.

— А вот с этим, — сказал он, — я не согласен.

В понедельник Федор проснулся от непонятной тревоги.

Родители уже ушли — отец на стройку, мать на свою базу, веселая оттого, что обошлось и деньги они собрали.

Федор проснулся, когда они собирались, поглядывал спросонья на радостную мать и бодрого отца, а у самого что-то ныло под ложечкой, какая-то была тревога.

Когда родители ушли и в комнате стихло, он услышал неясные ноющие звуки, как будто в луже застряла машина и никак не может выбраться.

Федор встал, умылся и вышел на улицу.

Лето подходило к концу, и, хотя до осени было еще далеко, колючую, жесткую траву и пыльную дорогу усыпали жухлые листья тополя. Было безветренно, в блеклом голубом небе неярко светило солнце, пыльные

акации, отделявшие райончик от шумных улиц, посерели и обвисли. И все-таки воздух тут особенный, как в деревне, — настоящий запахом травы и горьковатым ароматом флоксов, цветущих в палисадниках.

В тишине снова что-то зарокотало, и Федор опять забеспокоился: звук этот доносился не с шумных городских улиц, а из-за соседних бараков. Он двинулся туда, обогнул один, другой дом и увидел, что возле барака, такой же двухэтажной засыпухи, как и у них, стояло сразу несколько машин и возбужденные, какие-то нервные жители перетаскивали в них свой скарб.

Поблизости тарахтел бульдозер. Федор осмотрел улицы внимательнее и увидел людей с рейками и теодолитами, не одну пару, — ведь они работают в паре, техник и рабочий с рейкой, — а много таких пар, движущихся неспешно, но как-то упорно, как-то уверенно и настойчиво.

В оживленной толпе грузчиков сверкнула лысина отцовского друга детства Егора, и Федор, лавируя среди сундуков, столов и буфетов, подобрался к нему.

— Кончено, — крикнул Егор, промокая платком лысину, — переезжаем в новый дом.

— Все сразу? — удивился Федор.

— Совпало! — крикнул тот. — Дом-то сносить будут. И вас снесут. Всех снесут. Построят башни. Гостиницу, кажется.

Федор кивнул, отошел в сторону, сравнивая копошащихся, тянущих свои шмотки людей с муравьями, у которых разорили дом, и понял, отчего его тревога.

Он подошел к человеку с теодолитом. Усатый парень махал то одной рукой, то другой, что-то записывал в тетради и на Федора покосился с превосходством.

— Что тут будет? — спросил Федя.

— Площадь, — охотно ответил парень, — фонтан, цветник с голландскими тюльпанами. — Он прищурился, оглядел дома и прибавил: — Построим вместо ваших халуп отель, кинотеатр, универсам. Картинка будет — загляденье! — И удивился: — Слушай, все радуются, а ты чего?..

Федор отошел в сторону. Значит, видно даже по лицу, что он расстроился. В самом деле, он, лысый Егор, тут всю жизнь прожил, а радуется, что их барак снесут: еще бы, в новом доме и ванна будет, и отдельная кухня. Вот только знать никто друг дружку не

станет. В одном подъезде будут жить, а здороваться не станут, потому что чужие. В Федином классе учились двое ребят. Учились и жили в одном подъезде, а узнали об этом только через год — ни разу за год не встретились: шутка ли, домина — шестнадцать этажей.

Федор шел по поселку, глядел на трейлеры, подвозившие экскаваторы и бульдозеры, смотрел на МАЗы, пускавшие душные синие выхлопы, слушал, как постепенно наполняется улица глухим рокотом, и тревога охватывала его все больше.

Он побежал к голубятне.

Турманы заворковали беззаботно и радостно, приветствуя его, — он сегодня не опоздал, пришел вовремя. Только вот корму не захватил.

Птицы поворачивали головы боком, вопросительно взглядывали на него, а Федор глядел на них откровенно.

Что теперь будет? С голубями? С Леной? С ним, Федором?

Штора легко шевельнулась, приоткрылась на мгновение, и из-за нее вылетел бумажный голубь. Он нырнул вниз, толкнулся носом о землю, и тут же вылетел новый, а за ним еще и еще.

Федор подумал про Лену с нежностью: целое утро, наверное, делала голубей, чтобы выпустить свою стаю.

Он улыбался, а Лена, откинув теперь штору, пускала в него своих птиц, громко смеялась, и некоторые прилетали сюда, втыкались в железную сетку бумажными носами. Федор вынимал их оттуда и посылал обратно, в ее окно.

— Ты знаешь, — сказал он тоскливо, — скоро все кончится.

— Знаю! — ответила Лена беспечно, и легкость, с которой она сказала это, царапнула его.

— Наш райончик скоро снесут, — объяснил он, — там нагнали столько техники.

— Что же будет? — испугалась Лена.

— Что же не будет, — грустно поправил ее он. — Не будет моей голубятни, твоего дома, моего дома, этой улицы и акаций.

— Что же будет? — глухо повторила Лена. И прибавила: — С нами?

Слова эти будто ударили Федора. Вот в чем его тревога. Сначала неосознанная, только предчувствие,

потом явная, но еще не обозначенная словами. Дослез жаль их райончика, голубятни, засыпых, но это еще не все сейчас для него. Главное — Лена. Что станет с ними? С ними! Вот.

Он открыл крышку, голуби взвились в небо, то исчезая в неярких солнечных лучах, то возникая вновь белоснежными и красными точками в небесной лазури.

Теперь они были вдвоем — Лена и Федор, — и им надо бы говорить, захлебываясь от слов и смеясь, но они молчали и даже смотрели куда-то в стороны. Слово было между ними обидно...

— Я хочу посмотреть, — сказала наконец Лена, и Федор послушно спустился с голубятни. Он снова нес ее на руках, и вновь ее волосы щекотали его, но он не поцеловал Лену. Они молчали.

Шины каталки утопали в пыли, прохожие сочувственно поглядывали на них, а они молчали, будто посторонние.

Рыкали самосвалы, таскали мебель жильцы Егорова барака, ничего не переменялось за это время, и что-то все же изменилось.

Федору казалось, Лена не верила ему и вот проверяет, смотрит сама.

Они вернулись быстро, через каких-нибудь полчаса. Сухо расстались. Федор влез на голубятню и закрыл своих птиц.

Уходя домой, он несколько раз оборачивался, надеясь увидеть лицо Лены, но окно было тщательно затянуто шторой.

Она не понимала, что произошло.

Все утро делала бумажных голубей, чтобы посмеить своей стаей Федора, а он сказал эту новость, и что-то такое сломалось в ней. Она онемела, окаменела, стала неживой. Что с ними будет?

Лена знала наверняка, что с ними будет, без всякого этого разрушения, без самосвалов, бульдозеров и других машин. Ей казалось, она ко всему себя приготовила, словно застраховалась, и была готова принять самое горькое.

Только это кажется, будто мы готовы к несчастьям. К ним готовым никогда нельзя быть. О них можно

знать, предполагать, догадываться, даже готовиться можно, но готовым быть невозможно.

Она думала: будет постепенно. Все у них не сразу кончится, а протянется долго. Собственно говоря, она ничегошеньки не знала, как будет и что. Это только предполагать мы можем, а располагает случай. К тому же, когда человек счастлив, его предположения так условны, что он сам в них не верит.

Лена не знала этого, разве только догадывалась. И не было у нее никаких предчувствий, как у Федора, никакой тревоги.

Мастерила бумажных голубей, слушала воркование живых, настоящих, ждала, когда появится Федор, и улыбалась сама себе, представляя, как выпустит на него сразу целую стаю: и у нее есть голуби... А потом оставилась. Словно врезалась с ходу в стенку. И когда он вошел, чтобы снести ее вниз, ей хотелось завывать, зареветь, закричать от отчаяния — так отчетливо и ясно поняла она, что им вместе осталось недолго...

Но Лена молчала. И сердце ее билось ровно и скучно. «Если бы, — подумала она, — Федор решил поцеловать, наверное, отвернулась бы».

Ей было тошно все.

Мир. Сама. И даже Федор.

Они проехали по поселку, вернулись домой. Лена не посмотрела и вслед Федору. Запахнула плотной шторой окно, закрыла глаза, откинулась на подголовник каталки.

Разве можно так безжалостно?

Все скрыть, уничтожить, их дома, голубятню, поселок! Выстроить нелепую гостиницу, разбить фонтаны и клумбы!

Она представила: журчит вода в чужом бетонном фонтане, и вода эта неживая, нет, у нее плоский пустой звук, когда струя разбивается о бетон. Живое чувствует, способно страдать, и только неживое может спокойно течь, разбиваясь в капли, не горюя о том, что здесь было прежде.

Мертвый фонтан, мертвая вода, как в сказке, мертвые тюльпаны размахивают мертвыми ярко-красными цветками.

А голубей нет — их место в небе занял небоскреб. И тополей нет — густая мертвая травка. И их нету, Федора и Лены. И не было никогда.

Все, что есть, не было.

Так зачем же она придумывает сейчас то, чего все равно не будет?

Лена кружилась в кресле, говорила себе: «Заумь, заумь все это!» — но ничего поделать с собой не могла. И вдруг остановилась. Неужели и эти мысли оттого, что она больная, безногая, ненормальная? Неужели вся эта неотступная заумь от неполноценности, от ущербности, в которой сама себе признаться не желает, боится, не хочет?..

Ее поведение показалось ей похожим на приступы. На ненормальные приступы болезни. Лена попробовала разобраться, привести свою жизнь в систему. Острый запах стружки, чтение Уайльда под грохот джаза и улюлюканье футбольных трибун по телевизору. Слезы, поцелуи, солнечное затмение, когда у нее едва не остановилось сердце. И сегодня — эта онемелость и мертвенность...

Но ведь раньше этого не было! Никогда!

У них в интернате всегда царила на редкость здоровая обстановка. Строгие, спартанские правила. Железное стремление не поддаваться болезни выработало неписанные законы, которым все подчинялись. И она, Лена, была главным блюстителем тех законов...

Может, все-таки воля? Вот эта воля, свобода ее виновата, когда она одна, без, как выражаются на собраниях, коллектива. Пусть не здорового в буквальном смысле слова, но здорового душевно.

Она помнила: девочки срывались. То одна, то другая. Но нечасто. Все остальные как бы поддерживали их. Когда в ряду — не опасно, если споткнешься. Упасть не дадут.

И вот она одна осталась.

Наедине с собой. Один на один с Федором, со всем, что у них случилось. И ее ломает, корежит, скручивает.

Лена засмеялась. А еще Вера Ильинична сказала, будто она могла бы стать Ульяной Громовой или Любкой Шевцовой.

Чушь. Словесная шелуха. Не могла.

Лена крутнулась на кресле. Устало откинулась. Закрыла глаза. И неожиданно заснула.

Будто провалилась в черную яму...

Наступили угарные дни.

Словно никогда не было в старом поселке деревенской тишины, пыльных дорог, запаха трав и шума тополей. Разворошили огромный муравейник, и никто не знал, оказывается, сколько народу живет в том муравейнике. Люди уезжали в новые дома где-то на окраинах, а их, кажется, не убывало. И передвигались все до странности торопливо. Словом, как на тонущем корабле, началось в поселке столпотворение.

Однажды вечером ордер на новую квартиру принес и батяня. Был он порядком навеселе, но ни мама, ни Федор внимания на это уже не обратили — так ошеломила их новость.

Федор все надеялся, что обойдется, что до них очередь не дойдет, и все останется как было, но не миновало, не осталось, не обошлось.

Мамка и батяня тут же засобирались глядеть новую квартиру, потребовали, чтоб ехал и Федор.

— Да не горюй, — уговаривала его в автобусе мамка, — сам говорил, голубей продашь, вот и продай их тому отставному полковнику, что интересовался.

Он вздыхал, кивал, все у него в голове смешалось, да еще тяжесть давила страшенная. Лена, ее равнодушные и пустота.

Федор приходил к ней. И днем, когда никого не было, и вечером, при родителях. Лена говорила с ним так, будто только познакомилась. Холодно, на какие-то абстрактные темы. А когда он приблизился к ней, отъехала назад, да так, что трахнулась каталкой о стену. И глядела на него стеклянным, пустым взглядом...

Новая квартира была на десятом этаже, далеко на окраине, но с десятого этажа не открывались, как думал Федор, лесные дали, потому что их дом окружали монстры в шестнадцать и двадцать этажей. Оставалось глядеть лишь на небо да на гулкое пустое дно каменного колодца, который образовывали новые дома.

Зато мамка! Радовалась, словно девчонка. Включала и выключала краны, двигала рычаг душа, разглядывала электрическую плиту, свешивалась через край лоджии так, что батяня, пугаясь, хватал ее за пояс.

— Красотища! — кричала мамка. — И — гляди! — ни одной пивнушки!

Отец хмыкал, буркал: «Да чего я! Уж совсем, что ли?» — а сам довольно улыбался, расхаживал по ком-

натам хозяйским шагом, вымеривал длину стен и повторял:

— Раз квартиру дают, значит, ценят? А? Или не так?

— Ценят, ценят, — смеялась мать, — когда хочешь, тогда можешь. — И подтрунивала над ним: — Только редко стараешься!

Две комнаты, светлые и просторные, кухня, ванная, теплый туалет! Да разве было все это у них там? Только мечтать могли. И конечно, Федор радовался, только был он, слава богу, не в том возрасте, когда вещи заслоняют другое, то, что поважнее.

В старом их поселке теперь появились новые звуки. То вечером, то днем вдруг начинало что-то грохотать, и Федор, как замороженный, шел на этот звук.

К автокрану был прикреплен на тросе круглый железный шар. Крановщик поднимал его, слегка отворачивал кран, как бы замахивался, а потом с лету бил огромным шаром по засыпухам.

С треском и визгом стены рушились, обнажая грустные, пустые комнаты, в которых столько лет жили люди.

Федор глядел с тоской, как в одной комнате забыли на стене — или просто бросили — дешевую цветную картинку в рамке, а в другой стояла голая солдатская кровать, или вдруг обнажилась стена с окном, и на подоконнике шевелила листьями герань в старом, почерневшем глиняном горшке.

Ночами Федору снились однообразные кошмары: голые трубы, переплеты окон, в которых хлопали на ветру форточки. Слышались ему гулкие удары круглой железной чушки о стены старых домов, и он с содроганием думал о том, как настанет час их дома, как рухнет он, словно упадет на колени большая старая лошадь.

Но он не увидел этого.

Вместе с батяней и мамкой он перевозил вещи на новую квартиру, отец заторопился с машиной назад, а они с матерью задержались разобрать вещи, и когда вернулись в сумерках — вернулись, неизвестно зачем, — все было кончено. Их старый дом лежал горой старых, прогнивших досок, клочьями ваты и прахом размельченной штукатурки.

Возле дома толочся отец, с оживлением сообщивший, что рушил железной кувалдой свой дом он сам,

попросил у крановщика: хотелось обязательно самому, просто руки чесались.

Мама заплакала, но слезы у нее были легкие, это Федор понял, у него же в горле стоял тяжелый ком, и опять он удивился отцу, его странной безалаберности: чему радуется и зачем разбивал свой же дом?

В Федоре открылась какая-то теплая любовь к старому жилью, будто убили живое существо.

Он отошел назад, сумерки скрыли его. Федор отправился к голубятне.

Окна в доме Лены ярко светились, будто их вовсе и не касалось все, что происходило вокруг, будто этот дом, хоть он и повыше и получше бараков, претендовал на вечность, на бессмертие и оттого был беспечен.

Федор не поднялся к голубям. Днем он кормил их, выпускал полетать, все время поглядывал на окна Лены. Из-за штор не доносилось ни единого звука.

Он ушел тогда, понурясь, потом грузил в машину вещи, уехал... Машина проходила мимо окон Лены, она, наверное, все видела. Но и тогда, в тот миг, когда уезжал в грузовике Федор, она не раздвинула штору.

Федор осторожно приподнялся на ступеньку лестницы, ведущей к голубятне. На штору ложилась тень Лены. Она читала книгу.

Федор слышал, как гроыхает в нем сердце. Сначала он хотел окликнуть Лену и даже издал какой-то звук, но горло сдавило, он поперхнулся, едва не закашлялся и с трудом сдержался.

Тень шевельнулась, будто Лена прислушивалась к звукам, доносившимся с улицы. Федор замер. Он с тоской подумал о том, что потерял сегодня дом, что скоро потеряет голубей... И теряет, теряет, теряет Лену!

Федя приходил к голубям, она это поняла.

Услышала сдавленный звук, похожий на сдержанное рыдание. Но не подала виду. Лена, конечно, все видела. Как он грузил вещи и проехал мимо окон на грузовике, не отрываясь, глядел на нее и не видел — она же была за шторой. Как потом его отец крушил с ожесточением свой дом, только летели стекла и штукатурка.

Все как бы пересохло в Лене. Она обмелела, будто ручей в жару. И вся влага, вся ее доброта, жадность

к жизни, вся любовь ее ушли под землю. Скрылись от людских глаз. Даже лицо ее обострилось и высохло.

С непонятной жестокостью казнила она себя целый день. «Надо кончать, — приказывала себе. — Самой. Все сделать собственными руками. Так легче».

Кто ее научил? Мать? Отец? Интернат?

Болезнь, вот кто ее научил этой жестокости. Лена вела с болезнью прямой диалог, без посредников. Вечером, когда появлялись мамуля и папка, она лицедействовала, улыбалась, шутила, а потом пряталась в синеватом луче, плывущем с экрана телевизора, когда можно было молчать или изображать внимательность, не видя, что показывают, и не слыша, о чем говорят.

«Кончать!» — приказывала она себе и считала время, которое ей оставалось. Немного, в общем-то. Отец должен был скоро получить ордер на квартиру в новом доме. И тогда — все. Конец. Она свободно вздохнет.

Не зря говорила Вера Ильинична, будто Лена похожа на героинь. Честное слово, она одолеет все.

Всю жизнь болезнь учила Лену преодолевать ее. Болезнь — это горе. Несчастье. Так почему бы не одолеть счастье? Это же, видимо, проще!.. И когда в прихожей задребезжал звонок, она не тронулась с места, решив, что это Федор.

Но звонок заливался требовательно и часто — Федор так трезвонить не мог, и Лена покатилась в прихожую.

На пороге стояла почтальонша с недовольным лицом. Увидев Лену, она подобрела и назвала ее имя.

— Заказное письмо, — сказала тетка, — строгое! Даже написано: лично, в собственные руки.

Лена вывела каракули в почтальонской тетрадке, поблагодарила, закрыла дверь и, не переставая удивляться, поехала в комнату. Действительно, на конверте было написано печатными буквами: «Лично, в собственные руки», — и Лена открыла его.

Она сразу узнала Валин почерк.

«Даже если ты очень больна, — прочитала Лена, — тебе нет прощения. Мы знаем, Вера Ильинична поехала к тебе на другой же день, но ты не появилась. А Зина так любила тебя. Запомни день ее смерти — суббота, когда было солнечное затмение. Пусть этот день станет для тебя днем вечного укора».

Лена втянула воздух, а выдохнуть его не могла, будто пробка закрыла легкие: в ушах возник тонкий звон

и с каждой секундой становился громче. Ненормальным усилием она вытолкнула воздух из себя, выронила письмо. Ее трясло. Просто колотило. Лена принуждала себя заплакать, но у нее ничего не получалось. Она как бы плавала в ужасе, в черной жиже, у которой нет ни дна, ни берегов. Можно только барахтаться — плыть бессмысленно, потому что некуда.

Зина умерла! Это было невозможно. Невероятно. Почему? Как? Зачем?

Она и так страдала всю жизнь. Парализованы левая рука и нога. Зина сказала однажды: «До меня ему добраться легко!» — «Ему?» — удивилась Лена. «Ну да, — засмеялась Зина, — косоротому параличу. Чуть опуститься пониже или подняться повыше — и прямо сюда», — она ткнула себя в сердце. Неужели угадала?

Но Вера Ильинична! Как смогла она? Ведь она же все прекрасно знала. Знала, что Зина и Лена подруги — не разлей вода. И приехала, а смолчала...

Зачем? Зачем такая жестокость?

Лена попыталась припомнить тот ее визит. Ведь что-то же было?.. Да, она односложно отвечала про Зину. Потом заговорила о затмении. Лена рассказала, как похолодели руки. Как ее знобило, и Вера Ильинична спросила, побледнев: «И ты?»

Она не задумалась. Весь мир был розовым для нее в те дни, и она не задумалась, не спросила, что это значит: «И ты?» Кто еще? Вера Ильинична?

Оказалось, Зина.

Лена наконец заплакала. Валя написала, что Зина умерла в субботу, а потом пришла Вера Ильинична. Зачем же она пришла? Ведь Зину еще не схоронили! Сказать?.. Позвать на похороны?.. И промолчала! Бессовестная! Как она посмела?!

Лена стала торопливо одеваться. Открыла дверь и выкатила коляску на лестницу. Цепляясь обеими руками за перила, сдерживая каталку, спустилась вниз.

Ее транспорт не предназначался для езды по улице — только для коротких передвижений по комнате. Вперед, назад. Можно делать круги. А для того, чтобы ехать по улице, нужна совсем другая коляска — с рычагами и даже с тормозами. Но Лена не задумывалась над этим. Захлопнулась дверь подъезда за ней, и она погнала каталку мимо акаций, туда, где шумела оживленная улица.

Она ничего не видела перед собой. Не хотела видеть.

Он спросил растерянно: «Куда ты?» Но она даже не ответила. И все, Федор остался на обочине.

Лена выкатилась на улицу и помчалась по асфальту. Ей надо было ехать по тротуарам, но там шел народ. И люди мешали ей сейчас. Тут, по дороге, получалось быстрее. Она подгоняла колеса, смотрела упрямо вперед и не думала, что до цели несколько долгих километров.

Машины, притормаживая, осторожно объезжали ее, некоторые водители оборачивались, и Лена с опозданием сообразила, что сделала ошибку, не взяв денег: можно было остановить «Волгу»-пикап и погрузиться в отсек для перевозки вещей.

Она истерически рассмеялась.

Для перевозки вещей? Вот куда она годится, и только. И Зина была такой. И Женья. Все они вещи — почти неодушевленные предметы. Их можно перевозить в задних отсеках пикапов.

Улица шла под уклон, но Лена не замечала этого. Не замечала и упрямо подгоняла колеса руками. Несколько раз твердые шины больно ударили по рукам, но она не обратила внимания, и только когда коляска, разогнавшись как следует, помчалась под гору, пришла в себя. Спицы позвякивали в колесах, ветер выбивал слезы, и она вдруг увидела, что скорость несет каталку на левую сторону, прямо под колеса встречных машин.

Ей стало смешно.

Лена сжала руками колени, даже не пытаясь управлять каталкой, и глядела, завороченная, как с каждой секундой приближается к троллейбусу. Водитель заметил ее, глаза у него расширились, он резко затормозил машину, остановил совсем. Лена разглядела голубой бок троллейбуса, аккуратные заклепки ровным рядом, откинулась назад и закрыла глаза.

И вдруг закричала:

— Не надо!..

Послышался дробный стук, каталка резко замедлила ход, отвернула от троллейбуса, выбралась на тротуар и остановилась.

Лена увидела перед собой измученное лицо Федора. Он спрашивал ее:

— Что ты шепчешь? Что шепчешь?

А она не шептала, она кричала, она же кричала: «Не хочу! Не надо!»

Федор больше ничего не спросил, он разглядывал ее лицо, смотрел, наверное, целую минуту, потом исчез за спинкой каталки и спросил:

— Прямо?

— Прямо, — ответила она и говорила потом: — Направо... Налево... Прямо...

Каталка послушно двигалась вперед и замедлила ход только у кладбища. Потом остановилась.

— Зачем? — услышала Лена глухой голос Федора.

— Надо! — ответила она.

— Нет, не надо, — сказал он.

— Пусти! — приказала Лена.

— Не пущу, — ответил Федор.

Лена быстро обернулась к нему. Глаза у нее покраснели.

— Не имеешь права. Зина умерла!

Она тотчас отвернулась, пряча лицо в руках, коляска послушно двинулась вперед, и Лена вздохнула: за узорчатой чугунной решеткой старого кладбища гулко ухнул духовой оркестр.

Заиграла траурная мелодия.

Федор снова остановился.

Если Зина умерла недавно, решил он, то она лежит неподалеку от новой могилы, возле которой играет сейчас духовой оркестр. А Лене незачем видеть похороны. Надо подождать.

Лена молчала, не оборачиваясь, и он тихонько покатиł ее вдоль ограды.

Осень надвигалась неумолимо, земля рядом с узорчатой чугунной решеткой была застлана цветастым и нарядным половником из желтых и красных листьев.

Листья шуршали, пахли пряно, нежарко горело солнце, и Федор, содрогаясь, думал о том, что было бы, поддайся он глупой обиде.

Поддайся он обиде, пойди своей дорогой, когда Лена даже не заметила его возле акаций, ее бы просто уже не было или она лежала бы в больнице, и Федор никогда не простил бы себя, до самой смерти.

Лена, показалось Федору, не заметила его, не ответила на вопрос, и он сначала обиделся, пошел дальше,

но остановился. Вид Лены встревожил его: что-то случилось неладное, она была не в себе.

Федор повернулся и побежал за Леной. Догнать ее было не просто — она мчалась со страшной скоростью прямо по дороге, а Федор бежал тротуаром, лавируя среди прохожих. Потом он догнал коляску, однако обгонять не стал, чтобы Лена не заметила, и двигался позади, в нескольких шагах.

Он налетел на какого-то человека в сером макинтоше, наступил ему на ногу, да, видать, больно, тот схватил Федю за руку, начал ему выговаривать, и еще немного — из-за этого макинтоша случилась бы беда.

Федор увидел, как коляска, раскатываясь, пошла под уклон, затем, неуправляемая, перекадилась на противоположную сторону, навстречу троллейбусу, вырвался из рук серого макинтоша и опрометью бросился за Леной.

Он слышал, как скрипели за ним тормоза машин, но уже не обращал ни на что внимания, выжимал из себя, из своих ног, предельную скорость. Краем глаза он видел, как останавливались люди, наблюдая за ним и за коляской, но никто не сдвинулся с места, то ли растерявшись, то ли надеясь на него: он ухватил каталку за спинку в двух метрах от клепаного бока троллейбуса и откатил на тротуар.

Еще бы мгновение, две секунды...

Духовой оркестр смолк, Федор не спеша подъехал к кладбищенским воротам. Мимо них прошли, бодро переговариваясь и посмеиваясь, музыканты с блестящими трубами, потом молчаливые люди в трауре. Выходя из ворот, все поворачивались к Лене и Федору и внимательно оглядывали их. Некоторые, сделав несколько шагов, оборачивались и смотрели еще. Нигде не смотрели на них так пристально, как тут, у кладбища.

Федор покатил Лену по аллее. В листве весело кричали птицы, солнце, прорываясь сквозь кроны деревьев, театральными прожекторами освещало памятники. Кладбище показалось Феде чем-то условным и нереальным, будто существующим понарошке, чтобы только попугать людей...

Зинину могилу они нашли быстро, она была с краю, и неутрамбованная земля на соседних могилах имела разные оттенки. Свежая и коричневая на последних, она подсыхала к началу ряда, и на Зининой могиле стала плотной и серой.

Федор увидел, как сникла Лена. Скрючилась в своей каталке, закрыла руками глаза, спина ее содрогалась в молчаливых рыданиях.

Слабость ее и беспомощность пробудили в Федоре сострадание и нежность, и два этих чувства вновь, как когда-то, сделали его уверенным и смелым.

Федор обошел коляску, присел перед Леной и властно оторвал от лица ее руки.

— Лена! — звал он ее. — Лена! Ты вспомни! Вспомни, пожалуйста. Ты же сама говорила! Про солнечное затмение. Все наши беды — это затмение, и без них тоже нельзя. Без них разучишься видеть солнце!

Лена смотрела на него сначала с непониманием, потом взгляд стал осмысленным.

— Знаешь, какие слова откопала Зина в книге? — сказала она неожиданно ясным голосом. — Слушай. — Лена глубоко вздохнула, словно освобождаясь от тяжести, мельком взглянула еще раз на Зинину могилу и внимательно всмотрелась в Федора. — Слушай, — повторила она: — «Участь каждого из нас трагична. Мы все одиноки. Любовь, сильные привязанности, творческие порывы иногда позволяют нам забыть об одиночестве, но эти триумфы — лишь светлые оазисы, созданные нашими собственными руками, конец же пути всегда обрывается во мраке: каждый встречает смерть один на один».

— Из Библии? — спросил Федор.

— Из Чарлза Перси Сноу, — ответила Лена. — Слышал?

Федор мотнул головой.

— Вот и Зина, — проговорила она, — один на один.

— Хватит! — приказал Федор, и Лена не возразила. Он развернул коляску и покатыл ее к выходу. Когда массивные ворота остались позади, Федор испытал облегчение. Тяжелое и горькое осталось за плечами, а улица звенела жизнью: промчалась визгливая дворняжка, гудя, пронесся троллейбус.

Федор почувствовал власть и превосходство над Леной там, на кладбище. Но длилось это всего минуту. Потом она привела слова какого-то Перси. Или Сноу. Видать, англичанин... И Федя опять шагает, мучительно раздумывая, что бы сказать Лене. Как воспротивиться этим мудрым, но холодным словам?

Что она там говорила? «Оазисы, созданные собственными руками».

— Знаешь. — сказал Федор, — твой Чарлз спорит сам с собой.

Она не ответила.

— Любовь, сильные привязанности — что еще там? — надо создавать. Собственными руками. Сам же он говорит.

Лена молчала. Федор разозлился: так же рехнуться можно! Спятить! Он решительно развернул коляску к себе.

— Правильно он про оазисы говорит, твой этот англичанин! — сказал Федор. — Но ведь человек — существо мыслящее. Если он сознает неизбежность одиночества, значит, в силах превратить всю свою жизнь в сплошной оазис!

— А Зины нет! — заплакала Лена. — И меня не будет.

— Всех нас не будет! Так что теперь — ложиться и помирать?

— Нет, Федя, — сказала она, — сытый голодного не разумеет. В нашем интернате не до оазисов. — Она подумала, посмотрела на Федора жалеючи и добавила: — Грех нам оазисы создавать.

— Да кто, — закричал Федор, — кто тебе вдолбил эту чушь?! Ты же от себя отрекаешься! А ты сильная, я видел! Разве же мало здоровых людей, несчастных более вас! Да ежели все будут убиваться! В могилу глядеть!

На них оборачивались, но Федор никого не замечал, кроме Лены, и нежность рвалась через край. Сердце замирало от боли, от жалости к этой девчонке, и чем беспомощней она была, тем больше любви рождалось к ней в Федином сердце.

— Сегодня солнечное затмение просто! — говорил он, задыхаясь. — Думай так: затмение, и все. Видишь: руки у тебя снова холодные, как тогда! Да проснись! Посмотри вокруг! Вспомни, черт возьми, Островского: жизнь дается только раз! Жить же надо! Жить!

Федя почувствовал, что вот-вот сорвется и заплачет, резко развернул каталку и погнал ее перед собой. Он плакал молча, кусая губы, чтобы не издать ни единого стога, и бежал что есть мочи, только посвистывали спицы в колесах, Федор плакал от отчаяния, что

не может убедить Лену, не может сломать ее беды, и сам, сам ощущал неотвратимое приближение горя. Откуда?

Он знал, откуда.

Там, в их райончике, за плотной стеной старых акаций, гремели бульдозеры, ахал круглой кувалдой подъемный кран. Там сносили старое, чтобы построить новое.

Но новое не всегда радость. А старое терять нелегко. Особенно, если оно окрылило твою любовь.

Они приближались к дому Лены, а навстречу им, размахивая руками, бежали трое: папка, мамуля и Вера Ильинична.

Лена вспомнила — письмо упало на пол. Родители, не найдя ее, обнаружили листок, помчались звонить Вере Ильиничне, та тут же приехала. Они все знали, все успели сообщить друг другу, и у каждого теперь глаза были круглые от ужаса.

Вот близкие люди, а все-таки какие разные! Мамуля, едва подбежав, крикнула Федору:

— Зачем вы ее туда повезли?

А папка сказал совсем другое:

— Спасибо, что не оставил Лену.

Федя смолчал, а Лена не могла увидеть его лица. Вера Ильинична! Она смотрела на Веру Ильиничну, разглядывала ее пристально, хотела задать свой единственный вопрос, и, странное дело, чем дольше вглядывалась в лицо учительницы, тем меньше хотелось ей спрашивать.

Учила Веру Ильиничну Лена, еще в шестом классе учила, не жалеть, говорить правду, а теперь вот сама Вера Ильинична урок ей преподносит — на ту же тему, о жалости. В самом деле, коли посмотреть на дело рассудочно, что она выиграла, Вера Ильинична? Лена все равно бы про Зину узнала, рано или поздно. Учительница, наверное, клянет себя за ошибку. Но все-таки ошибка ее добрая. Не решилась, пожалела, отложила. Пощадила.

Лена шептала ей тогда про Федора. Сказала это «Да-да-да!». Солнце Лену слепило, все казалось таким прекрасным... За что же Веру Ильиничну судить? За добро? О чем же ее спрашивать?

Они подошли к подъезду, Лена услышала голос Федора:

— До свидания.

Лена развернула коляску, Федя стоял шагах в десяти — черноволосый, в светлой рубашке и потертых джинсах. И глаза у него усталые были. И руки висели плетьюми.

Будто кто бичом над ухом щелкнул — Лена вздрогнула, поняла: сегодня Зину потеряла, а теперь... Как за соломинку, схватилась за ту свою идею — ей об оазисах думать не дозволено, грешно, — но ничего не выходило, не получалось ничего, выдумка эта водой сквозь пальцы катилась, в ладонях ничего не оставляя, а Федор, вот он, живой Федор, отступил назад — на шаг, еще на шаг.

— Федя, — сказала Лена глухо, — Федя, что же будет?

— Я приду! — крикнул он, отступая. — Ты не волнуйся, я приду.

Федор повернулся и побежал, а коляска Лены тихо повернулась к дому, сильные отцовские руки подхватили ее, и она поплыла в воздухе. Лена ощутила запах табака и колючую щеку отца. Она показалась себе маленькой, совсем маленькой в крепких отцовских объятиях. Ей захотелось заплакать, и она заплакала, светло и тихо, как плачут дети, когда боль и обида уже прошли и слезы льются просто так, без тяжести и беды.

Сквозь такие слезы проступает улыбка, будто сквозь тучи пробивается солнышко. И в чистых глазах земля становится черней, трава зеленей, и голубей становится речка. И с плеч спадает тяжесть.

Ты ведь не один. А когда не один, не так трудно, как кажется поначалу. Они вошли в комнату, сели на диван, и Вера Ильинична потупилась.

— Дай я тебя поцелую, — сказала вдруг Лена и почувствовала, как дрогнула рука той, которую она звала классной мамочкой.

— Спасибо, — шепнула учительница, но зря она это сделала, не поняла немножко Лену.

— Дай я тебя поцелую, — сказала Лена мамуле и крепко прижала к себе, как бы передавая ей силы свои.

Мама носом шмыгнула, Лену чмокнула в ответ, тоже не поняла ее как следует.

— Дай я тебя поцелую, — сказала Лена папке и

крепко прижалась к нему, словно беря себе его твердость. И тот прижал ее крепче. Шепнул: «Вот поедем — и в командировку». Он понял. Все понял, что требовалось.

Лена выпрямилась. Улыбнулась и сказала:

— Видите, как я изменилась. Лизуньей и плаксою стала. Казалось бы, надо наоборот. Все-таки девятый класс...

Она помолчала, оглядела их тронх, самых близких взрослых людей, оглядела строгим и сухим взглядом и произнесла очень просто, как бы между прочим:

— Скоро сентябрь. Я уезжаю в интернат.

Мамуля глазами захлопала, а отец, понимая, кивнул.

— Я должна там быть, — твердо сказала Лена и взглянула на Веру Ильиничну.

Тогда, в шестом, Вера Ильинична носом шмыгала, а теперь сидит спокойная, прямая, даже, кажется, безразличная. Смотрит на Лену сухими глазами. И пожалуй, точнее всех знает, чего добивается Лена.

Девочка, которая кажется старше взрослых.

Федор пришел через день.

Накануне начался сентябрь. Федя учился в новой школе, недоверчиво вглядываясь в новые лица одноклассников, — теперь ведь никто не знал, что отец у него — Джон Иванович, Американец, «дядя Сэм», да и батяня пока совсем другой, держится еще, так что сторониться ребят теперь было необязательно, даже во все ни к чему, — и Федор разглядывал их с интересом, хотя и с опаской.

После школы мамка заставила крутить дыры в новой квартире — для карнизов, для полок на кухне. Он думал, справится вмиг, но провозился, это было тяжелое дело, бетон с трудом брало даже победитовое сверло, и закончил работу только поздно ночью, да и то с помощью батяни, а наутро — снова школа, потом уроки...

Он пришел через день. К вечеру.

Вначале поднялся на голубятню, покормил птиц, выпустил полетать. Смотрел на окна Лены и тревожился — пусто там было, даже штор нет. Крикнул пару раз — молчание.

Федор спустился вниз, вошел в подъезд, позвонил. Звонок прогремел, кажется, громче обычного. В квартире было тихо. Он снова и снова нажимал кнопку звонка, но никто не подходил и не подъезжал к двери. Федор позвонил соседям, те тоже не отвечали.

Спустился вниз, задумался и полез по водосточной трубе. Его словно ударило, когда он приник к стеклу. Голые стены, пол, яркий там, где стояла мебель, и выцветший в середине. Пол тщательно подмели, когда уезжали, может быть, даже вымыли, он тускловато поблескивал, бросая зайчики от последних лучей заходящего солнца на мелкие гвоздички обоев.

Федор оглядывал пустую комнату еще и еще раз, словно стараясь запомнить все до мельчайших подробностей. Он был там совсем немного и знал эту комнату другой. А главное, там всегда была Лена, и остальное не имело абсолютно никакого значения — где шкаф, где диван, где телевизор; главное — Лена. Вокруг нее стояло как бы снятие — радостное или грустное, — и этот свет вытеснял остальное, приглушал подробности, делал их незначительными и неважными...

Федор пригляделся: у двери, в темном углу, лежал маленький целлулоидный пупсик. Голая розовая куколка. Она лежала очень неловко — уткнувшись лицом в пол и задрав руки. Будто бросилась в отчаянии на землю.

Федя оглядел пустую комнату еще раз и спустился на землю.

Он прислонился спиной к водосточной трубе и принялся следить за голубями.

Солнце упало за акации, но небо было прозрачным и светлым, и голуби кувыркались, купаясь в воздушной лазури.

Что-то замкнулось в Федоре. Он молчал дома. Он даже ни о чем не думал. Пусто было в голове.

На уроках, когда его поднимали, он вставал, растерянный, не знающий, что сказать, и ребята уже начали похихикивать над ним, тут же присобачив кличку Угрюм Бурчеев. Но Федор и этого не слышал.

Тело его как будто потеряло способность ощущать, а душа — чувствовать. После уроков он садился в автобус и ехал в старый район. Кормил голубей, следил за их полетом и каждый день поднимался по водосточной трубе на второй этаж дома напротив.

Глаза его стекленели, он висел, обхватив трубу, глядел в пустую комнату и не шевелился.

Однажды Федору некуда стало подниматься. Старая водосточная труба лежала в гряде развалин, ветер продувал ее, издавая тоскливую однозвучную ноту, окно, через которое смотрела Лена, торчало мертвым крестом переплета.

— Эй, парень, — крикнул Феде экскаваторщик, грузивший щебень в самосвал, — убирай свою голубятню! Завтра будем рыть котлован.

Федор онемело смотрел на развалины дома и вдруг вспомнил то утро, когда мамка относила деньги на базу. Родители смеялись, шушукались оживленно, а он проснулся в тревоге.

Вот и все. Даже голубей не будет. Он выпустил птиц. Не так, как всегда. Брал каждого голубя, гладил по головке и бросал вверх.

Птицы хлопали крыльями, рвались вылететь стайей, как всегда, но он пускал их поодиночке, прощаясь с каждым.

Где-то в соседнем квартале жил отставной полковник, готовый купить Фединых голубей, но про полковника Федор не вспомнил.

Птицы носились в прозрачном осеннем небе, а Федор медленно и деловито собирал стружку. Она просохла за ясные и сухие дни, кололась, шуршала в руках, издавая мягкий запах дерева.

Экскаваторщик закончил смену, вытирал ветошью руки, улыбался, сверкая зубами.

— Спичек нет? — спросил Федор.

— Балуешься? — засмеялся мужик. — Смотри, мамка выпорет! — кинул коробок, махнул рукой, дескать, не возвращай, отправился на остановку.

Федор присел у голубятни. Снова посмотрел в небо. Жадно, в последний раз.

Голуби кружились, разделяясь и вновь сливаясь в легкое светлое облачко.

Стало темнеть. А в темноте голуби сами возвращаются к голубятне. В этот раз не должны вернуться.

Федор поднялся наверх. Захлопнул крышку. Зачем-то повесил замок. Достал коробок.

Рука с крохотным огоньком дрогнула, голубой дымок тонким стебельком отплыл в сторону. Федор выпрямился, оглядел старый поселок. Его уже не было. Несколько

бараков кособочились по краям огромной черной площади. Там, где жили люди. Где была пыльная дорога. Только голубятня осталась. Два тополя.

Федор чиркнул спичкой, поднес ее к куче стружки и спустился с голубятни.

Пламя рванулось вверх метровым языком, сразу затрещали перегородки и сухие бревна.

Федор поднял голову. Голуби носились как ни в чем не бывало.

Он повернулся. И побежал.

Народу на остановке было немного, но он полез без очереди, не видя никого. Его обругали, машина тронулась, Федя стоял на задней площадке, прижавшись лбом к стеклу, и смотрел, старался смотреть вниз, на серый и спокойный асфальт.

Но он не удержался. Помимо его воли, глаза посмотрели в небо. Голуби кружились, не подозревая беды. И Федор бросился к двери. Стал колотить как сумасшедший.

— Водитель, — закричал кто-то, — остановись, мальчик остановку пропустил!

Троллейбус послушно притормозил, дверь с шипением распахнулась, Федор выпрыгнул, неловко подвернул ногу и грохнулся коленом о дорогу. Острая боль пронзила его, и он словно очнулся.

Спал он эти дни, уснул, как только увидел пустые окна Лены. А тут проснулся.

Голуби! Разве их можно бросать? Разве он имел такое право! Кто-то там сказал, какой-то мудрец: мы отвечаем за всех, кого приручили. Вот и все. Он отвечает за голубей.

И еще. Отвечает за Лену.

Федор подбежал к голубятне, объятый высоким пламенем. Повисли плотные сумерки, и во мраке, возле пляшущих языков огня, метались молчаливыми тенями обезумевшие голуби.

Федор молча поднял руки. Его фигура отбрасывала на землю огромную мечущуюся и трепещущую тень, он заметил ее, обернувшись, и сила влилась в него — он показался себе большим и сильным.

Федя раскинул руки, голуби узнали его, затрепетали над головой, селились ему на плечи, он брал их, воркующих, встревоженных, и прятал под куртку, за пазуху. Все туда все-таки не помещались — двоих он

держал в руках. И вот так, с голубями, вошел в отделение милиции. Первое, которое попалось.

Он спрашивал про школу-интернат больных детей. Строгие мужчины в милицмейской форме слушали его с вниманием и пониманием, объясняли, как туда добратъся, а сами поглядывали на голубей, которых вез больным детям этот добрый парнишка.

Потом Федор ехал в коляске милицмейского мотоцикла, входил в скрипнувшую калитку, пробирался, сдерживая дыхание, влажной осенней аллеей.

В глубине огромного сада стояло несколько зданий, но свет горел только в одном, одноэтажном, из розового кирпича, теплого в последних отсветах утүхающего неба. За окнами было шумно, слышались взрывы смеха, и Федор на минутку почувствовал себя лишним. Но он все-таки крикнул. Первый раз неуверенно и не очень громко. Его не услышали.

— Лена! — крикнул он вновъ. — Лена! Лена! Лена!

На подоконнике мелькнула тень, хлопнула форточка, старушечья голова появилась на улице.

— Кого тебе?

— Лену! — сказал Федор.

Бабка убрала из форточки голову, и Федя услышал, как она сказала кому-то:

— Парнишка-то с голубями!

Лена мчалась в коляске, наспех одетая тетей Дусей, по коридору, потом по дорожке, усыпанной листьями, и сердце выпрыгивало у нее из груди.

В темноте было плохо видно, и она едва не наскочила на Федора, выдохнув:

— Ты?

Федор протянул ей турмана, она спрятала его под плащ, к груди, и голубъ загулькал, как ребенок.

Лену переполнило волнение, тревога и еще какое-то необъятное ощущение. Оно словно поднимало. Оно расправляло плечи, вздымало грудь, разливало по легким освежающий ключевой воздух.

Федор смотрел на нее молча, горячо, и Лена повторила бессмысленно:

— Ты? — И отъехала назад. — Зачем?

Лена чувствовала одно, а говорила совсем другое.

— Зачем ты нашел меня? — говорила она, спеша. —

Это ни к чему, понимаешь. Рано или поздно все кончится. Надо самим. Самим легче!

— Голубятни больше нет, — прервал ее Федор. — И твоего дома.

Лена вздрогнула.

Вспомнила поселочек, свой дом, казавшийся ей чужим, гулькание голубей и острый запах трухи.

Нет. Она знала, что не будет. Знала, что не будет и их — Федора и ее. Она все на свете знала и понимала, умная девочка Лена, а вот Федор стоял перед ней, и все тут, стоял, держал голубей, и мелкая дрожь была его.

— Не надо, Федя, — сказала она, не слушая свое сердце. Повторила: — Лучше самим и теперь.

— Знаю, — твердо сказал Федор. — Но ведь нельзя. Понимаешь, я согласен, так, наверное, и бывает, когда люди становятся взрослыми. Но мы же не взрослые. Мы не должны, пока мы не взрослые...

Он умолк на полуслове, не договорил, но Лена поняла.

«Пока мы не взрослые, рассудок не должен нас побеждать. Не должен!»

— Не должен! — повторила она вслух, и Федор понял, кивнул, подтверждая.

Лена услышала за спиной шаги и голос тети Дуси:

— Деточка, голубушка, а как остынешь?

Она встала между ними, поглядывая то на Федора, то на Лену, и Федор протянул тете Дусе голубя. Потом достал еще. И еще.

— Их надо в клетку, — бормотал он. — Я приду. Сделаю голубятню.

Тетя Дуся ойкала, совала голубей под халат, за пазуху, они бурчали недовольно, но слушались — куда было деваться. Нянечка ушла, шаркая ногами.

Они вновь остались одни.

— Я приду, — спокойно повторил Федор. — Сделаю голубятню. И мы... Пока мы не взрослые.

Он наклонился к Лене, уверенно взял ее лицо в свои ладони.

Лена закрыла глаза.

В ближнем окне громко хлопнула форточка.

Роман «Лабиринт», повести «Чистые камушки», «Обман» и «Солнечное затмение» написаны в течение десятилетия (1967 — 1976). В писательской биографии А. Лиханова это период уверенно обретаемой зрелости, окончательного утверждения темы становления подрастающего поколения как основной в его творчестве.

В эти годы А. Лиханов особенно много размышляет о проблемах воспитания — семейного и школьного, воспитания литературой и искусством, трудом и ответственностью. Эти раздумья легли в основу публицистических очерков, публиковавшихся в периодической печати и составивших затем книги писательских размышлений «Конспект судьбы» (1976), «Времена жизни» (1978), «Уже не дети, еще не взрослые» (1979).

В беседе с корреспондентом еженедельника «Литературная Россия» писатель так объяснил преимущественное внимание, которое он уделяет в своем публицистическом и художественном творчестве ребятам подросткового, так называемого переходного возраста: «Отрочество — самый важный, самый ответственный период человеческой жизни. Юный человек начинает познавать себя, свое место в окружающем его мире. Он уже много знает, этот человек, но не всегда способен правильно оценивать окружающее по причине малого жизненного опыта. Становление личности — процесс зачастую мучительный и всегда нелегкий. Вот боль за этот возраст и является причиной того, что пишу я о подростках для подростков и взрослых».

На вопрос корреспондента: «Не слишком ли рано и не слишком ли трудно идут его юные герои к зрелому пониманию окружающей их жизни?» — А. Лиханов ответил:

«Жизнь состоит не только из радости, она сложна, зачастую полна противоречий. И подросток, как любой человек, должен это знать. Именно в преодолении трудностей выкристаллизовывается нравственность, формируется сила духа, гражданственность».

Мы обязаны говорить подростку о том, что существуют на свете такие отнюдь не абстрактно-гуманистические категории, как добро и зло, любовь и ненависть, сострадание и бессердечие. Мы должны учить ребенка с малых лет умению сострадать, потому что человек, неспособный к этому чувству, — страшный человек».

Я хотел бы научить своих юных читателей стойкости в трудных жизненных ситуациях, помочь им выработать в себе высокую способность видеть и активно защищать добро. Уметь любить и уметь ненавидеть» («Трудная наука». — Литературная Россия, 1977, 22 апреля).

В другом интервью, данном двумя годами позже, писатель считал необходимым особо остановиться на роли семейного воспитания. «Я убежден, — подчеркнул он, — что ребенка формируют человеческие взаимоотношения, сложившиеся в семье. Отсюда он несет хорошее или плохое в школе, на улице, а не наоборот. Конечно, улица, кружки, школа, училище, общественный пример наставника играют неосценимую роль в воспитании, но основа закладывается в семье» («Прекрасный и сложный возраст». — Московская правда, 1979, 8 апреля).

Вышеприведенные рассуждения объясняют, почему главные герои романа «Лабиринт» и повестей «Чистые камушки», «Обман» и «Солнечное затмение» — подростки в возрасте от 12 до 15 лет, а

основные обстоятельства, формирующие их характеры, более всего относятся к категории семейных.

Именно так — «Семейные обстоятельства» — озаглавил А. Лиханов вышедшую в 1974 году трилогию, куда наряду с повестями «Чистые камушки» и «Обман» вошел «мальчишечий роман» «Лабиринт». В 1976 году за трилогию «Семейные обстоятельства» (а также за книгу «Музыка» и роман «Мой генерал») А. Лиханов был удостоен премии Ленинского комсомола.

В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» писатель сказал о замысле трилогии:

«Мне хотелось показать, что такие понятия, как честь, благородство, были, есть и непременно должны сопутствовать человеку на протяжении всей жизни. Каким вырастет будущий человек, во многом зависит от среды, в которой он живет.

Хочется думать, что моим юным читателям, когда они столкнутся с первыми трудностями, книга в чем-то поможет преодолеть их — не падать духом, научиться тверже стоять на ногах» («Сложный мир подростка». — Вечерняя Москва, 1976, 20 августа).

Чистые камушки. — Впервые опубликована в журнале «Пионер», 1967, № 8—14. Некоторые главы в журнале «Детская литература», 1967, № 10. Отдельной книжкой повесть выпущена в 1969 году издательством «Детская литература».

Критика, положительно оценив повесть, не раз возвращалась к ней при переизданиях, отмечая ее принципиальное значение для последующих замыслов А. Лиханова. «Думается, в фундаменте творчества писателя заложены «Чистые камушки», — писал В. Свинников. — Герой их — подросток Михаська — дает взрослым наглядный урок того, как нужно жить ярко, яростно, самоотверженно, равнодушно. Михаська — борец по натуре» («Созидать добротой». — Правда, 1979, 29 сентября).

На гражданскую активность юного героя повести обращает внимание и Ю. Михальцев: «...Михаська всюду сражается до конца, до победы — не за себя, за ребят, которые не знают, что можно жить, высоко подняв голову, за соседку Ивановну и ее внушек, за своих отца и мать, чтобы отстоять их у зла, у корысти, чтобы жизнь была чиста и светла, как прозрачные камушки» («И плакать и смеяться». — Молодая гвардия, 1975, № 1).

«Время, быт — все в повести изображено точно и зримо. Возвращение живых и искалеченных войной победителей, в том числе и отца Михаськи, вся обстановка первых послевоенных лет — суть «Чистых камушков». И автор ни в чем не хитрит, обращаясь к сегодняшнему юному читателю, человеку другого времени, иной эпохи, когда показывает в повести жизнь такой, какой она была в те годы» (Баруздин С. Про большую жизнь. — Литературная Россия, 1972, 7 июля).

Об идейной, проблемной, нравственной актуальности книги А. Лиханова писал А. Сорокин («Пути возмужания». — Знамя, 1975, № 11): «...Пусть Михаська, мальчишка военной поры, далек в обстоятельствах своей жизни от нынешних подростков, вопросы, которые ставит перед своим героем писатель, современны, неприкрыто остры, истинны».

«Трудную тему, трудный случай взял Лиханов в основу повести «Чистые камушки», — отмечала Мария Прилежаева. — Мне... дорого главное в нем: беспокойство души, тревожное чув-

ство ответственности за нравственное воспитание детства и юности и строгий счет к взрослым — отцам: помните, вы отвечаете за наш завтрашний день. Он — завтрашний день — наши дети» («Белые паруса детства». — Комсомольская правда, 1975, 7 февраля). В опубликованной в «Правде» (1977, 15 мая) статье «Растить человека» А. Панков высказывает интересную мысль о природе основного конфликта в «Чистых камушках» и других произведениях трилогии А. Лиханова. «В прозе А. Лиханова, — пишет критик, — много черт, характерных для современных книг о подростках. Одна из этих черт — психологический «разрыв» между юными и взрослыми, образующий центр сюжета и отражающий противоречия быта. В кругу «семейных обстоятельств» идет упорная борьба добра и зла, старого и нового, гражданского и мещанского сознания. Мальчишка же, будучи прямодушным максималистом, яростно вклинивается в обыденные разногласия. На фоне его нравственной категоричности явственнее видны ошибки старших. Подобные конфликты позволяют глубоко анализировать взаимосвязи «отцов и детей», всерьез говорить о преемственности поколений и человеческой ответственности».

«...Не утраченные иллюзии выносит Михаська из этого спора с ослепленным корыстью отцом, — как бы подытоживает Сергей Михалков разговор критики о повести, — а понимание, что идеалы нужно отстаивать, что добро должно уметь постоять за себя» («Дорогие наши мальчишки...». — Литературная газета, 1977, 16 февраля). Повесть «Чистые камушки» переведена на казахский, азербайджанский, украинский, эстонский и болгарский языки.

Л а б и р и н т. — Впервые отдельной книгой вышел в издательстве «Молодая гвардия» (М., 1970).

«Лабиринт» открыл писателя зрелого, тонкого психолога, свободно разбирающегося в сложнейших движениях неокрепшей, развивающейся, созревающей души», — определил место романа в творчестве А. Лиханова критик В. Свининников («Доверие». — Молодая гвардия, 1978, № 4).

Уже вскоре по выходе романа один из его рецензентов писал: «Этой книге можно без колебаний предсказать долгую жизнь и любовь читателей. Прежде всего, — мотивировал свой прогноз критик, — перед нами увлекательный роман, насыщенный действием и драматизмом. На каждой странице происходит событие, каждый разговор наново решает судьбу героев, и сюжет захватывает так, что оторваться невозможно, и только на последней странице доходит до нас вся его печальная обыкновенность».

Такое бывает редко. Но еще реже сходятся в одном произведении бурный сюжет и острый психологический анализ. Альберту Лиханову этот сплав удался. Героев его «Лабиринта» мы видим насквозь, любой жест их, слово полны для нас глубокого и важного смысла, потому что каждое душевное движение немедленно запечатлевается в поступке, а поступки образуют ход сюжета».

Как новаторскую черту прозы А. Лиханова, критик особо выделил жизненную позицию юных героев романа: «...мальчишки, Толик и Артем, — не только жертвы, но и судьи. Не столько судьи, сколько герои... Жизнь обоих разбита малодушием взрослых, и мальчишки ведут с окружающими неравный, жестокий бой за свое достоинство и счастье» (Куниин В. Не плакать, не смеяться, а понимать... — Аврора, 1972, № 1).

«Лабиринт» — это психологический анализ конфликта, который происходит, когда сталкиваются честность и стяжательство, самообман взрослого человека и яростная бескомпромиссность подростка», — отмечал Вл. Разумневич («Глазами подростка». — Книжное обозрение, 1971, 16 апреля).

«Глазами подростка, через его обостренное восприятие, детский максимализм и жгучий поиск истины, через боль, недоумение, отчаяние и напряженное стремление найти выход из «лабиринта» писатель вводит нас в круг острейших проблем, — развивает сходную мысль А. Адрианов. — И прежде всего это мера ответственности взрослых за судьбу детей и свое поведение, это — право детей судить о жизни и поступках родителей и, наконец, это роль семьи, которая формирует юного человека» (Октябрь, 1971, № 11).

Заранее отводя упреки тем, кто во всяком изображении в детской книге отрицательных взрослых усматривает «непедагогичность», Сергей Михалков писал в статье «Дорогие наши мальчишки...» (Литературная газета, 1977, 16 февраля):

«Читая «Лабиринт», я невольно задумался: правильно ли поступает писатель, сталкивая своего героя с людьми малопривлекательными? В частности, стоило ли показывать в романе учительницу черствую, эгоистичную? Ведь учитель — святая профессия. Не подорвет ли образ Изольды Павловны уважение к учителям вообще?»

Огромное большинство ребят по собственному опыту знают, что учителя — это не только требовательные наставники, но и мудрые, пристрастные друзья. И образ Изольды Павловны не бросит на них тень. К читателю нужно относиться с доверием, в каком бы возрасте он ни был. Молодой читатель, особенно остро чувствующий всякую неискренность, сразу же ощутит фальшь в рассказе о себе, о своих сверстниках — и не простит писателю «украшательства», даже если оно продиктовано самыми благими намерениями.

Герои Лиханова не свидетели, а участники событий. И совсем не наивен юношеский максимализм, с каким они воюют против пусть даже самой маленькой капельки неискренности, лжи, он мудр, ибо так и должно быть, ибо не может быть компромисса между добротой и корыстью, между правдой и обманом».

«Лабиринт» переведен в Эстонии, Венгрии, Монголии, издан на английском языке и языке ория.

Обман. — Впервые повесть опубликована в журнале «Юность», 1973, № 8—10. Затем — в книге «Семейные обстоятельства» (М., Молодая гвардия, 1974).

«Альберт Лиханов не боится острых ситуаций и горькой правды. Он боится, как и его герои, только одного — обмана, лжи, — писала в связи с выходом повести Л. Матвеева в журнале «Семья и школа» (1975, № 7). — Его подростки живые, они колючие и часто нескладные. Они делают открытия, иногда им трудно и непосильна правда, но ребята не хотят отвернуться от нее, зажаться».

Это и есть, мне кажется, кредо писателя. Не хочешь обмана — сам будь честным и высоким. Борись с темным в себе и в других».

Как на важную особенность лихановской прозы, критика указывала на ее обращенность сразу в два адреса: к юным читате-

ням и их взрослым наставникам. «Мы, взрослые, привыкли относить влияние детских книг только на тех, для кого они непосредственно создаются. Книги же Лиханова принадлежат к тем «зловредным», которые доставляют взрослому читателю — отцу, матери, учителю, одним словом, воспитателю — немало беспокойных часов размышлений о себе и своем сыне, дочери, ученике. Часы эти могут быть часами страстного спора с автором, несогласия с ним. Но в любом случае время, проведенное за его книгой, не проходит бесследно» (Шумихин В. Уроки нравственности. — Кировская правда, 1975, 13 июня).

В 1976 году режиссер А. Бородин поставил в Кировском театре юного зрителя по пьесе А. Лиханова, представляющей инсценировку повести, одноименный спектакль.

«Обман» — тревожный и сильный спектакль о том, как подросток обманулся во взрослых. Как очень много хороших, неплохих и не очень плохих людей проглядели маленького человека», — писал А. Смелянский («Товарищ подросток». — Комсомольская правда, 1977, 14 мая).

Г. Владимирова в рецензии на постановку («Подросток в мире взрослых». — Советская культура, 1977, 12 апреля) отмечала:

«А. Лиханов своей пьесой вводит нас в самую трудную сферу воспитания — в сферу семейного быта со всеми его неожиданностями... Но суть спектакля... не в этих перипетиях велегкого отрочества. Суть в том, как самоутверждается человек, попавший в очень трудные жизненные обстоятельства».

Переведенная в ряде союзных республик, а также в ГДР, Болгарии, Венгрии, Чехословакии (на чешском и словацком языках), Польше, Италии и ФРГ, повесть «Обман» вызвала большой отклик за рубежом — особенно в ФРГ, Швейцарии и Австрии, где вышли два немецкоязычных издания, выпущенных штутгартским издательством «Тиннеман» и «Арена» под заглавием «Абштурц» — «Падение» — в переводе Г. Бауманна.

Приведем некоторые выдержки из западногерманской печати: «Книга убеждает хорошим описанием быта и характеров и свободна от какого-либо упрощения в изображении человеческих отношений» (Аннемари Линк. Буханцайгер, 1976).

«Этот интересный, сверкающий гранями роман о развитии подростка в современной России, написанный со знанием дела, поднимает все проблемы и ситуации, с которыми сталкиваемся и мы у себя дома: мир взрослых, которые слишком охотно во все вмешиваются, молодое поколение, которое слишком легко складывает оружие, допускает действия, продиктованные состоянием аффекта» (Франц Штау. Дас гуте югендбух, 1976, № 2).

«Из всех книг, которые мы рассматривали, — писал в своем обзоре текущей детской литературы критик одной из крупнейших газет ФРГ, «Зюддойчецайтунг» (1976, 24 октября), — эта, пожалуй, самая сложная и одновременно самая обаятельная. Треугольник: детский кризис — разлад с миром — интеграция — изображен сложнее и многостороннее, чем во всех других. Часто лишь намеком, реже углубляясь в детали, Лиханов изображает кривую развития Сережи, его сложную психическую ситуацию на различных этапах пути из детства в мир взрослых; постепенный, с внутренним сопротивлением, отказ от детско-субъективных схем мышления и постепенное обретение более комплексных, действительных для каждого систем ценностей».

Солнечное затмение. — Впервые повесть опубликована в журнале «Юность», 1977, № 7. Вошла во второй том избранных произведений писателя — «Солнечное затмение». (М., Молодая гвардия, 1979).

«Нет, это не рождественский рассказ о том, как здоровый юноша подарил любовь искалеченной девушке, — говорил о повести поэт О. Шестинский. — Это повесть о силе, мощи духовной жизни человека, о том, что прекрасное, нравственное начало в человеке способно преодолеть всяческое зло, ханжество, обывательское ничтожество. И притом повесть сурова, как сурова и неожиданна сама жизнь. Писатель не утверждает, что благодаря этому чувству молодые люди отныне и вовек будут вместе и будут счастливы. Он тонко чувствует реалистическую правду человеческих отношений. Мы не знаем, как со взрослением молодых людей будет развиваться их дружба. Но мы ясно отдаем себе отчет, что нравственное озарение, посетившее их на пороге жизни, на всю их жизнь, — это моральный критерий их дальнейшей жизни».

«В «Солнечном затмении» — трагедия, — писала «Комсомольская правда» (1979, 2 ноября). — Но здесь как бы еще раз, в лучших традициях русской литературы, выявляется то обстоятельство, что только сила человеческого духа способна преодолеть трагическую безысходность. Подлинно человеческое сострадание может победить равнодушие, пассивную мораль «непреодолимых обстоятельств» (Ганичев В. Крутые горы).

На жизнеутверждающий пафос повести, гражданственность ее юных персонажей указывала и И. Стрелкова в статье «Воспитание чувств» (Наш современник, 1978, № 1):

«Финал «Солнечного затмения» звучит печально. В повести для юношества правда может быть сказана мягче, но скрыть ее невозможно... Отсюда, от чистой правды, идет чувство оптимизма, которым пронизана повесть Лиханова, открывающая читателю светлые черты нынешнего юного поколения, его высокую духовность...»

«Сдается, что удача Лиханова заключена в абсолютнейшем отсутствии писательского спокойствия... — писал о «Солнечном затмении» Юлиан Семенов. — Повесть напрочь лишена велемечивости, авторских подсказок; очевидная жестокость сюжета (именно так!) не есть самоцель, но средство вылепить характеры двух маленьких наших граждан трудной и горькой судьбы.

Я глубоко убежден, что новая повесть Альберта Лиханова будет прочитана и подростками, и взрослыми, его повесть — в самом высоком, не декларативном смысле — воспитательна...

Повесть «Солнечное затмение» — произведение светлое и доброе, она учит читателей вере в людскую солидарность, умению найти в человеке хорошее и, что самое главное, исследует взаимоотношения взрослых и подростков, которые порой бывают очень сложными» («Вера и верность». — Литературная газета, 1978, 18 января).

В 1980 году за повести «Солнечное затмение», «Обман» и роман «Мой генерал» А. Лиханову присуждена Государственная премия РСФСР имени Н. К. Крупской.

Повесть переведена во многих республиках СССР, на чешский и словацкий языки, а также в США, Японии и Голландии.

Игорь МОТЯШОВ

СОДЕРЖАНИЕ

ЧИСТЫЕ КАМУШКИ. Повесть	5
ЛАБИРИНТ. Мальчишечий роман	135
ОБМАН. Повесть	358
СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ. Повесть	505
Комментарии	586

ИБ № 4673

Альберт Анатольевич Лиханов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ. Т. 2

Редактор **М. Катаева**

Художник **Ю. Боярский**

Художественный редактор **Н. Фадин**

Технический редактор **Т. Шельдова**

Корректоры **Н. Самойлова, Т. Пескова, Е. Дмитриева**

Сдано в набор 01.07.85. Подписано в печать 04.04.86. А01493.
Формат 84×108^{1/2}. Бумага типографская № 1. Гарнитура
«Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,08, Усл. кр.-
отт. 31,08. Учетно-изд. л. 32,5. Тираж 150 000 экз. (75 001 —
150 000 экз.). Цена 2 р. 40 к. Заказ 1336.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типо-
графии: 103030, Москва, К-30, Суцневская, 21.